

ГОЛОСА ИЗ ПРОШЛОГО

Избранные рассказы сохраняющие факты и мысли
для последующих поколений прочитать и подумать
Россия—Советский Союз
1917~1971





Орест Михайлович Гладкий

Редактор Ольга Гладкая Верро

ГОЛОСА ИЗ ПРОШЛОГО

**Избранные рассказы
сохраняющие факты и мысли
для последующих поколений
прочитать и подумать**

**Россия—Советский Союз
1917-1971**

**Во имя чего?
Раскулаченные
Верую
Враги народа
Социалистические будни в Совдепии
За железной завесой**

Орест Михайлович Гладкий

Редактор Ольга Гладкая Верро

ГОЛОСА ИЗ ПРОШЛОГО

Избранные рассказы сохраняющие факты и мысли

для последующих поколений прочитать и подумать

Россия—Советский Союз

1917-1971

Орест Михайлович Гладкий

Редактор Ольга Гладкая Верро

GOLOSA IS PROSHLOGO

Isbrannye rasskazy sokhranyayushchiye facty i mysli

dlya poslyeduyushchikh pokoleny prochitat' i podumat'

Rossia—Sovyetsky Soyuz

1917-1971

Orest Mikhailovich Gladky

Editor Olga Gladky Verro

Переводчики: Натали Байер, Ольга Гладкая Верро

Translators: Natalie Bayer, Olga Gladky Verro

Рисунок обложки: Джемс Аллан Арчер

Book Front Cover Design: James Allan Archer

Library of Congress Control Number: 2011901258

ISBN: Hardcover 978-1-4568-5839-1

ISBN: Softcover 978-1-4568-5838-4

ISBN: Ebook 978-1-4568-5840-7

Напечатано в Соединенных Штатах Америки

Printed in the United States of America

Сайт редактора/ Editor's Website: www.OlgaGladkyVerroEditor.com

Заказывать эти книги в любом книжном магазине или на сайтах :

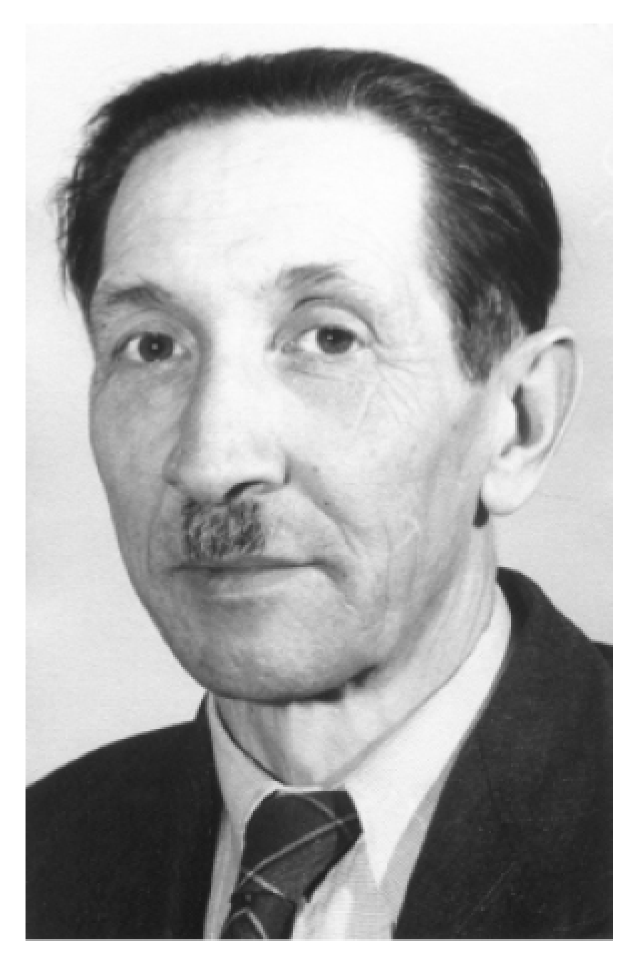
Order these books at local bookstore or at these online bookstores:

Amazon.com, Barnesandnoble.com, Xlibris.com, Orders@Xlibris.com

Xlibris Corporation

1-888-795-4274

90973



Орест Михайлович Гладкий (1902-1986)

ОБ АВТОРЕ

Орест Михайлович Гладкий родился 29 октября 1902 года в Никитовке, поселке большой железнодорожной станции на юге России в Донецком угледобывающем районе восточной Украины.

Его отец, Михаил Макарович Гладкий, был главным телеграфистом на станции Никитовка и ректором хора в местной православной церкви.

Отец Михаила и дед Ореста, Макар Тимофеевич Гладкий, стрелочник на железнодорожной станции Никитовка, был рожден свободным крестьянином (в отличие от крепостных, принадлежащих землевладельцам) в соседней деревне Алексеевка. Отслужив двадцать лет в Российской Императорской армии, он решил не возвращаться к работе на земле и вместо этого использовал возможность, предоставлявшуюся солдатам возвращающимся к гражданской жизни, стать государсвтвенным служащим. Бабушка Ореста по отцовской линии была всем известна по имени Елена Даниловна, (никто в семье не помнит её девичью фамилию) и она была простой мещанкой из ближнего городка Бахмут.

Мать Ореста, Надежда Викентьевна Гладкая, была начальницей и учительницей местной Железнодорожной школы. Она и её сестра Мария очень рано осиротели. Когда их родители – по фамилии Михневич, обрусевшие поляки и Московские дворяне, – умерли, сестры были воспитаны в Москве в приюте для детей из дворянских семей. Там они выросли в христианской вере, получили хорошее образование и, получив педагогические дипломы, были готовы начать учительскую карьеру.

Родители Ореста Михайловича Гладкого были искренне верующими христианами, они любили Россию и очень активно участвовали в культурной жизни Никитовки, и воспитывали своих детей в том же духе – веры в Бога, преданности Родине и службы на благо общества.

Окончив Железнодорожную школу в Никитовке, Орест и его старшая сестра Анна учились в гимназии в Таганроге, небольшом городе на берегу Азовского моря. Они вернулись в Никитовку только для последнего года обучения, когда там накануне революции открылась гимназия.

Еще подростком Орест Гладкий лицом к лицу столкнулся с ужасами революции, когда большая узловая и стратегически важная станция Никитовка переходила из рук в руки от Белых к Красным. Немедленно после того, как они в первый раз заняли станцию, Красные комиссары сразу же показали свое беззаконие и произвол

сотворяя зверства. Они убили начальника станции, кто был близким другом семьи Гладких, и сожгли заживо одиннацать захваченных на станции офицеров Белой армии, и молодой Орест был свидетелем этой зверской расправы.

Поэтому неудивительно, что когда Белые отбили Никитовку, Орест, которому не было еще и шестнадцати лет, и многие его друзья по гимназии, записались добровольцами в Белую армию, стремясь спасти Россию от большевиков. Они сделали это с благословением родителей, считавших данное решение намного лучшим выбором для своих сыновей, единственной альтернативой для которых была бы быть призванными в ряды ненавистной Красной армии и принужденно воевать за Советскую власть, когда большевики снова бы заняли Никитовку.

Орест Михайлович и его друзья служили в Дроздовской дивизии Добровольческой Белой армии, принимая участие в сражениях защиты Крыма от давления скопившейся на юге России массы Красных батальонов. Подразделения Белой армии прекратили сопротивление только тогда, когда поток Красных можно было остановить только ценой сверхчеловеческих усилий после чрезвычайных потерь уже до пределов истощенных бойцов Белой армии.

Осенью 1920 года часть Белой армии покинула Россию и ушла в эмиграцию. Но поскольку не было достаточного количества кораблей, чтобы посадить всех, оставшимся бойцам на южном крымском берегу было суждено страдать и умирать от жестокой расправы от рук Красных комиссаров. Среди тех, кто остался на берегу Черного моря в Феодосии, был и доброволец дроздовец Орест Гладкий.

Орест выжил только потому, что прятался в доме брата его отца, служившего в то время помощником начальника станции Феодосии. Потом, с помощью друзей, он вернулся в свою родную Никитовку. Но документы бывшего добровольца Белой армии несли штамп нестираемых чернил с осуждающим словом «лишенец» – человек, лишенный избирательных прав.

Лишенного гражданских прав «врага народа» Ореста Михайловича Гладкого преследовала секретная полиция большевиков за то, что шестнадцатилетним юношем он участвовал в Гражданской войне на стороне Белой армии. И он, и его семья были заложниками большевисткого режима, в той мятежной одиссее в которой они были неустанно гонимы государственными советскими сторожевыми псами –ЧеКа (ВЧК), ГПУ и НКВД – из одного места их родной Украины в другое в нескончаемой череде странствий и скитаний.

Не приходится удивляться тому, что когда немцы оккупировали

Украину в 1941 году во время Второй Мировой войны и разрешили публикацию местной газеты под названием «Нова Україна», Орест Михайлович Гладкий начал писать для нее одну за другой анти-советские статьи, в которых он вылил всю накопившуюся ненависть к режиму, преследовавшему его много лет, разоблачая преступления деспотичной диктатуры Сталина и выражая надежду на свободную и независимую Россию. Но он наивно ошибался: у немцев были совершенно другие планы на Украину – расширение арийского жизненного пространства – и публикацию его статей скоро запретили.

Летом 1943 года, когда Вермахт начал отступать под напором Советской армии, Ореста арестовали и послали в концентрационный лагерь Гестапо. Жена и дочь отыскали его там осенью в плачевном состоянии. Но с помощью трех посочувствовавших гуманных немцев его поместили в лагерный отдел госпиталя в Макеевке. Когда линия фронта подошла очень близко, жена и дочь помогли Оресту убежать. Все трое достигли города Сталино (теперь переименованного в Донецк) как раз вовремя для того, чтобы попасть на поезд сопровождающий мобилизованных из Украины рабочих для работы в Германии. Они сели на этот поезд – это был единственный шанс для них, зажатых между вероятностью быть пойманными Гестапо за побег из концентрационного лагеря и вероятностью быть арестованными НКВД как «враги народа» за его анти-советские статьи и быть сосланными в советский концентрационный лагерь.

С 1943 по 1945 год они работали в Германии вместе с угнанными из Украины рабочими, «остарбайтерами», как их называли. Но суровой зимой 1945 года наступающая Советская армия уже вела бои на территории Польши, аннексированной немцами в начале войны, и семья Гладких, которая была там, приняла решение не допустить того, чтобы Орест попал в руки НКВД. По настоянию жены и дочери Орест ушел и бежал через всю Германию, пока не достиг зоны оккупации западными союзниками. Несмотря на то, что там он считал себя в безопасности, ему приходилось скрываться под вымышленным именем украинца, рожденного в Польше, чтобы избежать передачи союзниками к агентам НКВД для насильной депортации в Советский Союз всех советских граждан и ссылки в советский концентрационный лагерь.

Тем временем, дочь Ореста была тайно вывезена её близким другом, Джулио Верро, военнопленным итальянцем, на конвойном поезде Красного Креста сопровождавшем итальянских военнопленных из Германии в Италию, где они поженились. Жена Ореста, Антонина Гавриловна Бережная Гладкая, после того, как она год скрывалась в Польше в польской семье, смогла с их помощью соединиться с мужем в лагере для перемещенных лиц в зоне западных союзников в

Германии. Им, как и тысячам людей, находящихся в похожей ситуации, пришлось ждать несколько лет в специальных лагерях для перемещенных лиц, чтобы нашлась страна, которая предоставила бы им статус беженцев.

Находясь в таком лагере, ожидая решения о своей участи, Орест Михайлович Гладкий направил вновь найденную свободу в творчество. Его стиль как писателя развивался и дальше в Англии, которая приняла Ореста и его жену как беженцев.

В 1958 году Орест с женой иммигрировал в Соединенные Штаты, где они, наконец, обрели спокойствие и свободу. Их дочь Ольга с мужем Джулио Верро и двумя детьми – дочерью Лия и сыном Пьеро – в свою очередь переехали в США, воссоединившись с родителями, в 1959 году.

Орест Михайлович Гладкий был плодовитым писателем, рассказы которого описывают жизнь людей в Советском Союзе, порочность, ужасы и преступления социалистического-коммунистического-большевистского режима. Его рассказы и статьи печатались под псевдонимами: О. Михайлов, Р. Михневич и Р. Чонгар в русскоязычной иммигрантской прессе – газетах и журналах в Англии, Нью-Йорка, Сан-Францизско и Буэнос-Айреса. Он никогда не терял надежды на то, что прийдет день и Россия воспрянет и сбросит иго социализма-коммунизма-большевизма и сталинской диктатуры.

В своих рассказах он предупреждает и предсказывает: «Мир должен бояться коммунизма в самом себе. Россия познала его миллионами жертв, морями крови и слёз, и она сама стряхнёт с себя красное чудовище в год, предназначенный не нами...»

Произведения Ореста Михайловнча Гладкого, как и многих иммигрантов писателей, которым судьба позволила убежать от лап НКВД по окончании Второй Мировой Войны, остались в области иммигрантской печати, редко переведенной или опубликованной на английском языке из-за не-интереса традиционными издательствами и недостатка фондов для само-публикации.

Когда состояние расстроившегося здоровья Ореста Михайловича Гладкого значительно ухудшилось, он передал полную коллекцию своих рассказов и рукописей мне, своей дочери Ольге Гладкой Верро, и попросил меня использовать их так, как я посчитаю лучшим с его сочинениями, чтобы сохранить их для будущих поколений. После выхода на пенсию я проредактировала и подготовила к публикации на русском и на английском двухтомную коллекцию 220 рассказов написанных моим отцом: первый том *Голоса из прошлого: Избранные рассказы сохраняющие факты и мысли для*

последующих поколений прочитать и подумать на русском и *Voices From the Past: A Collection of Short Stories Preserving Facts and Thoughts For Posterity to Pause and Ponder* на английском; и второй том: *Портреты из старого альбома: События и места, большие и маленькие существа и очень много разных людей* на русском и *Portraits From an Old Album: Places and Events, Creatures Big and Small and Lots of People Most of All* на английском.

После многих лет работы я публикую одновременно первый том рассказов *Голоса из прошлого* и *Voices From the Past* и наконец осуществляю мечту моего отца увидеть свой труд доступным для нового поколения, чтобы они помнили трагические события русской истории и жизни людей борящихся за свое существование под диктатурой социализма-коммунизма. Я смогла закончить эту работу с помощью группы переводчиков и, больше всего с поддержкой и бескорыстной редакторской помощью моего дорогого друга Оливера В. Келлогг, редактора английского перевода книг. Он дал мне неоценимые советы, поддержку и практическую помощь и с большим терпением проредактировал несколько раз англоязычные рукописи.

– Редактор Ольга Гладкая Верро

ГОЛОСА ИЗ ПРОШЛОГО

**Избранные рассказы
сохраняющие факты и мысли
для последующих поколений
прочитать и подумать**

**Россия—Советский Союз
1917-1971**

**Во имя чего?
Раскулаченные
Верую
Враги народа
Социалистические будни в Совдепии
За железной завесой**

Орест Михайлович Гладкий

Редактор Ольга Гладкая Верро

Во имя чего?

Гражданская война охватила Родину,
добровольцы Белой Армии
защищают Святую Россию от Красных

Раскулаченные

Сталин отвергнул обещание революции:
«Вся земля крестьянам!»
и разразился бешеной аттакой на крестьян
насильной коллективизацией

Верую

Коммунисты осуществляют догму Маркса
искоренить веру в Бога,
они закрывают церкви,
убивают и ссылают священников в концлагеря и
проводят неустанную антирелигиозную пропаганду

Враги народа

Сторожевые псы ЧеКа, ГПУ, КГБ и НКВД
неустанно выискивают подозреваемых «врагов народа»,
без суда сажают в тюрьмы и
засылают в Гулаги миллионы людей страдать и погибать
от принудительных работ, голода, холода и болезней

Социалистические будни в Совдепии

Картинки подневной жизни обыкновенных людей
в социалистическом-коммунистическом государстве,
их боьба за существование
под советской властью и диктатурой большевиков

За железной завесой

Советская социалистическая система
после Второй Мировой Войны,
во время Холодной Войны и Коллективного руководства

Посвящается памяти миллионов людей,
погибших в трагические годы,
когда кровавые руки большевиков
строили первый
социалистический-коммунистический
«рай» на земле Великой России

Оглавление

Верую

Враги народа

Социалистические будни в Совдепии

Во имя чего?

Гражданская война охватила Родину.
Добровольцы Белой Армии защищают
Святую Россию от Красных

Посвящается памяти всех,
кто пострадал и тех кто погиб
в боях за Россию
во время Гражданской Войны



ПРОЛОГ

ВО ИМЯ ЧЕГО?

Февраль 1917 года

Вы, вероятно, помните зиму зтого года на юге России? Она была снежной и мягкой. Где-то далеко на фронте, зарывшись в окопы, сидели русские воины, защищая родину от врага. Они приносили в жертву не только свою кровь, но и жизни. С ними вместе страдали и те, кто был в глубоком тылу.

Война – тяжелое испытание в жизни страны, но каждый знал, что выдержать её это значит сохранить честь и славу России, поэтому те маленькие неудобства, которые появились к этому году люди молчаливо принимали, как неизбежное.

– На фронте солдатики страдают гораздо больше,чем мы здесь, – говорили они тому, кто пробовал посетовать в случайной очереди на тяжелую жизнь.

Да, так было.

Вы помните тот южный зимний вечер, когда мягкие хлопья пушистого снега, медленно кружась, спускались на землю? Они садились на лица прохожих, на их ресницы и брови, покрывали свежим пухом шапки, шляпы, платочки; они излучали необыкновенной нежности и таинственности сиянье, принесенное из далекого неба. Может быть, это таинственное сиянье свято, но прохожий был равнодушен к нему, он не замечал его, он был поглощен в этот момент другим, более важным, выходящим за рамки обычного.

В кажущемся спокойствии вечернего города раздавались звонкие голоса мальчишек-газетчиков, только что разбежавшихся от типографии, с новостями напечатанными в местной газете. Встревоженный горожанин бежал за газетчиком, платил ему деньги и, не ожидая сдачи, спешил к витрине магазина или к ближайшему фонарю, чтобы убедиться собственными глазами в том, что разноголосый и нестройный хор мальчишек оглашал на улицах и в переулках, возвещая нечто, так поражавшее его своей неожиданностью. Из разных мест доносились зловещие выкрики

наивных детей:

– Революция в Петрограде!

– Царь отрекся от престола!

– Отречение государя!

– Николай II отрекся от престола в пользу брата Михаила!

– Революция в России!

Назойливые голоса мальчишек раздражали, будоражили установившуюся жизнь, подводили обывателя к страшной неизвестности...

Одни поверили чему-то никем не обещанному, других охватил ужас катастрофы, третьи притаились в ожидании неведомого, четвертые возомнили себя спасителями отечества...

Только часть небольшая, рыцари чести, твердой поступью шла к цели, которой была Россия.

Да, государь отрёкся от престола.

Во имя чего?

Март 1917 года

Горячее солнце отражалось в полированных жидкой грязью улицах далекого пригорода. Воздух был чист и прозрачен. Снег еще лежал кое-где, спрятанный в ухабинках и канавках. От протоптанных вдоль домов дорожек подымался пар. Где-то высоко-высоко пел жаворонок, а здесь на земле, у заборов, на скамеечках сидели люди, наслаждаясь воскресным отдыхом и ранней весной.

Глеб Градов добрался сюда по непролазной грязи. Было еще рано, только что закончилось богослужение в гигмназической церкви, и он пошел не домой и не на Соборную площадь, где должна быть демонстрация, а пришел в этот далекий пригород, чтобы именно здесь всмотреться в лица тех, кто судьбу России держал в своих руках. Он знал, что на параде, который будет на Соборной площади в этот день, и лица будут парадные, а тут, на окраине города, будет обыкновенный солдатский шаг и обыкновенное лицо человека одетого в солдатскую шинель.

Медленно брел он мягкой весенней дорожкой и замечал, что улица становилась многолюдней, а песнь жаворонка заглушалась человечискими голосами. Не один он пришел встречать солдатиков, от которых особенно теперь зависела жизнь или смерть России.

Глеб дошел до последнего домика, за которым начиналась

степь, и увидел вдали движующиеся колонны, ровные ряды штыков, блеск меди оркестров. В приближающихся шеренгах он видел мощь родины, её славу, величие и гордость. Почему-то он думал, что такой армии не имеет ни одна страна. Возможно, что это и не было ошибкой. Ведь вся русская история говорила о непревзойденной храбрости и великодушии русской армии. Ведь недаром в церквях возносили моления о христолюбивом воинстве.

Полки шли. Головные части вступали в улочку пригорода заполненную жителями. Еще командиры были на своих местах. Еще четок был шаг. Еще тверда была команда. Но... красные бантики на солдатских шинелях... Кое-где они виднелись и на штыках винтовок...

Лица солдат сосредоточенно-серьёзные, лица угрюмые вперемешку с безразличными, лишь изредка лица с телячьей улыбкой неведомой радости... Это было в первый весенний тёплый день, в день первой революционной демонстрации...

Невольно Глеб вспомнил манифестации в дни побед русской армии над врагом. Эти же лица горели воодушевлением, решительностью, храбростью, в них была надежда и вера, в них была любовь к России... Он стоял с желанием увидеть то же и теперь. Но это было напрасно... Полки, стоявшие на отдыхе или формировании, проходили с тяжелой думой о судьбе отечества.

Когда головные части колонны достигли мостовой города, раздались звуки оркестра. Играли «Марсельезу»...

Странно. Быть может, французская мелодия в иное время не произвела бы такого впечатления на Глеба, как в тот памятный день. Разве уместно русской армии маршировать под звуки её? Ах, да! Ведь теперь революция! Государь разрешил от присяги всех, теперь можно с этой французской песенкой войти русским полкам в русский город!

Стало противно. Градов свернул в переулок, где не было людей, и быстро зашагал домой. Ему мерещились красные бантики, а издалека доносились звуки меди: «*Allons, enfants de la patrie…*»

Кощунство во имя чего? Заменить торжественный православный гимн весёлостью французской революции?

Во имя чего красные бантики?

Во имя чего «Марсельеза»?

Лето 1917 года

Женские батальоны едут на фронт. В России оказалось слишком мало солдат? Мужчины перестали быть защитниками Родины? Матриархат XX века?

Русская женщина имеет доброе сердце, в глубине его несметный клад любви, драгоценные переливы которой нежат, ласкают, голубят. Русская женщина—мать и жена, подруга и сестра—своей неизмеримой красотой любви подарила России гениев разума и духа, подарила миллионы незаметных героев, верных сынов Отчизны. Но она и сама гений и герой, и в годину лихолетья земли родной без упрека, без возвеличивания и прославления себя, она, скромная русская женщина, взяла в руки винтовку... Она отозвалась всей глубиной своей души, всем своим любеобильным сердцем на ложный клич... Отныне свою физическую силу, свою жизнь она предложила России... Разве не стыдно вспоминать эти годы позора?

Ложный клич поднял женские полчища, а мужчины в это время бежали с фронта!

Но что мог придумать недавний присяжный поверенный, ставший вдруг главою государства Российского?! Адвокат на посту военного министра?! Человек без государственной мысли?! Революционер, упивающийся своим собственным краснобайством?! Слова завлекли в дебри лжи, реальное стало чуждо пониманию...

Когда один из эсэров предлагал ему убить Ленина в дни напряженной борьбы, вождь-адвокат отказался! Ведь лучше убить Россию!

Во имя чего? Во имя французских галифэ, френча английского покроя или ефрейторской причёски влюблённого в главковерхство вождя?

Молчат его портреты в витринах и киосках, с его фотооткрытками носятся простофили, опьянённые ядом дикой свободы...

Во имя чего?

Октябрь 1918 года

В гимназиии Александра I Благословенного царило видимое благополучие. Портреты государей, висевшие в рекреационном зале, были сняты. На лицах преподавателей видны были растерянность и недоумение, настороженность и... страх. Даже преподаватель гимнастики, чех, Франц Иванович, понурил голову, хотя и старался также звонко выкрикивать слова команды.

В гимназической церкви, как и во всех церквях, уже не молились о здраве Государя, хотя именно в это время эта молитва должна была бы возноситься всем русским народом, потерявшим вместе с Винценосным Монархом Славу, Честь и Отчизну...

В гимназии оказался только один красный – Быховский, сын богатых родителей. Он не только проповедывал среди гимназистов социализм *a La Lenin*, но уже выступал, как опытный оратор, в театре городского сада на митинге. Ему восемнадцать лет. Он в восьмом классе. Друзья отшатнулись от него. Учителя стали предупредительно вежливы. Говорили, что родители были в восторге от своего сына и пророчили ему большую революционную будущность.

В половине октября, когда большевики захватили железнодорожную станцию Никитовка, Красные коммиссары поймали пробиравшихся на Дон одиннадцать Белых офицеров одетых в цивильную одежду и сожгли живыми безвестных пленников охваченных революционным пожаром!

Во имя чего произошла эта казнь средневековья, парализующая мозг, опустошающая душу?

Во имя чего?

1919-1920 годы

Экзамены закончены. Аттестат зрелости аккуратно уложен в ящик письменого стола. Быть может, он понадобится...

– А теперь в армию...

– А университет? – с тревогой спросила мать.

– Мамочка, дорогая моя, сначала Россия...

Отец молчал…

Путь от Орла до Новороссийска, путь в маленький Крым закончен. Здесь, на крошечном полуострове, бьётся большое русское сердце. Жизнь смешалась. Военные переплелись с обывателями. Пораженные неожиданностью катастрофы начали входить в кажущуюся нормальную жизнь. Популярный певец Вертинский всё обращался к прекрасным дамам: «Ваши пальцы пахнут ладаном…» Или вопрошал он речитативом:

«Я не знаю зачем

И кому это нужно,

Кто послал их на бой

Недрожащей рукой...»

Хотя всем понятно, и милым дамам и седым генералам, но никто не смеет сказать, что безусые мальчики услышали вопль Матери-России и сами пошли на защиту её Чести, Славы и Могущества. Быть может, не понятно было Вертинскому, что ожидать,

когда пошлют – это позор!

Но черный зал рукоплещет сияющей сцене, у фаворита публики рождаются новые песенки, песенки той драматической эпохи, которую никогда не забудет Россия.

В боях с надеждами и расстрелянной мечтой закончен последний этап борьбы. Плещут зелёные волны безбрежного моря осени южной. Вдали корабли на рейде. Их пассажиры никогда не высадятся в тихой гавани земли родной. А здесь, на берегу, кто волей, или неволей должны предстать перед судилищем исчадия ада... Среди них и Глеб Градов, которому в боях последних дней исполнилось восемнадцать...

Не спрашивайте кто послал их на бой, а спросите:

– Во имя чего?

1920-1941 годы

Годы политической инквизиции.

Годы насильной коллективизации.

Годы диктатуры Сталина.

Во имя чего?

1941-1945 годы

Годами забитые наглухо двери, прогнившие от невысыхающей крови, не рухнули, а рассыпались. Мир, представлявшийся через кривые зеркала, раскрылся. Стыдно было своего убожества и уродства. Страшно было поэтому встретиться со светом.

В кривизне блестящей поверхности мерещилось освобождение души и тела. Взлелеянная временем мечта казалась, наконец, реальностью. Безумная война вселяла надежду на Воскресение России. Вера не была напрасной. Кто-то потусторонний толкнул рухлядь, и русская душа возмутилась в забвеньи: миллионы отказались служить социалистическому божку. Они верили кривизне видений. Их ласкали и нежили неправильные очертания раскрывающегося мира. И они уходили на запад...

Тщетны были попытки заградительных отрядов отборных палачей. Смерть предпочитали жизни. Заснеженные поля покрывались чернотой от двустороннего расстрела. Над братскими могилами не было ни крестов, ни памятников. Лишь случайно на воткнутом столбике простой краской какой-нибудь партчиновник напишет: «Здесь похоронен старший лейтенант Лохвицкий, героически

погибший в бою за город Н.» Но кто-то химическим карандашом добавит страшную правду: «И еще восемьдесят пять бойцов»... Имена их, Господи веси.

Кривое зеркало быстро разбилось. Национал-социализм был равноценен интернационал-социализму. Оказалось, что природу социализма изменить нельзя. Обыватель опешил, растерялся. Солдат за винтовку взялся. Что же, Россию (не СССР!) нужно защищать. И заградиловки оказались ненужными.

Не только Глеб был с думой тяжелой. Её вынашивала вся Россия. И многие как и он, через национал-социалистические концлагери пришли к своему освобождению.

Война жестока. Она имеет оправдание. Война 1914 года –честь России. Перестановка цифр родила вторую войну: 1941 года – бесчестье СССР. 1917 год разрушил Россию. Может быть, в 1971 году наши дети и внуки водрузят трехцветное знамя во граде Петра и многомиллионный голос радостью торжества Правды зазвучит молитвой-гимном?

Война 1941 года...

Освобождение от революции... Или её подтверждение?

Во имя чего?

1953 год

Написать историю России двадцатого века почти невозможно. Недостигнутые факты и цифры исчезнут. Нужны будут сверхусилия талантливейших историков, археологов, судебных следователей, психиатров, нужна будет помощь самых простых, самых обыкновенных людей, чтобы исторический очерк Кровавого времени Родины нашей отразил бы страшную правду.

Верят и не верят в Россию. Думают и гадают о ней. Пытаются что-то для неё сделать. Но Россия жива. Её дух умертвить невозможно. Она в слезах, в крови, в муках, её расстреливают и пытают, но уничтожить её нет сил ни у кого. Вот это бессилие и приводит к ожесточению, к озлоблению, к кровавому насилию.

Брожение духа остановить нельзя. Умирают старшие поколения, но брожение духа охватывает молодежь. Дух ищет не только способов возрождения России, но и формы. Процесс этот болезненный, сложный и долгий, но всё это примет точные очертания, идол красный рассыпется во гневе русского духа. Когда это будет? В 1971 году?

Много «спасителей» здесь, за границей, из России, но спасётся сама Россия. Много изменников из России здесь. Они кромсают в

больном воображении Родную Землю, распродают на международной толкучке. Много продавшихся иностранным купцам «освободителей», расчленивших Россию *а ла Сталин* на народы.

Суета сует. Всё напрасно. Россия непоколебима, неделима, непобедима. Русский народ мощью своей, своим духом страшен Западу не сегодня. Вот почему заграничные купцы подкармливают безумных глупцов из лагеря Четвертого Интернационала или самоопределителей «народов России». Только слепые не могут всмотреться в историю Государства Российского, поэтому им и кажется, что они несут откровение миру. Во имя новой революции? Во имя нового, абсолютно чистого социализма? Во имя «народов России»?

Во имя чего?

Мир должен бояться коммунизма в самом себе. Россия познала его миллионами жертв, морями крови и слёз, и она сама стряхнёт с себя красное чудовище в год, предназначенный не нами... Если переставим цифры 1917-1971...

Может быть это случится в Тысяча Девятьсот Семьдесят Первом году!!!

Заметка редактора

В своем предчувствии автор ошибся на двадцать лет—это произошло в Тысяча Девятьсот Девяносто Первом году!!!



ЧЕРНЫЙ ВОРОН

Надежда Викентьевна – москвичка. В голубых глазах её и доброй улыбке всегда светилась радость жизни. Жила она глубокой верой и Россией. Верой она руководствовалась в семье и в школе, обучая уже второе поколение. Шутя, она говорила выросшим бывшим питомцам своим, что и внуков их, вероятно, придётся ей учить уму-разуму. Вера её исходила у неё из души, сердца и разума, не превращая её, однако, в отшельницу. В семье и в доброй компании друзей или знакомых часто слышался её раскатистый звонкий смех.

Старину седую, русскую, любила, всех обычаев держалась крепко. В прошлом умела находить необычайную красоту и его богатства облекать в музыку слов, в которых слышалась неподдельная любовь к отчизне.

В простом «Колобке», который она часто рассказывала маленькому сынишке Игорьку, даже взрослые забывали действительность. Журчит, как весёлый ручеёк, её речь, и не знаешь, где ты: в мире «Колобка», унесшего в детство, или в креслах уютной гостиной. А уж если бархатный голос грудной плавными водами Дона расскажет былину об Илье Муромце, уж тогда воскресают витязи русские в силе и славе Руси Святой. Сменит их «Борис Годунов» или «Полтава» – та же Русь в рифме гения Пушкина предстаёт в дивной речи её, а невольный свидетель рассказа незаметно для себя превращается в участника давно минувших дней. И недаром в училище только Надежда Викентьевна была чтицей во время туманных картин, которые в прежнее время показывали ученикам вместо современного кино. Оживают тогда неподвижные образы на экране, и «три девицы под окном» вдруг прядут проворно, их улыбки жизнью дышат, задором девичьим сверкают очи, и слышится милый сердцу русский голос: «Кабы я была царица...»

Приметы народные, обряды древние знала она, как никто другой. Разложит, бывало, двенадцать чашечек лука к новому году и предскажет:

– Быть июню дождливому, а июлю сухому; быть урожаю, быть сбору в погоду.

Так и бывало.

Жизнь была маленькая, но насыщена неизмеримым богатством наследия. Хорошо было жить! И в молитвах своих возносила она всегда благодарение Богу за ниспосланное благоденствие земле родной.

В тяжелые годы войны за честь родины, за торжество православия чело её омрачилось неизгладимыми морщинами. Где-то, далеко-далеко на фронтах, умирали русские воины. Разве можно быть равнодушным к тяжелой године страны? И в горячих молитвах разве одна она обращалась с глазами, влажными от слёз, о даровании победы воинству русскому?

Но пришел семнадцатый год. Непонятный, страшный, уродливый. Восстал из мрака преисподней девятьсот пятый. Утроились седины и морщины. Не слышно стало раскатистого звонкого смеха, не видно, даже намёка на милую улыбку. Революция!

А в далёком Санкт-Петербурге—волею Монарха теперь именованном Петрограде—разыгрывался дешёвый и циничный фарс. Защитник преступников вдруг выплыл главою державы Российской, как шут на похоронной процессии, изрекая отвратительные каламбуры. А Россия катилась в пропасть...

Бывало за обедом возьмёт ломтик хлеба Надежда Викентъевна, с грустью посмотрит на него и промолвит:

– И хлеб теперь не тот – без яти и твёрдого знака. Ять – это нутро хлеба, мякиш; твёрдый знак – корочка. Ешь и знаешь, что хлеб во рту, а не мякина революции.

Гуще седины, глубже морщины, сердце кровью истекает от страшных предчувствий.

Доморощенный сверхреволюционер спросил невзначай однажды:

– Что же вы, Надежда Викентьевна, притихли, где ваш смех задорный, весёлость?

– Россия на смертном одре, плакать нужно и Бога молить о спасении!

– Нет, нет, – ответил незадачливый будущий комиссар, – Россия на операционном столе.

– Тем хуже. Батюшка Крылов говаривал: «Беда, коль пироги начнёт печи сапожник, а сапоги тачать пирожник...» Убьёте вы Россию на своём операционном столе.

На святках, как обычно, огласилась маленькая квартирка её звонкими голосами молодежи. Посъезжались гимназисты, реалисты, коммерсанты, техники, гимназистки, курсистки, сыновья и дочери,

племянники и племянницы, товарищи их и подруги. Всем место нашлось, только шум и энергия молодежи не вмещались в беленьких стенах комнат, вырывались наружу в морозный день или звёздный долгий вечер.

Кончилась ёлка. Подходил восемнадцатый год. Вот уже и 31 декабря. День последний года, породившего чудовищное детище, которому быть предопределено некрещённому.

К полночи весёлыми колокольчиками ворвались молодые голоса, распахнули сени, взбудоражили весь дом:

– Как, зовут?

– Сила Пудыч!

– Асинкрит Ксинофонтович!

– Мама!

– Тётя!

– Надежда Викентьевна!

– Гадать!

– Уж позвольте мне первой сегодня... «Что будет с Россией?»

На перевёрнутой тарелке в желтом пламени сгорает скомканый листик бумаги. Он дымит, чернеет, превращаясь в хрупкую, причудливой формы, массу. Десятки глаз напряженно ловят еще неясные очертания тени. Но вот контуры стали контрастными, и на стене представился курган, на верхушке, которого сидел черный ворон.

Печаль охватила сердца всех, гаданья под новый восемнадцатый год были без смеха, без затаённой радости, без смутных желаний любви и молодости.

«Россия гибнет», – с этой скорбной думой Надежда Викентьевна ушла из жизни, чтобы и там просить Всевышнего спасти Отчизну.

Ушла она не без надежды. Она верила, что дух русского богатыря проснётся; отважные витязи вступят в бой с исчадием ада и воскресят Великую Русь с её неизмеримыми богатствами прошлого.





СРЕДНЕВЕКОВАЯ КАЗНЬ

После революции гражданская война началась постепенно как движение спасти Росию от большевиков. Стычки Белых с Красными поляризовали население. В каждой семье приходил момент, когда нужно было принять решение на какой стороне они были—были ли они за Советы или за Россию? В новостях о том, что происходило во всей стране, было много неразберихи. Железнодорожная станция Никитовка была большошой узловой станцией, она находилась на перекрестном пункте, где поезда шли с севера на юг и с востока на запад и новости со всех сторон страны приносились пассажирами и железнодорожниками. В тоже самое время, станция была важным стратегическим пунктом для Красных и для Белых и часто менялась из рук в руки.

Я помню очень ясно, что случилось во время нескольких дней, когда Красные захватили Никитовку. Это было в половине октября и директор нашей гимназии объявил перерыв в занятиях, чтобы переждать пока ситуация успокоится.

На второй день перерыва, с мыслями неясными и печальными, я медленно брел вдоль железнодорожной колеи. В моей юношеской голове я старался понять, почему Красные арестовали и убили несколько хорошо известных и всеми уважаемых граждан и железнодорожных служащих, некоторых из них моя семья знала очень хорошо. Они были порядочными людьми и никогда не сделали никому зла.

Дорога привела меня к лесной посадке вдоль железной дороги, место, куда я в детстве любил ходить играть. Я забрался в её гущу и сел на пенек. Вороньи стаи с громкими криками перелетели через посадку и отвлекли меня от моих дум. Потом все стихло и всё вокруг казалось как-то причудливо-странно. Вдруг медленно опустится пожелтевший листок. Неясный шорох дикого зверька насторожил мое внимание. А сверху свинцовое осеннее небо давило мою душу и нагоняло непонятную грусть...

Внезапно вдалеке заслышался железный лязг, который очень быстро увеличивался. Я приподнялся со своего пенька и увидел шедший со станции маневровый паровозик с одним товарным вагоном. Как он приближался, я увидел, выставленный на нем

красный флаг. «Революционный поезд!» – я подумал и сел опять на пенек. Поезд ехал быстро, но как только он вошел в посадку, паровоз замедлил ход и остановился так близко, что я мог видеть ясно паровозную трубу.

Я невольно снова привстал и хотел выйти из своего убежища, но какая-то сила остановила меня ... «Красные», – я подумал, «Лучше я притаюсь, чтобы не дать им знать о себе.» Я опять сел, но наблюдал с осторожным любопытством через ветки, что происходило.

Несколько мужчин в черных кожаных куртках выскочили из товарного вагона на посыпанную дробным камнем железнодорожную насыпь. За ними, выталкиваемые грубой рукой, стали выпрыгивать на насыпь, другие мужчины в обыкновенной одежде, но со связанными сзади руками.

«Пленники», – я подумал и посчитал, – «Один, два, три, ...шесть, ...десять, одиннадцать...»

Мужчины в черных кожаных куртках и с револьверами в руках загнали пленников в середину четырехугольных штабелей новых просмоленных шпал, обнесли близлежавшими щитами, еще не расставленными вдоль железной дороги для защиты её от снежных заносов. После этого они выкатили из товарного вагона две железные бочки и облили всё керосином. Через несколько минут пламя поднималось высоко над деревьями.

Жуткие крики ужаса раздавались из горящего ада. Потом крики сжигаемых живыми неизвестных пленников переменились на слабеющий но мрачный и ужасный стон. А по земле медленно расстилалась пресыщенная керосином вонь, смешанная с запахом горящей смолы, одежды и мяса...

Мужчины в черных кожаных куртках несколько минут наблюдали за огнем, но не подождали когда огонь угаснет. Затем, они забрались в вагон, и паровоз потянул их обратно на станцию.

Я долго стоял в своём убежище ошеломлённый тем, чему я был свидетелем. Пораженнный ужасом и оцепенелый, мне казалось, что остановилась во мне жизнь. Я попробовал двигать ноги, но они мне не повиновались. Мой разум отказывался понимать действительность...

Ошеломленный и затуманенный, я бродил вдоль железнодорожных путей весь день и поздно вечером, разбитый и изнуренный, вернулся домой. Отец рассказывал новости, что рано утром одиннадцать Белых офицеров, переодетых в штатскую одежду, старались найти поезд идущий на юг. Они пробирались на Дон, где Белые держали позицию. Вдруг, Красные их схватили и куда-то увезли.

– Их всех сожгли живыми... – я прошептал и мучительный крик вырвался из моей еще детской груди, – Я это видел! В посадке! Я видел, как это случилось...

Вся семья была поряжена моей драматической новостью. Услышав слова, что его сын был свидетелем казни, ужаснули моего отца. Он крепко обнял меня, как будто желая выдавить из меня это жуткое переживание. Он только смог спросить, – Во имя чего произошла эта казнь средневековья, парализующая мозг, опустошающая душу?

Во имя чего?

В этот раз Красные не пробыли в Никитовке достаточно долго, чтобы сделать больше репрессалии, но того что они сделали было достаточно, чтобы напугать население и показать, что случиться, когда они придут опять.



БЛАГОРОДНЫЕ СЕРДЦА

Я помню мои юношеские годы, моих друзей и наши благородные сердца полные энтузиазма и духа пожертвовать собой за спасение России от Красного террора. Это так живо в моем воображении, что я могу видеть ясно предо мной, как будто это было вчера—в громадной классной комнате сидила небольшая группа гимназистов. Сидели они на скамьях, на учительском столе, на подоконнике. Несмотря на всю остроту волнующего их вопроса, разговор их носил характер мирной беседы, но отнюдь не какого либо «собрания». Как всегда умел поставить всякое дело голубоглазый блондин Андрей Кожан.

С первых дней революции Андрей, выходец из хорошей, простой полу-крестьянской полу-рабочей семьи, возненавидил большевизм и во всех случаях, когда разговор заходил о борьбе Белых и Красных, он спокойно разубеждал самого горячего защитника Красных. Даже наш преподаватель русского языка, Станислав Семенович, вздумавший вести красную пропаганду среди гимназистов, был так однажды обезкуражен своим учеником, что после никогда не вступал в политические беседы в его присутствии.

Сегоднешняя беседа была вызвана очередным зверством «краснокожих», как мы гимназисты называли большевиков. Совершенно случайно, вчера я оказался свидетелем казни одиннадцати Белых офицеров пойманных Красными, которые временно захватили нашу железнодорожную станцию Никитовку. Андрей попросил меня рассказать моим друзьям о тех ужасах, о тех страданиях , которые эти оффицеры перенесли перед их смертью и о том небывалом героизме, который они проявили перед кучкой палачей, вооруженных до зубов.

Я рассказал моим друзьям, как в воскресенье, когда времени свободного много, после завтрака, я пошел пройтись к Магдалиновской посадке. В то теплое осеннее утро было бы так хорошо быть одному со своими мыслями. Но в моих мыслях были последние трагические события случившиеся после того, как Красные заняли Никитовку—аресты и убийства людей, которых наши родители и все мы знали и уважали.

Я шел и думал о том, как хорошо бы было, если бы мир был

устроен так, чтобы люди никогда не знали горя, чтобы то естественное чем заканчивается жизнь каждого из нас было безболезненно. Но это были даже не мысли, а мечты, ибо так устроить жизнь невозможно. С этими мечтами я вошел в посадку, затерялся в деревьях и присел на пеньке. Все было тихо и спокойно.

Вдруг мои мысли были прерваны лязгом подходящего паровоза. Я выглянул из-за деревьев. На рельсах уже стоял паровоз украшенный красным флагом и только с одним товарным вагоном. Я сразу понял, что он был под коммандой Красных. Из вагона выскочило человек семь комиссаров в черной кожаной форме, а два комиссара выталкивали мужчин со связанными за спиной руками. Они падали на насыпь, раня себя, но ни один из них не произнес ни звука. Я пощитал пленников, их было одиннадцать человек.

Комиссары были очень хорошо вооружены: револьверы, пулеметные ленты, гранаты – все что нужно для уничтожения жизни. Крики и ругань, каких я не слышал никогда в жизни, не смолкали ни на миг. Комиссары, как видно, спешили. Грязные дела вообще делаются быстро. Так было и здесь.

Я рассказал моим друзьям все, как происходило каждую минуту во время этой страшной казни. Когда последний пленник был вытолкнут, тогда из вагона были осторожно вытащены два больших бидона, как скоро я узнал, с керосином.

Одиннадцать офицеров, безоружных, связанных, избитых согнали в кучу, обстановили их щитами, облили все керосином и подожгли.

Я окончил мой расказ словами: «Они сгорели, унеся с собою может быть великую тайну, но даже здесь в огне костра, ни один из них не ответил комиссарам ни слова. Только жуткие крики ужаса раздавались из горящего ада.»

Как все в Никитовке, мои друзья слышали, что Красные арестовали на станции Белых офицеров, когда они пытались сесть на поезд идущий на юг, очевидно стараясь достичь части Белой армии на Дону. Но мои друзья не знали все подробности, которые я им рассказал.

Когда я закончил, гимназисты продолжали сидеть молча, пораженные дикой казнью. Какая-то тяжесть лягла на сердце каждого. Все взоры опущены. Тишина царила в комнате. Кто-то тяжело вздохнул.

– Вот, друзья, пример для нас, – наконец произнес Андрей Кожан, – Еще один зверский случай совершенный Красными. Что же мы должны делать? Молчать и ждать других зверств? Или и нам пойти

в Белую армию и уйти за Дон?

Мой друг Вадим Куценко вынул папироску, закурил, встал, прошелся по классу, остановился подле Андрея.

– Будем решать не по большевистски, не голосовать, – он предложил, – Пусть совесть каждого скажет ему что делать. Если хотите знать, я поступаю в Белую армию, я еду на Дон. Завтра в десять утра идет поезд до Таганрога. А оттуда и пешком проберусь на Дон. В одиночку даже лучше. «Краснокожие» не поймают, не задержут.

– Ты прав, Вадим, – ответил я, – но вдвоем нас тоже не задержат. Ведь мы мальчишки! Кто придерется к нам? Мы всегда можем сказать что едем домой или к родственникам. Я буду тоже завтра в десять с тобой. Можем в разные вагоны, если ты боишься...

– Ну, что ты, ехать в армию и бояться ехать вместе? – ответил Вадим.

Задумчиво сидел Борис Минаев. Он как будто не слышал беседы друзей. Андрей знал причину его модчания и, желая переключить состояние души приятеля, обратился к нему с вопросом.

– Что, тяжело, брат, решать такую задачу? Борис, пойми, никто не насилует твою волю. По идее ты наш! И совсем не обязательно твое присутствие в армии. Все мы знаем, как должна отразиться твоя поездка на Дон на твоих родителях. Все мы знаем, что твоя подруга, Лидия Талимова, будет страдать не меньше, чем ты; и все мы смотрим на тебя, как на нашего прекрасного друга, но, я думаю, никто тебя не обязывает вступать в армию.

– Решать вопросы не по большевистски, – повторил свою любимую фразу Вадим, – Завтра в десять я уезжаю. Для меня этот вопрос уже решен. Мне только интересно знать, кто еще идет в Белую армию, но я не хотел бы из этого делать голосование.

– Идея! – вскрикнул я, – Борис останется связным! Ему заявим об отезде в армию, ему пришлем адреса, через него будем поддерживать связь.

– Я, господа, иду в Белую армию, – четко произнес Борис, – Я только думаю о том, как подготовить отца и мать. О Лидии, Андрюша, я и думать не хочу. Её молодая жизнь тоже должна быть отдана сейчас на борьбу за Россию. Может быть мы вместе, рука об руку, будем бороться за спасение русского народа.

– А что, господа, если среди нас вдруг сидит здесь провокатор? – вдруг произнес Михаил Волков мысль, которая наверно была у многих на уме. – Как вы думаете, что может выйдет из всей нашей затеи, если она будет известна Красным? Вы не думайте, что я боюсь.

Я заранее говорю, что я иду в Белую армию. Мое решение созрело еще тогда, когда «краснокожие» расстреляли моего отца. И сегодня был только толчек к его осуществлению.

Все молча посмотрели друг другу в глаза. Новый вопрос оторашил всех. Кое-кого передернуло нервной дрожью. Никто не хотел бессмысленно отдавать свою жизнь. Каждый думал, как я: «Умереть, за освобождение русского народа в борьбе с Красными, да, я согласен. Но быть убитыми, как бездомная собаченка из-за предателя? О, нет, это не должно случиться.»

– Если вы думаете обо мне, – вдруг заявил Яша Малобродский, – так я тоже еду в армию!

– Как, ты, еврей, ты едешь в Белую армию? – спросил Вадим, – Ведь ты знаешь как говорят белогвардейцы: «Бей жидов, спасай Россию!»?

– Я знаю. Но я против большевиков.

– Подумай пока не поздно. В Белой армии тебе будет невыносимо. С большевиками тебе будет очень хорошо, – посоветовал Вадим.

– О, нет, Вадим. Я хочу быть со своими друзьями.

– Ах! Ты хочешь делать это только из-за этого! Господин Малобродский – вам с нами не по пути. Будет, конечно подло если вы окажетесь провокатором, но... мы и к этому готовы...

Разговор принимал неприятный оборот. Все знали, что Вадим был ярым антисемитом. Все также знали, что Малобродский всегда старался показать, что евреи совем не такие, как принято о них думать.

Разговоры эти коробили всех гимназистов, поэтому Андрей Кожан решил не допустить споров.

– Господа, – нарочно громко произнес он, – каждый из нас должен подготовить родителей, чтобы наш уход не являлся бы бегством. Поэтому, я думаю, разойдемся сейчас по домам, чтобы иметь время для домашних разговоров. К тому же время подходит к обеду. Прощайте, друзья, я ухожу.

Все засуетились, парочками и в одиночку стали расходиться по домам. Грустно по осеннему. Вероятно, каждый думал, как я: «Прощайте гимназические стены, прощай родное местечко с юношескими забавами, с радостью, искренним весельем, с первыми вспышками любви, прощай гнездо, так заботливо свитое родителями, а, может быть, прощай жизнь...»

Я во-время пришел к обеду. За столом между отцом и матерью шел разговор об одиннадцати сожженных офицерах. Несмотря на то,

что казнь была произведена секретно, известна была каждому жителю местечка и вызывала возмущение.

Я молчал. Только после обеда, когда отец закурил, я обратился к нему.

– Папа, я хочу с тобой поговорить.

Отец удивился и взволновался.

– Пойдем в мой кабинет? – спросил он у меня.

– Да, лучше там поговорим. И мы молча перешли через залу.

В кабинете отец уселся, не как обычно, на диване. Я сел напротив на кресло.

– Ну, папка, родной мой, я решил итти в Белую армию. Так дальше жить нельзя. Большевиков нужно уничтожить. Вчера я был свидетелем убийства одиннадцати офицеров, позавчера мы были свидетелями убийства семьи инженера Горянова и его семьи и грабежа его дома. Несколько дней прошло как убили отца Михаила Волкова только за то, что он был начальником станции. Что ожидает нас завтра? Все рушится, все устои, на которых существовало общество столетиями, мораль, культура, даже памятники – все попирается, все уничтожается... Я не знаю, что ожидает нашу семью, тебя, маму, сестер, моего маленького брата, что ждет меня. Но молча ожидать я не хочу.

– Ростик, но тебе еще не исполнилось и семнадцати—рано умирать.

– Умирают и грудные дети, папа. А я в состоянии уже держать винтовку в руках и защищать жизнь не только свою, но и твою, и мамину, и моих сестер, и брата, и нашего народа.

Отец встал, прошелся по кабинету.

– Ты хорошо обдумал свое решение? Не прельщает ли тебя только блеск погонов? Ведь война – это не гимназический парад!

– Папа, прости меня, что я приношу тебе слишком много тяжелых минут, много горя, но ты и мама должны понять, что молодёжь и юношество должны вступить в активную борьбу сейчас, ибо дальше может быть поздно.

– Ты ясно представляешь себе, что такое война? Могу ли я, отец, дать согласие на твою смерть?

– А если без твоего согласия завтра какой-нибудь комиссар прибьет меня, как паршивую собаку? А может быть от тысячи таких как я, может быть ценой смерти нашей, будет куплено счастье всего народа, в том числе и нашей семьи?

– Логически ты прав. Но пойми, Орест, что мне, отцу, не легко в данном случае сказать тебе «да».

– Папа, ты можешь сделать это очень легко. Отвернись на минуту от меня и посмотри в даль.

Минуту длилось молчание. Потом отец дал мне ответ.

– Я повторяю, логически ты прав... и я говорю «да». Но с мамой я поговорю сам. Я счастлив, что воспитал такого сына, как ты, я рад, что решил ты итти в армию, но в тоже время мне очень тяжело расставаться с тобой, а смерть твоя, недай Бог, принесет нам вечную печаль. Пойми, Ростик, что все это слишком тяжело.

– О, папа, я буду жить. Обещаю тебе не умереть до тех пор, пока не будут уничтожены большевики.

– Дай Бог, дай Бог, родной мой, но война – не праздник веселья.

Отец и я расстались. У меня теперь было много дел. И главное – увидеть, может быть в последний раз, ту, о которой я думал дни и ночи, образ которой ясен и чист, ту, которая заставляет сердце биться чаще... Она – первая любовь, чистая и непорочная. Она – жизнь юноши – осмысленная и красивая. Её имя Любовь – совмещает и моё чувство к чудной девушке и имя её. И я часто называл её Любовь в квадрате; а когда Люба говорила, что это слишком мало, я повышал степень – Любовь в кубе, четвертой степени, и. т. д., наконец, когда степень приобретала бесконечную величину, я получал разрешение на поцелуй.

Счастье было уже обусловлено. Жизни были уже переплетены чистыми, светлыми чувствами, перспективы рисовались ясными по всей красоте и определенности, не застывая на мещанском уюте. Но вот пришел час, когда жизнь, преломляясь через призму русской революции, должна, может быть на время, резко изменить свой путь, отдалить мирные перспективы или уничтожить их.

Я никогда не говорил с Любой о революции, о Белых и Красных, никогда я не высказывал желания стать солдатом на защиту тех или иных, хотя всегда думал о том, что мои годы уже близки к тому моменту, когда жизнь потребует от меня непосредственного участия в борьбе. И, конечно, я буду бороться против «краснокожих». Но зачем говорить об этом Любе? Ведь не будет по этому случаю никакого конфликта. Не может же быть, чтобы она, дочь инжинера, гимназистка, была защитницей большевиков. Об этом я и думать не мог. Это как-то даже не вязалось – Люба и большевики. Первое – чистое, светлое, красивое; второе – грязь, кровь, уродство!

До рудника, на котором жила Люба, я добрался товарным поездом. Быстро прошел через железнодоржные пути, миновал шахту

и выбрался к рудничному поселку. Дорожки аллеи, ведущей к дому инженера Чередниченко, усыпаны листьями. «Никто не следит за аллеей», подумал я, «Вот сколько листьев, а подметать уже некому. Революция.»

Да, на руднике разгуливал большевизм. Это было заметно по грязи, по беспорядку, по костюмам шахтеров, по задорному тону разговаривавших женщин:

– Довольно угнетать рабочий класс!

– Свобода, мол, господа милые!

– И хоть есть уже нечего, зато в кабалу мы не пойдем и мужей наших в шахту не пустим!

– Зачем революции уголь? А кому нужен – пускай идет в шахту, а мы уж наработались.

Я знал все эти рассуждения, а проходя через рудник, только убеждался в искаженном понятии идеи «свобода» рабочим классом не желавшим больше работать. И действительно, шахта давно уже не работала.

Я подошел к дому Любы. Дом казался пустым. На звонок никто не отозвался. Я решил, что скорее свидеться с милой просто необходимо, ибо времени остается очень мало, и прошел во двор, чтобы через черный ход проникнуть в дом. Тишина двора поразила меня. Я насторожился. «В этом доме что-то произошло», я подумал, «Да, верно, вот и раскрытая конюшня, в которой видно что лошадей нет. Отобрали, вероятно.»

Я подошел к двери. Но и здесь мне пришлось стучать и я долго ожидал отзвука. И когда уже решил уходить, услышал легкие шаги за дверью и лязг упавшего железного крюка, которым закрывалась изнутри дверь.

– Ах, это вы Орест? – удивленно спросила девушка.

В нем почувствовалось искуственное удивление. Видно было, что девушка сначала хорошо изучила, кто стоит за дверью, а затем, даже не спрашивая, открыла. В эти дни так больше не делают.

– Люба, я может быть не во время, но, извините, я еду в Белую армию и пришел проститься с вами.

– Убили ночью папу... Я не могу быть долго с вами – я не могу оставить маму одну... Она чевствует себя плохо...

– Я даже не зайду к вам, – я её успокоил, – За что убили папу? Люба, бедная, вам должно быть очень тяжело...

Прощайте, Орест, я не могу говорить сейчас... – девушка

захлопнула дверь.

Я вопросительно смотрел на дом, в котором скрылась Люба. Прощальное свидание вышло каким-то нелепым, незаконченным, не состоявшимся. Внутри образовался неприятный осадок, стало как-то неудобно, не по себе, почему-то неловко.

Не оглядываясь я вышел не аллею, долго шел, силясь ясно представить себе Любу, что произошло с ней, почему прощальное свидание вылилось в такую неприятную форму, и пришел к выводу, что все это связано со смертью отца. Она не чувствовала самой себя.

Но кто же убил её отца? Конечно большевики. «Месть – еще одна невинная жертва», – подумал я и решил, что напишу ей в письме все, что скопилось на душе за эти дни. Обратный путь я прошел пешком.

– Ну, Ростик, что ты задумал делать? – встретила его мать.

– Воевать, мамуся.

– Страшно ж это, убить могут.

– Да, мама, все в жизни может быть. Даже здесь, сидя в квартире, нет гарантии теперь в том, что мы будем живы. Ты знаешь, что вчера ночью убили инженера Чередниченко?

– Как, Николая Ивановича?

– Да, да. …Вот тебе, мама, без войны.

– Да за что же?

– Разве ты не знаешь? Ведь это дело большевиков!

– Ростик, и к нам прийти могут?

– Не знаю, мама, но все может быть. Вот для того, чтобы было на свете хорошо, чтобы Россия была Россией, а не тем большевистским балаганом, каким она сейчас есть, я и хочу итти на войну. Уничтожить большевиков, мама, нужно, а убить – и здесь могут убить...



ДОБРОВОЛЬЦЫ

Севастополь. Апрель 1920 года. 5-ая Батарея Дроздовской Артиллерийской Бригады. Длинный состав из товарных вагонов стоит на станции. Уже погружены лошади и английские орудия. Артиллеристы уже сидят в вагонах. На перроне по-деловому движутся офицеры, о чем-то серьезно говорят. Командир батареи, в то время еще капитан, Мусин-Пушкин, высокий, смуглый, тонкий, стройный, отдает последние распоряжения. Батарея выезжает на фронт.

Перед капитаном Мусиным-Пушкиным стоят два мальчика. Один – черненький, худенький, с пытливыми глазками карыми, другой – рыжеволосый, краснолицый, широкоплечий, с зеленоватыми глазами. Оба они в английской военной форме. Они стоят перед командиром батареи навытяжку. Правые руки у козырьков их фуражек. Глаза сосредоточенно-серьезны.

– Господин капитан! – говорит мальчик с зеленоватыми глазами, – Добровольцы Вадим Куценко и Орест Гладкий прибыли в ваше распоряжение!

Командир батареи уже знал, что они должны прибыть в его часть, поэтому мальчики не удивили его, и он, ничего не расспрашивая, сказал:

– Хорошо. Садитесь, господа, в вагон... № 18. Сейчас будем отправляться.

– Слушаемся, господин капитан! – произнесли в один голос добровольцы и, повернувшись «кругом марш!», отправились разыскивать свои места.

Мальчики нашли быстро свой вагон, взобрались в него со своими вещевыми сумками, нашли свободное местечко и умостились рядышком.

Солнце уходило на запад. В вагонах полумрак. Солдаты располагались на своих походных сумках, все готовились потихоньку к предстоящей ночи. Разговоры, тихие и спокойные, совершенно не касались предстоящего путешествия. Говорили больше о неудобствах товарных вагонов, вспоминали родные места и близких. Как будто войны не существовало. О ней никто не говорил.

Одного звали Вадик, другого Ростик. Оба они говорили басом,

курили по-солдатски, сплевывая через зубы, во всем подражали взрослым. Они поглядывали некоторое время на незнакомых людей, но вскоре под шум уходящего на север поезда заснули молодым здоровым сном.

Утро встретило солнцем и теплом. Маленькая станцийка приняла состав на запасный путь. Батарея начала разгружаться. Выводились лошади, выкатывались орудия, тачанки, военные повозки, и обыкновенные крестьянские телеги. Складывалось батарейное имущество, вещевые сумки солдат и офицеров. На легких тачанках устанавливались пулеметы. Упряжки лошадей нетерпеливо ждали похода.

Пришло распоряжение командира батареи. Вадик назначался наводчиком в первое орудие, а Ростик – в четвертое. Оба они уже знали английские орудия из учебной команды Артишколы, в которй они пробыли зиму двадцатого года на Северной стороне Севастополя.

Колонна вскоре была готова. Раздалась команда:

– По коням! Марш-ма-а-арш! – и батарея двинулась на запад от станцийки.

Впереди ехал командир батареи на вороном коне, за ним – орудия, пулеметные тачанки с прислугой и своими командирами, шествие замыкал обоз со своей походной кухней.

Солдаты наблюдали новичков добровольцев, мальчиков артиллеристов. Познакомились. Разговорились. Думали, что они сбежали из родительских гнездышек. Но ошиблись. Оба имели согласие от отцов. Защищать шли родину, неся их заветы: «Большевикам не сдаваться!»

Достигнув татарской деревушки Курман-Кемельчи, батарея остановилась. Солдаты расположились в деревушке, офицеры – в недалеко стоящем имении. Здесь начались дни напряженных занятий. Нужно было артиллеристов приучить к английским орудиям, которых в батарее еще никто не знал.

Тыловая жизнь новичков не удовлетворяла. Они с нетерпением ожидали выезда на фронт. Занятия их мало интересовали, так как англигские орудия они изучали в учебной команде Артишколы.

Но пришел час, и батарея двинулась на северо-запад. Добровольцы ожили, повеселели.

Армянский Базар. Последний смотр. Главнокомандующий вооруженными силами на Юге России, генерал барон Врангель, обходит войска, готовые пробить брешь в Перикопе, перескочить исторический вал, выйти на просторы Таврии. Мальчики впиваются

глазами в главнокомандующего. Лица их озарены небывалым счастьем.

Командир батареи дважды предлагал им поехать в офицерскую школу в Севастополь, но они дважды твердо сказали:

– Господин капитан, офицеров много, солдат слишком мало!

В этих словах скрывалось через край бегущее желание добраться до фронта, чтобы принять, наконец, участие в борьбе против большевиков.

Мы, недалеко ушедшие во всех отношениях от Вадика и Ростика, наблюдали их в течение всей Крымской кампании. Мы следили за маленькими солдатами добровольцами, не показавшими себя ни разу детьми. Выдержанность, дисциплинированность, выправка, самое, может быть, главное, самое важное – это дух! Какой прекрасный молодой здоровый дух! Горение! Служение Родине!

Что же заставило этих мальчиков бросить отцовские дома, гимназию, юношеские забавы и увлечения? Что заставило их поменять родительский уют на неудобства походной жизни? Что руководило ими при вступлении в Добровольческую Белую Армию? Не может быть, чтобы они не понимали опасностей войны! Не может быть, чтобы они рисковали своими молодыми жизнями ради хвастовства перед оставшимися гимназическими товарищами! Не может быть, чтобы их родители давали им спокойно разрешение на вступление в ряды Армии! Что же это было? Ведь война – не парад, на котором можно щегольнуть выправкой и чеканным шагом! Ведь война – не гимназический бал, на котором можно вскружить головы гимназисткам уменьем танцевать!

– Я ненавижу большевиков! – говорит один.

Другой ничего не говорит, но глаза его сверкают той самой ненавистью, о которой только что скаsал первый.

Так что же это за такое сильное чувство, которое привело этих двух мальчиков на фронт? Да разве двух? Тысячи добровольцев-детей! Сколько их погибло на полях сражений? Сколько ушло за границу? Сколько осталось в плену? Сколько теперь вырвалось из этого плена?

Так что же это за чувство? Что за прекрасное чувство, заставлявшее детей брать оружие в руки, чтобы бороться с красной нечистью?

Что же это было?

Любовь!

Любовь к отчизне! Любовь к Родине! Любовь к России!

Во имя этой любви дети отдавали всё своё драгоденное—молодые жизни. Они отдавали своё детство. Они жертвовали всей красотой своих юных лет, жертвовали школами, родительской заботой и любовъю, уютом и материнской лаской, потому что они чувствовали своими чистыми сердцами, что теряют ласку и любовь Матери-Родины.

Не страшны пули, не страшны снаряды, не страшны были и те примитивные бомбы, что сбрасывались с «Ильи Муромца!» Впереди —светлая юношеская, идея—Россия! К ней стремились тысячи добровольцев-детей! Добровольцы всех героических Белых Армий на Юге, Севере, Востоке и Западе России: Алексеевцы, Нарковцы, Корниловцы, Дроздовцы, Казаки Кубани и Дона! Деникинцы и Врангелевцы! Колчаковцы! Добровольцы Армии генерала Юденича!

Добровольцы гражданской войны наполненные любовью к отчизне самоотверженно боролись – «За Родину!», «За Веру!», «За Россию!»



ПОСЛЕ БОЯ

Солнце огомным оранжем скатилось к западу, когда батарея снялась с позиций и, вытянувшись в длинную и узкую колонну, медленно двинулась к немецкой колонии, выглядывавшей из-за пригорка зелеными пышными садами и красными черепичными крышами.

Раскаленный день и почти беспрерывный огонь батареи закончились, подходили вечер, прохлада и тишина. Мы уже чувствовали в быстро охлаждающемся воздухе освежающие струи. Всем хотелось отдохнуть, утолить жажду, смыть пот и пыль боевого дня, а потом, может быть, утолить и голод и, наконец, заснуть. Нет, вероятно, больше всего хотелось сначала заснуть крепким, rлубоким сном, чтобы наверстать упущенное, чтобы доспать напряженные, тревожные недоспанные фронтовые ночи. Где? Всё равно, лишь бы лечь, закрыть глаза и потерять сознание, но чтобы завтра проснуться и снова заслышать команду:

– Марш-ма-арш ! – и снова, – Беглый огонь! – и снова, – Вперд и вперед!

Это юношеские мечты. Это детская действительность. На самом же деле мы топчемся на месте в Северной Таврии. Немного вперед, немного назад, а в общем – всё там же, среди тех же немецких причесанных колоний, среди скошенных полей, среди сочных арбузов и душистых дынь. А мысли уносят вперед и вперед! Мы духом сильны, но нас слишком мало!

Батарея выезжает на дорогу. Лошади вздымают пыль, которая серым густым облаком окутывает нас всех и долго еще будет висеть дымовой завесой позади нашей колонны. Больше всего достается, конечно, четвертому орудию, попадающему в самую черную тучу пыли, взбитой всей батареей. Орудийная прислуга, моментально покрывается бархатистым серым налетом, только орудийный начальник поручик Тоглиев-Кущиев едет по стерне, и облако пыли проходит мимо, не задевая его.

Солнце краешком улыбнулось нам в последний раз и опустилось за горизонт. Мы въехали в колонию и сразу же остановились у первых немецких домиков.

Колония была невелика. Она состояла, как большинство немецких колоний, из одной широкой улицы, по обеим сторонам которой было, может быть, по пятнадцати-двадцати дворов.

Ездовые, не распрягая орудийных упряжек, принялись ухаживать за лошадьми, а на нашу долю, после страдного дня, выпала чистка орудий.

Расстелив на земле брезент, я начал с двумя номерами чистить замок, в то время как остальные принялись за ствол орудия.

Враг был недалеко. Из соседней колонии мы ясно слышали красноармейское пение:

«Смело мы в бой пойдем

За власть советов

И как один умрем

В борьбе за зто...»

Нам казалось, что вместе со словами советской песни мы слышали и гулкие шаги марширующей красной пехоты, которая к двадцатому году была уже более обучена и дисциплинирована, чем это было в начале революции, когда вопрос о наступлении или отступлении решался в их цепи голосованием.

К близости противника мы привыкли, знали, что нужно быть начеку, поэтому спешили с чисткой орудия.

Сумерки быстро сгущались, южная ночь охватывала землю, скрытое желание отдохнуть, уснуть, дать усталому телу покой, приближалось к осуществлению.

Вдруг в противоположной стороне немецкой колонии, в расположении седьмой Дроздовской гаубичной батареи после вспышки раздался взрыв. Все насторожились. Кто-то из номеров побежал на разведку, чтобы узнать, что случилось у наших соседей по стоянке и боевых собратьев по 3-му дивизиону Дроздовской Артиллерийской Бригады. Черезе несколько минут наш «разведчик» расказывал, что одну из гаубиц артиллеристы забыли разрядить на позиции, нечаянно «разрядив» её здесь, в колонии. Рассказчик принес с собой несколько круглых железных коробок, в которых сохранялись гаубичные заряды. Одна из таких коробок досталась мне и долго ездила со мной по родной земле уже после окончания войны. В ней я сберегал табак и все курительные принадлежности. Каждый раз, когда я брался за эту коробку, я вспоминал былое, вспоминал и седьмую гаубичную и происшедший случай с «разрядкой» орудия.

Кухня наша, как и следовало прямодушному обозному представительству, не приехала. Да нам и есть, собственно говоря, не

хотелось. Мы так утомились, что, закончив чистку орудия, продолжали сидеть на пыльной дороге и наслаждались прохладой наступающей ночи.

Случай в седьмой батарее, однако, немного нарушил наши планы. Вместо крепкого сна, о котором все мы мечтали, у нас начались разговоры.

Я помню тихую спокойную речь. Кто-то о чем-то мирном говорил. О прошлом. О своей жизни. О своем доме. Все мы слушали, всем нам была близка обыкновенная история выростающего человека. Может быть потому, что эта история была повторением нашей? Ведь почти все мы были безусыми мальчуганами, сменившими недавно гимназические формы на английские френчи. Жизнь у нас у всех была одна, путь у нас у всех был один, интересы недавнего прошлого и настоящего – всё было удивительно похоже. Разница только была в именах, в цвете глаз или волос.

Уже совсем стемнело. Сидевший возле меня рассказчик оборвался на полуслове. Голова его упала на мои ноги. Никто не произнес ни единого слова. Всматриваясь в темноту, я понял, что крепкий молодой здоровый сон овладел всеми, и только я один бодрствовал, ожидая конца рассказа. Конечно, я не смог его дослушать.

Лежавший на моих ногах номер, который только что замолк, не договорив «самого интересного», не позволил мне даже шевельнуться – жалко было мне нарушать его спокойный сон, и я не смог не только умыться, но и встряхнуть с себя пыль, не имел возможности утолить дневную жажду.

Опершись о колесо «моего» орудия, я долго сидел с раскрытыми глазами. Я смотрел в темноту, и взгляд мой перебегал от места вспышки до высоты небес, а мысли... Господи! На что способен доброволец Белой Армии, которому еще не исполнилось восемнадцати лет, который говорил басом, сплевывал по-солдатски через зубы и щелкал каблуками при всяком удобном и неудобном случае?! Ясно, мысли мои стремились вперед и вперед, и я уже был не бомбардир-наводчик, нет, это было для меня слишком мало, а, может быть капитан, полковлик, генерал-майор; я командовал артиллерийским дивизионом, бригадой, командовал фронтом, занимал селенья и города, победоносно входил в родное местечко, приступом брал Москву, Петроград, я видел родную Россию, Родину мою, которой отдавал самые лучшие годы моей жизни...

Черное небо обсыпано мерцающими песчинками драгоценных камней. Я угадываю контуры садов и крыш, слышу дыхание моих боевых друзей, чувствую возле себя их спокойные тела, распростертые

в дорожной пыли, слышу храп лошадей, их звучное жеванье...

Откуда-то из темноты доносится тихое пиликанье кузнечика и едва уловимый шелест листвы. Где-то испуганно вскрикнула птица. Совсем бесшумно и невидимо пронеслась над нами летучая мышь, мелькнувшая трепещущей тенью в черном ночном мраке...

Я заснул глубоким сном...

Предрассветная темень наступала на отдохнувшую землю. Где-то прозвучал одинокий винтовочный выстрел. Ездовой подошел к упряжке, похлопал лошадей, что-то неясное, но ласковое сказал им и застыл возле. Кто-то всхлипнул во сне. Я осторожно переложил голову моего боевого друга на походную сумку, встал и подошел к ездовому. Молча мы скрутили цигарки и закурили, пряча огоньки в кулаки. Светало...



НАТА

К 32-ой годовщине красного налета на станцию Сальково

Это было числа семнадцатого-восемнадцатого октября по старому стилю в трагический 1920 год, когда Белая борьба за Русь святую подходила к печальной развязке на русской земле; когда тысячи людей, одетых в русские и английские шинели, метались по широким осенним степям Таврии, не имея физических сил сдержать бешеный напор конницы Буденного и численно превосходящей пехоты сибиряков. Разрозненные и расстроенные части, вырываясь или избегая окружений, стремились к Перикопу и Сивашам, к Чонгарскому мосту, чтобы на этих двух рубежах естественных укреплений задержать дикие красные орды. В эти тревожные дни мне исполнилось восемнадцать лет.

Во время одного из артиллерийских обстрелов Красной армией, за несколько дней до моего восемнадцатого дня рождения, я получил контузию левой ноги и барабанная перепонка в левом ухе разорвалась от взрывной волны и я потерял слух. Меня перевели в транспортную часть, которая быстро отходила на юг к Черному морю.

Мы мчались на рысях по осенней пыльной дороге к Сивашам. Вправо – железная дорога, влево – необозримая гладь скошенных полей. В настороженной тишине раздается только глухой стук лошадиных копыт о мягкую дорогу и редкие окрики ездовых. Солдаты и офицеры всматриваются в тускнеющую даль. Мысль напряженно ищет выхода: как избежать окружения.

Вправо, по ту сторону железной дороги, уже показались отряды вражеских всадников. Мы переходим в галоп. В полуверсте от станции Сальково, недалко от Милитополя, нас обгоняют с дикими криками обозы. Повозки, тачанки, экипажи мчатся в несколько рядов просто по полю, обгоняя друг друга; с них сбрасывается всякий груз; бегут военные и штатские, сестры милосердия с голубым крестом, люди хватаются за повозки, стремясь с их помощью ускорить свой бег.

Облегченные обозные повозки забегают наперед, переходят на дорогу, задерживая наше движение. Мы влетаем в неглубокий яр. На миг показалось спасение—пехотная цепь лежит в ожидании врага—

офицеры одеты в Белую форму, но большая часть солдат одета в красноармейские шинели. Но это только миг. Промелькнула мысль, что это был, третий Дроздовский пехотный полк поспешно организованный исключительно из пленных красноармейцев. В тот момент, когда мы проносимся через эту цепь, солдаты встают и, воткнув штыки в землю, поднимают вверх руки. Моментально, отряд Красной Конницы Генерала Буденного окружил их и они сдалить без сопротивления.

Выскакиваем из яра. Слева – отряды Красной конницы, достигшей берега Гнилого Болота, начинают закруглять. С каждой секундой надежда на спасение исчезает. Наконец, кольцо сомкнулось. Неожиданно раздался пронзительный крик: «Мы окружены!». Все наши надежды на спасение испарилась в считанные секунды. Водители и солдаты повыпрыгивали из повозок и начали разбегаться во все стороны, пытаясь затеряться в суматохе бегущих людей и испуганных лошадей, тянущих за собой повозки без возниц.

Беспорядочная стрельба, стоны и крики жертв, брань и дикие крики победителей, скачущие всадники в различных направлениях и полная невозможность что-нибудь предпринять заставили меня искать прикрытия. Бегу к стоящей неподалеку бричке. Вспоминаю, что на английском френче слишком яркие погоны. К счастью, на повозке солдатская шинель. Быстро надеваю её на себя, в тоже время оглядывая метущееся поле.

Повсюду скакали Красные всадники и нигде нельзя было спрятаться от них. Прямо на меня несется на пегой лошаденке с шашкой наголо буденновец. Он размахивает шашкой высоко над головой, клинок блестит отражая красные лучи осеннего низкого заходящего солнца. Секунды размышлений. Я нырнул под повозку надеясь, что лошади не двинутся

С невероятной бранью подскакивает всадник. Свист шашки обрушивается на обозную повозку. Прогнившая доска вываливается на землю. Согнувшись под повозкой, думаю: «Я еще жив! Только бы сорвал накипевшую большевистскую злость на телеге, тогда уж не зарубит!»

– Вылазь, Белая сволочь! – раздается грубый приказ.

Я выбрался из своего убежища.

– Ты што, ахвицер?

– Чаво? – отвечаю ему в тон.

– Ахвицер, говорю?

– Мы-та?

Победитель выругался, поддел шашкой солдатские погоны и срезал.

– Садись на бричку, поворачивай и езжай туда, – показал он шашкой на север.

Я сел и начал медленно поворачивать повозку. Буденновец поскакал к новой жертве. Я приостановил лошадей. Повозка находилась как раз против станции, на которой стоял длинный состав, состоявший из товарных вагонов. В середине состава на одном вагоне виден большой черный крест. «Вагон-церковь», – я подумал. Маленький маневровый паровозик стоял под парами обращеный на юг. Вдруг паровоз с одним вагоном отрывается от поезда быстро увеличивая скорость. Из раскрытых дверей уносящегося вагона раздается пулеметная стрельба. Буденновцы заметались, оставив свои жертвы на телегах и бросились за поездом.

Я пользуюсь удобным случаем замешательства, поворачиваю уставших лошадей на юг и мчусь во всю прыть вниз по холму к морю. Вдруг, как вкопанные, они остановились на краю обрыва у Сивашей— я лечу через их головы вниз, скатываюсь по песчаной, почти отвесной стене, зарываюсь ногами глубоко в мягкий песок берега.

Здесь, внизу, тише, спокойнее, пока не видно диких фигур в буденовских шапках. С трудом я поднялся и, несмотря на то, что я хромал, я побежал вдоль берега, как быстро, как я мог с моей контуженной ногой. Двигаться очень тяжело по неровному месту. Ноги вязнут или в сухом песке или в илистом дне. Местами приходится забираться по колено в болото, чтобы обминуть остатки проволочных заграждений. Когда я пробежал тропинку ведущую на станцию, я увидел бегущих людей вниз со ската к реке. Я продолжал бежать вдоль берега пока я не увидел вдалеке домики и свернул на крутую дорожку идущую к ним.

На дорожке я услышал, что сзади кто-то бежит, потом слышу женский голос, полный отчаяния и бессилия: «Помогите, ради Бога...» Оглядываюсь, вижу молоденькая, худенькая женщина в черном плотно-прилегающем пальто с меховым воротничком. Я подбегаю к ней. В погасающем вечернем свете я взглянул на мою неожиданную подругу по несчастью. Её лицо, раскрасневшееся от волнения и усталости, обращено ко мне. Большие голубые глаза, наполненные страхом случившегося, смотрят на меня с немой мольбой о помощи. Не пронося ни слова, схватываю за руку, и мы теперь бежим вместе молча, неизвестно куда, но с удвоенной надеждой на спасение наших жизней.

В песчаном углублении обрыва буденновец расправляется со священником, немного дальше, другой «лихой кавалерист»

дострeливает пожилого офицера, и наша секундная надежда исчезает. К несчастью, нет оружия. Пулю б всадить обоим!. И эта молоденькая женщина дергает в тот момент за руку, когда мысль работает над сверхестественным, – «как спасти?»

Звери так заняты своей добычей,что не замечают нас, и мы бесшумно по песку исчезаем за выступом.

Поднимаясь выше, узенькая тропинка с окаменевшим песком расширилась и полого подымается вверх. Мы ускоряем шаги на твердой почве. Поднявшись еще немного, замечаем крыши, потом маленькие хатки разброссанные тут и там. Постепенно расстилается рыбачий посёлок. Тут едва около полторы дюжины хат. Как мы подходим ближе, мы различаем на противоположной стороне поселка несколько буденновцев на лошадях движущихся между хатами. Мы подбегаем к первой хатке около тропинки. Двери раскрываются, как будто нас ожидали и старый рыбак приглашает нас в дом не спрашивая ничего. Жена рыбака усаживает нас на лавку и приносит большой кушин с водой.

– Передохните немного, – говорит рыбак-хозяин, – а я пойду, посмотрю на дворе, что там делается – и он, оставив нас на попечение жены, вышел.

Мы садимся, жадно пьём воду. Я поднимаюсь посмотреть из маленького окошечка. Хозяйка тоже вышла на разведку. Мы остались вдвоем. Вдруг моя спутница, закрыв глаза, сжимает виски руками. Её лицо бледнеет,она вздрагивает. Я подхожу к ней, беру её осторожно за руку.

– Что случилось? – спрашиваю, наклоняясь к ней.

Она медленно раскрывает глаза, слабо улыбается.

– Ты не беспокойся, уже прошло, – отвечает она.

Теплота её слов пробирается к моему сердцу, а неожиданное «ты» говорит о каком-то плане, созревшем в этой маленькой чудной головке.

– Ты мой брат, а я Ната, – прошептала женщина.

– Я Ростик, – ответил я, не понимая до конца задуманной игры.

В сенцах скрипнули двери и Ната приложила палец к губам в знак молчания. Я вытащил мою коробку с табаком из кармана, положил её на стол и начал скручивать папироску.

Дверь заскрипела и рыбак вошел. «Все спокойно по соседству», – он сказал. «Красные на другой стороне поселка. Теперь бегите туда», – он показал нам почти на самый последний домик подальше от тропинки, – «Там вам спокойнее будет. У них ребеночек естъ, их сын

где-то тут на фронте, Белый он. Старик-хозяин вас примет. И вам способнее будет, как молодым мужу и жене. А моя хата первая, всякий норовит ко мне—Красные скоро сюда прийдут проверять. Идите скоренько, пока спокойно».

Мы поблагодарили доброго хозяина-рыбака и его жену и почти бегом добрались до нового убежища. Нас встретил пожилой мужчина, стоявший у дверей своей хатенки. Сети, развешанные на солнечной стороне жилья, говорили о том, что и теперь еще владелец их ходит на промысел, хотя годы зовут уже на покой.

Старик-рыбак был добр и радушен, чувствовалось, что человеколюбив. Он поздоровался с нами и, как будто зная почему мы пришли, быстро провел нас в свою праздничную комнату, чтобы случайный посетитель не мог нас увидеть. Хозяйка раскрыла двери и, поставив два стула в углу у большой печи, подальше от окон, попросила нас посидеть немного, пока хозяин будет на дворе следить за Красными.

Мы сидели некоторое время молча, прислушиваясь к происходящему за стенами бедной хижины. Невероятно захотелось курить. Я сбросил шинель и направился бегом к первой хате, в которой забыл свой табак на столе.

Я почти достиг её, но в нескольких шагах от неё отчаянная брань остановила меня. За забором, около уборной, буденновец гарцовал на лошади с которой он никак не мог справиться. Красный тоже увидел меня и наверно увидел яркие погоны на английской форме и понял, что я Белый. Я не мог бежать и было негде спрятаться вблизи. Буденновец подгонял свою лошадь, чтобы перепрыгнуть через забор разделяющий нас, но лошадь только гарцевала и никак не хотела слушаться своего хозяина несмотря на пришпоривания.

Извергая град кощунственных ругательств, Красный вытащил револьвер и начал пускать в меня пулю за пулей. «Раз, ...два, ...три, ...четыре, ...пять...» – Я стоял прикованный на месте и считал выстрелы, так как бежать было бессмысленно. Лошадь продолжала гарцевать и Красный не мог прицелиться на меня. Пули то шлепались возле меня, впиваясь в земаю, то тоненько звенели, пролетая мимо.

Вдруг я услышал свист летящего снаряда и инстинктивно упал на землю в сухой бурьян, покрывая голову руками. Близкий и сильный взрыв последовал. Я подумал, «Начинается обстрел с полуострова». Снаряд вгруз в землю и разорвался буквально в нескольких шагах от меня. Я лежал в сухом бурьяне, ожидая, когда рассеется облако вывороченной земли. Когда облако взорванной земли опустилось, я поднял голову и увидел, что буденновец лежал раскинув руки на земле на моей стороне забора. Его испуганная лошадь убегала от места

взрыва.

Я быстро побежал к первой хатке. Испуганный рыбак крестился, открывая мне двери.

– Господи, Боже мой, я думал, что он вас убьет.

– Нет, кажется, не мое время умирать, – ответил я стараясь скрыть мой испуг и добавил гордо, – Но буденновец был убит снарядом наверно выстреленным из Крыма.

– Так вот, что этот взрыв был? – спросил рыбак.

– Я так думаю, – ответил я и поспешил объяснить почему я вернулся, – Я к вам за табачком, забыл у вас на столе.

– Так что же вы, хотя бы френч сняли, – предустерег рыбак, – Красные повсюду – по таким погонам за версту дьяволы стреляют; или хотя бы Василия попросили, его бы не тронули... Они на нас рыбаков так быстро не стреляют, как на вас в военной форме.

– Ничего, хозяин, курить вот захотелось... – я старался оправдаться.

– Это от волнения...

Я предложил ему попробовать мой табак.

– Нет, благодарствую, махорочку я курю, а это не могу, не накурюсь.

Обстрел продолжался. Но снаряды падали теперь дальше на север от поселка, где были сконцентрированы Красные части. Я был прав, Белые обстреливали из Крыма. У меня мелькнула мысль, – может быть воспользоваться замешательством красных и бежать сейчас на Чонгарский мост.

Когда я вернулся во вторую хату, меня встретила встревоженная хозяйка.

– Жена волнуется, идите скорее, успокойте её, – сказала она мне, когда я появился в дверях.

«Жена?» – подумал я, – «Так что же это? Может быть Ната переменила идею говорить, что мы брат и сестра и сказала, что мы муж и жена?»

Вбегаю в комнату. Широко раскрытые глаза, полные тревоги и чего-то еще мне непонятного, встретили меня. Легкая улыбка радости озарила её прекрасное, нежное лицо.

– Снаряд так близко где-то упал... Я хотела бежать... – сказала она дрожащим голосом.

– Куда, зачем? – спросил я, всматриваясь в глубину её

настороженных глаз, и искра чего-то нового, доселе неведомого, проникла в моё сердце.

– Я хотела быть уверена, – она сказала тихо и как будто смущаясь, – не случилось ли с тобой чего-нибудь недоброго....

– Да, Белый снаряд упал недалеко от меня, недалеко от первой хатки, – я сказал это преднамеренно спокойно, чтобы успокоить её, – Но, как видишь, я жив, а буденновец, который старался застрелить меня, убит.

– Ох, Боже! Я чувствовала, что ты был в опасности...

– Я поспешил к тебе, – я добавил, – чтобы сказать тебе мою идею. Как ты можешь слышать, Белая артиллерия начала стрелять из Крыма. Они наверно будут стрелять долго. Красные будут некоторое время в замешании. Теперь хорошее время попробовать ускользнуть без большого риска. Я думаю, мы должны бежать сейчас на Чонгарский мост. – Мне казалось, что я старался убедить не только Нату, но что я старался уверить себя, что мой план был правильным и стоило воспользоваться случаем.

– Нет, Ростик, подождем ночи, я очень устала и не хочу уходить из этого надежного места – умоляла Ната.

– На Чонгар опасно сейчас, – вмешался хозяин, который слышал наш разговор из первой комнаты, – Красные всадники рыскают по деревне. Они стараются быть в безопасности на ночь.

– Но здесь сидеть еще опаснее, – обратился я к нему.

– Нет, нет, Ростик, мы должны подождать! – умоляла Ната, – Хозяйка сказала мне, что мы можем здесь переночевать.

– Ну, хорошо, только ради тебя остаюсь, – мгновенно принял я рыцарское решение не оставлять эту беззащитную женщину на произвол злой судьбы.

Как только наш спор был решен, старый рыбак предложил мне и Нате переодеться. Хозяйка открыла большой сундук полный старой крестьянской одежды. Я снял мой английский френч с яркими погонами, прикрыл брюками на-выпуск английские сапоги, надел русскую рубаху-косоворотку и накинул старенький узковатый пиджачок. «Это одежда моего сына», – объяснила она.

Для Наты она нашла крестьянскую кофту и присобранную юбку. Потом покрыла её голову платочком и умело завязала его по-крестьянски. Когда мы кончили переодеваться, хозяйка сунула шинель, френч и фуржку и одежду Наты на дно сундука, прикрыв своими праздничными одеждами.

Потом она оставила нас во второй комнате, оставив полу-

открытой дверь давая возможность пройти полоске бледного света от мерцащей маслянной лампы поставленной на середине стола в кухне где готовился ужин.

Некоторое время мы следили за обстрелом; снаряды падали всё дальше и дальше от поселка, но, как начало темнеть, стрельба прекратилась.

Вошел рыбак и пригласил нас ужинать. Несмотря на то, что мы целый день ничего не ели, мы не чувствовали голода, и в один голос, поблагодарив радушного хозяина, мы отказались.

Хозяин удалился, оставив нас снова одних. Двери были почти закрыты. Мы слышали говор и звон посуды.

В поздних сумерках я всматривался в лицо моей незнакомки-Наты, желая разгадать её мысли и чувства. Я слышал, как она вдыхала глубоко свежий воздух, временами доносившийся с Сивашей через открытую форточку. Повидимому, и она также смотрела на меня с желанием узнать больше обо мне.

Чтобы прервать молчание, чтобы отвлечься от мыслей, может быть, тяжелых, я спросил, – Как вы попали в эту неприятную историю?

– Не так громко, Ростик, нас могут слышать; и не «вы» а «ты», – потом она добавила со смущением, – Если ты сейчас не привыкнешь, можешь сбиться в другом случае, более опасном.

– О, я думаю, что опасность миновала... для тебя!

– Дай Бог! Ты спрашиваешь, как я попала сюда?. Я ехала из дома в Крым.

– Откуда?

– Я из Бахмута, – не поняв вопроса, ответила Ната.

– Нет, откуда ты ехала сейчас?

– А-а-а! из Ново-Алексеевки... Мой дом далеко отсюда... Там остались родители... А здесь всё очень временно... Видишь, что с нами? Лучше не спрашивай сейчас об этом; если нас поймают, будет безопаснее.

Я подумал, что спутница моя, может быть, решила вернуться в Бахмут, к своим родителям, и поэтому отказалась бежать в казавшийся мне удобный момент, и я спросил:

– Может быть, пересидим здесь окружение и пойдем пешком по домам? Я из Никитовки и провожу тебя до самого Бахмута – сказал это я только с целью узнать, куда она стремилась, так как я сам не допускал и мысли о возвращении домой в этот момент.

– Нет, нет, пока большевики там, я никогда не возвращусь в тот город, – горячо ответила она мне.

– Так почему же ты не захотела бежать со мною, когда из Крыма начался обстрел?

Ната помолчала немного, как бы что-то обдумывая, потом, взяв меня за руку, сказала, – Ты слышал, что сказал рыбак, было опасно.

– Но завтра, может быть, будет еще опаснее?

– Может мы можем попробовать ночью? – спросила она с неуверенностью.

– О нет, ночью с тобой я не рискну!

– А сам?

– Сам? Я же хотел час тому назад бежать.

– Сумасшедший! Вы молодые, все сломя голову летите на опасность, и сколько вас гибнет из-за этого!

Ната сказала это таким тоном, который казалось был не привычным для нее, как будто она сдерживала эти слова очень долго и наконец смогла их сказать громко.

Я тоже возбудился, – Ведь не просто на опасность, а за спасение России!

– Ненужных жертв Россия не требует, – и Ната резко закончила наш разговор, – Ну, на сегодня хватит. – Она встала и подошла к двери.

Во время нашего долгого разговора мы слышали как хозяйка готовила ужин. Стук кастрюлек и запах вареной рыбы соблазняли наши голодные желудки и мы наконец осознали, что мы ничего не ели целый день.

Через полуоткрытую дверь Ната увидела, что молодая женщина с ребенком вошла в хату. «Добрый вечер вам», поздоровалась она с рыбаком и его женой. «Я ожидала когда стрельба остановится—не хотела пугать дитя. Сейчас все спокойно, но Красные всадники ходят из хаты в хату и ищут Белых».

– Ты пришла во-время к ужину, – ответила хозяйка.

Рыбак подошел к двери и, показывая на Нату, сказал молодой женщине: «Сегодня вечером у нас гости, молодые муж и жена». И снова пригласил нас разделить с ними их трапезу. На этот раз мы не отказались от приглашения.

Хозяйка поставила посередине простого самодельного стола котелок с горячей ухой и большой полоник и рядом положила

круглую буханку черного крестьянского хлеба, большой нож и глиняную миску с морской солью. Глубокие глиняные миски и деревянные ложки уже были на столе. Рыбак взял миску и налил себе полный полоник ухи и передал полоник мне; я последовал его примеру. Ната налила себе после меня а хозяйка и невестка были последними.

Потом рыбак отрезал себе большой кусок хлеба от буханки и передал их мне, а я Нате. Когда каждый имел еду перед собой, рыбак наклонил голову и все последовали его примеру. Мы все выслушали его молитву и, сказав «Амин», перекрестились. Ели молча; никто не спрашивал нас ни о чем. Кто, почему и откуда мы? Было ясно, что эти вопросы лучше было оставить несказанными. Но после ужина рыбак предупредил меня, «Красные всадники могут прийти и нам лучше быть готовыми».

Рыбак сказал мне сесть на одной из трех лавок стоящих у стены, подальше от входной двери. Хозяин достал старые простые ботинки и деревянную коробку с инструментами и сказал, «Ты будешь Николка. Когда неожиданные гости прийдут, начинай отдирать подошву. Потом он обратился к Нате и сказал, «А ты будешь...»

– Ната, – быстро подсказала она.

– Ну, хорошо, Ната, ты будешь молодой матерью, – Ната кивнула в согласие, – Марья, – обратился он к жене, которая убирала со стола, – повяжи ей платок и посади её на кровать, – потом, обращаясь к своей невестке сказал, – Молодайка, дай дитё женщине, пусть себе няньчит, а ты найди себе что-нибудь починять».

Хозяйка повязала голову Наты беленьким платочком, как это принято в крестьянских семьях, и, усадила её на громадной семейной кровати. Невестка дала Нате грудного ребенка и принялась что-то шить.

Себе рыбак принес со двора сети для починки и положил их перед средней лавкой рядом со мной; третью лавку он оставил для непрошенных гостей. Они сделали все это так быстро и умело, что мне показалось, что они наверно уже делали это много раз раньше. Это была точная картинка бедной рыбацкой семьи занятой вечерней работой.

Нам не пришлось долго ждать—едва мы успели занять свои места, послышался конский топот возле хаты, и через минуту, не стуча, ввалился молодой буденновец.

– Здарова, рыбачки, – дружественно приветствовал он нас, – беляков-та у вас нетути?

– Откуда они у нас будут? – спокойно спросил хозяин, – Как

видишь, самим поместиться негде!

Усевшись на свободной скамье около двери, красноармеец начал вытаскивать из карманов кавалерийской шинели пару яблок и стал угощать всех нас. Он с гордостью рассказывал, что их кавалерийская часть «отобрала» эти яблоки у одного богатого татарина, везшего несколько корзин в Мелитополь на базар. После этого объяснения мы все вежливо отказались от яблок.

Буденновец был болтливым малым, он с таким удовольствием хвалился о «героических подвигах» своего отряда – в духе ограбления бедного татарина – и, вероятно, рассказывал скорее для удовлетворения своего собственного честолюбия не замечая, что его никто не слушал. Мы же все были так поглощены своими мыслями и страхом и только ожидали когда он наконец уйдет.

Рыбак заметил, что я не по-сапожнически вожусь с ботинками, «Николка, брось обужу, сети починяй, они нам нужны, когда следующий раз пойдем ловить рыбу, – сказал он, кладя веревочную охапку передо мной, – Проверь их!» – и он переложил часть сетей от себя, покрывая мои военные сапоги, которые слишком явно торчали, как на-показ. Я не знал, как приступить к новой работе и бесцельно перебирал сети, изредка поглядывая на Нату. По временам она бросала взгляды на меня и наши взоры тогда встречались.

Иногда, парень поглядывал на Нату. Чувствовала ли она его взгляд или волнение страшной встречи с Красным солдатом сказывалось на её лице – оно горело, было красным, как маков цвет. Её веки были почти прикрыты и, наклонив голову, она смотрела на младенца, поддерживая одной рукой его головку а другой держа соску, которую младенец уже не сосал.

Я тоже наблюдал за Натой. Только я мог понять тревожность в её взгляде и душевное волнение, которое она чувствовала в тот момент. Наивному наблюдателю она бы показалась молодой счастливой матерью полной нежной любви к своему младенцу.

На некоторое время моя романтическая фантазия отвлекла мое внимание от действительности – опасности, в которой я и Ната находились. Я видел только идиллическую картину—она была достойная кисти гениального художника – только он мог бы запечатлеть своей кистью молодую русскую женщину во всей величии её возбужденной красоты, её необыкновенную обаятельность, нежность и, вместе с тем, простую очаровательность, её скромность, стыдливость, доброту сердечную и печаль душевную...

В тот момент мне хотелось, чтобы не было войны, чтобы жизнь русская шла старой стезей, а в бедненькой рыбачьей хатке на большой простой кровати вот так сидела моя жена, Ната, с моим, с нашим

ребенком... В этой поэтической фантазии я представлял мою любовь и счастье с Натой.

Разве бедность могла бы нарушить счастье любви? Ведь не золото делает счастье?! Ведь дороже любви всеобъемлющей нет ничего на свете, все богатства мира в сравнении с ней – ничто! Не купишь её, не продашь, но если её подарит судьба-покровительница, человек обретает великое Счастье.

И в бедной рыбацкой хатенке зажгутся тогда изумрудами, смарагдами, диамантами две жизни, серебром и златой украсятся закопченные стены, жалкое жилье превратится во дворец мраморный, и Гнилое Болото Сивашское станет морем спокойным, безбрежным, с чистой, прозрачной водой.

Но жизнь сейчас не поэзия, не сказка. Одетый в красноармейскую форму, в буденовке с красной звездой сидит рядом буденновец, один из тех, кто несет злой Рок России, грабитель, убийца, палач русского народа, уже разрушивший его миллионное счастье.

Не безразличным становится присутствие болтливого парня. Я смотрю прямо в глаза моей Наты и вижу в ней мою бедную Родину, истекающую кровью в неравной битве, и нарастает желание вскочить с моего низенького сиденья и положить жизнь мою за нее вдруг охватывает меня...

– Николка, соску найди, малый упустил, – позвала Ната, прервав меня от этих видений и принесла мои мысли к настоящему, отрезвив меня от загоревшегося желания обрушится на красноармейца. Я поднял соску с глиняного пола. С тревогой и мольбой посмотрела на меня «молодая мать» и я покорно уселся за сети.

В тот момент, не подозревая напряженное состояние всех в комнате, буденновец поднялся и попрощался с нами, «Ну, спокойной ночи всем вам!» И вышел.

Рыбак посоветовал нам остаться еще на наших местах, «Возможно, что еще другие прийдут. Они будут не так подозрительны, если мы сидим здесь все вместе. Я выйду во двор и посмотрю, что там делается.»

Я тоже поднялся, но рыбак сказал мне остаться в доме и объяснил, «Для вас безопаснее здесь; в поселке не осталось много молодых мужчин. Некоторые, как мой сын, пошли с Белыми, другие прячутся, чтобы их Красные не призвали.»

Прислушиваясь ко всем подозрительным звукам, я и Ната обменялись только несколькими словами. Хозяйка и невестка говорили тихо между собой. Напряженность ожидания протягивала

время. Рыбак возвратился и только сказал, «Они идут...» и уселся опять починять сети. Я последовал его примеру.

Сразу же два молодых буденновца зашли и приветствовали нас, «Здарово! Беднячки-рыбаки!». Старик рыболов ответил за всех нас. Один из них сказал, «Мы Буденновцы, мы выгоняем Белых и скоро освободим Крым!» Мы все слушали молча.

Буденновцы сели на скамейку, вытащили свои винтовки и начали играясь показывать, что они знают как их употреблять, и закончили их спектакль чистя и полируя их. Они шутливо улыбались двум молодым женщинам и хвастались, как они храбро «притеснили Белых к морю». Рыбак только кивал головой, а остальные слушали молча.

Рыбак заметил, что я бесцельно ворочал сети не зная, что с ними делать. Он встал и сказал мне, что это можно сделать завтра при дневном свете, и дал мне опять старые ботинки, чтобы я посмотрел, можно ли их починить. Я положил сети на глиняный пол, оставив часть их покрывать мои сапоги, и начал смотреть со всех сторон старый выношенный ботинок, как будто оценивая возможность дать им еще послужить, сделать их еще полезными.

После того, как буденновцы окончили чистить свои оружия, они попросили хозяйку дать им напиться воды. Они посмотрели на большую семью, о чем-то посоветовались между собой и соглашаясь кивнули головами. Потом один из них сказал рыбаку: «Слишком много у вас людей в хате – мы пойдем искать другое место для ночевки».

Когда буденновцы ушли, старый рыбак сказал жене устроить меня и Нату в другой комнате. Она принесла масляный каганец и поставила его на лавку. Потом взяла с полки два старых одеяла и подушку наполненную соломой и положила их на лежанку встроенную в стену, которая огревалась печкой из кухни и, приготовив постель, материнским тоном приказала:

– Спать идите на лежанку, там теплей будет и спокойней. Не тревожьтесь, вас здесь никто не обидит. А каганец будем тушить, нехорошо сейчас светить в такой поздний час. – И глубоко вздыхая добавила, – Я только надеюсь, что какая-нибудь милостивая душа даст приют моему сыну, когда он будет нуждаться.

Она дала нам время залесть на лежанку и пожелала нам спокойной ночи.

Когда она уходила из комнаты унося лампу, мерцающее желтоватое пламя рисовало неясные движущиеся тени на противоположных стенах.

– Посмотри на эту тень, – показала рукой Ната, – как уродлива и бесформенна она, она похожа на нашу жизнь. – Слабый огонек метнулся в сторону, и тень бросилась вокруг комнаты и ринулась на нас, ослабела и растворилась в темноте.

– О нет, Ната, жизнь не тень. В ней много уродства, но еще больше красоты. Только люди не всегда видят её и часто не могут красоту эту открыть даже в себе.

– Ты думаешь? – задумчиво, но с сомнением спросила она.

– Скажи мне, ты видишь красоту в себе?

– В себе? Красоту? Я слишком обыкновенная, слишком заурядная, Ростик!

– А я вижу твою красоту! – ответил я пылко.

– Очень темно здесь, – смеясь, но остроумно, сказала она.

После моего откровенного признания мы лежали рядом некоторое время прислушиваясь к тишине наступающей ночи, готовые каждую секунду бежать, но не зная куда. Сначала мы молчали. Успокаивая Нату, я держал маленькую нежненькую ручку моей неожиданной «жены», гладил её атласную поверхность, целуя по временам её пальцы и ощущая едва уловимый аромат её кожи. Искра в моём сердце разгоралась мне хотелось разгадать, кто совершил над нами этот фантастический брак? Сказала ли Ната хозяйке, или хозяйка сама изобрела историю нашего супружества, чтобы лучше скрыть нашу маскировку. Было ли это случайностью или предначертанием судьбы. Мне хотелось разгадать мысли моей «жены» и спасти её во что бы то ни стало.

Становилось настолько жарко на лежанке, что Ната, нарушив молчание, попросила перенести пашу постель на глиняный пол. Мы тихо переселились вниз на холодную глину. В окно заглядывала луна и её свет, таинственный и возбуждающий, озарял лицо моей подруги. Я, всматриваясь в её правильные прекрасные черты, в блестевшие глаза, очерченные линиями длинных ресниц и тонких строгих бровей, в четкие контуры полураскрытых губ, напоминавших распускающиеся лепестки розы, вдыхал её молодость и свежесть... Искра в моем сердце разгоралась в пожар бушующий и неудержимый, и мне казалось, что в эту ночь мы сгорим в пламени великой любви.

Ната молчала. Ждала ли она слов или безмолвной ласки, думала ли она о прошедшем или о будущем, искала ли она выхода из невозможного или решала отдать себя счастливому случаю спасения, думала ли она обо мне в эту минуту или мысли её были далеко в степях Таврии? Я не знаю, но пламя большого чистого чувства вырвалось у меня наружу, и я впился в её чудные маленькие губки...

Я нежно целовал её, гладил шелковистые волосы, говорил волшебные слова; я осторожно ласкал её, как будто она была из китайского тончайшего фарфора, и чувствовал, как она отвечала мне нёподдельной женской радостью...

Мы горели. Мы забыли, кто мы, где мы и почему мы здесь, в этой бедной рыбацкой хатке. Жестокий день растаял в лучах любви, нектар её пьянил и увлекал в таинственную даль небытия... И мы могли бы сгореть в разбушевавшемся океане наших страстей, если бы Ната не шепнула мне вдруг:

– Ростик, родной мой, я замужем...

Услышав эти слова, я сразу встал. Было далеко за полночь. Луна попрежнему ярко смотрела прямо в окно, но её волшебство исчезло. Я был сражен, уничтожен. Моя мечта, идеально чистая и красивая, выросшая вот только несколько часов тому назад, разбилась на тысячу мельчайших кусочков и острые осколки её пронезали в тело, теснили грудь, кололи сердце, и с болью пробирались в глубину моей души. Казалось, тысячи ран кровоточили, наполняя физической болью весь организм. Я почувствовал сильнейшую усталость и пустоту. Нервная дрожь пробегала по телу.

Но мне хотелось поблагодарить мою милую Нату за те чудные мгновения счастья, которые она подарила мне, и я, став на колени, склонился к ней. Крупные слезинки заблестели на её тёмных ресницах. Я тихо поцеловал её.

– Прости меня, Ната, я не знал... я даже не подозревал.

– А я не могла сказать тебе раньше, Ростик... Но взрыв чувств мог завести нас дальше... Это было бы несправедливо—я люблю моего мужа.

– Да, я понимаю тебя, Ната, ты стараешься соединиться с ним. Я буду счастлив, если сумею помочь тебе выбраться отсюда к нему. Я не оставлю тебе ни на миг, пока мы не доберемся до Крыма.

Кто-то осторожно постучал в окно соседней комнаты. Рыбак, как видно, тоже не спал. Я приоткрыл нашу дверь в кухню и увидел, что он, не спрашивая, открыл дверь. Вошел высокий статный человек в Белой военной форме. Он тихо попросил хозяина может ли он помочь ему переодеться в обыкновенную одежду. Я понял, что это был кто-то свой, Белый, и вышел. Человек вздрогнул.

– Не беспокойтесь, я уже переоделся, но не рискнул бежать с женой, – сказал я ему и представился.

– Я генерал Попов, начальник Красного Креста, – произнёс пришелец обрадованным голосом, – Помогите мне, я хочу сейчас

бежать, чтобы до рассвета добраться до Крыма.

Рыбак начал копаться в большом сундуке, извлекая подходящие брюки и пиджаки для генерала. Ночью на дворе было очень свежо, и я предложил генералу английскую шинель со срезанными погонами.

– Лучше попасться солдатом, чем генералом, – смеясь, сказал он, а в крайнем случае сброшу в Сиваш.

Он снял с пальца золотое кольцо и протянул рыбаку.

– Господь с вами! – воскликнул хозяин. – Не возьму я, бегите скорее, послал бы Бог вам удачу!

Но генерал положил кольцо на сундук.

– Ну, тогда сохраните его, ведь бежать с ним опасно. Если я доберусь благополучно до Крыма, оно мне не будет нужно. Если Красные поймают меня, они заберут его у меня, так или иначе, оно будет надежнее если я оставлю его у вас.

Мне генерал вручил свой бумажник с документами и деньгами и попросил меня, как только я доберусь до Джанкой, спросить о нём в комендатуре.

Мы пожелали генералу счастливого пути, и он, спустившись к Сивашам, быстро зашагал по дороге на юг.

Через несколько минут раздался снова стук, такой же осторожный и тихий. Хозяин, также не спрашивая, открыл двери. Большой широкоплечий человек казалось, заполнил собою всю комнату. Это был полковник, фамилию которого я, к сожалению, забыл. Он тоже просил помочь ему переодеться. Выло это уже труднее, так как костюмов таких размеров не находилось. С большим трудом мы натянули какие-то старые брюки и теплую куртку. На голову полковник надел кепку, которую предложил ему рыбак. Ночной посетитель, превратившись в бедненького мужичка, ушел по следам генерала.

Приходили еще солдаты и офицеры, но мой хозяин был так находчив, что каждого умел переодеть, нарядить так, что никто бы не сказал, что эти люди военные. Я был в восторге от его русской христианской души, спасшей, вероятно, немало человеческих жизней.

Из светлеющей полоски на востоке начали пробиваться золотистые лучи солнца. Начинался день. Тревожные мысли бесконечным потоком сменяли одна другую. Я искал выхода как спасти Нату. Я сидел возле неё и, любуясь её красивым лицом, немножко бледным и усталым, шептал:

– Пусть будет стоить это жизни, но я спасу тебя, я вырву тебя из рокового кольца. Ты снова встретишь своего мужа и Господь

благословит вас на счастливую жизнь...

Ната лежала с закрытыми глазами, но она не спала, она слышала мой бред, бред сумасшедшего, опьяненного, пораженного великим чувством и, открыв глаза, спросила:

– А ты?

– Я? Не знаю, Ната. Такой женщины, как ты, я, вероятно, никогда уже не встречу. Такой любви никогда не познаю. Если суждено мне остаться в живых, имя твоё мне будет свято, и в молитвах своих буду всегда просить Всевышнего, чтобы Он охранял тебя от зла.

– Выйдем на свежий воздух, я хочу отрезвиться немножко от бессонной ночи, да и душно здесь, – попросила она.

Мы вышли. Первые лучи показавшегося солнца ласкали Нату. Её озарённое ярким светом лицо было еще красивей, еще прекрасней, и я благодарил судьбу, пославшую мне счастье быть вблизи неё, слышать немного минорную мелодию её голоса, ловить взволнованное дыхание её груди.

Было еще тихо. Казалось, все замерло в глубоком сне. Вокруг – ни души. Мы пошли к песчаному обрыву к Сивашам на разведку, что там происходит. Не было признаков присутствия ни буденновцев, ни Белых.

– Может быть, сейчас? – спросила Ната.

– Нет, рисковать твоей жизнью я не имею права...

– Но когда же? Ведь сейчас никого нет...

– Нет, Ната, я должен быть уверенным, что никого нет и не будет до тех пор, пока мы не доберемся до Крыма.

– Когда же это будет? Ведь нет никого кругом.

– Я думаю, что скоро всё выяснится. Ведь если вчера Белые успели подвезти артиллерию на позиции, чтобы достичь за поселок, то сегодня они, вероятно, что-нибудь предпримут, – сказал я с выражением полной уверенности.

Стоя на краю песчаного обрыва я мог видеть узкую, песчаную извилистую дорогу ведущую в Крым.

Посмотри на дорогу. Видишь, по обеим сторонам канавы?

– Да, вижу.

– Это сточная канава для дождевой воды. Нам придётся следовать дорогу некоторое расстояние пока мы не достигнем Чонгарский мост. Смотри, если нам придётся бежать во время перестрелки, или кто-нибудь начнет стрелять на нас, не беги по

дороге, а иди вниз и беги только по канаве; да и, может быть, придётся лечь и пробираться ползком. Держись близко ко мне, слушай меня всё время и исполняй всё, что я тебе буду говорить. – С высоты обрыва я мог видеть и обдумывать все возможные альтернативы нашего побега и я предупреждал Нату о всём, что могло случиться. И я закончил уверением, – Я верю, что нам удастся пробраться в Крым.

Мы вернулись в домик рыбака. В пытливом напряжении время шло мучительно долго, и только далеко за полдень мы услышали стрельбу из Крыма. Снаряды падали на север от поселка. Рыбак за это время узнал от других в поселке, что все буденновцы ушли ночью отсюда.

Я решил, «Сейчас правильное время попятаться бежать».

– Ната, готовься! Время уходить! – бросил я ей «приказ».

– Хозяин, мой френч и фуражку! Я буду чувствовать себя безопаснее в моей форме.

Рыбак вытащил из сундука мой английский френч и фуражку. Ната одела свою одежду и пальто. Когда рыбак складывал обратно свою старую одежду в сундук, он рассуждал, «Если сегодня вечером другие гости прийдут, которым понадобиться переодется из Белой формы, мы сможем одеть еще одного выглядеть как рыбак».

Через несколько минут мы были за дверями хаты.

Прощаясь, мы горячо благодарили рыбацкую семью за их гостеприимство, приют в их рыбацкой хате, за еду, которую они разделили с нами, и за то, что они спасли наши жизни. Я сказал, «У нас нет ничего ценного дать вам за всё ваше беспокойство».

– Милостивый Бог! Мы ничего не хотим от вас, – ответил рыбак.

И его жена добавила, – Каждая мать сделала бы тоже самое, надеясь, что её сын получил бы такой прием от другой матери.

Ната обняла хозяйку и пожелала ей, чтобы её сын возвратился скоро домой невредимым. Рыбак благословил нас и пожелал доброго пути, и мы стремглав бросились вниз, к дороге на Чонгар. Выходя из хаты, Ната сказала мне, – Какие простые и добрые люди еще есть в России! Они даже не спросили нас заплатить за всё , что они нам сделали. Они помогли нам только потому, что нам была нужна помощь.

– И кто знает сколько будет других, кому они помогут в эту ночь... и завтра... и послезавтра! – я добавил.

Как только мы достигли дорогу на Чонгар, мы могли видеть железную дорогу и Чонгарский железнодорожный мост, который шел

прямо через Сиваши от материка до Крыма. Мы должны были бежать через тот мост и мы направились по дороге ведущей кнему. С дороги мы могли видеть, что не было никакой стражи на этой стороне, что было хорошим знаком, что наверно, Красных там нет.

Это заключение уменьшило нашу осторожность и почти погубило нас. Вдруг пули засвистели над нашими головами и мы наклонились, прыгнули в канаву. Бросая отрывистые слова, согнувшись, мы бежим по глубокой канаве. Ната дышит тяжело и боюсь, что она отстанет. Я схватил её за руку и начал тянуть её за мной. Застрочил пулемет. Пули взбивают дорожную пыль впереди нас. Я приказал ложиться. Потом, надеясь, что стрельба была не от Красных, я решил рисковать и показать знак, что я сдаюсь. Я вынул носовой платок из камана, перевязал фуражку и приподнял её выше дороги. Пулемет смолк и мы продолжаем лезть нагибаясь к земле.

Вдруг канава расширилась и углубилась и мы оказались в глубокой свеже сделанной траншее.

– Еще немножко –нас, кажется, заметили... Будь спокойна, мы уже спасены, – обнадеживаю её.

Ната тяжело дышит, но старается не отставать на буксире, чтобы не замедлить нашего стремления вперед. Вдруг мы слышим, « Стой! Кто идет?» Перед нами вырастает фигура часового с револьвером направленным на меня. Мы оба узнаем наши формы Белых. Часовой зовет своего офицера и я рапортую мой ранг и часть.

– Фамилия командира? – настаивает офицер.

Я отвечаю.

– А это кто? – указывает, он на Нату.

– Я жена офицера, – решительно отвечает Ната за себя, – мой муж... – она отвернула голову от меня и прошептала офицеру фамилию своего мужа и часть, в которой он служил. Потом, показывая на меня, она сказала громко, – Он сопровождает меня. Мы пытаемся перейти через мост.

– Пожалуйста, Мадам, вы можете спокойно пройти по траншее. После неё будет место не принадлежащее никому—и вы будете на собственную ответственность. Счастливого пути! – и офицер приказал солдатам, – Пропустите этих людей!

Мы прошли через короткую траншею охраняемую только полудюжиной солдат. Траншея окончилась в натуральной впадине в песке. После этого, на самом деле, было место не принадлежащее никому.

Моя контуженная нога, которая улучшилась во время

пребывания у рыбака, начала болеть опять. Начинало темнеть, когда мы подошли к мосту.

Дорожка для пешеходов на Чонгарском железнодорожном мосту была очень узкая с широкими промежутками между планками и мы должны были быть очень осторожны ставить ногу на правильное место. Дул сильный северный ветер и в каждый момент угрожал сдуть нас в воду. На мне был только мой френч пиджак и я промерз до мозга костей. Теплое пальто с меховым воротничком едва сдерживало проникновение холода у Наты и она вздрагивала при каждом сильном леденящем порыве ветра. Но она старалась не показывать вида, что она мерзнет.

Мы держались друг за друга; я помогал ей поддерживать равновесие а она помогала мне не соскользнуть вниз с моей контуженной ногой. Нам казалось, что мы никогда не сможем достигнуть далекого конца моста. Иногда Ната спрашивала, «Как далеко нам еще итти?» Когда мы наконец ступили на твердую землю, мы обняли друг друга с облегчением. Только тогда мы ясно поняли, что было поздно ночью и что дружественная луна освещала нашу дорогу, когда мы переходили через Чонгарский мост.

Моя нога к этому времени напухла и я волочил её по земле. Я опирался на Натыну руку и она старалась поддрживать меня на сколько её силы позволяли ей это.

За полночь мы добрались до какого-то маленького хутора с несколькими крестьянскими хатками тесненько стоящими одна около другой. Мы долго искали свободного местечка, чтобы погреться и отдохнуть, но, казалось, напрасно. Все хатки были переполнены людьми спящими на полу прямо до входной двери. Наконец, мы наткнулись на какое-то летнее сооружение, которое оказалась летней кухней. Красные огоньки мерцали в большой кухонной печи. Слабый лунный свет еле-еле проникал через маленькое окошечко, но его было достаточно, чтобы найти маленькую пустую скамью недалеко от печи.

Местечка оказалось мало, только присесть можно было у раскрытой дверцы печи. Мы примостились и начали раздувать огонь, подбрасывая солому, чтобы согреть иззябнуашие тела. Но грубая брань солдата, лежавшего на печи, заставила нас уйти оттуда. Оказывается, в темноте мы его не увидели и чуть не «поджарили».

Пройдя еще несколько хат, мы все же нашли одну, которая показалась нам совершенно пустой. Слабый свеет лунной ночи едва пробивался в маленькие оконца, но его было достаточно, чтобы рассмотреть скудную обстановку. Справа стояла длинная и узкая скамья, слева – большая крестьянская печь, от которой веяло теплом, так необходимым нам, промерзшим и усталым. Мы тихо передвинули

скамью к печи и улеглись один около другого, наслаждаясь теплом, спокойствием в безопасности от Красных и тишиной.

Не знаю, спали ли мы, скорее забылись, почувствовав безопасность. Но как только рассвет забрезжил, мы очнулись в одно и то же время и услышали глубокое дыхание людей в маленькой комнате, которая наполнилась ночью дополна—не осталось пустого места даже на глиняном полу. Мы осторожно прошли между спящими людьми и вышли во двор.

Резкая прохлада раннего утра встретила нас на дворе. Солнце начинало только показываться на горизонте, предвещая теплоту дня. Мы направились по широкой разъезженой дороге на юго-запад, стремясь добраться до железной дороги. К полдню соленая крымская степь пестрела группами беженцев. Все стремились к железнодорожной станции и к маленькому городу, где они надеялить узнать о положении на фронте и, может быть найти проезд к большему городу, где они могли бы легче замешаться в толпе, если Белые не смогут остановить дальнейшее продвижение Красных.

Конечно, мы говорили всю долгую дорогу, но о чем? Не знаю. Знаю только, что переход через Чонгар давал себя чувствовать на моей ноге, которая опухла так, что я почти не мог итти. Меня бросало то в жар то в холод, несмотря не то, что было довольно тепло на солнце. Спутница моя начинала беспокоиться, а я начинал замечать, как иногда сознание ускользает от меня. Когда с её помощью мы подходили к маленькой железнодорожной станции Таганаш, я уже плохо понимал, что говорила мне Ната.

Я только помню, как она кому-то сказала, что она жена офицера и что она старается найти его. Как в тумане, я услышал её голос на станционном санитарном пункте требующий кого-то поместить меня в госпиталь в Джанкой.

Я помню, как она попрощалась, «Досвиданья, Ростик!» и я сделал последнее усилие, провожая взглядом дорогую мне женщину, внезапно ворвавшуюся в мою походную жизнь, зажегшую во мне пламя первой любви и одарившую меня несколькими часами счастья. И я исступленно крикнул, «Ната, не уходи!» И сразу-же потерял сознание.



ПОРАЖЕНИЕ В КРЫМУ

Переход через Чонгарский мост сказался на моей контуженной ноге, она так распухла, что я больше не мог на нее наступать. Только с помощью Наты, моей компаньонкой по несчастью, мне удалось достичь станции Таганаш. Словно сквозь туман я слышал её голос, просящий кого-то на станционном санитарном пункте поместить меня в госпиталь в Джанкой.

После нескольких дней в маленьком госпитале на станции Танагаш, высокая температура спала, и состояние моей ноги немного улучшилось, но я все еще полностью не пришел в себя и был переведен в гораздо больший военный госпиталь в Джанкой. Там я постепенно начал осознавать, что происходит вокруг меня. Звуки артиллерийского обстрела слышались все ближе и ближе к Джанкою. Находясь еще в полусознательном состоянии, я все же держал ухо востро: «Откуда идет обстрел?» Благодаря предыдущему армейскому опыту и боевой подготовке мои чувства постепенно приходили к полной готовности, и вслушиваясь в комментарии других раненных солдат и наблюдая за тем, что они делали, заставили меня быть начеку.

Однажды я заметил, что те больные и раненые, кто был в состоянии двигаться, стали подниматься со своих кроватей, поспешно одеваться и двигаться по направлению к выходу из госпиталя. Как во сне, я последовал их примеру и оказался на железнодорожной станции.

По дороге я слышал, как один из убегающих раненных говорил: «Можно считать битву за Крым потерянной. Это будет такая же катастрофа, как в Новороссийске, где сотни офицеров, солдат и беженцев не успели на отходящие корабли и попали в плен к Красным, которые жестоко расправились с ними безо всякого суда». Я понял, что мне нужно попробовать сесть на поезд на Феодосию, чтобы там перезимовать у дяди Петра.

Когда я достиг железнодорожной станции Джанкой, на станционной платформе уже толпилось множество народа, и я узнал, что Красные уже нарушили железнодорожное сообщение, и, следовательно, поезда на юг больше не шли. Я решил, что идти пешком одному будет безопаснее, чем в компании больных и

раненных солдат. Я пошел по рельсовой колеи, предполагая, что она выведет меня в правильном направлении. Из-за больной ноги я шел медленно, но равномерно, не останавливаясь на отдых. Мне хотелось уйти как можно дальше от красных до того, как моя нога опухнет опять и мне прийдется останавиться на долгий отдых.

Когда я оказался в окрестностях железнодорожной станции Грамматиково, нога распухла настолько, что я не мог идти дальше. Я остановился у стрелочного пункта и попросил стрелочника переночевать в его будке. Как рекомендацию я упомянул, что я был племянником Петра Макаровича Гладкого, начальника станции в Феодосии. Но было ясно, что упоминание имени дяди сделало только хуже—Красные могли быть здесь каждую минуту и стрелочник не хотел иметь дела давать убежище родственникам бывшего начальника. Я просил и умолял его, но все – безрезультатно. Тогда я предоставил ему ультиматум: «Я больше не могу идти, и поэтому если вы меня не пустите к себе, я буду спать прямо здесь, у входной двери». И я уселся на ступеньки. Спустя некоторое время вышла жена стрелочника, пригласила меня войти, дала напиться воды и показала мне на лавку на которую она положила старое одеяло.

Переночевав, ранним утром я направился к маленькому городку Старый Крым, расположенному примерно в ста четырнадцати верстах от станции Джанкой. Мой дед по отцовской линии жил в этом городке, и я собирался остановиться у него на несколько дней, чтобы дать отдых ноге прежде чем двигаться дальше к Феодосии. Мне пришлось итти несколько дней, пока я добрался до городка, и по пути я останавливался на ночь на железнодорожных станциях. Чтобы прокормиться, я обменял свои военные сапоги, которые я все равно не мог носить из-за распухшей ноги, на пару разношенных старых ботинок большего размера, немного хлеба и сухих фруктов.

Поздно к вечеру я дошел до дома моих бабушки и дедушки. Красные еще не дошли до Старого Крыма. Мой дед, Макар, был рад меня видеть, и мы долго разговаривали о ситуации в Крыму и о том, что мне делать в ближайшем будущем. На бабушку Елену мой приход оказал менее приятное впечатление, особенно когда пришло время меня кормить. Она подала скудный обед, который был приготовлен на двоих и который теперь пришлось делить на троих. Обед представлял собой водянистый суп с плавающими в нем несколькими кусочками овощей, оставшимися, как она сказала, из того, что они вырастили за лето на огороде. Затем она аккуратно поделила на три части горсть сухариков, чтобы намочить в супе. После стольких дней быть голодным и довольствования только черствым хлебом и сухими фруктами, я съел горячий суп с огромным удовольствием. Бабка Елена опасалась, что я могу остаться у них надолго и что им придется меня

кормить. Она прямо об этом жаловалась за обедом и без конца повторяла, что у них нет достаточно еды для них самих, и я почувствовал себя виноватым в том, что отнимаю у них еду.

На следущее утро бабка не встала с кровати, стонала и жаловалась на недомогание. Я предложил деду вызвать врача. В ответ он только отмахнулся, сказав мне, что это обычный прием в тех случаях, когда дела идут не так, как ей хотелось бы. Я понял, что бабка не хотела, чтобы я оставался у них и сказал деду, что я готов уходить сейчас, этим утром, направляясь к дяде Петру. В конце концов, до Феодосии было только около двадцати пяти верст. Я надеялся, что смогу остаться у него некоторое время, и что он, в отличие от бабки и деда, у которых не было ни средств, ни еды, будет в состоянии прокормить еще один рот.

В середине ноября 1920 года я наконец-то достиг своего последнего пристанища в Крыме, дом моего дяди Петра. В это время город еще был в руках белых.

После смерти своей первой жены Петр Макарович Гладкий женился на Александре Ивановне Цариновой. У них была общая дочь – маленькая Ксения. С ними также жили двое детей от первого брака Петра Макаровича – семилетний сын Борис и дочь Лидия, которой было около двенадцати тринадцати лет. Петр Макарович был начальником станции в Феодосии, и в то время получал хороший продуктовый паек. Жена дяди показалась мне очень приятной женщиной, она хорошо относилась и к своим приемным детям, и ко мне и была не против того, чтобы я оставался в доме как долго это потребуется.

К тому времени, как я добрался до Феодосии, уже не существовало никакого организованного сопротивления красным со стороны белых, прекративших оборону и теперь пытавшихся только спастись бегством по морю в Турцию, Румынию или Грецию. Вскорости пришла новость о том, что красные подходят к Феодосии. Хотя этого уже ждали довольно давно, в городе сразу началось замешательство и паника. В порту не было достаточно судов, чтобы вывезти всех белых офицеров и солдат, ожидавших возможности сесть на корабль. Все старались убежать. Люди хотели избежать ужасных расправ, которыми красные были печально известны повсюду, но эти расправы были особенно жестокими в Крыму из-за большой концентрации белых офицеров. Кроме того, города были полны беженцев, убегавших от красных и эвакуировавшихся из северных районов страны в Крым.

Тысячи людей стремились на пристань в Феодосии ища спасения от Красных. Но все было напрасно. Корабли стояли далеко

на рейде, и не было никакой возможности до них добраться. Страх и отчание охватили всех, в ожидании беспощадных карательных мер, от которых не было никакого спасения. Страхи этих людей превратились в ужасающую реальность, когда красные оккупировали Феодосию и другие города Крыма.

Убедившись, что перебраться с суши на пароход нельзя, я не бесцельно ходил по узеньким улицам города, выходил на пристань, заходил в порт, всматриваясь в женские лица. Я искал, я звал ту, которая в последний день моей борьбы за Родину ворвалась в мою жизнь и должна была стать символом победы над Злом. Но она ушла, унеся с собой идею моей Белой борьбы на русской земле.

На всегда ли?

Нет. Я ищу эту русскую женщину тридцать с лишним лет. Волею злой судьбы я избегал всю русскую землю, я объездил Европу, и сейчас я стремлюсь облететь весь мир с надеждой, что маленькая женщина из Бахмута отзовется на мой призыв к борьбе освобождения нашей родины.

«Ната, где ты?»



БОЛЬШЕВИКИ В ФЕОДОСИИ

После того, как красные оккупировали Феодосию на южном берегу Крыма, подлое ЧеКа – Чрезвычайный Комитет – немедленно приступило к своей кровавой работе в поисках и уничтожению Белых офицеров и солдат, кто по несчастью оказался там слишком поздно, чтобы успеть на корабли в Турцию, Румынию, Болгарию или Грецию. Закрепившись в Крыме, ЧеКа без никакого суда расправлялось с этими людьми «расправными командами», расстреливая их на берегу Черного моря.

Первые несколько недель ЧеКа не трогало местное население, концентрируясь на приезжих, которых они считали либо переодетыми белыми офицерами, либо беженцами из северных районов страны. ЧеКа подозревало всех этих людей в симпатиях к Белым и считали их контрреволюционными элементами. Все они теперь носили одно общее клеймо – «враги народа», что на самом деле означало, враги большевиков. Агенты ЧеКа забирали «врагов народа» из их домов и квартир, ловили их на железнодорожных станциях или арестовывали прямо на улицах. Потом эти люди исчезали без следа.

Однажны, ночью, я обнаружил раненного человека, прячущегося в уборной во дворе моего дяди. Дядя Петр привел его в дом и помог ему перевязать рану. Раненный рассказал нам, что его арестовали на железнодорожной станции, вместе с другими арестованными увели к берегу моря и расстреляли. Потеряв сознание, он упал на землю. Очнувшись, он понял, что его только ранили в ногу. Находясь в куче мертвых тел, он тихонько выждал, пока не уехали палачи. Тогда он выбрался из-под трупов, оставленных на берегу для уборки ночной командой. Когда жуткую сцену покрыл ночной мрак, и раненый мог слышать только шум волн, бьющихся об берег, он выполз на тротуар и держась около заборов и домов добрался до убежища во дворе моего дяди. Раненный был очень благодарен за нашу помощь и вскорости ушел прятаться в другом месте.

Позже Петр Макарович узнал из неофициальных железнодорожных новостей, что происходило на других станциях, где агенты ЧеКа принялись за проведение чисток среди железнодорожных служащих, вычищая эту важную систему коммуникации и транспорта от всех возможных «врагов народа». Там агенты ЧеКа раследовали всех служащих занимающих должности выше чернорабочих или

простых рабочих. Повсюду прежние начальники станций смещались с постов без всяких причин, их допрашивали, арестовывали и бросали в тюрьму, а некоторые из них пропадали без вести. Их семьи не могли получить никакой информации от ЧеКа о том, что случилось с их родными и близкими.

Поэтому, когда однажды агенты ЧеКа пришли в кабинет начальника станции и вручили Петру Макаровичу повестку с вызовом явиться на следующий день в местный отдел ЧеКа, он понял, что ему нельзя оставаться ни одного часа в Феодосии. Как только агенты ушли, он попросил своего помощника начальника станции принять на себя все служебные обязанности и вернулся домой в разгар рабочего дня. Своей удивленной жене он сказал, что ему нужно срочно поехать в командировку по служебным делам, и что, вероятно, он будет отсутствовать несколько дней. Сохраняя спокойствие, он попрощался с женой и детьми и попросил меня пойти проводить его хотя бы несколько кварталов от дома.

По дороге на станцию он рассказал мне о повестке и о том, что он попытается бежать в Харьков, где жили его надежные друзья. Он попросил сказать жене о повестке только спустя нескольких недель и настаивал на том, что я не должен был раскрывать ей его местонахождение, опасаясь, что агенты ЧеКа знают как выудить эту информацию у жен. «Передай ей», сказал он, «когда придет время, я сам с ней свяжусь и сообщу, где нахожусь и как она и дети могут со мной связаться». Дядя обнял меня и попросил помочь его семье пережить это тяжелое время. Потом он глянул на часы и резко сказал: «Пора идти! Я дойду до станции как раз вовремя, чтобы попасть на товарный поезд на север».

Без всякого багажа, который мог вызывать подозрение в его отъезде, он сел на первый товарный поезд, идущий на север. Старые правила еще были в силе, как служащий железной дороги он имел право на проезд без всяких дополнительных расспросов, если был одет в форму и имел при себе пропуск.

Я остался с его семьей и выполнил дядины инструкции, не рассказывая ничего его жене некоторое время. На следующий день, ранним утром, два молодых агента ЧеКа пришли обыскивать дядин дом. По их поведению я заключил, что они еще не знали, что он убежал.

Агенты перетряхнули все ящики, выискивая что-нибудь, что могло скомпрометировать дядю. Найденные бумаги и документы складывали в стопку на письменный стол, и среди них я узнал одно из моих писем. Я был в ужасе, поскольку хорошо помнил содержание этого письма. Это письмо было написано незадолго после моего

прибытия на фронт, и оно было полно наивной юношеской надежды на скорую победу Белых. Незаметно я попытался привлечь внимание тети Александры и глазами показал, что нужно каким-то образом вывести агентов из комнаты. Тетя поняла, что я имел в виду; она направилась на кухню и оттуда пригласила агентов на чашку чая с домашним вишневым вареньем. Этот ловкий маневр сработал просто замечательно. Пока тетя угощала их чаем в кухне, я поспешил вытащить письмо из стопки и отдать его Варе, племяннице Александры Ивановны, и она быстро спрятала его у себя на груди. Когда агенты ЧеКа ушли, я забрал письмо у Вари и уничтожил эту обвинительную улику.

После бегства дяди тетя не могла больше расчитывать на полагающиеся ему пайки, и у нее не было средств для того, чтобы прокормить детей. Я начал искать себе работу, чтобы обеспечивать себя и помогать семье дяди. С помощью дядиных друзей я нашел должность телеграфиста на маленькой железнодорожной станции Сарыголь недалеко от Феодосии.

Но, мне не суждено было там долго проработать. На третью ночь, когда я работал в ночную смену, раздался телефонный звонок и мужчина с официальной суровостью в голосе спросил: «Кто говорит?»

– Я, телеграфист, – ответил я спокойно, но мое сердце начало биться быстрее.

– Как вас зовут? – настаивал мужчина.

Ко мне закралось подозрение, что должно случиться что-то очень неприятное, и с неохотой, но по-прежнему спокойно я ответил: «Моя фамилия – Гладкий».

– Ну что, Гладкий, приходи завтра утром в отделение ЧеКа, – приказал мой собеседник.

Теперь я точно знал, что у меня будут неприятности. Тем не менее, я ответил твердым голосом: «Хорошо, я приду как только прийдет телефонист первой смены».

Я много думал об этом звонке. «Насколько это может быть серьезным? Может быть, все это только из-за дяди Петра». И я провел целую ночь, готовясь и репетируя всевозможные ответы на всякие вопросы, которые мне могут задать в ЧеКа.

Утром я пошел в отделение ЧеКа. Меня допрашивал агент по фамилии Коширин. Он хотел знать, откуда я родом, что делаю на станции, и где мой дядя. Мне помогло, что я тренировался всю ночь и продумывал, как приподнести свою биографию, и поэтому спокойным голосом сказал:

«Я приехал в Феодосию из Никитовки, чтобы навестить дядю. В Феодосии я заболел тифом. Когда я выздоровел, поезда на север уже не ходили и я никак не мог поехать обратно домой. Теперь я нашел работу и хотел бы остаться здесь, потому что мне нравится климат».

Что касается моего дяди, я сказал: «Он уехал в командировку и пропал. Никто не знает, что с ним случилось».

Во время того, как я рассказывал свою историю, становилось ясно, что Коширин не верил, что я говорил правду. Он арестовал меня. Я провел в погребе около двух недель, и каждый день ходил на допрос к Коширину. Каждый раз он спрашивал меня о моей биографии, и каждый раз я повторял одну и ту же историю. За эти две недели в тюрьме я видел, как многих белых офицеров и солдат отвозят из ЧеКа на берег моря на расстрел. Было ясно, что я не должен ничего менять в своей истории, если я хотел остаться в живых.

После двух недель Коширин меня отпустил, но он приказал мне вернуться в отделение через несколько недель на дополнительную проверку. Я возобновил службу на телеграфе. Когда я пришел опять на проверку, Коширин попросил меня, чтобы я подслеживал и подслушивал за моими сослужащими на станции и лично сообщал ему об анти-большевистских особах. Я подумал, что, должно быть, он поверил моей истории и даже начал мне доверять, потому что в следующий раз, когда я пришел на проверку, он предложил мне руководить одной усадьбой. Но я сказал ему, что я не привык к такой работе и просто не буду знать, что там делать. Несмотря на все это, я по-прежнему был предельно осторожен с Кошириным. Мне казалось, что в голове этого агента ЧеКа всего несколько секунд отделяют доверие от расстрела. Вскоре я решил: «Пора отсюда уходить!»

Я начал искать первую же возможность попасть на товарный поезд и уехать из Крыма, и поделился своим желанием с тетей Александрой. В это время она получила весточку от моей бабушки Елены через одного железнодорожного телеграфиста, хорошего друга дяди Петра. Бабушка передавала своему единственному сыну, жившему недалеко от нее, о смерти его отца, и она надеялась, что он сможет приехать и помочь ей с похоронами. Поскольку дядя скрывался в Харькове, я немедленно отправился в Старый Крым помочь бабушке организовать скромные похороны.

Бабка была очень расстроена, что её сын, не приехал и что она не могла оповестить никого из её детей о смерти их отца из-за отсутствия каких-либо средств сообщения с другими районами страны. Следовательно, я был единственным представителем целой семьи Гладких. Только кое-кто из его соседей пришел проститься с моим дедом. Но все же это были настоящие похороны, такие как мой

дедушка хотел бы иметь, со всеми причитающимися по традициям церемониями и обрядами русской православной церкви. Большевики еще не успели закрыть церкви в Крыму и арестовать всех священников.

Зная жадность бабки, я предложил ей на похороны деньги, накопленные мной за время работы на телеграфе, но предупредил, что ей придется доплать из своих запасов, потому что у меня больше ничего не было. После похорон я посоветовал ей остаться в доме до тех пор, пока её сын Петр не вернется с севера к семье, или до тех пор пока мой отец или тетя Маруся не смогут приехать и помочь ей принять решение о её будущем. Я также объяснил ей, что вскорости собираюсь направиться в Никитовку, где я сообщу моему отцу о смерти его отца. Она же хотела точно знать, как долго ей придется ждать приезда кого-нибудь из детей, но поскольку я не знал ответа на этот вопрос, я просто сказал: «Они приедут, как только смогут».

Когда весной 1921 года мой дед Макар Тимофеевич Гладкий умер во время голода, ему было девяносто шесть лет. На своем веку он пережил четырех царей: Александра I, Александра II, Александра III и Николая II. Впоследствии, его дети поговаривали в семейном кругу, что их отец, возможно, жил бы и дольше, если бы их мать не уморила его голодом, так как она не делила честно еду, которую они могли найти.

В один прекрасный день в марте 1921 года я рыскал по железнодорожной станции Феодосия, пытаясь разузнать, как попасть на какой-нибудь товарный поезд. Случайно мне встретился бывший начальник станции Никитовки, Марселий Титович Гасневский. До того, как Красные оккупировали станцию Никитовка, он эвакуировался вместе с семьей в Крым, присоединив товарный вагон к последнему поезду, отходящему на юг вместе с отступающими войсками Белой армии.

Со времени прибытия в Феодосию он жил все в том же вагоне на удаленных заброшенных путях станции. Когда Красные заняли город, некоторое время он платил железнодорожным рабочим, чтобы те помалкивали о его вагоне. И он, и члены семьи, в основном, оставались внутри вагона, держа двери закрытыми на замок. Они выходили только за водой или тогда, когда жене Марселия Титовича нужно было на рынок обменять одежду на еду.

Когда агенты ЧеКа начали искать повсюду «врагов народа», у Гасневского не было другого выхода, кроме как уехать как можно скорее обратно на север, чтобы затеряться в каком-нибудь большом городе, где никто его не знал. Он хотел попасть в Харьков. Марселий Титович был очень хорошим другом моего отца, с которым он работал

много лет, и он с радостью предложил мне присоединиться к его семье и сказал, что мне следует сразу же прийти в их вагон и ждать вместе с ними возможности отъезда. Я попрощался с тетей и покинул дядин дом.

Марселий Титович смог сразу найти каких-то знакомых, железнодорожных служащих, кто согласился устроить так, что его вагон присоединили к товарному поезду, идущему на север. Ранним утром в день отъезда машинист локомотива пришел к Марселию Титовичу, чтобы проверить, все ли члены семьи были на месте, и попросил всех вести себя очень тихо, пока поезд не отойдет от станции, сколько бы времени это ни заняло. Потом он пожелал ему удачи, запер дверь на замок и завел вагон на запасный путь, пока он не будет присоединен к хвосту товарного поезда.

Ожидая отправления, мы слышали голоса людей, обходящих поезд и стучащих в двери вагонов, подходя все ближе и ближе к нашему. Мы все сидели тихо, затаив дыхание. Потом мы услышали, как кто-то подошел к нашему вагону и постучал по двери несколько раз. Мы вели себя так тихо, что нельзя было даже слышать как мы дышим. Наконец послышался свисток проводника, и поезд медленно начал двигаться. Когда в конце концов он пошел полной скоростью, все вздохнули с облегчением.

На первой непланированной остановке между станциями машинист пришел, чтобы открыть дверь вагона и спросить, все ли было в порядке. Я видел как Гасневский передал машинисту пригоршню золотых монет. Поезд останавливался много раз около деревень, что предоставляло пассажирам возможность обменивать одежду на еду. Во время таких остановок я видел, что несмотря на то, что официально это был товарный поезд, к его хвосту были присоединены несколько вагонов, полных пассажиров. Во время остановок на станциях Марселий Титович не выходил из вагона, опасаясь, что его узнают служащие железной дороги. Обычно он просил меня набрать воды в ведра или купить газету.

Когда наконец поезд дошел до станции Лозовая, где железнодорожная линия из Крыма соединялась с Южной железной дорогой, идущей напрямую через Никитовку, пришло время попращаться с моей приемной семьей и направиться домой. Но, по совету Марселия Титовича, я не вернулся сразу же в Никитовку, где все знали, что я был добровольцем в Белой армии. Вместо этого я отклонился на одноколейную ветку железной дороги, ведущей от Никитовки к Папасной и дальше на север. Я решил остановиться на небольшой железнодорожной станцийке Беляевка, где жила моя тетя Маруся, сестра моего отца. Ее муж, Никандр Яковлевич Медведев, был там начальником станции много лет. Я надеялся, что они будут в

курсе того, что происходит в Никитовке. Также, оттуда я мог связаться с моим отцом по железнодорожному телеграфу, или посылая ему сообщения с проводниками или машинистами на поездах, проходящих через Беляевку.



НИКОН ПАЛИЧ

Никон Палич был моим другом, близким другом, очень близким другом. Даже, можно сказать, родственником. Моя тетка со стороны отца была за ним замужем, так что он приходился мне кем-то вроде дяди. Я рассказываю о нем в прошедшем времени, потому что он, бедняга, давно умер. Упокой, Господь, его душу!

В нашей деревне он был очень влиятельным человеком. На него работали два помощника и дворник. Все его знали и уважали. В старые времена на Руси люди знали местных влиятельных лиц, так сказать, лично и уважали их.

Дядя служил начальником маленькой железнодорожной станции. На самом деле, на станции находились всего два дома: в одном размещалась станция, а в другом располагались служащие Никона Палича. Вокруг было много разных сараев для коров и лошадей, свиней, гусей, кур, уток, собак и огромного множества кошек. Они очень неплохо жили. Дай Бог, чтобы советские граждане так жили когда-нибудь! График работы на станции был просто великолепным. Двадцать четыре часа на дежурстве, а потом – сорок восемь часов свободы. Ну, это, конечно, для самого начальника станции и его помощников. Что касается сторожа, то он работал только восемь часов из двадцати четырех. По ночам он мог делать все, что ему только заблагорассудится: никаких тебе собраний, ни больших, ни маленьких, никаких тебе государственных заемов, потому что при старом режиме жизнь была другой. Люди неплохо жили, и их не интересовали собрания и договоры, а что касается займов, так они считались делом сугубо личным.

Дядя Никон Палич жил как помещик. Он любил рыбалку и охоту. По соседству не было никаких рек, но при соседних поместьях были озера, полным-полные карпов, жирных, ленивых и очень вкусных, особенно в сметане. Будучи людьми благожелательными, помещики частенько приглашали его к себе. Один из них, бывало, говорил: «Послушай, Никон Палич, по поводу этих карпов. Невозможно найти свободного местечка, чтобы спокойно поплавать в озере. Только карпы и резвятся в раздолье! Это просто уже не озеро, а рыбный суп какой-то».

А другой помещик обычно намекал на засилье зайцев. «Что там

с твоим ружьем, Никон Палич? Вот оно, лежит, небось, без дела, заброшенное, как сиротинушка. Я могу достать для тебя в Харькове дроби и пороха. Постреляешь, удовольствие получишь, да и хороший обед к тому же, а кроме того, и мне доброе дело сделаешь. Прошлой зимой зайцы большой урон причинили деревьям». И у дяди было много таких приглашений. Просто в то время так было заведено.

А потом случилась революция и наступила «свобода», ну, как это все обычно называют. Дядя оказался связанным по рукам и ногам. Ходить на рыбалку за карпом стало довольно рискованно, а уж на охоту – так совсем опасно. Никон Паличу осталось только вспоминать прошлое. Настоящее его раздражало, а о будущем он беспокоился. Если победят Белые, то жизнь снова наладится, но что если победа будет за Красными? Он дрожал от страха, от одной только мысли об этом.

К 1920 году стало ясно, что одерживают верх красные, но Никон Палич по-прежнему ходил на работу, проводил свободное время дома и учил своих сыновей жить по-христиански. Прошло примерно шесть месяцев двадцатого года – другими словами пол-года – когда появились два стервятника из харьковского ЧеКа. Они забрали дядино ружье и кожу для сапог, два отреза на костюмы, немного наличности, пару-другую золотых монет и еще кое-какие вещи, которые им понравились, ну, конечно, прихватили с собой и дядю. Естественно, тетушка осталась плакать с детишками. Не знаю, плакал ли дядя. У него, конечно, были для этого все основания, и, понятное дело, все происходившее с ним не было делом шуточным.

После этого тетушка с сыновьями съездила в Харьков, чтобы передать дяде еду и кое-какие вещи, потому что они не знали, чем именно кормили заключенных и полагали, что, скорее всего, ничем не кормили. Никон Палич был в одиночном заключении в пустом подвале. Ну, просто в то время советская власть только начинала формирование своего карательного апарата. Так что, тетушка съездила к нему, а потом сыновья съездили сами, а дяде, конечно, приходилось сидеть на месте.

Прошло время, и, наконец, дядю освободили спустя девять месяцев. Ему вернули кожу для сапог и один отрез материи. А остальное отобранное добро, наверное, пошло в счет оплаты его девятимесячного пребывания в подвале. Никон Палич и не протестовал. В конце концов, он знал, что за все надо платить!

Короче говоря, он вернулся домой. Тетушка была вне себя от радости, и мальчишки были счастливы. Тетушка хорошенько отмыла Никон Палича, выстирала его исподнее, избавилась от огромного количества насекомых неизвестного происхождения на его теле, да и

вообще выхаживала дядю так, как выхаживают тяжело больных, и, в конце концов, поставила его на ноги.

После месячного отдыха Никон Палич поехал в Харьков, узнать, как обстояло дело с его работой. Но такие вещи с налету не делаются. Здания там все были большими, многоэтажными, со многими коридорами и комнатами и столькими бюрократами сидящими в них, что даже не верилось. И все они посылали дядю от одного официального лица к другому.

Дядя ездил в Харьков каждый день, кроме воскресений, потому как в те времена воскресенье все еще считалось выходным. После трех месяцев проволочек и мытарств одна добрая душа посоветовала ему: «Слушай, Никон Палич, тебе нужно спуститься на нижний этаж, потом подняться по ступеням и завернуть в комнату направо».

Так что, дядя отправился в ту самую комнату направо, где сидел бюрократ, спросивший его: «Что вы хотите?»

Тогда Никон Палич поведал ему свою историю, от начала до конца.

– Какая у Вас была за должность? – спросил бюрократ.

– Я служил начальником станции – ответил дядя.

Тогда товарищ бюрократ посмотрел в какие-то бумажки и сказал: «В моих документах вы не значитесь, хотя я здесь работаю уже четыре месяца. В списках начальников станций ваше имя не указано».

– Ну, да, конечно, откуда Вам обо мне знать – я провел девять месяцев в Харьковском ЧеКа, а потом месяц от этого отходил».

– Тогда что вы здесь делаете?

– Прошу прощения, я, наверно, не совсем точно выразился. Меня там держали девять месяцев.

– Что? Что вы сказали? Держали в ЧеКа? За какую-то контрреволюционную деятельность?

– Нет, нет, ничего такого. И у меня есть документы, подтверждающие мои слова.

– Давайте сюда. – Дядя подал бумаги. Товарищ бюрократ прочел следующее: «Никон Палич выпущен из ЧК безо всяких последствий.»

Естественно, бумаги были в полном порядке: со всеми соответствующими подписями, печатями и датами.

– Что значит «без последствий»?

– Я не знаю, что означают выражения, принятые в ЧеКа, но мне

кажется, это значит, что против меня не было выдвинуто никаких обвинений.

– Может быть и так, – ответил бюрократ очень сурово, – Но вы все равно провели девять месяцев в грязной камере ЧеКа, и это останется пятном на вашей репутации на всю жизнь, и вам не будет позволено снова работать начальником станции, так что убирайтесь-ка отсюда по-добру, по-здорову и никогда сюда не возвращайтесь.

Никон Палич поехал домой, рассказал об этой беседе тетушке, и она очень расстроилась.

– И это они называют «без последствий»? – спросила она, – Они украли наши золотые монеты, да и другие наши вещи, а теперь тебе не разрешают вернуться на работу. Разве это не последствия?

Тем не менее, они ничего не могли с этим поделать, так что Никон Палич нашел место в доме бывшего священника в деревне примерно в двадцати верстах от станции. Там были две смежные комнаты, куда он и переехал со всей своей семьей и оставшимися животными: коровой и десятью несушками. Всех остальных к тому времени уже съели. Никон Палич стал жить как простой деревенский житель. На него теперь никто не работал, и у него осталась только тетушка, чтобы отвозить молоко и яйца на рынок в Харьков. Они получали небольшую прибыль, но и тратили примерно столько же, сколько и зарабатывали, еле-еле сводя концы с концами, не доходя до банкротства.

Примерно спустя два месяца во временное жилище Никона Палича заявилась целая делегация, прошагавшая прямо в его комнаты. Они спокойно переговаривались между собой, не обращая внимание на самого хозяина. Судя по всему, на них произвела впечатление одна из комнат, и они, похоже, ею серьезно заинтересовались. Они сделали кое-какие замеры, что-то обсудили, а потом их старший, комиссар, или кто-то в этом духе, заявил: «Гражданин, вам надлежит освободить эту комнату немедленно».

– Что Вы имеете в виду – «немедленно освободить эту комнату»?

– Я имею в виду то, что вам следует убрать свою мебель из этой комнаты, потому что данная жилплощадь срочно потребовалась для государственных нужд.

– А что же будет с нами? Нам некуда деваться, если вы заберете эту комнату.

– Нам нет никакого дела до того, что будет с вами; можете оставаться и жить в другой комнате, если хотите.

Ничего нельзя было поделать, им нужно было освобождать, потому что в те времена «справедливость» совершалась именно таким образом. В конфискованной комнате разместили телефонную станцию. Управившись за неделю, советчики обустроили телефонную станцию в соответствии с последними техническими требованиями, да вот только они также забили гвоздями дверь, ведущую в комнату дяди.

Никон Палич и все семейство, у которого теперь не было ни выхода, ни входа в их жилую комнату, сели и задумались: «Как же нам теперь отсюда выбираться? У нас нет другой двери, а ходить через ту, что заколочена, нам явно запретили». И тетушка задумалась, и мальчики задумались. Им просто необходимо было выходить, чтобы кормить корову и кур и выполнять все необходимые хозяйственные работы. Все это произошло зимой, и им нужно было носить дрова и солому. Единственным выходом, казалось, было летать через дымовую трубу. Не долго думая, они стали пользоваться окном, чтобы выбираться наружу, потому что даже сам Архимед не смог бы найти другого выхода. Хотя, возможно, даже если бы Архимед и нашел выход, то оказался бы в харьковском ЧеКа и провел бы там девять месяцев «безо всяких последствий». Хотя, скорее всего, уж если бы Архимед и оказался в ЧеКа, его бы оттуда не выпустили и через девять месяцев, потому что к тому времени советская власть уже утвердилась на всей территории России.

Ну, вот так все и произошло. Никон Палич жил еще примерно пол-года «без последствий», и у него не было никакого другого выхода. Ему просто пришлось использовать окно вместо двери.



ЛИДКА

Где делась живость движений, весёлый говор купцов, куда исчез быстрый взгляд красавиц нашего благословенного юга России? Даже на рынке, где страсти этих подвижных людей проявлялись наиболее ярко, не услышать ни крика, ни споров, ни бойкой торговли «по рукам». Всё ушло. Тени двигаются. Одни высохшие с ярко красными губами, ввалившимися щеками, заострёнными носами, с глазами хищными, но начинающими мутнеть; другие толстые, как мясные туши, налитые водой, с блестящей кожей, готовой лопнуть каждый миг.

Тени двигаются медленно, лениво, они не говорят, а что-то шепчут или тихо плачут. Иные только беззвучно шевелят губами...

Тени плывут по узким и кривым улочкам города с одной надеждой, с одним желаньем... Но часто силы покидают их, и высохшая или расплывшаяся тень опускается неслышно на мостовую или тротуар, чтобы не встать уже никогда...

О! Сколько их, уставших бороться за жизнь, опустилось в этом городе! На Итальянской и Карантинной, на Приморском бульваре, в порту, в скверике Айвазовского, возле богатых дач и бедных хижин, вдоль полотна железной дороги, ведущей на Сарыголь и вдоль шоссе на Старый Крым!

Вон там, вверху, на Карантинной живёт маленькая семья. Она еще живёт. Она счастлива, потому что отец работает, отец получает паёк. Немного, очень немного, но при аптекарской точности в распределении впроголодь можно продержаться.

Однажды пришел отец в неурочное время. Что-то сказал мачехе и ушел. Поздно вечером пришли незнакомые люди, перерыли весь дом, забрали какие-то отцовские бумаги из письменного стола и ушли. А на другой день приехали мобилизованные портовые грузчики и, вытащив из квартиры большой черный рояль, мягкую мебель, письменный стол и громадный книжный шкаф, увезли. В квартире стало пусто и тоскливо.

Отец не вернулся. Больше дети его не видели. Мачеха говорила, что он уехал на север:

– Так нужно...

А хлеб? Продержались еще две недели без хлеба. А потом? Потом мачеха сказала:

– Есть больше нечего, дети. Идите и ищите сами, как ищут другие...

Лидочке было двенадцать, Борику – девять. Вышли утром сестра и брат в полумёртвый город, пробродили целый день маленькие и неопытные, и еще более голодные вернулись домой. Но дом был заперт. В соседних домах пусто и страшно. Спустились вниз, в город, дошли до освещённой ярким электрическим светом станции и утомлённые улеглись среди грязной, одетой в лохмотья, такой же голодной детворы.

Разбудила прохлада раннего утра. И голод. Грязными ручёнками протёрли глаза. Познакомились с другими. И стали теперь они просто Лидкой и Борькой.

Не погибли. Нашлись маленькие друзья, нашлись попечители из более опытных.

Вспомнится иногда отец или мачеха, проберутся на Карантинную, но домик также заперт и пуст.

Так и прожили лето. Где получат ломтик тонкий из какой-то травы, кожуры картофельной, отрубей, где украдут пару картошек. А переночевать в приморском городе летом и под утлой лодчёнкой можно и в заброшенной барже, если места не будет под базарными столиками. Иногда, в непогоду, в дальнем товарном вагоне ночь проведут.

Встретила Лидка подружек. Скрашивали они её детское горе. То участие их чувствовала, то ласку материнскую. Бывалые были они уже, старые волчицы, жизнь уже видели и понимали все лучше, чем она.

Подходила осень. Начинались холода. Зябнет худенькое тельце в грязных завшивленных лохмотьях. Научили греться подружки вином или самогоном, когда что «найдут». И тепло и весело. Смелость откуда приходит. Украсть бывает куда легче. И вольней стало и сытней.

Сидел Борька в порту однажды. Глазами голодными смотрел, как пшеницу грузили на пароход. А вечером встретил сестру у знакомого заброшенного ялика. Сивухой от неё несло.

– Боречка, я тебе кушать принесла. Смотри, Боречка, хлебец настоящий... – суетилась она возле брата, разматывая чёрные от грязи лохмотья, в которых был спрятан хлеб.

– Лидка, холодно, ветер какой... Спать-то где будем?

– Покушай, Боречка, покушай, маленький, а там и спать уложу тебя и согрею...

Борис жадно глотал хлеб, дрожал от холодного мокрого ветра и тихо плакал. Лидочка хлопотала возле него и ялика, на дне которого умащивала приобретенные тряпки.

– Ты, Боречка , не волнуйся, – говорила она, как взрослая, – все будет хорошо. Наешься сначала, помолись Боженьке, а потом и в кроватку... Я тебе сказку расскажу... Сегодня тебе будет тепло...

– Я домой хочу, Лидка, – плакал брат.

– Ну, милый мой Боречка, сегодня переночуем здесь, а завтра пойдем домой. Хорошо?

– А папа где сейчас?

– Папа уехал на север, детка. Так нужно, ты не плачь... Ведь ты же мужчина...

– А зачем он уехал?

– Видишь ли, я думаю, что его здесь искали... Только ты, смотри, никому не говори...

– А зачем его искали?

– Он же «Белый», Боречка... Ну, вот я и кроватку приготовила...

– А ты будешь спать со мной сегодня?

– Я же тебе сказала, детка мой, что я тебе и сказку расскажу...

Борис доедал хлеб, стараясь не упустить ни одной крошки. Вспомнил утро вспомнил, как он наблюдал погрузку зерна на пароход и спросил:

– А зачем, Лидка, грузят хлеб за границу, а нам не дают?

– Какой хлеб? – удивилась Лидка.

Борис рассказал ей.

– Так мы завтра пойдём собирать зёрна в порт, – сказала она.

– Да, пойдёшь! Там такая охрана, такая... даже грузчиков всех осматривают...

– Ничего, Боречка, ты посидишь дома, а я сама пойду.

– Я боюсь, Лидка, еще убьют тебя...

– Ну, Боречка, я же женщина... А женщине, знаешь, легче... Мужики, знаешь, все одинаковые...

Борька ничего из её объяснения не понял, но успокоился. Он верил, что сестра его умнее, потому что она старшая и в школу ходила,

читать умеет.

– А, ты уже поужинал? Молись Боженьке теперь...

– Я не умею... забыл...

– Ну, я тебе буду подсказыватъ, – вспомнила Лидка, как еще мать родная учила её молиться. – Становись на коленки, ручки вот так сложи... так, а теперь повторяй: «Дорогой Боженька, спасибо Тебе за хлеб... за воду...»

– Дорогой Боженька, – повторял Ворис.

– «И за всё-всё... и за то, что мы живы... Спаси всех нас... детей голодных... и папу... и маму... и всех добрых людей... Спокойной ночи, Боженька!»

– Спокойной ночи, Боженька, – вторил Борис.

– А теперь перекрестись... вот так... поклонись до земли Боженьке... вот. Ну, а теперь ложись... Я согрею тебя... Тебе хорошо будет... а какую сказку ты хочешь?

– Вот ту, что там голодный мальчик плыл сам по морю и лодочка-волшебница приплыла на Сытый остров... Как он ел и пил целых три дня и три ночи...

Дети улеглись в накренившемся ялике. Лидка прижалась худеньким тельцем к брату. Сивушный дух раздражал Бориса, и он уткнулся в костлявую грудку сестры. Лидка натягивала какое-то старьё поверх обоих, стараясь концы его подоткнуть под Бориса. Когда оба они исчезли под тряпьём, девочка начала рассказывать выдуманную ею сказку. Борис ощущал теплоту тела сестры и начал согреваться.

На следующий день, рискуя, беспризорные пробирались в порт, чтобы собрать с земли драгоценные пшеничные зёрна. Охрана не в состоянии была справиться с той массой детворы, которая, как саранча, лезла из всех дыр огороженного порта. Ни крики, ни стрельба не помогали. Только усиленная охрана из красноармейцев, срочно вызванных сытыми начальниками рабоче-крестьянской власти города, заставили отступить детские полчища, начинавшие создавать угрозу правительству в выполнении обязательств по экспорту.

Но несколько дней маленькие «преступники» были сыты и довольны.

Как-то целый день моросил дождь. Редко в такое время можно найти поживу. Но Борьке повезло. Какой-то пассажир, выходя из вагона, дал ему маленький свёрток. В нём были хлеб и колбаса. Это была диковинка. Борис набросился на еду, но сразу же вспомнил про Лидку и, отделив половину, с жадностью уничтожил свою часть.

Целый день он бродил по городу в поисках сестры. Наступал уже вечер, а её нигде не было. Голод снова будоражил его детский разум, но он упорно держал подмышкою отсыревший свёрток, надеясь всё же встретить сестру.

Холод наступающей ночи пробирался под лохмотья. Дождь не переставал тонкими ниточками пронизывать воздух. Ночевать в ялике сегодня нельзя, и Борис, забравшись в далёкий товарный вагон, съёжившись в комочек и прижав оставшуюся лидкину часть подачки, заснул... и не слышал, как поезд увёз его из родного города.

А Лидка с подружками нашла заброшенный домик, старый и дырявый, похожий на нору, но всё же напоминавший ей жилье человеческое, и обосновалась здесь переждать до тепла. Поискала Борьку, поплакала пьяная, не зная судьбы брата родного. Многое думала, но не ведала, что Борис колесит по Руси в поисках хлеба, тепла и местечка маленького для сна.

Сырое и грязное жильё, тёмное, как логовище зверя, оберегало детвору от дождей и холодных ветров. В нём появились лохмотья маленьких жильцов, консервные банки, бутылки, иногда появлялась еда, украденая или «заработаная».

Каждый имел свой уголок, в котором хранились личные вещи, и никто не посягал здесь на чужую собственность, даже если это был кусочек хлеба, спрятанный на всякий случай. Как ни странно, но глубокое несчастье, в котором очутились дети, никогда не вызывало раздора среди них из-за самого важного, из-за еды, и если кто-нибудь из жильцов приходил без добычи голодным, все наперебой старались накормить. Вино и самогон, который приносили «гости» грели зябнувшие тельца, создавали веселье, иногда переходившее в истерию.

«Гости», с которыми они встречались раньше в тёмных улочках города, приходили теперь сюда. Они были такие же беспризорные мальчики или опустившиеся бродяги, но платили своим возлюбленным исправно ломтем хлеба или деньгами большими, но ничего не стоящими. Часто они избивали своих подруг, и кромешная тьма смрадной ямы оглашалась тогда жалобным стоном и плачем еще детских голосов, простуженых и осипших от алкоголя.

Страшна была жизнь этих маленьких существ, далеко еще не женщин по возрасту. Но дни беспросветного мрака житейского принесли Лидке светлый луч радости. Здесь, в этом убогом и страшном жилище, встретила она человека, который лаской своей и добрым словом разбудил в ней прекрасное чувство любви. Она поверила пришельцу и принесла ему всю свою жизнь, покинув своих подруг. Свершилось это на пятнадцатом году её жизни, когда детство осталось уже в далёком тумане, а взрослость далеко еще не пришла.

Полюбилась она портовому грузчику, и взял он её к себе в дом за жену и за хозяйку. Груб был он, пил и бил, но редкие приливы нежности согревали бедное сердечко, жаждавшее ласки, и она платила преданностью и ранним чувством пробуждающейся женщины.

Дикий пьяный разгул и побои до полусмерти вперемежку с полуголодной жизнью в логовище прошли. Их сменили дни, быть может, не меньшей печали. Ведь неуверенность в завтрашнем дне осталась, вино и побои не исчезли из её жизни совсем. Стало только чище, нашелся дом, который всё же стал своим, нашелся человек, которому она, рано ставшая женщиной, могла отдать всю свою маленькую искалеченную жизнь...

Не грусть, не печаль охватывает сердце вспоминая ту маленькую девочку Лидочку, жизнь которой должна была пойти по иному руслу, а охватывает смертный страх за миллионы тех Лидочек, которые погибли, гибнут сейчас и еще принесут свои нежные хрупкие жизни в жертву социалистическому божку.



ПРАВОСУДИЕ ТОЛПЫ

Марью Николаевну Куценко я знал давно. Она была приятельницей моей матери и часто бывала у нас в доме.

Полная, представительная дама, с большими черными глазами, с крупными, немного грубоватыми чертами лица, она производила на всех впечатление мягкостью своего характера, глубокий грудной её голос очаровывал окружающих своей задушевностью. Особенного внимания она всегда удостаивалась со стороны мужчин, которые, не скрывая своего удовольствия, любили приложиться к её белой пухлой руке.

Когда-то в молодости она пела. Её контральто очень подходило к цыганским романсам и она на концертах всегда получала заслуженные аплодисменты у слушателей. После замужётва, которое не было удачным, она, осталась такой же приятной во всех отношениях дамой в обществе, но забросила свое пение посвятив всю свою жизнь единственному своему сыну Вадику, моему другу дётства и юности.

Муж, Маръи Николаевны, Елисей Иванович Куценко, железнодорожный чиновник и маленький акционер угольных копей, любил карты, женщин и вино. Что у него было на первом месте – трудно сказать, но он редко бывал дома. Если он не был на службе, то ездил на автомобиле вместе со своими компаньонами по рудникам, где-то заседал, где-то решал свои хозяйственные вопросы, где-то кутил, окруженный прекрасным полом.

В 1919 году мы с Вадимом ушли добровольцами в Белую Армию, боровшуюся с большевиками. В 1920 году Вадим отчалил от берегов Севастополя заграницу, а я, попав перед отступлением Белой Армии в Крым во вражеское окружение, вынужден был остаться на родине.

Вернувшись домой, я многого не узнал. За два года всё изменилось. Изменения коснулись и семьи Куценко. Хотя Марья Николаевна старалась сохранить свою величественость, но она свою, заметно осунулась. С её лица не исчезала теперь тень печали по единственом сыне, от которого она изредка имела весточки из Парижа.

Она часто приглашала меня к себе и часами слушала мои

рассказы о нашей фронтовой жизни. Ни разу я не встречал Елисея Ивановича дома хотя его деловитость должна была значительно уменьшиться, так как угольные копи были отобраны большевиками, кутежи закончились, так как не только вин или дорогих закусок теперь не было на рынке, но не было самого обыкновенного хлеба! Да и многие из членов его общества отступили с Белой Армией и теперь находились, вероятно, где нибудь заграницей.

На сдужбе Елисея Ивановича Куценко ценили, как знатока своего дела, но он прекрасно понимал, что ему нужно поскорее выехать подальше из того места, где его все знают. Он знал, что ни его участие в Акционерном обществе, ни добровольная служба сына в Белой Армии не делают ему доброй репутации в глазах новой рабоче-крестьянской власти, и в один прекрасный день он может исчезнуть в подвалах ЧК, переименованного теперь в ГПУ. Поэтому он тайно хлопотал перед Управлением железных дорог о переводе его в другое место. Хлопоты его увенчались успехом, и вскоре Куценко переехали в один из больших городов Юга России.

На некоторое время Марья Николаевна, исчезла из поля моего зрения. Иногда доходили до меня скудные сведения о её жизни, из которых я мог только узнать, что её одиночество стало в последнее время её постоянным уделом.

В 1929 году ко мне совершенно неожиданно заехал Елисей Иванович. Он срочно был вызван ОГПУ в Одессу для дачи показаний по делу своего сына, и теперь возвращался домой. Оказывается, что Вадим с группой смельчаков купили в Болгарии моторную лодку и отправились на ней в Советский Союз, на родину. Пограничная охрана ГПУ поймала их в море, привезла в Одессу и посадила в подвалы городского ГПУ. Для дачи каких-то показаний вызывались родственники возвращенцев, но никому из них не дали права на свидание с заключенными.

Продержав узников в подвалах несколько месяцев, власти решили их спровадить снова заграницу. Но прежде, чем дать возвращенцам возможность выехать, гепеушники испортили мотор в их лодке, а затем вывезли всех в открытое море и бросили на произвол судьбы в надежде, что они погибнут. «Гуманность» большевиков оказалась все же на пользу возвращенцам. Вадим исправил мотор, и все благополучно добрались до болгарских берегов. Из Болгарии Вадим снова отправился в Париж.

Это событие в жизни Куценко не могло пройти бесследно. Елисей Иванович был человеком не глупым, он понимал, что карьера его заканчивалась, что дни его сочтены, и возвратившись домой из Одессы он купил в пригороде маленький дачный домик и переселился

с женой туда. Это была его последняя забота о Марье Николаевне, так как вскоре он был арестован и сослан куда-то за Томск на три года. Ссылки своей он, однако, не выдержал. На второй год своего пребывания в тяжелых условиях Сибири он умер.

Марья Николаевна осталась не только в полном одиночестве, но и без средств к жизни. Так как она принадлежала к категории «врагов народа», она не могла нигде поступить на работу. Сначала она продавала чудом сохранившиеся драгагоценности свои, котрыми жила некоторое время, затем начала продавать старинную ценную обстановку, костюмы мужа, свои платья, пока, наконец, не наступил такой момент, когда уже нечего было продавать.

Наступали тяжелые времена. Но, как всегда бывает в так называемых безвыходных положениях, у нее было несколько выходов. Вернее, у неё оставалось три выхода. Покончить жизнь самоубийством, пойти с сумой по миру или же заняться воровством. Надежда на встречу с сыном сразу же отбросила мысль о самоубийстве. Оставалось два пути.

В середине тридцатых годов я получил письмо от двоюродного брата, который приглашал меня отдохнуть у него в деревне. Приглашение это меня обрадовало, так как я имел возможность отдохнуть в сельской тишине от шумного и пыльного города, подышать свежим воздухом, загореть, покупаться в реке, насладиться, одним словом, всеми прелестями природы. Воспользовавшись каникулами, я отправился к брату.

Хотя отдых мой и прерывался заботами о хлебе насущном, так как приходилось иногда с братом ходить пешком в город за продуктами, которых в колхозном селе достать невозможно было, я всё же имел время для того, чтобы побродить в окрестностях, поваляться на зеленых лужайках, поудить рыбу, освежиться в жаркий день в прохладных водах реки.

Однажды мы отправились с братом в город на очередное «дают». Нужно было как можно скорее добраться до заветного магазина, чтобы занять очередь поближе к дверям магазина. Около пяти часов утра мы уже подходили к городу. Я вспомнил, что где-то тут, на окраине жила Марья Николаевна Куценко, которую знал и мой брат.

– Евгений, – спросил я у него, – а как поживает Марья Николаевна? Встречаешь ли ты её? Елисей Иванович, говорят, умер в ссылке?

– Да, – ответил брат, – он умер. Она как-то мне говорила об этом... А как она живет, я, право, не знаю. Очень редко встречаемся мы... Она как-то избегает всех знакомых. Время, знаешь, теперь такое,

что каждый думает только о себе...

– Быть может, о других? – спросил я у него. – Быть может, она не хочет ни с кем втречаться, так как её знакомых могут заподозрить в связи с «врагами народа» и понести кару?

– Может быть и так, – сказал Евгений, – но так или иначе, я не могу тёбе ничего рассказать о её жизни.

В этот момент мы входили в первую улицу пригорода. Нас поразила в это раннее время крикливая, волнующаяся толпа, двигавшаяся по середине пыльной улицы навстречу нам. Чем ближе мы становились по отношению к толпе, тем яснее различали её участников, тем резче слышали грубые выкрики и мы начинали понимать ту уличную трагедию, котарая разыгрывалась перед нашими глазами.

Впереди шло несколько мужчин и женщин, которые крепко держали за оголенные руки пожилую полную женщину, не утратившую еще прежней своей величественности, но достаточно уже изуродованую бесновавшейся толпой. Длинные волосы её были распущенны, одежда была разорвана, грудь обнажена. Широко раскрытые черные глаза с ужасом смотрели куда-то вперед, но ничего не видели. Лицо её было мокро от слез. Оно, как и грудь, было покрыто синяками, ссадинами, кровоподтёками. В нескольких местах тоненькими ниточками струилась яркокрасная кровь и каплями спадала на остатки одежды, на мягкую дорогу.

Державшие её люди дергали за руки с такой силой, что, казалось, они хотели разорвать её на части. Шедшие сзади дергали её за волосы, вырывая целые космы, иногда ударяли её палками по спине или голове, и несчастная, теряя сознание, подкашивалась, но не падала, так как передние с еще большей силой растягивали её руки, и мученица только упускала свою голову на грудь.

Иногда из толпы выскакивали мужчины или жещины, кривлялись перед ней, плевали в лицо, в глаза, били по щекам, щипали за груди, женщины задирали свои юбки и показывали ей оголенные свовои зады. Со всех сторон раздавались разъяренные выкрики:

– Воровка! Воровка! Воровка!

Отборная брань мужчин и женщин аккомпанировала дикой пляске толпы. Несчастная шла с глазами полными слез, смотрела всё также куда-то в даль и изредка из её груди вырывался страдальческий вопль:

– О-о-ох! ...О-о-ох! ...Простите меня, люди добрые! Пожалейте меня! ...О-о-ох!

Глубокий грудной контральто показался мне знакомым. Я попросил брата ускорить шаги.

Вдруг из толпы выскочил пожилой мужчина, подхватил с дороги разбитую чугунную кастрюлю и напялил её на голову осуждённой. Толпа сразу заулюлюкала, засвистела, загоготала. Невозможно было уловить отдельных слов. Это было беснование массы. Кто-то подхватил валявшееся на дороге бревно и ударил им по кастрюле. Женщина остановилась, пошатнулась и медленно начала опускаться на дорогу.

Державшие её за руки, оставили её. Толпа на миг замерла, остановилась, затихла и быстро начала таять. Было уже поздно...

Когда мы подходили к убитой, уже никого не было.

– Да это же Марья Николаевна! – воскликнул Евгений.

Да, это была она. На груди у неё чудом сохранился золотой массивный меадальон, который я знал с детских лет. Он был раскрыт. Миниатюрная фотография Вадима, моего друга детства и юности смотрела на меня...

Изуродованная женщина лежала с лицом покрытым доржной пылью. К её шее были привязаны «вещественные доказательства» – дамские рубашки, бюстгалтеры, рейтузы, чулки...

– Тяжелый путь избрала, бедная... – печально и тихо произнес мой брат. И мы поспешили свернуть в ближайший переулок, чтобы не быть замешанными в страшную историю торжества правосудия толпы когда появится ГПУ.

– Бедная Марья Николаевна, – я скорбно повторил, – какая трагическая смерть…



УДАЧНОЕ БЕГСТВО

Пассажирский поезд мчался на юг. Подножки, буфера, и переходные площадки между вагонами – всё было облеплено людьми, с которыми поездная бригада не могла справиться. Кондуктора только запирали вагонные двери и часто проверяли их. Военизированная охрана, сопровождавшая все поезда, показывала себя лишь при отправлении или прибытии на большие станции, где были органы ЧеКа. Пассажиры знали все писанные и неписанные железнодоожные законы, поэтому редко попадали в руки властей.

После длинного перегона, промелькнувшего посадками, переездными будками, разъездами и маленькими станциями, на которых поезд не останаливался, локомотив выскочил на открытое место. С разных сторон бежали железнодоожные колеи к одной точке. Поезд приближался к большой узловой железнодорожной станции, на которой должен был быть заградительный отряд. Заградительные отряды занимались борьбой со «спекулянтами», ловили подозрительных и бездокументных, так называемых контрреволюционеров. Не удивительно было, что люди готовились к бегству.

Едва паровоз начал замедлять ход, как ехавшие вне вагонов начали спрыгивать. Только смельчаки старались оттянуть решительную минуту, чтобы поближе добраться до станции.

Люди падали с подножек, вгрузали глубоко в насыпь, но сразу же подымались и сбегали вниз. Перепрыгивая через глубокую канаву, они бежали к ближайшему перелеску. Сзади послышались сухие винтовочные выстрелы, а над головой – свист пуль.

Отделившись от массы, старавшейся скрыться в зелени деревьев, два пассажира некоторое время бежали осторонь, но вскочив на дорогу, быстро зашагали, стараясь отдышаться.

– Удачно! – проговорил один.

– Видно, заградиловка где-то близко, – ответил другой.

– Когда же это кончится? – спросил первый.

– Заградиловка? – переспросил второй.

– Да, заградиловка...

Просвистели пули над головой, напомнили об опасности.

– Это уже не с поезда... Лучше поспешить, пока не поздно... – сказал пожилой спутник, и оба прибавили шагу.

Выстрелы продолжали доноситься. Беспорядочная стрельба шла по перелеску, спускавшемуся в глубокую балку и исчезавшему в ней.

Было ранне летнее утро. Волнистая степь зеленела травой. Мягкая дорожная пыль, увлажненная росой, лениво поднималась за ногами и так же лениво сейчас же опадала, медленно рассыпаясь на серой дороге.

Голубое небо поражало своей чистотой и глубиной, а яркий солнечный шар казался, в противоположность нашим представлениям, в этот момент скорее серебрянным, чем золотым.

Спутники шли быстро по дороге. С тех пор, как пули просвистели над их головами, они не проронили ни единого слова. Каждый задумался над чем-то своим, ушел в это своё с головой и не замечал окружающего.

Станция далеко осталась в стороне, когда два незнакомых человека остановились. Дорога в этом месте как бы обрывалась, круто спадая вниз. Перед ними раскрылась панорама громадного села, хатки которого были разбросаны в картинном беспорядке.

– Россия! – восторженно произнес молодой спутник.

– Успели забыть стрельбу? – спросил пожилой, – Небось, тогда о России не мечтали?

– Это всё наносное... Пройдет...

– Дай Бог! Вы никуда не спешите?

– Я? ...Как вам сказать?

– Да вы так и говорите, как думаете... я же не из тех супчиков, что охотятся за человеческими душами, – произнес пожилой.

Взгляд был подкупающим у пожилого. Он смотрел открыто и ласково. Молодому человеку не хотелось лгать.

– Мне нужно только время пережить. – ответил он.

– Э! Да мы с вами друзья по несчастью?! Я тоже путешествую, что-бы как-нибудь время провести. В родные места ехать мне нельзя, устраиваться где-либо – трудно, да и опасно еще, вот и еду с севера на юг, чтобы потом с юга отправиться на север.

– А как же вы с едой... ночевками... деньгами? засыпал вопросами молодой спутник.

– Вы, я вижу, совершенно без опыта?

– Как вам сказать? Я путешествую давно... Только мне интересно, как устраиваются другие, в данном случае, вы... Ведь не всегда же бывает удачно?

– В ином месте и не повезет, правда, так ведь это же жизнь!

– Ну, так и мне случается!

– А вот это село вам знакомо? – спросил пожилой.

– Нёт, здесь я никогда не был...

– Будем надеяться, что здесь нас отлично подкормят! – обнадеживающе произнес пожилой спутник, и оба направились по дороге вниз.

Село с высокого края местами как бы лениво сползало, местами круто падало, потом неожиданно останавливалось у видневшейся вдали блестящей полосы реки. За рекой начинался равнинный левый берег с высокой луговой травой, казавшейся издали густой и сочной.

Путники подходили к краю села. Хаты белели своими стенами, яркими заваленками и ставнями. Белизна стен и пестрота заваленок и ставень делали хатки веселыми, приветливыми, и путники смело подходили к плетеным или каменным заборам, из-за которых начинали лаять большие дворные псы. Откуда-то появлялись хозяева, медленно подходили к заборам, всматривались внимательно в неумытые лица, сдержанно отвечали на приветствия, нехотя вступали в разговоры, но выносили по хорошему крестьянскому ломтю хлеба, миске молока или еще какой-нибудь деревенской снеди.

После нескольких таких удачных хат молодой человек остановился и сказал:

– Нет, хватит... Наверное, на целый день наелся!

– Нужно было бы чего-нибудь в запас достать. Выпросить хотя бы по куску хлеба.

В следующей хате им удалось получить в запас.

– Ну, а теперь на отдых! День должен быть прекрасным. Выспимся после бессонной ночи на свежем воздухе! Идемте вон туда, – пожилой спутник показал рукой в даль, и оба направились в сторону от села.

– Я здесь раньше бывал... Места мне здесь все хорошо знакомы. Охота тут прекрасная... Зверюшки сами под ружье лезут. Зайчатинки сколько душеньке угодно! – продолжал пожилой, – А как звать-то вас?

– Зовите Юра...

– Меня Василь Васильчем прозывали когда-то...

– А теперь так не зовут уже? – улыбаясь спросил молодой, назавшийся Юрой.

– Э-э-э! Теперь! Где Васька, где Василь, где просто Васильч, а где и без имени, вообще... Я вот бегаю сколько уже времени... Годы... С начала революции... И нигде не найти жизни спокойной.

– Не вы один бегаете... Вся Россия на ногах...

– Знаю, что Россия на ногах. Я и не к тому, чтобы пожаловаться вам на судьбу свою. Все мы теперь равны. И бедные и богатые.

– Вы хоть на свете пожили, а вот мы, молодые, может быть, в будущем что-нибудь увидим, а пока для нас такое же бегство от всего, как и для вас, стариков...

– Стариков?! – возмутился Василь Васильч, – Вы-то думаете, что я старик? Э-з-э! Батюшка мой! Да я еще с молодыми поспорю! Вы уж меня не обижайте, пожалуйста... Если бы я почувствовал себя стариком, то я бы, вероятно, давно прекратил своё путешествие от неизбежного! Молод я еще! А что седина – то это уж не от старости, а от пережитого... Всю войну на фронте, на самых передовых позициях! Это вам не игрушки! Жизнью рисковать приходилось каждый день, голубчик! Вам такого не приходилось еще, не суждено было пережить, да и не желаю вам такого...

– Кое-что и я видел на своем веку воевать и мне приходилось! – не вытерпел Юрий.

– Вы что... В Добровольческой были, – почему-то шопотом спросил Василь Васильч.

– Да.

– Значит, мы с вами друзья по несчастью вдвойне. Молодость свою огнем крестили?

– И не молодость, а скорее детство. – печально произнес Юрий.

– Не спрашиваю у вас никаких подробностей... Не стоит бередить прошлое... Давайте лучше отвлечемся от всего этого... Мне самому больно вспоминать...

Путники спускались к реке. Они шли молча, не желая говорить о том, что действительно, было слишком болезненно.

– Ну, вот тут и отдохнем! – сказал, наконец, Василь Васильч, и первый бросился на мягкую и влажную еще от росы траву.

Юрий снял теплый ватный пиджачек, в котором путешествовал даже летом, расстелил его на траве и улегся рядом.

Василь Васильч только теперь обратил влимание, что пиджачок был перешит из гимназической шинели и почему-то спросил:

– Вы что же, в гимназии учились?

– Когда-то, учился, да.

Оба замолчали. Утро встретили оба с каким-то радостным чувством, может быть, потому, что тишина природы рождала такое чувство, а может быть потому, что только что пережили волнение убегая от шальных пуль.

После недолгого молчания Юрий приподнялся и, увилев старенький, поросший мохом, крест, удивленно воскликнул:

– Что это, мы никак на кладбище попали с вами, Василь Васильч?

– Это вы про крест?

– Да, неприятно быть в таком месте... Это совсем не для отдыха...

– Не так-то и давно мы с вами ушли от смерти, кажется?

– Разве то смерть была? Идиоты стреляли в ветер!

– А вы знаете, что в большинстве случаев храбрецы от шальной пули погибают?

– Знаю, но мы с вами оказались совсем не храбрецами. Бежали, как зайцы...

– А зачем попадаться «им» в руки? Еще мы можем понадобиться... Всё может быть...

– Вот, кстати, хотите отдохнуть душой, так я вам расскажу легенду, которая, вероятно, скоро будет забыта. Видите, как идет наша жизнь... Историю забудем, не только какие-то легенды. Вы обратите внимание на эту могилу. Как она убрана?

– Да, за ней кто-то следит, видно...

– Этой могиле уже добрая сотня лет... А, видите, люди её не забывают...

Василь Васильч умостился поудобнее, лег на спину и начал рассказывать историю, никем не записанную.

– Вон там вверху, на самом конце села виднеется дом под зеленой яркой крышей. Это не обыкновенная хата, какие имеют здесь крестьяне, а именно дом, такой, как вы привыкли видеть в любом городе. Он стоит высоко, но там всегда есть вода чистая и свежая, то есть когда-то была. Теперь я не знаю... Вот в этом большом доме жил когда-то пан Хмелевский. Высокий старик с библейской длинной белой бородой. Прошлое его никому не было известно здесь. Никто и

не заметил, когда он поселился в селе. Людям всегда казалось, что пан Хмелевский вырос вместе с ними или живет с незапамятных времен тут. Да раньше, как вы должны знать хорошо, никто и никогда не интересовался такими вопросами. Живет себе человек, никому не мешает, ну, и пусть себе живет на здоровье!

У пана Хмелевского было две дочери-красавицы. Сам пан был, как видно, строгий католик. Жил уединенно, никто у него никогда не бывал и никто, конечно, не мог сказать, как он жил. Знали крестьяне только то, что пан Хмелевский был богат и, по их представлениям, знатен. Но говорили о нем, что был он большим чудаком.

Был ли он богат или нет, трудно сказать, но во всяком случае средства у него были, иначе он бы и дома не построил себе.

Как видно, пан был не только богатый, не только знатный, но и довольно умный. Во всяком случае, дела житейские знал отлично... а по вечерам далеко разносились звуки музыки – стройные и чарующие. Крестьяне часто собирались неподалеку от панского дома, чтобы послушать городскую музыку.

С тех пор, как из его дома начали раздаваться стройные звуки музыки, жизнь одного крестьянского мальчика изменилась... и родители попросили пана научить его. Пан взял его на полное воспитание. Под его подкровительством разцвел музыкальный талант но... музыка довела молодого гения до сумашествия. Легенда повещает, что здесь похоронен пан Хмелевский, его дочери, и гений-музыкант. Их могилки не забывают. Кто-то продолжает заботливой рукой ухаживать за чужими могилами. Может быть, легенда привлекла внимание крестьян к ним, может быть, одиночество чужих людей трогало их, но, как видите, могилы и сейчас со свежими цветами и свежим венком. Крест только стар... Но я верю, что придет время и тот «кто-то», кто следил до сих пор, переменит и крест на как будто забытых могилах...

– А от чего же он сошел с ума? – слросил Юрий.

– Да что вы у меня спрашиваете такие подробности о том, что случилось сто лет тому назад? – почти сердито сказал Василь Васильч. – Скажите лучше, что намерены вы предпринимать дальше? Время идет быстро, и мы что-то должны решать.

– Мне некуда больше спешить, мне некого больше любить! А с ума мы, кажется, скоро все сойдем. Только уж не от музыки...

– У какой же вы! Неужели же музыка наших дней не похожа на какофонию звуков погребенного здесь сумасшедшего музыканта?

Спутники полежали молча в густой траве некокторое время, медленно поднялись и молча отправились на станцию.

День уходил. Мягкая дорога. Пыль. Теплый воздух. А за спиной могилы, за которыми до сих пор кто-то внимательно ухаживает...



ПЕРВОМАЙ

Ну, вот и революция получилась. А что такое революция, вы знаете? Конечно нет! Откуда же вам знать такие вещи, ежели вы человек из прогнившего Запада? А я могу вам объяснить. Это – свобода. А вы знаете, что такое свобода? Это, когда вы хотите плавать на земле, как рыба в воде. Можете так жить? Хорошо. Плавайте. Но причем тут я? Причем десятки, сотни, тысячи, наконец, миллионы людей? Да и люди ведь разные бывают! Есть солдаты, матросы, которые не хотят воевать, а пользоваться только свободой, и есть просто мальчики и девочки, еще не доросшие. Они ведь тоже люди? Почему же они должны умирать из-за вашей свободы?

Долго ждали мы её, свободу-то эту. Дождались, наконец. Встретились. И вы знаете, опыт большое дело. Вы же помните, как царь «угнетал» нас? Тяжело было? Очень тяжело. Ну, а вот теперь бабенка уселась на наших плечах – свобода-то, и как? Легко?

Куда там! Делай, что хочешь! Хочешь воевать – иди, мы тебя не задерживаем; не хочешь – грейся у хозяйской на-печи, – ты же понимаешь, товарищ, свобода! Царя больше не существует! Угнетения – никоторого!

А Васька Рехов уже подсказывает: – «Бога тоже нету, не существует Он! Это все природа!» – Во, какой умный этот Васька!

А вы знаете этого самого Ваську Рехова? Нет? Это была пьяная рожа, исполосаная ножами, с глазами краба, ну и с сифилисом, конечно. Научный атеизм в натуре, так сказать. И в добавок – ходячий.

Ну, хорошо. Допустим Бога нет, зато, оказывается, Егова есть! ползает по местечку. Потому что храм православный оцепляют с непристойностями сами же православные, ударившиеся в свободу, а синагога – стоит без охраны и без площадной брани. Вы это понимаете? Это не сказка, а самая настоящая быль! Так было!

А он-то, Васька, бабенку эту, которая в феврале взгромоздилась с приказчиками да конторщиками на пьедестал, – в тартарары!

– Пошла вон, керенская зазноба, к такой-сякой маме! и прет огромнейшую бабищу – волю всего трудящегося народа! Пролетарскую волю! Ну, и при ней, значит, рыцарь, товарищ Феликс (Дзержинский). Без него никак нельзя. Потому что посягают.

На что? На эту волю уродливую, на эту бабищу Васьки Рехова, которую он сам по своей собственной воле укрепил на этом пьедестале? Кто посягает?

Шестой десяток лет идет, а помню, как вчера это было.

Был май. По-ихнему – Первомай. Интернационал. Колонны. Красные тряпища. Лозунги грозные. А меня вызвал на вокзал чекист Мальцев к себе в кабинет. Пришел, конечно. Нельзя было не прийти. Потому, что воля. Допрос снял, потому, что посягал я...

– Подпиши!

Хотел читать неграмотные каракули (как они там потом понимали, что там было изображено, на что я посягал?), муть всю хотел постичь:

– Ну, нечего тебе! Подписуй! Да к товарищу Тупице сичас.

Был такой, постарше Мальцева. Вдвойне Тупица. По фамилии и по существу.

Скорый поезд подошел. Москва-Минеральные Воды. Кого-то сняли. Как пальто с вешалки. Привели. Взволновалась вся ОРТЧКа! А он-то оборвыш! И из-за этого оборвыша-то с интеллигентным лицом и видом загнанного зверя, целая буря в грязном стакане мутной водички! Тоже, видно посягал...

– Ступай! – распорядился Мальцев (верил, что я не уйду) и поспешил к товарищу Тупице на помощь.

Ну, а товарища Тупицу далеко по линии знали, ох, как далеко! Потому что у него одна резолюция:

– В штаб Духонина! – и сразу же, еще при жизни, акт написан: «убит при попытке бежать из рук пролетарского правосудия...»

Громко? А?

Можно было бы, конечно, и без этого акта, а просто в статистике пролетарской, в совершенно секретных ведомостях чекистских прибавить еще одну палочку и сообщить начальству, но ведь важность же какая была бы упущена – канцелярия, штамп, печать обязательно, а еще и подпись: «Тупица!» Как вы думаете, что это? Фунт изюму?

Скорый ушел. А из Южного парка отправлялся эшелон (заметьте, не состав!) угля на Север, на Москву. На тормозах – вооруженная охрана, потому что посягают... И вот, подите ж! Солдат-охранник пустил меня в крытую будку австрийского товарного вагона!

– Не вылазь только! Штоб не завидели тебя на станции!

Проезжая мимо вокзала, я заглянул в щелочку: Товарищ Тупица

в кожаной фуражке, кожаном пиджаке, кожаных брюках галифе, в кожаных сапогах безглазыми глазами смотрит на наш эшелон: – «А не удирает ли какая контра?»

И издалека слышится «Интернационал». Где-то за домами полощутся красные тряпища.

Это было тогда, когда начинали строить новый лучший мир. Помните?. Тогда посягали...

Теперь достраивают. Более утонченно... Потому, что посягают...



ДЯДЮШКА ЕВЛАМПИЙ

Дядя мой, Евлампий, человек образованный до некоторой степени, окончил, можно сказать, институт восточных языков в Томске. Конечно, до революции, это при старом, знаете, режиме. Изучил он там восточный язык, китайский. Но почемуто и английский. Ну, изучил, как говорят, довольно прилично. Даже диплом получил. Говорил туда-сюда по-китайски, знал прочитатъ ихнюю грамоту китайскую и даже писать научился. И по-английски. Я, конечно, не специалист, не могу сказать, какая грамота труднее, китайская или английская, если Бог даст свидеться, спрошу обязательно у дяди, где больше загвоздок. А, впрочем, не следует особенно много интересоваться заграничными языками.

Покончив наскоро с институтом, отправился дядя мой сначала в Англию, а затем в Китай для усовершенствования в иностранных языках. Известно, усовершенствовался. Прибыл, то-есть, возвратился на родину (раньше, нужно земетить, не боялись возвращаться на родину, даже добровольно вполне ехали) и получил от царя-батюшки (не могу точно припомнить, от самого ли лично или от его слуг) назначение судить хунхузов на Китайско-Восточной железной дороге. Эту дорогу товарищ Сталин, когда добрался до власти, умудрился и «продал» японцам, а впоследствии, когда союзные американские войска атомной бомбой разгромили Японию, он отобрал её у этого воинствующего племени.

Хунхузы – это по-китайски значит разбойники. Нападали они на эту царскую Китайско-Восточную железную дорогу и, безусловно, грабили и даже убивали мирное население. Писал дядя домой письма, конечно, по-русски, что, мол, приходится иной раз и смертные приговоры подписывать. Что говорить, ответвтвенность большая была у него. А ну-ка, попробуйте разменять человеческую жизнь, хотя бы и разбойничью и, на петельку? Это теперь, когда в «наидемократичнейшей» стране в мире убить человека всё равно, что плюнуть, самое счастливое советское человечество не обращает никакого внимания на это. Даже очень часто приветствует гениального вождя своего в этом смертном вопросе, потому что последние войны, революция и дальнейшая мирная, счастливая и зажиточная жизнь огрубили сердце его. Да и, вообще, побаивается вздохнуть по погибшей душе какого-нибудь «врага народа».

Одним словом, дядя служил верой и правдой до самой революции. Ну, а потом, когда наступило некоторое затемнение, и смутное время не дало возможности посылать регулярно письма, произошел, если можно так сказать, определённый и значительный интервал в нашей корреспонденции. Я молчу и дядюшка – ни гу-гу, будто и на свете этом его не существует.

Иной раз подумаю, может, дядюшка – тю-тю, куда-нибудь в Китай или Англию по служебных делам от советской власти уехал? Но боюсь и думать. Всякое мышление в этом направлении насильственными мерами прекращаю. А говорить – сами понимаете: прадедушка нынешнего МэГэБэ, товарищ ЧеКа, за всяких самых даже найдальнейших родственничков, находящихся за границей спрашивал ответа. А что я мог сказать о своём, правда, собственном дяденьке, ежели видел его в японскую войну, когда мне было годов пять или шесть от роду. Может, пять, с половиной. Касательно же корреспонденции, сознаюсь, позаботился заранее – сжег всю и пепел развеял ночью, чтобы посторонний взгляд не занитересовался таинственной процедурой. И всякие фотографические карточки, конечно, и почтовые открытки с китайской экзотикой предал огню, выжег, так сказать с корнем всякие связи с заграницей. Не то, что спал спокойнее, а как-то с грехом будто короче. Нет, знаете ли, вещёственных доказательств.

Однако, в конце двадцатых годов объявляется мой дядюшка Евлампий на дальнем Востоке. Мне даже досадно в душе стало. Образованный, думаю, диплом имеет, по-английски и по-китайски разглагольствует, а вернулся таки из Харбина, где была его резиденция, на родину. Сплоховал, думаю дядюшка. И письма боюсь получать. А отвечаю по трафарету: «Жив, здоров, чего и Вам желаю.» Десяток открыток наперёд заготовил. Только дату поставить – и посылай.

Однажды, по случаю лишения права голоса оказался я безработным. И не то, что оказался, а просто вышибли. Притаился я и жду – вот-вот схватят, душу вынут, и прощай жизнь на веки вечные. Понятно, не охота расставаться с белым светом, да ещё при таких обстоятельствах – вроде, как паршивую собачёнку прибьют. Дело другое, ежели погибнуть в бою, скажем. А так, безащитному – скучновато и, вообще, неприятно. Письмо выручило. Пишет дядюшка: «Приезжай, голубчик, жизнь тут не то, что малина, но существовать люди существуют.» Конечно, распродался я, соратники мои (были и у меня таковые – в пику вождю) помогли со всех учётов посниматься, облегчился, так сказать, и поехал.

Сел в поезд, двигаюсь. Думаю: «Слава Богу, и на этот раз благополучно. Тошновато только. Всю жизнь в бегах. Прошлое, как

тень, за тобою бегает, а ночью – не спрячешься, потому – тень сплошная.»

Промелькнули Уральские горы, вздохнул с облегчением. Уж тут не поймают: Сибирь просторная. Но хорошо, что по дороге заехал к тётушке Анастасии, что в Новосибирске. Только к ней на порог, а она телеграмму суёт: «Жди письма.» Вскорости и почтальон с корреспонденцией. Жена дядюшки прямо так и пишет: «Сцарапали твоего дядюшку ночью товарищи гэпэушники, воздержись продвигаться на Дальний Восток, потому что и я в неизвестности.» Воздерживаюсь. Жду дальнейших сообщений. Да и возвращаться-то некуда. Проходит месяцев семь или восемь – второе письмо: «Получил твой дядюшка Евлампий десять лет.»

Вот тут-то и задуматься приходится. За что бы это дядюшке моему такая, как говорят, высокая награда от пролетарского правительства? Не приложу ума. Может, ограбил кого? Так неспособный. Да и за ограбление десять годов? Быть не может! Воряг этих, собственно говоря, ежели поймают, то в одни милицейские двери впустят, а в другие выпустят. А вообще, стараются и не ловить. Оставляют на воле для развлечения скучающей публике.

Времечко идёт, а я сижу и результатов у берегов Оби ожидаю. Дождался. Третье письмо. «На Соловках дядюшка. Отдыхает или попровляется – не ведаю точно.»

Дальше ждать не приходится. Знаем мы эти Соловки белогвардейские. Хотя дядюшка в белой армии и не служил. А может? В смутное время какая была переписка, каждому известно. Одним словом, спрятали человека. Климат там, говорят, белогвардейский, море – тоже, так и называется Белое. Звери и те убеждений белых, даже форму, так сказать, белую носят: медведи – белые, зайцы – белые, да что звери, говорят, даже воробьи белые! Сплошная, одним словом, контрреволюция. Охрана вот только красная, что-бы государства своего белого птицы, звери и люди не устроили.

Посидел еще на крутом бережку Оби. Свойственно человеку надежду иметь. Может, думаю, ошибка какая или, может, сбежит как дядюшка. Не успел это я подумать о перемене образа жизни дядюшки, как получаю еще письмецо. Перевели его на Медвежью гору. Это уже на твердь земную. На материк. С повышением перевели. Лекпомом назначили. Врагов народа лечить.

Лекпомом? То-есть, как это? Образования медицинского нет у дядюшки Евлампия и диплома докторского или там справки врачебной какой тоже, уж это я знаю в точности. В институте восточных языков как будто даже анатомии живого человеческого тела не изучали. Думаю, талантливый, должно быть, мой дядюшка

Евлампий: на скрипке играет, на рояле тоже, скульптуру какую слепит, пейзажик маслицем или акварелью – восхитительно получается, о китайском искусстве и музыке целую книжку издал, из гимназии классической древние и новые языки прекрасно помнит, английский, китайский, да еще свой собственный русский и оказывается, медицинские познания! Даст Бог, кончит свои десять лет – профессором медицины будет! Ведь срок-то большой для обучения.

Конечно, врагов народа, лечить не должно быть так трудно. Ну, что там? Разве кого изобьют, изуродуют? Ноги перебьют или хребет? Это же, собственно говоря, чепуха, а не болезнь...

А всё же, думаю где же он медицинское удостоверение получил? Вероятно в Англии. Страна это культурная и, вообще, Оксфордский университет имеется или Кембриджский... А Китай что? Отсталая, можно выразится, восточная страна.

Вот только за что сунули дядюшку на десять лет? Не иначе, как за товарищей хунхузов, потому боролись они за правое дело Ленина-Сталина и за мировую революцию. Да и братья родные самому вождю мудрому Джугашвили, почту государеву грабил, а хунхузы – государеву железную дорогу, одна, так сказать, профессия и, вообще, родство душ...

Слава Богу, думаю, дядюшка Евлампий еще жив, не шлёпнули. И врагов народа лечит... Пользу, так сказать, обездоленному человечеству приносит, страдания облегчает, раны омывает, заповеди Христовы в жизнь претворяет...



В ЗАЛЕ ОЖИДАНИЙ

Часам к десяти вечера прошли поезда прямых назначений, и станция наполнилась пассажирами, ожидавшими местных поездов. К несчастью, все они отправлялись только утром. Людям, утомленным долгой дорогой, предстояло ночевать в вокзальной духоте, сидя где-нибудь на простой деревянной скамье в самой неудобной позе. Все спешили в залы ожиданий первого, второго, или третьего класса, чтобы занять наиболее удобные места. Однако, через час зал первого и второго класса служащие начали убирать и попросили всех освободить помещение. Пассажиры, собирая вещи, ворчали на новые железнодорожные порядки и нехотя выходили на платформу. Но и здесь их предупреждали:

– В третий класс! На перроне запрещено ожидать.

Громадный зал третьего класса был уже полон. Люди спали или дремали. Шум, вызванный входившими, разбудил некоторых, но не изменил их положения. Пассажиры первого класса пытливо оглядывали зал, стараясь найти свободное место, но скамьи все были уже заняты. Лишь кое-где немногим удалось примоститься, остальным же пришлось разместиться просто па полу на своём багаже. Но тот, кто не имел вещей, на которых можно было бы сесть, должен был проходить целую ночь по узким дорожкам, образовавшимся между спящими на каменном полу людьми, переступая через руки и ноги их, или умоститься где-нибудь у стены и простоять до утра.

После полуночи зал затих. Вверху огромная люстра, грязная и покрытая паутиной, свешивалась каким-то чудовищем. Лампочки её были погашены, и свет, исходивший от двух небольших электрических фонарей, висевших над опустевшим буфетом, рисовал на потолке уродливую тень, спускавшуюся на противоположную стену. Вокруг фонарей кружились мотыльки, а в окнах зудели проснувшиеся глупые мухи и майские жуки. Закопченные стены были почти черны и придавали всему помещению мрачный вид.

Воздух был загрязнен, и в зале слышалось тяжёлое дыхание сотен людей. В этом царстве неспокойного сна то заслышится плач ребенка, то кто-то со стоном закашляет или громко зевнет.

Зал недвижим, чем-то придавлен, угнетен. Люди загнаны сюда силой, и в бессилии своём покорились чьей-то недоброй воле. Что же,

если выхода нет?

Около двух часов ночи вспыхивают лампочки люстры. Кто-то знаком с этими зловещими огнями, настороженно приоткрывает глаза, толкает как бы невзначай соседа, и через несколько мгновений эта настороженность охватывает весь зал. Глаза почти у всех закрыты, но чувствуется, что людьми овладело беспокойство, и им уже не до сна.

В тишине раздается скрип дверной пружины. Входит человек среднего роста, крепкий, мускулистый, чисто выбритый. Несмотря на лето, он одет в длинную кавалерийскую шинель. На голове у него фуражка с красным околышем.

Медленно он пробирается между спящими, внимательно всматриваясь в их лица. Иногда он останавливается; под его острым взглядом неопытный пассажир начинает ёжиться. Человек в форме сморит еще некоторое время, круто поворачивается и смотрит также пристально на пассажира, сидящего напротив. Если его пытливый взор ничего не прочитает на лице несчастного человека, он, пробегая глазами вперед, неслышно продвигается дальше в своих мягких сапогах. По временам он останавливается, также пристально смотрит на пассажиров с закрытыми глазами и снова движется вперед, обходя все закоулки, образованные спящими людьми.

Но вот он остановился у скамьи, расположенной недалеко от буфета, впился глазами в сидевшего пассажира. Казалось, что сон сковал усталого человека настолько, что ни свет неожиданно вспыхнувшей люстры, ни общая настороженность не встревожили его, но сидевшему рядом с ним было слышно, как прерывалось его дыхание, а по телу пробегали нервные волны.

Человек в квалерийской шинели упорно смотрел несколько минут на пассажира, затем, взяв его за руку, тихо произнес:

– Идите со мной...

Пассажир продолжал спать, оттягивая роковую минуту, но, почувствовав, как больно сжимается его рука, зевая, открыл глаза.

– Следуйте за мной, – также тихо произнес человек в форме.

Пассажир вскочил. На бледном лице его появились красные пятна. Он старался делать вид, что ничего не понимает, и спосил:

– В чем дело?

Человек в шинели повторил:

– Следуйте за мной...

Пассажир, опустив голову, лихорадочной походкой направился за агентом ГПУ. Едва они покинули зал, спящие проснулись, пришли

в движение. Они открывали глаза, поворачивались друг к другу, о чем-то тихо говорили, но отовсюду неслось одно слово: «Взяли.»

Через несколько минут гэпэушник снова появился в зале ожиданий. Пассажиры уже «спали», хотя не все могли скрыть своего волнения, и опытному глазу агента нетрудно было отгадать их «сон». Однако, он уже знал прекрасно, что «опасность» не в этих содрогающихся, притворно спящих пассажирах, а в тех, кто «спит» спокойно, безмятежно, и он, оглядывая с насмешкой трусов, неспеша переводил свой взгляд с одного лица на другое, пока снова не остановился на «спящем» пассажире. Он также, положив свою руку на руку жертвы, тихо произнёс:

– Следуйте за мной...

Пассажир раскрыл глаза. Казалось, он был спокоен. Он даже с удивлением посмотрел на человека в форме, который повторил свой приказ.

– Что вам угодно? Вот мои документы, проверяйте здесь, – ответил он на его приказ.

– Но агент настаивил:

– Следуйте за мной, ваши документы мы проверим там...

– Хорошо, я пойду, – с оттенком угрозы заявил пассажир и быстро двинулся к выходу.

За ним следовал человек в форме.

Не доходя до дверей, пассажир неожиданно повернулся к гэпэушнику и, ударив его кулаком в лицо, выскочил из дверей и исчез в темноте. Зал в ужасе замер. Агент несколько секунд лежал неподвижно на кафельном полу. Сознание медленно возвращалось к нему. Наконец, очнувшись, он вспомнил происшедшее и, быстро поднявшись, выскочил за двери.

Прошло томительных полчаса. Люда знали, что предстояло что-то страшное потому что люстра продолжала также ярко освещать зал, а на перроне слышались торопливые шаги и крики. Все переглядывались, перешёптывались, не все могли скрыть свои страдальческие взгляды. Чувствовалось, что люди искали выхода, метались в себе, ища спасения.

Скрипевшие двери дали знать о приходе агентов. Их было несколько человек. Замерший зал с нервным напряжением следил за каждым их движением. Началась проверка документов. Ни один человек не мог уйти от неё.

В четыре часа утра уходил первый местный поезд. Никто из пассажиров не мог уехать с ним, так как проверка не была закончена и

никого поэтому не выпускали из зала. Люди должны были сидеть еще сутки, чтобы дождаться следующего поезда.

Только к пяти часам утра агенты закончили проверку. Около семидесяти «подозрительных» были задержаны и отправлены в областную тюрьму. После нескольких месяцев сидения все они были сосланы в концлагерь.



ВРАНГЕЛЕВЕЦ

Муся Бережная прибежала заплаканная к Оресту Михайловичу.

– Ради Бога, спасите, Орест Михайлович. Приехала только что, дома не узнала... Сидит Ваня и пьёт... На столе бутылки, бутылки, пустые, с вином... Всё пропил... Только стул да стол остались...

Пришлось подыматься. Пришел Орест Михайлович к Ване и увидел, что, действительно, он пропил всё буквально. В единственной комнатке, которую занимала семья Бережных, остались только стул да стол.

– Ваня, что ж это ты, брат, затеял?

– Орест, пью...

– Вижу, но зачем?

– Кончаю... Только вот жена приехала не во-время...

– Но почему? Что случилось.

– Всё по-старому, Орест... Хорошо, дочку не привезла... Стыдно перед маленькой... А вы должны понять... когда человеку деваться некуда...

– Но ты же работу имеешь!

– Работу? – почти крикнул Иван Гаврилович и горько усмехнулся, – Поэтому и семью отправил от греха... Нет для меня работы!

– Как так?

Иван Гаврилович молча вытащил из пиджака бумажник, раскрыл его и вытянул военный билет.

– Тебе, Орест, покажу, другим – нет...

– Да что ты, Ваня! – испуганно вокрикнула молчавшая до сих пор жена, – Разве можно показывать такие вещи?

– Муся, знаю с кем говорю... разум не пропил... Ты об этом не думай... и он раскрыл маленькую серенькую книжечку:

– Читай...

«Врангелевец», – прочитал Орест Михайлович.

– Да, да, брат, врангелевец! Никто иной... А по сему я... пью... ты извини меня... но сознание моё удовлетворительно работает... Как врангелевец... на год меняю иногда чеыре, а то и пять раз работу... да через год-два своё местоположение в пространстве... от Кавказа... до Сибири...

– Но ведь тебя же никто не трогает?

– Пока, слава Богу, но... иной раз, правда, думаю... лучше бы тронули...

– Ваня, что ты говоришь?! – всплеснула Муся руками.

– Куда деваться? Ты послушай, Орест... поступаю... работаю... на военный учёт не иду браться... всё хорошо... Но больше двух-трёх месяцев так не протянешь... Напомнит кто-то: «А когда же вы, уважаемый товарищ, на учёт возьметесь?» Пойдешь туда... Возьмут... Ничего не скажут...а... придёшь на работу – конец... Вот я и пью... Так, брат, всю мою жизнь... Разве я один такой?

– Но ведь у тебя семья, Иван!

– Невольный грех мой... Разве должен был я жениться? И не ошибся, Орест, а не знал, что это за штука... рабоче-крестьянская... То-есть, знал... потому и врангелевец, но не знал, что мстить будут всю жизнь...

– Потеряй, наконец, билет, – подсказал Орест Михайлович, видя отчаяние Ванюши и еге жены.

Терял... Бесполезно... Поэтому пью... и буду пить... пока жизнь такая... А ты, Муся, уезжай... Видишь... не могу быть ни мужем... ни отцом... Уйдите все от меня... Здесь чума. – Ваня налил стакан водки и залпом выпил до дна, понюхал кусочек хлеба, посолил еге и положил в рот.

– Вот так лучше. «Ни слёз, ни лобзаний...» Вы для меня все чужие... и я для вас... Уйдите лучше... Муся сделала знак Оресту Михайловичу, и оба вышли. Разговоры и уговоры были напрасны.



ОТЧАЯНИЕ

Накануне Иван Иванович Гаврилов пропил всё. Даже подушку, единственную вещь, которую никто не хотел брать, он отдал утром первой встречной женщине, когда выходил из своей квартиры-комнаты. Комнату оставил с открытой дверью. Во-первых, в ней ничего не было; во-вторых, он не собирался возвращаться.

После вчерашкего «пира во время чумы», как он потом говорил, голова была тяжела, ноги не совсем твёрдо ступали nо тротуарам, но решение, принятое, как тост, за последним стаканом вина, было непреклонно: наложить руки на себя – грех, а жить дальше как? «Он в ГПУ расскажет!»

Трудно было, но Иван Иванович добрался до начальника ГПУ.

– Арестуйте меня!

Сидевший в мягком кресле маленький черненький человечек снял большие очки в тяжелой роговой оправе, положил их на стол, поднялся и медленно подошел к Гаврилову.

– Вы что, с ума сошли? Я первый раз слышу такое требование. Вы преступник?

– Да, я преступник, – твёрдо сказал Гаврилов.

Начальник отошёл к большому окну и, не глядя на «преступника», спросил:

– В чем же ваше преступление?

– В моём появлении на свет Божий.

Маленький человечек резко повернулся.

– Садитесь вон туда, на диван, и рассказывайте толком.

Иван Иванович вынул военный билет и, бросив на стол, сел на стоявший возле него стул. Начальник подошёл к столу и взял билет в руки.

– А-а-а, милый, врангелевец!

– Да, что нашисано пером, не вырубишь топором!

– Ну, а преступление?

– Это всё.

– Вы работаете?

– Нет.

– Почему?

– Никто не принимает на работу...

Терпение у Гаврилова лопнуло. Он выхватил перочинный нож и начал себе резать руки, колоть грудь. Задыхаясь от душивших его слёз, он кричал:

– Нет... так дальше жить нельзя... или убейте, ...или дайте жить... хоть немножко... хоть чуть-чуть... по-человечески... Ведь я же честно, от – Кавказа до Владивостока... изъездил... везде всё тоже... потерял всё... жену... дочь... я преступник... врангелевец... расстреляйте... – и громкие рыдания взрослого человека раздались в тишине кабинета, вырываясь за двери.

Начальник, не отходя от стола, спокойно выслушал бесвязную речь «преступника», не остановил его и от попыток покончить с собой.

– Отчаяние, – со злой усмешкой сказал он скорее самому себе, – Умели воевать против нас? Умейте и жить у нас, пока вас никто не трогает!

– Но как? – сквозь слёзы спросил Гаврилов, – Помогите хотя бы работу найти.

– Здесь не биржа труда. Ведь как-то жили вы до сих пор?

– Разве это жизнь?

– Иного пути для вас и нет.

– Так лучше арестуйте меня, посадите, сошлите...

– Пока не имею таких распоряжений.

– Я пробовал красть...

– Ну, и что же?

– Поймали на месте, потому что я и не думал бежать... привели в милицию... избили... и выпустили...

– Прекрасно, за глупости большего и не следует.

– Но что же деать?

– Во-первых, успокоиться.

– А потом?

– Идите и найдите себе работу.

– Но никто не даёт...

– А вы поисчите хорошенечко. Найдёте.

– Ну, помогите вы мне не как начальник ГПУ, а как человек!

– Этого я сделать не могу. Вытрите кровь, застегните рубаху и ступайте. Из вашей затеи, имейте в виду, ничего хорошего не выйдет. Глупостей не повторяйте.

Наступила реакция. Гаврилов ослабел. Энергия, решительность покииули его, и он даже испугался, осознав, где он находится, какому риску подвергается.

Начальник вызвал агента:

– Проводи к выходу, – презрителиьно проивнёс он, укавав на Гаврилова.

Иван Иванович вышел и медленно зашагал по тротуару к дому. Ни мыслей, ни желаний не было. Он вошел в раскрытые двери своей комнаты, обессиленный опустился на пол и заснул.

На следующее утро Гаврилов проснулся, вспомнил свой визит в ГПУ. Ему стало не только неприятно от этого посещения, но и страшно за его последствия. Ведь если начальник ГПУ «не имел распоряжений» арестовать его до сих пор, то теперь, когда он обратил на себя внимание, это стало возможным, даже очевидным. Он выскочил из своей пустой комнаты и пешком направился из города по дороге на ближайшую станцию. Первым же товарным поездом он уехал на север, подальше от родных мест.

Через месяц Мария Федоровна Гаврилова, его жена, получила письмо из Иркутска. Иван Иванович работал бухгалтером в одном из учреждений города.

«Надолго ли?» – подумала она.



ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА

Какой-то настойчивый голос требует от меня написать о том, что случилось давным давно, еще в начале двадцатых годов нашего столетия. И чем дальше, тем голос этот становится все более настойчнвым, наконец, надоедливым, назойливым, несносным. Может быть для того, чтобы избавиться, наконец, от всей этой старой истории, я решил написать, что произошло. Хотя не знаю. Почему я должен написать эту историю? Для чего? Для поучения? Для очищения грехов? Чьих?

Когда мне приходилось проезжать местечко, где я родился, где прошло мое детство и часть моей юности, я забирался на самую верхнюю полку вагона, поворачивался лицом к стене и делал вид, что я сплю. Поезд обычно стоял здесь долго, и я настороженно прислушивался к голосам новых пассажиров. У меня было только одно желание: не встретить никого, кто знал бы меня, знал мое прошлое. Правда, в глубине души мне хотелось выскочить из вагона, побежать в родные места, в родной дом, встретить друзей детства, товарищей, знакомых, но я не смел этого делать, ибо я был вне закона, и любой, кто служил верой и правдой новому режиму, имел право застрелить меня на месте – здесь, в вагоне, на станции, на улице, в доме, магазине, на рынке. Таков закон. А я хотел жить и потому должен был смирить все мои желания и молча лежать на твердой полке вагона и вспоминать мое прекрасное прошлое – детство и юность, проведенные здесь, в этом маленьком местечке.

Случилось так и на этот раз. Я ехал в Таганрог. Поезд ночью подходил к Никитовке. Я забрался на верхнюю полку, повернулся лицом к стене и закрыл глаза. Поезд остановился. Я прислушивался к голосам новых пассажиров и думал: «Почему так произошло, что я не могу открыть себя», – и ответ приходил ясный, как Божий день: – «Потому, что я белогвардеец! Потому, что я враг большевиков! Потому, что я с оружием в руках боролся против них! Потому, что я добровольно пошел в Белую Армию! Потому, что в этом маленьком местечке об этом все знали!»

Сожалел ли я о том что случилось? Нет. Я был врагом большевиков, остался им и сейчас и буду им до конца моих дней. Но я все же жить хочу, а потому и должен избегать встречь со всеми теми, кто знает мое прошлое.

Вдруг я услышал знакомый голос. Дрогнуло сердце: – «Это она!» Нужна была сила воли, чтобы удержаться и не спрыгнуть с полки. Но я не сомневался: – «Это она – мой самый верный, самый лучший, самый близкий друг детства и юности, друг, от которого у меня не было тайн, как у нее не было ничего, чтобы она скрывала от меня!»

Она вошла в мое купе и спросила у пассажиров: «Это место занято?»

Конечно, это был её голос! И вот теперь во мне все перевернулось: «Как быть? Открыться ей?»

О да! Сомнений быть не может! Ведь что могло измениться в наших отношениях? Ну, мы не виделись пять лет. Так что-же? Если она за это время успела выйти замуж, то и это не могло отразиться на нашей дружбе! Ведь не любовь нас связывала, а только дружба! Да и потом... Она такая славная, такая хорошая, могла ли она забыть нашу искреннюю дружбу, начало которой мы даже и не помним, – может быть, с пеленок...

Я порывался вскочить с полки, но... «А вдруг... Нет, нет, не может быть! Почему не может быть? Ведь время-то изменилось! Да еще и как! Все лучшее стало худшим, все худшее – лучшим... Да, но она же... Белая кость, голубая кровь... Нет, нет, не может быть!»

Поезд тронулся. Я не выдержал, вскочил с полки:

– Варя! Это ты?

Она удивленно посмотрела на меня своими голубыми глазами и, я заметил, что-то чужое, странное прозвучало в её вопросе:

– А-а-а... это ты?

– Ты удивляешься?

– Д-да... Удивляюсь. – но она улыбнулась, и вот это чужое и странное, что мне послышалось в её голосе, промелькнуло в её улыбке и моментально исчезло. Она стала приветлива и внимательна.

– Ну, садись, садись рядышком, ведь сколько лет, сколько зим!

– Да, Варя, давненько мы с тобой не виделись... Ты, небось, успела выйти замуж?

– О нет!

– Меня ожидала? – я хотел улыбнуться.

– Нет, нет! – воскликнула она и в голосе её прозвучал лед, что-то чужое и странное, но через минуту к ней вернулась прежняя её прелесть, – Ведь между нами, кроме дружбы, ничего и не было, не правда ли?

– Я вижу, ты испугалась?

– Я не из трусливых.

– Знаю. Но все же много перемен произошло...

– Во мне?

– Да.

– Выросла, поумнела...

– Глупой ты никогда не была...

– У отца ты бываешь? – вдруг спросила она.

– Иногда.

– Никогда не слышала... А сейчас куда едешь?

– В Таганрог.

– И я туда... Ты там работаешь?

– Нет, хочу навестить брата... А ты?

– Я работаю... Иногда приезжаю сюда, к маме... А где ты живешь?

Я замялся, потому что в это время я нигде не жил, нигде не работал.

– Видишь ли... Я сейчас ищу работу...

– Но живешь-то ты где?

Я наугад сказал:

– В Харькове... Не нравится мнё большой город... Хочу посмотреть, чем пахнет в Таганроге...

– Хороший город, нравится он мне...

– Мне тоже. Может быть, потому, что мы учились там? Кстати, что теперь в нашей гимназии?

– Александра Первого Благословенного? – с нескрываемой иронией спросила она. Я не понял её и на этот раз. – Там теперь военное училище.

– А у вас, в Мариинской?

– Железнодорожная школа...

Разговор наш оборвался. Дело подходило к тому прошлому, о котором я не хотел говорить в вагоне. В душе я был рад наступившему молчанию и благодарил Варю за её, как мне казалось, тактичность.

До самого конца нашего пути мы изредка перебрасывались пустыми, односложными замечаниями и только подъезжая к

Таганрогу, когда оживление охватило всех пассажиров, Варя начала рассказывать о тех переменах, которые произошли в городе за время моего отсутствия.

Наконец, поезд остановился. Мы вышли из вагона.

– Тебя можно будет навестить? – спросила она.

– Конечно, я буду очень рад.

– Дай мне твой адрес... Может-быть, сегодня я постараюсь увидеться с тобой.

– Хорошо...

Мы вошли в вокзал, и я в её странном блокноте написал адрес моего брата.

– Может быть, я смогу навестить тебя? – спросил я у неё.

– Нет, это неудобно... Я живу в общежитии и не хочу лишних разговоров...

Мы распрощались.

Я вышел на Николаевскую. Мимо меня промчался элегантный экипаж. Мне показалось, что в нем сидела Варя. Какое-то неприятное чувство охватило меня. Но оно быстро рассеялось. Я свернул по Гоголевскому переулку на Петровскую и встретил товарища по гимназии, спешившего на работу. Он предложил мне прийти к нему и провести ночь за бутылкой вина:

– Вспомним хоть старое! – сказал он на прощанье и побежал.

День я провел у брата. Настоящее, было уныло, и мы вспоминали прошлое, которое на фоне советской действительности было особенно прекрасным.

Вечером я отправился к приятелю.

С Сашенькой – так его звали – мы, действительно, провели ночь в воспоминаниях. За бутылкой вина разговоры текли особенно легко. Да и в нашем прошлом не было туч грозовых. Расстались мы с ним только тогда, когда ему нужно было уходить на работу:

– Что же, будем надеяться, что черное пятно посветлеет и, как ночь незаметно превращается в день, так и пятно это засветит ярким светом! – подбодрил он меня на прощанье.

Я вернулся к брату и удивился той растерянности, тому испугу и той нервности, которые царили в его доме.

– Что случилось?

– Как что? Ты с ума сошел! Ты нас подводишь! Ради Бога,

немедленно уходи отсюда!

– Подожди, объясни мне, пожалуйста, что произошло у вас?

– Что! Ты еще спрашиваешь! Ночью приходили за тобой! Обыск сделали, перерыли все... Спрашивали, где ты ночуешь...

– Что ты сказал?

– Сказал, что не знаю...

– Кто приходил?

– Ты что, наивный? Не знаешь, кто ночью приходит?

– Знаю. Была ли женщина? – Женщины не было, но была девушка...

– Ну, прощайте. Извините, но я не хотел принести вам неприятность...

– Они снова придут...

– Скажите, что уехал из Таганрога совсем...

Я ушел. Я понимал, что нужно было немедленно покинуть город. Но я также понимал, что за мной теперь могут следить. Я шел и обдумывал, как выскочить из ловушки.

Я знал, что днем, на улице, среди людей меня никто не схватит. Я знал, что все изъятия производятся только ночью. Но установить слежку, конечно, постараются сразу же, как только увидят меня в городе. У меня, конечно, были еще знакомые. Но смел ли я теперь навещать кого-либо? Конечно, нет.

На Петровской, на углу городского сада я встретил Варю. Это было для меня неожиданностью. Я был убежден, что ночной визит к брату – это дело было её рук, поэтому-то встреча с ней была и неприятна и опасна. Но нужно было скрывать свои опасения, и я с видом беспечного человека воскликнул:

– Варя! Как хорошо, что я встретил тебя!

– Ты где ночевал? – спросила она меня, не обращая внимания на мое приветствие.

Мое предположение подтвердилось: Варя ночью была у брата. Иначе как она могла знать, что я ночевал где-то в другом месте.

– У товарища. А что?

– Да я, видишь ли, вечером заходила... Хотела с тобой провести пару часиков... Но мне сказали, что тебя нет дома... А сейчас ты куда?

Мы остановились у входа в городской сад.

– Вон, видишь? – показал я на видневшееся здание мужской

гимназии: – Там осталось все самое близкое сердцу!

Но её это не интересовало:

– Куда ты сейчас собрался?

В этот момент подкатил автомобиль – единственное такси, появившееся в первые годы НЕПа, шофер выскочил и, открывая дверцы старой машины, услужливо спросил:

– На станцию?

– Да, да... – и я инстинктивно бросился в автомобиль.

– Куда же ты?

– Домой... Прощай! – эти слова я произнес уже тогда, когда машина покатилась по мостовой.

Шофер катил быстро. Завернув к вокзальной площади, он мчал, не убавляя хода, и вскоре мы, завернув на Гимназическую, выехали на Чеховскую и с такой же скоростью помчались, оставляя позади телефонные столбы, дома, деревья, редких пешеходов и стоявших на улице извозчиков.

В Крепости мой шофер-спаситель остановился в глухом проулке.

– Ты помнишь меня? – спросил он, снимая темные очки.

– Сергей! Голубчик! Да как же не помнить!

– Ты знаешь эту... «барышню»?

– Это мой друг детства и юности.

– Чекистка! Удирай поскорее! Поездом теперь нельзя. Я отвезу сейчас тебя на пристань. Через полчаса пароход отчаливает. Из Ростова выбирайся уж сам. Но будь осторожен.

Машина дрогнула, и через десять минут мы были в порту.

– Это тебе может пригодится, – сказал Сергей, давая мне небольшой сверток, – Запомни, ты можешь сделать только четыре выстрела.

Я не хотел брать, но мой бывший соученик настаивал:

– Ты не знаешь, что ждет тебя в Ростове. Бери, это старый, правда, «Бульдожка», но он еще способен оказывать, помощь. Не сомневайся в нем, он проверен не раз! А Теперь – спеши. Бери билет – и в трюм!

Через несколько минут я сидел глубоко в трюме среди, мужиков, баб, спекулянтов и мелких воришек и прислушивался к людскому гулу. НЭП открыл двери в новую жизнь, и каждый по

своему пользовался, чтобы наверстать потерянное. Но сверток мешал мне, мое внимание отвлекалось, и насладиться разговорами мне не удалось. Я встал и направился в уборную. Там я вскрыл сверток, положил «Бульдог» в карман и вернулся, но мое место было уже занято.

Пароход медленно, слишком лениво отчалил. Мы нескоро достигли широкого Дона.

В дороге что-то случилсь, и мы только после обеда прибыли в Ростов. Я старался держаться позади пассажиров спешивших к выходу. Подходя к трапу, я инстинктивно посмотрел на пристань: «Нет ли подозрительных людей ожидающих меня?» Пристань была запружена ожидающими посадки пассажирами. Только узенький проход огражденный морским канатом был оставлен для спускающихся пассажиров. В самом конце прохода я увидел Варю. Она стояла с каким-то парнем одетым в форму ГПУ. Я понял все и подумал: «Мой хороший друг был прав. Пригодится, оказывается, и Бульдожка.»

Я начал медленно спускаться по трапу и, как только мои ноги стали на землю, я быстро проскользнул под канат на сторону ведущую в город и проникнул в толпу пассажиров ожидающих посадки. С трудностью продвигаясь через напор людских тел, спотыкаясь о мешки, корзины и другой багаж, я наконец достиг противоположной стороны пристани. Только тогда я посмотрел на другую сторону где я видел Варю с её товарищем. Их там уже не было и я подумал, что наверно они увидели что я исчез в толпе и будут искать меня.

Я бросился бежать с пристани в город и сразу же повернул в первый переулок, свернул в следующий направо и в другой налево, надеясь, что такое беспорядочное изменение в направлении поможет мне затерять след от моих преследователей. Я сделал последний поворот в узенький, пустынный проход между рядами глухих задних стен соединенных зданий, который кончался тупиком. По обоим сторонам не было никаких окон и казалось, что все двери были заперты. К этому времени я так запыхался, что был готов остановиться и больше не бежать.

Проходя мимо одного дома, я заметил в полуоткрытой двери мужчину, в белой шапке и одежде, смотревшего на меня испуганными глазами.

Когда я поравнялся с ним, он позвал меня:

– Иды сюды, пажалста... Иды скарэй... Пажалста... – и меня ободрил его армянский акцент.

Я вскочил в дом. Армянин быстро захлопнул дверь.

И через секунду мы оказались в комнате заваленной мешками из-под муки.

– Падажды, пажалста... – и он быстро принес мне белую рубаху, такие же белые штаны и белую пекарскую шапку.

– Пажалста... передевайся, пажалста, паскарей...

Через несколько минут я стоял в пекарне у огромного корыта и месил тесто. Он не спросил от кого я убегал – в те дни все знали что прилично одетый человек может убегать только от агентов ГПУ.

Я «работал» до конца дня и никто не пришел искать меня. Я решил уйти из города на следующее утро. Перед уходом домой пекарь дал мне свежую буханку хлеба и чашку чая и оставил меня спать на пустых мешках из под муки. Закрывая дверь, он сказал: «Падажды здесь до утра.»

Ночью мне приснился кошмарный сон. Он начинался с момента, когда я ступнул на пристань. Я не смог скрыться в толпе. С ужасом я видел, как Варя подошла ко мне с парнем в ГПУ форме и предупредила:

– Ты арестован! – и они оба показали мне свои новенькие «Наганы».

Они не обыскали меня. Варя командовала:

– Иди вперед! ...Не вздумай бежать! ...Направо! ...Прямо!

Во сне я шел и взвешивал обстановку. Варю я знал с детства. Она была быстрой и ловкой девочкой. Её спутника я оценил сразу. Это был медведь. Неповоротливый, но, как видно, необычайно сильный. У них – два «Нагана». У меня – старенький «Бульдожка».

– Налево! – раздался голос Вари. – Прямо!

Я повернул в узенький, пустынный проход между рядами задних стен соединенных зданий и кончавшийся тупиком. По обоим сторонам не было никаких окон и все двери были заперты. Почему-то это место мне показалось очень знакомым, как будто я там когда-то раньше был. У меня появилось предчувствие: «Это конец. Наверно это аллея кончающаяся тупиком где они расстреливают врагов большевиков.»

Я шел обычным шагом. Спешить все равно было некуда. К счастью, мои сопровождающие и не подгоняли меня. По звукам их шагов по камням дороги я рассчитал, что они не были очень близко ко мне. Я сделал еще несколько длинных шагов и, вынув «Бульдожку» из кармана, резко повернулся и выстрелил первую пулю в Варю, вторую пулю я послал в лоб неуклюжему парню. Это было так неожиданно, что ни один из них не успел проронить ни единого слова. Я увидел как

они оба упали на дорогу и продолжали лежать неподвижно когда я бросился бежать назад.

Пробегая мимо одного дома, я увидел в полуоткрытой двери, армянина в белой шапке и одежде, который тоже показался мне очень знакомым. Он смотрел на меня испуганными глазами и когда я поравнялся с ним, он позвал меня:

– Иды сюды, пажалста... Иды скарэй... Пажалста...

Я вскочил в дом. Армянин быстро захлопнул дверь и запер её тяжелой задвижкой.

Через секунду мы оказались в комнате, заваленной мешками из-под муки.

– Падажды, пажалста... – и он быстро принес мне белую рубаху, такие же белые штаны и белую пекарскую шапку.

– Пажалста... передевайся, пажалста, паскарей...

И еще через несколько минут я стоял в пекарне у огромного корыта и месил тесто.

Армянин подтвердил мое предчуствие, что эта аллея заканчивающаяся тупиком употреблялась большевиками для расстрелов «врагов народа». Он сказал, что ночью могильщики приходят сюда, собирают убитых и увозят их куда-то.

Мне было интересно знать, что случилось с Варей и её товарищем. Были ли они ранены или убиты? Если они были убиты, то ночью могильщики их забрали и отвезли вместе с «врагами большевиков». О, как я хотел, чтобы это случилось так.

В тот момент я проснулся от звона замков и стука тяжелых дверей пекарни. Было раннее утро. Пекарь армянин пришел, поздоровался со мной и сказал: «Я увезу тебя из города. Помоги мне нагрузить мешки на телегу.» Когда мы кончили грузить, он сказал: «Залазь на телегу и накройся мешками. Не вылазь пока я тебе не скажу что безопасно.»

Очень медленно он выехал из города. На проселочных дорогах телега, которую тянула лошаденка, не привлекала внимания и никто нас не остановил до самого Батайска. Там армянин остановил лошадь и сказал мне что я могу вылазить, так как здесь я могу безопасно итти сам. А когда настал час разлуки, он снабдил меня хлебом на дорогу и мы распрощались.

– Я не знаю как поблагодарить тебя за то что ты спас меня.

– Бог награждает за добрые дела. – ответил он мне мудро и добавил, – Ну, пажалста, Бог тебе помогает! – и он пожал мне крёпко

руку.

Из Батайска я отправился поездом на Кавказ, чтобы замести мои следы, и оттуда вернулся на Украину.

В последующие годы я часто думал, что мой сон о том что я убил Варю и ГПУ агента, был моим символическим желанием убить всех рьяных большевиков, всех агентов ЧеКа и ГПУ и этим покончить мои бегства от их лап.



РОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

Я размышлял о том как работала советская система. Была ли возможность употребить её бюрократические слабости, чтобы перехитрить её, чтобы повернуть её работать против самой себя. И в полете моего воображения, я написал в моей путевой книжке короткий россказ «Рождение человека».

Закончился жаркий летний день. Солнце только что зашло. Городская пыль насытила воздух и жар дневной еще не успел остыть. Возле моста на берегу реки сидел человек в сером поношенном и помятом костюме. Кепи лежало в стороне от него. Внизу лениво протекала река, высохшая и мутная.

Человек сидел устремив глаза в далекий горизонт, и видно было, что он ни о чем не думал. Да, мыслей не было в этот момент. То-ли усталость дороги, то-ли тяжелые думы прошлых дней утомили мозг, но человек на миг ушел сам от себя, без мыслей, без тяжести на сардце дал покой своему изнуренному телу отдохнуть только несколько мгновений. И это произошло без его воли, потому что сейчас же он, как бы смахнул одолевавший его сон, резким движением руки поправил свисавшие на лоб волосы и перевел свой взгляд на реку.

«Увидеть или нет, встретить или нет?» – думал он, – «Здесь, в этом городе, моя жена и дочь. У них есть крыша, под которой есть маленький уют и большое горе. Я – отец и муж, изгнанник не по своей воле. Я – горе для моих самых близких, самых дорогих. Мои редкие свидания причиняют невыразимую боль. Так может быть лучше положить конец всему? Ведь самые глубокие раны заживают... Да, но и они оставляют след... Но зачем я пришел? Увидеть еще раз жену и дочь, хотя бы издали, чтобы не бередить незажившие раны...»

В этот день человек сделал около сорока километров. Без гроша в кармане, без куска хлеба, с риском попасть в руки палачей, он совершил тяжелый путь только ради того, чтобы еще раз увидеть милые лица и может быть снова на долгие месяцы уйти в неизвестность.

Летние сумерки сгущались, медленно оседала пыль, в воздухе

появились прохладные потоки, становилось легче дышать и только усталые ноги не хотели двигаться так, как хотел этого хозяин. Человек рассчитал, что пора итти в город, ибо пока он доберется до своего домика, будет темно и никто его уже не увидит.

Медленно двигались налившиеся тяжестью ноги. Редкие лица прохожих безразлично проходили мимо усталого путника. Но ближе к центру города начали появляться группы гуляющей молодежи, которая овладевала всем тротуаром. Приходилось сворачивать на мостовую, чтобы не наскочить на какую-нибудь неприятность. Зажглись редкие огни на улице. Темнота усиливалась быстро. Люди превращались в движущиеся силуэты.

Человеку оставалось пройти самый центр, то-есть площадь, на которой стоял собор, превращенный в кинотеатр, и завернув по железной дороге, подойти к милому домику... «Здесь нужно быть осторожным», – подумал он, – «так как можно встретить своих близких, возвращающихся с курорта или города домой.» Решение о встрече еще не было принято, поэтому человек внимательно присматривался к женским силуэтам, прислушивался к голосам.

Вот и деревянный серый забор. За ним, в глубине двора, стоит маленький домик. Человек осторожно открывает калитку и по мощеной кирпичем дорожке также осторожно идет к домику. Белый шпитц Каштан бросается к нему и, как бы зная конспиративность свидания, ни звуком не выдает присутствия человека. Он только путается в ногах, ласкаясь о пыльные ботинки, подпрыгивает, доставая до рук. Но человеку сейчас не до четырехногого стража, он спешит к небольшому окошечку, излучаемому яркий свет. Ставни были еще открыты, сноп света врезывался в темноту наступающей ночи, освещая цветочную клумбу, любовными руками возделанную для маленьких наслаждений и утех. Может быть здесь заложены тяжелые, горькие думы о человеке близком и далеком, может быть здесь пролиты слезы, на которых выростают и расцветают вот эти душистые красивые цветы и кустик розы, который венчает любовь двух женщин к человеку, не похороненому, но ушедшему в иной мир...

Прячась в тени, человек подошел так к окну, чтобы видеть, что происходит внутри. Перед окном, за письменным столом, сидела жена. Замерло сердце... «Постарела еще больше, морщины еще глубже», – подумал он. Пряди волос блестели сединками, очки еще резче выделяли худобу лица. Жена работала напряженно. Книги и записки лежали на столе, по временам рука протягивалась к чернильнице и тогда человек видел обручальный перстень, который жена не сняла ради новых порядков современного общества.

Вдруг человек услышал четкий говор. «Дверь открыта», –

подумал он, «Нужно быть осторожнее», и он, стараясь не нарушать тишины двора, завернулся в дикий виноград, опускавшийся с веранды.

– Ну, мамуся, чай готов, – говорила дочь, – бросай работу, давай попьем вкусненького чайку с вареньем.

– Одну минутку, детка.

На момент вотворяется тишина. Но звонит посуда. Наконец говор раздается уже в кухне. Жена и дочь пьют чай.

– Мама, скажи родная, что с нашим папкой? Почему он не с нами?

– Лена, я сказала тебе уже, так должно быть. Отец с нами быть не может. Придет время, ты узнаешь, но лгать тебе сейчас я не хочу.

– Но когда же я узнаю, мамочка? Ведь образ папы всегда стоит передо мной. Ради него я стараюсь сделать все как можно лучше, учиться, работать, но всегда думаю, почему все отцы со своими семьями, а мой папа... Где он?

– Что же, Леночка, так устроена наша жизнь, так должно быть, но утешь себя тем, что мы все же счастливее твоего отца, ибо мы имеем крышу, кусок хлеба, а он... мы не знаем...

Человек сгорал в нервном потрясении, он рвался войти в дом, в нем бесновалось сердце, не было ни усталости, ни боли, но родилась уже воля не бередить раны, и эта воля заставляла застыть его в листвяных нитях дикого винограда, вдыхая засевшую на них пыль.

Разговор затих, только звон посуды раздавался из домика. «Нет, нужно покончить», – подумал человек, и он резко раздвинул виноград, еще раз заглянул в окно, увидел жену и выросшую восемнадцатилетнюю дочь, отвернулся и, стараясь итти тихо по траве, быстро пошел к калитке. «Зачем тревожить их? Рана есть.Она никогда не заживет, но зачем расковыривать её глубже? Или снова родиться на свет, или погибнуть, но дальше так жить нельзя!»

Город затих. Молодежь разбежалась из темных улиц центра. Лишь редкие сторожа медленно двигались возле магазинов. Человек направился через площадь к скверику, уселся на скамью, думая забыться и отдохнуть, но свежие мысли будоражили душу и не было сил изгнать их из головы. Он не находит себе места. Мечется от одной скамьи к другой.

Наконец, после долгих неспокойных часов приходит к необыкновенной мысли: «Покончить с собой и заново родиться на свет Божий...» – Мысль может быть дикая, но иного исхода человек не видит. – «Жить и не жить, быть и не быть – дальше так существовать нельзя – нужно проявиться на свете. Пусть мое рождение будет

слишком болезненно, но я буду вполне официально существовать в той самой стране, которая не терпит меня.»

Человек быстро встает, нащупывает в кармане перочинный нож и идет к рядам магазинов. Сонная фигура сторожа. Он лежит на широком подоконнике большой витрины. Человек подходит к двери магазина, нащупывает замок и карманным ножичком начинает ковырять в отверстии для ключа. Сторож спит. Человеку становится на миг жутко, но он снова берет себя в руки и для того, чтобы ускорить развязку ночи, сильно дергает замок. Звякнувшее железо будит сторожа. Он вскакивает, бросается к человеку и дико кричит. К нему сбирается еще несколько сторожей. Человека хватают несколько рук, что-то спрвшивают, что-то говорят, но он молчит. Его ведут в отделение милиции.

За столом сидит курносый рыжий малый в измятой форме. Он лениво выслушивает ночных сторожей, смотрит на часы, затем обращается к человеку.

– Ограбить думал?

– Да, – отвечает он.

Тогда рыжий малый достает печатный бланк протокола и начинает опрашивать преступника и сторожей-свидетелей. Анкетные данные преступника не смущают блюстителя порядка, он спрашивает и записывает, не вникая в смысл.

– Имя?

– Укроп.

– Отчество?

– Помидорович.

– Фамилие?

– Огурцов

После соблюдения всех формальностей преступника посадили в камеру для временно задержанных. – «Идиоты, даже не побили», – подумал человек, – «Если все будет так хорошо итти, так я приобретаю вполне официальную визитную карточку, даже больше – метрическую выпись о рождении на свет Божий—я теперь Укроп Помидорович Огурцов!» – Усталость взяла свое – человек крепко заснул на жесткой койке.

Через две недели состоялся суд. Человек получил неизвестно за что и неизвестно по каким законам год тюремного заключения. Но удивительнее всего то, что проходя через многие инстанции судебных и исполнительных органов, человек нигде не встретил осмысленного

вопроса: «Да какой же ты Укроп Помидорович Огурцов, черт возьми!»

Так и родился на свет Божий новый гражданин и, в недалеком прошлом – уголовный преступник, в настоящем – заканчивающий отсиживать свой срок заключенный, в будущем – свободный гражданин своей родины. Уголовное прошлое – это наиболее верная форма гарантии спокойного будущего. Человек к этой формуле пришел через долгие годы мучений, путем многочисленных наблюдений, а опыт дальнейшей жизни утвердил эту формулу, как основу не только его собственной жизни, но жизни всего государства.

То, чего искал человек так долго, пришло легко и сравнительно быстро. Он снова мог видеть свою семью.

Перечитывая этот рассказ, я удивлялся, что эта идея не пришла мне в голову раньше, может быть сразу же после моего возвращения из Белой армии, так как всю мою жизнь я был в побегах стараясь избежать когтей ЧеКа, ГПУ, КГБ и НКВД.



ЗАБЫТОЕ ПИСЬМО

Мой милый друг! Сейчас время и расстояние уже настолько отдалили нас от прошлого, что, оглядываясь в забывающуюся даль и с трудом проникая мыслью за горизонт, я не встречаю знакомых лиц, не вспоминаю страшных событий, не слышу милых голосов. Все побледнело, растворилось в последующих еще более страшных годах.

Забыты имена и события... Остались лишь названия некоторых пьес и далеко не все псевдонимы действующих лиц...

У моря приливы чередуются с отливами. У меня то убегают куда-то прожитые годы, то набегают шумливыми, пенящимися волнами... Это прошлое то уходит в небытие, то становится рядом со мною настолько близко, что делается как бы реальным—я все вижу и слышу отчетливо, но понимаю, что это только мираж...

Прожита жизнь. Сделано много хорошего. Но не сделано еще больше. А ведь было всё: желание, время, воля и место, и, самое главное, был живой материал. Нет, не материал, а живые человеческие души, тянувшиеся к истине, к свету. И вот, обладая почти всем, я вел их туда, куда они стремились. Это было по пути, легко. Доверчивые, они следовали... Но далеко не все доходили до конечной цели... Я не мог их довести... Я не мог их довести лишь потому, что со связанными руками и ногами я вынужден был быть неподвижным. Меня вдруг связывали как раз на самом главном повороте!

Какая все-таки жестокая трагедия! Быть зрячим проводником и сидеть неподвижно на одном и том же месте! Или силою быть поднятым и несемым в пустоту!

Я знаю, многие сами дошли. Без моей помощи. Не все семена падали впустую.

Как много сделано, но еще больше не сделано!

Прилив ли, отлив ли, день нашей встречи я помню всегда так ясно, как будто это было сегодня, вчера... Если ты жив, то и ты его помнишь с такими же подробностями, как и я. Из всех этих подробностей важно было интуитивное духовное приятие.

В первый же день официального нашего знакомства за фасадом общепринятых в таких случаях разговоров в нашем внутреннем мире открылось что-то новое, светлое, радостное, спокойное... Это была не

любовь и не дружба. Это было что то еще большее. Открылось, что я – ты, а ты – я. Такая простая жизненная формула, но как она редка в том мире, в котором мы пребывали!

Мы не говорили об этом. О нет! Разве можно было говорить слова вслух, которые раскрывают? Но было так. Мы говорили о прошлом невинном, о работе, о подкрашенном до неузнаваемости страшном настоящем, говорили искренно, открыто, и разве не удивительно—не боялись говорить даже такие вещи, за которые по доносу люди платили жизнями! И это было в нашу первую встречу! Это было тогда, когда мы только знакомились с тобой!

Ты помнишь, мы не боялись друг друга с первой минуты нашего первого свидания! А ведь мы же не признавались ни в любви, ни в преданности, ни в дружбе, не клялись, не брали на себя обет молчания!

Позже мы уже знали друг о друге очень много. Мы обладали такими фактами из жизни друг друга, что если бы один из нас оказался просто не злым, но безвольным человеком, другой бы утонул в собственной крови. Но не потому, что был преступником, а потому, что боролся с преступниками и в этой борьбе обессилил.

Каждое твое слово было остро, как бритва. Спрятанное в юмор, в шутку, оно часто спасало тебя. Я не отставал от тебя. И нас в одиночку пока уговаривали, и мы знали, что после будут пытать, будут спрашивать с пристрастием, добиваться: «Кто он?» О, мы знали все друг о друге! Мы знали очень много! И, зная «верую и исповедую», играли роли наивных незнаек!

А если бы были пытки? Люди мы. Человеки. Смогли бы мы перенести непереносимую физическую боль?

Ты же знаешь, встречал, как и я, людей «оттуда». Помнишь? Выбивание зубов и выдергивание ногтей—да ведь это же чепуха!!! Ломание рук и ног, ребер и позвоночника, проваливание черепа—сумели бы мы пережить? Промолчать? Друг мой милый! Друг мой сердечный! Мы же люди. Мы же человеки!

Но если бы мы поддались общечеловеческой слабости, смогли бы мы, осудив друг друга по своей собственной уже слабости, произнести слово «Подлец»!?

Духовные пытки мы прошли с честью. Не поддались соблазнам. Пережили унижения, оскорбления, грубые издевательства гориллообразных в виде насмешек; мы пережили лишения, голод и холод не как часть физических ущемлений, которые мы даже не замечали, но как подчеркивание того высокомерного презрения, которое питают к нам четвероногие, едва научившиеся ходить на двух.

Да и ходить-то на двух их нужда, ихняя нужда заставила! Ведь другая-то пара им потребовалась для мести—душить, ставить к стенке! И разговаривать, конечно, научились. О Дарвине. А дальше пришлось научиться говорить о Пушкине, Чайковском, Антокольском, Павловой, и даже о Достоевском! Не глубоко. Исходя из стандарта. С известной точки зрения. Больше того. Даже религию разрешили... для борьбы с религией! Диалектично!

Не всегда умные люди говорят умные слова. Пользуясь славой, они часто изрекают пустозвонные фразы, которые толпа, не желающая, хотя и умеющая в них разбираться, принимает за аксиомы безо всякой критики.

История, например, никогда не повторяется! А на ошибках учатся, правда, но настолько малое количество людей, что принятую всеми формулу следовало бы считать не законом, а очень редко повторяющимся случаем.

Ты с сожалением говорил:

– Река не течет вспять!

Я делал поправку:

– Но меняет русло!

С еще большим сожалением ты отвечал мне:

– Этот процесс так неясен, настолько медленен, что движение черепахи кажется марафонским бегом! Да и потом, как изменится русло? Куда потекут новые воды?

– Естественные пути увлекут их в естественном направлении, туда, куда им и следует бежать.

– Течение и сейчас идет естественным путем.

– Изъяны в истории незаконны, но естественны...

Мы противоречили не только друг другу, но и сами себе.

Для чего?

Искали истину.

А истина искала нас.

Все было очень просто. Все, что было внизу, поднялось на поверхность. Искать закон в развитии общества было бы напрасно в той грязи, которая теперь свободно плавала вокруг нас. Мы же и сами знали прекрасно, что в грязной воде всплывает все легкое—оттого-то она и грязна! Нужно ждать, когда течением вся эта грязь смоется и когда перестанут мутить воду алхимики общества. Во всяком водоеме, как бы он ни был прозрачен, всегда есть муть.

Была ночь. Ты пришел ко мне в комнату. Мы провели время до утра в разговорах о пустяках. А ведь оба мы знали, что больше никогда в жизни мы не встретимся...

В этом у нас не могло быть сомнений. Грань времени подходила к концу... Больше мы принадлежать друг другу... не можем... никогда... Почему же тогда никто из нас не сказал ничего серьезного? Ни единого слова? Самого главного? Ведь мы же принадлежали друг другу всеми нашими чувствами и всеми нашими мыслями!

Странно. Это главное ушло от нас тогда... И мы, вероятно, поэтому не сказали друг другу даже «Прощай!»

Мы забыли, что это наша последняя ночь.

В присутствии умирающего не говорят о смерти. А мы умирали друг для друга.

Пустяки оказались виноватыми? Нет, мы заслонились пустяками от самого страшного—от полного разрыва, от смерти! Вот почему мы и не сказали тогда друг другу «Прощай!»

Мы просто разошлись по домам... без надежды когда-нибудь встретиться...

Зачем же теперь напоминать о себе? Чтобы тебя спросили, как прежде:

– Кто он?

Но и тебя бы тогда не оставили в покое!

Письмо написано здесь, за границей. Но оно не было послано. Зачем? Бередить, может быть, незажившие раны? Забытым оно пролежало десяток, может быть, больше лет. Но оно сохранилось. Будет ли оно послано когда-нибудь?

Я знаю: на восточном фронте без перемен. Сколько времени еще пролежит это письмо в ящике моего письменного стола?



ЗНАМЯ ЮНЫХ ДОБРОВОЛЬЦЕВ БЕЛЫХ АРМИЙ

Участники гражданской войны, все мы в походе. Все мы ждем приказа к выступлению... Может быть, мы пока в Курман-Кемельчи. Может быть, у Армянского Базара. Может быть, незаметно подходим уже к Перикопу...

Друзья детства! Друзья юношества! Пусть вам за пятьдесят сейчас! Но вы так же молоды, как и прежде! В вас горит таже любовь к Родине тот же юношеский задор! Отзовитесь своей пламенной любовью к России! Алексеевцы, Нарковцы, Корниловцы, Дроздовцы, Казаки Кубани и Дона! Деникинцы и Врангелевцы! Колчаковцы! Добровольцы Армии генерала Юденича! Добровольцы всех Белых Армий! Ко всем наш юношеский призыв! Подготовим Армию Добровольцев!

Вспомним в кругу теперешней молодежи наши серенькие боевые дни, наполненные любовью к Родине. Заразим теперешних юношей и девушек нашим чистым чувством! Расскажем о самоотверженной борьбе детей-добровольцев, вспомним тех, кто отдал свои жизни за Родину, вспомним и тех, кто остался в живых. Вспомним походы, бои, и редкие передышки, вспомним наши победы и поражения. Расскажем, что заставило нас оставить родные места, спокойствие, уют и тишину, наши увлечения, наших друзей и близких и стать в ряды маленьких героических Белых Армий на Юге, Севере, Востоке и Западе России. Вольем нашу молодость в современную русскую молодежь! Этим мы передадим наше Знамя Юных Добровольцев Белых Армий, чтобы они донесли его до Родной Земли!



ВЗВЕЙТЕСЬ СОКОЛЫ ОРЛАМИ!

«Знакомство» с генералом Туркулом произошло в 1918 году, когда он был еще в чине капитана. Это было на станции Никитовка. Стройный, крепкий, смелый капитан Туркул проводил «ученье». Его солдаты – все офицеры – маршировали, огибая подковообразную площадь. Бодро неслось во все стороны:

«Взвейтесь соколы орлами!

Полно горе горевать...»

С каким воодушевлением пели «рядовые»! Сколько было энергии! Сколько бесстрашия! И сколько преданности, верности, долгу, любви к родной земле! Песнь захватывала не только солдат с офицерскими погонами, но и тех обывателей, которые любовались «ученьем».

А ведь соколы эти, действительно, были бесстрашны, как и их командир! Красные были в районе Попасной! Красные – в районе Бахмута! Красные – недалеко от станции Магдалиновка, в районе Щербиновки! Капитан Туркул отправляет составы из двадцати-тридцати товарных вагонов под станцию Роты, под станцию Магдалиновка, на Майорскую. В каждом составе по два-три человека с пулеметом. Во всех направлениях храбрые, отважные «солдаты» отражают врага. «Полки» белых отбивают полчища красных!

Что же за силы были в распоряжении капитана Туркула, которыми он сдерживал красных? Дивизия? Корпус? Полк? Батальон? Наконец, рота? Да, рота. Но не полная, а «Офицерская». То есть, одна, может быть, пятая уставной! Храбрая рота. И в воспитании, в поддержании этой храбрости значительную роль играла песня.

После дневного боя предстояла, как обычно, тревожная ночь. Тихий, теплый вечер. Дорожная пыль обдает батарею, въезжавшую в немецкую колонию в Северной Таврии. Утомлённые июльской жарой и дневным боем, все молчат. И вдруг в колонии слышится, как будто за стеной немецких садов, как будто совсем близко рядом с батареей:

«За власть советов...

Все, как один умрем...»

Не было в те времена «Берёзки» с дрессированными голосами и такими же ногами, и в этой советской песенке не было самого главного – огня, наоборот, чувствовалась придавленноть, принуждённость. Наша усталость моментально исчезла, и батарея грянула:

«Смело мы в бой пойдем

За Русь святую...»

И в этой песне-ответе кипела жизнь, энергия, сила, воля. Красные не выдержали и смолкли.

Вооруженная борьба теперь в далеком прошлом. Любовь к Родине руководила белыми воинами. Эта любовь породила и эпохальные военные песни и марши, воспитывавшие, укреплявшие, украшавшие армию. И если марши отражали великолепнейшие парады, то песни – главным образом, будни. Диапазон этих буден был широк.

От бодрящей марш-песни:

«Шли дроздовцы твердым шагом,
Враг под натиском бежал, –
И с Трехцветным русским флагом
Славу полк себе стяжал...»

Через трагедию битвы за Русь святую:

«Звезды потухли над дальней равниной,
Там, где течет Тихий Дон, –
Там, под Батайском молчат пулеметы,
Но крики и стоны кругом...»

Через командирские слезы над трупом воина-ребенка:

«Он был герой, орленок смелый,
Струилась кровь на ландыш белый,
В расцвете сил покинул злобный мир...
И, как дитя, заплакал командир...»

До песен вне войны, в мирной обстановке мы встречаемся с беззаботным, беспечным юнкером, любящим в свободные минуты – иной раз и пошутить:

«В одной руке держу бокал, держу бокал,
Другой я обнял женский стан, женский стан –
Теперь я папа и султан
И мне счастливый жребий дан, да жребий дан!»

И не обходится, конечно, и без элементов, комизма:

«Готова я, таков закон, таков закон,
Составить дамский эскадрон,
Мужчины дрянь, мужчины дрянь, на них плевать,
Заставим их детей рожать...»

Но в наших военных песнях история России: Наполеоновский 12-й год, Первая Мировая война, Гражданская и, наконец, Галлиполи.

Распылились военные песни, забылись. Но нашелся Таганрогский Дон Кихот, господин А. А. Гайрабетов, безусым мальчиком прошедший горнило гражданской войны и через Галлиполи пришедший в так называемый свободный мир. На склоне лет он занялся кропотливым трудом: разыскать, собрать слова и мотивы, восстановить военную песню. Огромный труд! Ведь мир велик! И далеко не везде и не все поют теперь эти песни. Многое забыто, рассеялось в эмигрантских заботах, но и то, что, удалось собрать господину Гайрабетову и представить нам как «Сборник военных песен», достойно не только нашей белой похвалы, но и глубокой благодарности.

Вспомним же; белые воины, русскую военную песню, передадим её нашим детям и внукам чтобы они вернули её на родину, где красная нечисть попирает все наше прошлое. Даже невоенные, непоющие должны иметь этот «Сборник», как память о том прошлом, которое всем нам дорого, из которого все мы вышли.



МАРШ ДРОЗДОВСКОГО ПОЛКА

Из Румынии походом
Шел Дроздовский славный полк
Для спасения народа
Нес геройский, трудный долг.

Генерал Дроздовский гордо
Шел с полком своим вперед,
Как герой он верил твердо,
Что он Родину спасет.

Верил он – настанет время,
И опомнится народ,
И он сбросит свое бремя
И за нами в бой пойдет.

Много он ночей бессонных
И лишений выносил,
Но героев закаленных
Путь далекий не страшил.

Ведал он, что Русь святая
Истомилась под ярмом,
Словно свечка догорая,
Угасает с каждым днем.

Шли дроздовцы твердым шагом,
Враг под натиском бежал,
И с трехцветным русским флагом
Славу полк себе стяжал.

Пусть вернемся мы седые
От кровавого труда,
Над тобой взойдет, Россия,
Солнце новое тогда!

Припев:

Этих дней не смолкнет слава!
Не померкнет никогда!
Офицерские заставы!
Занимали города!
Офицерские заставы!

Занимали города!

Раскулаченные

Сталин отрекся от обещаний революции:
«Вся земля крестьянам!»
и разразился бешеной аттакой на крестьян
насильной коллективизацией.

Посвящается памяти миллионов
раскулаченных крестьян
которые погибли во время
того ужасного периода
в истории России.

Но живые – никогда не забудут прошлого,
и история воскреснет – правдивая, жуткая,
от которой не у одного читателя
волосы встанут дыбом
и не один скажет,
прочтя её страшные страницы:
«Господи, упокой души
невинных раб Твоих...»

– Орест Михайлович Гладкий,

“Неподалеку от Саур-Могилы” (1954)



ВСТУПЛЕНИЕ

КРЕСТЬЯНСКАЯ ТРАГЕДИЯ

Организация сельскохозяйственных артелей—как их называли в самом начале до того, как советская власть ввела новое печально-известное название «колхоз»—продвигалась после революции чрезвычайно медленно из-за сопротивления крестьян. Революционный лозунг обещал: «Земля – крестьянам!», и крестьяне ожидали получить землю для частного сельского хозяйства. Их заветные мечты о земле были краткосрочными, вскорости превратившись в кошмар, унеся с собой жизни миллионов людей, живших и работавших на этой земле, но умерших от голода в сущности от рук советских управленцев.

До революции крестьяне обрабатывали землю, розданную сельским общинам во время освобождения крепостных в 1861 году. Землю эту распределял мир—сельская община—на наделы для каждой семьи в деревне по патриархальной родословной, которая позволяла передаваться по наследству сыновьям. К 1918 году наделы многих больших семейств были так разделены между множественными наследниками, что размер их уделов был недостаточен для содержания семьи.

Для улучшения методов земледелия и увеличения производства зерна в период между 1905 и 1907 годами российское правительство разрешило крестьянам продавать и покупать наделы земли. Обеспечивая юридическую основу для этого решения, правительство учредило в губерниях земельную комиссию, которая содействовала владельцам небольших наделов в продаже их земли, распределенной общинами. Таким образом крестьяне получали помощь в объединении участков, покупки земли у тех, кто продавал свои наделы и переселялся в города, чтобы искать работу в развивающихся промышленных центрах. Деловые крестьяне со сноровкой скупали большинство земли и становились зажиточными крестьянами, обеспечивающими стабильные и надежные поставки зерна стране.

К 1916 году, во время войны с Германией, Российское правительство начало выдавать хлеб по карточкам в городах и поселках. Затем в 1917 году Временное правительство ввело государственную монополию на зерно, согласно которой крестьяне

были обязаны сдавать государству все имеющиеся излишки зерна по установленным ценам. Быстрая девальвация денег и нехватка продовольственных товаров в свободной продаже привели к тому, что крестьяне стали прибегать к незаконной, но широко распространенной практике защиты плодов своего труда – скрывать часть зерна от властей. Товарообмен стал доминирующей формой торговых операций, при которых, в основном, еду обменивали на товары потребления.

Между 1917 и 1918 годами земля была експроприирована у помещиков-землевладельцев и распределена общиной между крестьянскими хозяйствами деревни. Поскольку одно семейство могло получить землю в разных местах, крестьянам было разрешено покупать и продавать землю для её консолидации.

Во время Гражданской войны, последовавшей за революцией, крестьяне обрабатывали землю, которую к тому времени они рассматривали как свою собственность на основе абсолютного права; одну часть земли они унаследовали от своих отцов; другие участки они получили от раздела экспроприированных земель. Кроме того, они могли купить земельные наделы от других крестьян. В этот период крестьяне по-прежнему подвергались реквизиции зерна со стороны Красных, Белых и Зеленых, всех тех, кому необходимо было кормить свои армии и обеспечивать хлебом население в городах и поселках, находящихся под их контролем.

Когда большевики начали расширять свою власть в стране, острее становилась и необходимость обеспечивать население продуктами. В результате большевики запретили крестьянам частную торговлю зерном, и у крестьян не было другого выхода, кроме как продавать его правительству по установленным ценам. Но крестьяне сопротивлялись сдавать все свои запасы зерна государству по низким ценам, и продолжали практику прятать часть зерна, чтобы потом обменивать его на черном рынке.

Крестьяне считали, что революция их предала, и они таили злобу на большевистское правительство, чьи твердые меры уничтожили коммерческую мотивацию к производству больших урожаев. Последовавшее понижение посевов, усугубленное засухой в нескольких больших зернопроизводящих областях, привело к массовому голоду 1921-22 годов как в городах, так и в сельских районах.

Правительство немедленно ответило на эти проблемы исправительными мерами, сначала ужесточив экспроприацию зерна, отбирая у крестьян все запасы на которые оно могло наложить свои руки, а потом введя установленный квотный натуральный налог,

который крестьяне должны были платить зерном государству. Это последнее введение позволило опять крестьянам продавать излишки урожая на рынке, что немедленно произвело положительное влияние на наличии зерна на рынке. Это время известно в истории страны как период НЭПа начатый в 1921 году. Новая Экономическая Политика принесла с собой возобновление частной торговли и мелкого ремесленного производства, что послужило необычайно эффективной, хотя временной, мерой для улучшения ужасной экономической ситуации во всей стране.

Частичное уменьшение контроля государства оказалось кратковременным, так как индустриализация страны, идущая в ускоренном темпе, требовала закупки иностранного машинного оборудования, которое должно было быть оплачено советским правительством доходами от продажи зерна зарубеж.

Крестьяне сопротивлялись продаже зерна государству, потому что установленные цены на зерно были чрезвычайно низкими, и, следовательно, заготовка зерна упала ниже всех предварительных и черезчур преувеличенных вычислений государственными планировщиками.

В результате партия большевиков дала строгий приказ государственным властям употреблять новую окольную тактику для реквизиции зерна у сопротивляющихся крестьян. Клеймо «кулак» было введено в употребдение для опознания зажиточных крестьян, которые были потом объявлены «врагами народа» и как таковые были лишены гражданских прав.

Бригады членов Коммунистической большевистской партии, составленные из рабочих, солдат и моряков, отправлялись в деревни, где, употребляя угрозы и физическую силу, они реквизировали из кулацких амбаров и тайных хранилищ припрятанное зерно. В тех случаях, когда сила убеждения не работала, тактика «разделяй и властвуй» употреблялась для достижения этой цели. Члены бригад использовали хитрость и обман, разделяя селян на две противостоящие группы, разжигая классовую войну между бедными и зажиточными крестьянами.

Сопоставление большевистского режима с крестьянством обострилось и вылилось, в конце концов, в жестокую и беспощадную кампанию против зажиточных крестьян, которые владели и обрабатывали относительно большие участки земли. Кулаков рассматривали как открытую гноящуюся рану на теле большевистской доктрины коллективизации, и эта рана должна была подлежать радикальным дизинфицирующим методам.

Этот период отмечает конец политики НЭПа. Советское

правительство стремилось получить полный контроль над продукцией зерна. До этого времени коллективизация сельского хозяйства продвигалась слишком медленно на, так называемой, добровольной основе. После этого возобновленный удар был направлен на принудительную коллективизацию. Большевики стали уничтожать все достижения частного земледелия, они экспроприировали у кулаков их землю и другую собственность. Этот беспощадный процесс, называемый раскулачиванием, заключался в том, что миллионы кулаков были высланы в трудовые лагеря в Сибири и в других удаленных местах обширной территории Советского Союза.

Правительство посылало в деревни и села особых агентов коллективизации, чтобы проводить общие собрания, во время которых крестьян заставляли принимать фиктивные резолюции о, так называемой, «единогласной» и «добровольной» организации колхозов. Такие фиктивные собрания обычно проводились в зданиях школы. Поскольку на собраниях требовалась помощь грамотного человека, приглашение учителя в качестве секретаря на заседаниях было распространенной практикой. Кроме того, как грамотный человек учитель был обязан вслух зачитывать враждебно настроенным крестьянам многочисленные страницы пропагандистской литературы о политике коллективизации и её «преимуществах» для крестьян. Также, от учителя требовалась «добровольная» грамотная помощь деревенскому агитатору-пропагандисту, так называемому агитпропу, чьей роли придавалось особое значение партией большевиков.

От учителя ожидалось, также что он будет «добровольно» агитировать за колхоз, и делать это с таким же энтузиазмом, как и крестьяне, которых также «добровольно» заставляли записываться в эти колхозы. В это время в ходу была циничная и точная фраза – «добровольно по принуждению», употреблявшаяся каждый раз, когда люди были вынуждены действовать вопреки своей воле. Совершенно искаженная концепция добровольности использовалась во всех ситуациях, когда партия большевиков или советское правительство хотело показать, что люди добровольно поддерживали режим, в то время, как на самом деле система держалась только на принуждении.



НЕПОДАЛЕКУ ОТ САУР-МОГИЛЫ

Если выйти на край шахтного поселка, то перед глазами откроется картина необъятной степи. Она начинается сразу же от небольшого села, расположенного внизу, и тянется далеко на юг, теряясь где-то в дали, где возвышается на горизонте загадочная Саур-могила, таящая в себе кусочек русской истории.

С севера, востока и запада виднеются остроконечные купола угольной породы и надшахтные вышки. Черные конусы породы стоят молчаливо. Им нечего рассказывать современникам – это история сегодняшних дней. От этих конусообразных мрачных пирамид бегут блестящие ниточки рельсов, по которым изредка движутся маленькие поезда, груженые углем.

А на далеком горизонте небо сливается с землей, скрывая от глаз такую же безграничную степь, тянущуюся до берегов Азовского моря. Когда-то, давно-давно, по этой степи носились среди буйной травы, среди ковыля и чертополоха, среди ярких полевых цветов и высохших стеблей прошлогодней растительности дикие сборища Золотой орды, и их набеги отражали вольные окраинные всадники. Много жертв принесли безымянные жители просторных степей во имя спасения своей родной земли, во имя вольницы своей, и степь хранит в своих глубинах незримые могилы героев, стертые временем. Только Саур-могила возвышается над ширью полей и напоминает о былом...

Прошли долгие годы упорной борьбы, степь превратилась окраинной вольницей в распаханные поля, на которых выростали, причесанные заботливой рукой земледельцев, хлеб и подсолнухи, овощи и культурные травы. Там виднелись поля с золотистой пшеницей, там – вечно зеленого клевера или люцерны, там, в низинах – бахчи, а там, у узкого ручейка, неизвестно откуда вынырнувшего, блестели жирной зеленью и свежестью огороды. По редким и пыльным дорогам ползли со скрипом огромные арбы, издали похожие на движущиеся горы, наполненные плодами рук степных поселенцев...

Редкие села красочными картинками выскакивали где-нибудь из ложбинок высокими колокольнями и куполами церквей, а за ними показывались журавли колодцев, белоснежные хатки, плетеные заборы. В вечерней мгле, в угасающем дне звучали субботние колокола или воскресным ранним звоном перекликались деревеньки, и

благостный звук разносился далеко по степи...

Еще не так давно степь жила полной жизнью и напряженным трудом. Тяжел был труд поселенцев, но благодарен. И любили свой труд люди, и за свою любовь получали от земли богатую плату. Жили не в роскоши, но в избытке, и плодами рук своих делились с другими...

Но прошло не так много времени, и та же степь перестала быть кормилицей. Наступил голод. Не по прихоти поселенцев богатой степи, но по произволу властелинов... Так было когда-то в страшные годы, в жестокие исторические дни, когда Золотая орда на время овладевала степью, изгоняла её хозяев, разрушала жилища, убивала всё живое, не повинующееся ей... И тогда, как и теперь, бывали голодные годы... И тогда, как и теперь, обессиленные умирали по произволу властелинов...

Еще не так давно в селе, что примостилось у шахт, что богатело двойным трудом – зимою на шахтах, летом в степи – по праздничным дням собирались оргомные базары. Съезжались степняки из разных мест, из самых далеких сел, привозили своё богатство и возвращались по домам с карманами, набитыми деньгами, с возами, наполненными «городским» добром. И жили все хорошо – и степняки и шахтеры.

Но прошло не так много времени, и всё переменилось. Осталась та же необъятная степь, но не та. Остались те же села, но не те. Остались те же шахты, но не те. Безкрайная степь покрылась бурьянами, как будто хотела вернуть историю ко временам Золотой орды. Пустели села, как будто поселенцы бежали от надвигающихся полчищ Батыя. Мрачнее становились черные пирамиды угольной породы на шахтах, отражая траур умирающей истории. И люди становились другими...

Голод... Села пустели. Вымирали. Ссылались на каторгу. Шахты переполнялись голодными людьми. Молчаливыми. Озлобленными. Готовыми только за кусок хлеба работать под землей. Но если не было работы, они готовы были вырвать этот кусок хлеба из рук тех, кто его имел. И становилось неспокойно жить, как во времена нашествия татарских орд на вольную степь...

Нет сил бороться, и поселенцы одни, покорно следовавшие року, шли на смерть, другие – искавшие спасения, только спасения, бежали из насиженных веками мест... Только слабые оставались в домах своих. Только отягченные семьями продолжали медленно умирать в своих родных селах. Но и они иногда находили путь к спасению, может быть, не всегда верный, не всегда христианский, а поэтому страшный, но голод из людей делал зверей, и не нам быть судьями тех, кто через преступления властелинов приходил в жизни своей к таким страшным решениям... Не они виноваты. Не люди

преступники. Не по доброй воле совершали зло... Судья им Бог.

Воровство – это уже не преступление. Людоедство? Слаб человек. Страшен голод. Когда в защите человек убивает подобного себе, – суд выносит оправдание.

Предоставим же мы, живые свидетели невыносимых стаданий нашего народа, судить прошлое Богу и честным историкам Второго Смутного времени. Ибо нет у нас сил вынести беспристрастный приговор тем, кто совершал «преступления» во имя жизни!

Неподалеку от Саур-могилы разбросалось село С. Богатое, сильное своей черноземной силой, крепкое своим христианским духом, верное своим обычаям, трудолюбивое, незлобливое, всепрощающее. Кипела жизнь в страдные дни полевых работ, но покрывалось село спокойствием, тишиной в дни долгого зимнего отдыха. Вскипало бурно по праздникам искренним весельем, удалью степной, пьянело избытком трудов летних или журчало говором людским в будние дни.

Но всё это прошло. А сейчас – оно будто вымерло. Тишина. Зловещая тишина воцарилась. И не видно на улицах поселян, и не слышно их бодрых голосов, и не слышно по вечерам песен молодости, и в оконцах посеревших хат не видно огней... Нет дорог разъезженных, укатаных широкими крестьянскими полозьями, нет дорожек утоптанных добротными крестьянскими сапогами... Выпадет снег, белый, искристый, и состарится за ночь – ни следа. Только намеки воронья да легкий заячий бег или путанный шнурочек лисий, заметенный пушистым хвостом. И изредка, может быть, встретится отпечаток ноги человека. Болезненный. Изуродованный. И тяжелый.

Жизнь теплится еще в селе. Кое-где. Жизнь – едва уловимая. Да и не жизнь, а умирание. Покорное. Молчаливое. Умирание без отчаяния. Ибо жизнь кончается в родном гнезде. Ибо за околицей скорая смерть...

Ночь. Тишина. На ясном небе – полный месяц. Звезды серебристыми точками украсили высь. В морозном спокойствии не чувствуется жизни. Будто всё покрылось толстым слоем снега. Будто всё покрылось ледяной корой. И село не спит, а мертво. Потому что оставшиеся в живых не засыпают, а умирают. Потому что из оставшихся в живых не все проснутся завтра утром. Потому что не проснувшиеся останутся на долгие дни лежать скорченными на печах или в своих широких деревянных деревенских кроватях. Потому что их некому будет похоронить. Потому что царит смерть, и страх, и голод и холод, и не дело жизни вмешиваться в судьбы даже мертвых...

Ночь. Тишина. Полный месяц светит, и серебристые звезды в холодной выси играют огоньками голубыми. По снежной дороге три

черные фигуры куда-то бредут из села. Медленно двигаются они. Одна – высокая, худая, тонкая даже в широком кожухе, две других – маленькие, крошечные, едва заметные на белом фоне снега. Они бредут, подталкиваемые инстинктом, потому что дороги не видно. Только слабая память подсказывает им путь. Да огни далеких шахт, к которым стремятся они. Но стремление их тормозится невыносимой тяжестью. Как будто невероятный груз они несут на себе. И от этого груза – слабость. Необыкновенная слабость, заставляющая каждые несколько шагов останавливаться, чтобы набраться сил для других нескольких шагов.

Медленно ползет тихая ночь. Месяц куда-то уходит. Звезды исчезают в сереющем небе. И пройденный путь теряется в невозвратной дали. Дом оставлен на веки...

Утро застало путников у околиц другого села, где жители полу-крестьяне, полу-шахтеры, где жизнь, хоть и нарушенная, искалеченная, но продолжает существовать. И сегодня, в воскресный день, эта жизнь спозаранку видна. Из разных концов, из разных дворов спешат люди – полумужики, полурабочие. Одни несут корзинки или мешки, наполненные добром, что вырастили в течение лета на своих огородах, другие – с пустыми корзинками. Они все встретятся на рыночной площади. Одни, чтобы отдать за продукты старые вещи или ничего не стоящие деньги, другие, чтобы их получить.

По кривым уличкам медленно идут и ночные путники. На них никто не обращает внимания. Они не спешат. Идут молча. Ибо нет уже сил говорить. Да и о чем? Дети знают, что просить у матери хлеба нечего. Его нет у неё. Мать знает, что утешать голодных словами грешно. А дать кусок хлеба... Откуда же его взять?

Еще не так давно базарная площадь шумела, бурлила, кричала, смеялась. Еще не так давно возы или сани были наполнены плодами трудов мужицких. Волы и лошади, коровы и телята, свиньи и козы, куры, гуси, утки, индюки устраивали такие громкие концерты что они слышны были далеко за пределами площади, и среди ржанья, гоготанья, поросячьего визга, кукуреканья необузданных петухов, среди блеянья овец и кряканья уток слышалось не менее веселое журчанье человеческих голосов. Жизнь кипела. Сытая. Здоровая. Жизнь трудового народа. Но теперь – нет возов. Нет и шума. Нет и жизни. Одни стоят с несложным «товаром», другие неспеша проходят мимо, прицениваются, торгуются, покупают, но всё это безжизненно. Нет ни задора, ни азарта, ни простого интереса. Продают по нужде, покупают тоже по нужде. Торгуются, иногда жестоко, с криком, с отборной бранью, дикой, грязной. Торгуют и торгуются с озлоблением. И дикая, иногда кощунственная брань – как предсмертный крик, как вопль приговоренных к смертной казни

обреченных...

Неспеша мать с детьми пробирается через толпу. Жадными глазами смотрит на жалкие товары продавщиц-шахтерок, сумевших на своих огородах вырастить бураки или гарбузы, помидоры или капусту. С жадностью смотрит на рабочих, принесших на базар свой пайковый хлеб, чтобы выменять на него молока или на толкучке ботинки или штаны. Но усталые и голодные путники знают, что всё это роскошь, не доступная им.

Вот толпа окружила человека продающего мясо. Что это было за мясо? Говядина, свинина, баранина или, может быть, конина? А может быть, кролик или зайчатина? Или недобросовестный торговец продавал свою собаку? Или... Нет, нет... Страшно не только вымолвить но и подумать... Но правда была, и её не умолчать... Нет сил не сказать о том, что было... Быть может, это была... человечина? Господи, страх обуяет людей и они, постояв минуту в раздумьи возле торговца, бегут сломя голову с базара с пустыми руками. Но находятся смельчаки, люди отчаянные или отчаявшиеся, ослепленные голодом, и они-то покупают «товар».

За спиной этой толпы мать увидела огромный камень, высунувшийся из земли почти правильным кубом. Когда-то он служил лотошникам как прилавок. На нём они раскладывывли свой нехитрый товар, а теперь он был пуст: никому не нужны гребешки или иголки, пуговицы или зеркальца, нитки или примусные иголки. Всё это оказалось теперь лишним.

Мать обошла толпу, подошла к камню, сбила с него снег свежий своим платком, подстелила свой кожух и усадила на нем детей. Медленно отойдя, она замешалась в толпу. Крестя и оглядываясь она отходила всё дальше и дальше, пока не дошла до конца площади, круто поднимавшейся к шахтномv поселку. Тогда она еще раз обернулась, но не увидела уже маленьких своих девочек, они смешались на фоне толпы с движущимися людьми, но мать перекрестила еще раз под своей теплой кофтой дочерей и тихо начала подниматься вверх...

Маленькие девочки долго сидели на холодном камне и смотрели по сторонам испуганными черными глазенками. Они сразу же потеряли мать. Тоненькая кожица едва прикрывала их слабые тельца. Она была как папиросная бумага полупрозрачна и белела нежизненностью, только крошечные губки выделялись кровавой краснотой. Заостренные носики с глазами-угольками, выражавшими неподдельный испуг, делали их похожими на птенцов, выпавших из гнезда.

Долго сидели они молча и смотрели, смотрели на толпу,

стоявшую перед ними. Долго ждали мать с куском обещанного хлеба. Но вот толпа, безразличная ко всему, что не касалась её, начала постепенно расходиться. Базар пустел. А маленькие девочки, закутанныё в кожушки и теплые платочки, продолжали также молча, и неподвижно сидеть на своём камне, так же пугливо смотреть вокруг. И никому они не были нужны. И никто не заметил их. Никто не посмотрел на них. И никто не дал им кусочка хлеба. Только смерть продолжала заботиться о них, подсылая мороз под их теплые одежки. От холода девочки начинали тихо плакать, но также неподвижно сидеть на одном и том же месте. Протянулись струйки слёз по лицу, капельками замерзли на теплых платочках. Беззвучный плач не раздражал редких прохожих, безучастно смотревших на осиротевших полузамерзших и голодных детей.

Быть может, люди и не видели брошенных на произвол судьбы маленьких девочек? Нет. Видели. Но не смели приютить их. Не смели принять к себе, потому что не смогли бы прокормить лишних ртов, потому что боялись пострадать за помощь кулакам!

Только в полдень появился милиционер. С презрением посмотрел он на детей, грубо схватил за руки и стянул на землю. Что-то спрашивал он у них, но дети не могли ему ничего рассказать. Они были так испуганы грозным человеком в форме, что не понимали, о чем их спрашивают... Милиционер взял их за руки и повел... в детский дом, переполненный такими же, как и они, голодными, холодными, обездоленными, осиротелыми...

В зимней ледяной дали виднелась смутно Саур-могила, свидетельница страшных дней русской истории. Но кроме неё, сколько безвестных могил, давно сравнявшихся с землей, поглотило наших предков, погибших смертью храбрых или смертью обреченных во времена татарского ига?! И сколько их, этих безвестных могил в наши дни поглотило и тех, кто погиб в сраженьях за родину, и тех, кто позволил себя обречь на уничтожение?! Сколько этих могил разбросано на просторах богатых южных степей?! Они сотрутся временем, сравняются с землей, и только Саур-могила будет хранить в себе память о прошлом. Современность же рассеется по неисчислимым могилам тружеников степей...

Но живые – никогда не забудут прошлого, и история воскреснет – правдивая, жуткая, от которой не у одного читателя волосы встанут дыбом и не один скажет, прочтя её страшные страницы:

«Господи, упокой души невинных раб Твоих...»



В ГОЛУБОМ ПОЛУМРАКЕ

Уже несколько дней позднее зимнее утро начиналось голубоватым полумраком. В глубокой тишине фантастического света изредка раздавался слабый тоненький голосок Варьки, лежавшей на печи:

– Мамм... Исты хочу... Мамм...

Не менее слабый плаксивый женский голос отвечал ей:

– Зараз, дытынко... Зараз... Пиду на село.

И снова наступала тишина в голубом полумраке, который по ночам сгущался в непроглядную тьму.

В забытой и заброшенной хате оставалось только две живых человеческих души. И живых ли? Шестилетняя Варька лежала, закутанная в тряпьё на печи почти неподвижно. Если бы мог сюда проникнуть солнечный луч, то можно было бы увидеть высохшее тельце с тоненькой, как папиросная бумага, кожицей, с необычайно ярким пурпуром на тоненьких губках. Меркнущие глазенки уже ничего не выражали, ничего не хотели, были ко всему безразличны. Даже есть Варька просила скорее по привычке. Или, быть может, для того, чтобы узнать, жива ли еще её мать.

На лаве, что стояла у окна, лежала Марья, мать Варьки, женщина лет тридцати двух-трёх. Густой полумрак скрывал её распухшее тело, блестевшее и водянистое. Не то беспредельная усталость, не то болезненная инертность охватила всё её тело, и она на редкие зовы дочери медленно и неопределенно отвечала одним и тем же монотонным:

– Зараз, дытынко... Зараз.. Пиду на село...

Какая-то тяжесть притягивала её к простой деревянной лаве, и она продолжала так же неподвижно лежать с закрытыми глазами, из которых по временам медленно текли слёзы.

Еще несколько дней тому назад Варькины слова разрывали её сердце на части. Тогда она плакала, ощущая острую физическую боль в груди и горечь своих слёз. Она чувствовала всё своё бессилие, всю свою беспомощность... А теперь, может быть, она и не слышала Варькиного голоса. Может быть, ни разум её, ни материнское чувство

уже не могли воспринять детской просьбы, детского вопля о помощи.

За последнее время Марья так привыкла к слезам, что даже не чувствовала их на своём распухшем лице. Она просто выливала последние свои переживания, последние в этом мире чувствования. Ни страха перед неизбежным концом, ни радости перед окончанием земных страданий у неё уже не было. Наступал покой...

По временам она понимала, что наступает конец всему, что жизнь должна вот-вот оборваться, но сознание этого страшного момента не тревожило её совершенно, чувства её как будто были претуплены.

Голубой полумрак скрывал страдальческие лица матери и дочери и свет солнечный уже не проникал в холодную комнату, как будто бы подготавливая угасающие жизни к вечнему мраку...

Буран, прошедший несколько дней тому назад, замел окна огромными сугробами, и теперь через разрисованные морозом узорами стёкла проникал откуда-то сверху слабоватый голубоватый свет, который рассеивался по большой комнате, превращаясь в голубой полумак.

Сначала Марья боялась выйти на улицу. Она думала, что замело всю хату, и у неё не хватит сил открыть двери. Она лежала на лаве и старалась ничего не думать, ни о чем не вспоминать, ни о чем не заботиться. И время сделало своё. Она забыла о прошлом, не думала о настоящем, а будущего, вообще, не могла себе представить. Варька была для неё теперь очень далекой. Будто даже не её дочерь. Притупились все её чувства, даже материнское.

– Мамм...Исты хочу... Мамм... – вдруг раздалось с печи.

И кольнуло что-то в сердце, как прежде. Собрала Марья все свои силы, поднялась с лавы медленно и осторожно, тихо начала передвигаться по направлению к двери.

– Зараз, дытынко, зараз... Пыду ось на село... – ответила она также монотонно.

Заскрипели в морозных сенцах старые двери, и открылся яркий солнечный день. Вышла Марья на засыпанное снегом крылечко. Снег наметен у окна. Службы скрыты под белым толстым покровом. Гладкой блестящей пеленой укрыто всё село. Только кое-где виднеются трубы да щетина гребней крестьянских соломенных крыш, кое-где торчат верхушки «журавлей» колодцев да кустарником выбиваются верхушки старых дерев... Пустынно... Ни следа на свежевыпавшем снегу. Даже зверьки и птицы еще не успели пробежать своей легкой поступью по холодному снегу.

Едва переступая с ноги на ногу, Марья тихо побрела в исчезнувшее под снегом давно опустевшее село.

Может быть, только она одна осталась со своею Варькой в этой пустыне, она не знала, но знала, что все хаты, в которые она заходила прежде, были пусты. Там она иногда находила оброненный кусок хлеба, высохший и обгрызенный мышами, иногда замерзшую картофелину или рассыпанные зерна пшеницы или ячменя, собирала всё бережно и приносила домой. Так кормила она свою маленькую Варьку и себя, пока снег не покрыл густым слоем землю. Становилось все тяжелее и тяжелее пробираться в занесенные снегом дворы и хаты, в погреба и коморы. Обессиленная, она уже не могла добраться до мест, где можно было, может быть, найти что-нибудь, и постепенно угасала вместе со своей Варькой.

Сегодня в её душе вспыхнул огонёк жизни. Она услышала голосок своей дочери, голосок голодного ребенка, и, взяв себя в руки, собрала все свои истощенные силы, чтобы раздобыть для неё что-нибудь поесть.

Тяжело было итти. Ноги то проваливались в сугробах, то скользили по обледенелой снеговой поверхности. Марья часто падала, подолгу лежала, но мысль о голодной Варьке как будто придавала силы, и она поднималась и снова брела. Куда? Она сама не знала. Шла вперед к какой-то неопределенной цели. Иногда только увидит заброшенную снегом хату. Подойдет, постоит в раздумье, посмотрит, вспомнит, чья это хата, вспомнит живых дюдей в ней, может быть, разговор припомнится со словоохотливой хозяйкой, повернется и также медленно пойдет дальше. Пробратся к хате нельзя...

«Может быть, там, в балке...» – мелькнула, наконец, мысль яркая в сознании и послышался варькин голосок: «Мамм... Исты хочу... Мамм...»

Да, может быть. Только нужно добраться. Там, в балке, ниже, защита от ветра, может быть, снег не занес еще хат? Может быть, там найдется и дорожка в такую хатку? Межет быть, там и хлеб... Будет ли там что-нибудь съестное? Найдет ли Марья хотя бы замерзший картофёль?

Солнце уже склоняется к западу. Чернеющая на белом снегу толстая фигура в кужухе медленно движется на окраине большого села. Иногда эта фигура останавливается и долго стоит на одном и том же месте. Не то она думает о чем-то, вспомиаает что-то, не то отдыхает от далекого пути. Иногда она опускается на морозный снег и долго сидит неподвижно на нем. Иногда вялой или усталой походкой передвигается среди необъятного белого пространства, в котором уже невозможно различить ничего... Иногда, наконец, падает в сугробы,

скользит по замерзшим ледяным полям, подымается в изнеможении, чтобы продолжать свой тяжелый путь... Это Марья – мать и женщина.

Чудом сохранившаяся незасыпанной снегом хата прельстила её. Она, осторожно спустилась в углубление перед дверьми, толкнула их и очутилась в мире смерти... Изможденные худые люди, превратившиеся в замороженные трупы, лежали в различных позах на полу, на единственной железной кровати, на лавах, расставленных вдоль стен.

Проснувшееся чувство живого человека заставило Марью отшатнутся от страшного видения на яву. Царство смерти напомнило ей надвигающееся грядущее, от которого некуда больше бежать. И Варька, и она будут такими же, как все виденные ею ранее и теперь Митричи, Алексеичи, все Ивановны, Харитоновны, все маленькие Сашки, Машки, Ванятки и Степки...

Может быть, в последний раз послушались ноги, и она бегом выскочила из хаты...

Нахмурился зимний вечер. Закружил восточный ветер сухим снегом. Взвихрил и понес над студеной землей легкие снежинки. Кружась и извиваясь, они бегут, скользят, поднимаюся снова в высь, и ветер взметает снежные волны одну за другой, чтобы бросить их где-нибудь в укромном местечке на отдых и приморозить их до самой весны... Ночь охватывала землю метелью. Ветер резкими порывами бросал снег по неровной земле, колючими снежинками бился о холодную поверхность, шумел, завывал, рвался в неведомую смутную даль... Крепчал мороз...

Марья добралась до балки. Уставшая, она прилегла на её краю. В её руках было несколько найденных где-то корочек хлеба – высохших и вымерзших, которые она бережно несла своей Варьке. Холодный снег показался ей её лавой, на которой она лежала целыми днями. Она немного полежала, согрелась в своем кужухе, и незаметно уснула... Навсегда...

Варька пролежала на печи неподвижно целый день. Иногда в тишине опустевшей хаты раздавался её печальный протяжный тоненький голосок:

– Мамм... Исты хочу... Мамм...

Мороз крепчал. Метель разгулялась на просторах полей, над засыпанным снегом селом... Давно голубой полумрак сменился непроглядной тьмой, и не слышно стало тихого дыхания маленькой Варьки...

И не стало больше ни единой живой души в огромном селе. Последние жизни угасли в морозную бурную ночь. В голубом

полумраке больше неслышно было ни тихого дыхания матери и дочери, ни редких их слов:

– Мамм... Исты хочу... Мамм...

– Зараз, дытынко... Зараз... Пиду на село...

Так начиналась «счастливая» колхозная жизнь четверть века тому назад – в начале тысяча девятьсот тридцатых годах.



НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ

К страшному юбилею – 25-летию колхозов

После мирных разговоров о счастливой колхозной жизни, власть начала переходить в наступление. На основе ликвидации огромного количества одной части крестьянства «рабоче-крестьянская» власть организовывала колхозы.

Снежной зимой 1930 года, по деревням и селам начали проводиться общие собрания на которых крестьяне должны были выносить постановления о добровольной организации сельско-хозяйственных артелей или, как их переименовали –колхозов. Как правило, такие собрания проводились в школах и, как всегда бывало в таких случаях – требовался учитель.

Он был и секретарем собрания, и чтецом дешевой агитационной литературы и тем «агитпропом на селе», о котором так усиленно в те времена говорила партия. Да, учитель должен был говорить за колхозы, и делал он это с таким же точно желанием, с каким крестьяне «записывались» в них. Везде была «добровольность», о которой с тех пор привыкли говорить: – «добровольно по принуждению». Позже это касалось также государственных займов, принуждительного ассортимента в «рабкопах», членских взносов в профсоюз и так далее.

На хуторе «Пролетарская Воля» – Большого Крепинского района, Донской области (но не Войска Донского), в те времена было только 35 хат. На месте бывшего когда-то помещичьего дома, теперь стояла маленькая школа с зелеными ставнями и беленькая, как все крестьянские хаты.

Вот к этой школе и подкатил товарищ из центра, уполномоченный по коллективизации. Он распорядился прекратить занятия и созвать через учеников всех крестьян на собрание. Конечно, учитель не мог не подчиниться. Детвора с веселыми криками разбегалась из школы, и встречая по дороге взрослых кричали: «Дядю! На зборы йдить!»

«Дяди» уже знали о приезде неведомого «товарища» и, подчиняясь любопытству, медленно шли к школе.

Маленький класс школы заполнился немногочисленными слушателями. Здесь были мужики двух соседних хуторов, кроме местных крестьян. Товарищ из центра стоял за учительским столом и делал доклад, говоря о колхозном «счастье», об уставе сельскохозяйственной артели, как называли тогда колхозы, но, главным образом, старался запугать хуторян. То он говорил, что колхозы – дело добровольное, а с другой – попробуйте, мол, не вступить, мы (партия) покажем вам кузькину мать.

Доклад закончен. Председатель собрания, местный хуторской уполномоченный, уже несколько раз обращался к сидящим односельчанам и спрашивал:

– Какие будут вопросы, граждане-мужички?

Но собрание молчало.

– Может, кому что непонятно? – снова спросил председатель.

Никто не издал ни единого звука.

– Может, подождем маленько? Может, кто придумает какой вопрос?

В классе не было слышно даже дыхания сотни хуторян.

– Так что же, граждане, понятно всем, о чем сказал товарищ из центра? Оно, конечно, сразу, может, и трудно. Так мы обождем маленько. Как вы на это, товарищи, то-есть, граждане-мужички?

Собрание продолжало молчать.

– Тогда, может, кто выскажется по докладу? А вопросы потом?

Тишина...

– Значит, все понятно?

Тишина немая. Будто в комнате только два человека: председатель собрания и товарищ из центра, которые время. от времени совещаются по поводу упорного молчания хуторян.

– Так как, граждане-мужички, значит, решили: будем организовывать колхозы?

Опущенные крестьянские головы медленно поднимаются. Хуторяне переглядываются между собой, но никто не произносит ни слова, ни единого звука. Лица у них напряжены, взоры на чем то сосредоточены, только тяжелое дыхание собравшихся нарушает установившуюся тишину.

– Вот, граждане, значит, – говорит медленно преседатель, – молчание – это... того... Как его, значит, понимать необходимо? Ежели, значит, это согласие, то советская власть, конечно,

приветствует. А вот ежели это вы насупротив?

В задних рядах кто-то заерзал на скамье, упустив палку. Раздался грохот. Все оглянулись, но нарушитель тишины оставался неподвижным, оставив посох на полу.

– Значит как, граждане-мужички, запишем, что вы не против колхоза? – снова обращается председатель к хуторянам.

Робкий голос, упустившего палку разрядил немного нароставшее напряжение:

– Чего ж там писать? От власти ж эти колхозы...

– Так вы то как, товарищи крестьяне? – спросил обрадованный мужицкому голосу товарищ из центра.

– Чего мы? Ежели колхозы эти от власти, чего спрашивать нас? – произнёс тот же робкий голос.

– Вишь, гражданин, дело это, значит, добровольное... Как, значит, вы, то-есть, мужички. На ваше, так сказать, усмотрение, – сказал председатель.

Голос смолк; он уже не решался отвечать. Начавшееся оживление исчезло. Все отлично понимали, что добровольность такова, что от неё никуда не уйдешь. Как смерть. Хочешь или не хочешь, но должен погибнуть. И от этой смерти хуторяне отдалить себя хотели, как видно, молчанием.

Собрание снова затихло. Казалось, огромный раненый зверь, своим тяжелым дыханием нарушал мертвую тишину. Председатель не знал, что дальше делать.

Ответственный товарищ попросил слово.

– Граждане-крестьяне, – начал он, – партия и правительство проявляют неустанную заботу о вас и хотят, что-бы вы, все крестьяне, жили хорошо, по-городскому, чтобы «лампочка ильича» зажглась в каждой хате, чтобы облегчить вам труд теми большими сельско-хозяйственными машинами, которые может приобрести только колхоз, которые вы, в своем единоличном крестьянском мелком хозяйстве не можете никогда купить. Вот, скажем, кто из вас теперь может купить трактор? Никто, ясно. А будет колхоз – будет у вас и трактор. А будет трактор трудиться – вам будет куда легче, чем теперь. Да и, вообще, жизнь у вас будет лучше тогда, потому что ни бедных, ни богатых не будет, потому что всё распределяться у вас будет по вашему труду, каждый получит столько, сколько он вложит труда в общее колхозное дело. Иначе говоря, будет все по справедливому у вас тогда. Вот и обдумайте теперь хорошо свою жизнь, подумайте и о той заботе, которую проявляют о вас партия и

правительство...

– Так что же это, гражданин-товарищ, – не вытерпел хуторянин с робким голосом, – что же это мы по вашему, ребенки мы какие или, может, калеки? Чего это про нас партии и правительству заботиться? Чай, не знаем, когда сеять или косить? Все у нас, гражданин-товарищ, по закону: весной – сеем, летом – косим, молотим осенью. А что нету у нас «лампочки ильича», так нам без нее и способней – раньше ляжешь, раньше и встанешь – и в поле, как полагается правильному хуторянину.

Хуторянин поднял свою палку и продолжал говорить что было на уме всех мужиков:

– И вот насчет трактора тоже. Дайте нам, значит, не заботу вашу, а свободу, тогда и трактор к нам сам прийдет. Что же вы, гражданин-товарищ, думаете, что мужик машину не понимает? Глупый человек, мужик этот? Так вы думаете? Спросите хуторских, кто откажется от машины? Все б купили, так... боятся, гражданин-товарищ, на лошадке спокойнее. ...А про справедливость тоже могу сказать вам... Вы вот, городские, может, Бога не признаёте, а мы, значит, крестьяне, по другому думаем. Справедливее Бога никто не наградит нас за труды наши мужицкие. Как ты к землице – так и она к тебе. Походил за ней хорошо и гумно тесное. Поковырял сошкой, аль плужком – не взыщи, милой, потому Бог все видит. Ну, а человеческую справедливость мы уже знаем. В революцию чего нам только не обещали. А на деле... выходит что? А что колхозы добровольные, так это мы тоже понимаем – от власти они, и мужиков спрашивать нечего, сгоняйте – потому ваша сила. Будем и там трудиться... что ж... – безнадежно опустив голову, упавшим голосом произнёс последние слова крестьянин и замолчал.

Глаза хуторян горели, они выражали одобрение, они говорили о том, что все согласны с тем, что сказал их односельчанин-мужик. Ответственный товарищ из центра тихо разговаривал с хуторским уполномоченным-предсателем собрания. В классе снова наступила напряжённая тишина, прерываемая иногда общим тяжелым вздохом. Так прошло несколько мучительных минут, пока, наконец, ответственный товарищ из центра не обратился к собранию:

– Граждане-крестьяне, вот хуторянин Епифанов по существу выступил против партии, против советского правительства. Он не желает вступать в колхоз сам, но своим выступлением он агитирует и других последовать его примеру, тех, кто, наоборот, шел сюда с твердым намерением немедленно организовать колхоз, вступить в сельско-хозяйственную артель, чтобы трудиться в ней сообща. Я вот сейчас узнал у председателя кое-что об этом гражданине. Он, конечно,

не является кулаком, но его кулацкая, по существу, теория, заставляют нас думать о том, что кто-то говорит его голосом. И этот «кто-то» есть никто иной, как сущий враг советской власти и коммунистической партии.

Мы этого, конечно, оставить так не можем. Мы это все, конечно, выясним. Мы добьемся всеми способами, но узнаем, кто ведет среди вас подрывную работу. Вы должны понимать отлично, что все то, что говорил гражданин Епифанов, все это направлено против советской власти и коммунистической партии.

Предупреждаю, что такие лица за свою вражескую агитацию понесут суровое наказание, а подкулачники, вроде Епифанова, учесть должны это на нашем сегоднешнем собрании, чтобы не попасть вместе с кулаками куда-нибудь со своего хутора. Партия не потерпит единоличного хозяйства. Партия не потерпит мелких капиталистов на селе, потому что они будут тянуть нас все время к капитализму во всей стране. Это должно быть вам понятно. Поэтому вы должны сейчас проголосовать – за колхозы вы или за единоличное крестьянское хозяйство, то-есть, – за капитализм вы или за социализм. Товарищ председатель, голосуй», – обратился уполномоченный по коллективизации к председателю собрания.

Хуторский уполномоченный, избранный председателем собрания по предложению уполномоченного по коллективизации, поднялся и перед голосованием постарался разъяснить своим односельчанам еще точнее.

– Значит, граждане-мужички. Товарищ из центра рассказал вам точно все. Ну, я думаю, что б оно, значит, понятней было, сказать вам ещё понятней немного. По-нашему, так сказать, по-крестьянски... Вот, значит, кто руку подымает – этот будет за советскую власть, ему, значит, ничего худого от власти не будет, потому он друг её; а вот кто, значит, не подымет – тот против советской власти – враг значит её, тот пущай, значит, на себя пеняет сам... Вот так, значит, граждане-мужички, мы и будем все голосовать, руки, следовательно, все будем подымать... Чтоб, значит, чего недоброго у нас с вами не получилось... Поняли, граждане-мужички?

Собрание молчало.

– Так вот, значит, я голосую, – продолжал председатель, – кто, следовательно за советскую власть, то-есть, за колхозы? Ну, ну, подымай, мужички, руки...

Медленно и нерешительно поднимались руки вверх. Но головы были все опущены. Каждый боялся посмотреть на соседа. Как будто все делали какое-то величайшее преступление, которое хотели скрыть друг от друга...

Предложение было принято единогласно. Молча и медленно крестьяне поднимались со своих мест и выходили из школы. После всех угроз товарища из центра, никто не осмеливался произнести то что было у них на уме.

Уполномоченный по коллективизации был удовлетворен единогласным голосованием, но протокол, написанный учителем, слишком много содержал подробностей, и его пришлось переделать после собрания. Под диктовку ответственного товарища по коллективизации из центра, учитель переписал протокол, в котором уже не было ни угроз, ни выступления крестьянина с робким голосом, ни разъяснений хуторского уполномоченного. После переделки протокола ответственный товарищ уехал в центр в прекрасном настроении духа. Колхоз был организован «добровольно».



НЕПРОШЕННЫЙ ГОСТЬ

Лето. Заведующий сельской школой Грановский сидит в пустой учительской и кропотливо перебирает цветы, травы, листья, готовя гербарий для предстоящего учебного года. Здесь же, на столе, бутылки и банки с заспиртованными земноводными. На стенах, в специально сделанных ящичках, изготовленных любовной рукой, коллекции насекомых-вредителей, чучела птиц и мелких полевых зверьков, а в углу, между окнами, аквариум с маленькими рыбками. Вся жизнь молодого учителя в школе и для школы.

Знойную тишину нарушили чужие шаги и стук в двери.

– Войдите, – крикнул с досадой учитель.

Двери открылись, и Грановский увидел незнакомого человека в кожаной тужурке.

«Не по мою ли душу?» – подумал он, но, сдерживая волнение, твердым голосом ответил на приветствие и спросил, чем он может служить.

Незнакомец уселся на стул против Грановского и начал рассказывать о брожении крестьян, вызванном началом коллективизации, и под конец вдруг предложил ему стать тайным агентом ГПУ.

Учитель, скрывая возмущение, гнев, обиду, объяснил незнакомцу, что он к такой работе не способен, что его жизнь – это школа, его работа – это учить детей.

– Но ведь это так просто...

– Нет, нет, нет... Не убеждайте меня...

– Вы не хотите помочь правительству...

– Своей работой я помогаю правительству достаточно... Так мне кажется...

– Вашего имени знать никто не будет, – продолжал незнакомец.

– Благодарю...

– Наконец, вы за это будете получать...

– Нет, не хочу. Мне достаточно того, что я имею.

– Подумайте, я могу подождать...

– Не могу и не хочу.

– Я рекомендую вам всё же подумать... Вот вам мой адрес, – незнакомец подал конверт с написанным адресом и почтовой маркой.

Учитель, заложив руки за спину, молча стоял перед непрошенным гостем. Незнакомец, видя, что Грановский не желает брать протягиваемый им конверт, положил его на стол и тоном, в котором слышалась угроза, проивнес:

– Я думаю, что вы сейчас горячитесь... Мой адрес вам еще пригодится...

Распрощавшись, он вышел. Грановский взял сейчас же конверт и, не читая написанного, сжег.

В этот же день он получил увольнение в районном отделе народного образования и через несколько дней покинул село, чтобы никогда больше не встречаться с незнакомцем, нарушившим его летний покой.



НА ХУТОРЕ

К Страшному юбилею – 25-летию колхозов.

Полночь. Маленькая школка, в которой я живу, окружена яблоневым садом. Сад и школа находятся на возвышенности. Внизу – раскинулся хутор. Вдоль дороги, ведущей в село Большое Крепкое – тридцать пять веселеньких хат, выбеленных, с соломенными крышами и яркими ставеньками. Кто-то придумал название этому хутору, которое совсем ему не шло: «Пролетарская Воля»! Это было насмешкой, так как здесь не было ни одного человека, который был бы бедняком.

Я зняю, что сейчас все на хуторе спят. Только я один хожу из угла в угол со своими мыслями, витающими очень далеко от школы, от хутора, от всего того, что окружает меня здесь.

Я знаю почти каждую хату. Вернее, знаю все хаты, кроме одной. Эта одна хата стоит особняком. Высокие ворота её всегда на запоре, закрыта и калитка. Даже ставеньки никогда не были при мне открытыми. Когда я однажды поинтересовался, хуторяне сказали мне по секрету, что там живут раскулаченные. Тогда я почувствовал, что раскулаченные – это прокаженные. С ними нельзя встречаться, так как можно заразиться. Зараженные же должны погибнуть. Об этом меня никто не предупреждал, этого мне никто не говорил. Сама жизнь предупредила.

Полночь. За стенами моей натопленной комнаты – крепкий декабрьский мороз. Время от времени слышно, как потрескивают в саду деревья. Я хожу из угла в угол, а мысли мои витают далеко-далеко от хутора, от школы, от раскулаченных. Они там, где моя семья... И я почти раскулаченный... Только что закончились мои мытарства. Только что я объехал мою Родину, ставшую мне мачехой, от Кавказа до Сибири, но вернулся снова на свой благодатный юг, чтобы еще раз попытаться устроиться где-нибудь на работу. В который раз?! И всё же на этот раз мне удалось. Слава Богу, я нашел работу. Несмотря на то, что я поступал учителем, у меня на этот раз не спрсили даже документов об образовании! И теперь вот я в теплой комнате, а за окном – мороз, от которого потрескивают уцелевшие от помещика старые яблони...

Пусть в моей комнате земляные полы; пусть единственный стол на трех ножках должен вечно стоять у стены, чтобы не упасть; пусть единственный стул, скрученный в нескольких местах проволокой, поскрипывает, когда я сижу на нем; пусть у меня вместо кровати – дверная половинка на кирпичах, вместо ножек, вместо матраса – обыкновенные мешки с соломой; на плите – заржавленный жестяной чайник, а на стене – обыкновенная жестяная кухонная керосиновая лампа, но я свободен и верю, что скоро настанет час, когда я снова увижу близких моему сердцу...

Я хожу из угла в угол со своими мыслями, которые витают далеко-далеко от хутора, где-то в заснеженной степи, где высятся терриконы и копты, где жизнь не прекращается даже ночью... Там мои родные, близкие, дорогие, любимые... К ним стремится моё истерзанное сердце...

В тишине ночи не слышно спящего хутора. Только мороз дает о себе знать. Я знаю, что никто в этот час не может нарушить покой... Покой ли? Нет, моё одиночество. Никто не может в это время прийти ко мне... Но, Чу! Что это?! Кто-то крадется...

Я ясно слышу скрип осторожных шагов в саду... Кто? Кто может прийти ко мне в такое время? Почему так осторожно ступает по снегу этот «кто-то»?

Раздался такой же осторожный, как и шаги, стук в моё окошечко. Я вышел в коридор и не спрашивая открыл двери. Зачем спрашивать? Если добрый человек, зла не сделает. Если злой, то придет и днем. Или сейчас будет ломиться в двери. Мне защищаться всё равно нечем...

В комнату вошла женщина, закутанная в тёплую шаль и огромный мужской кожух с большим приподнятым воротником. Когда она открыла своё лицо, я понял, что никогда раньше на хуторе её не видел.

– К вам я... – смущаясь и извиняясь начала хуторянка, – Письмо вот получила... От мужа... Неграмотная я... – и она подала мне маленькую открыточку, испещренную различными печатями.

Я попросил её сесть.

На открытке было нескелько пометок «Проверено». Почтовый штемпель – «Кемь». Мне стало ясно, что это была та женщина, которая жила в доме, расположенном в стороне от остальных хуторских хат. Она была как раз та самая раскулаченная, которую считали на хуторе прокаженной. С ней боялись не только говорить, но и встречаться, хотя на хуторе почти все были родственниками. Женщина знала об опасности, которая грозила всем тем, кто с ней мог

бы заговорить, поэтому сидела в своей хате взаперти.

Я перевернул открытку. Корявые буквы. На середине открытки – водянистое пятно, от которого расплылись буквы. Хуторянка объяснила:

– Плакала я... Может, вы не разберете... Муж же он...

– Ничего, разберу... – и я усевшись на подоконник, начал читать написанное большими печатными буквами:

«Дорогие... роблю по колено в болоте... Рубаем деревья... Зубы повыскакивали... Пришли чесноку або цыбули...»

Не было места написать и обычные крестьянские поклоны. Может быть, сосланный и не думал о них?

На глазах хуторянки медленно навертывались крупные слёзы. При керосиновой лампе они отливали всеми цветами радуги. Это были чистые, прозрачные слёзы, но я знаю, как горьки они были!

– Написать хотела ему... Да не умею я... Неграмотная, – повотрила она.

– Давайте, я напишу.

– А вы не боитесь? Мы ж раскулаченные...

– Кто же будет знать?

– Упаси Боже, я никому не скажу! – испуганно ответила мне хуторянка.

– О вас я и не думаю.

– А меня никто не видел, как я шла к вам, – хотела успокоить меня бедная женщина, – Посылочку хотела б послать я...

– А вам-то самим есть что есть? Не голодаете?

– Та Бог милостив... Пока с голоду не помираем...

– Готовьте, помогу и с посылкой, а пока говорите, что писать мужу.

Хуторянка начала диктовать, а я старался как можно лаконичнее написать всё то, что она хотела сказать близкому ей человеку. Письмо было быстро закончено. Женщина встала со стула и начала выкладывать из кожуха «гостинцы» – плату за мой труд в виде каких-то лепешек.

– Они не плохие... Мы печем в золе... Потому печку нельзя нам топить... Вкусные коржики...

Я запротестовал и насилу уговорил её взять всё с собой. Неожиданная ночная посетительница ушла также тихо, как и

появилась в моей комнате. Мои мысли снова взбудоражились. Рана раскрылась и острая боль давала о себе знать. Бессонная ночь впереди не пугала меня. В мучениях я обретал успокоение...

Через несколько дней так же поздно, также осторожно кто-то постучал в моё окошечко. Хутор давно спал глубоким сном, только я ходил, как всегда, из угла в угол, а мысли мои витали далеко-далеко от всего того, что окружало меня в это позднее время.

Раздался неожиданный осторожный стук и я сразу понял, что пришла раскулаченная.

Да, это была она. Женщина принесла на этот раз маленькую посылочку, в которой посылала своему мужу на далекий север чеснок, тёплое бельё и какие-то неведомые мне травы. Я надписал адрес, и хуторянка быстро ушла. Она понимала отлично, что если кто-нибудь случайно увидел бы её у меня, то я мог бы поплатиться своей свободой так точно, как поплатился ею её муж.

После этого посещения я долго не видел её.

Однажды, возвращаясь с прогулки, я остановился возле хаты хуторского уполномоченного, возле которой собрались, как всегда, крестьяне. Они в это время ожидали своего уполномоченного из района, чтобы узнать от него все новости.

Хуторяне остановили меня. Начались разговоры о коллективизации. Это было сейчас самой злободневной темой. Вдруг кто-то произнес:

– Тимоха идёт!

Все повернули головы в сторону двигавшегося по дороге человека. Незнакомец шел неровно, делая большие шаги, останавливался, снова шел так же неровно. Был он одет в короткую барашковую куртку, в высоких охотничьих сапогах и старенькой барашковой шапке. В руках у него была длинная палка, которой он как бы отмерял пройденный путь. В толпе воцарилось молчание. Всё внимание теперь было сосредоточено на этом человеке. Когда Тимоха подошел ближе, я увидел, что он еще не стар, хотя лицо его было в мелких морщинах, а из длинных усов торчали грубые седые волосы.

Войдя в хутор, Тимоха остановился, повернулся лицом к хате, стоявшей в стороне, погрозил кому-то палкой, и снова зашагал по дороге. Поровнявшиоь с хуторянами, он как будто и не думал останавливаться, но, повидимому, изменил своё решение и, усмехнувшись сказал:

– Здорово мужички!

– Здорово, Тимефей Терентьевич! – в разброд отвечали

хуторяне.

– Из района, Тимофей Терентьевич? – спросил кто-то.

По такому важному обращению я понял, что передо мной не просто мужик, а что-то знающий в хуторской жизни человек.

Тимоха не спешил с ответом. Он спросил:

– Что «колхознички», про кулацкий домик рассуждаете?

– Что там домик, – отвечали хуторяне, – Люди там! С голоду, может, давно померли!

– Или замерзли! Вишь, дыму ни днём, ни ночью не видно...

– Умнички! – с иронией произнёс Тимоха, – Вас всех переживут! Померли! Ха! Это вы-то мне про кулацкую хатку будете сказки рассказывать чудаки? Померли! Ге-ге! Они-то? Вы того не знаете, что Тимоха знает! Печка их прокормит, сизокрылые!

Тимоха приосанился и продолжал важно объяснять мужикам:

– Оно так и в старое время было. Один жил, а другой доживал; один еле ногами передвигал, а другой на нём ездил! Народ только был глупый... Своего дела не понимал... Да и теперь еще умных среди вас мало найдется... Кулачков всё жалеете! Эх! Вы! Грамотеи! Чертовины мало видели еще на белом свете! Время. пришло людьми быть, а вы-то всё навозом хотите остаться!

Тимоха повернулся лицом к хате, стоявшей в стороне и, плюнув в ту сторону, продолжал поучивать хуторян:

– Кулак всё равно подохнет! Это я вам говорю, Тимоха! Потому кулак – это первый враг мужика! А вы нюни тут распустили! Мужики-и-и! – иронически протянул он и передразнил он мужиков: «Люди там! С голоду, может, померли!» Слёзы еще распустите, как бабы!

Хуторяне слушали и только пересматривались между собой.

– Вы того не знаете, – продолжал Тимоха после минутного молчания, – что Тимоха знает! Им есть на всю жизнь чего пожрать, – отчеканивал он каждое слово, – Ну, кончилась их лавочка... Завтра пощупают, где хлебец лежит кулацкий! Будет им хлебец! У-у-у-у! Кулацкие дети! Так им и нужно... – и он добавил нехорошее слово.

Хуторяне затихли. Слова Тимохи напомнили им о том, что могло случиться с каждым из них.

Тимоха грязно выругался несколько раз, погрозил еще своей длинной палкой и, не прощаясь, зашагал к себе на соседний хутор. Когда он проходил мимо меня, я услышал от него запах водки. Мужики говорили, что он никогда трезвым не был. Но мастер он был хороший. Все хаты на хуторах и в селе имели печи, сделанные его

руками.

Угрозы по адресу заброшенной хаты мне не были понятны. Хуторяне же загадочно говорили:

– То его руки там были...

– Раз Тимоха говорит про хлеб, значит, знает что-то...

– Так, мужики, крестьянская печь велика!

– Тимоха слов на ветер не кидает...

– Да-а-а... Будут искать...

– Раз будут искать, значит, найдут!

Следующий день был кануном Рождества. Как хуторяне не были религиозны, но земные события отодвинули их от Бога в эти страшные дни и потому, может быть, Рождество Христово начиналось какой-то общей тревогой, тяжестью, смутным предчувствием надвигающегося неизбежного горя. Ни в одной хате не чувствовалось приближения большого праздника, хотя все и готовились к нему и выполняли все обряды.

Утром, во время занятий, к школе подкатили санки. Заморенные лошади остановились, выпуская клубы пара. Детвора повернула головы в сторону окошечка.

Широко распахнулись двери класса. На пороге показался человек, занесенный снегом.

– Ты учитель?

– Да, я учитель...

– Распускай свою школу! На хутора поедем!

– Хорошо, – ответил я, зная, что разговаривать с «начальством» нет никакого смысла. Однажды я не жаловался, а спрашивал совета у своего инспектора наробраза, как быть в таких случаях, когда власть имущие приезжают и заставляют «закрывать» школу ради собраний. Ответ был очень неясный:

– Знаете ли, товарищ дорогой... Время сейчас такое... Вы как-нибудь постарайтесь там на месте уладить всё... Чем я могу вам помочь? Универсального совета дать вам никак не могу... В каждом отдельном случае нужно подходить по разному... Диалектически, так сказать... В зависимости от того, кто, как, по какому поводу...

Я понял, что инспектор был не в силах предпринять что-либо, чтобы остановить поток различных уполномоченных, которые нуждались то в учителе, то в школе.

Целый день я провел на хуторах выполняя роль то секретаря

собрания, то чтеца агитационной колхозной литературы.

Смеркалось, когда мы въехали на наш хутор. Начавшийся после обеда буран разгулялся во всю. Восточный ветер колячим снегом бил больно в лицо. К вечеру буран усилился, и мы все были рады поскорее дебраться до тепла, хотя я знал, что в моей комнате нетоплено. Казалось, что в такую погоду никто уже на хутор приехать не может.

Но я ошибся. Наши санки остановились возле хаты хуторского уполномоченного, столкнувшись с легковыми санками только что приехавшего нового гостя. Из-под бесформенной белой глыбы медленно начал выбираться сначала один человек, а за ним другой. Первый вылёз из санок, струсил со своего большого кожуха снег, выругался и отвернув высокий воротник, показал нам свою форменную фуражку. Он был агентом ГПУ.

– Ну, чего стоишь? – спросил он у второго, который был обыкновенным возницей, – идем греться! – крикнул ему агент и побежал в хату к хуторскому уполномоченному. Как видно, он был здесь не впервые и знал, где и кто живет.

Я со своими начальниками поспешил так же в хату. Мне предстояла ещё работа. Нужно было переписывать протокол крестьянского собрания, в котором было слишком много ненужных для моих партнйных властелинов подробностей.

Агент стоял возле натопленной печи и растирал замерзшие руки. Когда мы вошли, он узнал уполномоченного по коллективизации и сказал ему:

– Морозов выселять будем!

Фамилия была мне знакома. Я её писал на конверте того письма, которое пошло в далекий Кемский край...

– Морозов? Каких Морозов? – переспросил хуторский уполномоченный.

– Да этих... что мужика сослали на север... Баба его осталась тут.

– У неё ж детишки и мать-старуха, – острожно сказал хуторской уполномоченный.

– Это не наше дело! – ответил агент.

– Давно пора! – вставил злостно уполномоченный по коллективизации, – Ишь! Разжились тут! Выродки кулацкие! Только остальных разлагают! Потому-то и мужики в колхоз не хотят!

– Конечно, кулацкая агитация! Известно, нужно бы давно их изъять!

– Погреться бы следовало после такой дороги, – заявил агент. – Нет ли у тебя водки? – спросил он у хозяина.

– Как нету? У нас на этот случай всегда в запасе есть всё! При такой зиме только водкой и согреешься, знаем мы это превосходно! Ну, баба, живей там копайся, в миг чтоб было всё на столе! – нервно распоряжался хуторский уполномоченный.

На столе сразу же появилась литровая бутыль водки. Жена уполномоченого хутора, знавшая уже по опыту, что нужно в таких случаях для таких важных гостей, поспешила с куском сала, соленой капустой и огурцами. Все уселись за стол, випили по стакану водки.

– Хватит, – предупредил агент, – идем сначала к Морозам!

Все молча встали и начали одеваться.

Мы направились к одинокой хате, которая казалась безжизненной. Возле нас крутился Тимоха. Когда он появился среди нас, трудно сказать, но до этого я не видел его ни в хате хуторского уполпомоченного, ни на улице.

На стук агента ГПУ никто долго не отзывался. Мы стояли молча и ждали. Агент постучал снова. И снова тишина. Будто вымерли все жильцы, будто хата давно опустела.

Стучи, стучи! – раздался голос Тимохи, и он сам начал барабанить в крепко закрытые ставни.

Через несколько минут заскрипела калитка и показалась та сам мая женщина, которая ночью приходила дважды ко мне. В темноте она не видела меня, но я по голосу узнал раскулаченную.

Открыв калитку, она отступила от неё. Мы все прошли во двор. Женщина по-хозяйски закрыла калитку и поспешила открыть нам двери в хату.

Большая хата была разделена на две комнаты. В одной из них находилась огромная крестьянская печь. В этой комнате горел каганец. Тусклый колеблющийся свет не был достаточен и в комнате стоял полумрак. Как ни скудно было освещение, но несложную обстановку можно было рассмотреть. Она была такая же, как и во всех других хатах хутора.

На полу сидели две девочки. Одной было лет пять-шесть, другой года два с половиной-три. Чем занимались дети – разобрать было невозможно. На большой деревянной высокой кровати сидела старуха и трясущимися руками что-то вязала.

Когда мы все вошли, хозяйка закрыла двери и молча остановилась, рассматривая вошедших. Возможно, что теперь она узнала меля, но ни единым движением не выдала этого. Мне хотелось

предупредить её о надвинувшемся несчастье, но не было никакой возможности это сделать. Да и не мог я своим предупреждением ей помочь! Было слишком поздно!

– Ну, хозяйка, где твой хлеб?

– Какой хлеб? – спокойно спросила молодая женщина.

– Тот, что ты с мужем своим запрятала?

Хозяйка пробежала глазами по вошедшим, и мне показалось, что она догадалась, почему здесь печник Тимоха, её взгляд на миг остановился на нём, но она так же просто переспросила:

– Какой хлеб?

– Нечего ломаться! Говори, где спрятала?

Женщина молчала.

– Ты что? ...твою мать... Где хлеб?

– Что мне говорить? Если знаете где, так незачем спрашивать, берите... – всё также спокойно говорила хозяйка.

Агент подошел к печи-и начал её выстукивать. Звук менялся. Пустота сменялась глухим звуком. Печник Тимоха подошел к агенту и подсказывал:

– От там, парень, там... Во-во! Бей тут, бей! Я тебе говорю! Не слышишь разве?

Агент увидел возле печи топор, поднял его и начал выдалбливать кирпич. Через некоторое время из образовавшейся дыры посыпались золотистой струёй пшеничные зерна...

– Ты что ж! ...твою мать! ...Стерва кулацкая! – разразился агент жуткой-бранью.

– Вот тебе и кулачки! Ишь, притаились?! ...Хлеба у них нет! – начали подпевать ему его приятели, среди которых особенно выделялся Тимоха.

Я молча стоял и наблюдал за происходящим. Я знал, что я нужен только для того, чтобы описать найденный хлеб. И нужен не потому, что агент или уполномоченные не умеют писать, но потому, что так уж заведено, что каждый партиец-начальник умеет распоряжаться, а возле него должен быть обязательно кто-то грамотный, чтобы писал протоколы, отчеты, описывал, записывал, переписывал. Только в особых чекистских случаях, где не должно быть свидетелей, там обходились агенты сами.

Женщина продолжала стоять возле двери. Она молчала. Ни один мускул не дрогнул на её лице. Она казалась такой же спокойной,

как и раньше. Знала ли она, что предстоит испытать ей и её семье? Знала ли она о том страшном моменте, который вот-вот должен наступить? Могла ли она, накоиец, догадаться о том,что сейчас случиться? Нет, конечно, она ничего не знала, и не было никого, кто мог бы её предупредить... Зачем? Разве от этого что-нибудь изменилось бы? Разве смогла бы она предупредить несчастье? И разве тот, кто осмелился бы сказать ей заранее жуткую правду, разве тот не стал бы жертвой еще более ужасной? Нет. Никто не посмеет предупредить!

– Вон отсюда! – вдруг заревел не своим голосом агент.

Женщина раскрыла широко свои глаза и тихо, но также спокойно спросила:

– Откуда?

– Отсюда! Вон с хаты! Чтобы и ноги вашей здесь не было!

– Куда ж мы пойдем? Ночь заходит... Метель... Дети у меня... Она говорила так тихо, что голос её едва был слышен в комнате. Конечно, озверевший агент её не слышал. Да ему и не нужно было её слышать.

– Вон отсюда! – продолжал он кричать на неё.

– Дети ж у меня... Мать-старуха...

– Нет мне дела до твоих щенят! Вон, отсюда, падаль такая! Чтоб и духу твоего не было! Вон!

– Куда ж я пойду с хаты? Дети малые... Мать... Куда ж я с ними пойду – повторяла тихо и спокойно раскулаченная.

– Вон! – еще громче, еще озлобленнее закричал агент на неё.

– Куда?

– Молчать! Собирай своих гаденышей! А не так, так я тебя сам выставлю отсюда на снег! – бесновался агент.

Дети испуганно смотрели на мать. Они ничего не понимали, только детскими своими сердечками чувствовали, что что-то твориться необычайно страшное. Старуха встала с кровати и зачем-то начала складывать щепки, лежавшие у печи, в пустую корзину.

– Вон отсюда! – кричал время от времени агент, подбегая к женщине и тряся перед её лицом кулаками.

Даже уполномоченному по коллективизации стало не по себе, и он начал рассматривать дыру в печи, из которой продолжала тоненькой струйкой сыпаться пшеница.

Женщина начала одевать детей. Она молчала. Руки её нервно

завязывали платки или кожаные тесемки на детских кожушках. Она одела девочкам валенки, оделась сама, помогла и старухе завязать теплый платок.

Пока раскулаченная одевала детей, рассвирипевший агент ходил по хате и извергал кощунственную брань. Оба уполномоченные стояли возле печи и смотрели на скользившую на земляной пол пшеницу.

Я стоял недалеко от дверей и смотрел на детей. Я не знаю, у кого больше обливалось кровью сердце, у меня или у несчастной хуторянки. Мне казалось, что она еще не осознает всего ужаса, который ожидает её за дверями хаты... Но я знал, что ничем абсолютно не могу ей помочь... Мысль моя напряженно работала. Мне хотелось спасти обреченных, но присутствие всех этих уполномоченных, агента, Тимохи были грозным предупреждением мне, не так давно испытавшему нечто подобное тому, что я видел сейчас...

Когда все были готвы, женщина перекрестилась в угол, где висели закопченные иконы, поклонилась кому-то до земли, взяла пригоршню высыпавшейся пшеницы и тихо произнесла: «Прощевайте...»

Молча все вышли за нею. На дворе бушевала метель.

Не оглядываясь, раскулаченные направились по дороге, ведущей на станцию. Круто она подымалась вгору, но сейчас в дижущемся белесом пространстве невозможно было ничего видеть. Изгнанные сразу же скрылись во мгле.

Мы все стояли у опустевшей хаты, хотя давно уже не видно было несчастных путников. Даже агент ГПУ молча смотрел в снежный вихрь, смотрел напряженно, как бы передумывая своё страшное решение. Какие мысли проносились в его гслове, конечно, трудно было бы отгадать, но чувствовалось, что в этот миг он задумался над жизнью. Говорило ли ему что-нибудь сердце? Замышлял ли он теперь сделать еще что-либо страшное? Или, быть может, он осознал зло которое он сеял вокруг и в нём заговорила совесть? Трудно познать сердце закоренелого преступника!

Мне стало страшно. Почему так покорна была женщина? Ни слёз, ни страданий своих она не показала своим палачам. Но не может же быть, чтобы она была так спокойна?! Ведь тогда, когда она приходила ко мне с письмом от мужа, она не скрывала своих слёз! Так почему же сейчас она скрыла их? Быть может, слезами матери смогла бы она упросить жестокого агента переждать хотя бы непогоду! Но нет. Она была права. Её окружали только люди со звериными сердцами. Их ничто не могло тронуть. Они так же жестоко поступили и тогда, если бы она распростерлась на земле перед ними и, целуя их

грязные ноги, молила о спасении своих детей...

Страшно стало за ушедшую в метель, в непогоду слабую женщину, на руках которой было двое маленьких детей и старуха-мать. Куда они пошли? Знала ли она, понимала ли она, изгнанная из своей собственной хаты, что будет с нею и с её детьми за околицами хутора? Чувствовала ли она свою женскую слабость? Или это была материнская сила?

Метель скрыла всё. Мы стояли молча. У каждого были свои мысли, но никто из нас не смел их высказать вслух, кроме гепеушника.

– А до станции двадцать пять верстов! – ни к кому не обращаясь, произнёс хуторский уполномоченный.

– Пойдём-ка, братва, да выпьем за упокой! – нарочито весело произнёс агент, – Пора по домам!

В голосе его уже не слышно было злости. Он забыл, возможно, о случившемся по его вине, только желание выпить, согреться говорило в нём, и он еще раз настоятельно сказал:

– Пошли! Допьем литровочку!

Его безразличие только казалось. Когда он отделился от всей компании, я услышал злобный голос:

– Собакам – собачья смерть! – это говорил агент ГПУ.

Я подымался к себе в школу. Следы недавно прошедших были уже заметены. У меня мелькали мысли, которые я осущетвить не мог: «Пойти вслед? Остановить?. Дать переждать метели? Но где теперь их можно найти? Ведь каждый шаг заметается сразу же! Да и куда они пошли? В какую сторону? Нет, в степи, где перед самыми глазами движется белесая колючая масса и теряется перед самым носом даль, их не найти... Кричать? Они в завываньях ветра голоса моего не услышат ибо он слишком слаб... Что же делать. Только господь может спасти их и указать им путь.»

Эту ночь я не мог заснуть ни на секунду. В темноте холодной комнаты я ходил из угла в угол со своими мыслями, которые на этот раз были не так далеко от школы, от хутора. Они были тут, недалеко, в заснежной степи, в сумасшедшем буране, в снежном вихре моей бессонной ночи... Я видел занесенные снегом маленькие тельца, скорченные фигуры двух замёрзших женщин... Я слышал голоса о спасении, я слышал стон взрослых и тихий обессиленный плач детей... Но я видел и светлую фигуру Спасителя шедшего навстречу погибающим...

Наступало Рождество Христово.

Буря бушевала всю ночь. Даже ГПУ агент и областной

уполномоченный по коллективизации остались переночевать на хуторе и уехали только рано утром.

На Рождество кто-то из соседней деревни приехал навестить родственников и принес последние новости, которые быстро разнеслись по нашему хутору: «Двое замерзших женщин и двое детей были найдены за селом вдоль дороги ведущей к железнодорожной станции. Две женщины прижавшиеся друг к другу лежали в сугробе и молодая мать держала в своих объятиях двух девочек предохраняя своих маленьких ангелов... Их лица были спокойны как будто они спали... Говорят, что никто не знает кто они, так как на них не нашли никаких документов. И все удивлялись почему они были на дороге в такую бурю.»

Хата раскулаченных стояла с закрытыми ставнями и с широко открытыми воротами. Было не трудно хуторянам угадать, что случилось с их соседями. Но никто точно не знал, кроме нас троих, хуторского уполномоченного, Тимохи, и меня. Но мы молчали. Очень возможно, что когда нибудь, когда он будет пьяный, Тимоха хвастаясь проболтает мужикам, и раскроет правду, что случилось в ту страшную ночь с раскулаченными: «Я вам говорю, Тимоха знает!»

Через две недели я покидал хутор Пролетарская Воля навсегда. На станции Матвеев Курган я ждал поезда на Москву. Перед самым отходом я увидел раскулаченную женщину с детьми и матерью; она ехала в один из южных городов России, где у неё жил брат. Я успел только узнать, что добрые люди ей помогли—«последние новости» замели следы и скрыли их от преследования сторожевыми псами большевиков.

Тяжесть спала с моего сердца...



НА КАНИКУЛАХ

Простите, господа, но так было, и об этом, я думаю, следует напомнить не только тем, кто по наслышке знает то страшное время, но и тем, кто его пережил.

Я никогда не был пьяницей. Никогда не страдал и запоем. Но в этот страшный для русского народа год я запил. И запил так, как никогда, пожалуй, больше мне не приходилось пить. А, скрывать не стану, пить мне приходилось иногда, хотя никогда я не чувствовал влечения к водке. Наоборот, она всегда вызывала во мне отвращение. Но я пил. Сознательно пил. Чтобы забыть себя, своих близких, всё окружающее. Пил до умопомрачения, пил до полной потери сознания. Пил, может быть, потому, что всё моё детство, всю мою юность, всю мою молодость я любил, а теперь я должен был только ненавидеть. Пил, быть может, потому, что юность мою я отдал России, которую любил, как мать, как сестру, как невесту, и ради этой любви пожертвовал самые лучшие годы моей начинавшейся жизни Родине, вступил добровольцем в Белую Армию... А сейчас... Я должен забыть всё... И мою любовь, и мою радость, и моё счастье и мою Россию... Я должен был служить дьявольскому СССР... А поэтому я должен был ненавидеть! Вы понимаете – «ненавидеть!» Нет, вы не можете этого понять. Слушайте же еще раз – «я должен был не-на-ви-детъ!» К счатью, этого делать я не умел... Я страдал, правда, но...

Каждый раз в моих страданьях находился исход. Этим исходом была водка, на которую я всегда смотрел с ужасом. Я ненавидел её, и я пил её. Я с отвращением смотрел на неё, но я глотал её, как хину, как касторовое масло. Но глотал. Потому что на некоторое время я мог забыть окружающее. Превратиться в вещь. И тогда я не мог воспринимать ничего извне. Ни зла, ни житейской грязи, ни боли душевной, ни тоски сердечной. Я становился предметом, о котором говорили даже без сожаления: – «Без сердца, без души, потому что жизнь свою растворил в алкоголе!»

В те минуты merк Божий свет, и я не чувствовал жизни. Я находился в такие моменты между жизнью и смертью... Но это не было блаженством, как многие могут представить себе моё состояние опьяненного. Нет, это было состояние куклы с закрывающимися глазами и умеющей говорить несколько упрощенных слов, о смысле которых можно только догадаться.

Когда наступали такие минуты, мне казалось,что меня бережно укладывали в картонную коробку и прятали не то в огромный сундук, не то в шифоньер, где запах нафталина, как наркоз, усыплял меня окончательно.

Так точно случилось и на этот раз. Это было в декабре 1934-го года. Я работал в одном учебном заведении, готовящем «кадры» для советской промышленности. В систему этой подготовки входил так называемый рабфак, задачей которого была подготовка в высшие учебные заведения рабочих без отрыва от производства. В Чистяково я работал первый год. Следует сказать, что больше двух-трех лет я нигде не работал, так как моё прошлое гонялось за мной и только однажды настигло меня.

В Чистяково я как раз перешел из посёлка Снежное в начале этого года, так как чувствовал, что меня должны «раскрыть». Ради семьи я должен был всю жизнь кочевать.

Незадолго до начала зимних каникул (не рождественских!) меня встретил секретарь парторганизации товарищ Кацман и спросил:

– Товарищ Михневич, что у вас произошло в Снежном?

Я знал, что произошло. Я ждал «его» всю мою советскую жизнь в той или иной форме. Но «оно» произошло после моего ухода, и о «нём» мне рассказали только позже мои коллеги – учителя.

– У меня? Ничего. Но я слышал, что в Снежном что-то произошло после моего ухода. Что именно я не знаю... Думаю, что вам известно всё прекрасно?

– Я предполагал, что вы знаете...

– Нет, я только слышал... Скажите мне, однако, могу ли я продолжать работу у вас?

– Да, да...вы можете работать, как и раньше...

Я знал, что мой авторитет держится исключительно на моих знаниях и на моём умении работать со взрослыми. На моём педагогическом опыте. На моём отношении к людям. Но мой авторитет держится также и на директоре и парторге, на секретаре профкома и активистах, на всём студенчестве и преподавателях – моих подчиненных и друзьях. Из всей этой массы три человека теперь могут сделать со мной всё, что только они пожелают. Это были директор, парторг и секретарь профкома.

Директора я знал довольно хорошо. Он очень ценил меня, и я мог бы надеяться на него, как на каменную гору, если бы... он не был членом коммунистической партии. Секретарь парторганизации, товарищ Кацман, был студентом 4-го курса рабфака, моим учеником.

Но его будущее ни в коей мере не зависело от меня, так как после меня кто-то другой ставил бы ему такие же удовлетворительные оценки, какие он получал от меня на основании своих заслуг.

Что случилось в Снежном? Об этом можно было бы написать целую книгу. Но коротко: по приказу парторга огромный коллектив студентов «проголосовал» за такую резолюцию:

«Считая, что Михневич является врагом народа, просить Чистяковский горпартком и горисполком о выселении такового с семьей за пределы Украины.»

Это, конечно, чрезвычайно коротко. Резолюция перечисляла все мои «грехи», о которых сейчас нет смысла и вспоминать. Но что означало «выселение за пределы Украины» – об этом в те времена уже знали миллионы людей. Где заканчивались эти пределы? На Соловках? В Караганде? На Колыме?

Разговор с парторгом был накануне двухнедельного зимнего отдыха. Я шел как раз получать зарплату. Получив деньги, я зашел в рабкоп, купил литр водки и отправился домой.

Жена вопросительно посмотрела на меня, когда я вошел в комнату.

– Что случилось? – спросила она у меня, и я чувствовал, что она поняла всё.

– Ничего, милая, всё прекрасно на нашем свете!

Что мог я сказать ей в присутствии дочери?

Девочке моей было тогда девять лет. Она воспитывалась вдали от коммунистического влияния, но не была она близка и к тому русскому воспитанию, которое получили все мы. Самое главное, она была далека от религии. При ней мы никогда не говорили о прошлом, которое всегда в людях будит прекрасные чувства. Она своим детским сердечком должна была бы понять правду жизни, и было бы не преступлением, а её детской наивностью, если бы она когда-нибудь об этой правде сказала среди своих сотоварок. Дети наивны и говорливы. Не раз на наших глазах они были виновниками гибели взрослых. И вот эта маленькая девочка вдруг сказала матери:

– Разве, мамочка, не знаешь,что папа всегда пьет, когда у него кошки скребут на сердце?!

– А чего этим кошкам скрести теперь? Завтра начинаются каникулы... Или папе плохо с нами?

– Нет, мамочка, не с нами папе плохо, а с советской властью, он её не любит! – выпалила дочь.

– Ну, это ты выдумываешь, Ляля! Причем тут советская власть? Ты не смей говорить глупостей! Если кто узнает...

– И не беспокойся, мамочка! Никто не узнает от меня таких вещей! Я не маленькая тебе! Что ты думаешь, не понимаю я?

Разговор на этом оборвался, но мы поняли, что одна комната, в которой мы ютились, не могла от дочери скрыть ни случайного слова, ни взгляда, ни вздоха. Чуткое её сердечко с удивительной точностью воспринимало всё.

У меня всегда в запасе были всевозможные настойки, ликеры, наливки собственного изготовления, и купленная водка была отставлена. Я вытащил какую-то настойку, напился и заснул.

Так водкой у меня начались каникулы. Каждый день с утра до позднего вечера я поддерживал в себе «прекрасное расположение духа», а вечером мертвецки пьяный валился на кровать, чтобы на следующее утро начать такой же неестественный день.

Однажды, незадолго до обеда, кто-то постучал ко мне в комнату. Я не вздрогнул. Мне было совершенно безразлично. Алкоголь действовал превосходно. Я крикнул:

– Войдите!

На пороге появился мой бывший студент Маслеев, учившийся теперь в Днепропетровском Горном Институте.

Маслеев возвращался из Института домой, к семье. Так как иного пути, как пешком преодолеть восемнадцать километров от станции Чистяково до шахты № 9, где жила его семья, не было, то он решил по дороге зайти ко мне и отдохнуть.

Я пригласил его к столу.

Он прежде всего удивился, что я «пью». Мои студенты никогда не видели меня навеселе. При всей слежке за учителями никому не удалось уличить меня в этом «грехе.» Все были убеждены, что я человек трезвенный, непьющий. Это убеждение увеличивало еще больше уважение ко мне. Но цену этому уважению знали только я да жена. Опыт был уже велик!

– Ростислав Макарович, вы, оказыватея, того... умеете и выпить?

– А как же? Почему бы мне и не выпить?

– А мы, стуенты, никогда не могли и подумать об этом!

– Как же не пить, товарищ Маслеев! Жизнь сама требует, чтобы человек пил!

– Иногда приходится... Я понимаю... – после первого же стакана

заговорил мой гость.

Маслеева я знал достаточно хорошо. Он был не молод для студента (тогда ему было, может быть, 32-33 года), был серьёзен, учился прилежно. Он был членом партии, это я знал хорошо. На рабфаке его выбрали председателем студкома. Кроме того, он был настоящим шахтером. Знал я его еще с другой стороны. Был он прекрасным семьянином. Все данные говорили о нём, как о самом обыкновенном человеке, к тому же не испорченным. Ничего плохого о нем я никогда не слыхал. И вот с ним-то я и решил быть немного более откровенным, чем должен был быть человек вообще.

– Вы знаете, что случилось в Снежном?

– Да, знаю, мне писали студенты... Это всё ерунда, Ростислав Макарович...

– Хорошая «ерунда», товаищ Маслеев! – воскликнул я, – да у меня ж семья! А на дворе-то мороз какой и снег!

– Но вас же пока никто не трогает? – спосил он.

– А кто же может поручиться, что никто так и не тронет? И неужели же ждать, пока тронут? Вот вы пришли, постучали ко мне в двери, а я, если бы не пил, то обязательно поумал бы, что это пришли уже за мной и, как вы думаете, сердце-то моё не ёкнуло бы?

– Понимаю вас... Как вы тут устроились? – спросил он после минутного молчания: – Как к вам здесь относятся?

– Так, как относились в Снежном, когда еще вы были председателем студкома! На руках готовы носить! Да разве же я не знаю всему этому цену?

– Понимаю... Видите ли... Всё это от студенческого сердца... Да вот... в партии у нас разные люди есть... Вот и в Снежном... Дмитрий Иванович... Он ведь на вас зуб точил еще при мне... Да сдерживали его... И директор, и парторг, и я... А ведь он-то преподаватель обществоведения! С ним-то и нам нужно было быть осторожным, потому что ему и в горпарткоме поверят скорее... Ихний он. А мы – тоже масса... Понимаем и мы кое-что... А он такой человек, что и брата родного не помилует!

– Но почему же он ненавидит меня?

– На дороге стояли вы... Завучем были... А ему мерещилось и во сне начальником быть!

Не знал я тщеславия человеческого и никогда не мог подумать о нём. Мелочь была. Мне стало противно говорить о своём «горе».

– Ну, Бог с ним. Расскажите лучше о себе, как ваши успехи?

– Какие там успехи, Ростислав Макарович! Если вам рассказать, что мы делали в институте, так вы и не поверите! Ведь мы еще и не начинали заниматься!

– Как?! Прошел первый триместр!

– Да, прошел, а мы за институтский курс и не брались!

– Что же вы делали?

– Изучали военное дело и текущую политику! – торжественно провозгласил он. В его торжественности было очень много иронии. Он её и не скрывал. Может быть, потому, что он не боялся меня? Но говорили мы почти откровенно. Кое-чего не договаривал я, а он...

– Да что там, – говорил он уже нетвердым голосом, – Коллективизацию учились проводить! А потом и на практике побывали... Ну, и попрактиковались же, Ростислай Макарович! Правда, на нашу долю пришлись только остатки... Но и то страшно... Едешь селами по Днепропетровщине... А край-то богатый! Степь раскинулась, хоть под снегом и замело её, а ведь чувствуешь, что по хлебному месту едешь... Только мы не по дорогам... Нет теперь дорог... Замело всё... И по селам нет дорог... Всё засыпано... Хаты с крышами... И полоза не увидишь на снегу... Ни следа человеческого... Только звериный да птичий... Вымерло всё... Страшно... даже мне страшно.. А уж я-то в шахте всего насмотрелся! И задавленных, и засыпанных, и задушенных и разорванных... Самого не раз засыпало... А вот тут и мне жутко становилось... Страх берет... Едешь – ни души живой... Тишина немая... Снег, как будто только что выпал... Въезжаешь в село... В хатах двери раскрыты... окна... Кое-где ветер солому успел разметать, да нет теперь хозяйских рук... И пусто везде... Ни лая собак, ни мычанья коров, ни блеченья овец, ни человеческого голоса... Первый полоз санок – наших... Остановились в одном селе... Из любопытства зашли в раскрытые двери хаты... Скорченные трупы замерзших... голодных... Дети... Женщины... Старики... Мужиков только мало... Сосланы все... Кулаки! Правда? Это, Ростислав Макарович, правда жизни! Страшно! Ночами теперь спать не могу...

Я сидел придавленный несвязным рассказом моего бывшего студента, члена партии. Что было моё «горе» в сравнении с тем ужасом, о котором говорил мне Маслеев в припадке полупьяной откровенности?!

Еще долго рсcказывал мне товарищ Маслеев страшную быль, от которой у меня пробегал мороз по спине.

– Вот... институт... Горное дело... И военное дело нам всё равно оказалось ненужным... Воевать против мёртвых... Ну, слава Богу... Каникулы... Отдохну немного... Может быть, забуду... Говорят со

второго триместра начнутся занятия... Хотя бы...

Охмелевший Маслеев встал, наконец, из-за стола и, прощаясь со мной, посоветовал:

– А вы, Ростислав Макарович, всё же не зевайте... Как только найдете местечко подальше отсюда, так и переезжайте... Всё может случиться...

Мой бывший студент ушел. Я налил себе еще стакан водки, выпил, чтобы забыть всё...

Простите, господа, я пил... Я ненавидел водку, я с отвращением смотрел на неё, с презрением смотрел на пьяных, я не мог вдыхать винных паров... Но я пил... Для чего?

Чтобы забыть гнетущую действительность. Чтобы забыть сумасшедший дом, имя которому СССР. Чтобы забыть не только своё маленькое несчаетье. Меня всё же Господь оберегал. Но забыть ужас всенародный. Бороться против злобствующей власти я не мог... У меня не было сил...

Но у меня была надежда. Эта надежда заставляла меня всегда быть осторожным. Не моя вина, что эта надежда обманула меня. И не одного меня...



«СПАСАЕМСЯ»

Весна. Горячее солнце распарило землю, от которой тянулась ввысь испарина, душная и тяжелая. По шоссе идти невозможно, так как глубокая жидкая грязь сразу же наполняет галоши. Сбоку, по прошлогодней траве, идти лучше, хотя тяжелее, потому что глинистая почва не только налипает на обувь, но зачастую ноги не вытянешь из неё.

Медленно двигаюсь по направлению к селу, переименованному недавно в город. На шахтном посёлке нет парикмахерской, приходится преодолевать липкую грязь, чтобы иметь человеческий облик.

Впереди идут две женщины-крестьянки из «города». Они двигаются очень медленно, так как несут на себе мешки с хлебом, который они выменяли за молоко у шахтёров или служащих рудника. Расстояние постепенно уменьшается, и я начинаю слышать яснее и яснее их голоса.

– Ну, а вы ж, как Марковна?

– Видишь, Андреевна, живы ещё...

– Не трогают вас?

– Бог миловал пока... в колхозе мы, ...спасаемся...

– Страх один Господен что делается... мрут с голоду люди... – За грехи страдают... По Писанию ещё не такое будет...

Заслышав мои шаги, женщины замолкли.



«РАС-С-СКУЛАЧУ»

На станции Минутка, возле Кисловодска, небольшая группа пассажиров ожидала поезд. Было уже темно. Надвинулась тихая южная ночь. С гор скатывалась прохлада. Все были одиноки и молчаливы. Только под навесом железнодорожной площадки, освещенной большой электрической лампочкой, на широкой скамье сидела женщина средних лет, одетая в лохмотья. Она разговаривала тихо сама с собой, доставая по временам из старой корзинки, обшитой грубой материей, грязной и потёртой, бутылку с водкой и прикладывалась к ней, медленно глотая горячую жидкость.

Речь её была неясна, она скорее шептала что-то, но каждый раз, когда ставила бутылку на место, приговаривала:

– Эх, ты, милая... рас-с-скулачу тебя до дна!

Видно было, что женщина хорошо усвоила это слово в своей жизни, а тон, которым произносила его, отражал жгучую ненависть к чему-то, только ей известному.

Нужно сказать, что Кавказ в начале тридцатых годов служил местом, куда сбегались раскулаченные, т. е., попросту ограбленные правительством крестьяне. Здесь коллективизация еще не начиналась. Народ жил привольно, свободно. Упорно ходила легенда о том, что Сталин из-за своей кавказской родственности коллективизацию, вообще, проводить не будет здесь. Такое привилегированное положение местного населения давало право жестоко эксплуатировать дешевую рабочую силу, предлагавшую в избытке свои руки. Как ни тяжел был труд, как ни низка была за него плата, как ни ужасны были общие условия жизни, но изгнанные из родных мест, мужчины и женщины, старики и дети, предпочитали эту невыносимую жизнь на относительной свободе ссылке в концентрационные лагери. В концлагерях, по словам счастливцев, бежавших оттуда, люди подвергались не только неимоверным физическим пыткам, но и вымирали от голода, холода и нечеловеческих условий, в которых приходилось жить и работать.

Да и, вообще, это время было очень тревожное для всех групп населения России, и Кавказ кишел от неблагонадежной публики.

Один из пассажиров подошел к женщине поближе и, усмехаясь,

спросил:

– Кого это ты, бабка, раскулачивать хочешь?

– Была б сила – тебя б раскулачила... Да и не бабка я тебе... обращенья к людям не знаешь... грамотный!

– А как же тебя? Товарищ?

– Товарищ?!. Какой я тебе товарищ?! Может, ты самый и есть, который жизнь мою разбил... тоже товарищ... Детишек голодом сморил... мужа в болоты угнал... Товарищ! Чего усмехаешься? Думаешь, боюсь тебя? Мне всё равно уже жизни нет... пропащая наша жизнь крестьянская... потому антихрист купил Россию... церкви позакрывал... священников в Сибирь заслал с мужиками нашими... Небось, и ты Бога забыл? Окаянный, ...товарищ.

Она снова вытащила бутылку и, набрав полный рот водки, долго не глотала... Молча сунула бутылку в корзинку и, зажмурив глаза, звонко проглотила жидкость.

– Уйди ты от греха... много вас тут слушателей...

Пассажиру стало неудобно, и он неуклюже повернулся и отошел от пьяной женщины. Темнота ночи скрывала лица остальных, но чуветвовалось, что боль простой человеческой души, изведавшей горе глубокое, была всем близка и понятна. Казалось, что каждый понимал, что гибла не просто жеищина, обыкновенная крестьянка, у которой отняли её детей, её мужа, выгнали из родного дома и обрекли на страдания, приклеив ярлык «раскулаченная», но гибла Россия с её глубокой Верой, Надеждой и Любовью... Да, возсел антихрист на окровавленный престол, бросив в пучину адских мук страну, истерзанную революцией...

«Товарищ!» Сколько хорошего тёплого чувства было когда-то в этом знакомом всем слове! А теперь? Оно вызывает ненависть, дрожь, как от чего-то гадливого, мерзкого, и было понятно, почему опьяневшая крестьянка не могла успокоиться. Она продолжала свою несвязную речь, смысл которой был понятен всем.

– Потому пью... за деток... за упокой их христианских душ невинных... за мужа. Хороший мужик был... кроткий... и хозяин был... потому и пью... день у день... четвертый годок... потому – товарищ! Рас-с-скулачу! – раздался её визгливый выкрик.

Шум подходящего поезда отвлёк внимание пассажиров.

Через минуту в ночной мраке мерцали красные огни удаляющегося последнего вагона. Железный грохот катился среди гор.

Пьяная женщина жалобно выла под железнодорожным навесом.



ТАНЯ

Выросла Таня Лозовая в чужой семье. Не сирота, но родителей своих не помнит. Окончила сельскую школу. Люди добрые посоветовали: «Уходи, Таня, от греха из деревни...»

Послушалась, ушла, хоть, толком ещё не могла понять, почему же нужно было покинуть родные места. Правда, когда уходила, вышла соседка проводить за деревню, старушка с клюкой, бабушка Агафья.

– Смотри, Танюша, вон изба ваша, сад – тоже ваш и огород, не забудь, детка...

– Как наш? Чей это наш? – удивилась Таня.

– Батюшки твоего и матушки, Таня.

– А где они?

– Не ведаю, красавица.

– Они что... раскулаченые, бабушка?

– Молчи, девушка, никому не смей сказывать... Да веди себя опрятно... Честь свою соблюдай девичью... А главное, Танюша, Боженьку вспоминай ежечасно да за родителей молись...

Перекрестила её на дорогу старушка Агафья и заковыляла со своею клюкой в деревню. А Танюша с глазами, полными крупных слёз, с болью и горечью медленно зашагала в далёкий и незнакомый город, к каким-то далёким родственникам бабушки Агафьи.

Грамотная была, писала хорошо, почерк – ясный, красивый. Поступила в народный суд. Бумажки переписывала.

Дышала молодостью и свежестью, красотой зеленеющих полей и привольем недавнего детства. Заметил эти качества Тани народный судья товарищ Блохин и влюбился.

Высокий, усатый, неловкий был Блохин, к тому же партиец и женатый. Но ласку свою и любовь предлагал. Отказалась Таня:

– Если б только отец узнал!

– А где он? – спросил любопытный «справедливец».

– Помер... – Не сказать же, что в ссылке, на севере, в болотах непролазных лес рубит и цынгой страдает, – подумала Таня.

Обозлился Блохин и уволил девушку, выдав справку, в которой указано было, что «с работой не справляется».

Но мир не без добрых людей. Через несколько дней Таня работала делопроизводителем в большой городской школе.



ПЕРВЫЙ КОЛХОЗНЫЙ ГОД

Незадолго до начала коллективизации в село прислали нового парторга Рудницкого. Он, ознакомившись с сельскими партийцами, перед перевыборами сельсовета выставил на бюро сельской партийной организации кандидатуру на место председателя сельсовета крестьянина-партийца Курильченко. За него сельские крестьяне-коммунисты должны были на сходке распинаться, чтобы провести его вместо старого председателя Лугового, не способного к решительным действиям. Рудницкий хорошо изучил к этому времени Курильченко. Он видел в нём наиболее энергичного человека обладавшего способностью не считаться ни с мнением крестьян, ни со своими родственниками, которых у него было много, как и у каждого коренного жителя села. Знал он это потому, что Курильченко приносил ему информации даже о собственном отце.

Сельская партийная организация фактически никогда не решала никаких вопросов. Всякое предложение секретаря было неписанным законом. Эти предложения как будто обговаривали, обсуждали, но всегда всё сводилось к тому, что находились положительные стороны, и они, таким образом, принимались, как постановления всей партийной организации. Вызвано это было тем, что все секретари не любили, когда им противоречили, и по отношению к тем, кто выступал против, «пришивали» какое-нибудь дело, приписывали какие-нибудь грехи, а затем применяли репрессии. Им записывали «общим партийным собранием» выговор, или исключали из партии, цепляли ярлыки – «троцкист», «правый уклон», «левый загиб», или просто не давали хода в продвижении по партийно-советской лестничке да еще и снимали с какой-нибудь хорошей работы. Такое положение делало каждого секретаря единовластным начальником над всеми членами партии, издававшем своеобразным путем свои приказы.

Когда Рудницкий выставил кандидатуру Курильченко, все члены партии сельской партийной организации поддержали его предложение, и Курильченко на перевыборах в сельсовет «единогласно» был избран.

Курильченко ознакомился с делами сельсовета и хотел действовать самостоятельно, но Рудницкий вызвал его однажды к себе в бюро и сказал:

– Я имею директиву сверху о перестройке работы на селе. Мы приступаем к коллективизации крестьянских хозяйств. Возьми на учет всех кулаков, середняков и колеблющихся. Это все народ с собственническим уклоном, и нам придется применять репрессии...

– Это у меня всё в порядке, товарищ Рудницкий. Мне и сельсовет не нужон, потому я, как партиец, всех держу на учете – где, кто и как, – это я всё знаю.

Перед решительным наступлением на крестьян Рудницкий и Курильченко «прощупали» всё село, заготовили списки кулаков, середняков и колебающихся, и когда вопрос об организации колхоза стал на собрании Комбеда – Коммитета бедноты – то у заправил села была уже твердая линия, по которой они направляли бедняков. Линия эта вела к тому, чтобы натравить членов Комбеда в первую очередь на кулаков.

– Мы должны организовать колхоз, чтобы наше беднячество имело возможность трудиться на земле; мы должны организовать колхоз, чтобы наше беднячество получило экономическую базу в своей жизни; мы должны организовать колхоз, чтобы наше беднячество вывести на светлую дорогу обеспеченной жизни, – заливался соловьем Рудницкий.

– А вот, товарищ Рудницкий, как это мы будем трудиться на земле, ежели ни плужка у нас, ни боронки нету?

– А боронку-то что, на себе тянуть будем?

– Колхоз это-то ничего, способное :дело, а вот у кого курка, то как-то с ней, и её в колхоз?

– Может, и бабу?

Вопросы сыпались без конца. Рудницкий, несмотря на строжайшие и подробнейшие циркуляры, постановления и решения, присылаемые сверху, не знал, что отвечать, так как нигде не говорилось во всех этих многословных бумагах ни о курке, ни, тем более, о бабе. Поэтому он растерянно выслушивал вопросы и усиленно думал, как бы ему «славировать», чтобы и бедноту удовлетворить, и по партийной линии не заехать в уклон. Но его выручил Курильченко.

– Я, товарищи, спрошу вас, чего вы галдите непонятного? Сказано точно: «ликвидировать кулака, как класс!» В колхоз мы его не допустим? Нет, потому он наш первый враг. А можем мы его оставить на селе? Нет, потому мелкое единоличное крестьянское хозяйство ликвидируется. Значит, ежели мы кулака ликвидвтруем, то с хозяйством его как нам быть? Целиком и полностью мы его в колхоз заберем – вот вам и плужок, и боронка и конячка к боронке! Поняли,

мужички? А насчет курочки – это дело мелкое, оно потом прояснится. Главное у нас на сегодняшний день – это ликвидировать кулака, на его хозяйстве построить колхоз.

– Что нам нужно на данный момент? – продолжал Рудницкий. – Нам необходимо выявить всех кулаков, всех середняков, всех колеблющихся, уточнить наших бедняков, чтобы к моменту организации колхоза все наши силы и силы наших врагов знать в точности. Мы должны на собрании Комбеда обсудить хорошенечко серьезно – кто с нами, кто наш, кто против нас. Вот у товарища Курильченко имеются списки всех крестьян. Мы заслушаем их выскажем открыто всё о каждом жителе нашего села. Запомним, что всякое сокрытие правды – это сознательное утаивание наших общих врагов, а последствия такого утаивания вам товарищи бедняки, должны быть известны очень хорошо. Партия и правительство не погладят таких по головке!

Вопрос задевал за больное, потому что беднота была связана узами родства с кулаками. Все с напряженным вниманием стали слушать председателя.

– Аверченко Степан: четыре лошади, два быка, три коровы, одиннадцать овечек, пять свиней, веялка, сеялка, молотилка... – читал по списку Курильченко.

Кулак! – кричал кто-нибудь из бедноты, не имевший родства с Аверченко.

Этим криком приговор был подписан. Никто, однако, еще не знал, в чем должна была заключаться ликвидация кулака. Ну, выгонят из села, устроятся где-нибудь в городах, на заводах, на фабриках, поедут в далёкий Донбасс на шахты, и жизнь у них снова как-то наладится. Даже сам Рудницкий не представлял себе, что же будут делать с зажиточными мужиками, хотя и говорил о каких-то репрессиях. Может быть, потому так легко и быстро решался вопрос о том, кого в какую группу нужно зачислить. На одной только фамилии беднота остановилась, когда Курильченко читал список колеблющихся середняков.

– Ганенко Федор: трое лошадок, бычков пара, коровка, свинка...

Кулак! – громко кричали увлекшиеся участники собрания, и Курильченко стоило больших усилий успокоить бедноту.

– Чего вы? – спрашивал он, – не дослушали до конца и кричите: «Кулак!» Это настоящий колебающийся середняк, товарищи. Что ж, что у него хозяйство? А когда он его приобрёл? Да и доброго слова оно не стоит! Не лошади у него, а лошадки, и опять же, бычки... разве ж это быки? А что свиньи, так и у меня свинья имеется! Такого

мужика сразу гнать из колхоза мы не можем, потому он в земле смыслит, понимает, что когда посеять нужно, когда убрать... Вон, спросите у Демченко, когда озимку сеять, он вам и скажет что зимой, потому он живет только на земле, а трудиться он на ней не умеет. Или спросите у Чумака, когда бурак косят? Все засмеялись, повернулись к Чумаку, спокойно спавшему в задних рядах после пьяной ночи и не слышавшему ничего из всего того шума, который царил на собрании.

Однако, кое-кто из членов собрания настаивал на переводе Ганенко в кулаки, и Курильченко, чтобы не обострять вопроса, предложил: – Мы возьмем это на заметочку, мужички, – и начал читать свои списки дальше.

Рудницкий, не знавший села, молчал, но после собрания спросил у председателя сельсовета:

– А что этот Ганенко, крепкий мужик?

– Вишь, товарищ Рудницкий, как рассматривать его? Он сущий середняк по характеру. Его тянет и туда и сюда, но в колхоз он пойдет. А нам нельзя на одну бедноту доверяться, потому – голытьба, они никогда за плугом не ходили. Чего они наработают? А хозяйство должно быть, как помещичье. Сейчас хорошо, потому кулак бедноту нашу держит. Он её, значит, кормит. А ликвидируй кулака, тогда не только, что город с голоду вымрет, а и беднота в колхозе сама ликвидируется!

Рудницкий ничего не сказал, но решил проверить сам. Курильченко понял, почему промолчал секретарь, и на следующий день вызвал Ганенко в сельсовет. Выждав, когда никого не было, он начал с ним разговор.

– Как ты, Федор Кузьмич, насчет колхоза?

Колхоз был уже пугалом для крестьян, и все в своих разговорах с официальными лицами отзывались о нём приблизительно так: «орешек крепкий, а раскусим – узнаем, может, и приглядится». В таком же духе отвечал и Ганенко.

– Оно то, товарищ Курильченко, мы же в неизвестности про колхоз, потому на практике еще не видели этот колхоз...

– Вишь, Федор Кузьмич, я тебе к тому говорю, что кулак к ликвидации подходит, жизни ему уже не будет, а на тебя все показывают... Я тебе по-дружески... Предупреждаю, значит... Потому ты мужик способный и не против советской власти... Вот, значит, ежели запись в колхоз начнется, так ты того в первую очередь чтобы... Это заради спасения твоего... Понял? Только ты об нашем разговоре, смотри, никому ни слова! Потому дело это очень сурьёзное.

– Да что вы, товарищ Курильченко, понимаю я это хорошо...

А вечером будто невзначай Рудницкий заглянул на усадьбу к Ганенко.

– Что, товарищ Ганенко, работёнки многовато?

– Мы привыкши, товарищ Рудницкий...

– Я вот зашел покалякать про колхоз...

– Отчего ж, можно, заходите в хату...

Рудницкий вошел с хозяином и остановился в каком-то оцепенении. В большой комнате с огромной крестьянской печью у окна на низенькой скамеечке сидела девушка и обчищала кочаны кукурузы. Она поразила его своей красотой настолько, что он растерялся.

Молодая, сильная, пышащая здоровьем, с правильными чертами лица, чернобровая красавица удивленно посмотрела на него, не сказавшего даже здравствуй, и принялась за свою работу.

Рудницкий сел с Федором Кузьмичем и начал свой разговор, но всё его внимание было сосредоточено на девушке.

Федор Кузьмич, подготовленный председателем, не показывая своей настороженности, отвечал:

– Да мы, что ж, в первую очередь запишемся, потому единоличное хозяйство не под силу нам, мужикам... Что у меня, к примеру, рабочих рук? Я да жинка, ну, Марфуша-дочка... А замуж выдам – кто я? Бедняк самый настоящий, потому и к бычкам некого приставить, а наемную силу, сами понимаете, правительство хоть и не запрещает, а смотреть как на нас будет? Это мы тоже понимаем.

Рудницкий не слушал Федора Кузьмича, он был поглощен его дочерью и только думал одно: «Ну, и девка! Вот уж и девка! Ну, и красная!»

На прощанье он всё же решился спросить у неё:

– А ты, красавица, в колхоз пойдешь?

Марфуша подняла свои большие голубые глаза чуть-чуть вразбежку, делавшие её еще более интересней, еще более привлекательней, засмеялась чему-то показав белые точеные зубы, и ответила:

– Что мне, папашка хозяин, а по мне – где не работать – всё одно...

– Мы тебя председателем колхоза сделаем, – нашел, наконец, Рудницкий шутку и, распростившись, нехотя ушел.

«Так вот оно штука какая! Ну, и девка! Такую и в город можно! Одеть в городское – артистка какая... Как её... Марфуша... Да-а-а...» – рассуждал сам с собой парторг до самого дома.

С тех пор образ девушки преследовал его везде и всюду. Всё время он повторял: «Ну, и девка! Ну, и красная! С такой не стыдно и в городе показаться!»

Ему хотелось зайти еще раз к Ганенко, но он не решался. С одной стороны он чувствовал, что он теряется в её присутствии, и боялся этого, боялся вот этой самой красной девки, а с другой – его страшило, что до района дойдет весть, что он якшается с кулаками, потому что, как Курильченко не подкрашивал, а беднота была права, называя Ганенко кулаком. Одно разрешал себе парторг – пройтись иногда возле усадьбы Федора Кузьмича, питая надежду, что он увидит Марфушу. Но ни разу такого счастья не выпало на его долю.

В разгар зимы начались собрания, заседания, сходки, активы, и везде Рудницкий должен был присутствовать, выступать, говорить до потери голоса, и Марфуша на время отошла в сторону. Изредка только вздохнет и подумает: «Ну, и девка! Семья вот только кулацкая...»

На одном из собраний Комбеда снова перебирали село по косточкам. Когда дело дошло до Ганенко, беднота подняла крик:

– Кулак!

Рудницкий прекрасно понимал, что Ганенко враг советской власти, но перед ним вырисовался образ Марфуши и он, выслушав терпеливо Курильченко, защищавшего Федора Кузьмича, решительно выступил против бедноты.

– Вы что, товарищи, не доверяете советской власти? Вы выбирали товарища Курильченко в сельсовет? И партийная организация одобрила выбор, потому что товарищ Курильченко не только за советскую власть, но и член коммунистической партии. А теперь, что же? Вы же сами делаете из него если не явного врага советской власти, то настоящего подкулачника!

Беднота притихла. Возражать секретарю партийной организации, значит легко попасть в разряд подкулачников, так лучше промолчать. Ганенко, таким образом, выиграл в глазах всего сельского общественного мнения.

Теперь Курильченко рад был постараться, и записал его не в список сомнительных, а просто в список обыкновенных середняков, которые еще не были под особым подозрением. Выступление же парторга он принял за чистую монету и увереннее стал действовать в своих сельских делах.

Проходила страшная зима тысяча девятьсот тридцать первого года. Три четверти села исчезло. Часть была выгнана из родных хат, часть умерла от голода, лишь кое-кто спасся бегством, добрался до городов и далеких шахт, где требовались рабочие руки, где не спрашивали о социальном прошлом, да и мало считались с ним, потому что правительство требовало выполнения производственной программы. Из оставшихся голодных крестьян организовали колхоз. Попал в него и Ганенко.

Перед выборами правления колхоза Курильченко говорил Рудницкому:

– Нет у нас человека на председателя... Колхоз только начинается... Нужон человек крепкий, способный, чтоб сила у него была...

Парторг и сам видел, что некого выбирать, и, подумав, вдруг предложил ему:

– Знаешь, товарищ Курильченко, мы тебя председателем поставим!

– А сельсовет как же?

– Сельсовет сейчас, знаешь, статистика... Делать там нечего... Емельяненко выберем а ты займешься колхозом.

Курильченко хотелось и в сельсовете остаться, и колхоз прельщал и он неопределённо ответил:

– Обдумать то нужно, товарищ Рудницкий...

– Что тут обдумывать? Раз партия требует, мы должны подчиняться... Нечего ж обдумывать...

Отступать было некуда, и вскоре по рекомендации парторганизации в сельсовете были произведены перемены, а в колхозное правление был избран председателем Курильченко.

О Федоре Кузьмиче Ганенко, оставшемся в селе, попавшем в колхоз наравне с бедняками, не переставали говорить. Разговоры эти начались с тех пор, как первый раз выступил на заседании Комбеда Курильченко, защитивший его от нападок бедноты. Вслед за Курильченко на защиту выступил и сам парторг, вызвавший удивление у крестьян, и разговоры от этого не уменьшились, но стали только более осторожными.

Говорили так, чтобы начальство не слышало. Все были поражены происшедшим и искали разгадку, но все терялись в своих предположениях, так как виновник оставления Ганенко в селе

оставался вне всяких подозрений. Виновником этим был Курильченко, который давно уже приглядывался к Марфуше, желая сблизиться с ней. До организации колхоза он не делал никаких шагов к этому. Было много причин, заставлявших его ограничиваться только поглядыванием. Во-первых, она была из семьи, которая по своему социальному положению стояла на грани с «врагами народа»; во-вторых, он был женат. Его ухаживание за Марфушей, дочерью кулака Ганенко, могло бы повредить его партийной репутации и он в своих действиях был очень осторожен всё время. Теперь же, в колхозе, условия для такого сближения с девушкой стали совершенно иными. Она уже не кулачка, не середнячка, а рядовая колхозница. Видеть её он мог гораздо чаще, и в этом тоже ничего не было удивительного. А как председатель колхоза, он может назначать её на работу туда, куда он пожелает, куда ему будет выгоднее.

Рудницкий, не догадывавшийся об отношениях Курильченко к Марфуше, думал о том, что теперь настал момент удобный для сближения с красавицей-колхозницей, так как она теперь была всё время на колхозном дворе. Считая себя хозяином колхоза, он распоряжался расстановкой рабочей силы через председателя. Таким путем он думал назначить девушку где-нибудь вблизи,чтобы встречаться с ней без свидетелей, но чтобы встречи носили «деловой характер». Ему хотелось, чтобы свидания такие происходили почаще.

Оба колхозных верховода, претендовавшие на Марфушину любовь, думали по-своему, строили планы и мечтали о предстоящих счастливых днях. Каждому из них казалось, что девушка должна быть польщена вниманием председателя колхоза или секретаря парторганизации, и чуть ли не сама броситься на шею такому непрошенному Дон Жуану.

Но девушка, конечно, ничего не знала и не подозревала. Она не видела, как тучи сгущаются на колхозном горизонте, и судьба её переходила в руки двух начальников, не терпевших неподчинения. Не понимала она и того, что причиной относительного благополучия её семьи являлась она сама.

Живая, веселая, работящая, она подалась за время голодных колхозных дней, но не потеряла своей красоты, и её появление на колхозном дворе у всех вызвало одно и то же впечатление, все думали одними и теми же словами, как всегда: «Ну и девка! Ну, и красная! С такой бы не грех и любовь закрутить!»

В этих словах выражалось всё восхищение красотой Марфуши. Но это восхищение рождало к ней и уважение. Многие мужики, а особенно парни робели в её присутствии, и все без исключения боялись её острого язычка. Уж ежели кто затронет её, незло,

добродушно, она так обожжёт словечком, что потом долго оно гуляет по селу, а иной раз и прилипнет к виновнику.

Был у неё, конечно, и парень, как у каждой дивчины – Степан Ткаченко, теперь тоже колхозннк. Он был полной противоположностью ей. Маленький, тщедушный, с большим, изрытым оспой, лицом, на котором сидел куцый носик. Степан был некрасив, но бесконечно добр. Жил он в семье отца, по соседству с Ганенко, и имел счастье каждый вечер «гулять» со своею любимой Марфушей на улице.

Любовь между ними тянулась давно, но, как не удивительно для села, где все всегда знают всё, кто и с кем «гуляет» их никогда не подозревали в этом обыкновеннейшем для молодости грехе. Может быть, потому, что Марфуша в компании не отличала Степана от других парней, а он, в свою очередь, не старался обращать особого внимания на неё; может быть, потому, что он был так некрасив, а девушка, наоборот, была общепризнанной красавицей, но никто не думал, что они, расходясь поздней ночью по домам, встретятся сейчас же на своих огородах, сядут под скирдой соломы и будут миловаться, до рассвета.

Еще до начала коллективизации Степан, обнимая в предутренний час девушку, говорил ей:

– Может, поженимся, Марфуша?

Что ж жениться, Стёпа, вишь завирюха какая на селе...

– Переждать думаешь?

– Давай после колхоза, Стёпа... Да и пост теперь... все одно нельзя...

– Это верно ты говоришь... – согласился Степан и они восторженные, наполненные своей любовью, со светлой надеждой на лучшие дни, разошлись.

Знала об этой любви только Марья Тимофеевна, мать Марфуши, перед которой она не скрывала своих тайн. Но мать молчала, никому не говорила, не решалась и мужу сказать, потому что Федор Кузьмич всегда говорил:

– Марфуше нужон мужик такой, как она, орел чтоб был! Хоть в город вези девку! Где тут на селе такие парни, чтобы ей были ровня? Нет их! А девка красная!

Мария Тимофеевна мягко возражала:

– Ты не орла ищи Марфе, а человека с сердцем... Да и что нам ей искать... Такая сама себе найдет! Сумеет выбрать по себе!

– Моё дело отцовское, я должон дочку устроить.

– Мой отец тоже хотел меня устроить, – отвечала в таких случаях Марья Тимофеевна, намекая, что Федор Кузьмич взял её против воли её отца. – А прожили, слава Богу, тридцать лет, и сейчас еще, как молодые, не налюбимся никак!

Улыбнется Федор Кузьмич, и не знает, что же ответить жене, коли правда в самой хате, далеко ходить не нужно. А всё своё думает, как бы дочку выдать за красивого, стоющего её парня.

Знала Марфуша об этих разговорах и, может быть, поэтому оттягивала ту решительную минуту, когда она должна будет сказать отцу напротив.

В первый же колхозный день все соперники встретились с Марфушей на колхозном дворе. Степан стоял в стороне, не подозревая начальство ни в каких скверных помыслах по отношению к его возлюбленной, а Рудницкий и Курильченко разбивали «народ» на бригады. Тут произошло первое недоразумение, причина которого не была разгадана долгое время.

Курильченко записал Марфу Ганенко в полеводческую бригаду. Девушке было безразлично, но парторгу оказалось не всё равно.

– Товарищ Курильченко, Ганенко следовало бы оставить при колхозном помещении. Кто здесь убирать-то будет? Тут всё же и парторганизация...

Но Курильченко был твёрд в своем решении.

– Это, товарищ Рудницкий, и старичка приставим какого-нибудь. Чего молодой, здоровой девке тут делать, когда людей на поле нехватает?

Парторг понял свою ошибку и при колхозниках не стал вступать в спор с председателем колхоза, но соперники начинали понимать, что дело тут не в уборщице для правления колхоза, а в том, что каждый думал о том, где удобнее встречаться с «красной девкой». Рудницкий думал о встречах в правлении колхоза, а Курильченко – в зеленеющих колхозных полях.

На очередном партийном собрании Рудницкий показал председателю колхоза свою силу партийного руководителя.

– Действия партийных работников, – говорил он, – должны быть согласованы. Что у нас получается? Председатель колхоза распределяет рабочую силу без ведома секретаря парторганизации! Правильно зто? Нет, товарищи, в корне неправильно! Что получается от этого? Авторитет партии в глазах рядовых колхозников падает! К

чему это может привести? К ослаблению партийного руководства! А при слабом партийном руководстве скрытые кулаки и подкулачники, вот те самые сомнительные середняки, начнут уже не тихою сапою, а открыто действовать. Ведь не секрет, товарищи, что кое-где мы имеем случаи, когда через слабое руководство партийной организации притаившиеся кулаки подымают головы и выступают открыто против советской власти! Не секрет, что в этих случаях члены партии а в первую очередь председатели колхозов становятся жертвою таких выступлений. Всем вам известно, что убийства ответственных колхозных партийных работников происходят именно на этой почве. Я заостряю ваше внимание на этом, потому что товарищ Курильченко совершенно игнорирует руководство секретаря партийной организации. Может быть, для него не авторитетно и руководство политбюро ЦК нашей партии. Пусть доложит партийному собранию об этом.

Курильченко понял, что вопрос касался Марфы Ганенко, и доказал целеообразность своего назначения, но партсобрание всё же вынесло резолюцию:

«На первый раз предупредить председателя колхоза товарища Курильченко за его самостоятельное решение важнейших вопросов колхозной жизни».

Это означало, что на второй раз будет не только выговор, но он лишится руководящей роли в жизни колхоза и села. Резолюция была серьёзным предупреждением, и Курильченко чувствовал, что ему нужно сгладить свою «вину» перед секретарем парторганизации во что бы то ни стало.

С этого дня председатель колхоза был очень осторожен в своих действиях, боясь оступиться, но внутренне он был удовлетворен – Марфа Ганенко в полеводческой бригаде, и он будет иметь возможность видетъ её тогда, когда он захочет и там, где он захочет.

Рудницкий же, наоборот, был очень недоволен создавшимся положением и искал путей для изменения решения председателя колхоза.

Снег еще толстым слоем лежал на полях, и полеводческая бригада работала по устройству колхозного двора, служб, приведении в порядок соломы, сена и других кормов, свезенных с единоличных дворов. Марфуша ежедневно была перед глазами председателя колхоза и секретаря парторганизации.

Курильченко только пожирал глазами девушку, откладывая свои решительные действия на время полевых работ, а Рудницкий разрабатывал план генерального наступления, который должен был быть осуществлен именно сейчас, пока полеводческая бригада

работала на колхозном подворье. Он изобретал всевозможные работы для девушки если не в самом помещении колхозного правления, то вблизи, на колхозном дворе, и тогда лично руководил работой той группы, в которой находилась Марфуша.

Но странно получалось. Он, ответственный партийный работник на селе, самый отчаянный в своих действиях по раскулачиванию, державший в кулаке всю партийную организацию, сельсовет, а, следовательно, все село, терялся в присутствии простой сельской девушки!

Ночью, когда он освобождался, наконец, от всяких собраний, он ложился спать и думал о том, что он будет говорить Марфуше, как он подойдет к ней, как будет вести себя. Всё получалось хорошо, отлично, но на другой день, когда он подходил к ней, он не знал, что с собой делать, и его распоряжения вызывали только смех у Марфуши, которым она заражала всех её окружавших. Тогда он совсем становился беспомощным. Был бы это кто другой, он нашел бы методы воздействия сразу, а вот тут он ничего не мог сделать не только с ней, но и с собой, не мог ничего придумать такого, чтобы показать себя даже самым обыкновенным, самым простым маленьким начальником перед ней. Конечно, он мог бы на общем колхозном собрании применить к ней обычный метод запугивания, но, во-первых, он видел, что запугать её нельзя, потому что она ничего не боится, а, во-вторых, может, естественно, возникнуть вопрос о её социальном происхождении, которое он сам помог затушевать.

Однажды секретарь придумал для Марфуши работу.

– Грязь-то у нас какая! – сказал он Курильченко, когда тот собирался делать назначения на работы на следующий день. – Как в свинушнике! Нужно будет, пока не начались полевые работы, побелить помещение правления.

-Это ты правильно говоришь, товарищ Рудницкий. Кого б только назначить нам... Баб теперича много...

– А эту... как её... Ганенко, что ли...

– Какую, старую или девку?

– Конечно, девку! Старая и за месяц не управится!

– А в помощь никого не нужно?

– Какая тут помощь! Баба у себя всю хату выбелит без всякой помощи, товарищ Курильченко, а в колхозе уже и помощь требуется! Если мы так будем с тобой разбрасываться рабочей силой, то придется нам голодать... Не годится так, товарищ Курильченко!

Вечером председатель назначал колхозников на работы на следующий день. рассказав всем, кто и что должен делать, он оставил Марфушу в правлении и, когда все разошлись, взял её за руку, повел по комнатам колхозной хаты, в которой, кроме правления, было так же бюро секретаря парторганизации. Парторга в это время не было.

– Вишь, Марфуша, грязно у нас тут...

– Какие хозяева, такая и хата, – ответила девушка смело.

– Ты того... Не заговаривайся... Не из беднячек ты... А вот побелить требуется помещение.

– Чего же вы до сих пор не побелите?

– Тебя ждали, девка... Вот это тебе будет работа на завтра, – сказал Курильченко и обнял её за талию.

– Вы, товарищ Курильченко, жинку свою обнимите лучше, – произнесла Марфуша остраняя руки председателя от себя. – А побелить, что же вы хотите, что б я успела за один день сама все сделать?

– Мало тебе одного дня, красавица?

– На колхозной лошади отсюда и домой не доедешь, а вы хотите, чтобы я на колхозных харчах за день управилась?

– Марфа, ты не забывай, кто ты такая, язык свой подбери да скажи мне спасибо, что в колхоз попала, а не с кулаками!

– Товарищу Рудницкому спасибо, а не вам. Вы что? Дёрнут вожжу вправо – и вы вправо, дернут влево – и вы влево ворочаете!

– Марфа! Знаешь, я тебя сгноить в Сибири могу?! В моей власти ты поставлю на собрании вопрос, и Рудницкий подпишет! Народ в моих руках! – и педседатель, показывая руку, сжал её в кулак. – Тебе нужно угождать, чтобы родителей своих спасти, если не хочешь им смерти! А ты что, ничего не боишься?! Подумай лучше... Знаю, что остер язык у тебя, но коли хочешь жить, урежь его...

Марфуша сразу сообразила, что Курильченко прав, но не показала виду, что сдается.

– Вы, товарищ Курильченко, про дело мне говорите...

– Ну, вот и про дело теперь... Два дня хватит? – спросил он уже мирным тоном, снова обнимая её.

– Товарищ Курильченко, у вашей жинки не только язык острый, а и руки сильные от колхозных харчей, – вырываясь, отвечала на его объятия. – За два дня справлюсь, только чтобы мел да извёстка были готовы.

– Ну, вот и сладили...А за мою жинку не тебе беспокоиться, про себя лучше думай. Первое дело твое – угождать, поняла? – продолжал внушать председатель. На следующий день парторг говорил председателю:

– Ты за народом поглядывай, потому что увиливают, работать не хотят... Пока возле них – работают, отвернешься – стоят...

– Не разорваться мне,товарищ Руднницкий, и по двору и здесь...

– А что тебе здесь? Одна Ганенко работает, так и я тут всё время...Нечего тебе сюда и заглядывать.

Не так думал председатель, совсем не так. Обернулось плохо, даже не ожидал он такого. Думал секретаря заставить бегать по двору, ан, самому приходится, и отказаться нельзя, потому что смотреть за работой колхозников он обязан.

В это время Марфуша уже белила кабинет председателя. Подоткнув высоко свои юбки, она стояла на столе и мазала потолок.

Рудницкий, спровадив Курильченко, направился «проверять» работу. Открыв двери, он остановился: перед ним неожиданно показались обнаженные женские ноги – белые, точеные, сильные... Парторг впился глазами в женское молодое тело, мысли его перепутались, и он, как пьяный, медленно сделал шаг вперед. В это время Марфуша наконилась к ведру, чтобы обмакнуть щетку в меловой раствор, и широкие, плотные голые ноги совсем одурманили его. Задыхаясь, он подскочил к девушке, обхватил её и начал стягивать на пол. Марфуша поняла, что хочет от нее секретарь, и, зацепив ведро с раствором, вывернула его на непрошенного надсмотрщика.

Испуганный, парторг бросился из кабинета, оставляя белые меловые пятна по пути своего отступления. Запершись в своем бюро, он начал отчищать свой костюм от впитавшегося мела, но следы его, высыхая, виднелсь еще ярче. Тогда он одел пальто и побежал к себе на квартиру.

Переодевшись, он вернулся в правление колхоза и вызвал к себе в кабинет Марфушу.

– Ганенко, ты знаешь, что в колхоз ты попала случайно? Ты знаешь, что если бы не я, то быть бы тебе на далеком Севере? Ты знаешь, что твои родители давно бы были с другими такими же, как и они, где-иибудь в Сибири? Меня благодарить ты должна, потому что я пожалел тебя! Поняла? А ты вот какую благодарность мне делаешь?

– Какую? – удивлялась девушка.

– Мелом-то...

– Невзначай, товарищ Рудницкий, не хотела я...Зацепилась за

ведёрко...

– Смотри мне! Покорной должна быть ты, поняла?

Марфуша ушла. Её душили слёзы. Она уже знала прекрасно, что до сих пор только она своей красотой спасала родителей, но спасет ли их и дальше? Ею овладевал страх. Она хорошо знала, что от неё требовали Курильченко и Рудницкий, и знала, что теперь, после предупреждения, они будут еще смелее в своих действиях.

«Что делать? Как быть? Своей девичьей честью купить свободу отцу и матери? С кем посоветоваться? Да и кто может сказать, как быть? Пожаловатьея? Кому? В селе выше Рудницкого никого нет, а в городе? Все ж начальники партийные! Разве же они поверят? Да и я только по милости этих двух начальников осталась в колхозе, в селе. Ведь я же кулачка! Так говорил председатель, так говорил и парторг. Прямо сказали, потому что не боятся, потому что знают, что мне не поверят нигде и никто. Да еще и благодарить их нужно! Чем? Нашли! Кобели, проклятые!» – думала девушка в своем одиночестве.

Больно было сознавать тяжелую правду, но еще больней было то, что она не могла найти выхода. Сказать родителям – и совестно, и заставить страдать их вместе с собой? Сказать Степану? О да, он защиту найдет, он горячий, но может сделатъ только хуже для всех, всех погубить... Нет, никому она не может сказать, никого она не может заставить страдать...

С такими мрачными мыслями Марфуша стояла на столе, чутко прислушиваясь ко всяким звукам, долетавшим из-за закрытых дверей, и белила.

Маленький кабинет председателя к обеду был готов, и Марфуша после перерыва принялась за вторую комнату – канцелярию. Двери в бюро парторга были открыты, и Рудницкий, усевшись за свой письменный стол, наблюдал за ней. Долго он сидел, курил, сплевывая на пол. Перед ним на столе лежал лист бумаги, по которому он бесцельно водил пером. Марфуша отлично видела и понимала, что работы у парторга не было, что его «писание» – для отвода глаз. Водит ручкой по бумаге, а глаза таращит на неё. Наконец, он встал из-за стола и, вероятно, хотел идти в канцелярию, где работала девушка, но в это время скрипнула входная дверь и на пороге появился Курильченко.

Увидев, что парторга нет в бюро, он направился прямо к Марфуше. Рудиницкий остановился за дверями, чтобы выждать, когда председатель уйдет. Но Курилченко, обхватив марфушины ноги, сладенько заговорил:

– Ну, красавица, отдохнуть, может, хочешь?

– Одного уже мелом замарала, теперь вы хотите? – спросила она.

– А ты осторожней, Марфа, я всё же тебе начальник... Подожди... вот разговор к тебе имею.

Марфуше хотелось вырвать ноги из его объятий и ударить его в лицо; ей хотелось крикнуть, чтобы притаившийся парторг вышел из-за дверей, но она решила: «Нет, сведу их вместе, может, перегрызутся и оставят меня...»

– Я тебе приказываю! – крикнул председатель, и хотел за ноги стащить её со стола, но в это момент в дверях показался Рудницкий.

– Товарищ Курильченко зайди-ка ко мне на минутку.

– Курильченко сразу именился. Не сказав ни слова, он засеменил в бюро к парторгу. Рудницкий крепко прихлопнул двери.

«Хоть бы Бог помог мне» – думала Марфуша, понимая, что один из начальников ей не будет теперь страшен.

– Ты что ж, товарищ Курильченко, забыл лозунг партии – «дорогу женщине»? Ведь у нас теперь равноправие, и женщина уважается наравне с мужчиной, как гражданин СССР, а ты своё уважение в кармане держишь? А что это за отношение к рядовому колхознику: «Я тебе приказываю!» Есть у тебя дело? Говори. Не слушает? Нужно действовать на сознательную дисциплину. Есть у нас общие собрания, стенгазета, производственное совещание – вот средства, которыми нужно воздействовать на отсталый в культурном отношении элемент. А ты хочешь голым администрированием подменить воспитательскую работу партии!

– Да я, товарищ Рудницкий, вынужден был так поступить, я должен был только так поставить вопрос перед колхозницей Ганенко... Ты же сам, небось, слышал, как она отвечала мне...

– Знаешь, товарищ Курильченко, за голые ноги девку нет никакой нужды брать. У тебя, вероятно, своя баба имеется – это не объяснение... Ну, в общем и целом, я тебя предупреждаю... Вопроса этого на партсобрание я не выношу, потому что рядовые члены партии засмеют тебя, да и авторитет твой будет подорван, но повторится второй раз такая канитель – держись за партбилет, потому что партия с твоими заслугами перед революцией не посчитается тогда!

– Ты, товарищ Рудницкий, того... Слишком... Села не знаешь... У нас всё это запросто... Парни девчат обнимают...

– Культуру нужно вводить, культуру! Да уважать женщину, товарищ Курильченко, а голые ноги дома можешь обнимать, в частную жизнь партия не вмешивается, понял? Да не приказывать,

брать на заметочку, а потом и на собрание, в стенгазетку, протереть с песочком, лучше всех приказов получается, понял? Ну, иди, да и, вообще, я тебе сказал, что за работой здесь я наблюдаю. Уж мне ты должен же доверять? А?

Курильченко ушел. Марфуша видела, что влетело ему от секретаря сильно. Она и радовалась, и боялась, потому что Рудницкий сидел напротив и жадными глазами смотрел на неё, следил за каждым её движением. Но этот день закончился благополучно.

На следующее утро Марфуша должна была начинать работу у секретаря. Когда она пришла в уравление колхоза, Рудницкий уже поджидал её.

– Ну, товарищ Ганенко, я тебе помогу бюро освободить. Стол этот нужно вынести, потому что здесь секретные бумаги, – и он, обходя девушку, как бы невзначай провел рукой по её талии.

Марфуша насторожилась, но промолчала. Она вместе с ним вынесла стол с «секретными бумагами» и вернулась в бюро.

– Теперь вот этот диван давай вынесем... – и секретарь подошел к крестьянской лавке с деревянной резной спинкой.

Марфуша взялась за один край, но он остановил её:

– Нет, ты иди на эту сторону...

Девушка покорно выполняла приказы парторга. Когда она проходила мимо него, он схватил её и начал валить на диван. Марфуша стала сопротивляться, и, вырывая руку, с размаху ударила его по носу. Удар был так силен, что хлынула кровь. Отрезвленный парторг бросил девушку и побежал к воде, обмытъ лицо. Марфуша тем временем вытащила оставшуюся мебель и начала белить. Рудницкий до обеда не показывался.

После обеда он явился с распухшим носом.

– Что же ты, девушка, серьёзная какая... Я хотел пошутить, а ты в драку, – обиженно начал он. – А за драку у нас судят, знаешь об этом? Но я человек не злой...

– Я ж не хотела, товарищ Рудницкий, рука вырвалась... А что до шуток... Нехорошо так шутить... Девку испортить легко... да кому она нужна тогда будет?

– Это тебе не старый режим, Ганенко. Женщина теперь свободна, и мужчина, который полюбит такую девушку, не смотрит на её прошлое...

– Это у вас, может, так в городе, а у нас дёгтем ворота мажут до сих пор!

– Дикари, – усмехнулся секретарь. – Всё это предрассудки, Марфуша. А раз природа требует?

– А чего ж вы тогда ко мне лезете? Обнимайте свою природу, а меня не трогайте.

– Некультурная ты еще, образования у тебя никакого нет. Ты должна понимать, что ты ж и есть та самая природа, которая нужна мужчине.

– Не-е-е, – протянула Марфуша, продолжая белить, – в школе нас такому не учили.

Деревья, земля, камни, хлеб, трава, – вот это природа, а я – баба, бабой и помру! Нас так учили, и в книжках так было написано.

– Книжки у вас, вероятно, старорежимные были... И учителя тоже... А ты знай теперь, что человек тоже природа, так говорит наша советская наука, поняла?

– Ну, всё равно я не человек. Я баба, хоть пока девка...

Рудницкий снова подошел и обнял её.

– Вот ты напрасно ломаешься. Молодая ты. Мужика, небось, ищешь себе? А я вот тут, налицо... Вот и давай полюбовно всё сладим, и никто знать не будет...

– Смотрите, товарищ Рудницкий, чтоб нечаянно в ухо не попала, – выворачиваясь, предупредила девушка.

– Ну, смотри, Ганенко, плакать будешь, да только поздно тогда будет!

– Лучше плакать, чем позору набраться!

– Ну, подумай, я могу подождать немного.

– Нечего думать, товарищ Рудницкий. У вас, вероятно, своя жинка есть, про неё и подумайте, а я вам не гулящая какая...

– Я тебе еще раз напомню, что в колхозе-то ты осталась из-за меня...Вот и говорю потому, подумай... А мы еще встретимся!

Парторг ушел, заставив девушку снова задуматься над своей судьбой.

«Нет, – думала она, – умру лучше, повешусь, утоплюсь, но чести своей этим... не подарю!»

На время ухажеры притихли. Один боялся, а другой выжидал. Марфуша продолжала зарабатывать голодные трудодни и думать. Молодость рвалась к жизни, а приходилось думать о смерти, ибо не

было иного выхода. Она понимала, что парторг однажды спросит, а то и просто потребует, и что тогда?

Тяжелые думы вынашивала она в себе, но никому ни единого слова не говорила, потому что знала, что никто ей помочь не может. Если бы можно было уйти из колхоза в город?! Но привязаны все, не одна она...

До весны всё было спокойно. В апреле начались сельскохозяйственные работы. Уцелевшие тощие лошади и волы едва передвигали ногами. Приходилось шестерками запрягать в маленький плужок, чтобы вспахать землю. Засеивали руками, потому что боялись, что силы животных могут иссякнуть на сеялках, и бороны придется волочить руками; в хатах было пусто, уныло, голодно.

За зиму село так изменилось, что страшно было смотреть. Исчезли плетеные заборы, поредели сады, кое-где зияли огромние дыры в пустых полуразрушенных крестьянских службах, мертвы были кулацкие хаты, с которых давно уже поснимали солому на корм скотине «обществленного сектора», дворы зеленели травой без тропинок, собаки не лаяли, не мычали коровы и волы по дворам, не хрюкали свиньи, не блеяли овцы, и только редкие петухи, нащипавшись молодой травы, выдавливали из себя страдальческое «ку-ка-ре-ку!»

Не радостная была весна, а страшная. Там на поле бык пал, а там колхозник Богу душу отдал. Но за колхозника никто не отвечал, а за быка или лошадь хватали мужиков:

– Кулацкий саботаж! – и колхозник исчезал...

Курильченко с раннего утра бегал по полям, организовывал работы, брал на заметку, а вечером, собирая бригады на производетвенное совещание, вместе с парторгом «протирал с песочком», «воспитывал» голодных крестьян.

Наконец, горячие полевые работы закончились. Наступила передышка, короткий перерыв, так необходимый и людям и животным. Jlюдей с поля перегоняли на помощь в колхозный сад и огород. Никто не знал, где и что делать, так как председатель в этом новом большом хозяйстве запутался и не мог разобраться в очередности работ. С грехом пополам закончили все же и здесь, на огороде и в саду, а где не закончили, там травой поросло. Наступала прополочная кампания.

Давнишние мечты председателя о встрече с Марфой Ганенко всплывали с новой силой. Он думал о том, где удобнее встретиться с девушкой куда послать её на прополку, чтобы она была сама, чтобы его свидание с ней осталось тайной для любившего поговорить села.

Далеко от колхоза зеленел клин озимой пшеницы. Бурьян выбивался быстро, и слабых ростков почти не было видно. Место было глухое, вблизи на много верст не было человеческого жилья, только степь расстилалась да высилось небо голубое. Когда-то недалеко тут был Судариков хутор, но теперь от него почти не осталось и следа. В течении зимы все хуторяне были вывезены на север, а хаты и службы исчезали вслед за ушедшими хозяевами, и теперь только густая трава скрывала остатки человеческих жилищ. Вот, сюда и решил отправить Марфу Ганенко хитрый председатель колхоза. Там, он думал, ей уж не выкрутиться от него – хочет или не хочет, а придется ей полюбить его.

Накануне первого прополочного дня он, согласовав с Рудницким колхозный производственный план работ, смело зачитывал его колхозникам.

Когда Марфуша услышала, что она должна идти за семь верст полоть, она спросила у председателя:

– А как же это, все по бригадам, а я одна да в такую даль?

Знаешь, товарищ Ганенко, не тебе нам указывать. План выработан с парторгом и изменять его нам с тобой нельзя. Там работы не так уж и много, начнешь сама, а мы подмогу тебе подошлем...

Марфуша сообразила, что назначение это было сделано не спроста, хотела что-то скзать, но Курильченко перебил её:

– Что ты, отлынивать от работы хочешь? Который сознательный колхозник молча подчиняется производственному плану, потому знает, что закон, а ты на кулацкий саботаж желаешь переключиться? Знаешъ, чем это пахнет?

Напоминание о кулацком саботаже заставило девушку промолчать. Целую ночь она не спала, целую ночь она снова и снова думала над тем, как она должна поступить. Хорошо, если это дело только Курилъченко, а если секретаря?

«Боже! Ну, зачем я такая уродилась? Почему красивый парень может быть только счастливым, а такая вот как я, девушка, должна страдать? Прав был Степа...Нужно было выйти замуж... А разве это спасло бы? Гончаренко Лизавета и замужем, а с бригадиром живет, потому боится... Сама говорит: – «А что, молодухи, надо жизнь свою спасать, на кого ребятишек-то малых я оставлю? И муж знаает... Да

молчит...Они, видно, вся такие, эти партийные...»

Утром чуть-свет девушка уже полола редкую озимь. Осот и пирей скрывали нежные тонкие стебельки пшеницы. Заглушенные бурьяном, они казались жалкой недорослью с бледной зеленоватой окраской. Склонившись над густой травой, Марфуша вырывала бурьян и сносила его на межу. Первый раз ей стало страшно в поле одной, и она не замечала ни теплого солнышка, ни пенья далеких птиц, не радовал её чистый воздух степной, не миловала зелень полей, не манил её своей загадочностью край света-горизонт. Она дрожала в бескраей степи прислушиваясь к тоскливому молчанию природы. Она ловила едва слышимые звуки жаворонка, казавшиеся ей пеньем печали... Ушло раздолье широких полей. Даже здесь, где глазом окинешь – ни жилья, ни души, – она чувствовала себя стесненной, связанной, а лазурь высокого неба давила её, как тяхелый груз...

«Господи, спаси меня!» – шептала она, и глаза её блестели, увлаженные крупными слезами.

Вдруг кто-то сзади обхватил её руками, поволок на целину и бросив на землю, навалился на неё.

– Курильченко! Убью! Задушу! – кричала она, выворачиваясь из-под одичавшего председателя и отбиваясь от него колючим осотом.

Курильченко, схватив её за руки, прижал их к земле, своими губами искал её губы. Марфуша мотала головой, силилась вырвать свои руки и кричала:

– Укушу! ...Не лезь, нахальник! ...Не трогай меня! ...Задушу! – вырвав, наконец руку, старалась она схватить его за горло.

Председатель снова схватил её за руки, прижал снова к земле, опустил свою голову, прижал лицо девушки к своему и начал уговаривать:

– Чего ты, дура, бесишься?! Не хотела по добру, по здорову, теперь, видишь, вся в моих руках! Ну, чего ты? Ведь такое дело бабье, и нечего тебе хорохориться! Ты ж, видно, дура еще...Не понимаешь ничего...

Пока Курильченко спокойно уговаривал, Марфуша передыхала, но почуяв, что уговоры заканчиваются, собрала все свои силы, рванулась из-под него и освободившимися руками оттолкнула от себя. Вскочив на ноги, она отбежала на межу, схватила лежавший камень и остановилась.

Не подходи ко мне паскудник! ...Не подходи! ...Убью! ...Живой к тебе не дамся! Было тебе уже от Рудницкого, теперь будет похуже!

Курильченко встал, хотел снова подойти к ней, но её крик, а еще

больше, пожалуй, камень, который она держала в руке, остановили его.

– Не подходи! ...Не смей подходить ко мне! ...Грех на душу возьму... Убью! Всё равно с вами... жизни нет...

– Чего ты, девка, глупая ты, баловства не понимаешь... Не всерьёз же это... К тебе по-хорошему, а ты, как белены объелась... глупая ты – полусмущенно, полуобиженно лепетал Курильченко.

– Иди баловать с другими, а меня не трогай! ...Много вас таких... кобелей! Культуру свою показываете... партийную...

– Ты, Марфа, партию не трожь! Партия тебе, можно сказать, жизнь сберегла, потому быть тебе должно в Сибири! Ты этого, красаница, не забывай... да подумай над своей судьбой... Сибирь от тебя далеко не ушла еще! Вот и выбирай – я или на север, к кулакам своим поедешь... Я тебе могу жизнь сохранить, и утеха будет тебе...

– Пойди к Руддицкому... его спроси сначала... Может, он тебе и не позволит.

– Ты мне про Рудницкого не говори...

– Сам Рудницкий сказал мне, чтоб напомнила, ежели будешь ко мне приставать, – солгала Марфуша.

Для председателя это было неожиданно.

– Ну, ну, ты уж не балуй!

– Пойди сам у неге спроси. А нет, так я сегодня сама скажу ему, чтоб напомнил тебе...

– Работай лучше, чего стоишь? Трудодни задаром не платят тебе...

– А ты уходи лучше отсюдова... пёс паршивый...

– Ты, ты, полегче...

– Иди, говорю тебе, Рудницкий скажет полегче...

– Ты, Марфа, смотри, не ходи к Рудницкому... Шутка же это...

– Тебя спрашивать буду... Иди уже... председатель! – со злой иронией сказала Марфуша и пошла на своё поле.

Курильченко постял, потоптался на месте и с грязным от бурьяна лицом отправился на участки.

Вечером Рудницкий спросил у него:

– А где Ганенко молодая работает?

Курильченко испугался.

– На седьмом участке, возле Сударикова хутора...

Назначь её на завтра побелить у меня на квартире.

Дело было загадочное. Председатель ничего не сказал, ничего не спросил, но назначение сделал.

Марфушу это назначение привело в смущение.. людей для прополки нехватало, а тут белить парторгу квартиру!

«Видно, и Рудницкий ждет ответа», – подумала она. – Но с ним, конечно, страшнее. На него уж жаловаться некому. А вырваться из его рук так просто не вырвешься. Мужик он здоровый, сытый, силы у него – через край. Но приказ председателя не выполнить нельзя, не подчинишься – погубишь не только себя, но и отца и мать.

Утром Марфуша застала парторга дома.

– Ну, девушка, что скажешь ты мне сегодня?

– Белить председатель прислали...

– Это не к спеху. Ты насчет того, что я тебе прошлый раз говорил, подумала?

– Чего мне думать...Работать нужно... Нам за работой некогда думать...

– Работа не волк, в лес не убежит. Ты мне о деле говори.

– О каком деле нам говорить? – спросила Марфуша, будто не догадываясь, о чем хочет говорить с ней парторг, – Наше дело работать...

– Ты, красавица, работой мне зубы не заговаривай, сама понимаешь, зачем пришла сюда!

– Белить послали, вот и пришла...

– Белить, белить, ты скажи мне лучше, что ты решила? Полюбовно сладим всё или на Сибирь к своим родичам хочешь?

– Чего вы ко мне пристаете, товарищ Рудницкий? Мало вам баб в колхозе? Может, какая и полюбовно согласится...

– Мне другие не нужны...

– А меня не трожьте...

– Нет, голубка, так ты отсюда не уйдешь! – воскликнул побагровевший парторг, схватил девушку и повалил на кровать.

Марфуша, выбиваясь из сил, сопротивлялась. Она царапала Рудницкому лицо, кусала, отбивалась руками и ногами, пока, изнемозженная, не потеряла сознания...

Когда она очнулась, увидела над собой налитые кровью глаза

парторга, окровавленную его физиономию, ощутила его отвратительное дыхание. Невероятная усталость и безразличие охватили её...

– Вишь, красавица, и всё сладили... Тепепрь тебе и бояться нечего... А я тебя не забуду... и жить тебе в колхозе теперь хорошо будет, – слащавым голоском напевал Рудницкий.

Марфуша начинала дрожать. Парторг был противен ей, она хотела бы оттолкнуть его от еебя, чтобы не видеть его жирной, довольной физиономии, но чувовала, что сил у неё не было.

Рудницкий, собираясь уходить, продолжал говорить:

– Вот и будешь жить теперь, как честная колхозница... Давно бы так... А то, подумаешь, ломается! Женское дело такое, Марфуша. Сама природа так устроила. А с работой ты не спеши. Это не к спеху... Можно завтра и послезавтра... Я тебя в правление уборщицей назначу, будешь жить, во-как! Я тебя не обижу, потому что с трудодней ваших колхозных тела не нагуляешь! Вот как... А ты полежи... отдохни... Хочешь-можешь и не начинать сегодня... А я вот должен идти... Потому работа у меня. – и парторг вышел из хаты.

Марфуша лежала с закрытыми глазами неподвижно. Она ничего не слыхала. Она постепенно начинала сознавать, что произошло, наконец, то страшное, чего она так боялась, от чего так долго бежала. Но сила взяла верх. У неё отняли самое драгоценное в её жизни – её девичью честь. Её опозорили, унизили, смешали с грязью. Она не могла больше сдержать скопившуюся душевную боль и разразилась громкими рыданиями. Она сжалась в комочек и, трясясь всем телом, выкрикивала слова проклятья, пока в безсилии молча не устремилась в одну точку бессмысленными глазами, на которых блестели набегавшие все время слёзы...

Спокойствие, медленно преодолевающее глубокие, тяжелые страдания, вернулось к ней, и она задумалась.

Что же дальше? Она уже опозорена. Как избавить себя от этих псов? Сказать ли матери? Или Степану? Что могут сделать они? Чем могут помочь теперь? Поздно...

Она начала работу, а упрямые мысли искали выхода из того положения, в котором она очутилась.

Неожиданная комиссия из области нарушила обычную жизнь колхоза и разрушила все планы обоих претендентов на любовь Марфуши.

Обследовав колхоз, комиссия разнесла руководство его в пух и

прах за бесхозяйственность и плохую организацию работы на полях, за невыполнение плана посева и за плохое состояние скота.

На общем собрании представители облисполкома и обкома партии не постеснялись в своих выражениях по адресу колхозных начальников и так очернили Курильченко и Рудницкого, что колхозники осмелели и начали говорить о злоупотреблениях власть имущих. Кто-то сказал и о неправильном использовании рабочей силы, указав на побелку квартиры парторга в то время, когда нехватало рабочих рук для прополки полей.

Комиссия утихомирила колхозников, но на закрытом партийном собрании обоим главарям сильно досталось.

Марфуша ушла в себя. Не слышно было нигде её певучего голоса, звонкого смеха, не пела она теперь своих любимых грустных песен, нигде и ни с кем она не обмолвилась ни единым словом. Придёт в колхоз на работу, молча отбудет своё время и уйдёт. Даже движения её стали медленными и какими-то нерешительными. Начнет что-то делать, вдруг остановится, устремит глаза свои в одну точку и стоит, пока кто-нибудь не окликнет:

– А на трудодни-то получать, девка, будешь? Чего стоишь, когда народ потом обливается?

Вздрогнет Марфуша и снова примется за работу.

Придет домой, усядется где-нибудь в уголочке и молча, без движений, смотрит в одну точку.

– Что-то с Марфушей неладное, – как-то заметил Федор Кузьмич.

– Да и я заприметила... Не знаю, с чего бы это могло быть, – ответила Марья Тимофеевна.

– Снасильничал кто, может?

– Не приведи Бог, Федор, девка скромная, дома сидит и на улицу не выходит...

– А кто теперь знает? Колхоз ныне, Марья... Ты б с ней поговорила... Матери это способней...

Марья Тимофеевна хотя и знала о любви дочери к Степану, но никогда не думала, чтобы он мог сделать что-либо недоброе, однако, разговор с дочерью начала именно с него.

Когда Федора Кузьмича не было дома, она спросила у неё:

– Что это ты, Марфуша, заскучала?

– Ничего, мама, – тихо промолвила девушка.

– Что ж, Степан, жениться не собирается?

– Не знаю, мама...

– Дело к осени... Пора б сватов засылать, если он сурьёзный парень...

– Не знаю, мама...

– Как же ты не знаешь? Чай, разговор был-то у вас? Не всё ж девкой любиться... Года уж у тебя такие, что пора подумать и о замужестве... Встречаешься ж ты с ним, видишь его...

– Не вижу, мама...

– Что же это у вас, любовь кончилась?

– Не знаю, мама...

– Как же не знаешь? А кому ж тогда знать?

– Не знаю, мама...

– Ты, Марфуша, сказывай... Случилось, может, что с тобой? Изнасильничал кто?. Обидел? Так мы управу найдем... Суд есть на то...

Замолчит Марфуша, с места не сдвинется, всё так же смотрит в одну точку, будто и матери не слышит.

Поохала Марья Тимофеевна, повздыхала и при оказии рассказала мужу.

– Снасильничали девку! – решил Федор Кузьмич.

Не утерпела Марья Тимофеевна, сказала мужу о старой марфушиной любви.

– Степан, говоришь, – переспросил он, – Это еще полбеды. На него управу найдем.

– К слову я сказала, Федя. Только не думаю, чтобы он мог девку испортить. Не такой он.

Но Федор Кузьмич в тот же день встретил Степана и заговорил с ним:

– Что, Степан, с Марфушей думаешь делать?

Степан не растерялся:

– За Марфушей слово, Федрор Кузьмич, потому я готов хоть сейчас.

– Ты скажи мне прямо, девку ты обидел?

Степан поднял свои серые гдаза на Федора Кувьмича и, смотря прямо ему в лицо, ответил:

– Вот, как перед Богом говорю, Федор Кузьмич, пальцем её не тронул, – и он перекрестился, – Чтоб я посмел девушку такую... Господи, что вы говорите! Да я б её... на руках носил. Такая она... Не–е-е, Федор Кузьмич...

Степан говорил так искренно, что у Федора Кузьмича и тени сомнений не осталось.

– Вишь, – говорил он ему, – что-то с девкой случилось... непонятное...

– Знаю я... Только стала она избегать и меня... А завижу, спрошу её... Молчит... Слова не скажет...

– Нет, Марья, – сообщил Федор Кузьмич жене, – говорил я со Степаном. Божится, клянется, что чистый он. И так говорит, что не поверить нельзя ему. Женился бы он хоть сейчас... да Марфуша заскучала... и с ним не говорит... Как дома... Слова от неё не добьётся... Бежит от него...

И стал Федор Кузьмич припоминать всю колхозную жизнь, все колхозные сплетни, стал прислушиваться к разговорам, намекам, недомолвкам односельчан, и пришел к выводу, что это дело рук председателя или секретаря парторганизации.

Таким же путем и Степан дошел до мысли, что Марфу обидел Рудницкий или Курильченко. Загорелось в нем всё внутри, но что сделать можно? Нет путей отомщения, слаб он, чтобы бороться с такими людьми, только беду можно накликать еще большую. А знает он хорошо, что Ганенко едва-едва в колхозе терпят, и неосторожный шаг может решить участь всей семьи. Одно оставалось только – жениться на Марфуше, затаив вместе с ней горькую обиду, и он однажды попросил Марью Тимофеевну выслать к нему девушку.

Обрадовалась мать и, не медля, принялась уговаривать её:

– Ты б, Марфуша, хотя бы к Степану вышла... Скучает он...

– Не знаю... тихо и безразлично ответила девушка.

– Чего тут знать? Ждет парень, а ты не выходишь... Просит уже меня, а ты своё «Не знаю!» Пойди, милая, узнаешь... Может свадьбу сыграем...

– Не знаю, мама... – и в тоне её слишалась такая глубокая печаль, что у Марьи Тимофеевны показались на глазах слёзы, которые она незаметно вытерла, чтобы дочь не увидела.

– Ну, пойди, доченька, ну, пойди, милая, что же ты себя мучаешь и парня страдать заставляешь...

– Ну, пойду, мама... – монотонно ответила Марфуша и тихо

вышла из хаты.

Перекрестилась мать, подошла к окошечку и стала следить за белеющим силуэтом дочери, медленно удаляющемся в вечерней мгле. И радовалась, что пошла Марфуша к Степану, и молилась Богу про себя: «Господи, спаси бесталанную, наставь её на путь истинный...»

– Ну, здравствуй, Марфуша, – встретил её Степан восторженно и в то же время настороженно.

– Здравствуй, Степан... – таким же глухим и монотонным голосом ответила она, как отвечала матери.

– Что же ты, и не улыбнешься... Не виделись сколько... Разлюбила, ты может, меня?

Марфуша молчала.

– Что с тобой, скажи мне, не кручинься... И мне ж больно... Обидел кто тебя?. Расскажи мне... Не мучь меня...

Марфуша молчала.

– Марфушенька, не печалься, не тужи... И я же с тобой страдаю... И мне ж не легче на сердце... Скажи мне всё горе твое... Чтоб ни было, я никогда не откажусь от тебя... Все равно ты моя красавичка, всё равно я тебя также люблю... Нет у меня жизни без тебя... Голубка моя, не тоскуй... Не молчи... Скажи мне хоть слово...

Марфуша молчала...

– Знаю, что тяжело тебе... Ну, не рассказывай... забудь всё... И я выпытывать не буду... забудешь?

Степан обнимал нежно девушку, тихо целовал её, но она, как изваяние, сидела неподвижно и смотрела в темноту надвинувшейся ночи.

– И не поцелуешь меня... забыла совсем... Разлюбила...

– Нет, Стёпа... – тихо произнесла девушка.

– Ну, что же случилось? Почему ты такая. стала?

Марфуша молчала...

– Марфушенька, родненькая моя, давай поженимся, забудем все... Время такое нынче... как раз сватов засылать...

Марфуша молчала...

– А осенью свадьбу сыграем? Заживем счастливо... Я тебя никому в обиду не дам... Ты ж моё солнышко, радость моя. Всю жизнь я тебе отдам!

До рассвета Степан говорил, просил, умолял, но упорное

молчание Марфуши изредка нарушалось тихим и однотонным:

– «Не знаю...»

Не спали и Федор Кузьмич с Марьей Тимофеевной, и когда девушка пришла домой, они напряженно следили за всеми её движениями, но они были также медленны и неуверенны. Марфуша осторожно пробралась к своей кровати и, не раздеваясь, легла.

– Нет, – шепнул Федор Кузьмич, – и Степан не поможет...

Утром он встретил Степана.

– Ну, что Стёпа?

– Молчит, Федор Кузьмич...

– Молчит... – глухо повторил Федор Кузьмич. – Что ж, попробуй, Стёпа, разговорить её... На тебя только и надёжда осталась...

– Да я, Федор Кузьмич, готов душу ей отдать... Молчит... Хоть бы слово сказала... Обидели её, это верно вы говорите... Догадку имею... Председатель или парторг... да не выпытаю у неё ничего... Не говорит... Знать бы кто в точности...

– А то б что?

Степан в эту минуту почувствовал, что он может решиться на всё, в нем загорелось чувство мести за любимую девушку, которое не может уже остановить его ни перед чем, и он решительно сказал:

– Жизнь отдам, Федор Кузьмич... Не попущу так им...

– Не займай их, Стёпа...

– А как же, молчать? Мало, что с народом поделали да еще насмехаются над девчатами нашими?!. Вон и Катька Юркова... С животом уже ходит... А кто виноват? Она и сама боится сказать, потому знает, Федор Кузьмич, что молчать нужно.. И бабам не лучше... да что я вам об этом говорю! Будто вы и сами не знаете... Вытворяют со всеми... А поди, скажи что... Кулаком станешь сразу и в Сибирь!

Несколько раз на протяжении лета Марфуша, повинуясь матери, выходила вечером на огороды, встречалась со Степаном, но всё также молчала или повторяла своё: – «Не знаю...»

Федор Кузьмич и Марья Тимофеевна страдали не меньше Степана. Все искали путей спасения для девушки, все хотели разбить стену молчания, которой Марфуша отгородилась от всего внешнего мира, за которой скрывала своё горе, свою страшную тайну, но все усилия были напрасны.

По селу поползли зловещие слова:

– Нагуляла!

– На-сносях!

– Припухла девка!

– Толстеет на колхозных харчах!

А селу дай только зацепиться! Начнут жевать и пережевывать – кто да как, где да когда, но и тут были только догадки, и вели они тоже к Рудницкому и Курильченко.

Два человека только знали о начинавшесе новой жизни – Марфуша и Рудницкий, но никогда они не говорили об этом. Рудницкий, вообще, после обследования колхоза областной комиссией долгое время избегал встречаться с девушкой, а Марфуша всегда старалась уйти от встречи с парторгом.

В разгар полевых работ председатель зарядил бригаду на огороды:

– Помидоры выбрать и в город немедленно отправить! – строго приказал он бригадиру. – Да почище выбирайте и поворачивайтесь там быстрей, потому срочное это дело... Приказ из горпарткома... Немедленно, понял?

Все женщины отправились на огороды. Марфуша неспеша срывала спелые помдоры и складывала в большую болгарскую корзину. В стороне от неё работали напарницы, украдкой ели помидоры, громко говорили и еще громче смеялись. Марфуша не слышала, о чем говорили подруги. Взгляд её сосредоточился на какой-то движущейся точке, от которой она не в состоянии была отвести свои глаза. Что происходило в её душе? Что думала она в эту минуту? Что хотела решить девушка? Её взгляд в пространство ничего не говорил, но видно было, что что-то тяжелое она вынашивала в себе.

Пришел Курильченко. Он продолжал следить и преследовать Марфушу, и сейчас направился прямо к ней.

– Ты что ж, Ганенко, работать сюда пришла или гулять? Посмотри, сколько помидров оставила на кустах? Кто за тобой убирать будет? Батраков тебе здесь нет! Это тебе не кулацкое хозяйство! Животом нагибаться уже трудно?

Марфуша выпрямилась и почувствовала в этот момент, как что-то в животе перевернулось, зашевелилось... Она повернулась и бросилась бежать к высокому выступу, под которым чернел глубокий омут...

Колхозницы застыли. Кто-то визгливо крикнул:

– Бабоньки! Топиться побегла! – и пока сообразили, Марфуша, добежав до края, исчезла...

Все бросились к берегу. Широкие круги расходились по воде, и можно было только догадаться, в какое место прыгнула девушка.

Вместо того, чтобы самому броситься в воду и начать поиски, Курильченко направился в правление колхоза, чтобы доложить парторгу.

Рудницкий спокойно выслушал и решил:

– Живой всё равно не вытащишь, ну, а народ отрывать от работы не годится. Время сейчас дорогое. Упускать нельзя ни минуты...

– Да хоть стариков нарядить нужно, товарищ Рудницкий, следетвие может быть, спросить могут...

– Следствие? – усмыхнулся парторг: – Знаешь, товарщ Курильчеико, ей всё равно погибать нужно было в Сибири... Ты вот лучше теперь дай дело на старого Ганенко, вот и следствие тебе будет, понял?

Как председатель ни был жесток, как он ни был бездушен, но сейчас в нём заговорило что-то, и он, повернушись, к выходу, крикнул парторгу:

– Наглумился, похабник, над девкой, а теперь и концов из воды не хочешь вытягивать? Я сам мужиков сгоню!

Но сгонять мужиков ему не пришлось, так как женщины с огородов разнесли тяжелую весть по полям, и колхозники сбегались уже со всех сторон. У многих были уже колья и багры, при помощи которых вытягивали утопленников.

Марфуша исчезла. Марья Тимофеевна припала к земле и так лежала неподвижно. Федор Кузьмич и Степан стояли рядом и смотрели в тихую гладь черного омута. Стояли молча, без слёз, пока разошлись все.

– Вот, Степан, была у меня дочка... – наконец, выдавил из себя старик.

– Федор Кувьмич, не дам я им жить! – вскрикнул Степан в каком-то исступлении и убежал.

Пока колхознихи искали утопленницу, Рудницкий сам состряпал дело на старого Ганенко и сразу же отправился в город.

В сумерки он вернулся. Сдав лошадь на колхозную конюшню, он вышел за колхозиый двор, остановился на крою бездонного яра, в

который колхозники сваливали навоз, закурил и задумался. В нескольких шагах от него земля обрывалась...

Высоко в небе уже мерцали звезды. В тишине раздавались таинственные звуки насекомых, изредка доносился лошадиный храп из конюшни, где-то сова прогугукает, летучая мышь тенью неясной промчится над головой... Ночь... А село, как вымерло. Ни песен молодых, задорных, дружных, голосистых, ни журчащего говора парней и девушек, ни раздольного, как степь, раскатистого смеха, ни нежного пиликанья мастерской гармоники, ни мягкого топота ловких и сильных ног, подымавших легкую придорожную пыль в затейливом деревенском танце... Тишина. Даже лая псов не слышно, этих редких теперь гостей в крестьянских дворах... Мрак окутал какой-то странной, тяжелой, гнетущей пеленой, и в этом мраке жизнь уже не кипела у людей, а едва теплилась, готовая погаснуть каждую минуту...

Рудницкий стоял и курил папироску за папироской. Впереди всё также чернела пропасть. Когда-то, в годы революции, когда бушевавала гражданская война, по постановленяю сельского Ревкома сюда сталкивали пойманных неневистных буржуев и офицеров, пробиравшихся через село на Дон. Об этом рассказывал Курильченко, непосредственный исполнитель приказов Ревкома. Сколько человеческих жизней поглотило то мрачное чудовище? Сколько костей человеческих истлело на его глубоком дне?

«Нет, нужно засыпать» – подумал Рудницкий, хотя знал,что в колхозе не станет столько навоза, чтобы и годами можно было сравнять дно с землей. Он сделал еще шаг к обрыву, бросил окурок...

«Ага! Вот где ты... Убийца!» – шептал Степан, осторожно подкрадываясь к парторгу и в тот момент, когда Рудницкий хотел повернуться, чтобы идти домой, он подскочил к нему и столкнул его в пропасть...

Ночью агенты ГПУ увезли старого Ганенко.

Утром следующего дня село было в смятении. Исчез Федор Кузьмич Ганенко, но исчез и парторг Рудницкий. Председатель колхоза Курильченко, разогнав всех по работам, оставил только партийцев для закрытого партийного собрания. Нарядив гонца, он отправил его в город, с донесением об исчезновении парторга. После собрания разослал всех членов партии по участкам со строгим приказом следить за каждым колхозником, а сам засел в правлении колхоза. Скрипнула дверь. Курильченко медленно поднял голову. На пороге стоял Степан.

– Чего ты?

– Знаю, где Рудницкий.

– Где?

– Пойдемте, покажу...

Председатель колхоза встал и пошел за Степаном. Подходя к обрыву, Степан говорил:

– Вон, с этого места видно хорошо...

Курильченко подошел к пропасти, но едва наклонился, чтобы заглянуть в неясную глубину её, как полетел вниз, не успев издать ни одного звука...

К колхозному двору подъехала легковая автомашина. Два агента ГПУ вышли из неё и направились в правление. В кабинете Рудницкого сидел Степан.

– Где председатель? – спросил один из вошедших.

– Там, где и парторг, – спокойно ответил Степан.

Агенты знавшие об исчезновении Рудницкого, сразу поняли, кто сидел перед ними.

– А Рудницкий где?

Степан повел их к обрыву и там рассказал страшную историю своей любви. Через час он уезжал из родного села в легковой машине с агентами ГПУ.

Рассвет только занимался. По пыльной дороге из села выходила сгорбленная старая жеищина с котомкой за плечами. Голова её была опущена, а на глазах блестели слёзы...

Отойдя от села, женщина остановилась, повернулась лицом к реке, перекрестилась, глубоко вздохнула и, повернувшись, заспешила по дороге. Больше в селе у неё ничего не оставалось...



СТЕПЬ ЗОВЕТ

Шестнадцатый день своего путешествия в запертом вагоне Марк Лещенко провёл особенно неспокойно. Ему всё казалось, что охранники снова начнут на остановках осматривать вагоны – прочно ли заперты двери, хорошо ли закручены люки, не прорезывают ли заключённые дыр в полу или в стенах вагонов, целы ли крыши. Но поезд в этот день, к его счастью, шел почти без остановок. Даже положенной еды не давали. А по всем тем скудным признакам, какие проникали в тёмный вагон, можно было предполагать, что дело уже шло к вечеру.

Да и как не волноваться, если люк, закрученный крепко-накрепко толстой проволокой, сегодня, наконец, должен быть открыт. Ведь прошлой ночью Макар чувствовал, что еще одно усилие, и он может очутиться вне ненавистных стен вагона, обитатели которого не только голодали и коченели от мороза, но и умирали от истощения.

Думая о своих товарищах по несчастью, Лещенко удивлялся, почему все так покорно смирились со своей судьбой. Почему ни один из них не согласился рискнут на побег? Ведь если бы их было несколько человек, то давно уже можно было бы избавиться от тех страданий, которые приходится переносить. Что это было? Страх перед смертью? Но надо же попробовать освободиться от неминуемой смерти в концлагере, поставить на карту свою жизнь сейчас. Ответа он не нашел, но был благодарен своим собратьям за то, что они пообещали молчать о задуманном им побеге.

– Ты, Марк, можешь делать, что тебе хочется, но только делай так, чтобы мы ничего не знали, – сказал бородатый дядя Савелий, крепкий мужик из того же села, что и он.

И Марк, действительно, делал всё так, что никто не знал. Ночью, когда все крепко спали, сбившись в кучу, чтобы было теплее, он подымался осторожно к люку и проводил возле него добрую половину ночи, стараясь раскрутить проволоку, обжигавшую морозом его пальцы.

Скудные светлые полоски в дверях и люках вагона начинали меркнуть. Наступал вечер. Поезд шел ровно, иногда замедляя ход. Под вагоном прыгали колёса, изредка слышался лязг сцеплений или стук буферов. Голодные люди собирались спать.

– Сегодня не емши... – раздалось в темноте.

Марк знал, что это говорит Василий Иванович, когда-то человек полный, а теперь – кожа да кости.

– Вишь, помещик какой нашелся!

– Обед ему с двух порций подай!

– А ты что же думал, дядя Василий, землица-то твоя пустует? Откуда тебе харчишек-то достать?

– Ему от самого «батька» принесут!

– Вон-то-о-о! – протянул Василий Иванович, – Загалдели! Не я, братцы, есть хочу, пузо хочет.

– А ты его подтяни потуже, – посоветовал кто-то.

– Нечем, голубе, «соратники» и поясок забрали...

– Небось, по карточкам давать будут?

– А, может, у Сталина оборвался, так крепкий нужон, мужицкий?

– Чего вы! – прикрикнул Адейников, мужик из соседнего села. – Спать пора добрым людям, а они, на тебе, задзыгали, как молодухи!

– Это верно, заснешь и голод забудешь, – заключил Василий Иванович.

Из пятидесяти человек, набитых битком в вагон при посадке, оставалось только тридцать два. Остальных по дороге охранники вытащили «на свалку». Людей оставалось мало, и все старались собраться в передней части вагона, потому что там не так дуло от дверей. Лещенко же, наоборот, мостился особняком около своего места. Он знал, что через час-полтора можно будет начинать работу, поэтому терпеливо лег на холодный пол.

Некоторое время он слышал разговор, пробивавшийся через железный лязг, но вскоре люди заснули, и с их стороны доносилось только храпенье.

Марк прислушивался к ходу поезда и убедившись, что остановки скоро не будет, тихо поднялся к люку. Он открыл все задвижки, нажал на металлическую поверхность и в образовавшуюся щель просунул руку. Мороз жег пальцы, но он так был поглощен работой, что, казалось, не чувствовал его и продолжал раскручивать проволоку. По его расчётам часа через два или три он должен кончить, а тогда... О, если бы только люк не скрипнул, если бы он с шумом не открылся, не стукнулся бы о стенку вагона!

В своих расчетах Лещенко почти не ошибся. За полночь он

почувствовал, как люк начал подаваться и, если бы не рука продетая в дыру между ним и вагоном, он мог бы упасть с шумом. Марк начал медленно опускать железный ставен, который ложился на скрученную проволоку мягко, но, качаясь на ней, тихо поскрипывал. Он убрал руку и стал прислушиваться. Поезд шел под гору медленно. Где-то далеко пыхтел паровоз, мерно стучали вагоны. Светлая дыра сияла в темноте и заставляла его дрожать. Да, сейчас свобода или смерть!

– Нет, свобода! – прошептал Марк, перекрестился трижды медленно, делая широкий крест, и повернув голову к спящим, тихо произнес:

– Прощайте, братья! Господи, услышь молитву мою...

Он поднялся на руках к окну. Крупный снег падал, застилая даль. Просунув голову, он стал рукой нащупывать крышу. Зацепившись за борт, он приподнялся еще и еще... Вот он лежит уже животом на окне, стараясь крепче схватиться за край крыши. Когда он убедился, что рука его не выпустит железного изгиба над люком, он начал переворачиваться на спину, хватаясь за скользкий гребень.Еще несколько усилий, и он, наконец, медленно вполз на заснеженную поверхностъ вагона.

Снег лепит глаза. Вокруг – движущаяся светлая пелена. Вперед смотреть нельзя, ветер забивает мягкими хлопьями всё лицо. Лещенко замечает, что поезд заворачивает влево и решает прыгать вправо. Он осторожно подымается, чтобы добраться до противоположного края крыши.

В тормозной будке, выдающейся над крышей вагона, сидит охранник в теплом кожухе, в капелюхе и валенках. Он старается не спать, потому что место, которое они проезжают, славится среди охраны, как самое опасное – тут часто происходят побеги. А прозеваешь, тогда уж не помилуют! – «И за кого? Пострадать из-за какого-то кулака? Нет, спать нельзя!» – И он часто посматривает через стеклянное окошечко будки или открывает двери, чтобы через снежную пелену всмотреться в крыши вагонов, или спустится по подножкам, чтобы посмотреть вдоль поезда.

Вдруг он услышал неясный звук, исходивший от крыши вагона. Он посмотрел в оконце, но ничего не смог различить. Звук повторился. Он открыл дверцу и увидел на крыше своего вагона человека. Охранник схватил винтовку, но сейчас же решил: «Живьем возьму!» – И неслышно стал пробираться к беглецу.

Лещенко был спокоен. Он не видел будки, которая находилась впереди вагона. Густой снег скрывал её. Когда он готовился уже сделать прыжок, он почувствовал, как кто-то схватил его за ворот кожушка и начал валить на крышу.

Марк стал сопротивляться, но сытый и здоровый охранник сразу же навалился на него всем своим телом, злобно шепча: – «Э-э-е ! Га-ад! Морда кулацкая! Бежать вздумал! Я тебе... Живьём... живьем! Гад! Ты мне удерешъ!» – И он старался вместе с беглецом доползти до будки.

Лещенко, испугавшийся от неожиданности, дал охраннику почувствовать, что у него нет сил сопротивляться, но через несколько минут внезапно вырвал свою руку из его лапищи в громадной теплой рукавице и, схватив за горло, сжал пальцы что было мочи, не дав ему опомниться. Охранник захрипел, и через некоторое время Марк выбирался из-под тяжелой туши своего врага.

Поезд снова шел медленно, всё также поворачивая влево. Лещенко сдвинул труп охранника к левому краю крыши, столкнул его, а сам подбежал к правой стороне вагона и прыгнул.

Ему казалось, что он летит вниз очень долго. Он успел услышать выстрелы и звук паровозного свистка, а затем нырнул в мягкую снежную массу.

Долго сидел он под толстым белым покровом, не чувствуя холода от забившегося под одежду снега. От его дыхания уже начала образовываться пустота, как берлога медведя. Сдесь было темно, сюда не проникал, вероятно, и дневной свет. Становилось даже тепло. Вдуг он услышал слабый свист паровоза донесшийся откуда-то издалека.

«Искали», – подумал Марк, – «Бог помог!» – И, вспомнив задушенного охранника, тихо прошептал: – «Господи, прости меня грешного...»

Посидев еще немного в своем убежище, он начал медленно взбираться вверх. Это было нелёгкое дело. Нужно было всем своим туловищем пробиваться через толщу снега. Но чем выше он подымался, тем легче было раздвигать холодную массу. По временам он останавливался, прислушивался к тишине, отдыхал, пока, наконец, не выбрался на светлую волнистую равнину. Его встретил рассвет и необычайная тишина дикой природы. Нужно было поскорее уйти от железной дороги подальше. На его счастье, снег шел реже, и в неясном еще освещении начинающегося дня он смог различить высокую железнодорожную насыпь, лежавиую перед ним, как непроходимая преграда. Становилось светлей и светлей. Нужно было спешить.

Марк повернулся спиной к железной дороге и двинулся в черневший лес. Идти было тяжело. Ноги грузли в глубоком снегу, то и дело попадались рытвины, неглубокие впадины, но он напрягал все силы, чтобы поскорее уйти от опасного места.

Светлая полоска на востоке уже объяла всё небо, когда он

вошел в первые деревья огромного леса. Лешенко оглянулся и увидел смутно вырисовывающиеся на горизонте кривые темные линии.

«Что это за место такое?» – подумал он, – «Горы, что ли? Куда это завезли народ? И лес-то какой... У нас такого не увидишь...» – Вспомнил он своё село на далеком юге России. – «Странно тут человеку. Лес да горы...»

Медленно пробираясь между деревьями, он убедился, что идти можно смело – ни тропинки, ни человеческого следа, только бег звериный, отпечатанный на снегу, да стаи птиц говорили о жизни.

Лес густел, деревья в обхват человека, не похожие на те, что Марк видел в своих краях, окружали его. Но и их бурелом не помиловал—растянется в ином месте поперек его пути, и, ну-ка, попробуй перелезать! Что же, тут свобода, и не такую колоду перескочишь. Да и всё здесь чудное. Вон в снегу зеленым-зелено дерево стоит, вон зверек неведомый поскакал легко по дереву вверх, птица где-то грустно заквохкала—сторона, как из сказки, ничего тут не разберешь. – «Люди вот только какие?»

Есть хотелось давно, но Лещенко старался уйти подальше от железной дороги, когда услышал далёкий-далёкий свист паровоза, эхом бежавший nо верхушкам деревьев, решил: «Пройду еще версты три, потом поищу чего-нибудь поесть.»

Усталый, он едва передвигал ноги, с трудом пробираясь вперед. Иногда попадались полянки, он тогда двигался быстрее; иногда шел под гору или с горы, и дивился неровной земле.

Но вот он прошел свои три вереты и стал приглядываться к деревьям. Ель, сосна, дуб, ольха и еще некоторые были знакомы ему, но было много таких пород, каких он никогда не видел. Сначала он пробовал оттдирать кору и жевать. Но она была тверда и горька. Тогда он начал искать жолуди. Однако, почти все они попадали осенью и только изредка можно было найти на голых ветвях или на снегу. Попробовал грызть их, а они, как камень. Собрал всё же немного, положил в карман и принялся снова за кору. Так шел и жевал, пока не вышел на опушку. Внизу расстилалась широкая долина, но нигде он не видел человеческого жилья.

«Тут и помереть можно так, – подумал Марк, – не только поесть, а и поспать негде будет! Что же, зато на воле! Сам умру.» И сейчас же внутренний голос протестовал, – «Чего умирать задумал?! Удача с первого раза, с первого шага... Не должно быть смерти! Бог что ли не видит? Не забывай Его, и будешь спасен!»

Так шел он целый день вблизи опушки и только поздней ночью увидел меж дерев слабый желтоватый огонек. Светящаяся точка

мерцала, терялась за стволами, снова появлялась, и Марк, предчувствуя жильё человеческое, делал неимоверные усилия, чтобы скорее добраться до крова.

Смело он подошел к маленькой избушке и постучал в оконце. Через минуту открылась дверь, и на крылечке появился человек.

– Э-вон, куда ж тебя, милой, занесло! Чай, блудишь давно-то?

– Приюти, добрый человек, – произнес Марк, подходя к хозяину.

– Чего там, Бог приютит, а ты заходи ужо...Час вот только недоброй...

Марк вошел в избу. В большой комнате горела лучина. В углу у образов стоял стол, на котором лежал в гробу покойник.

– Сына вот Бог приютил, милой...

Марк перекрестился.

– Спаси, Господи, дом твой, добрый хозяин, а покойнику – Царствие Небесное, – и он снова перекрестился.

– Нюра, – позвал хозяин женщину, лежавшую на большой железной кровати, – страннику кушать изготовь чего, – и обратившись к Марку, спросил:

– А который день не евши?

– Два дня. ...Не кормили нас «там»... Да сегодня по лесу только кору грыз...

– Звать-то как тебя?

– Марком крестили...

– Святое имя... Ну ты садись, Марк, обогрейся возле печи, а я сыну на прощание слово святое почитаю... Теперь всё по-новому... без попа... В наших местах и раньше до церкви не доберешься... верстов пятьдесят... А теперь и там закрыли, а батюшку, кто его знает, куда подели... Мы ж христиане православные... Родился, помер, а у Бога разрешенье испросить нужно...

Хозяин сел возле покойника и начал читать молитвы.

Женщина, лежавшая в темном углу, поднялась, подошла к Марку и, поклонившись, спросила:

– Беглой?

– Беглый, хозяюшка, – без страха, без смущенья ответил он.

– Суббота нонче, банька истоплена, поди обмойся, – сказала она и повела его с масляным каганцом в пристройку, в которой стоял еще

пар.

– Зажди, одёжу-то чистую принесу.

Женщина вышла, а Марк начал стягивать сапоги, которые с большим трудом снимались с его распухших ног.

В баньке было жарко и парко. Беглецу хотелось снять с себя поскорее рубище и обмыть горячей водой своё тело, изъеденное вшами. Ему казалось, что он сейчас освободится от тисков, которые сдавливают всё его тело, и он с большим терпением ожидал женщину.

«Вот тебе и жизнь, – думал он, вспоминая покойника. – Один рвётся на свободу а другой уходит от неё...Что же, не в наших силах жить больше, чем суждено... Воля Божья... И мне-то к чему покойник? К жизни? Или, может, тоже за ним пойду? Бог один ведает... Да и на свободе умереть-то легче... А там уже все встретимся... И те, что поехали... Эх! Народ! Решимости нету! Потому и раскулачивают! А мужик-то сила... Всё может...»

Вошла женщина.

– Одёжка-то на двоих шита... Схуд ты... А как, бишь, тебя-то по-батюшке величают?

– Ефимович, хозяюшка, а вас как?

– Чай, слышал, батя Нюрой звали меня, так и ты величай... Одёжка-то не по тебе... Ужо подправишься, впору будет... А своё не трожь, в избу не неси. Мыла вот только нету... Мы золою моемся... Вон, видишь, в коробе...

– Спасибо хозяюшка.

– Батя у нас хозяин, а я тебе Нюра.

– А по-батюшке же как вас?

– Степановна... Только ты не зови меня так... Нюра я тебе... Может, чего нужно, сказывай... Слабый ты, помочь, может, требуется, так я бате скажу...

– Управлюсь сам, не дитё я.

Женщина вышла, а Марк с усердием принялся отмывать грязь со своего тела.

Долго он наслаждался горячей водой, пока усталость не заставила его надеть чистое белье и одежду. Вышел из баньки, как пьяный, и сел возле печи. Степановна поднесла ему деревянную миску на дне которой было немного молока с маленькими кусочками черного хлеба.

– Не гневайся, Ефимович, зачинать помалу нужно, с голоду

чтобы не объесться.

– Чего гневатъся, спасибо и за кроху хаеба, а что помалу, так это правильно, – и он набросился с жадностью на еду.

Старик сидел у стола и вполголоса читал псалтырь, изредка поглядывая на пришельца. Когда Марк кончил есть, он коротко сказал Нюре:

– На печи пущай спит горемычный...

– А вы ж где, батя? – удивленно спросила Степановна.

– Почитаю ужо слово Божье эту ночку на прощанье...

– Может, я б сменила? – осторожно спросила Нюра.

– Ложись и ты... Хоронить завтра будем...

Степавовна показала Марку лежанку на печи, а сама, не раздеваясь, улеглась на широкой простой кровати.

Едва Марк коснулся головой подушки, как потеряв сознание глубокий сон охватил его. Он не слышал ни бормотанья хозяина над мертвым сыном, ни тяжелых вздохов Нюры, которая не сомкнула глаз за всю ночь. Только под утро, когда уже рассвет пробивался в маленькие оконца, ему приснился сон. Видит он старшего своего брата Кузьму, идушего с высочайшей горы с опущенной головой. Путь его лежит через густой лес. Кузьма прыгает через пни, молодые деревца, всё спешит куда-то, бежит по полянке, спотыкается. А полянка-то странная, черная вся, ни травинки, ни снежинки; да и всё кругом черно – ни день, ни ночь, а ничего теперь уже и не видно, только Кузьма смотрит вниз, будто в землю, и говорит: «Вот тут копайте,» – и упал в какую-то яму.

Как ни силился Марк во сне еще раз увидеть брата, но не смог. Это видение разбудило его. Он раскрыл глаза и, увидев незнакомое место, вспомнил всё. Радостно стало ему, что всё так хорошо сложилось, что спасен он, что нашел таких добрых людей... Только вот горе у них большое... Сын помер. Марк услышал женский голос:

– Упокой, Господи, раба твоего Кузьму...

– Кузьму? Кузьма? – повторил он и, быстро одевшись, спустился с лежанки.

Солнышко уже заглядывало в маленькие оконцы. Хозяина-старика в комнате не было. У стола сидела женщина и читала молитвы, водя пальцем no строчкам старой засаленной книги. Она увидела Марка, но оставалась неподвижной, продолжая читать.

Марк подошел ближе к гробу. Что-то знакомое показалось ему в лице покойника он подошел еще ближе. Предутреннее видение

смешивалось с тем, что он видел наяву. Он видел... «Да, это его борода, его густые широкие брови, нос... Это же сын... Нет... этого не может быть...» Марк боролся сам с собой. Он подошел еще ближе, и когда увидел на заросшем подбородке глубокий шрам, крикнул:

– Кузьма! Брат мой! – и, склонившись над гробом, зарыдал.

Женщина встала, подошла к нему, положила горячую руку на его плечо и тихо сказала:

– Ефимыч, не горюй, Богу угодно так – все пойдем туда... Вишь, выходила я его... Как родной был... Не плачу я... Божье это решение... Не смеем мы...

В это время вошел хозяин. Увидев плачущего Марка, он подошел к нему. Женщина продолжала утешать беглеца.

– Жалобной брата узнал... Кузьму-то... Вот и горюет... Не привелось живым увидеть. И Кузьма-то беглой был... Спасался у нас... Пожил-то, как у Христа за пазухой... Всем доволен-то был... Ну, а срок-то пришел... Что же делать... Бог прибрал...

– Воля Божья, – промолвил старик, – Радуйся,что Господь направил тебя сюда в дом мой... Вишь, и с Кузьмой свиделся... В последнюю дорогу проводишь... И ему легче будет там... А что помер человек, то, что же, Марк Ефимыч, никому не заказано жить вечно... И наш час придет... От смерти никуда не уйдешь...

Марк отошел тихо от гроба. Тяжело было. Не зажила еще одна рана, а тут... Кузьма, в гробу...

Старик внес крышку гроба и поставил у стены.

– Прощайтесь, – сказал он и первый подошел к покойнику.

Все постояли молча, перекрестились, приложившись ко лбу мертвого. Хозяин накрыл гроб крышкой, и забил гвоздями. Втроем они вынесли покойника на улицу, поставили на длинные санки и привязали веревкой.

– Ну, с Богом, – сказал старик, и процессия направилась в чащу леса.

«Кладбище» было недалеко, и все скоро пришли к месту, где должен, быть похоронен Кузьма. Могила была уже вырыта. Свежая лесная земля смешана была с корнями деревьев и снегом, в глубине ямы видны были белые пятна перерубленных толстых корней. Рядом виднелся еще холмик, засыпанный снегом.

Марк помогал отвязывать гроб и опускать его в могилу. Старик прочитал заупокойную и начал петъ:

– Со свя-ты-ми у-по-ко-о-ой...

Ему вторила Нюра, несмело вмешался и Марк:

– Христе-е-е Боже-е...

Похоронная песнь щемила сердце, но Марк сдерживал теснившие его грудь рыдания и первый взялся за лопату, чтобы работой разогнать тяжесть скопившихся чувств.

На обратном пути старик говорил:

– Вот, Марк, моим сыном будешь... Макаром зваться будешь...Так и Кузьму звали... Макар Захарович будешь... Потому я Захар... Вишь, как получается... Жизнь-то какая... Одного сына проводил... другой на порог... Что ж, видно, Богу угодно так чтобы было...

Пришли домой. Захар Григорьевич остался на дворе хозяйничать, а Марк с Нюрой вошли в избу.

– Ступай на лежанку, – сказала ему молодая женщина. – Силы тебе нужно набираться.

Марк полез на печь, потому что, действитвльно, чувствовал усталость. Лежа в тепле, он вспоминал родное село:

«Жили люди! Ох, как жили! Воля вольная, чаша полная! А хозяйство-то какое! Своё все, ни служи никому, не кланяйся... И чего человеку нужно было? Зависть всю жизнь убила! Кто был умен – у того и двор был полон, а у кого не было ума – не было и добра... Что же, что позарились на чужое?! Мужик трудиться любит, с труда и богатеет... На его богатство зариться нечего. От этого добра никогда не будет... Не твоё, не смей и трогать. Ну, а теперь всё перевернулось. Грабитель стал на первом месте. Кто имеет, тот ему и должен всё отдать. Вот и начали раскулачивать... Начали мужика грабить... Кузьма... Хозяином был... Каким хозяином! Всего в достатке было у него... А вот ограбили... Заслали, как вора... Добро, что сам-один... Мать-старуху мне уже пришлось схоронить... А теперь вот и самого Кузьму...»

Вошел старик. Марк со своей лежанки как будто впервые сейчс увидел его. Захар Григорьевич был высок ростом и прям. Сухое лицо его было обрамлено густой седой бородой. Серые глаза были ясны, а широкий лоб прорезывали глубокие морщины. Было ему далеко за шестьдесят.

– Чего, Макар, отдыхаешь? – спросил хозяин Марка, называя его данным ему сыновьим именем.

– Степановна вот приказала, – как бы оправдываясь, произнес Марк.

– Положено беглому так... Ты уж не обижайся на Нюру... Баба

она незлая... Выходила уже одного... Сердце у неё такое...

– Э-э-э, Макарушка, работы еще хватит, – откликнулась женщина, называя так же, как и старик, именем его умершего сына. – Это тебе лес, а с лесу жить нужно... Куды ж тебе беглому? Идти тебе всё равно некуда, а к работе ты совсем негодящий теперь... Жизни-то у тебя сколько?! Поживешь у нас, раздобреешь, даст Бог, тогда уж приказывать ты будешь...

– Правильно, Нюра. Ты про себя сейчас думай, Макар. На нас смотреть тебе нечего. Лежи. До весны далеко. А там видно будет...

– Что ж лежать, Захар...

– Батя я тебе, сказывал ужо. Ты не забывай это. Люди и к нам заходят. А ты теперь за сына мне...

– Так оно как-то...

– Чего «как-то»?! А бежал отчего? Спасенья хочешь? Вот Бог и послал тебе нас для спасения, а тебе смириться нужно... Так и Кузьма, брат твой... Запрошлый год прибег... Смирился... Сыном стал... Видел холмик в лесу-то?

– Видел...

– Вот там-то сын, мой настоящий и схоронен... Что ж, оставил отца и жонку, ушел... Вот Кузьму послал... Беглой он тоже был... Только в пост их везли... Морозы стояли крепкие, и ветер всё с полночи... Как он выжил, Бог только, ведает... Известно, прибежал смученый, голодный... Отогрели, приютили... А чтоб подозренья чужому не было, мы ему сыновий документ в руки дали, и стал Кузьма – Макаром Захаровичем Нефедовым, сторожем лесным...

Захар Григорьевич подсел к Марку поближе.

– Подправили мы Кузьму... Плох сначала был он, ох, как плох, а вылежался... Уж Нюра выходила... Как за дитём смотрела... Весна зашла, и Кузьма поднялся и пошел, и пошел, пошел, всё ему хорошо, вольно, даже работать захотел... Руки, говорил, чешутся... Известно, мужик без работы жить не может... Ну, так вот и начал он по хозяйству потихоньку... А хозяйство-то у нас какое? Коровёнка да лошадёнка... Так и окреп потихоньку Кузьма... Да застудился прошлый четверток. Сразу это его скрутило. Лег и не встал больше... Тебя вспоминал... – «Эх, – говорил, – Марка жалко. Не уйдет он от земли и в колхоз не пойдет... Не миновать ему Сибири!» – Жалел он, ох, как жалел. А отписать тебе боялся...

Старик сразу изменил разговор.

– А вот тебя я сразу познал. Только ты на порог, посмотрел я, думаю, брат Кузьмы. Ждал только, когда ты имя свое скажешь, а как

назвался Марком, совсем уверился. Что же, теперь твоё дело маленькое. Копи силушку, до весны у нас далеко, а работы на одного зимой... Делов-то у нас никаких больше и нет... Повернулся по двору, и кончено всё... Хозяйство у нас такое...

Потянулись скучные зимние дни, долгие ночи. Марк вылеживался. Захар Григорьевич по хозяйству трудился да Священное Писание вслух читал, а no праздникам службу Божию устраивал, пели все-хором молитвы. Нюра за избой смотрела да несложную еду готовила, а за Марком ходила, как за сыном родным.

«Жизнь чудная, – думал Марк, – люди чужие, неизвестные, а будто свои, родные. Что я им? А гляди, как берегут, будто клад с золотом!»

Вспоминая далекую родину, он представлял себе свое село, и страшно становилось: одних голод убрал, других, как его, вывезли, и пусто стало на улицах, пусто и в хатах. «Почему человека так мучают? И за что?» – думал он, но не мог найти ответа.

Как-то старик уехал в деревню. И Марк, дождавшись, когда, наконец, солнышко вышло из-за горы и стало пригревать окутанную снегом землю, вышел подышать свежим морозным воздухом. Это была не первая его прогулка. Он знал уже ближайшие места. Безцельное хождение было ему не под силу уже. Хотелось работать, хотелось что-то делать, куда-то применить прибывающую силу.

«Все работают, – думал он, – а я за председателя, что ли?» – и он зашел в конюшню, чтобы почистить, пока хозяина не было дома. Но не успел он сделать и половины того, что нужно было, как услышал за спиною ласковый женский голос:

– Ты что же это делаешь, Макарушка? Твоя ли это работа? Что хозяина у нас в дому нет?

Марк остановился, воткнул вилы в навоз, не выпуская их из рук.

– Попробовать захотел, Степановна... Заскучал... – смущенно проговорил он.

Нюра подошла к навозной куче, мягко разжала его пальцы, сжимавшие вилы, и сказала:

– За тобой, как за дитём смотреть нужно... Гулять хочешь? Ступай, а за вилы не берись... По весне работы хватит...

– Руки-то человеку на что? Куда их денешь?

– Рукам твоим силушка еще нужна, – и женщина взяла Марка за руку, – ступай отсюдова, ступай! А, вишь, рука, говоришь, а дрожит-то от чего она? Силушки нет! А ты за вилы!

– От безделья это, Степановна...

– Ну, ступай, ступай пока тепло, – и она легонько толкнула его в плечо, выпроваживая из конюшни.

Очутившись на дворе, она, показав головою на солнце, сказала:

– Глянь-то, ясно как... Солнце смеется-то тебе как, а ты в конюшню nолез, ступай себе со двора, а придешь – на лежанку. Чего, про работу думать! Успеешь еще. – она снова толкнула слегка в плечо его и, засмеявшись, убежала в дом.

Степановна была здоровой русской женщиной, выросшей в лесах Урала. Она любила дикую природу своих мест, тихую, спокойную жизнъ в далекой лесной сторожке. Она никогда не променяла бы своего маленького домика с его полусонным бытием на шум не только большого города, но и маленького села, в котором находился районный центр. Она никогда не согласилась бы покинуть родные горы и леса, чтобы переселиться в степные равнины. Всё ей здесь было близко, знакомо и дорого.

Любила она людей, хоть и далека была от них. Хотела видеть в них своих близких, хороших, как братьев и сестер. В её наивном представлении рисовалась картина жизни на земле, как в раю, хотя она уже знала о злых людях от Кузьмы и Марка. В этом таинственном понимании жизни, в этой простоте восприятия окружающего она боялась только одного – не уподобиться Еве, не взять на себя греха, хотя понимала, что безгрешен только Бог. Это миропонимание поставило её в положение старшей сестры по отношению к Марку, временами переходившее в положение матери.

Марк, находясь под сильным впечатлением пережитого, изведав величайшее горе, пройдя тяжелые испытания и изверившись в людях, блуждал в своем прошлом, бывшим ему дорогим, как золотое детство, вдруг нашел здесь, в этой маленькой избушке необъятную доброту. Да, в этом крошечном домике, занесенном снегом, среди неведомых дерев, среди высочайших гор и глубоких долин жили настоящие люди с любвеобильным сердцем и христианской душой, назначением которых в жизни было делать только добро. Каждое слово, каждое движение, каждый их взгляд, дыхание, биение сердца направлены были только для добра. Дивился им Марк и благодарил Бога, что Он направил стопы его в эту лесную избушку.

Проходили однообразные дни. Уже Великий пост подходил к концу. Дни становились длиннее и теплее, но снег продолжал еще крепко держаться, хотя тускнел и на поверхности своей образовывал грубую ледяную корочку.

К праздникам Нюра убрала избу, наготовила куличи, отваром

каких-то лесных трав покрасила яйца. Захар Григорьевич следил за горящей лампадой, висевшей перед старым, потемневшим от времени, образом, подливая иногда масло. Марк, чтобы не мешать никому в избе, бродил по лесу со своими думами об оставшейся в селе семье, жене и детях. Были думы тяжелые и мрачные, как ночь—живы ли или померли с голоду?

Весна незаметно подкрадывалась, и её приближение напоминал каждый день ясным солнцем, пригревавшим всё сильней и сильней землю. Подходила Великая Ночь. Её провели в молитве, читали Евангелие, пели божественные песнопения, а к утру в маленькой избушке раздалось вселяющее надежду и радостное «Христос Воскресе!»

Невольно Великий День уносил беглеца в родные края, где в это время свежая зелень буйно вырывалась из черной земли, где деревья уже цвели, распространяя аромат свой, суетились птицы, порхали первые бабочки... А здесь...

Здесь снег держался до половины мая, а потом вдруг сразу опустился, почернел, на солнечной строне появились скупые прогалинки, и только поздние дожди помогли смыть его совсем, оставив следы в лесу да в глубоких котловинах. Июнь начинал зеленеть молодой травой, пестреть первыми весенними цветами, на голых ветвях деревьев появлялись жирные зеленые листочки и белый цвет; ель и сосна отдавали свою свежесть, смешанную с ароматом цветущих дерев, воздуху; солнышко подымалось всё выше и выше; застрекотали, запели птицы, голоса их не умолкали с раннего утра до позднего вечера; зашевелились козявки, ожили звери, и человек не мог устоять перед проснувшейся природой. Он чувствовал её пробуждение, в его душе звучало дающее жизнь «Христос Воскресе», в нем оживал его творческий дух, его желание трудиться, и он выходил из душной избушки, чтобы, испросив благословения у Бога, бросить дремлющее зерно в отдохнувшую землю...

– Ну, Макар, теперь за работу, – сказал, наконец, Захар Григорьевич. – Завтра будем начинать... Сеятъ пора...

Нюра, улыбаясь посмотрела на Марка. Она была довольна. Её забота сказалась во всем его облике. Да и он сам чувствовал, что стал снова таким, каким он был когда-то у себя на селе – здоровым, сильным и бодрым, а желание работать было так велико, что слова Захара Григорьевича взбудоражили все его мысли, и он долго не мог заснуть.

Тут же за избушкой был клочек земли, отвоеванный у леса. Был он небольшой с землей, не похожей на ту, на которой он проработал всю жизнь. Деревянная сошка вместо плуга, семена в лукошке вместо

сеялки, да и время-то, июнь, когда в его краях хлеб стоит густой стеной, как море широкое, ветер волну гонит... «Ах, земля!» – вспомнит Марк, и слышится запах её пьянящий, видится чернозем, пушистые комья которого тают в мужицкой руке. Приложит Марк ухо к земле, но не слышит здесь её дыхания...

«Эх! Землица! Степь! Глазом кинешь – простор, свобода, пробежишь до самого края взором и увидишь, где небо с землей сходится; небо голубым куполом высится над головой; солнышко... А солнышко-то какое! Греет, припекает, не хотела бы земля, всё равно родит!»

Глянул Марк в стороны: слева гора, справа еще выше, впереди лес без края, за спиной глубокая долина, а за ней снова гора, поросшая лесом, и некуда глянуть, некуда глаз устремить... Солнце поздно восходит, рано заходит, тучи цепляются за самую землю, линией уродливой небо с землей сошлось, да и край-то земли как будто вот здесь, под самых носом... Давят горы, лес стеной наступает. – «Ох! Нет здесь простора, нет воли... Где же тут хлебу родиться?»

И снова видится ему степь родная... Хлеб колышется... Пшеница, как золото... Сквозь стебли густые видит черную землю, жирную, сверху колос тяжелый склонился... «Эх, ты, мать-землица, родная, мать-кормилица наша мужицкая!» – И вспомнил Марк, что землицу-то эту в колхоз ненавистный забрали, мужиков из хат родных выгнали, в Сибирь заслали, как воров. – «Нет, нет, быть не может такое... Моя земля! Не уйду с земли моей! Пусть убьют, пусть помру, так на своей же землице!»

«Поле-то какое было! Не обойдешь, глазом не обхватишъ.» – И заметался Марк, стон глубокой боли вырвался наружу из его груди: «Земля!»

Смотрел он на узкую полоску хозяйского поля и думал, что всю землицу-то эту в чувал уложить можно. Да и земля-то со щебнем, с корнями деревьев! Тут и делать-то нечего! Баба одна без помощников управится в поле и в хате! Разве ему, мерявшему десятины целые, есть где развернуться здесь?

Заскучал Марк, затосковал он очень по дыханию земли черноземной. Грустью сердце налилось. Тут люди близкие, как родные, там буйный хлеб колышется, манит; тут спасение, жизнь тихая, там смятение, там опасности день каждый полон.

Выйдет из дому, гложет тоска: всё не то, всё чужое, хоть и спасшее ему жизнь. В землю смотрит – чернозем мерещится, в лес посмотрит... Нет, нет... Давят горы и лес наступает... Вот сомкнутся горы, сдавят леса и погребут под стволами столетних деревьев всё: и его, и Захара Григорьевича и Нюру вместе с маленькой сторожевой

избушкой...

Как пьяный ходил Марк, и в тоске его рождалось решение страшное, но смелое.

«Уйду!» – сказал он, наконец, сам себе, и сразу стало ему будто легче.

Но решить – это только полдела. Как расстаться с теми, кто спас его, кто принял, усыновил, кто, может быть, пытает тайные надежды... Нет, нет, лучше не думать... Но как сказать? Вместо слов благодарности, вместо слов признания ответить коротким и грубым «Уйду»? Марк представлял себе всю сложность предстоявшего, всё откладывал свой уход, обдумывая, как объяснить своё решение людям, которым он стал близок и дорог.

Перемена в нем была велика, и, конечно, не осталась незамеченной. Старик и Нюра молча наблюдали за ним. «Затосковал», – думал Захар Григорьевич. С тревогой следила Нюра за Марком. В глубине её души рождалось недоброе предчувствие. Она притихла, притаилась, ожидая, когда он сам скажет, что гнетет его сердце.

Полевые работы, немного отвлекшие Марка от дум, скоро закончились. Он снова почувствовал надвигающийся на него лес, сдавливающие его горы, небо казалось ему клочком лесного хозяйского поля, воздуха нехватало дышать, ночь не спит: перед глазами ровное поле с необъятной далью... и семья... «Уйду! Не могу, помру здесь, как Кузьма!»

О семье он никогда не говорил ни Захару Григорьевичу, ни Нюре. Сначала не было случая, а потом, когда он заметил очень доброе отношение Нюры к себе, не хотел расстраивать её любвеобильного сердца. Уйдет в лес и думает всё ту же тяжелую думу про жену, про детей, про степь широкую, открытую, про солнышко яркое, про ночи звездные, темные, и всё ему кажется мило, всё лучше, чем здесь. Одно останавливало его: возвращаться нельзя, потому что поймают и снова посадят, и не увидит он всё равно ни жены, ни детей. – «Да где ж они? Живы ли? По миру с сумой ходят?» – Знает он, что на селе их нет. Выгнали из хаты родной. Хорошо, что еще была осень. Ушли, быть может, до зимы и приютились где-нибудь?

Вот и первые ранние всходы ржи. Посмотрел Марк на узенькие острые иголочки, пробивавшиеся из земли, и сердце у него взбунтовалось совсем. Вернулся в избу.

– Не могу, Захар Григорьевич, не мила мне жизнь здесь, хоть и чувствую доброту вашу во всём...

– Тоскуешь, Макар? – спросил старик, давно уже ожидавший от него слов печали.

– Тоскую...

– Чего делать думаешь?

Марк молчал. Нюра, возившаяея возле печи, остановилась. «Уйдет!» – подумала она. Жаль до слёз ей стало чужого человека, к которому она привыкла за зимнее долгое время. Жаль было, потому что знала и она, что может он снова попасть в недобрые руки и снова посадят его в грязный и холодный вагон, и тогда уже не миновать ему смерти.

– Что же, Макар, птичку в клете золотой держи, а она всё равно на волю хочет. Держать мы тебя не смеем. Уйти хочешь?

– Уйду, – глухо сказал Марк. – Не могу, Захар Григорьевич... простите меня...

– Да за что же прощать? Хозяин ты сам себе...Тебе виднее, как лучше...

– Вы вот приютили, приласкали меня, сыном назвали, а я...

– На всё воля Божья, Макар. Мы по-христиански... Как в Евангелии сказано: – «Люби ближнего своего, как самого себя» А что ты уходить надумал, то тут греха никакого нет. Всякого тянет туда, где родился... А, может, семья у тебя?

– Да, Захар Григорьевич, жена и детишки...

– Где ж они?

– В миру... Из села ушли, это я знаю, слышал... А искать где, кто его знает... Бог поможет...

«Горемычный» – подумала Нюра – «потому, видно, и меня сторонился...» какой мужик... правильный... Сам Бог, видать, указывает ему дорогу.» – И двойное чувство овладело ею: ей жалко было расставатъся с человеком, которого она полюбила не только материнской любовью, но в то же время она и радовалась, что он оставался верен своей жене, своей семье, и теперь, сильный, здоровый, решился уйти, чтобы разыскать своих близких, родных ему людей. Ей стало даже легко на сердце, когда, наконец, разрешилось его долгое молчание, его гнетущая тоска.

– Твое дело, Макар, держатъ тебя мы не смеем.

– Виноват я перед вами...

– Чего виноват? Не обидел ты нас ничем, слова плохого от тебя мы не слышали.

– Может, Степановна обижается?

– Обижаться не за что, Марк Ефимович, злого от вас ничего я не

видела...

– Сделали вы для меня много...

– Сироту и Бог наказал обогреть, за это и думать нечего...

– Мы, Макар, тебя не неволим. Бог человеком руководит, – сказал Захар Григорьевич. – Когда надумал уходить?

– Да я, Захар Григорьевич, хоть и завтра...

– Ну, и с Богом! Мы тебя приняли, мы тебя и в путь-дорогу соберем.

Легко стало и Марку. В глаза смотрел своим спасителям открыто и хотел прочитать, что же думают они о нем. Но это было невозможно. И старик и Нюра глубоко скрывали тяжесть предстоящей разлуки.

Эту последнюю ночь никто не спал. В темноте каждый лежал со своими мыслями и глубоко вздыхал. Марк думал о родной степи, о своей семье, и всё ему казаловь, что он снова в своей хате, окруженный детьми и женой.

Захар Григорьевич думал о том, что лишается сына, но хотелось ему помочь Марку, и он решал, как бы лучше собрать его в дорогу.

Нюра перебирала все дни после прихода беглого в их избушку, и ей теперь было понятно, почему Марк был так далек всегда от неё.

Рано утром Марк поднялся, вышел из избы. Солнце взошло уже, но гора скрывала его. Глянул кругом, будто и горы расступились, идти легче будет, и лес стал милей, скроет беглого. Вернулся. Не сидится ему. А собираться-то нечего. Всё на нем чужое. Своего-то ничего не осталось...

После завтрака старик глянул в окошечко и спросил, – Что, Макар, не передумал?

– Нет, Захар Григорьевич...

– Значит, пора... Садись вот тут, у образов... Вот тебе документы Макара... С собой возьмешь... Всё пригодится... Вот двести рублев на дорогу... Путь, небось, дальний... Ежели плохо что будет, ворочайся... Мы всегда примем... А семью найдешь, так ты ужо отписывай... Нюра вот это тебе на дорогу приготовила оклуночек небольшой...

– Захар Григорьевич! Нюра! Степановна! – кинулся в ноги Марк, но старик его остановил.

– Сиди, Макар, на колени только перед Богом... Нюра, иди и ты сюда, перед дорогой посидеть нужно...

Подошла и Степановна. Лицо её было серьёзно и спокойно.

Села она на лавку и ясными глазами смотрела на Марка.

Посидев с минутку молча, старик встал, перекрестился, за ним перекрестились Марк и Нюра.

– Ну, в путь-дорогу, – произнес Захар Григорьевич, и все вышли из избы. Марк начал было благодарить хозяина и Нюру, но старик строго остановил его:

– Бога благодари, Макар...

– Ну, прощайте, – упавшим голосом произнес Марк, и стало жалко ему расставаться с людьми, спасшими его от смерти.

– Прощай, Макар, – сурово ответил ему старик.

– До свиданьица, – прозвучал ласковый голос женщины.

Марк повернулся и почти бегом заспешил в лес, чтобы к вечеру добраться до железной дороги.

Захар Григорьевич и Нюра стояли долго на крылечке, пока широкоплечая фигура Марка не исчезла в яркой зелени леса. На глазах у них блестели крупные слезы...

Марк, бодро шагая по лесу, твердил: – «Не сдамся!»

Верую

Коммунисты выполняют догму Карла Маркса:
«Религия – опиум народа».
Они искореняют веру в Бога – проводят
неустанную антирелигиозную пропаганду,
закрывают церкви,
убивают и ссылают священников в концлагеря

Посвящается миллионам людей
оставшимся непоколебимыми в своей вере
и тысячам мучеников священников
не покинувшим службу Богу и своему паству



ПРОЛОГ

ПРЕДПАСХАЛЬНОЕ

Взбесившееся Море бросает злобные громады-волны на истекающую кровью Землю, стараясь смыть грязь ужаса, позора, тягчайших преступлений двуногой твари-человека... Оно не шумит, а грохочет, бурлит, зверем диким рычит, и вспенённые гребни седые, несущие силу неисчислимую, грозно рушатся на прибрежные камни, рассыпаясь на миллиарды горьких дробинок, обессиленно уплывающих под новые белеющие цепи вод...

Притаилась Земля. Псом шкодливым, виноватым разостлалась перед бесконечной рокочущей пеной, молчит, хотя знает, что Море сильно, что бед много наделать может оно, но смыть бога Зла, воцарившегося здесь, на Твердине, такой же бескраей, как и кипящие просторы воды ему не под силу...

Солнце ясное старой грязной завесой закрылось... Не хочет смотреть оно на грешную Землю... И Небо печальное нахмурилось... Собрав слёзы страждущих сирот, вдов, стариков, скорбь свою в крупных каплях дождя рассевает вокруг...

В дикой пляске Ветер кружится... Песнь ужаса разносит повсюду... Стонет Земля, завывает в смертном страхе...

Но грядет День Великий, когда Солнце жаром огненным разорвет и развеет завесу дождя, усмирит безумные волны, ветры утишит, согреет лаской весенней обездоленных страдальцев, и в пылающих лучах его тогда сгорит бог Зла...

Грядет Великий День Воскресения Христова!



ВЕРУЮ

Большой парк спускался к широкому озеру, глубокие воды которого лениво плескались о покатный берег. Старые липы, стройные каштаны, плакучие ивы, голубые ели и развесистые сосны переплетались с кустами сирени и жасмина. Зелёные лужайки искрились свежестью на солнце. Только забытые фонтаны не плакали теперь росинками слёз.

Во всей своей силе, во всей своей красоте весна встречала великий день Воскресения Христова.

Уже началась последняя неделя Великого поста, и старый парк красовался желтизною песчаных дорожек, ровной линией кустарников, стройностью декоративных деревьев и клумбами с первыми весенними цветами.

Два больших двухэтажных дома, расположенных в парке, не так давно принадлежали директору металлургического завода. Сейчас их наполнили десятки беспризорных.

Районный детский дом готовился к Пасхе, но по-своему. Все учителя тайком переговели в городе у Отца Митрофана, а с ними ухитрились и некоторые воспитанники. Дома, вне стен приюта, все готовились встретить праздник так, как в старые дореволюционные годы.

Заведующая, Агнеса Фёдоровна Ангелис, приложила немало трудов к подготовке детского дома к предстоящим праздникам. Но она была одинока. Она убедилась в этом, когда нужно было кому-то поручить сделать антирелигиозный доклад.

Сначала в кабинет был вызван молодой учитель Полозов.

– Дорогой Владимир Иванович, вам придётся сделать антирелигиозный доклад, – заявила Агнеса Фёдоровна.

Полозов вздрогнул от неожиданности, но смело ответил:

– Религиозный доклад сумею сделать, по закону Божьему имел всегда пятёрки, а вот с антирелигиозным докладом ничего не выйдет, не по моей это части, хоть и естественник.

– Я рассчитывала на вас, вы всё же молодой учитель...

– Расчёт ваш очень неудачный, Агнеса Фёдоровна. Знаю природоведение, знаю физику, химию, математику, учил всё это, но антирелигиозности не изучал, а чего не знаю, за то не берусь.

Не решилась заведующая спросить, верующий ли он, но подумала: «Гнилая интеллигенция!»

Поочередно вызывались учительницы-девушки и с покрасневшими лицами выходили из кабинета. Не пригласила заведующая к себе только старика-учителя, Севастьяна Григорьевича Ворзаковского, решив, что «дедушка», как она называла его про себя, и подавно откажется.

Севастьян Григорьевич еще перед началом войны вышел на пенсию и жил в маленьком собственном домике. Пенсии хватало ему на жизнь, но выросшие сыновья не забывали отца, и присылали ему свои трудовые пятёрки, чтобы старику сытнее жилось. Хурил он их за это, но пятёрки принимал и складывал в банк, где хранился его небольшой капиталец, с мыслью, что после смерти наследство всё равно достанется им или внукам.

Грянувшая революция не только лишила нажитого долголетним трудом, но и той маленькой пенсии, которая была большой наградой за его честную долгую службу, а сыновья теперь не в состоянии были присылать своих пятёрок потому, что их не было, вообще, и потому что сами едва-едва сводили концы с концами.

Долго крепился старик. Цветы, которые он разводил в своём крошечном садике, голодным не нужны были, а ягоды и фрукты большого дохода не давали. Да деньги сами по себе не имели цены. Посоветовавшись со своею женой, он решил поступить на работу. Так попал он в районный детский дом и жил в одной комнате с молодым Полозовым.

Когда кончился рабочий день, и Полозов, наконец встретился в своей комнате с Севастьяном Григорьевичем, он поделился своим разговором с Агнесой Федоровной.

– Заведующая вызывала меня к себе, доклад, мол, нужно делать на антирелигиозную тему.

– А вы яке что? – насторожился Ворзаковский.

– Сказал, что на религиозную тему, пожалуйста, могу, а с антирелигиозной грамотой не знаком.

Старик-учитель почти подбежал к молодому человеку и крепко пожар ему руку:

– Так и сказали?

– Да.

– Молодец, Владимир Иванович, ей-Богу, молодец... Выгнать только могут...

– Девочек потом наших вызывала...

– Ну, те, голубчик, не возьмутся за это дьявольское дело, упаси Боже. А меня-то постеснялась вызвать...

– Откровенно скажу вам, Севастьян Григорьевич, наша заведующая еще мягкая женщина, другая давно бы стёрла с лица земли такую контрреволюцию, как мы.

– Голубчик, Владимир Иванович, учителей же нет, вот беда какая у неё. Не думайте, что она зубами не скрежещет. Посмотрите, как она, если нет поддержки с нашей стороны, сама проводит коммунистическую линию в воспитательной работе. Вот вы играете на пианино, обучаете детвору пению, песенки-то у вас всё беспартийные, а вот прислушайтесь, что внизу раздаётся? А? Слышите? Слов разобрать невозможно, а мелодия из кромешного ада. И доброе семя, что сеем мы с вами, заглушится бурьяном коммунистических слов, среди которых, о, Боже, сколько будет ядовитых!

Накануне праздника после занятий заведующая собрала всех учителей и воспитателей и заявила, что даже те, кто имеет день отдыха, должны оставаться в детском доме. Она объявила программу завтрашних торжеств и предупредила, что о ночном посещении церкви будет доложено городскому отделу народного образования.

– Завтра обычный рабочий день, – сказала она на прощанье.

Предупреждение, конечно не помогло. Все, кроме воспитателей дежуривших ночью, были на секретном торжественном пасхальном богослужении. Позже, Агнеса Фёдоровна не застав заведующего городским отделом народного образования, доложила об этом инспектору, бывшему учителю, человеку беспартийному, но самостоятельному.

– А что же вы хотели, товарищ Ангелис? Веру по приказу убить нельзя. Да и не советую вам докладывать заведующему, вам же достанется за то, что вы не сумели должным образом поставить антирелигиозную пропаганду среди учителей, – ответил инспектор на её возмущение.

Проглотила пилюлю Агнеса Фёдоровна и вернулась ни с чем во-свояси. Но это было уже после праздников.

На первый день Пасхи после завтрака все учителя и воспитатели со своими классами заполнили большую комнату-театр детского дома. На маленькой сцене стоял стол, покрытый кумачом, на задней стене декорации висел портрет Ленина. На стенах театра висели

антирелигиозные плакаты, написанные рукой заведующей. Единогласно был избран почётный президиум из Ленина, Зиновьева, Каменева, Бухарина, Троцкого, лиц таинственных, фантастических, сказочных для ребят. Затем был избран рабочий президиум, в который вошли ученики старших классов. Председателем торжественного собрания оказался Лёня Козырев, мальчик лет четырнадцати, с задатками хорошего организатора.

Выборы происходили очень «организованно». Агнеса Фёдоровна заранее написала списки для обоих президиумов и раздала наиболее активным ученикам.

Как только председатель учкома открыл собрание, сейчас же поднялись руки с предложением кандидатов в президиумы.

Наконец, председатель собрания объявил:

– Слово для доклада о происхождении Пасхи предоставляется товарищу Ангелис.

Агнеса Фёдоровна рассказывала хитросплетённую историю о празднике весны у дикарей, насмехалась над духовенством, говорила о забитости населения, которое «нарочно держалось в темноте при царском правительстве», и о своём правоверном коммунизме. Доклад был неубедительный и неинтересный, больше, в нём слушатель не мог найти ни одного слова об отрицании Христа и Его Воскресения, а насмешки докладчицы вызывали только отвращение к ней самой. Учителя потеряли и то видимое уважение, которое они проявляли к ней при разговорах.

Поняли ли дети что-нибудь? Они усвоили только, что «попов нужно бить», да и то далеко не все.

Севастьян Григорьевич сидел со своим классом в первом ряду. Положив руки на палку, неотъемлемую спутницу дальних путешествий, и обпёршись на них подбородком, он сидел с закрытыми глазами молча и неподвижно. Казалось, что и уши его закрыты для лжи, безнаказанно бросаемой со сцены в детские души. Недалеко от него сидел Гриша Клопов, мальчик лет двенадцати. Его широкое открытое лицо было покрыто веснушками, слегка рыжеватые волосы торчали во все стороны, а большие умные серые глаза, как всегда, искали истину. Всё время Гриша посматривал на своего старого учителя, и как только доклад был закончен, он первый высоко поднял руку. Председатель собрания сейчас же предоставил ему слово для вопроса.

– А вот я хотел спросить Севастьяна Григорьевича, верит ли он в Бога? Старик-учитель остался неподвижным, но в напряженной тишине переполненного зала раздался его ясный голос:

– Верую, Господи, и исповедую, яко ты еси воистину Христос, Сын Бога живого...

– Хлопов! – крикнула взбешенная докладчица, – Такие вопросы учителям не задают, это не твоё дело, ты можешь задавать вопросы по докладу!

Но вопросов больше не было. Да и не могло быть. Севастьян Григорьевич превратил в ничто болтовню заведующей и укрепил доброе семя в невинных детских душах...

Собрание кончилось. Все разбрелись по своим комнатам. Полозов с нетерпением ожидал Ворзаковского. Наконец, старый учитель пришел.

– Ну, молодец же вы Севастьян Григорьевич, – с восторгом приветствовал его молодой учитель, – только быть беде, не пройдёт всё это нам так просто...

– Что же, я старик, мне всё равно, а для вас может быть очень нехорошо... В дверь постучали.

– Войдите, – крикнул Полозов.

На пороге показался Гриша.

– К вам можно? – спросил он смело.

– Почему же нет, заходи, Гриша.

– Я пришел вам сказать «Христос Воскресе!»

– Воистину Воскресе, Гриша, – ответили учителя и, обняв мальчика, поочерёдно расцеловались с ним. Его виснущатое лицо просияло, и в ясных глазах засветилась радость торжественного дня...



КАТАКОМБНАЯ ПАСХА

Вымышленные имена действующих лиц и место действия должно быть секретом не для читателя свободного мира. Это только железная необходимость нашего времени. Мы должны скрывать от коммунистических агентов всё, касающееся наших соотечественников, ныне живущих под властью красного дьявола. От них, от их агентов заграницей мы и скрываем подлинных россиян, о которых мы пишем здесь.

Весной 1929-го года я получил от сестры письмо, в котором она писала:

«Отец тяжело болен. У него туберкулез в такой стадии когда никакое лечение не может уже помочь. Он это прекрасно понимает и страдает ужасно. Одиночество увеличивает его страдания. Я не могу ему во многом помочь, но считаю, что ты бы смог скрасить его жизнь, вернее, тот маленький остаток его жизни, какой уготован ему Богом. Подумай, дорогой, как можно было бы тебе помочь отцу и напиши мне немедленно.»

После возвращения из Крыма я всё время избегал приезжать в родное местечко, где все знали о том, что я добровольцем ушел в Белую Армию, а теперь в многочисленных моих биографиях, которые писали при поступлении на работу, я никогда не поминал о своей военной службе. Письмо сестры, однако, заставило меня пренебречь предосторожностями, и я сразу же ответил, что после окончания занятий в школе я приеду к отцу и сделаю попытку устроиться в какой-нибудь школе в нашем местечке или вблизи.

Так я и поступил. Как только начались летние вакансии, я поехал на родину. Отца застал я в очень тяжелом положении. Он, правда, крепился, не хотел показывать вида, что он безнадежно болен, но вид у него был ужасен.

В наробразе я встретил моих старых знакомых, соучеников и просто милых людей, которые сразу же пошли мне навстречу, и я получил место преподавателя географии в местной трудовой школе, помещавшейся в бывшей Мариинской женской гимназии. Заведующей этой школой была бывшая начальница этой же гимназии, чудом сохранившая за собой такой пост.

Оставив семью в Снежном, я переехал в Никитовку. Время каникул я посвятил отцу. Я делал с ним короткие прогудки в хорошие дни, читал ему книги и газеты, так как он не мог долго сам читать, потому что быстро уставал, иногда я играл на фисгармонии его любимые вещи. А когда младший брат, учившийся в соседнем городке в техникуме, смастерил детекторный приемник, я находил концертные передачи из-за границы и передавал наушники лежавщему на кровати отцу. Отец знал, понимал, и страстно любил музыку. Он мог лежать с наушниками часами, и на лице его отражались тогда покой и умиление.

С начала занятий в школе я невольно немного отошел от больного отца. Уроки и собрания занимали очень много времени. Отец понимал прекрасно моё положение и смирялся с моим долгим отсутствием в течении дня. Но он был спокоен, так как чувствовал, что я всё же близко от него. Пусть наши школьные собрания и затягивались частенько до двух-трёх часов ночи. Но он знал, что всё же хоть на рассвете, но он услышит мой голос, мой вопрос к нему: «Ну, как? Утомился? Отдыхаешь?»

Моё пребывание в его доме действовало успокоительно на него, и это уже радовало меня.

Глубокой осенью он стал заметно терять силы. Прогулки наши прекратились. Свободное время я проводил у его кровати. Старый знакомый наш врач сказал мне, что отец может протянуть до февраля. Я следил за больным и убеждался, что доктор не ошибался.

В январе началась перевыборная кампания. Кажется в феврале или марте должны были «выбирать» советы. Я знал, что наступал весьма опасный момент, но выхода из положения не было. Отец уже проводил всё время в кровати, не поднимался совершенно. Оставить его в таком положении на руках сестры я не мог.

Незадолго до его смерти я узнал, что по постановлению горсовета я лишен права голоса, как «белогвардеец».

Сначала я обрадовался. С меня свалилась неприятная обязанность «быть избранным и иметь право избирать». С точки зрения врага советской власти, мне казалось, это было даже отлично. Теперь ни прямо ни косвенно я власть не поддерживал, не принимал участия в отвратительной «выборной» кампании, не поднимал своей руки за преподносимый общему собранию партийный список, и я почувствовал себя человеком вполне нормальным, здоровым. Больше кривляться мне не нужно было.

Однако радость моя была преждевременна. На следующий день я прозрел. Едва я явился на занятия в школу, сейчас же ко мне поспешил делопроизводитель:

– Зайдите, пожалуйста, к Марье Петровне. У нее к вам срочное дело, – таинственно прошептал мне на ухо молодой человек.

Что-то заставило меня насторожиться. Я осторожно постучал в кабинет заведующей.

Марья Петровна – старая гимназическая начальница – восседала на том же самом месте, в том же самом кабинете, что и два десятка лет тому назад. Правда, она очень изменилась. Её начальствующий тон перестал быть таковым. Одних она принимала со спокойной улыбкой, с дружескими разговорами, других – внешне спокойно, но строго, хотя и по-начальницки, сдержанно. В таких случаях она сидела напротив собеседника и как бы отклоняла всё время свою седую голову от удара, который должен был рано или поздно обрушиться на неё. Она это предвидела, предчувствовала, и в тридцатых годах «рука пролетарского правосудия», действительно, не пощадила её: Марья Петровна совершила вынужденное путешествие в Среднюю Азию, прожила в ссылке более пяти лет и вернулась героиней в родной городок перед самым приходом немцев. Гнездо её было разрушено...

– Войдите! – раздался из кабинета её звонкий голос.

Марья Петровна сидела за большим письменным столом. Над её головой висел портрет «дорогого» Ленина. Почему-то я посмотрел сегодня на эту лисью физиономию и мне показалось, что на на лбу у вождя мировой революции пробивались рожки.

«Черт», – подумал я, занимая стул предложенный мне заведующей семилетней трудовой школой.

– Здравствуйте, здравствуйте, – нервно повторяла Марья Петровна, – не знаю с чего и начать мне... Неприятности всё... Неприятности у нас... Что и делать мне с вами? Как вам рассказать-то...

– Вероятно, в связи с лишением меня права голоса? – спокойно спросил я.

– Да, да, дорогой мой... Вы же знаете... Я теперь человек маленький... Никто теперь со мной не считается... Ничего не могу придумать, ничем не могу вам помочь, дорогой мой... Ничего не могу сделать для вас... Даже посоветовать трудно теперь... Время-то, сами знаете, какое настало... Только посочувствовать могу, да вам-то что от моего сочувствия?!

– А что, собственно говоря, произошло, Марья Петровна?

– Да видете ли... Из наробраза по телефону сказали, чтобы я не допустила вас к работе... Потому что вы лишенец... Это же ужасно! Ужасно! И вы, дорогой мой, остаётесь без работы, и мы теряем такого

прекрасного преподавателя... Ведь это же страшное время... Боюсь за вас, дорогой мой... Знаете трудно вам будет найти работу... Но вы все же попробуйте... Зайдите в наробраз к Сергей Сергеевичу... Он человек сердечный, беспартийный, он скажет вам как быть... Пойдите к нему обязательно... Пойдите сейчас же, не откладывайте в долгий ящик... Знаете ли, нужно ковать железо, пока горячо... Простите меня, я принесла вам такую недобрую весть. Но время теперь такое, что и сам не знаешь, что ждет тебя самого. Вы же меня понимаете...

Я спокойно выслушал «оправдание» бедной Марьи Петровны и, показывая на портрет Ленина, спросил:

– Зачем вы этого черта повесили над своей головой? Думаете, что он вам счастье принесет? Нечистые никогда до добра не доводили!

– Как черта? – удивилась старая заведующая, – Это же Ленин! Тише, ради Бога, тише. Что вы говорите?!

– Марья Петровна, дорогая, да вы всмотритесь хорошенько в эту образину! Посмотрите внимательней на него! Что это у него там на лбу? Ведь это же рога самые настоящие! Чертячие рога!

– Господи! Что вы говорите! Уйдите, ради Бога, поскорее отсюда! Лучше уйдите отсюда! Только зайдите обязательно к Сергею Сергеевичу. Я позвоню ему...

К Сергею Сергеевичу я, конечно, зашел, но ничего утешительного от него не узнал.

– Дело это из горпарткома идет... Не нашего это ума дело... Но хорошего ничего не предвижу... – печально сказал мне старый учитель, работавший инспектором наробраза.

Я вернулся домой. Сестра привыкшая к моим поздним возвращениям, удивилась:

– Что так рано?

Я рассказал ей всё, и мы решили отцу ничего не говорить. Через несколько дней отец умер.

После похорон я начал задумываться над моей судьбой. Без права на работу, оказывается жить нельзя. Получить же это право не так просто. А, может быть, и невозможно. Оставаться здесь, где меня все знали, нельзя. Нужно было немедленно уехать, замести следы и, скрыв прошлое, поступить на работу в другом месте.

Теоретически всё было превосходно.

В действительности же дело обстояло совсем не так просто. Нужно было сняться с воинского и профсоюзного учета. И в первом и во втором случае я рисковал тем, что мне в моих документах напишут

о том, что я лишенец.

В таком положении я был не один. Я знал, что многие хлопотали но результатов никаких пока никто не имел. Один из моих друзей, работавший в горсовете и знавший дела лишенцев, сказал мне:

– Хлопотать здесь нет никакого смысла, здесь все враги даже друг к другу... Но советую тебе попробовать написать Петровскому. Говорят, что он помогает. Попробуй, может быть, повезет тебе...

Я написал заявление, в котором прямо изложил все обстоятельства моего дела. Я указал, что действительно служил добровольцем в Белой Армии, но сейчас никакой борьбы с советской властью не веду, признавая себя побежденным. Свое заявление я показал моему доброжелателю. Он покачал головой и посоветовал прибавить мои уверения в «любви и преданности» к существующему режиму, которые я с негодованием отверг.

– Ты что? Считаешь меня за некое пресмыкающееся? Я и так делаю на себя поклёп, когда пишу, что не считаю целесообразным вести борьбу с советской властью, признав себя побежденным. Да и, вообще, какой это ужас писать такие заявления?! И кому?!

– Тогда лучше не посылай ничего, – сказал мне приятель.

– А что же делать? Как же быть дальше? Ведь я-то есть хочу?

Да, вопрос мой остался без ответа.

Сестра продавала на рынке вещи. Мы пока имели чем жить, голода, во всяком случае, не ощущали. Страшило только будущее. Правда, многочисленные знакомые и друзья принимали деятельное участие в постигшем нас горе и обещали сестре найти работу.

Однажды, сестра пришла с рынка с неприятными новостями:

– Арестовали Копейкина... Василь Иваныча сына тоже забрали... Глеб исчез...

Всё это были лишенцы и с этого дня сестра, уходя на рынок, запирала меня на ключ, а приходя домой, рассказывала:

– Турчика арестовали... Сына Валентины Александровны... Петренко тоже...

Положение становилось угрожающим. В течении нескольких дней мы изучали обстановку и убедилиеь, что все аресты производились днем, что арестовывали, главным образом, тех, кто служил в армиях, боровшихся против красных. Когда мы узнали это, я решил на день уходить из дому.

На рассвете я подымался, брал с собой ломоть хлеба и уходил, когда на улицах не было еще ни души, далеко за город, подальше от

людей, которым я начинал недоверять. Там, среди полей и лугов просыпавшихся после долгой зимы, среди балок и перелесков, оживавших с весенним теплом, я проводил время до темна, и тогда только возвращался домой. Особенно я любил посещать так называемую Криничку – любимое место отдыха горожан.

Криничка представляла собой пять глубоких яров, сходившихся в одну глубокую и широкую выемку, дно которой представляло собой озеро, окаймленное деревьями и кустарником. Когда-то здесь была устроена плотина, через которую переливалась шумно вода, образуя огромный водопад. Здесь, сидя над водой, в шуме её я слушал музыку времени, не теперешнего, а старого, прошлого. Я жил здесь моими воспоминаниями.

Еще более красивые водопады были в начале балок. Особенно в самой крайней, где по каменным разноцветным уступам журчащий поток разбивался при падении на тысячи мелких брызг, образуя внизу белоснежную пену. Движение и шум были бесконечны. А выше этого красивейшего зрелища, почти в самом начале балки, среди каменных глыб, уступов, расщелин и провалов было место, где когда-то до революции находилась большая пасека. От неё остался след в виде высеченного в каменной стене убежища, в котором жил сам пасечник Корней в летнее время. Часть этого убежища представляла собой место для хранения пчел в зимнее время.

Высеченный домик в скале теперь зарос травой, кустарником, вылезшим, из каменных плит и закрывших собой когда-то приветливое местечко. Но внутри еще можно было увидеть выбеленные стены, покрытые пылью времени, у окна – высеченный стол с тремя табуретками, а у противоположной стены печь, на которой готовил себе дед Корней еду, и кровать, на которой он спал. Сохранилась и кое-какая утварь: чайник с несколькими чашками, несколько стеклянных баночек, в которых, вероятно, был когда-то мед, тарелка и деревянная ложка. Всё было, конечно, покрыто грязью, но еще было цело.

Пасеку эту большевики разграбили ещё в 1921 году. Весной на рассвете наскочил на это место отряд из батальона по борьбе с бандитизмом. Начальник отряда потребовал от деда Корнея меду. Старик начал уверять что в такое время «взятка еще нету», но храбрый командир приказал атаковать пасеку. В результате все ульи были разбиты, а дед Корней долго лежал, на камнях с простреленой головой.

Теперь же было страшно вспоминать недавнее прошлое! И выросший, высокий кустарник перед домиком деда как бы скрывал это прошлое. Но я приходил именно сюда, считая, что страшная

история еще не забыта и люди сюда могут забрести только случайно.

Я сидел здесь иногда целыми днями и слушал журчанье ручья, шум потока, падающего в стремнину, здесь я оставался с моими невеселыми мыслями и воспоминаниями.

Солнце ярко освещало землю, буйная зелень рвалась вверх, летали птицы и стрекозы, жужжали только не пчелы, а жирные толстые шмёли... Но попрежнему журчал и шумел ручей, разбиваясь на уступах на тысячи мелких брызг, образуя легкую белоснежную пену внизу водоспада...

Я проводил здесь почти всё время моего одиночества. Никто сюда никогда не приходил. Я сидел или лежал на густой траве, слушал музыку весны и думал, думал, и думал. Прошлое смешивалось с настоящим, всегда приводило к одним и тем же мыслям: «Где же найти выход из создавшегося положенния?»

Дело в том, что обстановка никак не благоприятствовала мне. Каждый раз, когда я приходил домой, сестра мне рассказывала всё новые и новые случаи арестов или исчезновений знакомых и незнакомых мне людей.

Подходила Пасха. Последние дни Великого Поста. Не несется благовест по полям, как когда-то это было. Церкви закрыты, колокола давно сняты. Только люди в глубинах дум своих сохраняют веру во Всевышнего Бога.

За несколько дней до Светлого Воскресенья мое одиночество было нарушено. Как всегда, я сидел над ручьём. Шум его не давал возможности слышать шагов. Вдруг кто-то тронул меня за плечо. Я обернулся. Передо мной стоял старик с длинной белой бородой.

– Што ты тут робишь? – спросил он у меня.

– От людей скрываюсь, – прямо ответил я.

– Што ты! Люди тебе зла не сделают.

– Люди? Уже, отец, сделали!

– Может, ты им не потрафил чем?

– Я-то?

– Может, ты зло кому причинил?

– Чего же мне людям делать его?

– Мало на свете людей? Тышши! А разные есть. Одни добро делают другие – зло. Кому что на роду написано...

– Ну, старик, мне зло незачем делать... Я, видишь, властью обижен.

– Во как! Властью, говоришь? Да, родимый, разе это власть?

– Ну, а как же? Раз сидит там вверху и правит страной, значит власть!

– Голубе! Оно то власть только какая? Вот я тебе скажу, есть на земле власть Божия, а вот есть и дьявольская. А через кого всякая власть? Одна от Бога, другая – от дьявола. Вот был у нас император, Николай Александрович – этот от Бога был, ну, а вот эти-то... как их там и звать-то... Страшно и молвить, одним словом, это все от дьявола... Понял?

– Это, старик, я, всё понимаю хорошо.

– А што ж тебе ишшо надоть? В остальном, значит, живи сам по-божьему, то есть, как, в Писании сказано... Делай добро, люби ближнего своего...

– И это я знаю хорошо... Да вот как быть-то, когда жизни не дают? Ведь вот выгнали меня с работы, а жить-то чем-то нужно?

– Милой, не сиди, не жди, как сказано в Писании: «Уйди от зла и сотвори благо». Так вот и ты, зачем сидишь тут? Уйди отсюда, потому зло для тебя здесь, понял?

– И это я знаю отлично, да вот уйти-то не так просто! Ведь мы-то, молодые, все записаны...

– У нёчистого, на книжечке! Знаю, знаю, да ты, голубе, с Писанием к ним, так они так и отшатнутся от тебя! С божьим словом к ним, а слово Бога они боятся боле всего!

– Нет, старик, тебе, видно, не понять меня... Ты из села?

– Эх, ты! Хучь ты и из города, с ученых, а, думаешь хуже неуча! Я-то тебя, дружок, понимаю, только виж, что ты не понимаешь меня. А, скажи, голубе, какой день великий предстоит нам в скорости пережить?

– Пасха, Дед, идет. Только радости мало она несет нам...

– Не говори так, голубе греха не бери на душу! Разве не радость людям это, а? Воскресение Христово! Ты, грамотей! Тебе твоя «болячка» больше всего! Христос Воскреснет! Что может быть человеку радостнее? А?

Я понял моё заблуждение и искренне пожалел, что так необдуманно сказал старому человеку.

– Ну вот то-то, голубе... Я к тому спрсил, чтоб узнать тебя... Ты и сам рассказал мне... Радости нет! Ну, и ладно... знаешь, почему. я тут появился?

– Нет, Дедушка, не знаю.

– Вишь... как тебе рассказать... Церкву-то нашу закрыли.

– Знаю... А где же батюшка, отец Григорий?

– А ты его знаешь?

– А как же! Он приятельствовал с моим отцом.

– Ну, так слушай. Батюшка на шахтах работает...

– На шахтах? – Воскликнул я с удивлением.

– Жизнь спасает... Ради нас грешных... Чтобы не покинуть нас, овец стада Божьего... К нам он иногда приходит... Службу правит. Вот и на это воскресенье у него выходящий. Придти должон. Пасху нам освятить. Службу будет служить... Вот я и пришел сюда. Чтобы тут, значит, все устроить нам... Коммунистам сюда дорога заказана... Потому убили они тут нашего старика одного...

– Знаю, деда Корнея.

– Во, ты и это знаешь? Кто ж ты такой?

Когда я рассказал о себе деду, он совсем перестал сомневаться во мне, так как и он знал моего отца, да и меня знал, только в те времена, когда я был совсем маленьким.

– Ну, так слушай, – сказал он мне, – мужики наши решили Пасху устроить по-старому. Церкви нету у нас теперича. Ну, что же. Дело это исправимое. Дело не в помещении-то. А в вере. А службу Божию можно справить где угодно. Хочь под открытым небом. Только мы решили здесь всё устроить. Потому здесь, как Голгофа и сад Гефсиманский. А батюшку упредили. В ночь будет здесь. Только вот решили мужики порядок навести тут. Чтобы, значит, всё, как следовает быть. Прибрать надо всё. Вот я на разведку и пришел.

– Это задумали вы хорошо. А я вам помочь сумею, потому у меня нет никаких дел теперь – свободная птичка!

– Ну подымайся, пойдём да посмотрим, что и к чему тут...

Я поднялся и пошел с дедом осматривать бывшую пасеку. Старик шел неспеша, приговаривая всё:

– Тут и мои улики были... Божьи пчелки были... Место то тут какое! Меду-то сколько было! И дед Корней занимался этим делом неспроста... Потому старым людям для прощения грехов это требуется. Сидит один с пчелой, разговору, известно, у него никакого, мысли чистые, как воздух, скажем, сидит стало быть, грешник-старичек такой и Бога хвалит, и Бога просит простить ему грехи все его и прегрешения... И пчела просит за него... И жить старику тому становится легко тут, потому что сам Господь Бог видит всю его праведную жизнь туточки! А теперь нам и спасаться-то негде. Потому

что, сынок, товарищи, меду не хотят!

– Спасение может быть и без мёда, дедушка.

– Нет, сыну. Вишь пчела – это божье творение. Несет она в домок к себе и мёд, и воск. Человеку – мёд, а Богу – воск. Святое дело это. Понимаешь?

– Понимаю. Только думаю, что спасение можно получить не только на пасеке...

– Ну, как тебе рассказать это... Вишь жил дед Корней, и спасение нашел здесь, на пасеке, а мы вот грешим на селе... Потому теперь ни пасеки, ни монастыря. Понял?

– Понял, понял, Дедушка.

– Ну, а дела нынче так пребывают: домок дедов нужно расчистить. Здеся Богу будем молиться. В дедовой хатке. Потому и хатку почистить требуется. Значит, какой струмент требуется? Топоры, лопаты, веники... Бабы хатку вымажут, приберут... Тут алтарь сделаем, тут левый клирос, а тут правый... Вот только как кругом нашей церковки ходить то придется... Неужто по горе? Так и заметить нас смогут... Надо всё обдумать... Люди ж соберутся... Так чтобы все по-хорошему... Потому, может и партийный какой забредет к нам... Богу захочет помолиться...

– А что, есть у вас и такие?

– Ну, а как ты с мужиком будешь? Он хоть и искусился на партийный билет тот, а Бога вспоминает... Только чтобы начальство его не заметило... Что ж ты думаешь, веру-то из души вырвать можно? А народ хоть и партийный, а всё же еще крещеный. Вот и ищет способов, как ему от антихриста своего уйти. Ну, а мы пускаем к себе... Лишь бы с чистым сердцем...

– А что, Дед, разве у вас и раньше были такие службы? А что, разве и партийные ходят к вам на богослужение? А что, разве отец Григорий у вас всегда служит ? – засыпал я его вопросами.

– Обожди, не гони шибко... Всё у нас, как у православных христиан и служба Богу идет своим чередом, и отец Григорий к нам приходит, а как нет ему времени, то человека такого присылает которому поручено службу служить... Их монахов... Тоже в шахтах уголь долбают... А партийные – так это ж наши дураки-мужики... Позарились на добро... Да и добром-то называть невозможно... На власть эту самую коммунистическую... Потому всякие им партийные снижки происходят... И налог меньший платят, и в кооперативе всякий товар купит, ну, сам знаешь, какая правда у них там... А вот Бога не забывают. Приходят к нам. Церковь же у нас переходящая. Сегодня у

Власовны, а на ту неделю – у Потапа. Потому это необходимо, чтобы власть не заприметила. Строга она насчет тайной церкви. А что поделаешь, когда человек без молитвы не проживет? Так и тянет его помолиться в церковку...

– А ваши партийные мужички, не выдают вас?

– А как же они нас выдадут, ежели сами приходят молиться?

– Может быть, для того, чтобы выведать всех вас, а потом донести своему начальству?

– Ну, вишь, может оно и так, а пока что всё у нас по-хорошему. Только мы такое тоже думаем... Предостережения всякие имеем на этот случай... Не всякого пускаем в нашу церковку...

– А как же вы можете узнать с чем человек идет к вам? Может быть, тот как раз и проскакивает в вашу церковку, кто хочет донести на вас?

– Видишь, Христос от Иуды не ушел, а мы что ж? Всё, конечно может быть... Всякие есть люди...

– И вам всем тогда придется пострадать?

– Христос за всех нас пострадал? Так нам-то чего боятся пострадать за самих себя?

– Время теперь...

– Время теперь такое, как у первых христиан... Батюшка нам рассказывал, как мучали и убивали когда-то верующих... Нам пока Господь Бог не сподобил таких мучений... А будет такое, что же нам делать? Принять мучения, как должно христианину... Ну, мы с тобой заговорились... Тут дело другое... Быстрое... Потому праздник не далеко... Успеть бы всё нам к сроку... После обеда придут сюда мужики... И баб пришлю... Подбелить нужно... Чтобы светлое Воскресенье в светлом домке встретить.

Это было, вероятно в среду, а к субботе место было неузнаваемо. Кустарник был вырублен, трава вырвана, окошечко застеклено, в хатке деда Корнея было светло и чистенько. В глубине был устроен алтарь. Он был отгорожен от остального места зеленью, врата были устроены из белого крестьянского холста, клиросы были отмечены мелом.

Вечером пришел дед, с которым я познакомился здесь. Осмотрев всё, он сказал:

– Ну вот... Пасху святую встретим, как полагается православным людям... С молитвой... Куличи посвятим... Крашенки бабы наготовили... Сало есть... Нас Господь не забывает... Лишь бы мы

его не забыли... Время теперь такое, что человек, как зверь становится. И про Господа Бога не думает... Нехорошее время...

Мы спустились вниз, к ручью, журчавшему, меж камней.

– Никто не знает своего конца... Вот, здесь когда-то жил наш дед Корней! Пасечник он был... И было у него здесь как в раю. А вот пришло время, и помер мученической смертью дед... Ни за что убили его...

– Бандиты, – спросил я, – как будто бы не зная истины.

– Да как тебе сказать... Тогда время было такое, что не разберешь, где бандит, где...

Старик не договорил, но я знал, кто был виноват, и подсказал ему:

– Власть убила?

– Кто знает, кто там был, только рано утром нашли старика с простреленной головой... А суда какого или следствия, как в былые времена, не было. Вот и суди теперь, кто порешил бедного деда! А за что? Человек от роду никому слова плохого не сказал, а вот пришлось жизнь отдать за что? И теперь мужики вспомииают и спрашивают, за что? А кто, кроме власти, может сказать? Ну, а у неё-то спрашивать не полагается. Сам знаешь...

Мы осмотрели всё и вернулись к домику деда Корнея.

– Ну, спешить требуется, Батюшка-то живет далече от нас... Конячку бы выслать успеть... Народ предупредить... делов еще хватит... побегу я на село...

Статрик трусцой выскочил из яра и направился в, потемневший перелесок, за которым начинались первые хаты села. Я направился домой, чтобы сказать сестре о необычной Пасхе, которая ожидает нас. Я знал, что сестра готовила куличи и что она с радостью пойдет со мой на пасхальное богослужение.

Через полчаса я был дома. Сестра приготовила узелки. Как ни бедными были в то время, но всё же к празднику у нас было все.

В полночь мы тихо вышли из дому и пошли по дороге, ведшей к Криничке. Так как нужно было идти всё время вниз, то мы довольно скоро достигли импровизированной церкви. Уже когда мы подходили, то чувствовалось что-то необыкновенное. Откуда-то исходил таинствеенный свет, вернее светящееся сиянье, слышалось журчанье ручья, через котрое пробивался людской говор, сдержанный и осторожный. А когда мы приблизились к балке деда Корнея, то перед, нами раскрылся чудный предпасхальный вид: церковка сияла огнями, внутри было людно, молящиеся стояли большей частью возле. Из

церковки доносился голос отца Григория, которого я сразу же узнал. Служба началась. Мы стали с сестрой на свободном кусочке дедова подворья и искренне предались молению.

По вменам выходил мой знакомый дед, подымался вверх по балке и через некоторое время спускался вниз. Оказывается, что где-то недалеко от места нашего моления был наблюдательный пост, и старик время от времени производил смену, чтобы дать возможность помолиться всем. Не ушел и я от этой обязанности, и выполнял её, как должно было: смотрел в оба прислушивался к каждому шороху, но слава Богу, никакая власть не знала о нашем тайном собрании.

С восходом солнышка раздалось мощное «Христос Воскресе», и люди со слезами на глазах целовались, поздравляя друг друга с великим праздником.

Радостные и довольные, успокоенные и счастливые мы возвращались домой со священными куличами, яйцами, салом и солью. Пасха была самая настоящая.



ПЕТРУШКА

Собственно говоря, стоит ли писать о том, что это был голодный год? Да, стоит, потому что сытых никогда еще не было, но бывали годы полуголодные. Петрушка, конечно, не понимал, что такое сытые годы или голодные, он знал только одно в своей маленькой жизни, что ему всегда хотелось есть. Его детские угольки-глазенки пытливо рассматривали открытвавшийся перед ним мир и его немножко картавый язычок беспрестанно задавал вопросы:

– А что это такое?

– А зачем это?

– А почему это так?

– А как это? – и засматривал в улыбающиеся ему добрые отцовские глаза, удовлетворяясь его ответами, хотя далеко не всегда понимал их.

Весь мир улыбался Петрушке. Улыбалась, правда сухо и скупо мачеха, улыбались соседи, улыбались дяди, приходившие к отцу то ли с заказами, то ли на примерку. Казалось, что даже самый злющий-презлющий Арап, огромный, лохматый пес, которого боялись все в городе, и тот, звеня тяжелой цепью, вилял хвостом, подымался, стряхивал с себя пыль и улыбался сквозь длинную, какого-то грязного с коричневым оттенком цвета шерсть, закрывавшую ему глаза! Вот только почему-то всегда хотелось есть Петрушке! Даже тогда, когда он улыбался в ответ на улыбки других! Почему?

Петрушка вполне серьезно думал, что всем и всегда хочется есть. Это не означало, что все мысли и чувства, желания и стремления были направлены только на еду. Нельзя сказать, что он все время голодал, но к полуголодному состоянию так привык, что оно казалось ему самым обыкновенным не только для него одного, но и для всех людей. Пожалуй, он и не ошибался. Сытых было так мало, что их нельзя было и увидеть на улице! Вероятно, они просто прятались от полуголодных и голодных. Может быть, они боялись, что их съедят тут же на тротуаре?

Правда, слышал он, как ели и пили люди когда-то – ох! какие же это были вкусные разговоры! Но это было так неправдоподобно слушать, даже из уст отца, которому он, безусловно, верил, что

Петрушке казалось что он просто слушает какую-то очень вкусную сказку.

Пришла как-то мачеха с базара и, как обычно, с новостями, – Собор будут закрывать! – сообщила она Петрушкиному отцу.

– Удивляться нечему... – ответил ей отец, пришивая пуговицу к перелицованному пиджаку, – Собор можно закрыть, разрушить, разграбить, но веру – то у людей вытравить нельзя!

– Не то театр, не то киношку хотят там устроить.

– Они и уборные могут там сделать! От них всего можно ожидать!

Петрушка прислушивался к разговору и думал о том, что отец все знает, все понимает, а по тону его ответов понимал, что «они» – это не обыкновенные люди, а босяки. Так «их» и называл отец всвгда, предупреждая, Петрушку:

– Петрушка, смотри, это я тебе только так говорю, другим – нельзя!

– Знаю... – тихо отвечал маленький мальчик и никому не говорил, как «они» называются. Потому что, раз так говорит отец, что нельзя, то уж он, Петрушка, никогда не скажет.

В воскресенье Петрушка идет с отцом в церковь – в собор, проходит прямо в алтарь и надевает стихарь. Батюшка возле стоит, тихо читает молитву. Он всегда так – стоит и молится. Осмелился Петрушка:

– Батюшка, это правда, что собор закрывать будут?

Отец Константин перекрестившись, наклоняется к мальчонке:

– Говорят, милый мой, говорят... Что ж, милый мой, не от нас эта власть, не от Бога. Будем молится...

И Петрушка молился. Всю обедню молился. И, как будто, вымолил Боженьку. Затихли разговоры.

Два священника с дьяконом служили в соборе старом каждый день, потому что был тогда Великий пост. А собор очень старый, могучий такой, что во всем городе и дома такого не сыскать! А службы какие в нем бывали! Любил Петрушка их великолепие, любил красивое, успокоительное пение и всегда искренне молился обо всех людях. Но особенно горячо молился он об умершей маме, которую он, правда, не помнил, но о которой часто говорил ему отец. Молился он и об отце, о сестрах и братьях, ну, и о себе немножко.

В те годы служилось очень много панихид. Уж очень сильно мер люд. То ли от болезней, то ли от голода – трудно сказать. Да и

панихиды служились не только по тем, которых хоронили батюшки, но и о тех, которые умерли «там».

Петрушка знал это «там»! Все его знали! Это «там» находилось и не так далеко от собора – в улицу только сверни – и «оно» – «там».

Ну, а к панихидкам богобоязненные женщины, старые и молодые, приносили кутью. Угощали всех. С ложечки. А Петрушке всегда, правда, напоследок перепадало все, что оставалось на тарелочках. Бывало больше чем с ложечки. А кутья тогда разная была. У одних – из риса, у других – из пшеницы, у третьих – из ободранного ячменя, а бывали и такие, что приносили кутью из пшена или даже из манной крупы. А где же купить хоть бы тот же рис? На мостовой он не растет! В магазинах – не найти. А на базаре – далеко не всякому доступно. Но Петрушка ничего этого не признавал – доедал все, что оставалсь на тарелках.

Однажды дома было так голодно, что даже отец подтягивая ремешок проронил, – Уж, как есть хочется!

О, Петрушка смышленный был! Хоть и маленький. И со следующего дня стал приносить домой кутъю, которая оставалась на тарелочках и которую отдавали ему бедные женщины.

Даже баночку специальную нашел дома. Вычистил, вымыл тщательно и под курточкой стал носить с собой в собор, а из него полную приносил домой:

– Вот тебе, папа, кутьи принес, чтоб тебе есть не хотелосъ. – и отец со слезами на глазах принимал сыновий дар и ел, чтобы не обидеть маленького Петрушку. Так прошел Великий пост. А весной, после Пасхи, собор был закрыт. «Они» закрыли.

Петрушка же с отцом остались жить впроголодь, как жили прежде.



ПРАВДЫ РАДИ

Религия – опиум народа.

– Карл Маркс

Печальная, тоскливая осень. Низкое тусклое небо гнетёт неведомой тяжестью. Сутками льёт монотонный дождь. Ветер ночами стонет в трубах, стёклами дребезжит в окнах. На улицах слякоть, осенние ручья, смывая летнюю грязь, мчатся куда-то за город далеко-далеко. Через окна виднеются блестящие крашеные крыши, почерневшие от дождя деревянные заборы и полированные скелеты деревьев давно уже сбросивших свои пышные летние наряды. Редкие прохожие, осторожно ступая по тротуарам, куда-то бредут без цели, без надежды, без желания. На их лицах уныние и страх.

В стороне от главной улицы в здании какого-то бывшего среднего учебного заведения собраны учителя Донецкой губернии для переподготовки. Старая школа, готовившая «белоручек», отжила. Новой власти нужна новая школа, которая готовила бы «трудящихся». Вот для этой новой школы здесь и перековывают старых учителей.

Из центра партии брошен лозунг: «Политехнизация!» Все учительские журналы и газеты пестрят разными статьями о политехнизации, из центра несутся распоряжения, циркуляры и инструкции... Бумага, бумага, бумага... Сколько её исписано и сколько переговорено! Политехнизация!

Учительницы и учителя шьют обувь, точат болты, куют подковы, делают табуретки, нарезывают гайки, переплетают книги, делают вёдра... Тешут, пилят, забивают, режут... Стучат, кричат, шумят... Слушают лекции о политехнизации, об управлении производством, о сопротивлении матерьялов, о коррозии металлов, об агрономии и о горном деле, о металлургии и железнодорожном транспорте. Все заняты, многие увлечены, но, главное, все сыты, все довольны курсовой кухней. Лишь изредка в свободные минуты возникают вопросы: а как же вот эту политехнизацию ввести в учебный план первого класса? Как восьмилетнего ребёнка научить грамоте за токарным станком? Как научить считать подковы с тяжелым молотом в кузнице? Задумаются и отмахнутся учителя:

Москва инструкции пришлет!

Через два месяца курсы заканчивали свою работу. Дня за два до окнчания заведующий курсами объявил:

– Завтра приедет товарищ из центра и прочтет лекцию об антирелигиозном воспитании детей в школе.

Громадный рекреационный зал заставлен до отказа партами. Молодые и старые учителя и учительницы неспеша заполняют места. Заведующий суетится, подгоняет медленно идущих по длинным коридорам, забегает в классы-спальни, упрашивает, настойчиво требует, приказывает. Наконец, зал гудит приглушенным говором.

На кафедру входит лектор. С его студенческой тужурки сорваны петлицы, а вместо металлических пуговиц пришиты обыкновенные черные. Он кладет свою фуражку-седло на кафедру, раскрывает портфель, толстый и тяжелый, вынимает кипу плакатов с жирными черными буквами и не меньшую кипу бумаг испещренных ровными полосками печатной машинки. Плакаты он прикрепляет кнопками к стенам. Они гласят:

«Долой религию!»

«Религия – опиум для народа!»

«В царстве свободы нет места религии!»

Развесив несколько длинных полос, лектор возвращается на кафедру, протирает пэнсне и, приготовив стакан с водой, начинает, наконец, свою лекцию:

«Товарищи педагоги! Революция освободила всех нас наполовину. Мы находимся еще во власти религии, которая не только не дает нам возможности познать истину свободы, но будет тормозить наше революционное движение вперёд до тех пор, пока мы от неё не освободимся. Вы, строители человеческих душ, призваны освободить детский разум от ненужного хлама, которым является религия. Величайший мыслитель социализма Карл Маркс сказал: «Религия – опиум народа...»

Зал стих. Склонённые головы упорно смотрели вниз. Ни одна пара глаз не взглянула на лектора за всю его долгую речь. Странная тишина и неподвижность нервировали товарища из центра. Ему, вероятно, казалось, что он читает лекцию в пустом зале. Он то повышал то понижал голос, то останавливался вдруг, или внезапно начинал кричать и, не договаривая слова, снова остановливался. Он применял все способы воздействия с трибуны на своих слушателей, но зал был мёртв: ни единого звука не исходило от сидящей перед ним массы.

Наконец, лектор закончил свою трёхчасовую речь. Он взял стакан с водой в руки, ожидая реакции со сторены учителей, но зал был попрежнему тих и недвижим. Лектор отставил стакан, быстро сложил свои бумаги в портфель и почти бегом выскочил из зала. Учителя продолжали сидеть также тихо и неподвижно, пока не раздался знакомый голос заведующего курсами:

– Товарищи, перерыв на обед! После обеда – вопросы по докладу.

Тяжело поднимаясь со своих мест, слушатели разходились по комнатам-спальням. Разговоры терялись на полпути. Всеми овладело сакое-то неприятное чувство—не то было чего-то стыдно, не то досадно. Учителя почему-то избегали смотреть друг другу в глаза.

После обеда также неохотно, также медленно слушатели собирались в зал. Когда все заняли места, товарищ из центра снова появился на кафедре.

– Кто имеет вопросы? – обратился он к молчаливо склонившимся над партами учтителями.

Окидывая взглядом собравшихся, он увидел высоко поднятую руку.

– Ваш вопрос? – спросил он, обрадованный единственной поднятой руке.

В зале зашевелились, подняли головы, взоры устремились туда,где уже стояла учительница-курсантка.

– Я не имею вопросов, но я хочу говорить по докладу, – решительно произнесла женщина и направилась к кафедре.

Лектор уступил ей место. Он торжествовал. Наконец, лёд глухого молчания пробит!

Учительница взошла на кафедру. Голова её была слегка поднята вверх, глаза прямо смотрели на сидящих, голос зазвучал твёрдо и уверенно:

«Тысяча девятьсот двадцать лет тому назад родился Христос. Тысяча девятьсот двадцать лет тому назад Он Своим рождением принёс человечеству Великую Истину, через Которую мир познал Бога. Христос принёс Свет радости общения человека с Богом, любви к Нему и к ближнему. Жизнь Христа на земле, Его учение, Его проповеди – вот та основа на которой мы до сих пор строили и будем продолжать строить наше воспитание и обучение детей...»

Тяжелая серая пелена на небе разверзлась. Из далёкой осенней бирюзы солнце брызнуло пучком ярких лучей и осветило золотистую головку смелой женщины. Её глубокие большие голубые глаза

блестели, в них пылал неугасимый огонь веры. Лучи солнца играли в её вьющихся волосах и отблески их, отражаясь, создавали вокруг её головы светящийся ореол. Она была в этот момент необычайна в своей красоте и обаятельности.

Десятки глаз с величайшим напряжением следили за каждым её движением, за выражением её спокойного и серьёзного лица. Все ловили каждое слово её изумительно прекрасной речи, боясь пропустить малейший звук её плавного, бархатистого голоса. Все забыли, где они, зачем они здесь и почему, всё внимание их было сосредоточено на той, которая в своем воодушевлении так правдиво передавала то, что было в сердцах всех учителей.

Молодая женщина, чувствуя свое духовное единение со слушателями, еще вдохновленнее продолжала говорить о жизни Христа, о Его смерти и воскресении, она говорила словами Евангелия о добре и зле, притчами Христа напоминала о высшем назначении человека, о его греховности, о правде, добре и любви, она брала современную жизнь и, рассматривая её через призму христианства, говорила о падении человечества, об отклонении его от христианской морали, о служении людей Сатане:

«Вы отрицаете Бога, вы отрицаете веру в него – это ваше право сильных. Но помните: ни отрицание, ни запрещение, ни мучения не убили веры у первых христиан! Народ снова уйдет в катакомбы, народ снова пойдет на страдания, но веры его вы не уничтожите! Вы всмотритесь в историю человечества. Даже язычники, дикари с наивным мышлением ищут Бога. Не вина их, что темнота их, малоразвитость, некультурность приводят их к идолам. И там, у подножья дервянных или каменных божков, они, заблудшиеся, но не павшие, предаются молению, приносят жертвы и находят покой, успокоение, удовлетворение. Но когда, наконец, они познают Истинного Бога, с какой неподдельной радостью они вступают в общение со Всемогущим Творцом! Слезами они омывают пройденный путь заблуждения, с чистым сердцем, как дети, вступают они в лоно христианской церкви!»

С таким же вдохновением она продолжала:

«Вы хотите отнять у нас веру? Как у матери нельзя отнять её ребенка, так у человека нельзя отнять его веру! Вы хотите заставить нас искалечить детсткую душу? Нет, во имя Всевышнего Бога мы этого сделать не можем! Веру, пребывающую в детской душе, убить невозможно! Она, как искра, разгорится во всеобъемлющее пламя, и эту искру в детской душе вы не можете отрицать, как не можете отрицать лучей солнца, ласкающих нашу землю!

Вы можете нас только силой заставить молчать о Боге, но

помните, Вечный Судия призовет вас к ответу! Правду Божию не затаить учением Сатаны! Вы пигмеи перед Вечной Истиной, поэтому вы слиштсом слабы, чтобы бороться с христианством!»

Учительница спокойно сошла с кафедры и села на своё место. Уходящее солнце и здесь освещало её золотистую головку. Все мысли и взоры слушателей были направлены к ней, к этой русской женщине, смело сказавшей слово Правды вестнику Дьявола. Сдержать порыв зала было невозможно. Всё пришло в движение. Каждый стремился пробраться к ней, пожать крепко ей руку, поцеловать, сказать ей доброе, теплое слово...

Лектор постоял в нерешительности несколько минут у опустевшей кафедры, затем, схватив портфель и фуражку, быстро пересек зал и скрылся за его широкими дверями.

Ночь безумствовала ураганом. Ветер рвал и метал, склонял до земли вековые деревья, огромными снопами бросал дождевые потоки в окна, срывал крыши и вывески, сметал заборы. В темноте огромного школьного здания рождались дикие звуки. Они носились по длинным коридорам и пустым классным комнатам. Что-то выло, что-то стонало, ныло, что-то трещало, рвалось, ломалось, звонко разбивалось на мельчайшие кусочки, что-то стучало, гремело, ревело взбешенным зверем, и вдруг среди исступлённого хаоса звуков, движений и кромешной тьмы заострёнными зигзагами блеснула молния, разрезала мрак ночи, и вслед раздался оглушитедьный удар, потрясший землю, и раскатистым мощным эхом покатился в неизвестность, заглушая безумие бури.

В эту странную дочь луганские чекисты расстреляли безымянную русскую женщину – жену, мать, воспитательницу, и учительницу, смело выступивпую во имя великой Правды...



ИЗ ПРОШЛОГО

Христос Воскрес

Пусть Воскресение Христово /Наш дух упавший воскресит, /
И словно солнце путь изгнанья, /Лучом небесным озарит.
Да станут светлые глаголы, /За нас распятого Христа, /
В пути служитъ нам, как эмблемы, /Животворящего Креста.

- Баронесса С. Таубе-Аничкова.

Местечко Никитовка – в центре Донбасса. Оно населено рабочим людом, мелкими торговцами, ремесленниками, даже крестьянами. Национальный состав пестр. Здесь много русских, евреев, живут здесь немцы, поляки, есть тут и румыны, болгары, татары. В те времена, однако, никто не придавал значения тому, к какой национальности принадлежал тот или иной человек. Все были русскими, россиянами. Не говорили и о религии того или иного лица. Все знали, что каждый молится по-своему, но знали все, что есть Бог, в которого верят все.

В местечке был небольшой молитвенный дом, который вскоре после прихода большевиков был превращён в клуб, была синагога, превращенная в склад, где-то собирались баптисты, евангелисты. Когда же советская власть установиласъ, в местечке не стало ни священников, ни раввина, ни собраний евангелистов. Все было уничтожено. Началась борьба с религией. Борьба грубая, оскорблявшая чувства людей.

Несмотря на то, что большевики неустанно преследовали людей за религиозныя убеждения, все же в местечке в подполье появлялись священники и тайно совершали богослужения. Хотя власти знали об этих тайных молениях, но административным способом не могли ничего сделать, чтобы запретить их, поэтому каждый большой христианский праздник всегда сопровождался усиленной антирелигиозной кампанией.

1930 год. Весна. Зеленеют деревья. Цветут первые весенние цветы. Солнце днем припекает, хотя по вечерам еще довольно прохладно. Чувствуется, что лето уже не за горами. Природа с необыкновенной силой оживает, всё воскресает, всё рвется ввысь, к

небесам. И человек оживает от долгой неприветливой зимы.

Подходит Пасха. Её торжественность чувствуется везде. В человеке, в листочке зеленом, свежем, в травинке, в цветочке полевом.

Великий пост на исходе. Страстная неделя кончается. Завтра Пасха завтра Воскресение Христово. В душе непонятная радость и торжество.

На околице местечка расположена «единая трудовая школа». Это бывшее земское училище. Но после революции, сюда перевели бывшую гимназию и создали одно советское учебное заведение, которым в те времена заведывала Марья Ивановна Кириченко, бывшая заведующая земской школой.

В субботу утром она получила приказ «организовать» антирелигиозное шествие по местечку. К ней явились инструктора-комсомольцы, которым она не имела права ничего сказать. Они стали полными хозяевами школы. Они-то и принялись горячо за подготовку школьников к походу.

Инструктора появились в школе не с пустыми руками. Они принесли с собой узлы, в которых были костюмы для похода, парики, грим. Все было сложено в учительской. Сами же инструктора разошлись по классам и начали разучивать с учениками антирелигиозныё песни, лозунги, представления.

Детвора, как детвора. Новизна для них была интересна. Они не понимали еще того, что должно произойти. И неизвестность привлекала их. Они старательно пели, кричали лозунги, декламировали, и изображали «попов» или «дьячков» и «монахов» и быстро «овладели» коммунистической наукой.

Заканчивая учебный день, комсомольцы отпустили детей, приказав всем собраться вечером. Конечно, для родителей не осталось секретом происходившее в школе в этот день, и вечером далеко не все дети явились в школу. Основная масса явившихся сосотяла из детей евреев и детей русских, родители которых состояли в партии. Эта «масса» представляла собой, может быть только четвертную часть всего состава школы. Но комсомольцам это было не так важно. Главное, что можно было составить «колонну», с которой шествовать по улицам местечка.

Еврейские мальчики с удовольствием рядились в православных священников и выкрикивали антихристианские лозунги. Школьники пели кощунственные песни, несли факелы и плакаты с безобразными каррикатурами попов и монахов, которых бьют красным флагом и с надписью «Бей попов!» и, конечно, много антирелигиозных лозунгов.

Все были наряжены в костюмы монахов, монахинь,

священников, на головах были подобия скуфеек или митр, на грудях висели искусственные кресты. Носы почти у всех были красными, а под глазами подрисованы были синяки. Лозунги выкрикивали под команду комсомольцев коллективно – в одно и то же время всей колонной:

«Религия – опиум народа!»

«Церкви – закрывай!»

«Бей попов!»

«Гони монахов!»

Учителя должны были сопровождать это ужасное шествие и следить за дисциплиной. Они должны были помогать комсомольцам в походе, чтобы школьники не разбежались.

Я помню Марью Ивановну, стоявшую в нерешительности перед выступлением колонны в поход. Она с ужасом смотрела на ряженых и, видно, не знала,что ей предпринять. На вопросы учитёлей она отвечала невпопад. Глаза её избегали смотреть прямо. Она все время о чем-то напряженно думала. Лоб её неестественно сморщился. Долго она стояла на одном и том же месте. Учителя перестали подходить к ней, так как она не давала никаких указаний. Одинокая, она смотрела на школьников, но вряд ли видела их и понимала, что происходит вокруг... Наконец, она круто повернулась и побежала в школу, где была её квартира. Слава Богу, инструктора из комсомола не заметили её исчезновения.

Я оставил учящихся при первых шагах колонны и поспешил к старой учительнице. Двери к счастью, оказались открытыми. Я вошел в маленький коридорчик и услышал дикий смех. Не спрашивая разрешения, я вскочил в комнату. Раздирая на себе одежды, Мария Ивановна хохотала, а на глазах её висели крупные слезы. Бессмысленная улыбка придавала ужасное выражение её лицу.

Меня она не видела, и когда подошел ближе, взял её за руку, она отскочила от меня, как зверь, ощетинилась и, растопырив пальцы, протянула руки в мою сторону:

– Если ты, негодяй подойдешь ко мне еще на шаг, – злобно прошептала она, – я задушу тебя... Проклятый...».

Я понял, что Мария Ивановна не узнает меня, так как таких слов она не могла сказать мне никогда. Мои усилия успокоить её ни к чему не привели. Она все так же стояла с простертыми руками передо мною и ждала, что я могу подойти к ней. И если бы я, действительно, сделал только один шаг, то она бы, безусловно, вцепилась бы в меня, как безумная. Только случай помог мне привести её в нормальное

состояние.

Кошка, сидевшая на подоконнике среди множества комнатных цетов, испугавшись диких криков хозяйки своей, бросилась стремглав со своего места. По дороге она задела горшок с цветущей геранью. Горшок упал на пол, но при своем падении он задел круглый столик, стоявший подле окна, на котором стояла большая стеклянная ваза. Всё обрушилось на пол, производя невооразимый грохот и звон.

Марья Ивановна очнулась. Я подошел к ней, взял за руку и спросил: «Что с вами?»

Она посмотрела на меня молча, сосредоточенно и разрыдалась. Я уложил её в постель, нашел в её аптечке нашатырный спирт и понемногу привел её в чувство. Из обрывков фраз, которые она произносила сквозь слезы, я узнал, что причиной был «поход» детей.

Нужно было принимать меры, чтобы спасти теперь Марью Ивановну от неминуемой беды. Ведь «поход» должен быть и завтра, а Марья Ивановна, конечно, не в состоянии будет принимать участие в нем. Да и не примет участия, если бы она и была здорова. Разве ей, глубоко верующей, совесть разрешит сделать это? Конечно, нет. И я вызвал нашего доброго врача, который «определил» приступь малярии, приказав не покидать кровати. Когда врачь ушел, на столике у Марьи Ивановны лежал «Бюллетень», дававший ей еще право не работать в течении нескольких дней.

Учителя, участники похода, вернувшись в школу, рассказывали, что они шли по безлюдным улицам местечка. Казалось, что все вокруг вымерло. Ни одной живой души. Никто из жителей не вышел поинтересоваться ряжеными. Поход цели не достиг. Ненависть же людей к красным безбожникам увеличилась.

Недалеко от школы стоял одинокий, казалось, совсем заброшенный дом. В нем-то ночью и происходило пасхальное богослужение. Горячо молилась Марья Ивановна вместе со своими уже выросшими учениками—родителями маленьких советских учеников. Трудное, тяжелое было моление, но с радостью вырвалось из встревоженных грудей простых людей:

– Христос Воскресе!



КОМСОМОЛКА КУЛЯ

Знакомств у нас было два: одно в кабинете-спальне заведующей детским домом, другое – в моей комнатушке, в которой мне самому негде было повернуться.

В кабинете заведующей, которую все звали Вороной, девушка едва удостоила меня кивком готовы, когда начальница её представляла:

– Это наша секретарша. – и сейчас же распорядилась: – Можешь идти. – А когда девушка вышла, Ворона прошипела: – Поповская дочка! Тоже мне «комсомолка»!

Таким образом перед неофицильным знакомством я кое-что уже знал об одной из учительниц, с которой мне предстояло работать.

Утром я проделал двенадцать километров по осенней черноземной, вязкой дороге, страшно устал и в послеобеденное время, еще не связанный никакими обязанностями, лег на кроватку, на которой нельзя было вытянуться, и моментально заснул так крепко, что даже не слышал, как кто-то появился в моей клетушке. Пробираясь ко мне, непрошенная гостья зацепилась за ножку стола и тяжелое пресспапье упало на пол. Я открыл глаза. Передо мной стояла «секретарша», «поповская дочка», «комсомолка». Я хотел вскочить, но, к сожалению, не мог, так как некуда было поставить ноги.

Девушка, серьезно протягивая мне руку по мужски, кратко отрекомендовалась: «Куля! Здорово! Будем друзьями!» произнесла она настолько утвердительно, что отказаться было невозможно. «Здесь все девки, учительницы», продолжала она, «так осточертели мне, что хоть на край света беги... Знаешь, женихов ищут!»

Видя, что я все же стараюсь как-то принять вертикальное положение, она сделала мне довольно грубо замечание: «Ну, чего ты? Я не из кисейных, так что ты китайских церемоний мне не устраивай!» и села на кроватку, заставив меня влипнуть в стену. «Тебя еще и не видели, а успели по косточкам перебрать!» с нескрываемой иронией добавила она. «О, ты уже высоко котируешься на нашей бабьей бирже! Даже у широкозадых кухарок глаза загорелись – мужик! Ну, ладно, об этом после.»

«Сегодня педагогический совет.» не давала она мне раскрыть

рот «Ворона назначает тебя завпедом. Я у тебя буду правой рукой, как секретарша...» – и, вдруг, задрав свои одежки, произнесла: «Вот бесенята. Понатащат в дом кошек, собак, от которых везде полно блох!» – и полезла ловить «преступницу», не обращая внимания на мое смущение.

«Нет,» засмеялась она «видно нужно идти переодеваться, иначе загрызет, противная!» и пробравшись к двери, сказала, что зайдет ко мне потолковать вечером. Так я и не успел сказать ей ни единого слова.

Оставшись один, я, конечно, задумался. Все не вязалось: учительница, секретарь педагогического совета, комсомолка, поповская дочка, бесцеремонные поиски блохи, грубость, которую она не скрывала.

Отказаться от дружбы? Кто посмеет из мужчин так ответить на предложение милой и красивой девушки? Я не мог. Да она и не спрашивала моего согласия. Жениха она себе не искала, а «девок»-учительниц и воспитательниц за их поиски так зло высмеивала и ругала, что сомневаться в её искренности нельзя было. Что же толкало её на дружбу со мной? Если она искала друга среди мужчин, как я позже узнал, в детдоме был завхоз-комсомолец, правда; переваливший через комсомольский возраст, но она на него не обращала внимания. Может быть, причиной было то, что сам завхоз не интересовался «девками» в детдоме?

Так или иначе, но Куля нравилась очень кухаркам, к которым приходили любовники по вечерам и которых они очень ловко скрывали от Вороны, выпуская рано утром через кухонное окно. Куля очень остро и очень грубо прокатывалась насчет «темных ночек, белых ножек, сдобных тетях и бородатых дядях» и кухарки смеялись до истерики. Любил её и старый кочегар, следивший за отоплением в подвальном помещении большого бывшего барского дома. Любил он её тоже за скабрезное слово: «Вот вам и барышня!» говорил он мне «Все ей ни по чем! Режет, как мастеровой! У пьяного язык так не повернется!» и тихо спрашивал: «А правда, что её отец священник?»

Я дипломатично отвечал: «Не знаю...»

Да и завхоз-комсомолец не мог удержаться от смеха, когда Куля рассказывала наипохабнейшие анекдоты.

Чем дальше текла наша дружба, тем Куля становилась более откровенной и самые стыдные вещи говорила с таким естесвенным бесстыдством, что я не знал, куда деваться, а она хохотала: «Ишь, красная девица!»

Вскоре она появилась ночью в моей комнатке. Я уже лежал в

постели, как вдруг открылись двери тихо, полоса света из коридора на момент проникла ко мне, показалась Куля. Прикрыв бесшумно двери, она тихо пробралась ко мне, сбросила свой капотик и забралась ко мне под одеяло:

– Уютно мне у тебя тут... – объяснила она свое появление в моей берлоге в такой поздний час и, прижавшись ко мне, пролежала до утра, как бы в забытье, без слов, без сна и без признаков бодрствования, спросив лишь на рассвете:

– Ты спишь?

– Нет, – ответил я.

– И я не сплю... Вероятно, мне пора уходить... – и она осторожно встала с кровати, набросила капотик и тихо выскользнула из комнатушки.

Удивительная была ночь. Это не была ночь любви, нет, – ни ласки, ни поцелуев, ни близости – ничего этого не было. Мы лежали вдвоем на маленькой кроватке до утра в полном молчании. Каждый из нас думал о чем-то своем жизненно важном, но так и не додумал до конца. Единственное, что я узнал Кулю в такое время, когда она была совершенно спокойна, может быть, печальна, и мне казалось, что какая то тяжелая дума была у неё на сердце. Странная она была с самого начала нашего знакомства. И дружба была странная. Она чего-то недоговаривала мне, избранному ею самой, другу.

А днем, как всегда вульгарная, ворвалась в мою комнатку и, задрав юбки, стала искать блоху, рассказывая со смехом, как «девки» завидуют ей за ночь, проведенную со мной.

– Дуры! Идиотки! Что они понимают в дружбе?! Им любовь нужна, любовные приключения в духе Декамерона, в которых они хотели бы быть героинями в самых сочных местах! – и посыпалась такая похабщина, что я, зажал уши, что развеселило её еще больше

– Посмотри на себя, Куля! Ведь ты же красавица! Чистая, свежая нежная, как полевой цветок, а из твоего чудного ротика выплевываются такие непристойности!

– Всем нравится, кроме тебя!

– Так ты хочешь угодить...

– Я? Угодить кому-бы то ни было?

– Так зачем же ты...

– А ты как бы хотел? Чтобы я была лакированной? Быть, как говорят, «благовоспитанной» и класть под подушку стеариновые свечи? Или еще лучше – пускать к себе через окно мужика, как это

делают наши кухарки? Извини, пожалуйста! Меняются времена, меняются и нравы! – и она, начав произносить непечатные слова, спрашивала: – Ты хочешь избавиться от народного словаря? Дворянство, аристократия ушли со своим французско-нижегородским жаргоном, теперь на смену пришел язык народа, русский народный язык!

– Но не тот, который ты только что демонстрировала, а тот, который был, есть и будет, язык которым писали поэмы, стихи и прозу наши русские, писатели и поэты!

– Сдай их в архив! Уже появляются наши, пролетарские писатели и поэты, владеющие нашим пролетарским языком!

– Куля, ты лжешь сама себе.

– Удивляюсь твоему консерватизму! Ведь тебе же не шестьдесят лет! Жизнь впереди! Но не для людей с такими взглядами, как у тебя!

Когда Куля предлагала мне дружбу, она оговорилась тогда, что все должно быть у нас открыто, все оговорено до конца, все должно быть ясно каждому из нас. И я спрашивал часто себя, почему же она никогда не скажет что она «поповская дочка»? Я, конечно, имел основание и о себе не говорить много. Что-то в этой дружбе было не совсем ладное. Но что?

Мне казалось что в моей комнатушке она находила отдых. Хотя она и старалась не забывать своей роли «передовой девицы с комсомольским билетом», однако иногда высказывала такие мысли, которые противоречили её комсомольскому кредо. Я же знал её уже достаточно хорошо и спрашивал сам себя: «Зачем свою абсолютнейшую внутреннюю чистоту она одевает в грязные и грубые одежды? Что и кому она хочет доказать?»

Наша дружба с одной стороны была очень тесной позволявшей открывать друг другу очень сокровенные мысли, желания и надежды, но с другой – на какой-то точке эта дружба упиралась в тупик и у неё и у меня – дальше ни шагу! Правда, я знал, что она «поповская дочка», но не от неё. Было принято говорить о себе в пределах анкет, которые заполнялись для «гороно» или «работпроса» но не трудно было видеть не только по мне и Куле, но по поведению всех, по разговору, по манере сидеть за столом и держать в левой руке вилку, а в правой нож и проворно ими манипулировать, что все мы слишком далеки от «пролетарского происхождения»! Но никто так не озорничал словами, как Куля! Почему? Не потому ли, что она была комсомолка? Она единственная должна была принадлежать к господствующей касте, но не принадлежала. Понимала ли она это? Чувствовала ли она шаткость своего комсомольского положения? Хотела ли она своим поведением,

грубостью, бесстыдством показать, что она частица той элиты, которая правит, а не управляется?

Дружба наша продолжалась до последнего дня на одном и том же уровне. Ни на миг Куля не забывала, что она комсомолка.

Перед Рождеством Ворона притащила патлатого парня, комсомольца, бренчавшего на расстроенном пианино коммунистические песенки. Собрав детвору в зал, она стала с ними разучивать «Карманьолу», «Интернационал» и другие «художественные» произведения, «стишки» Демьяна Бедного, готовя своих питомцев к встрече Рождества, не доверяя учителям. Наша же дружба с Кулей вступала в новую фазу. Куля стала реже приходить ко мне, а если приходила, то могла часами сидеть молча.

В Сочельник Ворона объявила что весь детский дом идет в городской клуб на собрание, после которого будет «художественная» часть с выступлениями детей и какая-то пьеса будет представлена местной труппой.

Утром детдом был выстроен. Впереди с красным флагом стоял «великовозрастный» ребёнок, которому по записям было двенадцать лет, но он выглядел семнадцатилетним. Возле него суетилась Ворона. Все учителя и воспитатели были возле своих групп, кроме Кули. Ворона нервничала, так как было время, когда нужно было уже выходить. Она послала за ней ученицу из её группы, которая быстро вернулась, сообщив, что учительницу она не нашла. Ворона, чувствуя беду, еще больше разволновалась, послав вышколенных ею предтечников Павликов Морозовых со строгим заданием, во что бы то ни стало найти учительницу. Её подручники обыскали весь дом и огромный парк вокруг, но Кули не нашли. Колонна двинулясь в город.

В клубе в глубине сцены сидел священник ожидавший предстоящего диспута. Его привезли из какой-то дальней деревни, чтобы выступил в споре против представителя антирелигиозного кружка долженствовавшего сделать «научный» доклад на тему «Рождество Христа или Солнца». Оказывается докладчиком должна была быть Куля.

Всматриваясь в лицо священника, я понял, почему исчезла Куля. Её опонентом был её отец.



КРЕСТ И ИГЛА

Сидит себе портной Данил Гаврилыч на «катке», рукава вшивает, а возле машины – Рогожин, Павел Сергеевич, бывший подмастерье, так и не выучившийся мастером быть. Но зато он теперь в артели «Швейпром» первый человек – председатель. Битый час товарищ Рогожин толчёт воду в ступе, уговаривает Данила Гаврилыча в артель вступить, но крепок старик, прям и неподатлив.

– Да вам же выгода какая будет, – говорит преседатель, – восемь часов отработали – на покой, налогов не платить, власти будут смотреть, как на трудящегося: теперь ведь политика, Данил Гаврилыч, на первом месте!

– Нет, Павел Сергеич, не пойду. Вы работали у меня, сами знаете, что я политику в дом не пускал: хорош был царь иль плох, вы никогда не слыхали.

– Ну, а советская власть? – перебил Рогожин.

– Что же советская власть? Туговато, правда, но жить пока еще можно. Ну, а что касается работать по восемь часов – не в мои это годы. Ведь мне уже семьдесят четыре. Покопаюсь вот с рукавами, лягу, часок-другой вздремлю. А бывает, что за день и пуговицы не пришью. Годы, Павел Сергеич!

– Мы вам кроватку или диванчик поставим...

– Это не работа, я так не сумею. Да и что заработаю?

– Ну, это мы вас не обидим, Данил Гаврилович. А главное, налоги вас съедят. Знаете вы новое постановление? Частника совсем съедят!

– Бог милостив, Павел Сергеич. На кусок хлеба заработаю, а колодец во дворе, водица чистая и свежая всегда.

– Ну, и потом вы всё ж таки «бывший»: два каменных дома, двухэтажныё, мастерская своя была, мастера, подмастерья, ученики-мальчишки, – всё ж таки считается эксплуатация... Детей в гимназиях учили, в университетах... И вот еще хотел сказать вам про иконку... Снять бы пора, Данил Гаврилыч, люди разные к вам заходят...

Тёмный лик Спасителя кроткими глазами смотрел на председателя, взглянувшего на древний образ, и как бы прошептал

ему: «Опомнись, заблудившийся!»

Рогожин перевёл взгляд, съёжился, стал жалким, как щенок, попавший в воду. Видно было, что еще не совсем заглохшая совесть проснулась на миг и остро кольнула черствеющее сердце.

Портной отложил работу, посмотрел на бывшего своего подмастерья поверх очков в металлической простой оправе, сидевших на самом кончике носа, встал с катка и спокойно начал говорить, как будто его никто не упрекнул, не оскорбил:

– Родился со Христом, прожил долгую жизнь с Ним и умру славя имя Его. Не смейте говорить об иконах. Ваш разум помутнел. В моём доме я хозяин. А что до меня – не вам, Павел Сергеич, говорить так. Прожили вы у меня лет семь или восемь. Видели сами, что я работал вместе с вами и больше вас, потому что вы отработали восемь часов – и на покой, а я иной раз целую ночь сижу в мастерской. Дома построил? Своим трудом. Никого не обидел, не обманул, не ограбил. Да и домов теперь уже нет, и вспоминать их незачем. И я о них не думаю. Было да сплыло... Детей учил? Да, учил, моя обязанность это, я отец моим детям. Грех упрекнуть меня в этом. А что касается артели, так что же мне делать-то там? Я всё ж таки мастер.

Понял председатель правдивые слова старика-портного, но задело его, что он напомнил ему, что мастер-то он, Данил Гаврилыч Озерной а в артели – ученики и подмастерья.

– Плакать будете, Данил Гаврилович, – сказал он с сердцем и ушел ни с чем.

Вышел старик на крыльцо и задумался...

«Икона помешала! Не вспомнил еще, что я старостой в церкви... и не год, не два... вот уже тридцать лет служу Богу и людям... В соборе раньше, да «товарищи» закрыли... кино устроили богохульники. Теперь в церкви кладбищенской... Только, кажется, кончится скоро всё. Бродят слухи по городу, что скоро и эту церковь закроют... Что же! – тяжело вздохнул старый портной, – Сила, власть... Только Бога закрыть и они не в силе... Бессмертен... Вездесущ...»

Подошел, виляя хвостом, Арап, старый лохматый пес дворовый, лизнул голые ноги старого портного, обутые в комнатные туфли, и, положив голову на них, устремил свои мутные черные глаза на хозяина.

– Что, Арапушка? Стары мы стали, слабы, отдохнуть бы пора... да вот нужны оказались. Ругают нас, видишь, а зовут. Ладу без нас, стариков, не дадут...

Портной медленно спустился с крыльца и побрел в сад. Не до

работы было. Прошлое мешалось с настоящим, подчеркивая еще сильнее ту пропасть, которая образовалась между полным жизненного смысла вчера с пустотой сегодня. Но как ни тяжело жить теперь, старый портной чувствовал глубокое удовлетворение – долгие годы его не остались бесплодными.

Дух проснувшейся земли и весеннего цвета пьянил его. Радостно было видеть ему воскресшую природу, ощущать красоту Божию в нежных лепестках, в свежей зелени, слышать славословие далёкого жаворонка в голубом небе...

«Велик и славен наш Господь в Сионе...»

«Дома!» продолжал думать Данил Гаврилович. «Забрали – и нет их. Дети – иное дело, Николай – инженер, дома строит получше, чем мои были. Таня – врач зубной. Тоня – учительница. Аня – глазной врач. Ваня вот только не совсем правильно пошел. Бухгалтер, правда, да зашибает. Водка до хорошего не доведёт... И винить нельзя, гоняют, как несчастного зайца. И дело-то большое! Мальчишкой в добровольческой служил. Отец разумный и не наказал бы; несовершеннолетний был тогда. А здесь – ниточка к ниточке, волосок к волоску... Шура... – тоже в белой был... В бою под Таганрогом убили... Оля... – умерла от тифа... Жену в тот же год похоронил... Разметались все... Только я да Петя-сынишка... Его б выучить... – и можно на покой...»

Высокий, стройный, с едва вьющимися белыми, как снег, волосами, разделёнными ровным пробором сбоку, с длинной снежной бородой, начинавшейся от висков, с мохнатыми седыми бровями, с глубокими морщинами на лбу, за думчиво смотрел он своими ясными карими глазами на деревья, покрытые белым весенним цветом, на дорожки, усеянные ярко-белым ковром лепестков цветных...

«А это всё не моё... Жены всё... Покойница первая жена ничего не делила... Ну, а эта, вторая, каждый раз напомнит: «Это – моё... это – твоё», хоть кормилец-то я...»

Через несколько дней старый портной получил повестку из городского совета об увеличении налога. Нужно было платить больше трёх тысяч рублей подоходного налога. Всё продать – и то в долгу останешься.

«Знаю, артели имя моё нужно. Портной Озерной в артели! Марка! Ну, ничего, поспорим, есть пока сила!»

Знал Данил Гаврилыч, что все городские тузы не в артель идут, а к нему, потому что в артели партачат, матерьял переводят: возьмут тройку пошить, а из неё едва пара выходит, и ту надеть стыдно. Сколько уж он переделал их, этих артельных «изделий»!

Вслед за повесткой – заказчик – сам заведующий финансовым отделом товарищ Горбунов. Не первый раз шил ему портной, знал, что начальник был требовательный, любил одеться хорошо и вкус понимал. Знал также, что ценил его, потому что лучших костюмов ни один портной ему никогда в жизни не сшил.

– Данил Гаврилыч, здравствуйте, с работёнкой к вам!

– Здравствуйте, Василий Илларионович, с задержкой только будет. Заказов много, весна разгулялась быстро, каждому обновочку хочется.

– Ну, вы уж мне, знаете, по старому знакомству. Да я вас и не обижу...

– Боюсь, что я вас обижу, Василь Илларионович.

– Почему? Хлеб подорожал? Или иголки?

– Не хлеб, не иголки, а ваши бумажки дороже стали, – и Данил Гаврилыч вынул из бокового кармана жилетки свежую повестку. Заведующий финансовым отделом посмотрел и улыбнулся.

– Те-те-те, старина! С потрохами продать и то не выручишь!

– Почему продать? Я заплачу.

– Как так?

– Да вот вам тройку ведь сшить нужно?

– Я ж за этим и пришел.

– Пятьсот рубликов за работу, Василь Илларионович, меньше никак не могу.

– Знаете что, Дания Гаврилыч, вы возьмите старую цену...

– Двести рублей?

– Да, двести рублей.

– Но я же не выживу...

– Подождите, дайте бумагу.

Портной вырвал из тетрадки, в которой записывал мерки заказчиков, чистый лист и подал начальнику. Тот быстро написал что-то и сказал:

– Пусть кто-нибудь перепишет, чтобы не было моей руки, понимаете? Это заявление в горсовет. Вы в нём просите снизить налог по инвалидности и старости. Есть закон такой. Заплатите меньше, чем платили раньше.

– Спасибо, Василь Илларионович, тогда уж всё по-старому будет.

– Только мне к сроку.

– Через три дня на примерку зайдёте?

– Могу.

– Ну, через недельку костюм будет готовый.

– Хорошо.

Портной снял мерку, и важный заказчик ушел.

«Без Бога не до порога», – подумал Данил Гаврилыч. – «А в артель не пойду.»

Пришло лето. Всё уладилось и забылось. Артель себе работала, Данил Гаврилыч себе. Налог ему, конечно, снизили: не платить же по пятьсот рублей за пошивку костюма! Но советская жизнь полна неожиданностей, иногда смешных, как с налогом, иногда страшных.

Заболело правительство «золотою болезнью». Дай ему золото, хоть ты лопни. По городам и весям земли русской тысячи, десятки тысяч людей переживали страх звериный. Снимались обручальные перстни, колечки, нательные кресты, серёжки, медальоны, прятались в наукромнейшие уголочки, закапывались в землю, замуровывались в стены, но ГПУ упрямо требовало:

– Давай золото!

Дошла очередь и до Данила Гаврилыча. Явился и к нему агент ГПУ. Старый портной, как всегда, сидел на катке, поджав под себя одну ногу, и молча работал. Агент вошел без стука, вытащил бумаженку и, прочитав фамилию, спросил:

– Кто здесь Озерной будет?

– Я, – ответил Данил Гаврилыч.

– Собирайся, старик, поедем.

– Куда?

– В ГПУ.

Делать было нечего, нужно было собираться, потому что знал старый портной это «заведение» хорошо и бывал в нём уже не один раз. Застегнул только ворот рубахи и пиджак одел.

В ГПУ разговаривать много не любят:

– Давай, старик, золото!

– Откуда оно у меня?

– Знаем, лучше не запирайся, отдавай!

– Да нет его у меня...

– Лучше, тебе говорят, сразу отдай, а то плохо тебе будет!

– Честью говорю вам, нет у меня золота.

– Не хитри. Два дома построил, да еще каких, на главной улице, мастерскую имел, людей эксплуатировал, в гимназиях да университетах детей учил, а теперь говоришь, что золота нет? Потруси хорошенечко сундучки свои, найдёшь!

Понял Данил Гаврилыч, откуда донос пошел.

– Вот туда-то и золото пошло, на дома, на гимназии, на университеты, на мастерскую. Вы спросите того, кто на меня указал, сколько золотых он к Рождеству Христову и Пасхе Святой от меня получил?

– Брось, старик, город городить, дома твои говорят на тебя.

– У них и спросите.

– Доброй говорю, отдай золото, чтобы хуже не было.

– Нет золота у меня и никогда и не было, потому что всё шло на дома, на детей, и мастеров я не обижал.

– Сроку даю тебе до вечера. Подумай хорошенько да сказки мне больше не сказывай.

Увели портного в камеру. Комната была большая, людей в ней было уже много, все бывшие. Кто плакал, кто смеялся, кто возмущался, а Данил Гаврилыч, поприветствовав всех, уселся в углу на каменном полу и начал молиться про себя за детей своих. О золоте он и не думал, потому что его и не было у него. Говорил он всегда правду и солгать бы никогда не сумел. Хотя знали его все здесь, но так были заняты собою или перепуганы, что никто не обратил внимания на него.

Пока портной сидел в углу, в доме его хозяйничали агенты ГПУ, допрашивая жену. Требовали они указать только, где спрятано золото. Испуганная старая женщина тряслась всем телом и повторяла, крестясь:

– Голубчики, какое золото? Не грабители мы...

Но агенты перерыли весь дом, перещупали подушки, перины, образа пересмотрели, заглянули в сарай, по саду и по двору походили, даже в колодец заглянули, но золота найти не могли.

Поздно вечером вызвали Озерного.

– Ну, что ж, старик, золото-то у тебя нашли!

– Быть не может.

– Старуха твоя сама показала!

– Значит, то её золото было.

– Как её?

– Да так. У меня золота нет и не было, а что у моей второй жены есть – всего я не знаю.

– Зато она знает, где ты спрятал золото!

– Пусть покажет.

– Ты знаешь, что если найдут у тебя золото, плохо тебе будет!

– Господь милостив...

– За обман расстрел!

Старик расстегнул ворот рубахи, вытащил крест, висевший на черном шнурочке, из жилетки вынул иглу с длинной ниткой, вечно вколотую в верхний левый карманчик, и показал начальнику ГПУ.

– Крест и игла – вот моё золото. Иглу вы можете взять, крест – никогда!

Данила Гаврилыча отпустили на волю... Креста не взяли, потому что он был серебрянный... а приказа собирать серебро тогда не было...



В ДОРОГЕ

Как-то спросили у меня: «А как у вас в Советском Союзе праздновали Рождество Христово?» Откровенно говоря, вопрос поставил меня в тупик. Ведь в Советском Союзе, вообще, никаких церковных праздников не существует ибо советское правительство, состоящее исключительно из членов коммунистической партии, не только само не верит в Бога, но и ведет самую жестокую борьбу со всеми теми, кто верит, кто отмечает христианские или других религий праздники. Сколько священнослужителей, сколько обыкновеннейших мирян погибло в ссылках или застенках ЧК-ГПУ-НКВД-МВД-МГБ?! Мученикам, принявшим страдания или смерть за веру – несть числа!

Праздновали мы Рождество? Да. Тайно. Скрыто. Ибо люди не утратили веры во Всемогущега Бога. И каждый праздник отмечали в тесном семейном кругу.

Я вспомнил не совсем обычное Рождество Христово в середине двадцатых годов. Это было, правда, «на заре» коммунизма, но именно тогда власть отличалась особой жестокостью по отношению к верующим, и то Рождество, которое я пережил, было только свидетельством огромной веры нашего народа.

Сочельник и Рождество в тот год приходились не в воскресные дни, поэтому все должны были быть на работе. С этим люди мирились, но после работы они не шли в клубы, где в такие дни делались «научные» антирелигиозные доклады, а спешили к себе домой, чтобы с близкими своими провести хотя бы по-праздничному вечер.

Утром в канун Рождества заведующий школой предложил мне ехать в Славянск в учкпрофсоюз по делам школы. Я обрадовался командировке, так как сама поездка являлась как бы праздником, а в незнакомом городе я мог пойти в Собор, который там еще не был закрыт большевиками.

Ехать от Никитовки до Славянска в старое доброе время нужно было четыре часа, но в «счастливое» советское время нужно было ловить оказию так как тогда курсировал только один пассажирский поезд под величайшей охраной, оберегавшей классные вагоны от «мешочников», а пассажиров – от возможных бандитов, продолжавших беспокоить «дорогую» советскую власть. Попасть на

такой поезд было чрезвычайно трудно, почти невозможно, и я сразу же отказался от удовольствия ехать в теплом классном вагоне.

Целый день я провел на вокзале, время от времени заходил к дежурному по станции и узнавал о товарных поездах. Каждый раз дежурный по станции, который знал меня еще с детства, с улыбкой отвечал мне: «Улита едет!» Эта улита была чрезвычайно капризна. Её можно было ожидать только на вокзале, ибо никто из железнодорожников не мог сказать, когда она может появиться на станции.

Так проходил я по грязным залам ожиданий целый день, и только поздно вечером дежурный сказал мне:

– В северном парке стоит порожняк, паровоз под парами, спеши!

Я поблагодарил его и направился в далекий северный парк. Как только я отошел от перрона, сразу же меня охватила ночь с туманом и оттепелью, с дымным воздухом и непроглядной тьмой. Кое-где виднелись огоньки станционных фонарей, но в тумане они были тусклы и почти не освещали.

Я одет по «последней моде» в материнское полупальто, сверху – отцовское демисезонное. На ногах – старые буцы, давно просящиеся в ремонт. Они текут, и каждый мой шаг сопровождается странными музыкальными звуками: «чквай-чквай», – говорила левая нога; «ф-ф-ф-у-у!» – вздыхала правая. Чем дальше я шел, тем ощутительней был холод проникавшей воды, а моя «зимняя» одежда, пронизанная за день туманом, теперь уже не грела совсем. Но делать нечего. Командировка «срочная». Нужно везти какую-то отчетность в «культотдел» учкпрофсоюза! А главное – Рождество не на работе!

Долго я шел по железнодорожным путям, проваливался в мягкий снег, под которым была вода, попадал в канавы, спотыкался на стрелках, у которых не горели огни, и, наконец, преодолев все препятствия, добрался до северного парка.

Помню я... Иду меж двух бесконечных составов. Чутье подсказывает, какой поезд должен «скоро» отправиться. Молчаливо стоит он где-то в глуши на, запасных путях и ждет чего-то. Может быть, меня? Я иду подле него, но не вижу вагонов, ибо темень такая, что хоть глаза выколи. Я только угадываю, что окружает меня, «засматриваю» смело в вагоны, но ничего не вижу, ничего не могу разобрать.

Пройдя около половины состава, я убеждаюсь, что меня окружает незримая жизнь. Я улавливаю шорохи, шопоты, затаенное дыхание, даже до меня долетает приглушенный кашель, и мне

становится не по себе. Я спешу к паровозу в надежде устроиться возле топки и согреться. Знакомые машинист и кочегар с сожалением говорят мне, что с ними будет ехать охрана, и я спешу выбрать, «самый хороший вагон». Это мне почти удается.

Вагон, который я «выбрал», был относительно чист и относительно сух, но в нем уже были пассажиры. Они сначала притаились и не подавали никаких признаков жизни, но когда убедились, что я такой же путешественник, как и они, тихо спросили у меня, не знаю ли я, когда отправится поезд. Но, к сожалению, я не мог ответить им.

Мы долго молча полусидели-полулежали на полу, ожидая отправления. Никто не произносил ни единого слова. Все прислушивались к неопределенным железнодорожным ночным звукам, временами настораживались, сдерживали дыхание, придвигались еще ближе друг к другу, но как только снаружи устанавливалась тишина, снова слышалось свободное дыхание, неясный шопот, глубокие вздохи. Это чувство настороженности передалось и мне, хотя я не боялся охраны, так как ехал по командировке.

Глубокой ночью прозвучал свисток локомотива, и мы двинулись в путь.

Поезд шел беспокойно. Он вздрагивал всем составом, когда машинист прибавлял скорость, или дергал на подъемах, когда нужно было вытянугъ огромный состав на скверном топливе. Вагоны болтались из стороны в сторону, скрипели буферами, колеса стучали на стыках, а в вагонах царила мертвая тишина, как будто бы они были совершенно пусты.

Поезд набирал скорость. Нас раскачивало всё сильнее и сильнее. Железный грохот и лязг заполнили непроглядную тьму. Мне мерещились разбросанные на холодном полу люди – голодные, продрогшие, усталые, но живые, дышащие, думающие... О чем? О куске насущного хлеба?

Так ехали мы, может быть, около полутора часов, не останавливаясь на маленьких станцийках. Но вот поезд начал замедлять ход и через несколько минут остановился. Кто-то поднялся, осторожно переступая через пассажиров, пробрался к вагонной двери, отсунул её и вглядываясь в ночной мрак, произнёс:

– А мы-то в поле стоим!

Этого было достаточно, чтобы вагон, заговорил. Из темноты вырывались голоса. Они говорили о причинах остановки, о семафорах, о неисправных локомотивах, о машинистах и кондукторах, но никто

не старался вылезти из вагона, чтобы узнать истинную причину остановки. Ведь не вечно же поезд будет стоять в степи? Когда-нибудь он снова двинется вперед!

В абсолютной темноте невозможно было разобрать, сколько человек в вагоне, но по голосам, доносившимся из разных мест, и по соседям тесно прижавшимся ко мне, можно было предполагать, что «все места» были заняты.

Все мы, конечко, изрядно промерзли, только теснота немного согревала нас.

Разговоры не прекращались. Каждому хотелось до утра добраться до Славянска, чтобы там на рынке успеть выменять старье на что-нибудь съестное. Строились предположення, на что и что лучше менять.

Неожиданная остановка в степи прервала вынужденное долгое молчание. Теперь никто не боялся прихода охраны. Пассажиры говорили громко, не прислушиваясь к тому, что происходило за прделами вагона.

Вдруг раздался тихий и плавный голос: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человецех благоволение...» Кто-то во мраке запел, и все смолкли. Казалось, черные стены раздвинулись, рассеялся туман, и в ясном небе загорелась Путеводная Звезда...

– Рождество сегодня! – от одного к другому бежали слова, и в нашем вагоне раздались мощные звуки импровизированного хора: «Рождество Твоё, Христе Боже Наш, возсия мирови свет ра-азума... В нем бо звездам служащии звездою учах-ахуся, Тебе кланятися Солнце Правды и Тебе ведети с высоты Востока, Го-осподи, Сла-ава Тебе...» – неслось в туман степи из нашего вагона, передавалось соседним.

И едва мы сделали передышку, как из блихайшего услышали: «Дева днесь Пресущественного рождает...»

– И мы подхватили: «... и земля вертеп Неприступному приносит, Ангелы с пастырями славо-ославят, Волхвы же со звездою Путешествуют. Нас бoради ро-оди-ися О-отро-оче Мла-адо Пре-едве-ечный Бо-ог.»

Последние слова не мог заглушить лязг и грохот двинувшегося поезда. Ушли куда-то сон, усталость, холод, и стало на душе так хорошо, так приятно от общения с родившимся Младенцем, что окружающее перестало быть таким ужасным, таким жестоким. Оно перестало пугать тех, кто боялся охраны, оно укрепило тех, кто был в сомнении, оно придало силу тем, кто терял надежду на лучшее будущее.

Христос был с нами!



ПРАВЫЙ

Дядя Семён – человек рассудительный, умный. Увидел, что дальше деваться всё равно некуда, записался в колхоз добровольно. Его, как мужика опытного и в возрасте, к овцам приставили. Конечно, с овцами лучше, чем в ссылке, и привольней – говори с ними, о чем душа хочет. А душа у дяди Семёна любит говорить всего больше о политике. Главное же – божественное попеть можно. Любил это он рано утречком выйти в поле с овцами и насладиться песнопениями церковными. Станет на восток лицом, перекрестится и поёт. Пропоёт «Святый Боже», «Отче Наш», «Херузимскую», и кажется ему, что он снова на правом клиросе, и образа угодников святых чудятся ему... Что же, пел когда-то, пока церковь не закрыли... Люди богомольные тогда слушали. Ну, а теперь слушают овцы... Да оно, может быть, и лучше, что овцы... Овца – животное бессловесное, да и, вообще, – овца. Что с неё?

События в стране политические крутые. От мала до велика все дрожат, потому что и соратники ближайшие врагами становятся. Читает дядя Семён газетку и овец пасёт. Не всегда, правда, газетка свежая бывает. Иной раз попадется и старая. Разве колхознику можно выписывать свежую газетку? На табак денег нет. Да и не только на табак. Другой раз спичек приходится позаимствовать у соседей. А про чай и сахар и думать забыл. Не хозяин сам себе.

Взял однажды дядя Семён в поле с овечками газетку, а она прошлогодняя из времён, когда товарища Бухарина судили судом пролетарским. Судили, судили, а потом и расстреляли.

«Почему» – думает дядя Семён – «расстреляли? И человек будто умный, вверху будто прочно сидел, друг, можно сказать, самому Ленину был, а тут вдруг и суд крутой, и расправа ещё круче?»

Пригнал вечерком овец в колхоз. Подвернулся товарищ Лавренов, парторг колхозный. Петрушкой раньше все называли. А теперь – нельзя. Товарищ Лавренов!

«Дай» – думает – «спрошу его. Человек он у власти и политический, им объясняют, может, легче, чем в газетке прописано. Да и он, хоть и политический, свой кретьянский, может его скорей пойму».

Как раз и парторг подходит:

– Что, дядя Семён, как твои, значит, воспитанники?

– Чего им делать, товарищ Лавренов, сами знаете – овца овцой. Жарковато малость, пора бы шерстку того...

– А ты председателю говорил?

– Как не говорил?! Говорил.

– А он что?

– Не вермя, говорит, сейчас об этом думать. И так, товорит, делов достаточно.

– Ладно, я поговорю. А ещё что есть у тебя?

– Да есть тут одно... может, вы очень заняты?

– Ну, ну, говори, об чем это у тебя?

– В газетке воне прочитал, что товарища Бухарина...

– Какой товарищ, враг классовый!

– Может, я ошибся, не так, может, высказался, неученый я, товарищ Лавренов...

– Так что же ты, хотел?

– Да за что его к расстрелу присудили, Не пойму?..

– Потому, дядя Семён, что он «правый». Ты ж читал nро это в газетке?

– Гм... читал... Значит, правый?

– Да, враr народа, классовый. Так я председателю скажу, что пора овечек того... стричь нужно, жарковато...

Парторг заспешил, чтобы не пришлось пастуху объяснять бухаринское «престулление», потому что сам едва разбирался – говорят «правый» – значит «правый», «враr народа» – и он повтояет то же.

А дядя Семён на другой день с овцами вышел далеко в поле и до вечера твердил им:

– К расстрелу, потому – правый, видишь, овца? А виноватый? Никак не пойму теперешней жизни. Правый – к расстрелу... виноватый – к власти... Хоть бы и товарищ Лавренов, Петрушка, значит, пошаливал раньше... Значит – к власти... Понимаешь ты, овца бессловесная?



РОЖДЕСТВЕНСКАЯ РАДОСТЬ

Какая у мужика радость может быть? Двести трудодней за год выработает? Так это не радость, потому что сыт трудоднями не будешь. Председатель от себя лишний пуд картофеля разрешит выдать из колхозных запасав тощих. И это не радость, потому что пуд картошки – на три-четыре дня хватает. Да и то, на какую семью! Это счастье, что у Митрича вся семья – раз-два и обчелся. А там, где целая армия пудом и дня не проживешь!

Нет радости нигде. Даже в церковь пойти, чтобы душу отвести, с Богом поговорить, и то невозможно, потому что храм Божий в колхозный «закром» превратили. Нет радости ниоткуда. А горя – море-окиян. Куда ни глянь – самое горе. В избе пусто, на дворе... Да и двора не осталось. Петушку с одной единственной курочкой повернуться негде. К соседям бегают, чтобы обернуться! Вот как теперь стало. И творению Божьему радости нету на этом свете. А про человека и говорить то нечего.

Как посмотрит Митрич – кругом радости нету. А печали – уйма. И не только у него, или у соседей, или даже во всем колхозе. В город иной раз погонят привезти горючего для все время ломающегося трактора, так и там Митрич усмотрит одно горе. Посмотрит на городского человека и увидит только несчастье. Глаз что ли у него такой? Или, может, судит по своему горю? Но радости, оказывается, и у него и у людей нету.

А самое сильное горе случилось ему по весне. Жёнка у Митрича была Анка. И какой-то дурак (прости Господи) кликнул её однажды Жанеткой.

– Жанетка! Жанетка!

И пошла с тех пор его жёнка по всему колхозу за Жанетку.

А почему все так получилось?

Деревня Митрича офранцузилась еще за Наполеона. Был, говорят, такой генерал французский, который Расею хотел покорить. А в деревне теперь еще из-за, него непорядки. Там гражданин советский по фамилии Мортон, там Марсель, там Бургонь. Имена только российские. А получилось, как деды да прадеды говорили, очень просто. Бежал этот француз из Расеи. Солдаты его по дороге

оставались. Притомится, ну и отстанет. К избам русским приставали, где было тепло и сытно, пристраивались потихоньку. На пироги да на девок поглядывали. Ну, пироги сразу в рот попадали. А с девками – немного труднее было. Потому что девка сразу говорила: «В церковь нашу пойдешь, басурман? Крещение наше приймешь?» И когда басурман-француз согласие свое давал, когда слово свое сдерживал, тогда и девка замуж шла. Вот и пошли с тех пор всякие фамилии – Лурье, Руа, Буже, а по имени – Афанасий, Никита, Платон или Аксинья, Домна, Василиса.

Молодые-то не знали в точности, что и почему, а старики много не рассказывали, особенно в эти годы. Потому что за иностранное происхождение соседнюю деревню давно уже переполовинили – в Сибирь сослали.

Вот и Митрич Борода оказался в несчастье. Да еще в каком! Бабу его, Анку, арестовали по весне. За что – неизвестно. Потому, что ястреба эти не сказывают. Просто приехали из города днем, подкатили прямо к избе Митрича, захватили Анку и все. А Митрича оставили одиночествовать. Потом уже, через несколько недель, когда Митрич дошел по начальству до самого старшего, узнал, что Анка его – шпиён иностранный. Француженка Анка. Да не Анка, а Жанетка какая-то. И по фамилии, что и в девках была, была она какая-то мамзеля Роже.

Вернулся в деревню Митрич в несчастьи. Женка француженка! А он-то кто? Ведь счастье его, что дед его из мусье Бордо в Бороду превратился по малограмотности деревенского писаря, а то бы и ему быть в тех местах, где Анка его теперь.

Жалко ему своей Анки. Тридцать годов прожил с жёнкой! В мире и согласии жил. Детишек прижил. Вырастил вместе с нею. Выучил. Все пошли в люди. Живут в городе. И ему с Анкой помогали в колхозном горе. Нет, нет а кусок лишний хлеба на столе бывал. Одежонку какую старую, негодящую присылали. Все же голыми не ходили ни он, ни Анка. А легко могли бы. Есть такие. Из избы не вылазят. Одним словом, хоть не всегда бывали сыты, но с голоду не померли. Вот, что значит в согласии всей семьей жить!

А теперь и дети предупредили: «Помогать будем, только, батя, осторожно быть нужно. Может, не так часто. Чтобы люди не заметили.»

Сидит иной раз Митрич и думу горькую думает. Люба ему Анка. А вот выкрали злодеи. Лучше б его увезли, вместо Анки. Ведь и он шпиён иностранный! И не радовала его та свобода, которую не отобрали у него городские ястребы.

А получилось все очень просто. Как начали кликать Анку Жанеткой, так и пошло по всей деревне. Да так, видно, громко, что до

самого города дошло. А там, известно, люди какие. Жанетка? Значит, шпиёнка, Ну, и забрали её.

А что теперь делать Митричу? Знает он, что помочь Анке не может. Сила в городе такая, что ему её не преодолеть. И гнетет его счастье так, что света Божьего не видит. Даже слезы удержать не может – Анки нет с ним. Анки, с которой тридцать годов прожил душа в душу! И теперь любил свою жёнку, как в молодые годы. И слеза течет и течет, и удержать её невозможно. Даже на работе тоска пробивает. Забыть свою Анку не может. Из рук все валится.

А тут еще в избе непорядки пошли. То Анка была. Порядок держала. А теперь – какой порядок? Петушок с курочкой пошли в соседний двор повернуться, а оттуда не вернулись. И хозяйства не стало. Доход, хоть и небольшой, а пропал.

Придет с колхозной работы Митрич – пусто. На столе – тоже пусто. То была Анка. Что-нибудь да придумает. Хоть лушпаек с картошки на стол поднесет. Горячих. Да еще и с приправой какой. Живот набьет Митрич, и снова можно на колхозную работу идти. А теперь, конечно, ни Анки, ни лушпаек. И помощи из города от деток своих ждать особенно не приходится. Потому что детки взрослые стали. Жизнь понимают лучше Митрича. Потому что, говорят они, осторожно нужно. Чтобы люди не видели. Как узнают, что они помогают, то станут какими-то «врагами народа». И посадят их туда, куда Анку засадили. И им тогда жизни не будет. И ему, Митричу, тоже. Всем не сладко будет тогда.

Промаялся Митрич лето и осень. Как он выжил сам дивится. И зима подошла незаметно. Тоже дивился диву Митрич, как скоро захолодало, снег выпал, и в колхозе работы не стало почти никакой. Больше в избе холодной сиди да думу тяжелую свою думай, известно, про Анку. Где она? Что с ней? Может, жизнь порешили душегубы? Может, с голоду померла? И душу отвести негде. В тяжести только слезы выплачешь – одно облегчение.

Так и жил Митрич в печали. И дня светлого не ждал уже. Потому что знал, что неоткуда этому светлому дню прийти. Потому что радость ушла с земли совсем.

Жил Митрич без надежд. Темно становилось кругом. Ничего уже не видел он. И ждал только смертного часа своего. Не потому, что стар был, нет, а потому, что ничего не оставалось в его жизни. Делать ему больше нечего было. Дети в стороне оказались. Анка, с которой прожил душа в душу тридцать годов, шпиёнкой иностранной оказалась, или, как дети объяснили, «врагом народа». И остались только одни трудодни. Даже петушок с курочкой, и те ушли и больше не вернулись! Одним словом, полное одиночество наступило. И

жить... незачем просто стало. Вот почему и думал Митрич только о смерти. Умереть бы, чтобы не видеть ничего, не знать, не слышать никого. А там легко будет. Может, с Анкой встретится.

Правда, не просил он Бога о смерти. И рук на себя наложить не думал. А ждал эту смерть от Бога. Думал, что сжалится Господь над его несчастьем, над его пропащей жизнью, и приберет в чертоги небесные.

Ну, а Бог, известно, напрасно страданий никому не посылает. Выдержит человек испытания, ему и награда может быть по делам его. Вот и Митричу испытание выпало такое. Анку забрали. А его оставили. И даже из колхоза не выгнали. Председатель только посмеивается. А народ сторонится. Потому, что теперь все ученые стали. Смотрят на него с сочувствием а в разговоры – ни-ни, Боже-упаси. Так только по делу: «Пойди, Митрич, туда, сделай, Митрич, то-то.» А что бы как раньше, то языки не развязывают. Жизнь теперь разве ж такая как прежде? Понимал и Митрич её не хуже, других. Потому что дети собственные не то, чтобы отказались от него, а осторожнее стали. Опасно, говорят, родство свое показывать. Чтобы не видно посторонним было, что отец сам-один остался на деревне, что матку забрали, как «шпиёнку» иностранную.

Жил так Митрич с горем своим до самого Рождества Христова. И в канун великий, когда звезда взошла над деревней, упал он перед образами своими древними в избе своей нетопленной и начал молиться со слезами. О чем он просил Господа? Что говорил он Ему? Как выплакивал он свое несчастье? Разве он помнит теперъ? Нет. Помнит только, что слез уже не хватало, чтобы вылить все, что накопилось. Помнит, что не сетовал он. Не жаловался на обидчиков. А просил только об одном. О чем? Что Господа просил не в молитвах, что в школе, еще деревенский батюшка учил его, а в своих мужицких словах неуклюжих. Может, нескладно. Может грубо, не так, как нужно Бога просить. А просил горячо, всем нутром своим.

Долго молился Митрич. И чувствовал, как приближается к нему радость великая. Небывалая радость. Такая радость, какой он никогда в своей жизни не испытывал. Даже тогда, когда побрался с Анкой. И чудно ему становилось, что так становится радостно на его душе. Чудно, что мир и тишина заполняют его душу. И благодарил еще горячее Господа Иисуса Христа, рождающегося Младенца за Его благодать. И в благодарении своем услышал он слова Господни, которых он никогда и никому не расскажет. И увидел он живого Христа во всем Его сиянии, и видения этого он не забудет никогда и не расскажет о нем никому. Потому что... Да разве можно теперь говорить обо всем этом ?

Только слышит вдруг, распростертый перед образами Митрич, как хрустит снег под окошечком. Шаги робкие ближе и ближе. И стук раздался. Да такой знакомый! Свой, родной стук в ставеньку!

– Она это, Анка! – задыхаясь, вскочил Митрич, к дверям бросился, не спрашивая, открыл и увидел маленькую фигурку, закутанную в лохмотья...

– Анка! – вскрикнул он и, обхватив её руками, внес в холодную избу...

Да, это была Анка, его Анка, Анка, которую он только-что выпрашивал у Всемогущего Господа. Он, Всемогущий Бог, Он Христос рождающийся, услышал молитву Митрича и послал ему великую радость.



В МАЛЕНКОВСКОМ БАЛАГАНЕ

Председатель совета министров СССР Георгий Максимилианович Маленков сегодня принял патриарха Московского и всея Руси Алексия.

—«Последние Известия», Москва, 11 декабря 1954 г.

И к чему бы это? Дела ноне зашли... А говорят, что в этой самой эсэсэре государство от церкви отделено.

– Чего? Отделено, говорите?

– Церковь, говорим, от государства или государство от церкви.

– Как это так отделено? Государство, так сказать, проворачивает всей жизнью страны, а вы говорите про какое-то отделение! Вот вам, милеши прием председателем совета министров патриарха, слыхали по радиоприемнику, небось?

– Ну, слыхал...

– А вы «отделено»!

– Да это мы к тому, что в сомнении некотором состоим по поводу...

– А вы вот без всякого повода прослушайте, как прием этот, значит, происходил. Я могу вам в точности изобразить все, потому известное дело, как приемы происходят.

Вот, стало быть, дело было декабря 11. А года – сего. Георгий Максимилианович Маленков, председатель совета министров СССР, посетил патриарха... Фу, простите меня, я всё как-то еще на старый лад мыслю... Никакой, так сказать диалектики...

Наоборот дело было, Патриарх Алексий, который не только на всю Москву значится, но и, как в сказке совесткой говорится, «всея Руси»—а какой неизвестно: советской, безбожной?—прибыл на прием к товарищу. Одним словом, товарищ патриарх прибыл к товарищу председателю министров. Ну, известное дело, ежели товарищ патриарх Всея Руси, так сказать, прибыл, значит у него дело было. Нужно, стало быть, ему повидать товарища председателя министров.

Может дело срочное. Неотложное, так сказать.

Ну, поскольку личность патриаршая в Советском Союзе выдающаяся, значит приём требуется. Официальный, в палатах кремлёвских. Даже в кабинете самого председателя министров СССР товарища Маленкова.

Вот и ведут товарища патриарха к товарищу председателю через все палаты. Заводят в кабинет. Усаживают. Посошок его поддерживают. Чтобы неожиданно шуму-гаму не произошло вследствие падения такового.

Ну, а в кабинете, известно, портреты разные – Карла-марла и других всяких энгельсов, лозунги современнейшие, предрождественские, так сказать, вроде: «Религия – опиум народа», или «Бей монахов и попов, бей патриарха...», а все дальнейшее старательно товарищ председатель министров вытер рукавом со стены, и товарищ патриарх не сумел прочитать.

Или вот диаграммы, на которых указана «естественная смертность священников» от начала революции. И слепому ясно по этой самой диаграмме, что, благодаря заботам дорогой партии и мудрого правительства эта смертность сведена теперь на нет. А вот диаграмма снижения верующих в СССР, которая имеет значительное повышение только в годы войны, когда в угоду этим проклятым капиталистам пришлось разрешить открыть церкви для несознательного элемента, старушек разных, застарелых профессоров или инженеров и прочих лиц неблагодарного населения. Но зато в настоящий момент это количество верующих поддерживается на некотором известном уровне, чтобы иностранные делегаты видели, что и в эсэсэре религия процветает во всю!

Ну, естественно, зашел товарищ патриарх по делам очень большой государственной важности. Потому неотложные дела эти. Кампания, так сказать, предстоит во весоюзном масштабе. Рождественская. Вот и нужно у этого председателя разузнать, какие делегации ожидаются. Куда разрешат им проследовать во всесоюзных пространствах. Ну, и тому подобное.

Кстати, и у товарища председателя дела имелись к товаищу патриарху. Тоже большой государственной важности. Вот и завязался между товарищем председателем и товарищем патриархом разговор.

– Ну, товарищ патриарх, как там у тебя на религиозном фронте? – обращается Председатель, – Всё в порядке?

– Я к тебе с рождественской кампанией. План вот разработал... На утверждение принес... – отвечает Патриарх.

– Обожди с планами. Как у тебя с иностранными попами?

Сколько их уже в советском активе числится?

– Что с попами! С ними легче всего! Вот с мирянами – тут дело труднее... Не возьмешь их так просто, потому народ этот поумнее оказывается, хоть и духовных школ никаких не оканчивал!

– А ты возьми на помощь МВД-МГБ!

– Руки пока коротки... Заграницей дело-то происходит, не в нашей счастливой эсэсэре.

– Мобилизуй своих попов иностранных на выявление сторонников мира или прогрессивного человечества. Неудобно же будет какому-нибудь профессору не числиться в прогрессивных?

– Денежки требуются товарищ председатель, денежки! Золото необходимо на сей предмет! Золото!

– Золото, говоришь?

– Только золото! Потому не берут наших советских рублей, хоть и длинные они!

– С золотом у нас не так-то и трудно. Потому оно нам, значит, ничего не стоит... Лагеря, понимаешь, и прочее... Элементы подлинного коммунизма-социализма, так сказать, так что ты не смущайся... Учил, небось, покойничка Ленина произведения? Что сказано им по этому важному золотому вопросу? Из золота, говорил Ильич, при полном социализме уборные будем строить! Понял, товарищ патриарх Алексий Московский и всея Руси?

– Понял.

– Ну так вот тебе и золото. Смету имеешь на расходы?

– Тут без сметы, товарищ предселатель... Без гласности, так сказать... Потому денежки-то эти заграницу идут... как сказать... не законными путями... Да и рыбка крупная ловится... Тоже, так сказать, гласности не подлежит... Скажем, член палаты общин, лидеры лейбористские, конгрессмены разные, и опять же на борьбу с Мак Карти... А тут еще предвидятся члены правительств...

– Хорошо, хорошо. Я скажу Звереву, чтобы наличными отпустил... Только смотри мне, ежели уличу, что расхиждение социалистических средств производить будешь – не помилую, потому закон и тебе известен!

– Да это мы понимаем... В точности всё исполним. Можете не сомневаться, потому, сколько годов совместно работаем, сколько ответственных операций произведено, и всё благополучно?

– Это мы проверим, потому социализм – это учет, так, говорил покойничек Ильич. А ты вот мне статистику доставь в срочном

порядке. Изобрази сколько, значит, министров у тебя на учете состоит в активе, сколько конгрессменов, журналистов, профессоров, атомных специалистов... Разбей-ка их по социальному происхождению, семейному положению, возрасту, национальности... Да, ты сам должен знать, как сводки таковые подаются в министерства...

– Это мы с удовольствием, вчера только сдали таковую статистику товарищу министру внутренних делов.

– А вопрос наиглавнейший в настоящий диалектический момент – это задержать ратификацию парижских и лондонских соглашений, понял?

– Как же не понимать, хорошо понимаем, потому сталинизм...

– Ты мне про сталинизм не смей говорить. Помер твой сталинизм!

– Слушаюсь, товарищ председатель. Вот только с рождественской кампанией как?

– Оставь проэкт. Рассмотрю на свободе... Указания получишь по линии МГБ. А насчет делов заграничных – не подкачаешь, орденок ленинский получишь. Понял?

– Как же не понимать, товарищ председатель.

– Ну, ступай, слов больше не имеется к разговору с тобой.

Патриарх медленно вышел из кабинета и направился в эмведевский автомобиль, ожидавший его у парадного, и отправился в свою патриаршую резиденцию.

Беседа прошла в дружественной теплой обстановке и во взаимопонимании насущных государственных вопросов – так могла бы написать «Правда» на своих лживых страницах, если бы был на сей счет дан приказ свыше.

Вот и всё.



ЕГО ПРОКЛЯТОЕ ВЕЛИЧЕСТВО

Глубоко под землей, где не был ни разу живой человек, находилось мрачное царство Властелина Зла – Его Проклятого Величества Сатаны.

Благодаря вечному мраку, царившему здесь, подземелье казалось бесконечным. Его лабиринты узких и темных ходов, змееобразные коридоры, огромные пещеры и едва заметные норы никогда не знали света Божьего – ни солнца, ни луны, ни нежного мерцанья звезд, украшающего темные земные ночи. Подземелье это жило своей жизнью, непонятной человеку. Да и не все люди могли знать об этой жизни, не все хотели верить в эту страшную жизнь.

Огромные колонны, разукрашенные драгоценными каменьями, золотом и серебром, подпирают высокие своды. В полированой поверхности отражаются красные языки пламени огненных источников, лениво извивающихся к подземной выси. Если бы не эти огненные источники, разбросанные то тут, то там по всему подземелью, здесь был бы вечный мрак, вечная тьма, но внутренний огонь Земли вырывается из глубоких расщелий образуя кое-где огненные озера. Пламя этих источников окрашивает всё здесь в красный цвет и этим придает всему еще более мрачный и еще более ужасный вид.

В углублении большой пещеры стоит трон, устроенный из человеческих костей, спинка которого состоит из скелетов.Черепа скелетов обращены лицами своими к обширному залу. Они смотрят темными пятнами глаз, носов, неровными рядами зубов. Колышащиеся языки пламени играют красными отсветами на высохших костях, и кажется тогда, что скелеты смеются. Да, они смеются... Страшный смех, дикий смех. Безумный. Но заразительный. И одним из тягчайших наказаний Его Проклятого Величества, налагаемых Им на своих подчиненных, является заражение этим безумным смехом безмолвных скелетов Его трона.

Жертва стоит перед троном. Смотрит некоторое время на красные смеющиеся черепы молча, сосредоточенно, и вдруг в глазах её загорается безумие и красный сумрак подземелья оглашается страшным грохочущим раскатом:

– Хх-ха-ха-ха! ...Го-го-го-го! ...У-у-у-у-у! ...Гу-у-у-у! ...Улю-лю-

лю-лю! ...И-и-и-у-у-а-а-а-о-о-о-е-е-е-ю-ю-ю... Ха-ха-хо-хо-хо-фью-у-у!

Чортов смех разносится по всему кроваво-красному модземелью, и везде он слышен с одинаковой силой, и везде он производит одинаковое впечатление: мертвенный ужас грешников становится еще более глубоким, а страх чертей перед Его Проклятым Величеством приводит их в состояние такого же безумия, в какое впал их наказуемый собрат, и преисподняя тогда оглашается мучительными стонами и диким смехом...

Дрожат языки пламени огненных источников, вместе с ними дрожат красные фигуры и их тени. Мрак сотрясается, наконец, от ворвавшегося гомерического хохота Его Проклятого Величества Сатаны, и пламя лижет драгоценные камни колонн, серебро и злато их, добираясь до высоких сводов подземелья...

Здесь нет времени. Пространство безгранично. Обитатели мрачного подземелья свободно пробираются куда им угодно. Они проникают через земные поры на поверхность, подымаются высоко над Землей, достигая иных Миров... Может быть, у них имеется своё дьявольское время, не исчислимое человеческими годами, мы не знаем, но старость со всеми её отрицательными качествами проявляется здесь также сильно, как и на Земле, у людей.

И пришло это страшное время для Его Проклятого Величества. Почувствовал Он усталость во всём своём проклятом теле. Надоело ему сидение на своём троне. Захотелось Ему обойти все свои владения. Но силы не позволяли этого сделать. Он стал раздражителен, упрям и еще более жесток не только по отношению к грешникам, но и к своим двурогим подчиненным. Стоны и безумный смех теперь не смолкали. Красные языки пламени огненных источников охватывали грешников, возле которых суетились черти со своими орудиями мучений, чтобы угодить Его Проклятому Величеству...

Скрежет зубов, треск ломающихся костей человеческих, грохот барабанов натянутых человеческой кожей, смешивался теперь с безумным смехом провинившихся чертей, которые не в состоянии были удовлетворить все прихоти своего высокого патрона. Сатана был капризен, желания Его менялись быстро, и никто не мог ему угодить никогда.

Мир тайно лелеял мечту о Добре, о Счастье, о Любви – Его Проклятое Величество доживает последние годы... А черти с чертовками тем временем кружились в сумасшедшем танце под музыку стонов мученических грешников; черти с чертовками лизали пламя огненных источников, и глаза их излучали горячие красные лучи... Все хотели развеселить Могучего Властелина Зла.

У трона Его Проклятого Величества склонились все мудрейшие старые черти во главе с тронным Лекарем.

– Злу подходит конец... – ослабевшим голосом жаловался Сатана, – Чувствую... Доживаю последние годы... Сил нет.. Слабею... Теряю власть над Миром... И некому будет поддержать Зло на Земле... Чертовские братья мои расползутся по всему Миру... Рассеются по Вселенной... Что могут сделать они без Меня людям? Ничего. Бессильны они против человеческого Добра...

Высокое Собрание внимало каждому слову, каждому вздоху своего Повелителя, Высокое Собрание искало спасение Его Проклятого Величества, и в тайниках чертовской мудрости рождалась Истина Зла, которая могла спасти от гибели Сатану.

Приподнялся тронный Лекарь. Со склоненной головой подошел к Его Проклятому Величеству. Дотронулся своим хвостом до огненной мантии своего Господина и, выпрямившись во весь свой чертовский рост, заговорил металлическим резким голосом:

– Величайший из величайших, Мудрейший из мудрейших, Могущнейший из могущественнейших! Ваше Проклятое Величество! Всезлейший Соверан Вселенной! Наистрашнейший Господин, перед Которым дрожит всё живое! Зло также бесконечно, как и его Творец! Где предел Преступлениям, Глупости, Скаредности, Лжи, всем слабостям человеческим, приводящим к греху? Его нет, Ваше Проклятое Величество! Мы не можем допустить, чтобы наш Могущественнейший Господин исчез! Наше Высокое Собрание чёртовых мудрецов пришло к убеждению,что единственным способом поддержания жизни в Вашем Драгоценнейшем организме является обогащение Его кровью невинных людей. Это заставляет меня, Тронного Лекаря Его Проклятого Величества, приблизиться к Огненной Мантии моего Всезлейшего Повелителя, дотронуться до Неё моим хвостом в знак глубочайшего уважения и преданности Вашему Проклятому Величеству и, нарушив Ваш покой, просить Вас отдать приказ всем чертям и чертовкам прекратить охоту на грешников, которые и сами доберутся до Ваших богатейших Владений, и переключиться отныне на ловлю невинных, их кровью восстановить Ваше здоровье, так необходимое всей Вселенной!

После Тронного Лекаря, выполняя тот же порядок церемонии, подошел Мудрейший Советник к Его Проклятому Величеству и замогильным голосом начал свою речь:

– Ваше Проклятое Величество! Всемогущий Господин Зла! Властитель Тьмы! Высокое наше Собрание рассудило подробно все обстоятельства, связанные с ловлей безгрешных людей. Мы, нижеприслоненные перед Его Проклятым Высочеством, сочли

необходимым просить Вас, Мудрейший из мудрейших, заменить всех добрых и мудрых земных правителей наиболее глупыми и злыми, и Ваша Всезлейшая Власть возродится в еще большей силе, чем была доселе!

После этого Тронный Лекарь и Мудрейший Советник поддели рогами Огненную Мантию и приложились к дряхлеющей холодной ноге своего Властелина.

Его Проклятое Величество взглядом потребовал к себе мудрейшего и старейшего чёрта, ведавшего Земными делами.

– Погуби добрых царей на Земле. Уничтожь мудрых правителей. Пошли на Землю революции, ...голод, ...болезни... Утверди начальниками над народами преступных или глупых... Кровь невинных нужна мне для моей жизни... Пусть тысячи моих подчиненных преданнейших мне чертей и чертовок проникнут в гущу людскую, пусть ловят невинных, безгрешных... В их жизнях я почерпну силы творить и дальше Зло!

И исполнили мудрейшие черти приказ Властелина. И воцарились на Земле злые и глупые правители, преступные и безжалостные, и начали предавать невинных своих собратьев по глупости или злобе своей... И восседает попрежнему на троне из человеческих костей Его Проклятое Величество, с жадностью набрасывается на всё новые и новые невинные жертвы, вампиром впивается в еще горячие тела, высасывая безгрешную кровь... И крепнут силы Сатаны...

Его Проклятое Величество утвердило Зло и Ненависть, Глупость и Тупоумие в еще большей мере, чем было до сих пор на нашей грешной Земле...

Ф-фу! Какой отвратительный, но правдивый сон!

И спрашивает маленький человечек, червь Земли: «Будет ли когда-нибудь конец величайшему современному Злу на нашей планете?»

И разум человеческий приводит людей к ответу, – Терпению Бога Всевышнего бывает конец!

– С нами Бог!

Враги народа

Картины жизни людей
в социалистическом-коммунистическом
государстве
и их боьба за существование
под советской властью
и диктатурой большевиков

Посвящается
памяти миллионов людей,
которые страдали
и жили лишенные свободы
и тем, кто погиб
от кровавых рук
ЧеКа, ГПУ, КГБ и НКВД



ПРОЛОГ

МОЙ МИЛЫЙ ДРУГ

Мы возвращались вместе с работы.

Была зима, был снег, была суббота.

Мы медленно шли, меняя тротуары,
Мимо нас проплывали седые бульвары,
Серебристые звезды над нами сверкали,
Мы не спешили, как будто чего-то ждали.

Город вымер к полуночи, стих, притаился,
Вряд ли счастливый сон кому снился.

Лишь мы не спали, бодрствовали пока,
Потому что – слева партком, а справа ЧеКа.

Домой мы, конечно, когда-то прийдем,
Ляжем в постель, но мы не заснем:
Думы о прошлом, мысли о дне, о работе,
А в мечтах – стремленье к свободе.

Ночь тиха, но она не спокойна, тревожна,
Потому что в мире этом все очень ложно.

Мы привыкли спать с смотрящими глазами,
Даже с близкими не смеем говорить словами:
Речи произносим, клятвы, заклинанья,
Дрожь скрывая, являемся к чекисту на свиданье.

Ночь тиха, но тысячи ушей открыты до утра,
Ночь пройдет, и на весь мир
Готовы все кричать «Ура!»

В переулке где-то вдруг мотор взревел –
Друг мой милый скрылся в тень, замлел:
«Нужно нам скорей из города бежать!»

Но куда? Легко подумать так, сказать!

«Здесъ, на фоне снега, нас легко заметить,
Вдруг поймают? Что тогда ответить?»

Нам бежать бы с другом в темный бор,

Но ведь я же не убийца, друг – не вор!

Незаметно бы пробраться нам в далекий лес
Да найти бы там сейчас Махна обрез,
Иль следы запутать нам в глухой степи?

Мы «враги», но разве только мы одни?

Другу что теперешняя власть?

А поди-ка, натерпелся её всласть!

Он-то сам с села, из мужиков,
Не кулак, не середняк, из бедняков,
И сейчас еще сестра его с отцом
Голодают там в колхозе с трудоднем!

На него ж давно наклеяли ярлык
За, его скупой, отточенный язык.

Вот и мыкается тут мой милый друг,
Все бежит куда-то – а помают вдруг?

«Контра» он, «гнилой интеллигент» –
Сердце дрогнет, станет на момент,
Жуть холодною волной пройдет,
На лице ж – беспечности налет.

На кладбище на краю могилы маскарад,
Друг мой шепчет: «Да ведь это ж ад!»

Не узнали, только догадались палачи,
Обнажив пред полутрупом острые мечи, –
И исчез мой милый друг навек...

А ведь с сердцем был он человек!



ПРОЛЕТАРСКОЕ ПРАВОСУДИЕ

Громадный зал железнодорожного клуба был переполнен людьми не только потому, что это был первый открытый судебный процесс, но и потому, что на скамье подсудимых сидел Гриша Печенегин, багажный весовщик, весёлый, жизнерадостный малый, которого все знали и любили за его доброту, готовность всегда и всем помочь и за его остроумие.

Скамьи ломились от избытка сидевших; проходы запрудили те, кто не успел занять вовремя свободного места на стоявших в два ряда длинных простых деревянных скамьях. Народ был рабочий, служивый, с липкими, запотевшими лицами, изголодавшимися и усталыми. Воздух был спёртым, люди тяжело дышали, но в необычаной тишине напрягали весь свой слух, зрение, всё своё внимание, чтобы разгадать тайну «рабоче-крестьянского правосудия».

Углубление перед сценой предназначенное для оркестра и огороженное барьером, было покрыто досками. На этих досках стояла длинная скамья, на которой разместили несколько подсудимых. На сцене – длинный стол, покрытый красным каленкором; слева – маленький столик для прокурора; справа – другой для защитника.

Судья, бывший кочегар маневрового паровоза, Мальцев, чекист в первые годы революции, выдвинутый коммунистической партией на ответственный пост, был сух, сер и желчен. Его зелёные перекошенные глаза вливались в собеседника и обдавали замогильным холодом. Весь костюм его был из тонкой дорогой кожи, блестели сапоги, а на кожаной фуражке сияла эмалью красная звезда.

Голос у него был сухой и резкий, не было плавности в его речи, иногда с большим трудом приходилось улавливать смысл сказанного.

Допрос Мальцев вёл неумело, беспорядочно, часто вдавался в ненужные подробности, иногда сам отвечал на свои же вопросы, не давая времени для ответа подсудимым.

Прокурор, товарищ Коломиец, бывший станционный носильщик, большой, грузный мужчина с одутловатым лицом, длинными черными густыми усами и крупным мясистым носом, смотрел на мир, его окружающий, глазами, полными зависти, и даже здесь, когда жертва была в его руках, он смотрел на подсудимого всё

тем же взглядом, как бы говоря, «Вот тебя и сейчас любят, а меня?»

Коломиец говорил медленно, несвязно, раскачиваясь всем своим огромным туловищем, часто похлопывая себя по далеко выступавшему животу. Ему, вероятно, казалось, что он в лице подсудимого весовщика громит капиталистов, потому что в речи его не было ни слова о виновности Печенегина, но слова «буржуй», «капиталист», «белогвардеец» и т. п. не сходили с его уст. Разгромив капиталистов, он не забыл всё же потребовать высшей меры наказания для всех «преступников».

Закончивши в первый год революции двухклассное железнодорожное училище Кондратьев, защитник, до адвокатуры был станционным конторщиком. Революция видвинула его далеко вперёд в складывающемся новом обществе, и он увлёкся своей новой профессией, не имея ни на грам дарования.

Высокий, сухой, с плоским костистым девичьим лицом, покрытым румянцем, с прозрачными серыми невыразительными глазами, он говорил монотонно, картавя, часто обращаясь к «пролетарской совести граждан судей».

Наконец, последнее слово дано подсудимым. Каждый подсудимый защищал себя как мог. Последним говорил Григорий Тимофеевич Печенегин.

– Граждане судьи! Да, я виноват. Я совершил преступление. Я дважды воспользовался багажным вагоном в корыстных целях. Это доказано следствием, этого я не отрицаю и здесь, на суде. В первый раз я отправил пуд соли в Н., взамен которой получил пуд ржаной муки. Во второй раз я отправил снова пуд соли, но муки уже не получил, так как вся, как выразился гражданин прокурор, шайка капиталистов была раскрыта.

Печенегин, измученный заключением и допросами, вероятно, сам уже верил в свою виновность, хотя в сущности никакой вины ни у кого из подсудимых не было. Каждый железнодорожный служащий имел право на бесплатный провоз багажа до двух пудов. Существовали специальные «провизионные» билеты для железнодорожников удалённых от городов станций, по которым они имели право ездить в ближайшие города за приобретением провизии.

Основная цель суда должна была заключаться в обвинении Печенегина в спекулюции, но, с одной стороны, её установить не удалось, так как мука, которую получал Печенегин в обмен за соль, употреблялась его семьёй, с другой же, сам суд ясно не представлял себе этого нового закона. Но правительство требовало ловить и сурово наказывать преступников-спекулянтов. Печенегин и явился жертвой требования «высших органов» и неграмотности суда.

– Почему я решил пойди на такое преступление? Суду известно, что я зарабатывал 11,000 рублей в месяц, а хлеб на рынке стоил 14,000 рублей. Суду известно, что я имею семью, жену, однолетнего сына и тёщу. Никто, кроме меня, хлеба не получает, так как иждивенцы хлебных карточек не имеют. Те четверть фунта ячневого хлеба, которые я приносил домой, справедливо делились на всех, даже маленький сынишка получал твёрдую корочку почесать растущие зубки. Из железнодорожного кооператива я получал только четыре фунта пшена, четверть фунта сахару, и четверть фунта постного масла в месяц. Скажите, мог ли я прокормить таким пайком семью? Мог ли я равнодушно смотреть на голодающего ребёнка? Мог ли я не чувствовать страданий жены? И, наконец, не мог я выгнать из дому старой женщины, матери моей жены?!

Печенегин остановился, закрыл глаза, тяхело вздохнул.

– Ни жажда наживы, ни обогатение, ни «буржуйские заманки» толкнули меня на преступление, ни желанъе стать «капиталистической акулой», ни «контрреволюционными действиями подорвать советскую власть», нет, я только хотел утолить голод тех, кто мне близок и дорог, для которых я муж, отец и кормилец. Накормить семью – это мой долг. Я не нашел иного пути и сделал преступление. Я надеюсь, что суд учтёт все причины, побудившие меня к незаконному поступку и вынесет справедливый приговор.

Суд ушел на совещание. Зал остался недвижим и молчалив. Напряженно ждал каждый «справедливого приговора», понимая, что преступления не было, но предчувствуя страшное решение, которое вот-вот объявит Мальцев, неудачник кочегар, озверевший чекист и жестокий судья.

Зловещую тишину прорезал зычный голос:

– Встать, суд идёт!

Пока персонажи разыгрывающейся драмы занимали места, сотни глаз впивались в сухую выбритую физиономию судьи. Каждый хотел разгадать, что прочитает этот маленький злой человечек, жизнь которого протекла у всех на виду, жизнь неудачная, жизнь никудышняя, жизнь человека, лишенного всяких способностей, завистливого и вечно пьяного.

Начало приговора Мальцев успел выучить и сказал без запинок, но дальше, не умея бегло читать, начал сбиваться, путаться, наконец, отложив бумагу в сторону, начал повторять своими словами то, что говорил прокурор. Он проклинал буржуев, грозил мировой революцией, истреблением «хищник акул» он собирался раздавить «гидру контрреволюции», но дар красноречия быстро иссяк и он, гордо оглядев собравшихся, устало опустился на стул.

Секретарь суда, подскочивший от удивления в начале «чтения» приговора, увидев, что судья сел, не прочитав решения суда, вполголоса говорил ему:

– Товарищ Мальцев, товарищ Мальцев, а приговор же... прочитайте приговор... к чему присудили подсудимых...

Мальцев не смутился. Он встал, взял в руки исписанный лист бумаги и начал медленно оглашать, кого на сколько лет присудили к заключению. Дойдя до Печенегина, он снова отложил бумагу, видно помня написанное, и, смотря на свою жертву в упор, произнёс:

А главного преступника Печенегина – к расстрелу!

Зал замер. Казалось, приостановилось дыхание сотен людей. Казалось, маленькая искра сейчас могла бы взорвать громадное здание, стереть с лица земли жестокий приговор, комедию суда и жалких, но злых его участников. Но искры не было. Народ молчал.

Увели подсудимых.

Увели и Тоню, жену Печенегина. Увели голодающую мать к голодающему ребенку.

Мир не без добрых людей. Обласкали, согрели, накормили. Рана была так глубока, что Тоня не могла ни о чем думать. Кто-то приходил, кто-то заботился, кормил ребёнка и её, кто-то смотрел за домом, помогал старухе-матери, больной и разбитой, наводить порядок, кто-то не забывал о ней в эти страшные дни.

Ночью и днём крупные слёзы катились из её черных больших глаз. Представлялась картина расстрела... Останавливалось сознание... И снова тоже...

Прошло несколько дней. Солнечное утро застало в забытье Тоню, но едва яркий луч коснулся её век, она открыла опухшие глаза, покрасневшие от слёз, увидела сынишку, сидевшего в этот ранний час в своей маленькой кроватке. Увидев мать, он улыбнулся и потянулся к ней. Тоня встала и, всматриваясь в улыбку сына, вскрикнула:

– Григорий ты, мой Виктор!

В этой улыбке сына она узнала тот ласковый тёплтый взгляд, которым часто дарил её Григорий. Она схватила сына, стала его ласкать, целовать, говорить нежные слова...

Смысл жизни был теперь в её руках. Хотя слёзы и продолжали набегать, но она старалась теперь их прятать. Хотя рана болью своей причиняла неимоверные муки, но Тоня лечила её единственным своим утешением—сыном.

Друзья познаются в беде. Однажды пришел рассыльный из

телеграфа.

– Товарищ Печенегина, Петр Макарович вас зовут... насчёт работёнки...

Пошла Тоня в телеграф. Всё равно нужно где-то искать работу. Начальник был старый человек, знал всю железнодорожную молодежь.

– Ну, что Тоня, горе-горем, беда-бедой, а жить нужно?

– Конечно, Петр Макарович...

– Курсы телеграфные открываются, через три месяца будете телеграфисткой, а карточки продуктовые получите сразу.

– Хорошо, а все эти парткомы, профкомы?

– Это уж я сделаю, пишите заявление.

Тоня села, написала заявление и, подбодрённая старым железнодорожником, ушла со светлыми мыслями и надеждой.

Старику-телеграфисту пришлось, конечно, в профкоме и парткоме повоевать, но сумел отстоять Печенегину: «Не умирать же с голоду, да и она-то не виновата ни в чем.»

Через три месяца Тоня уже работала и приносила домой не только паёк, но и маленькие деньги, которые постепенно начинали иметь цену.

Работа заставляла забывать горе, и хотя она каждый день вспоминала мужа, но острота боли душевной медленно стиралась.

Прошло семь лет. Подходила осень. Виктор собирался уже в школу. Тоня попрежнему дежурила, отдыхала, возилась с сыном. Часто вспоминала Григория, не только потому, что сын был похож на него, но и потому, что знала, что тех светлых дней жизнь не вернёт никогда, что воцарившееся зло с неимоверной жестокостью расправилось с близким ей человеком, которому она отдала всю свою жизнь.

Правда, давно уже дежурный по станции Королёв нежно посматривал на неё, говорил ей красивые слова, провожал после работы домой, а совсем недавно признался в любви и просил её быть его женой. Тоня подумала о Викторе и сказала, что если он сможет быть отцом её сына, она согласится.

– Но сначала подумайте, потому что я прежде всего мать!

Королёв человек не-молодой, положительный, добрый и чуткий, знал Тоню давно, знал и её тяжелую утрату и понимал, что жизнь жестоко посмеялась над её молодостью, разбив маленькое счастье маленькой женщины. Он понимал прекрасно, что теперь ей нужен был

не только друг, на которого можно было бы опереться в тяжелую минуту (а сколько их теперь, Боже мой!), но отец для её сына, которыей смог бы своею любовью согреть нежное сердечко, влить в душу его то лучшее, что мир утвердил, как истину – добродетельность, христианскую любовь к ближнему, познание Бога в Его славе и величии.

Королёв был религиозен, и чувство веры руководило им и сейчас. Он без раздумий, без сомнений сказал:

– Ваш сын будет моим сыном. Я знаю, что моя любовь к нему также искренна, как и к вам. Если Господь поможет устроить нашу жизиь, он никогда не сможет назвать меня отчимом.

Правдивость была для Тони ясна. Она вздохнула с облегчением. Нашелся человек, с которым она могла разделить своё одиночество.

Королёв теперь чаще заходил к Тоне, сближался с будущим сыном, говорил с ней о предстоящей свадьбе, которую назначили на середину осени. Хлопот было не так много, но времени свободного было очень мало.

Осенним дождливым вечером Тоня сидела одна в комнате, ожидая Королёва. Сын с бабушкой ушел к соседям посмотреть на обновки и подарки, сделанные в день рождения товарищу Виктора, с которым он ходил в школу. Было около восьми вечера, когда раздался осторожный стук. Тоня вздрогнула, так как стук был не Королёва, да и придти он мог только после восьми часов. Она открыла двери. Человек в длинном черном пальто, изорванном и грязном, с худым, заросшим лицом стоял перед ней.

– Мне нужно видеть Антонину Ивановну Печенегину, – сказал он.

– Это я... зайдите... – настороженно произнесла Тоня.

Человек вошел в комнату, плотно закрыл двери, посмотрел вокруг и, убедившись, что никого в комнате нет, начал:

– Ваш муж, Григорий Тимофеевич Печенегин жив... Он шлёт вам и сыну Виктору привет с далёкого Севера... Он просил...

Кто-то дёрнул двери. Из-за грязного пальто пришельца вынырнул Виктор, за ним вошла бабушка. Странный человек круто повернулся и исчез, также плотно закрыв за собою двери.

Тоня оцепенела. Она не видела ни сына, ни матери. Рванулась к дверям, выскочила на улицу. Холодный ветер и дождь обдали её разгорячённую голову, непроглядный мрак осени скрыл таинсственного человека, принесшего весть о Григории... Где он, этот худой, измождённый человек, куда ушел он? Глаза напрасно старались

различить в черноте надвигающейся ночи запомнившуюся фигуру, бесполезно напрягался слух, чтобы в шуме ветра и дождя уловить шаги...

Рана раскрылась. Боль первых дней потери мужа снова охватила её. Слезы горячие и крупные лились беспрестанным потоком из её глаз. Сердце обливалось кровью; встревоженный мозг твердил: – «Он жив! Он жив!»

Королёв застал Тоню в кровати. Он подошел к ней и взял её за холодную руку.

– Что с вами, Тоня?

– Все кончено, мой милый друг... Быть вашей женой я не могу...

– Что случилось? Почему?

– Мой муж, отец моего сына жив... Мы принадлежим ему...



ЗА ХЛЕБОМ

Они собирались в глухих закоулках, за маленькими лавочками или за большими магазинами, где не было ни души. Собирались после рабочего дня, перед сумерками, когда на улицу высыпала молодежь подышать свежим воздухом, отвлечься от полуголодного рабочего дня. Смешиваясь с гуляющими, чтобы их никто не узнал, они обрекали себя на бессонную, утомительную ночь, на стояние, напряженное ожидание. А сейчас прохаживались с беспечной молодежью, всегда живой, всегда веселой, не взывая ни у кого никаких подозрений. Город давно был брошен на произвол судьбы – живите, как хотите, но не бунтуйте и все свои силы отдайте нам властителям вашим!

Вправо от собора, превращенного в киношку, как оазис в пустыне, на безлюдной площади, скверик пестреет грязно-красными платьями одного и того же фасона среди серых, унылых подпоясанных блуз и штанов. По дорожкам сквера прохаживаются пары – парни и девушки, но больше всего женщин – молодых, пожилых и даже старух, держащихся в стороне от юности. Изредка – мужчины, главным образом старики, гуляют, будто выходной.

Сгущаются сумерки, редеет сквер, из которого, перебегая площадь мелкими, не подозрительныи шажками, женщины, девушки, девочки и редкие мужчины, скрываются меж двухэтажных магазинов и совершенно теряются в небольшом, тесном закоулке, образованном тремя старыми лавочками.

Никто не думает сразу выстраиваться в струнку. Забежит в закоулок, будто по нужде:

– Кто последний? – тихо спросит в образовавшейся мгле, из которой услышит осторожный голос:

– Будешь восемьдесят девятый... – и пришедшая тень уходит в глубь закоулка, ожидая сдедующего, а кто-то выскальзывает, скрываясь за поворотом.

Милиционеры проходят мимо магазинов, иногда заходят на рынок, но всегда избегают закоулков.

Город медленно затихал. В киношке еще шел третий сеанс, но вокруг становилось так пусто, что казалось все давно уже вымерло. И

в это предполуночное время таинственные тени начинали двигаться по темным переулкам, прячась в неосвещенных местах на тротуарах, стекаясь к заветному закоулку.

Пятый? Где пятый? – раздавался тихий голос.

– Сюды... Я пятая...

– Сто двенадцатый? Сто двенадцатый? – врывался новый шуршащий голос.

– Тут... За мной...

Хлеб! Люди все потеряли. От человеческого осталось немного. Среди этого немногого – честность. Строго соблюдали в ночной тишине порядок. Редко кому удавалось обмануть темноту и втиснуться незаконно в очередь!

И к полночи змейка была выстроена. Глухой, небольшой закоулок стиснул всех так, что не было места продеть даже иглу! Один в один, будто срослись, тесно прилегая друг к другу и держась один за другого, ждали... Казалось билось одно сердце, дышали одни легкие, одни глаза всматривались во мрак, одна кровь текла от первого до последнего и не мысль была, а только одно желание – хлеба!

Кой-когда раздавались звонкие шаги милиционера, шедшего по тротуару, и в закоулке очередь, как многоголовое, многоногое, многорукое двуполое существо напряженно вслушивалось в уверенные, властные шаги, и казалось, что в такие минуты одно большое сердце очень громко стучало «тук-тук», «тук-тук» – и общее тело дрожало, горело, ждало, когда же, наконец, замолкнут резкие, четкие звуки. Общей грудью проносился вздох облегчения:

– У-ух-х-х! Прошел!

Все потеряли люди. От человеческого осталось немного. Среди этого немногого – честность. О, как красива, как трогательна эта честность в темном глухом закоулке!

Томительна летняя ночь. О, она не так коротка, как когда-то казалось поэтам и писателям дореволюционной России! Она тянется очень долго! Её нужно выстоять! Её нужно вытерпеть! Нужно вынести все её неудобства! И не темнота уже прикрывает естественный стыд, а хлеб...

– Дяденька, я сичас... – шепчет девичий голос, и едва заметная тень, выдавливаясь из очереди, отбегает на два-три шага за нуждой и спешит вернуться на свое место, чтобы не потерять права на кусок насущного хлеба...

Молчит очередь. Тяжело дышит одним дыханием, живет одним желанием – достать хлеба кусок!

Рассвет. Усталые, болезненные лица проявляются, как на фотографической бумаге, а за нуждой бегают чуть дальше.

Стыд? Буржуазный предрассудок!

Без пяти семь. Из закоулка стремглав бегут, соблюдая даже в движении порядок.

Мильтон у магазина. И начало очереди возле него. Никто не смеет сказать ни слова, и первый из ночной очереди становится здесь десятым-двадцатым, потому что впереди друзья, кумовья, знамкомые или просто соседи мильтона. Страж беспорядка с довольной улыбкой оставляет свой пост.

Восемь. Первый десяток вламывается в открывающиеся двери. Вместо мильтона на дверях завмаг – цербер без цепи. Продавщицы неспеша начинают трудовой день. Из карточек вырезывают купоны, выписывают в кассу чеки, и покупатель бежит платить. У кассы вырастает хвост – нет мелочи для сдачи...

Пропуская иногда два-три десятка, ожидающие сдачи, наконец, получают её и бегут к прилавку.

– А карточки я вам отрезала?

– Да вы же мне чек выписали!

Продавщица долго думает, покупатели терпеливо ждут – на дверях цербер без цепи. Да и сами продавщицы здесь не простые – хлебные! Это почти сама милиция.

Наконец! О, Господи! Хлеб, измятый еще на хлебозаводе, мнется последний раз когда покупатель протискивается через напирающую на двери толпу, стремящуюся в магазин. Этот измученный хлеб в руках...

А впереди снова ночь в каком-то другом закоулке!

Там будут «давать»: Дамские туфли... Чулки... Галоши... Мужские костюмы...

И снова – хлеб, хлеб, хлеб...

Ах, как жаль, что здесь на Западе вот эти патлатые, а с ними с жиру беснующиеся профессора, либералы, демократы, радикалы, сенаторы, министры, священники, умеющие только осуждать и обещать; как жаль, что вся эта элита от безобразия не попала еще в глухой закоулок провинциального советского городка и не испытала на своей одеревенелой шкуре всю «прелесть» того «светлого» будущего, за которое она сейчас здесь так яростно борется!



СЛУЧАЙ НА СЕАНСЕ ФИЛЬМА «БРОНЕНОСЕЦ ПОТЕМКИН»

Недавно на экране телевизора по «воспитательной» программе показывали, как говорят наши американцы, «классический фильм» «Броненосец Потемкин».

Не моя цель оценивать «классичность» сего советского потреба, эмигранты могут это сделать без помощи со стороны. Я же хочу рассказать о факте, который произошел много лет тому назад на сеансе фильма «Броненосец Потемкин».

Убегая из города в деревню от советской власти, я в середине двадцатых-годов очутился в селе Нижняя Крынка в восьми верстах от станции Харцызск.

Начало культурной жизни в селе было положено задолго до революции той интеллигенцией, которая жила в те времена тут. Село было слито с шахтой и крестьяне жили полурабочей, полукрестьянской жизнью. Отсюда и пошла культура не чисто сельская, но и не городская. В советское время началась переделка этой культуры на коммунистический лад.

Шахта была разрушена во время гражданской войны, были разрушены и большинство домиков, в которых жили шахтеры, но уцелевшие продолжали быть занятыми некоторыми жителями. Один большой дом был превращен в колхозный клуб, из другого вскоре была сделана школа.

В клубе ставили спектакли, устраивались концерты местными силами, заезжали артисты. Пьесы были из старого репертуара, изредка – советские агитки, а в концертах непременно исполнялся «Интернационал». Очень редко село посещал работник культотдела из района, привозивший с собой кинопередвижку. Тогда все село шло смотреть кино-картины. Это было еще большой редкостью.

В году 1926 или 1927 на сельском экране появился кинофильм «Броненосец Потемкин». К началу сеанса зал был набит битком старыми и малыми. На первой скамье сидела пожилая женщина с двумя сыновьями. Один из них был уже комсомольцем а другой – пионером и учеником сельской школы.

После долгих умащиваний и прилаживаний киноапаратик

наконец заработал, на экране стали двигаться люди. В зале воцарилась глубокая живая тишина, в которой иногда раздавался сдержанный кашель или вблизи глубокий вдох, да сухо трещал киноаппаратик, но никто ничего не слышал ибо внимание всего зала было сосредоточено на экране.

Большинство считало картину как бы документальным фильмом —товарищи-пропагандисты, конечно, не разуверяли никого. Вдруг тишину, достигавшую необыкнного напряжения, разорвал надрывный бабий крик:

– Васылько! Васылько мий!

Взволнованная женщина сидевшая впереди всех на первой скамье со своими двумя сыновьями, вскочила.

– Чоловиче мий! – увлеченная новыми кадрами, она побежала к барьеру, за которым в антрактах во время спектаклей играл оркестр, и стала причитать:

– Васылъко!! Чоловиче мий! На кого ж ты нас покынув! Её восклицания усилили внимание зрителей, так как многие знали её мужа.

Когда сеанс был закончен, сыновья поспешили увести расстроенную мать домой. Выходившие из зала зрители останавливались тут же, на площади перед клубом и рассуждали: был ли то Васылько Журавлев или кто-то другой?

– Ну, та хто ж не знае Васыля Журавльова? Звисно, вин!

– Та то у вас, дядькы, очи повылазылы! Якый там Васыль! Як стара дурна баба гыкнула, то так зразу и побачылы Васыля! От чудосии, а не люды!

– Ну чого брешешь? Як ты не бачыв, то лучче мовчи! Вже хто-хто, а я знаю його краще, мабуть, усих, бо вин був мий сусида! И я бачив його на картыни, як и Журавлыха!

В темноте мелькали красные огоньки цигарок, пахло махоркой, веяло ленью наступающей ночи. Медленно «дядькы» расходились и уже издалека доносились голоса, едва слышимые, но одно слово повторялось везде: «Васылько». Картина была забыта. Острой темой нескольких дней был «герой» с броненосца «Потемкин» матрос Василь Журавлев, который был выслан царем в ссылку вместе с другими восставшими матросами.

Историю Журавлевой я услышал на другой день.

Жила она на краю села, недалеко от разрушенной шахты, в своей собственной хате. После ссылки её мужа Журавлева она почти ежегодно ездила к нему в далекую Сибирь на свидание, жила там

некоторое время, потом возвращалась домой и в назначенный срок производила на свет Божий младенца. Большинство детей умерло маленькими когда они были оставлены на попечении у других во время её поездок к мужу. Осталось теперь только трое – два сына и дочь, которые жили с ней.

Все село знало, куда ездила Журавлиха, и никто не удивлялся, что бедная крестьянка в то «проклятое царское время» совершала такое далекое путешествие к мужу, государственному преступнику и что власти не препятствовали ей иметь не просто свидания со ссыльным, но и жить с ним в одной хате, а, возвращаясь, не умирать с голоду.



ЛУНАТИК

Знавал портного одного я – Кирил Петровича. Солидный такой человек был, положительный. Семейство у него было, жена тихая, спокойная. Работёнки всегда уйма. Зароботки – живи, одним словом, и умирать не собирайся. Ан, заболел Кирил Петрович. Странно заболел.

Едва все улягутся спать, он встает в темноте с кровати и, вытянув вперёд руки, ощупью пробирается через все комнаты к выходу, пересекает незаметно двор, выходит за калитку, взбирается на громадное дерево, что против его дома, и сидит там до рассвета. Как только солнышко начинает давать о себе знать, он возвращается домой, укладывается в кровать и спит до положенного времени. А днём, конёчно, работает.

Каждое утро своей супруге все подробности ночи докладывает:

– Ночью сегодня Ванюша Манюше под моим деревом в любви объяснялся, видно, осенью свадьба будет...

– Товарищ Колодий из окна товарища Евдокимова о четвёртом часе выскакивал в одном бельишке, а супруга товарища Евдокимова костюмчик ему выбрасывала...

– Пьяный рабочий один шел. На всю улицу дорогую советскую власть разлагал...

– Машина проезжала... Сергей Васильевича забрали...

Кирил Петрович сообщал иногда сногсшибительные новости, каких ни одна газета не печатала.

Однажды сидел портной на своём дереве и мечтами своими витал в густой его кроне, о суете земной раздумывал, да к тишине заснувшего города прислушивался. Слышит вдруг звук мотора. Развдвинул осторожненько ветви, глядит, действительно, машина мчится, сверкая фарами, и прямо к его дому. Остановилась. Молодцов двое из неё выскочило – и к нему в дом. Замер Кирил Петрович. Боится, чтобы не кашлянуть, не чихнуть. Не дышит, одним словом. Ну, а молодцы, ясно, хозяйничают в его доме.

Прошло время некоторое, молодцы выскочили, слова громкие по адресу портного высказали, сели и уехали.

Утром жена докладывала:

– Были...

– Знаю... Ну, и что же?

– Знать, говорю, не знаю, где он по ночам пропадает. Третий месяц дома не ночует... Больной он, что ли, а мне ничего не сказывает... Выругались и уехали. Только обещали еще навестить: «Мы, – говорят, – всю буржуазию старую изъять должны!»

Так в лунатиках и состоял Кирил Петрович до самой осени. А потом прошла эта болезнь как-то сразу. Как рукой сняло. Ляжет с вечера спать в кроватку и до утра не просыпается.

Ну, а молодцы к осени, кстати, переключились. За старую буржуазию забыли. Стали саботажников и вредителей собирать. И опять таки только ночью. Указ правительства, может, такой был, а, может, совестно днём забирать людей невинных...

А болезнь отчего эта приключилась у Кирил Петровача, не знаю, потому я не из медиков.



КАПИТАН РАКИТИН

Бухгалтер госбанка Ракитин нигде и никогда не скрывал своего прошлого. Да как он мог его скрывать, если накануне революции он приехал домой с фронта и расхаживал на костылях с капитанскими погонами по родному городу? Все его прекрасно знали, и не было смысла изобретать какую-то новую биографию, чтобы скрыть своё офицерское прошлое.

Революция, конечно, произвела на него очень сильное впечатление. Он надел свою старую пиджачную пару и, когда зажила на ноге рана, прихрамывая, продолжал ходить по городу, всматриваясь в новые революционные порядки.

Когда товарищи солдаты стали расправляться с господами офицерами в местном гарнизоне, тут он задумался над судьбой родины, взвесил силы ленинской «массы» и пришел к такому заключению, что плетью обуха не перешибёшь. Ни в какие антибольшевистские армии он не вступил, потому что после ранения его укороченная нога вывела его навсегда из строя.

Прошли многочисленные фронтовые линии, прошли и многочисленные власти, начиналасъ мирная жизнь. Ракитин устроился бухгалтером в госбанке, осел в нём очень прочно, и никогда не думал менять своего места работы.

Но великая октябрьская что-то вытащила из его души. Кругом стало как-то пусто и одиноко. Он перестал чувствовать жизнь. В своём одиночестве он доходил часто до сумашествия, пока, наконец, не нашел, как это часто бывает в таких случаях, утешения в алкоголе. С тех пор Ракитина можно было в определённое время видеть всегда в опредедённых местах: с утра до конца рабочего дня в госбанке, затем, до 11-12 часов ночи в пивнушке и, наконец – дома. Больше нигде он не бывал.

В низкой и грязной пивнушке накурено и смрадно. За простыми деревянными столами и столиками, покрытыми зелёной клеёнкой, сидят завсегдатаи, пьют энную кружку пива. В послерабочее время здесь стоит всегда неумолкаемый говор. Сюда редко заходят случайные посетители, потому что пивнушка и снаружи настолько

грязна и неприветлива, что каждый старается пройти поскорее мимо.

Вдруг открываются двери. На пороге появляется Ракитин. Он стоит неподвижно некоторое время в раскрытых дверях. Когда сидящие за столиками, заметив его, смолкают, он делает шаг вперёд, закрывает двери.

– Встать! Капитан Ракитин идёт! – раздаётся его бравая команда.

Все дружно встают, подымая вверх толстые и тяжелые пивные кружки.

Ракитин подходит к своему любимому месту возле прилавка, за которым стоит всегда трезвый заведующий пивной, и командует:

– Сесть!

Он обладал удивительной способностью моментально угадывать количество букв в произнесенном слове. Едва успеет кто-нибудь сказать хотя бы самое заковыристое слово, как он говорит число, обозначающее сумму всех букв, составляющих это слово. Если банк кормил и одевал его, то эта способность поила его. И поила до потери сознания:

– Безапелляционный? – спрашивает кто-то, сидящий на дальным столиком.

– Шестнадцать, – вслед отвечает Ракитин и получает кружку пива.

– Наидемократичнейшая? – спрашивает другой.

– Девятнадцать, – без промедления отвечает бухгалтер госбанка и получает вторую.

В течение нескольких минут его квадратный столик заполняется пивными кружками до отказа.

В этой обычной игре принимают участие и члены партии. Они вместе с ним пьют, шутят, говорят, смеются. Но когда пришло время, они же и предали его «любимому отцу народов», которому нехватало кровавых жертв.

Трудно сказать, в чем могли обвинить капитана Ракитина. Он никогда не говорил о политике, никогда не ругал советской власти, потому что ни первого, ни второго для него не существовало.

Это, конечно, мы, справедливые, ищем причины ареста, ищем обвинения, по своей наивности удивляемся беззаконию, но «там» существуют и причины, и находятся обвинения, «там» существуют свои законы, которых нам никогда не понять.



ПРОРОК

Из местечковых воспоминаний.

Очень многие называли его Моисеем. И почему? Потому, что он был у нас в местечке пророком. Ну, его по-настоящему, конечно, звали Янкель, Яша, иногда даже, знаете, называли с уважительством Яковом Моисеевичем. И он был, конечно, не пророк какой-нибудь, а самый себе настоящий сапожник. Да жил-то он ни в каком-нибудь вам Израиле, а в нашем местечке, где было пол-на-пол евреев и прочих.

Но он, знаете ли, очень хорошо пророчествовал. Уж очень хорошо. Так что даже некоторые русские удивлялись. Ну, и евреи, правда, не все, потому что пророчествовал он, как говорят, по-секрету. И знаете почему по секрету? Просто потому, что пророчествовать выше самого высокого пророка не только, что нельзя, а, вы же понимаете, даже опасно в наши дни. Вы же сами разумеете, что такое конкуренция в торговле и что такое конкуренция в политике. Это очень опасная штука конкуренция. Когда у самого высокого пророка сказано «жить стало лучше, жить стало веселей», а какой-то, можно сказать, сапожник Яша говорит «может, кому и веселей», то, что вы думаете, кто кого банкротом сделает?

А вы знаете, сколько стоит одно только слово «может»? Нет, вы не знаете, вы никогда не жили в нашем местечке и не можете понять, что вот эти пять букв – «м, о, ж, е, т» – стоят человеческой жизни! Вы знали Лифшица, который был директором мельницы? Кацмана, который заведовал маслобойкой? Беленького, завмага? Нет, вы не знали! Вы только знали Троцкого, Пятакова, Зиновьева, которым тоже было в свое время весело! И даже очень весело. И вы, пожалуйста, не думайте, что только русские плакали, когда «жить стало веселей»!

Вы, конечно, не знаете, что это наш местечковый пророк предсказал, что все мы будем жить очень весело. А знаете, когда он это предсказал? Когда услышал, что в России царя нет.

– Ну, и что вы хочете, – говорил он нам после октябрьской, – Поживем и увидим. Сами уже устроили жизнь веселую, сами будем и расстраивать! Вы знаете, что это такое, когда нет царя или кайзера? Ну, вы узнаете! Узнаете тогда, когда в Москве будет черта оседлости

для русских! Нет, вы этого ничего не знаете и не понимаете! А когда вы поймете, то будет очень даже поздно!

И вы скажете, что Яков Моисеевич не пророк? Ну и дальше говорил нам этот простой сапожниик Янкель:

– Что такое еврейские погромы в России? Это перо-пух! А вы знаете, какой еще будет еврейский погром? И каким плачем будут плакать усе бедные и богатые, партийные и беспартийные, худые и толстые, высокие и низкие, старческие и детские глаза? О, вы этого не знаете! А узнаете, то будет очень даже поздно!

И это говорил наш местечковый пророк в сороковом году! А кто помнит эти слова? А никто не помнит. Потому что после войны в местечке ни одного еврея не осталось и больше половины прочих.

Ну, и что вы думаете? Думаете, это уже вам конец? Нет. Кашу еще не поели и ложки еще не помыли.

Янкель спрашивал:

– Сколько вы заплатили за революцию? Чтоб вам «жить стало лучше, жить стало веселей»? Обратно все получите и с процентами!

Ну, а теперь скажите, все мы получили с процентами?



ДУШНО

Георгий Николаевич Тубаров – петроградец, старый физик. Жена его – артистка. Сам он высокий, прямой с мясистым лицом и голубыми глазами, медленными и вечно смотрящими кудато далеко-далеко. Придёт, бывало, к соседу в воскресенье утром в своей чёрной шинели:

– Поразмыслить нужно...

Сам заходит в пустую комнату (обставить нечем было), в которой стояли только стол, длинный и простой, и скамья. Усядется, из кармана достанет бутыль самогона, поставит на стол.

– Нет, нет, уж ты не беспокойся, я со своей черепушечкой... – и вынимает маленький красного стекла стаканчик.

– Вот только закуски, сердечный мой...

– Что же тебе, Георгий Николаевич?

– Луку... головку луку...

– Да что ты!

– Нет, к этой помутневшей жидкости, предначертанной перейти в сообщающиеся сосуды моего организма, требуется и еда мутная, сиречь, лук. Понял?

– Но это же...

– Не возражать! Горечь убивает горечь! И не обращать внимания... Двери закрыть. Не существует меня здесь... Понял?

И сидит один до глубокого вечера, до тёмной ночи, пьёт отвратительный самогон, которого у него две-три бутылки, закусывая только луком.

Зайдёт, часом, хозяин, спросит:

– Что же такое, Георгий Николаевич, жизнь не мила, что ли?

– Душно... Ох, как душно!

– Форточку открыть, может быть? – спросит недогадливый хозяин.

– Ты, голубок, не понимаешь... Не открыть, а замуровать все окна и двери нужно... Тогда, может быть, вольней подышешь... перед

смертью, потому что всё равно задохнешься без кислорода...

– А в Петрограде ты пил, Георгий Николаевич?

– В Петрограде? Гм... Знаешь, стол рождественский... новогодний... пасхальный... блины никак без водки не идут... по случаю тово... Да ты что, следователь по делам чрезвычайных пьяниц?

И смотрит снова куда-то далеко-далеко своими медленными голубыми глазами, как будто вспоминая, когда же он еще пил.

-– В Петрограде не пил. А здесь пью... Душно... Понял?

Поздно ночью приходит жена из театра.

Уж вы извините, ради Бога, муж болен... А мне работу нельзя оставить... Вдруг его уволят или... – и бедная женщина боится договаривать жуткое слово. Полусонный Тубаров услышит знакомый голос и поправит:

– Не болен, но пьян... потому что душно...

Хозяин вместе с женой отведёт ослабевшего физика домой, поможет раздеться, уложить в постель и каждый раз напомнит:

– Уберите портрет государя, неровен час, кто увидит...



ПОРТРЕТ ХАМА

В большой комнате – только стол и скамья. Да этажерка с книгами и ученическими тетрадями. Над этажеркой – портрет Молотова. Так нужно. За столом сидит худой, изможденный человек лет сорока. Он обхватил руками голову и неизвестно, думает ли он с закрытыми глазами или спит. Перед ним на столе водка, стакан и на тарелке громадная, ржавая селедка, а рядом – головка лука. В стороне лежит дневная порция хлеба, от которой сидящий изредка отщипывает маленькие кусочки, долго нюхает и также долго жует, приговаривая:

– Хлебушко... еда расейская... Нету хлебушка, нету и еды расейской... Да и нету ничего расейского... Только один смрад... удушливый... зловонный... рев-волюционный... Ха-ха-ха! Ха-ха! Устроили «государство! Балаган с каруселями! ...И высшей мерой! На шарманке «Интернационал» наигрывают, смертной пляской народ танцевать заставляют! Чтоб увеселить живодеров кремлевских! ...Фанатики? Нет, шалишь! Не фанатики! Это... изуверы ...Садисты по призванию! ...Заплечных дел мастера из далекого средневековья! Не просто палачи... а изверги, наивысшим счастьем которых – пить кровь, вымученную у народа!

Человек подымает голову. Глаза его, опьяненные советской горькой, встречаются с портретом Молотова. Он наливает водку в пустой стакан, неверными шагами подходит к этажерке и, приподнимая стакан, продолжает:

– Михайлович, выпьем?...Скажи по-русски. Теперешнего языка я не понимаю... Ведь ты же был русским? А? ...Продался, говоришь? А-а-а, по призванию!! ...Даже высокому! Ну, забудь на минуту... Давай-ка за старинку, за русскую выпьем... Забудь на время настоящее... А-а-а! Ты того... сам не хочешь! Понимаю...

Поставив стакан на этажерку, человек подошел к столу и, налив второй стакан, вернулся к портрету:

– Ну, Вячеслав Михайлович, давай-ка по-одной. Чокнемся? Тебе же, вероятно, надоело там выпивать с этой шантрапой... с этими климами, сеньками, йоськами... Ведь это же... Нет, нет, это не просто преступники-убийцы, нет... Это ублюдки... звериные выродки... Они с наслаждением любуются, как в распятую на кресте Русь впивается заржавленный металл, как зазубренными ножами их добровольцы-

холуи бороздят её измученное тело, как кровь горячая, липкая. красная льется под их грязные ноги! Тогда только они пьют за здоровье Сатаны! Какофонией дикого смеха встречают мучительные стоны жертв невинных... Они беснуются в диком веселии, когда красные вакханки, сбросив партийные билеты вместе с дешевой советской одеждой, пляшут обнаженные перед ними среди скелетов умученных русских людей... Красная идиллия! Социалистичекое блаженство... Коммунистический рай!

Он поднял стакан к низко висящему портрету:

– За советскую интеллигенцию! Хочешь? Нет? Что же ты молчишь? Может быть просто за интеллигенцию? Тоже нет? Ну, просто за человека?! Тоже молчишь? А-а-а! Ты хочешь за партбилет? За голод? За разбой? За палачей? За смертную казнь? За удушение всего живого? За красных вакханок? За идиотскую мудрость твоего учителя, которому ты служишь с оглядкой?

Он вернулся к столу. Присел на миг. Вскочил взбешенный. Ударил кулаком по столу:

– Интеллигентный хам! Урод духовный! Бандит с ужимками гориллы, с затаенным желанием гиены поживиться дохлятинкой... от русского человека! У-ух! Рожа! Сытая, жирная, довольная, лоснящаяся от чужой крови! ...Галстучек, белые манжетки и воротнички... Шляпа мягкого фетра... Перчатки... Пенсне... Пролетариев представляешь за границей? Мерзавец! Повез бы лучше русского мужичка, распухшего от голода, почти обнаженного... Повез бы лучше рабочего полуголодного в стандартном швейпромовском дерьме... Или онемевшего от страха интеллигента... Эх, ты, интеллигентный хам! Лайковыми перчатками окровавленные руки прикрываешь, фетром дорогим бред идиота-преступника, а сладчайшей улыбкой невменяемого правду страшную, как видение смерти, леденящую кровь в человеческих жилах... Но, смотри, интеллигентный хам! Грядет час отмщения, и тебя не забудет русский народ! Потому что ты еще страшнее «мудрого»!

Усталый человек сел. Взглянул еще раз на портрет:

– В глазах надменность, презрение, брезгливость, а сколько злобы! Боже мой! К кому? К русскому человеку? К России? За что? За то, что она дала тебе жизнь долгую? Образование? За то, что кормила тебя и поила? Но где же ты получил свое хамское воспитание? Где, негодяй, говори, иначе я тебя... – и человек подскочил к портрету со сжатыми кулаками... и бессильно опустил руки... – Что? Что я могу? Бессилен... Ничтожен... Одинок... О! Если бы сила была смести всю эту грязь... утопить все эти отбросы человеческого общества в их собственных отбросах! Человеческого? Нет... Сатанинского, но не

человеческого... Сатанинского, племени человеконенавистников!

Задыхаясь от бессилия, человек приподнял портрет, перекрутив его на привязанной веревке, хлопнул им по стене, оставив висеть его обратной стороной.

– Нет, довольно! Твоя сытая морда слишком мерзка! Твоя интеллигентность слишком хамлива! ...Ты без чести, без достоинства, без человечности, без души! Потому что ты, как все они, отрекся от Христа, от Руси... Богоотступники иными быть и не могут... Эх, вы! Услужливые лакеи его сатанинского величества!

Так начинался каждый новый день. Так в течение долгих месяцев, когда дети уходили в школу, а жена на работу, учитель математики, популярный в городе, известный в области, фамилию которого хорошо знали в наркомпросе в Москве, свое бессилие, бесправие, безнадежность разделял со змием зеленым, ища ответа только на один вопрос:

– Кто же я?

Осенью, как обычно, он явился в школу, в которой работал около двух десятков лет, но в именном расписании своей фамилии не нашел. Директор был очень любезен, однако объяснить ничего не мог:

– Не знаю, на ваше место прислали нового математика. Я думал, что вас куда-нибудь на повышение...

В городском отделе народного образования никто не знал ничего:

– Это распоряжение заведующего...

Но к заведующему добраться невозможно.

Только в области кто-то очень маленький таинственно спросил:

– Вы иностранец?

– Как иностранец? – ошеломленный неожиданностью, спросил учитель.

– Поляк?

Учитель вернулся домой. Ездить было бесполезно. Двери везде плотно закрывались. Он начал писать. В Москву в наркомпрос, в газеты, в обкомы, крайкомы, профкомы. Десятки писем уходили. Учитель ждал ответа... и пил с «интеллигентным хамом»...

Да, его отец родился в Виленской губернии. Да, его отец был поляк. Русский поляк. Его отец в молодости переселился на юг России. Он был католик и посещал костел. Но сын родился здесь, в Таганроге. Здесь окончил и гимназию, а в Москве – университет. Всю жизнь прожил в родном городе. Как сын он не знает ни польского

языка, ни костела. Он крещен в православной русской церкви. Но ведь это же не аргумент для партийного билета! Ведь билет без души и без мысли! Он несется стремительно по генеральной партийной линии и калечит человеческие жизни направо и налево! Ведь мертвому безразлично живое...

Через три года учитель умер. Ответа, вероятно, нет и до сих пор. У партийного билета слишком много хлопот. Ему некогда.

Жена математика – настоящая полька. Она родилась в Варшаве. Она говорит в совершенстве по-польски. Она католичка. Но партийный билет её не тронул.

Странно? О нет, вполне нормально. Если кто-то хочет изобразить коммунистическую власть «строем» или «системой», тот делает большую ошибку или служит партийному билету.

Бей, громи, наводи страх и ужас на всех, кто попадется под руку! – таков кремлевский девиз, от которого не только бедным «шкрабам» бывает плохо, не только «иностранцам», рожденным русской жизнью, но и самим партийным билетам.

Если хотите представить себе «строй» или «систему» коммунизма – это не трудно. Представьте себе громадную толпу на ярмарке. Вдруг вырывается истошный крик:

– Караул! Грабят!

Грабители, чтобы замести следы, первые начинают кричать:

– А-ту его, держи, держи!

Вот тут-то и начинается «социалистический строй» или «коммунистическая система».



ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТАНИЕ

Товарищ Страдальцев на Север уехал. На дальний. Даже на самый дальний. Потому, когда он приехал на место своего назначения с другими такими же, как и он, товарищами, то некий глас, показав энергично рукою две противоположные стороны, приветствовал их многозначительными словами:

– Тут вам, гады-контрреволюционеры, смерть! Там море-окиян, а там – тайга непролазная. Бежать некуда. И случая такого не наблюдалось, чтобы кто-нибудь домой возвращался. Каюк! Амба! Крышка! Поняли, гады-контрреволюционеры (и так далее)?!

Поняли или не поняли гады-контрреволюционеры, неизвестно, а созидать социализм у чёрта на куличках начали. И товарищ Страдальцев, конечно.

Ну, товарищ Страдальцев социализм созидает, а супруга его законная хлопочет. Всё ей почему-то хочется супруга своего законного перетяпуть на строительетво социализма к себе поближе. Может, неудобно, кажется ей, жить жене без мужа, а маленькой дочери без отца, а может, иные побуждения руководили ею, но хлопочет она. И хотя в некотором заведении и сказали ей, что дело твое беспросветное, потому, де, муж твой сознался, а она, значит, своё дело делает: ходит, пишет, ездит, просит, но везде беспросветные ответы получает.

Покопалась товарищ Страдальцева в родственничках своих и вспомнила, что её двоюродный братец прокурорскую должность занимает в республике оной. Вздохнула тяжело: – «В семье не без урода», – и поехала на поклон к этому своему уроду.

Товарищ Урод, конечно, поломался, покривлялся, но сестричкины слёзы пробудили в нём чувства человеческие. Взялся он за хлопоты самолично.

Долго ли, коротко ли хлопоты эти происходили, но час освобождения для товарища Страдальцева пришел. Кончил он созидать социализм на краю света. Получил от супруги своей законной денежки на дорогу и в обратный долгий путь пустился.

Привезли его на станцию железнодорожную. Билет купил он до самого места назначения. За деньги, конечно. За те самые, что супруга

законная прислала. Дал кассиру два кредитных билета по десять червонцев – 200 рублей, сдачу получил, в карман сунул и пошел прогуливаться по вокзалу в ожидании поезда.

Зашел в зал первого класса, где пассажирам ожидать полагается, смотрит буфетик там имеется. Папироски на полочках увидел. Вспомнил, что курящий он и так захотелось затянуться дымком табачным после трёхлетнего перерыва, что не смог удержаться, чтобы не купить себе в дальнюю дорогу пару пачек настоящих папирос.

Сел за столик тут же возле буфета, распечатал одну пачку, вынул папироску, понюхал табачёк, улыбнулся сладко и закурил. Сидит, наслаждается, колечки пускает дымовые, затягивается, даже в голове немножко забродило от перерыва долгого.

Вдруг, откуда не возьмись, человек вырос перед ним. В форме, конечно. Не в парадной, но в весьма знакомой и внушительной.

– Следуйте за мною, гражданин, – голосок раздался мелодичный.

Последовал, ясно товарищ Страдальцев за человеком во внушительной форме, в комнатку вошёл, удивляется, что за происшествие такое случилось. Человечек в форме ассигнацию показывает, голоском приятным спрашивает:

– Ваши это денежки, гражданин?

– Не знаю, – говорит товарищ Страдальцев. – Билет в кассе железнодорожной покупал я, так денежек таких не плачивал, потому крупнее были, а вот за папироски сдачей билетной расплачивался, может быть, и такие ассигнации были, утверждать не могу, потому бумажки-то эти немеченые...

– Как немеченые?! Полюбуйтесь, граждани, трудами рук своих!

Одел дрожащими руками очки товарищ Стадальцев, взглянул на ассигнацию советскую и обмер. Ассигнация-то была печатная, да на ленинской физиомордии словечко было начертано непечатное. Карандашиком химическим. Чтобы не смылось, значит. Буквами, правда, печатными. Посмотрел и вкривь и вкось товарищ Страдальцев, а слово всё равно остаётся непечатное... Только выскочил «оттуда», а теперь... Что же это, опять «туда»?

А тут еще товарищ буфетчик, присутствовавший в комнатке, начал подтверждения свои излагать человеку этому во внушительной форме:

– Папироски они покупали. Наличными, значит, расплачивались, потому в кредит не отпускается в буфетах железнодорожных. Мы, стало быть, папироски им, а они нам вот эти

самые денежки. Сначала, значит, мы внимания никакого не обратили, а потом глянули – слово это на дорогом лице Ильича прописано. Ну, мы следовательно к вам за помощью, вообще, знаете ли, вскрытъ вылазку вражескую.

Глядит человечек во внушительной форме и вопрос по существу задаёт:

– Признавайся, гражданин, твоих рук слово это на драгоценном покойничке Ильиче?

– Смилуйтесь, – говорит товарищ Страдальцев, – не виноват я в хождении ассигнаций денежных с непечатными словами на ильичевой физиогномии! Не мог я этого сотворить, многоуважаемый, уже по одному только тому, что я жить хочу! Не мог совершить преступления такого и по-другому, ибо сам я сию минуту только выскочил спасённый «оттуда» и никак не желаю сию же минуту возвращаться «туда». Не мог я злодеяния такого совершить и по-третьему, потому жена моя законная и дочь несовершеннолетняя скучают по мне скукою трёхлетнею и, вообще, не знаю, живут ли они во мраке нашем социалистическом или нет. Ассигнацияю получил я эту в кассе железнодорожной, когда кассир мне сдачу за билет давал.

Человек во внушительной форме хотя нрава и строгого был, но слеза товарища Страдальцева и его пробила. Не так скоро, правда. Часа два просил, молил его товарищ Страдальцев. С трудом большим, но вымолил. Назидание только крепкое в дорогу получил и приказ явиться в городе родном к собрату человечка этого во внушительной форме для доклада о происшествии случившемся.

Вернулся товарищ Страдальцев домой. Супругу законную нашел и дочь несовершеннолетнюю в целости. Ну, а в городе родном переполох происходил по случаю нашествия немецкого на родную советскую землю. Не до докладов было.

А теперь товарищ Страдальцев где-то в Республике Американской. Говорят, там слов непечатных на ассигнациях не пишут. Может потому, что слов там этих не существует, а, может, в знак любви к державе своей или в знак уважения, не знаю.



КНЯЗЬ

В тридцатых годах на одной из шахт Снежнянского рудоуправления секретарем комсомольской организации работал некий Трубецкой. Интересный молодой человек не только вёл активную комсомольскую работу, но и усиленно ухаживал за комсомолкой Таней, которой уже не раз говорил о своём прекрасном и чистом чувстве. На маленьком шахтном посёлке скрыть любовь нельзя. Все знали об этом и не находили ничего предосудитительного. Да это, наконец, и естественно – молодость создана для любви.

Однажды, возвращаясь с комсомольского собрания, Трубецкой, как всегда, говорил красивые слова, нежные и ласковые. Летняя ночь, казалось, сама диктовала их юному сердцу, а проказница-луна подмигивающим глазком подбодряла в минуты казавшейся безнадёжности.

Таня любила Трубецково, но скромность не позволяла ей сказать маленькое «да», которого так хотел молодой человек.

– Я только вам могу сказать, Таня, кто я, – хотя секретарь в присутствии других говорил ей «ты», как и всем комсомольцам, однако, наедине в знак любви и уважения он не смел обращаться к ней так и всегда говорил «Вы».

– Кто? Какай-нибудь принц?

– Почти...

– Но теперь принцы существуют только за границей.

– Я – князь Трубецкой! – и комсомолец рассказал ей, как он потерял в революцию родителей, как он попал в детский дом и, наконец, очутился на шахте.

Таня молчала. Она была поражена и испугана.

Была ли это истина или секретарь хотел своим знатным происхожденнем обратить внимание любимой девушки – неизвестно, известно только, что в ту же ночь Трубецкой исчез.

Когда наконец обнаружилось исчезновение секретаря комсомольской организации, секретарь партийной оранизации на закрытом комсомольском собрании вёл допрос комсомольцев с целью узнать причину бегства Трубецкого. Но так как никто не мог ничего

сказать, то все взгляды устремились на Таню. Секретарь подозвал её к столу.

– Ты должна знать, где Трубецкой.

– Нет, я не знаю, где он...

– Тогда ты должна знать, почему он сбежал.

Девушка долго молчала, но настойчивый, угрожающий голос требовал правды – «во имя комсомола». Молчаливое напряжение в зале росло. У девушки на глазах блестели крупные слёзы.

– Коли ты не скажешь здесь, то ты расскажешь «там»!

Все знали, что это «там» было ГПУ.

Краснея и волнуясь, Таня рассказала о последнем признании юноши, которого она любила...



ПРОЦЕНТИКИ

Тит Титыча повстречал нынче. За границей пребывает он. Добровольно и без принуждения ушел с родины. И ничего особенного он и не имел против коммунизма. Да и что он мог иметь против? Невысказанную вражду? И только? А вот этот самый коммунизм имел к нему гораздо больше. Целые счета предъявлял к нему. Ежедневно. Да что нам говорить. Предоставим Тит Титычу самому слово. Он рассказал мне обо всём более убедительно.

Говорили мне всё время, что трудящийся живет у нас, в стране победившего социализма, лучше всех. Ну, и пусть себе живет, думал я , а уж как живет, так это мы сами знаем! Устроили революцию на свою голову, так сказать, а теперича и выхода из неё не найдем никак!

Скажем, жил трудящийся, или—как раньше его называли—рабочий, до революции. Известно всем, трудился. Жалованье от своего проклятого капиталиста получал во-время. Отпуск. Ну, грешным делом, и сам рабочий до некоторой степени был капиталистом. Тоже, конечно, проклятым. Потому, как вы назовете такого экземпляра на нашей грешной планете, который имел в наличии собственный дом, сотню курочек, уточек, гусочек, индючков разных, поросят парочку к праздничкам христианским, коровку, приусадебный участок с садиком, огородиком... Уж по старости лет заморился даже перечислять все старорежимные рабочие недостатки капиталистической жизни. А теперича того уже у нас не имеется в наличии... Теперича все мы трудящиеся, а поэтому пролетарское правительство всех нас освободило, так сказать, от излишней нагрузки житейской: ни тебе собственного домика, ни курочек, ни уточек, а про поросят или там про коровку—и не мечтайте граждане, и говорить, многоуважаемые, не приходится! Потому объявят кулаком непременно с вытекающими в ссылку последствиями. А кому, скажите на милость, желательно такое путешествие?

Вот и стали мы теперича из рабочих пролетариями! Всё у нас пролетело, и на кусок хлеба ничего не имеем! А заработать – это уж не так прото стало...

Слыхали, небось, про стахановщину? Вот по этой-то стахановщине и измеряют теперича нашу работу не часами, а

процентиками! В старое проклятое время у хозяина рабочий и по десять часов работал, может, так и денежки за десять часов получал. И ходил кум королю. Сыт, пьян, в кисете табаку полно и детишки в обучении находились...

Это я к тому, что сам-то я из таковых происхожу. Потому папашка мой работал десять часов, а денег у него хватало не только самому – десять прокормить, но и нас выучить, иногда и водочку попивать. А вот мне не долго пришлось при проклятом старом строе существовать. Революция зашла... Ну, и началось. Всё наизнанку. И не разберешь спервоначалу, кто прав, кто виноват. А когда разобрались, так было уже поздновато. От и жили мы по-новому, так сказать. По-социалистически. Работали-то по восемь часов да не только – десять не прокормишь, а и сам – один не наешься...

Правда, каждый год обещали нам... Вот только процентики выполним досрочно, и тогда уж заживем! Тогда уж начнется социалистический рай! Даже не рай, а сверхрай! Потому у нас там всё было «сверх».

Конечно, и мы работали по-стахановски. Говорить нам не приходится. Процентики насчитывали и нам, как и всем. В цехе мы работали. Дырки в металле сверлили. Всё, стало быть, по норме. Дадут норму, ну, а ей-то нужно встречную. Социалистическую.

Вот и потеем на собрании часов по несколько. Выдумываем норму. Договора на соревнование изобретаем. Сколько дырок просверлить за час возможно? Восемь? А может, десять. Какой металл? Качество какое? Толщина? Да и резцы какие? Станок какой? Энергия? Электрическая, конечно. Потому иной раз у мотора в холостую сил не хватает крутиться.

Ну, а нужно было бы в живот к пролетарию заглянуть: – как там у него, имеется что-нибудь существенное или только ситро из заводской столовки? Всё нужно учесть. И нельзя сказать, чтобы не учитывали. В нутро, правда, к пролетарию не заглядывали. А так всё на свете учтут. Даже то, что не может случиться. Например, вдруг металл попадется такой мягкий, мак медь. И задумаются тогда, сколько же можно дырок в нем просверлить?

Был у нас в цеху такой сверловщик чудной, Иван Яковлевич Петушков. Смешной человечишко был. Возьми он и спроси на этом-то собрании:

– А вот ежели оловянные резцы придут на завод наш, сколько тогда дырок нужно будет по договору просверлить в бронированной плите?

Договорить ему не удалось. Секретарь партийной организации

перебил его:

– Ты, говорит, товарищ Петушков нездоровые вылазки производишь на таком сурьёзном собрании! Твоя ирония нам понятна прекрасно!

Что и говорить. Товарищ Петушков в скорости исчез. Совсем не стало его на нашем заводе.

Ну, вот повысчитывают дырки все до одной, понаписывают договоров кучу, а мы подходим и подписываем. Потому нам там и делать ничего не приходится. Всё уже напечатано заранее в типографии. Только подпись поставь, и готово:

«Сверловщик завода «Красный дьяволенок» (имя рекомендуется) обязывается в социалистическом соревновании со сверловщиком завода «Сталинский звереныш» (имя рекомендуется) просверлить в год I5.000 дыр...»

Вот и начинаются процентики. Пот выступает, а процентики человек гонит. Хорошо, ежели матерьял попадается легкий, тонкий – наверстаешь, а ежели вдруг посадят на сталь. Да еще бронированные плиты? Уж тогда знаешь, что норма пропала и заработок пошел на дно. Тут уже и сам-один не прокормишься. Женку бывало, завсегда предупреждал: «Броня, говорю, идет. Коримись сама, где хочешь.»

А где же кормиться? Честного труда теперь нигде не найдешь, чтобы прокормится. На село не пойдешь, потому в колхозе самим теперича нечего есть, а в городе, известно заработку никакого побочного не имеется. Потому теперича и домашних прилуг не существует. Вот и стоит моя женка часами в очередях, а потом на толкучку с тем, что достанет в магазине. Подработает так иной раз, что и меня до конца месяца докормит... Вот какие у нас были процентики! Не то, что здесь!

Тут у вас за границей иные процентики. Что и говорить! Тут я проработал шесть годов только, а и то в банке денежки завелись и процентики с них мне капают потихоньку... Хоть на старости лет с женкой думаю пожить так, чтобы процентики на меня работали, а не я на них!

Что же можно добавить?



ПО ПЛАНУ

Техник по тонкой механике Шамилин вдыхал полной грудью воздух и чувствовал необыкновенную свободу в своих движениях, словах и мыслях. Он, правда, и раньше не чувствовал себя стесненным, не боялся ничего, так как никогда ничего предосудительного не делал, не думал, не говорил, хотя судьба уготовала ему, ни в чем не повинному, пройти тяжелые испытания, следы которых останутся, пожалуй, на всю жизнь. Может быть потому он и чувствовал сейчас, когда большевики бежали из города, тот необычайный прилив энергии, который он всегда чувствовал, когда начинал копаться в мельчайших деталях сложнейших механизмов. Сейчас он почувствовал безграничную свободу и желание творить. Воскресало то, что в последние годы было придавлено тяжестью неимоверных переживаний.

Казалось бы, как могла устроиться жизнь молодого человека, прекрасного специалиста, добросовестнейшего работника в советском государстве, если с прадедов род Шамилиных был подлинно рабочим? Кто, как ни он, аккуратно посещавший многочисленные собрания, голосовавший честно за генеральную линию партии даже в мелких вопросах заводской жизни, исправно платящий профсоюзные членские взносы, стопроцентный подписчик на государственные займы, он, человек безукоризненный со всех точек зрения коммунистического управления, мог рассчитывать пусть не на внимание, но просто на безопасное существование. Может быть, единственным недостатком его было то, что он был беспартийным? Но ведь это же не преступление! Тысячи специалистов честно работают в стране и даже удостаиваются наград правительства.

Однако, как ни был чист во всех отношениях Шамилин, ему пришлось побывать в ГПУ, и не только побывать, но и перенести, кроме девятимесячного сидения в подвальной камере, пытки отборных мастеров этого искусства, которым могли бы позавидовать инквизиторы средневековья.

В час ночи машина доставила его в ГПУ. Он помнит прекрасно эту декабрьскую ночь 1937 года. Его ввели в прекрасно обставленную комнату, которую заливал яркий свет. Большой мягкий ковёр скрадывал шаги. Красный бархат мебели был нов, дерево отражало предметы. На ковре, среди комнаты, стол. На нём стопа бумаги,

чернила, пресс-папье, немного дальше – пиво, вино, водка, различные закуски, фрукты, конфеты, папиросы и даже сигары. Многого обыватель на рынке не видит, но здесь для вас всё бесплатно.

– Садитесь и пишите. Если хотите есть, пить, курить, пожалуйста, это всё для вас, – скааал ему агент ГПУ.

– Спасибо, но скажите, что я должен писать?

– Всё, что вы знаете по вашему делу.

– По какому делу?

– Не прикидывайтесь незнайкой. Нам всё известно. Чем скорее вы сознаетесь, тем лучше будет для вас.

– Но мне не в чем сознаваться...

– Это ГПУ. Вас позвали сюда не для того, чтобы играться. Последний раз я говорю вам, садитесь и пишите. Я уезжаю, но за вами будут следить.

Агент круто повернулся и вышел.

Шамилин в раздумье сел за стол. Когда он начинал дремать, грубый окрик «Не спать!» возвращал его к действительности, которую он никак не мог понять, считая свой арест ошибкой.

Несколько бессоных суток без воды и пищи не заставили его написать ни одного слова, и он был отправлен в камеру, рассчитанную на десять человек, но он оказался пятьдесят седьмым. Здесь были тени со слабыми голосами, с гнойниками и кровоподтёками.

Шамилин знал, что на дворе был день и декабрьский мороз, но здесь была вечная ночь и невыносимая жара. Грязная лампочка едва освещала камеру. Полуголые тела, тесно прижавшись друг к другу, лежали на цементном полу. Они были мокры. Под потолком медленно плыло тяжелое облако пара и исчезало узкой струёй в небольшом отверстии, которое никогда не пропускало дневного света.

Около месяца Шамилин лежал в этой камере, вдыхая смрад испарений человеческих тел и «параши», наблюдая за жизнью «врагов народа», за их муками. Здесь, в этой маленькой грязной яме, они, бия себя в грудь, со слезами на глазах, с рыданьями и воплями клялись друг перед другом, что они никогда ни словом, ни делом, ни помышлением не «согрешили» перед советской властью. Одни из них исчезали, на их место приходили другие... Все обитатели страшного подземелья проходили страшные муки.

Вызвали, наконец, и Шамилина на допрос. Он упорно отрицал своё «дело», отказывался «сознаться». Следователь не имел никаких обвинений, он только вынуждал «раскрыть своё дело и сознаться», но

ни одной даже крошечной ниточки ему не попадалось в руки, чтобы он мог зацепиться за какое-нибудь «дело».

Методы советского следствия широки, и молодой техник пошел на пытки. Ему зажимали дверями пальцы, срывали ногти, «рвали» зубы, прижигали ступни, кололи булавками, он стоял неподвижно часами под холодными каплями воды, сидел сутками в абсолютно тёмной камере без воды после съеденой солёной рыбы, он выдержал даже «андреевский конвеер».

«Андрееввкий конвеер» был введен в первый же год деятелъности наркома железнодорожного транспорта Андреева (отсюда и его название) в транспортных отделениях ГПУ. Заключался он в том, что «преступников» усаживали на четырёхугольную табуретку так, чтобы последний хвостовый позвонок, кобчик, упирался в угол сиденья, принимая на себя весь вес тела. Первое время этот вес можно облегчить согнутыми при сидении ногами, но очень недолго. Высидеть на «андреевском конвеере» долго нельзя, люди падают, их пинками ног приводят в чувство, заставляя снова садиться, пока жертва или идёт «доброволъно» давать показания, или её уносят в камеру до новой пытки.

Пытки повторялись, чередовались, но следователь, жестоко избивая во время допросов, ни одного слова услышать от Шамилина не мог.

Так прошло девять месяцев. Следователь доложил начальнику. Был вызван «свидетель» обвинения – секретарь парторганизации завода – на заседание «тройки». Когда совершенно ясным стала абсолютная невиновность Шамилина, когда не оказалось ни «дела», ни «вины», председатель «суда» спросил у свидетеля:

– Так почему же вы передали «матерьял» на Шамилина в ҐПУ?

– Потому что ГПУ прислало развёрстку по плану на наш завод, по которому нужно было выделить тридцать пять человек инженерно-технических работников. Я написал список «подозрительных» и передал в ГПУ. Если бы я этого не сделал, я сам бы пошел туда, как «враг народа».

Секретарь возвратился к себе на завод. Шамилину дали подписать документ «о неразглашении». Его выпустили.

Сейчас он стоял на высоком берегу реки, всматриваясь в уродливые очертания взорванных большевиками заводов, которые когда-то стройно вырисовывались вдали. Ему хотелось творить, но завод, на котором он работал, больше не судествовал. Энергия его никому не нужна была. Знания не давали куска хлеба. Теперь он отрицал большевизм, но не мог принять нацизм. В течение года он

упорно боролся за кусок хлеба для своей семьи.

Немцы отступили. Около месяца хозяйничали снова большевики, но свежие силы эсэсовцев заставили их бежать. Шамилин, как и все мужчины, должен был быстро принять решение и «добровольно» вступил в красную армию и покинул город.



НА ГРАНИЦЕ

Братишка у меня есть. Маленький. Не совсем, правда, но зубки у него давно уже все выросли и брючки он носит длинные.

Да, так вот он, хотя и меньшой, а талантливый. Остряк-самоучка. Нигде этому искусству не учился. То-есть, вообще-то учился и где следует диплом инженерский показывал. Но только, где следует. Скромный он у нас в семье был. Только сызмалу остроумный. И без всякого факультета. Талант такой. Про что это, не упомню, какой-такой случай крепкий произошел (у нас их так много, почитай, кадый день!), ну, одним словом, с декретом было. А декрет-то, ясно, кто сам подписывает: «И. Сталин». Вот, значит, прочитал братишка этот бодряший декрет и говорит:

– Ну, и вожжа!

С этого исторического дня именовался Виссарионович «вожжой». Конечно, только между нами. Посторонние, как то: жены наши, дети малые и великовозрастные, не знали. А о прочих рабочих или крестьянах-колхозниках и говорить не приходится.

Может, старому эмигранту эдакое высокое звание не совсем понятно, так новому это целиком и полностью ясно. Уж ежели «вожжа» захлестнет бедного советского человека, так и света Божьего не взвидит, а другой, вообще, никогда не увидит. Не попадайся лучше.

Хлещет эта «вожжа» по счастливому человечеству, а оно, это самое счастливое человсчество, голосит от радости: – «Да здравствует», а думает: – «Хоть бы здох поскорее!» Истина это. Можете не сомневаться.

Известное дело, счастливое человечество там разное. Есть советское, но есть и иностранное. Конечно, иностанцев с первых дней советских выпроваживали. Сначала поляков, латышей, литовцев, эстонцев – разгоняли, потому господа эти имели свои страны собственные. Конечно, не государства, а так себе, республики. Ну, а за ними всякие другие болгары, румыны, греки отправлялись в свои страны. Эти уже в государства. Отправлялись, известно, по паспортам – имеешь ежели румынский паспорт, пожалуй добровольно в насильственном порядке к своему королю, а нам здесь попроще народ нужен, которого и вожжой захлестнуть можно, а протестовать

особенно никто не будет.

Зашло уже за тридцатые годы. Дела что-то не клеются в государстве. То жук-кузька на полях объявится, то, значит, кузькина мать на производстве проявится, а процентики социалистические того, не особенно. Конечно, по газеткам везде тишь да гладь, да сталинская благодать. А в действителъности, господа, куда ни глянь – капиталистическое окружение так и норовит изничтожить первое в мире совершенно счатливое человечество. И не так, собственно говоря, человечество, как этого «вожжа».

Сказать требуется, что «вожжа»-то никого не боится, храбрый. Стены кругом кремлвские, охрана отборная, а все же иной раз дрожь пробирает с утра до вечера, изо дня в день, с самого, так сказать, зарождения «вожжизма».

Получается, что неблагополучно в государстве. Почему бы это? Своих «врагов народа» настолько поуменьшили, что и производсвенную программу выполнять некому, стало быть это работа иностранного элемента. А какой же может быть иностранный элемент, ежели всякого заграничного гражданина попросили насильственно удалиться? Не должно быть такого недоразумения. Но социализм – это проверка исполнения. И задал «вожжа» задание своему заведующему внутренними делами досконально проверить многочисленное счастливое человечество на предмет выявления иностранных капиталистических акул и шпионов в пользу некоторых соседних государств, которые снижают проценты счастливой и зажиточной жизни. Конечно, проверили. Ужаснулись. И «вожжа» возмутился:

– Как это так? На котором году революции в моём владении существуют армяне с турецкими паспортами?! Захлестнуть!

Ну, конечно, захлестнули. Не писать же ноты турецкому правительству из-за эдакой массы капиталистического элемента, неблагонадёжного и старающегося подорвать советское видимое благополучие. С одной стороны, конечно, бумагу жалко, потому что на печатную макулатуру недостает бумаги из-за снижения производственной программы на бумажных фабриках, а с другой – сколько это музыкантов необходимо иметь в конторе по иностранным делам? Да еще кто как напишет ноту какую! Один, может, скрипичный ключ поставит, а другой басовый, у одного диезы, у другого бемоли, а у третьго бекары! А темпы, паузы, крешендо... Да разве возможно уследить всякие такие тембры? А нарком-то консерватории не кончал! Ну, и порешили действовать полегче, так сказать.

Собрали это этих капиталистеческих акул и шпионов в пользу соседних государств граждан армян с турецкими паспортами и

объявили им, что в двадцать четыре часа они должны покинуть социалистичесокое государство, покинув сначала свои собственные вещи.

Ясно, некоторому такому хищному капиталисту не особено жалко бросить своё недвижимое имущество, как, например, щетки, сапожную мазь и ящик, на котором он лет двадцать чистил сапоги прохожим, ну а другому, хоть и тяжело расставаться со своим лотком с пуговицами или иголками, шпильками, но всё же вполне добровольно отдаёт его соседу – советскому счастливому человеку вполне бесплатно. Иной шпион пригрелся где-нибудь на Собачевке и вроде шьёт чувяки и чинит обувь, а иной даже пробрался тихою сапою в кондитерскую и бубличками прикрывается сколько советских лет! Наиважнейшие государвтвенные тайны выдаёт соседним капиталистическим державам, и, в тоже время, социалистические проценты в промышленности и в сельском хозяйстве снижает и, вообще, разлагает культурную советскую жизнь.

Подали этому неблогонадежному элементу заграничному специальный поезд. Вагончики все спальные, для дальнего, так сказать, спокойного путешествия на сорок человек или восемь лошадей. К счастью, лошадей у этих акул и шпионов не имелось. Пожитки только, да и те невзрачные. Конечно, ежели в такой комфортабельный вагон уселось, скажем, пятьдесят акул с акульчиками или шпионов со шпиончиками, начальство не возражало, потому – сокращение транспортных расходов, даже легонько это утрамбовывало население иностранное, которое предполагало несколько посвободней разместиться.

Засвистел сверхмощный локомотив марки «ФД» (Феликс Дзержинский) и иностранцы, печально, может, заглянув на родные места, отбыли под личной охраной к далёкой турецкой границе.

Безусловно, некоторый читатель, может заинтересуется охраной. Почему бы это могла быть личная охрана у этого капиталистического элемента? А как же вы думали? На всякий предвиденный случай. Вдруг, знаете ли, на капиталистический экспресс нападение будет произведено каким-нибудь отсталым, не совсем сознательным чисто советским элементом, или в дороге, знаете ли, упадёт из спального вагона какое-нибудь имущество, или какой-нибудь турецкий подданый случайно заблудится на глухой станции с целью возвращения в насиженное местечко. Всякие, знаете ли, в дороге, особенно дальней, случайности происходят. Одним словом, охрана крайне необходима.

Мчится экспресс, конечно, во весь паровозный мощный дух с вполне естественными остановками. Там локомотиву требуется этот

дух самый перевести, там акулам и шпионам, потому спальные эти вагоны на сорок человек или восемь лошадей предназначены, так сказать, исключительно для спанья.

Ну, ясно, расстояние от Харькова до турецкой границы покрывается в рекордно короткие сроки, то-есть, через полтора месяца граждане иностранцы почти достигают цели.

Приехали, значит, они. Тут, скажем, эсэсэра, а там – государство турецкое, то-есть родина. Что называется, рукой подать. Процедура пограничная происходит. Доведено до сведения каждого шпиона и, особенно, каждой хищной акулы о запрещении вывоза золота из эсэсэры.

Возмущаются граждане иностранцы. Какое-такое может быть золото? В эсесере ни один счастливый житель не может его ни за какие советские денежки приобрести, потому, господа, что и магазинчиков таких не существует. Спрос же у молодого поколения, овеянного сталинской лаской, так оно и цвета золотого не воображает. Понятие это вполне абстрактное. Может, конечно, в Москве да в Кремле, но это уже дело, можно сказать, внутрипартийное и разглашению не подлежит.

А власти пограничные просто въелись в это иностранное население, прибывшее специальным экспрессом, и очень крепко настаивают на золотом вопросе. Трудно сказать, почему они так настаивали—то ли Иуда армянский донёс, то ли в эту акуло-шпионскую организацию ихний шпион втесался—только у этих господ иностранцев положение оказалось между небом и землёй.

Сидят эти господа иностранцы и молчат, будто и языка не понимают. Уж им и по-русски, и по-армянски и по-турецки, а они молчат. Власти, ясно, не хотелось бы известного насилия производить, вмешиваться, так сказать, в частную жизнь иностранца, потому поедет это население в какую-нибудь Турцию и начнёт всякую клевету на эсэсэру воспроизводить. Выступило вполне мирно начальство пограничное с предложением обдумать напряженное международное положение и через час сообщить ему своё армянское решение. Отступила на некоторое время пограничная власть, а иностранное население молчит себе, хлеб жуёт да рыжики (золотые царские монеты) глотает. Воды даже не пьёт. Заглотали рыжики, сидят спокойненько, молчат, ждут дальнейших наступательных событий.

Явилась, конечно, через час власть пограничная. Задаёт некоторые вопросы. Молчит иностранное население. Пришлось начальству поступиться незавидной репутацией эсэсэры, начало оно выщупывать акуло-шпионский багаж. Уж как тщательно не перебирало, но золота не смогло найти.

– Что ж, – говорит власть, – с нутра, а достанем золото!

Был таки там, как видно, Иуда или ихний шпион, вслед сообщал о всех иностранных передвижениях.

Ну, сказано – сделано. Пригласили некоторое количество шпионов-акул обоего пола в пограничное помещение на золотые прииски, преподнесли по доброй чашке олиум рицини (касторки) в обязательном порядке, разместили по комнатам «Для мужчин» и «Для женщин» с некоторыми эмалированными сосудами: трудитесь, мол, граждане иностранные, на пользу счастливого и зажиточного эсэсэровского населения! Церберы это похаживают да поглядывают, чтобы который жадный из акул или шпионов не заглотал снова золотого рыжика, потому и олиум рицини трудовые советские денежки стоит.

Пропустили помаленьку весь этот иностранный элемент через золотые прииски с успехом. Может, конечно, кто и сумел зацепить рыжика за слепую кишку, неизвестно, но большинство отдало вполне добровольно свои золотые.



СТАХАНОВЩИНА БЕЗ ЭНТУЗИАЗМА

– Это нужно отпечатать быстрее...

– Виктор Иванович, дорогой мой, вы же знаете, что наша «стахановская» работа в этом отношении ограничена «недремающим оком»...

– Знаю хорошо, но это как раз о стахановщине мы и пишем здесь. Вы же поймите: нормы «добровольно» увеличивают, расценки «добровольно» снимают. Что это? Где видана такая наглая и жестокая эксплуатация рабочих? И, главное, всё это проводится через общие собрания, рабочие голосуют, руки тянут вверх! Ну, скажите, батюшка мой, можно ли поверить, что рабочий сам на себя вот такое ярмо надевает да еще с энтузиазмом? Ведь дураку-то ясно, что это ложь! Для чего они всё это делают так? Взяли бы и навалили это ярмо на рабочего. Нет, нужно «добровольно», «с энтузиазмом», «в честь родного»! Ах, негодяи! Таких фальсификаторов мир еще не видел!

– Но я всё же не могу поручиться...

– Нужно сделать быстро, вы понимаете, что нужно! В субботу общее рабочее собрание. Нужно взбудоражить, нужно сопротивляться, нужно бороться, нужно сделать всё, чтобы морально поддержать людей. Голубчик, да вы же понимаете меня прекрасно!

– В какую смену вы будете работать с воскресенья?

– С обеда... во вторую...

– Возможно, к среде успею... Тут всего сотня строк... Я позвоню вам...

– Ради Бога, вы же знаете хорошо, что это нужно.

– Да, да, Виктор Иванович, я постараюсь сделать всё, что в моих силах.

Инженер и корректор расстались, тепло пожав друг другу руки.

В понедельник корректор, как всегда, явился в полдень на работу. В наборном он встретил наборщика-комсомольца.

– Коля, забеги на минутку в корректорскую, – сказал он ему.

Наборщик ничего не ответил, но через четверть часа появился в маленькой комнатке, в которой работал корректор.

– Вот это нужно срочно набрать.

– Есть – произнёс юноша по-военному и быстро исчез.

Коля был ярым контрреволюционером по убеждениям и таким же ярым комсомольцем – тоже по убеждениям. Как у него уживались эти два противоречивых взгляда на жизнь, трудно сказать, но он верил в программную комсомольскую правду и... боролся против программной коммунистической действительности. Был он прекрасным конспиратором, честным и твёрдым. Выдать он ни при каких условиях не мог, он перенёс бы пытки, но не сказал бы ни слова.

К концу рабочего дня во вторник он зашел в корректорскую и положил свежий оттиск для правки на стол.

– Через полчаса нужно уходить, проверьте скорее, может, кончу сегодня. Корректура была небольшая, и Коля, забежав еще раз в корректорскую, сказал:

– Набор будет лежать в печатном «на разборку», чтоб вам не носить. А прописано-то здорово про эту стахановщину!

Вечером коректор звонил в соседний город:

– Виктор Иванонич, жена просила вашу супругу сегодня обязательно заехать к ней. Обновка у неё какая-то чрезвычайная, похвастаться хочет...

– Раз обновка, значит обмыть нужно. Тогда и я с бутылочкой нагряну.

– Жаль, но я ведь на работе и не смогу быть дома...

– Тем лучше. Люблю общество прекрасных женщин, но не терплю посторонних мужчин.

– Но я же не посторонний?

– Ну, хорошо, хорошо, только я после смены, в десять тридцать...

А ночью корректор договаривался с печатником.

– Только эту форму нужно поскорее.

– А тираж какой?

– Сами знаете, на заводе около трёх тысяч рабочих.

Печатник почесал затылок

– Раньше часа, а то и на пол второго не сумею... А газета как?

– Я могу задержать, «козлов» накручу, до утра хватит...

В два часа ночи метранпаж, член партии, начал носить гранки с газетным набором в печатный цех. Печатник, остановив машину,

вынимал формы. Пока метранпаж спускал в машину набор, печатник в переплётном цехе резал формы.

Упаковав «Возввание к рабочим», он отнёс пакет в корректорскую и бросил под диван.

В тени огромного дерева, скрываясь от ночного яркого фонаря, стояла напротив типографии «влюблённая парочка». Он и она были так счастливы, что казалось, забыли весь мир. Он обнимал её, целовал, что-то тихо шептал...

Вдруг открылось окно в типографской конторе. «Влюблённые» посмотрели во все стороны. Тишина. Ночь объяла сном весь город. Нигде ни души, ни звука. Он тихо подошел к окну, поймал брошенный свёрток и «влюблённые» исчезли.

В четверг с раннего утра весь завод и город утопали в листовках. Сначала они не производили никакого впечатления на «недремлющее око». «Пролетарии всех стран...» действовали усыпляюще на энкавэдистов, но позже, когда весь город был знаком с воззванием, разъяренные борзые, мобилизовав всех членов партии, стали собирать их повсюду.

В результате, собрание, на котором рабочие должны были «добровольно просить» об увеличении норм выработки и уменьшении расценок, было сорвано. На заводе началось, как говорили рабочие, «землятресение»: энкавэдисты хватали без разбора и рабочих и инженерно-технических работников, но ни одного виновника не арестовали.

Стахановщину ввели сверху. Рабочие не были довольны новой потогонной системой, но морально были удовлетворены и чувствовали себя победителями: мы не голосовали за стахановщину!

Конечно, в местной газете появилась статья, в которой мракобесы писали, с каким энтузиазмом рабочие начали работать по-стахановски. Но это была только одна статья. Больше о стахановщине не печатали.

Энкавэдисты прекрасно понимали, что виновников отпечатанных типографским путём воззваний нужно искать в типографиях. Эти поиски они начали одновременно с погромом на завод.

В ночь с пятницы на субботу корректор сидел у себя в корректорской и выискивал «блох» – случайно пропущенных ошибок. Когда часовая стрелка подходила к трём, он услышал голоса людей, доносившиеся вместе с шумом печатных машин в его маленькую комнатку. Через несколько минут в корректорскую начали входить незнакомые люди. Их было человек тридцать пять-сорок. Они быстро

наполнили комнатку, продолжая разговаривать между собой. Корректор поднял голову, удивлённо оглядывая вошедших. Среди них были редактор и горлит – цензор. Почти все вошедшие были в обыкновенных костюмах, лишь два или тли человека имели форму НКВД.

– Вы, товарищ, корректор? – обратился один из «высокопоставленных».

– Да, я.

– Сколько лет вы работаете здесь?

– Полтора года.

– Вы знаете все шрифты вашей типографии?

– Главным образом те, которые употребляются в газете.

– Если дать вам печатный лист, смогли бы вы сказать, отпечатан он у вас в типографии или в другом месте?

– Если это обыкновениый газетный или книжный шрифт, то определить, где он отпечатан, невозможно, так как такие шрифты имеются во всех типографиях СССР.

– А как же можно было бы узнать?

– По бумаге, может быть... По заголовочным шрифтам... Вообще, нужно было бы видеть оттиски. Какая-нибудь мелочь могла бы помочь...

– А можно узнать, отпечатано это на машине или ручным способом?

– Это я завсегда узнаю, – раздался голос метранпажа партийца.

– А вы как считаете?

– Плохой печатник на машине отпечатает хуже, чем мастер своего дела на ручном станке.

Спрашивающий подал тщательно оборванный клочёк бумаги.

– Как вы думаете, могли в вашей типографии отпечатать это?

– Да, конечно, могли. Шрифт обыкновенный газетный. Но могли и в другой типографии отпечатать.

– А печать, машинная?

– Может быть, а может быть и ручная... Вот видите здесь: «...ская» – шрифт скошен, а не лёг... Этого не бывает при машинной печати.

Метранпаж пробрался к корректору.

– Точно, скошен, это не машинная печать, уж я знаю, тридцать-пять лет в типографии работаю, – авторитетно заявил он.

– А могли бы вы установить, откуда этот шрифт?

– Имеете заголовок? Или лучше весь печатный лист?

Опрашивающий замялся.

– Нет... видите ли.. вы должны так определить.

– Я гадать не умею. Такой шрифт есть у нас, есть и в соседних типографиях...

– А скажите, хорошо охраняется шрифт в вашей типографии?

– От своего вора ничего не спрячешь.

– А как можно было бы охранять шрифт, чтобы иметь гарантию, что он не уплывёт из типографии?

– Обыскивать всех, кто выходит из типографии.

– Это невозможно – вмешался редактор. – Двести человек рабочих...

– Нужно будет это ввести, – перебил его допрашивающий.

– Ну, об, этом мы поговорим в другом месте, – вставил один из энкавэдистов, и вся компания начала выходить.

Когда все ушли, оставшийся читать свежий оттиск газеты горлит начал объяснять:

– На С-ском заводе листовки нашли. Контрреволюция завелась где-то. Ищут да найти никак не могут.

– А мы же причём? В С. листовки, а мы отвечать должны?

– Видишь, товарищ корректор, от нас до С. не так далеко.

– Если так рассуждать, то и из Москвы листовки могли прислать.

– А что ты думаешь, и это может быть. Разве мало вредителей сидит в наркоматах?

– Небось, и разрешение горлита было?

– Вот этого-то я и не заметил, а «Пролетарии всех стран...», как полагается, было на первом месте!

Ничего, конечно «высокопоставленные» особы не нашли, ограничившись только «землетрясением» на заводе, в результате, которого исчезло десятка три рабочих и инженерно-техничееких работников.

Никакой организации не было. Были единомышленники, среди которых оказался и комсомолец-наборщик Коля. А остальные – хорошие знакомые и товарищи по работе – люди беспартийные: Виктор Иванович с супругой, корректор, печатник, рабочие С-ского завода. Да мало ли в СССР таких единомышленииков?! Если вычесть шесть миллионов членов партии, полтора-два миллиона ретивых комсомольцев – остальные все единомышленники, но разобщенные, не организованные ни в какую партию, а всё же ведущие борьбу с большевиками.

Люди вели, ведут и будут вести эту борьбу с большевиками до тех пор, пока режим насилия не будет уничтожен. Люди не спорили и не спорят о том, какая будет Россия, а используют каждую возможность для борьбы за освобождение.



ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ – ПОРОК

Комсомолец Санько после окончания педагогического техникума был направлен комсомольской организацией на работу в местную городскую газету. Редактор назначил его в культурно-бытовой отдел.

Санько был любознателен, как трёхлетний ребёнок. С его уст никогда не сходил вопрос: «Почему?» Он читал много и бессистемно. Толстой и Пушкин, Тургенев и Щедрин, Чехов и Гоголь переплетались с «Историей ВКП(б)», Рудин и Вронский, Онегин и Хлестаков и Иудушка мерещились в проходивших перед глазами лицах. Миллионы вопросов возникали в его русой голове и терялись в тоскливой редакционной жизни.

Но любознательность брала своё. Вечно с томиком свеженькой книжки, с блокнотом, испещренным ученическим почерком, Санько ходил из отдела в отдел, заглядывал к редактору, секретарю, неслышно приоткрывал двери литературного работника или спускался в типографию и осторожно стучал в корректорскую.

«Почему» – было его первым словом, когда он встречал незанятого человека. Но что могли сказать ему неграмотные ответственные работники? Что мог объяснить редактор, которого только жизнь заставила взять однажды книгу в руки, да и то это была «знаменитая» история партии?!

Только в корректорской или у литературного работника молодой человек находил удовлетворение. Но эти люди были так заняты всегда, что слишком редко удавалось поговорить с ними.

Ответственные работники не взлюбили комсомольца. Уж очень часто он ставил их в положений незнаек. А ведь это очень чувствительное место у всех партийных работников.

Надоел Санько настолько, что не вытерпело редакторское сердце. Вызвал этот «вождь» к себе однажды заведующего производственным отделом и говорит:

– Знаешь ты, что Санько занимается идеологической контрреволюцией? Нужно будет составить бумажицу в НКВД, пусть-ка проверят.

Заведующий производственным отделом был человек с большим опытом по части составления таких бумажонок и, конечно, согласился сейчас же «поймать врага народа».

Кабинет редактора был заперт на ключ. Все знали, что это бывает в особых только случаях когда пишется передовая или происходят какие-нибудь секретные разговоры. Так как в этот день передовая редактором не писалась, сотрудники решили, что что-то таинственное происходит за обитыми войлоком редакторскими дверями. Все неслышно ходили, говорили шопотом, неответственные работники задумывались над своею судьбой.

Через полтора часа «дело» было состряпано. Ночью комсомольца арестовали.

Прошло месяцев восемь. Все забыли об исчевнувшем Санько. Место его было занято другим, «проверенным» работником.

Однажды вечером, во время вёрстки газеты, которой в этот раз руководил заведующий производственным отделом Колодный, из редакции прибежал запыхавшийся и взволнованный редактор.

– Товарищ Колодный, завтра едем в область по делу Санько. Ты подготовь метерьялы для суда.

Редактор исчез, но Колодный, возбуждённый предстоящим процессом, рассеянно следил за вёрсткой, которая, как на зло, сегодня была сложна.

Видно было, что у стряпчих почва, которая когда-то казалась им твёрдой, теперь уплыла, и мысли их были заняты только вопросом, как бы выбраться из того болота, в какое они сами забрались по своей глупости.

Через два дня «блюстители партийной чистоты» возвратились домой. Они старались не выходить из своих кабинетов, но те, кто имел возможность их видеть, выносили очень неприятное впечатление. Оба они похожи были на блудливых псов. Жалкие и оплёванные, они говорили тихо, не спорили, соглашались со всем. Где делись их гордость, самоуверенность, где делся их вид ответственных работников?!

Спустя неделю в редакции появился Санько. Исжелта-серый, с большими карыми глазами, помутневшими в подземельях НКВД, полными скорби от перенесенных мук, он ходил медленно и тихо по длинным коридорам. Весть о его появлении моментально облетела редакцию, но никто не позволил себе больше холодного и короткого приветствия, быстро проходя мимо.

Редактор знал, зачем пришел комсомолец. Понимая, что ни он

сам, ни заведующие отделами не могут принять его, он вызвал беспартийного технического секретаря и тоном обиженного, оскорблённого человека попросил его пригласить к себе в кабинет Санько и сказать ему, что он надеятся на работу в редакции не может.

Секретарь пригласил к себе комсомольца.

– Вы, вероятно, хотите получить своё место?

– Да, я хочу реабилитировать себя до конца, доказать, что редактор и Колодный не просто глупы, но и жестоки, бесчеловечны.

Секретарь, понимая, что прямой отказ может только увеличить настойчивость молодого человека и тем ухудшить его положение, вообще, в городе, решил повлиять на него иным путём.

– Мысль у вас прекрасная, но мой искренний совет вам: отдохните от вашего недавнего прошлого, наберитесь сил и здоровья, а потом обратитесь в вашу комсомольскую организацию.

– Я не комсомолец! – почти выкрикнул Санько. – Меня там теперь не хотят... но и я не хочу больше... довольно!

– Вы посмотрите на свбя, – продолжал секретарь, – ведь вы же не похожи на человека.

– Я думал об этом... Я не чувствую себя достаточно крепким после... Вы знаете сами, что это было...

Санько и раньше был более откровенен с секретарём, который часто по-отечески объяснял ему простые, но непонятные ему вещи, возникавшие из ровных строчек аккуратно переплетенных книг. Секретарь знал о его доверии; Санько чувствоал доброжелательное отношение, поэтому, казавшийся редактору сложным, вопрос разрешился почти моментально.

– Вы поезжайте в деревню, отдохните там, подышите свежим воздухом, попейте парного молочка, наберитесь сил, а потом будет видно.

– Да, вы правы. Сил нужно набраться. Я, вероятно, так и сделаю...

Он дружески протянул руку секретарю и ушел, оставив неприятный «трупный» запах, который исходит ото всех, кто чудом или невероятной силой воли возвращался к относительной свободе...



ТОВАРИЩ ЖИВОДЕРОВ

Некоторый читатель мечтает, будто гражданину при партийном билете в эсэсэре не жизнь, а самая настоящая масленица. Конечно, невозможно сказать что гражданин при оном где-то внизу болтается. Он, безусловно, как авангард, впереди всякой беспартийной мелочи: и при руководстве, и при закрытом распределителе, и при прекрасной квартире, и зарплате, и с путёвочкой на курорт по случаю замечательного здоровья. Одним словом, преимуществ вполне достаточно, чтобы оценить положение такого гражданина почти блестящим.

А ежели такой человек еще и эквилибрист, и успевает следовать генеральной, так ему позавидуют и самые зубровые члены всесоюзной. Но ошибочно думать, что даже самые совершеннейшие мракобесы сей парт-категории при всех их ловкости, при всех их гениальных способностях к хамелеонству могут быть гарантираваны от сюрпризов совсем беспартийной судьбы-насмешницы.

Вот вам товарищ Живодеров. Как дама, приятная во всех отношениях, он пользовался необычайным успехом в обществе партийных билетов, и даже состоял заместителем товарища Черного – удава Н-ского городского отдела НКВД.

Ясно каждому, что такой персоне молочка от снегиря нехватало или, может, от чижика. А то ведь всего в достатке было, вплоть до кровушки российского народа! И в карьере, так сказать, остановки не существовало. Удава то что-то не взлюбили в области или в центре, фамилия, говорят, у него, правда, черная, мрачная, а все же пострашнее требуется врагам народа. Кому же быть, как не товарищу Живодерову?! Так вот и должность начальницкая начинала на красном горизонте вырисовываться.

Всё это у товарища Живодерова было в жизни как будто ладно-складно, он никогда и не думал оступиться, и поглядывал не только на область, но и на самую Москву: «Наркомом по внутренним делам быть дело плевое! По-стахановски к расстрелу да в концлагеря!» Да беда стряслась над ним. При самых распрекраснейших перспективах. И солнце ясное светило, и на небе не то, что тучки, а и облачка не существовало, и воздух был чист и свеж, а гром таки грянул.

Сам удав товарищ Черный вызвал вдруг к себе в кабинет,

бумажицу из области показал и прорёк с неприятнейшей улыбочкой:

– Отстраняешься, товарищ Живодеров, совсем от делов внутренних по приказу свыше!

Думал товарищ Живодеров, что дела сии подстроены удавом, и покатил в область.

Областной удав нрава был категорического, но опрос по принадлежности производил снисходительно.

– Мамаша твоя, товарищ Живодеров, где изволят сейчас проживать?

– Живут ли в настоящий переживаемый момент, не знаю, но проживали в державе Польской.

– А держава та Польская суть социалистическая или она капиталистическая?

– Из азбуки коммунизма всем известно, что страна капиталистическая.

– А письмецо от мамаши в надцатом году ты получал?

– Было таковое, я не отрицаю, но было оно ведь первым и последним, потому ответил я самолично, чтобы всякую связь со мною прекратили.

– Значит, связь с державою капиталистическою ты все же поддерживал?

Товарищ Живодеров не ответил – по собственноручному опыту он знал, что дальнейшие разговоры приведут не только к тому, что звезда его красная померкнет, но что она окончательно потухнет, и вернулся к себе домой ни с чем.

Сидит дома и думает: «Дело целиком и полностью неправое. Хлопотать буду. Лично самому внутреннему наркому всю истину пропишу.»

Написал, в горкоме партии письмецо показал и послал лично. Ну, а горком партии, пока хлопоты будут идти, дал ему место управлять театром, директором театральным назначил.

Скушно, конечно, искусством управлять. Смотришь на эти жалкие подмостки, а там людишки кривляются. Тоже, артистами называются! То ли дело в НКВД! Вызовешь на допрос – всё естественно: и слёзы, и кровь, и переломанные кости и крик, раздирающий душу, у кого она имеется.

Ждал терпеливо товаращ Живодеров, театром управлял, пьески в первом ряду или в ложе наблюдал да в антрактах пиво глушил.

Наконец, и ответ пришел:

«По линии НКВД службу можно сохранить только на территории Сибири. Управляющий делами. Подпись неразборчива.»

«Неправильное решение в самом корне» подумал товарищ Живодеров, и задумал написать лично самому дорогому вождю. Собрал все свои революционные заслуги, скрепил их увесистыми аргументами и послал.

Ждал ответа также терпеливо, управлял театром, состоял при закрытом распределителе и питал надежду, пока... не исчез.

А некоторый читатель мечтает, будто гражданину при партийном билете живется во-как!



ПРЕСТУПНИКИ

Каменщика Федора Ивановича знали не только в городе, но и по всей округе. Где только не начиналось какое-нибудь строительство, сейчас же вспоминали:

– Ну, а каменные работы – это уже Федору Ивановичу!

– Это уж Яковлев сделает!

И не бедному Федору Ивановичу приходилось часто отбиваться от навязчивых людей, – Не могу, Филипп Филиппович, работёнки у меня по горло, а рук маловато, – говаривал он какому-нибудь горожанину, возымевшему желание построить каменный флигель, или директору какой-нибудь фабрички, владелец которой захотел вдруг расширить своё предприятие.

– Возьмите вон Постниковыж или Семенихиных, хорошие мастера, плохого слова никак не могу сказать про них, – рекомендовал он.

– Видите, Федор Иванович, Постниковы немножко с отделкой хромают, Семенихины – печники, собственно говоря, а не каменщики... Я уж вам набавлю по пятачку за...

– И полтиннички не пройдут, Филипп Филиппович, работёнка договорена на весь сезон, не могу, раз пообещал – слово крепко моё.

Бьётся, бьётся Филипп Филиппович с Яковлевым, а Постниковых или Семенихиных приглашает, потому что слово у Фёдора Ивановича – закон.

Жил Яковлев неплохо. Дом выстроил каменный большой, по-хозяйски: зимой – тепло, а летом – прохладно. Артель свою имел небольшую, но дружную. Работники способные все были. Умел он человека видеть, зря в артель не набирал людей: выйдет толк – берет, а нет – ни за что не возьмет. И не ошибался.

Пришла война. Артель поредела. В армию кое-кого взяли. А когда революция пришла, сам остался.

Русый, маленький, сухонький, Федор Иванович был полон кипучей энергии. Он не ходил, а, вернее, бегал вприпрыжку. Работа была ему какой-то игрушкой, делал он всё легко и быстро, поэтому, когда артель его разошлась, он духом не упал, вложив всю надежду в

свои золотые руки. Только больше приходилось теперь работать не за деньги, а за натуру: там за пшеничку, там за мукичку, а в ином месте и за поросёночка.

К 1918 году стукнуло пятьдесят ему. И годов как-будто больше, а энергии не меньше. Работёнки же всё равно не успеешь переделать, на всю жизнь хватит.

«Что же» думает Федор Иванович «артель сейчас всё равно не сколотишь, нужно сынов приучать к делу. Лето придёт, школу кончат и – айда на работу.»

Весна была ранняя тёплая и сухая. В апреле большевики начали убегать из города. Немец наступал. «Жизненный простор» уже тогда себе искал в южно-русских степях чёрнозёмных. Вот уже и линия фронта подошла. Думали было большевики защищать город, бой устроили. Не то что бой, а так, просто снарядами поплевали на немцев. Немец громыхнул раза три «беглым огнём» и вошел в город спокойненько.

Дня через три или четыре после «боя» прибегает к Яковлеву сам Оскар Христофорович Мецгер, учитель немецкого языка из Мужской гимназии, которому он десяток лет тому назад выстроил домишко на главной улице. Немец-комендант пригласил его переводчиком в городскую комендатуру.

– Фётор Ифанич, пашалста, итите к коменданту, тело очень вашное, – говорит он Яковлеву специфичным немецким произношением.

Что же, комендант зовёт – подчиниться нужно, власть военная.

Собрался с неохотой, потому что работёнка уже началась.

Комендант также говорит по-русски с таким же акцентом, как и Мецгер.

– Гаспадин Якоблефф, упиль цвай зольдат, похаранить, пашалста, камень сделайть на мохилу... Этот большевикен нехороший... стриляйт, упивайт нам зольдат... Я заплатить германский деньги...

– Почему бы не сделать, могу, конечно, а касательно денег – ваша воля, господин комендант.

– Не беспокойтесь, гаспадин Якоблефф, германский слово правильный...

Учитель показал, где похоронены солдаты, и Яковлев, взял обоих своих сыновей, принялся за работу. Младший, Николушка, которому только что исполнилось двенадцать лет, больше был на посылках: принеси да подай; а старший, Митя, при отце, вроде

настоящего работника. Через неделю надгробная плита была готова, и каменщик Яковлев получил за работу немецкие рейхсмарки.

Больше немцам он не нужен был, спокойно продолжал работать у горожан или на время уходил на село, чтобы хлеба на зиму заработать.

Промелькнули годы переменчивых властей, установилась советская, наконец, но в жизни Фёдора Ивановича почти ничего не изменилось. Из домика только выселили. Работать же он продолжал самостоятельно, хотя его и тянули в советские артели, то в какое-то «Стройбюро». Но ответ всем был один: – «Не привык служить я, да и староват уже.»

– Через восемнадцатъ лет, т.е. в 1936 году, 68-летнего каменщика привезли в НКВД и сейчас же к следедователю на допрос.

– В 1918 году убитым немцам памятник ты делал?

– Я-с...

– С кем ты работал?

– С сыновьями-с...

– Ах, вы гады, контрреволюционеры, вашу-нашу... – и последовали «возвышенные литературные выражения» в энкавэдэвском духе, которые, к счастью, неупотребляемы в демократическом мире.

Через два часа сыновья вместе с отцом сидели в одной камере и думали: «За что же нас арестовали?»

Утром прибежала старшая дочь Федора Ивановича в НКВД узнать о причинах ареста.

– Ты что, папашу защищать хочешь? Не строил бы лучше фашистам памятников... Не судебное это дело, обжалованию не подлежит... Нечего ходить сюда, без тебя распорядятся.

И распорядились. Спустя полгода она получила от своих родных коротенькую странную открыточку с печатями «Проверено»: «Пришли нам тёплое бельё и одежду, а также чесноку.» Вот и всё.

Где же преступление? За что же, действительно, арестовали Яковлева с сыновьями? За что их сослали? Нормально мыслящий человек не может воспринять психологию убийц, дрожащих от страха перед, на наш взгляд, ни в чём не повинным каменщиком.

Перед глазами жителей города прошла вся жизнь Федора Ивановича, человека религиозного, трудолюбивого, честного. Не единого пятнышка на его безупречной жизни: не пил, не курил, не обманывал, не грабил, не убивал. Неужели надгробный камень,

сделанный им восемнадцать лет тому назад двум немецким солдатам, убитых в открытом бою, может быть свидетелем его враждебного отношепия к советской власти? Является ли изготовление этого камня преступлением? Как будто нет. Как будто отдать последний долг убитому в честном бою врагу не является прямой обязанностью даже побежденного?

А может бытъ, 68-летние Яковлевы, действителъно, являются врагами... самого Сталина? Быть может, вот такие старички, объединившись со своими двенадцати-четырнадцатилетними сыновьями, изготовят грандиозный надгробный камень и завалят им живого Джугашвили со всей его коммунистической бандой, не пожелая получить и платы за свой труд?

Быть может, безумная трусость вождя, преподанная энкавэдэвским каинам в виде «бдительности», сделала следователей Душегубовых и председателей «троек» Расстреляевых провидцами, которые, копаясь окровавленными руками в прошлом советских граждан, безошибочно угадывают будущего врага?

Вероятно. Но это нетрудно. Ведь врагов-то у Сталина много. Ведь не только простой обыватель – враг, но и сегодняшние Душегубовы и Расстреляевы завтра станут врагами, как и их предшественники. Скучна, однообразна, но страшна «история ВКП(б)».

Тяжело подсоветскому человеку. Он не может предугадать, за какую ниточку его прошлой жизни НКВД-МГБ может схватить и, намотав объёмистый клубок «преступлений», уничтожить. Даже в самые горячие, самые напряженные минуты рабочего дня его подсознание блуждает в прошлом, заглядывая в самые затаённые личные уголки бытия:

«В 1918 году немец угостил сигарой...»

«В 1919 году белые мобилизовали с подводой...»

«Гайдамак заходил воды напиться...»

«Махновцы...» «Зелёные...»

«В 1922 году дочь крестил...»

«Ухаживал за Таней, дочерью священника...»

«Нет ли кого за границей?..»

«В прошлом году, кажется мало на заем подписался...»

«Встретился с Иваном Ивановичем... он же того...»

«Секретарь парторганизации странно посмотрел на меня...»

И миллионы мыслей... А ночью больше настороженности – звук

мотора. – «Не по мою ли душу?»

Господи! Спаси и сохрани Русский Народ...



БРАТЬЯ

Не успел Александр оправиться как следует от крупозного воспаления лёгких, как его свалил тиф, свирепствовавший в те страшные годы в России. Полтора месяца видел он, как во сне, докторов, мать и брата Алексея, и только зимой, наконец, очнулся от невыносимой головной боли и температуры.

В середине декабря доктор впервые разрешил ему встать. Поднялся, ноги не слушают, едва доплёлся до окна и увидел свою Канатную улицу, занесенную снегом. Чудно даже стало. Будто вчера в тёплый осенний вечер лёг он в постель, а сегодня на утро снегу навалило-то сколько!

За Канатной виднелись деревья городского сада, ветви которых гнулись под тяжестью снега. Галки перелетали с ветки на ветку, стряхивая лохматые белые комья. Хорошо бы пройтись по легкому морозцу, да вот только ноги чужие, никак не хотят слушатся и тянут назад на тёплую кроватку.

– Ну, довольно тебе, Сашенька, – заботливо промолвила мать, – не утруждай себя, отдохни... Может быть, газетку дать, почитаешь?

– Да, газетку дай, мама, а то за болезнью не знаю, что делается не только в городе, но и в Росии...

– Ох, Сашенька, делается... Не дай Бог...

– Отступают? – насторожился сын.

– Спаси Господи, раз уже пережили страх, видно еще придётся... Александр с жадностью принялся читать. Сводка была неутешительная. По всёй линии фронта шло отступление.

– Так что же это, мама?

– Что же, Сашенька, по ночам зарницы уже видны... и гул далёкий-далёкий слышится...

– А в городе?

– Суматоха. Не только военные, но и люди простые бегут, и уже не знают куда.

– Пропал университет, но пропала и лелеянная еще в гимназии мечта пойти добровольцем в Белую армию защищать Россию от диких

полчищ нового Батыя.

Через неделю после его первой прогулки по комнате начали забегать бывшие соученики, одетые теперь в военную форму, чтобы навестить и попрощаться, может быть, навсегда. Почти весь восьмой класс побывал у него, даже гордый князь Абашидзе забежал на минутку.

– Сашенька, друг милый, мы еще вернемся, – утешал он его на прощанье. А еще через неделю в притихший город ввалилась дикая орда, и началось...

Аресты, обыски, расстрелы, выселение, узаконенный новой властью грабёж среди бела дня, и... торговля—какой-то хаос событий, смешанный с кровью и воплями, с борьбой за кусок хлеба и страхом за грядущую ночь.

Среди смятения одних и дикого разгула других появлялись на улицах новые вывески с замысловатыми названиями новых учреждений, таинственность которых пугала обывателей. Но есть нужно было, и горожане стали превращаться в «трудящихся», будто до прихода советской власти никто из них никогда не трудился, стали работу получать через биржу труда в различных губсовнархозах, учкпродколлегиях, губнаробразах, губздравотделах и увидели, что все зти канцелярии наполнены своими же людьми. Только все эти Иваны Петровичи и Марьи Ивановны, голодом выгнанные на улицу, с первых рабоче-крестьянских дней пошли получать паёк и водичку горячую из солёной рыбы и очень редко попадавшихся зерен пшеницы.

Окреп, наконец, Александр и через биржу получил место в губземотделе как «делопроизводитель». А брат Алексей, сорвав с гимназической шинели петлицы и блестящие пуговицы, напялил на голову шапку-ушанку, продолжал ходить в единую трудовую советскую школу, но уже не в своё гимназическое здание, а в бывшую Мариинскую женскую гимназию, в которой недавние гимназисты и гимназистки теперь сидели рядом за партами. Правда, классы поредели, так как многие все же успели бежать из города, но после соединения двух гимназий этого поредения особенно не было заметно.

Александр сидел в канцелярии, строчил бумажки и следил за событиями на юге. Рождалась надежда: из крошечного Крыма грозно поднималась маленькая героическая сила, а на западе наседали поляки. А Алексей, приходя из школы, распевал новые песенки, одна из которых была особенно нескладна и глупа и заканчивалась припевом:

«Всех баронов мы побьём...»

Мать молчала. Она боялась теперь сыну слово сказать. Но

Александру эта песенка так надоела, что он однажды заметил брату:

– Ты, Алексей, не распевай этих дурацких песен.

– А ты что, в контрреволюцию полез? – огрызнулся Алексей, и Александр замолчал, как и мать, потому, что неосторожное слово могло быть причиной больших несчастий.

Кончался двадцатый год, а с ним отодвигались и надежды на воскресение России. Белая армия была разбита и, погрузившись на корабли, отплыла от родных берегов.

Прошло несколько лет. Алексей закончил трудовую школу, ничему не научившись, отслужил действительную во флоте и теперь с партийным билетом летал с завода на завод то в качестве секретаря партячейки, то в качестве секретаря профкома, научился громить «капиталистических акул» и объединять пролетариат всего мира, а Александр успешно закончил сельскохозяйственный институт, который помещался далеко в Крепости в здании бывшей Алексеевской женской гимназии.

Братья почти не встречались, хотя жили в одном доме, в одной квартире и составляли одну семью. Александр уходил в институт, когда брат еще спал, а Алексей приходил поздно ночью, когда Сашенька уже спал.

Но однажлы в день отдыха оба брата были дома. После завтрака Алексей заявил матери:

– Мать, прибери мне комнату да кровать свою двухспальную поставь... Я женюсь... Жена сегодня прийдёт ко мне...

Взорвала Александра грубая выходка брата, Но он сдержал себя.

– На ком же, Алёша? – робко спросила мать.

– На Валентине Ивановне Сергеевой... Знаешь ты её?

– Нет, Алёша, откуда мне знать твоих знакомых... Ну, а со свадьбой же как?

– Ты что, с ума сошла, старуха? Свадьба! Ха-ха-ха...

– Да если бы покойник отец узнал...

– Дурак твой покойник отец!

Александр не выдержал. Он вскочил взбешенный, схватил брата за шею и, скрежеща зубами, зашипел, сжимая горло:

– Еще одно слово, и я задушу тебя, негодяй! Как смеешь ты так говорить об умершем отце?! Как смеешь ты так обращаться с матерью?! И на ком ты женишься? На этой «девице», которая прошла

через десяток грязных рук? Это по-вашему «свободная любовь»? Свинушник!

Высокая, худая, поседевшая раньше времени Елизавета Павловна умоляла старшего сына:

– Сашенька, оставь его, отпусти, ради Бога, не знает он, что творит... Не губи христианскую душу...

Но Александр требовал:

– Извинись перед матерью, проси прощенья у покойного отца – отпущу, а нет – сам погибну, но жизни тебе не подарю!

Алексей прошипел:

– Прс-с-ти... – и испуганный выскочил из дому.

– Что же ты наделал, Сашенька, ведь теперь он нас со свету сживёт. Ведь он же у власти...

– Ничего, мама, пусть попробует!

– Придут, арестуют, а там разве долго? Замучают на смерть...

– За что?

– Да я уж и не знаю за что...

– Смотри, мама, отец был только приказчиком у лесопромышленников Елисеевых. Своего он ничего никогда не имел, кроме этого маленького домика. За это пока не арестовывают. Началась война, отца взяли в армию, как и многих других. Где-то на далёкой Висле сложил он свою голову. и здесь нет, никакого греха. Ты всё это знаешь хорошо, но я тебе говорю на всякий случай, чтобы ты помнила, что отвечать «там», если, не дай Бог, придётся.

Как не помнить, Сашенька, знаю я всё это... Боюсь только Алёшу... Чужой какой-то он стал...

– А ты не бойся, мамочка, покажи лучше ему свою материнскую власть.

– О, что ты, друг мой Сашенька. Как войдёт в дом, и слова от страху куда подеваются!

– Ну, ничего, мама, скоро кончу, тогда уж мы заживём с тобой!

– Не испортил бы тебе чего Алексей...

– О нет, остаётся только дипломную сдать, а там – на работу. А сделать ему что-нибудь даже стыдно будет... Совесть пока не убита...

С этого дня братья перестали встречаться совсем. Алексей «жену» побоялся привести в дом, хотя мать и приготовила ему комнату и перенесла свою кровать.

Через месяц Александр сдал дипломную работу, а осенью получил место агронома в совхозе «Красный Октябрь», находившийся в соседней области. Мать не захотела уходить из родного дома, и старший сын сам уехал на неведомую работу устраивать свою новую жизнь.

Директором совхоза был некий Семён Ефимович Козаренко, старый партиец, бывший партизан и самодур. Даже в земотделе в области говорили о нём: «сильно партийный» – означавшее враждебное отношение ко всем беспартийным.

В совхозе же все называли его «Зюзюком». Встретил он Александра Глухова неприветливо и грубо.

А, чай, знаешь, как пшеница растёт, корешками вверх или набок?

– Поработаем, товарищ Козаренко, узнаем, – ответил молодой агроном.

– А папаша то твой, офицером был в царской?

– До фельдфебеля дослужился и «Георгия» заработал, – прямо и просто ответил Глухов.

– Значит, старался царю-батюшке? – спросил с иронией директор.

– Вероятно, и вы старались в те времена, товарищ директор? – смело спросил а гроном.

– Ну, ты, брат, того... не забирайся, куда тебе не следует... Иди лучше познакомься с совхозом.

Погрузился Александр в работу и забыл даже о себе: некогда было и поесть во-время и поспать. Совхоз большой, народ почти весь пришлый, всё нужно организовать, всё наладить, а тут еще канцелярия заедает: кажлый день сводки метровые нужно готовить и экстренно в облземотдел отправлять! Пока соберешь все цифры, повысчитываешь проценты спать некогда.

Так крутился Александр Иванович два года, пока не получил письмо от матери. Не выдержала бедная женщина, просит забрать её из родного гнезда. Алексей через каждые полгода «жен» меняет, жизни от них ей совсем не стало.

Вырвался на день, приехал и дома не узнал: грязь, гадость и запустение. Запах дешевых духов, порванные дамские чулки, грязное бельё, рассыпанная пудра, в окнах стёкла от пыли и мух матовыми стали. А мать забилась в своей комнатке и, слёз не вытирая, сидит и прислушивается к «потустороннему миру», к неслыханной брани, к побоям или к дикому разгулу... Дрожит и молится Богу...

– Мамочка, родненькая, как же ты тут живёшь? Почему ты раньше не написала?

– Думала, Сашенька, что остепенится Алёша... а оно, наоборот, чем дальше тем хуже... Только скорее давай уедем, чтобы он не застал... или его новая... как тебе сказать... ведь не жена она ему, сам понимаешь...

Глухов помог матери собраться, и через час они покинули свой домик.

В совхозе мать отдыхала. И чистый степной воздух и простая здоровая еда подняли её силы, а спокойствие желтеющих просторов вернуло ей бодрость и надежду.

Алексей, вернувшись с работы домой, прочитал коротенькую записку, написанную мягким ровным материнским почерком о том, что «Сашенька взял погостить в совхоз» и подумал: «Ну, что же! Старухе, может быть, и лучше там будет, да и меня теперь никто связывать не будет», и распоясался еще больше.

Сашенька с матерью об Алексее почти не говорил, только раз спросил:

– А где же теперь работает брат?

– В ГПУ, Сашенька, подумать страшно, что с ним делается!

Жизнь текла тихо и мирно. Сын целыми днями бороздил на дрожках обширные совхозные поля, а мать заботилась об уюте для милого Сашеньки и возилась на кухне. Благо, год был хороший, и продуктов выдавали достаточно.

Подходило горячее время. Хлеб созревал, нельзя было упустить ни одного дня. Косовицу нужно было провести «по-ударному», чтобы ни одного зерна не потерять. Ведь облземотдел подсчитал хлебосдачу так, что даже в этот хороший год совхоз только за счёт своих собственных фондов сможет рассчитаться с государством. Глухов это знал, знал, что зимой и рабочие и скот будут недоедать, но не выполнить план—это значит сделаться «вредителем» и погибнуть где-нибудь в далёкой тайге. Поэтому он с большим напряжением следил за полями, машинами, скотом, сам проверял работу тракторов и комбайнов, каждый день осматривал лошадей и волов, испытывая полное удовлетворение. Всё было хорошо, косовица должна пройти прекрасно.

Наконец, наступил торжеетвенный для него день. Как главнокомандующий, он еще накануне отдал приказ: «Завтра в четыре утра всем быть на участках, руководить косовицей буду я.»

Глухов боялся доверять своим помощникам и бригадирам, а

Зюзюк за это дело не брался, видя, что новый агроном умеет всё сделать лучше, чем кто-либо другой; да и, вообще, он в поле бывал редко, больше сидел у себя в кабинете, передавал сводки и болтал по телефону.

Донские степи широкие и привольные, золотятся тяжелым наливным колосом, луга заливные блестят свежей зеленью, а там Дон глубокий, многоводный, быстро несёт свои воды к Ростову, в Азовское море. Только жизнь на Дону стала иная: казачков поуменьшилось, поредели станицы, иные совсем пустые стали. Часть казаков ушла за границу еще в двадцатом году, часть советская власть раскулачила, выгнала из веками насиженных мест. Набежали новые люди, голодные, напуганные, молчаливые, видно, уже изведавшие «счастливую» жизнь колхозную. Работали все и за страх и за совесть: за страх потому что никому не хотелось становиться «вредителем», а за совесть, потому что русский человек иначе и работать не может.

Дружно врезались механические косы в пшеничные массивы, и блестящей струёй полилось свежее зерно из комбайнов. Радостно было молодому агроному объезжать участки – везде без запинок шла работа.

«Может быть, удастся в этом году посытнее зимовать» думал Глухов «и людей ведь жалко, и скотину.»

Три дня текла работа, как прохладные воды Дона, ловко и быстро. Каждое утро, еще до восхода солнца, агроном строчил рапорты Зюзюку о ходе косовицы, которые директор передавал по телефону в облземотдел. На четвёртый день рано утром он, как всегда, сидел в кабинете директора и писал очередную сводку. Вдруг прибежал бригадир с дальнего участка:

– Александр Иванович, авария, комбайн не идёт...

Глухов бросил сводку, послал за механиком и, забыв на столе директора свою кепку, помчался на участок. Вслед за ним прискакал и механик. Осмотрели комбайн, но ничего не нашли. Сел механик испробовать машину. Все хорошо.

У всех отлегло от сердца. комбайнер-новичок не сумел пустить сложный механизм. Раздосадованый Глухов возвращался в совхозную контору кончать сводку.

«Три часа простоя! И ругать-то некого. Народ неопытный, с такой машиной никогда не встречался» – думал он.

Зюзюк просыпался теперь тоже рано. Работы и ему хватало – и сводку нужно было передать и красный обоз с хлебосдачей организовать. Пришел к себе в кабинет. Уборщица уже кончала вытирать пыль на его столе. От неё он узнал и об аварии. Взбесился,

как зверь, и приказал сейчас же позвать парторга Резникова.

«Вредители засели.» – думал он – «Нужно весь состав пересмотреть. Пусть-ка Резников займется этим делом. У меня вот сводка да красный обоз, времени и минутки свободного нет... Как бы и мне не влетело из облпарткома...»

С тревожными мыслями сел он за сводку, но невольно глаз его остановился на белом гипсовом бюсте Ленина, стоявшем напротив на этажерке.

«Что? Товарища Ленина шапкой накрыли?» – вскочил он, как ужаленный, подбежал к этахерке и хотел снять, но сейчас же, решил: «Парторг придёт, пусть сам увидит, кто такой агроном Глухов!»

Через несколько минут явился и секретарь партийной организации совхоза.

– Полюбуйся, товарищ Резников, – показал ему Зюзюк накрытую шапкой фигуру. Парторг сначала не понял:

– Что? Агрономова кепка...

– То-то я знаю, что его, где она? Ты же понимаешь, Ленина закрыть кепкой?!

– Точно, контрреволюция! Я тебе давно говорил, товарищ Козаренко, что Глухов не «свой» человек. Потому у тебя и аварии...

– Пиши срочно в ГПУ.

Кабинет заперли. Писать доносы для Резникова было одним из любимейших занятий. Мастерски сочетая «контрреволюцию», «саботаж», «вредительство» с авариею комбайна, о которой он только что услышал от уборщицы, приходившей за ним от Зюзюка, он исписал крупным размашистым почерком пару страниц большого писчего листа бумаги, сам отправился с красным обозом в областной центр.

Глухов вернулся, когда всё уже было закончено.

– Семен Ефимович, вы уж извините, я задержался со сводкой...

– Что за авария? – рявкнул директор, не отрывая глаз от незаконченной сводки.

– Ерунда, никакой аварии, комбайнер Горелкин не сумел пустить машину. Новичок он, неопытный...

– А за простой, мне отвечать?

– Если вы боитесь, я смогу ответить.

– Конечно, ты отвечать будешь, – также зло ответил Зюзюк и направился к дверям. – Кончай сводку, к восьми, чтобы была готова, –

бросил он агроному уже на пороге добавив какое-то неопределимое ругательство и вышел из кабинета.

Агроном не обратил внимания на угрозу, а к хамству своего начальника он давно привык. Закончив сводку, он встал из-за директорского стола и увидел свою кепку на ленинской фигурке.

«Это что еще за чертовщина?» – подумал он, – «Кто же это напялил кепицу мою на такую «святыню»? Не из-за этого ли и Зюзюк норовится?» – но о худшем не подумал, надел кепу и, усевшись на дрожки, помчался на участки, где кипела работа.

Поздно вечером вернулся усталый домой и, поужинав с матерью, сейчас же лёг спать.

В полночь к его домику подъехала легковая машина. Два человека в военной форме поднялись по деревянным ступенькам крылечка и, прислушиваясь к тишине спавшего совхоза, осторожно постучали в двери.

Агроном уже не спал. Шум мотора подъехавшей машины разбудил его сразу, и он думал только о том, кто и куда едет. По звуку мотора он знал, что маниша не совхозная, но оставалось загадкой, какие «гости» могли приехать ночью в далёкий совхоз. Когда раздался стук, он совершенно спокойно подошел к дверям и спросил:

– Кто там?

– Незнакомый голос ответил вопросом:

– Агроном Глухов здесь живет?

– Да, это я...

– Откройте, я представитель облгпу...

Удивлённый Глухов открыл двери и зажег керосиновую лампу.

– Мы должны у вас сделать обыск...

– Пожалуйста., только разрешите разбудить мать?

– Да, ступайте.

Через минуту Александр вернулся, а вслед за ним вышла дрожащая от страха Елизавета Павловна.

Агенты быстро осмотрели скромную обстановку, перерыли маленькую библиотечку и ящики письменного стола. И, не найдя ничего предосудительного, принялись перечитывать студенческие записки лекции агронома.

Убедившись, что в обыкновенных словах о пшенице, овсе, бураках или подсолнечнике нет никакой контрреволюции, они предложили Глухову следовать за ними:

– Вы арестованы, – сказал один.

– Одевайтесь быстрее, едем в облгпу, – добавил второй.

Агроном оделся, бросил прощальный взгляд на мать, хотел подойти к ней, обнять, поцеловать, успокоить, но его сухо предупредили:

– Никаких церемоний, выходите!

– Мама, будь спокона! – успел произнести он твёрдо и повернулся к выходу.

Только когда все ушли, Елизавета Паловна дала волю своим слезам. Неотступная мысль преследовала её до утра: «Сашенька погибнет! За что? Он никогда преступником быть не может! В чем могли его обвинить?»

Утром явился завхоз и заявил:

– Семен Ефимович приказали вам немедленно выехать из совхоза.

Елизавета Павловна и не думала оставаться здесь, среди чужих и враждебно настроенных людей, всех этих начальников и членов партии—бывших подчиненных сына, скрывавших под личиной молчания или лести свое отношение к нему. Вчера еще любезный бухгалтер Лагунов и дружелюбный механик Шаблыко и тот же завхоз Стариков—все оказались сегодня чужими и равнодушными...

Она ничего не взяла с собой из квартиры сына. Незаметно вышла глухой тропинкой из совхоза и пешком направилась к ближайшей железнодорожной станции, до которой было около десяти километров.

В город Елизавета Павловна приехала вечером. Она была и рада, что уже стемнело. Слёз её никто не увидит. Да и Алексея, возможно, она сумеет застать дома.

Вот и Канатная, вот и знакомый домик. Через ставни пробивается свет. Елизавета Павловна постучала. Ей открыла очередная «жена» Алексея, с которой она не была знакома. Сына не было дома.

– Я мать Алёши, – сказала она, входя в квартиру, беспорядок и грязь которой бросились сразу ей в глаза. Но горе отогнало сейчас же ненужные мысли.

– Знаю, знаю, Алексей не раз говорил о своей матери, – не здороваясь, затараторила «девица» – Что же, не больно сыто кормят в совхозе?

– Кормят-то хорошо, да Алексея мне нужно видеть.

– Сегодня он скоро должен быть, потому что работает только до восьми. А вы что же, ночевать будете здесь?

– А куда же мне деваться? Как зовут-то вас?

– Олимпиада Капитоновна. Уж такое глупое имя родители придумали, что и повернуться с ним некуда! Алексей и то говорит, что переменить можно. Вот я и сижу иной раз, перебираю имена старые – всё не нравится, а новых еще нету.

Елизавете Павловне было не до разговоров, Олимпиада почувствовала это, и, взглянув, наконец, при свете на мать Алекеея, увидела заплаканные глаза, подумала: «Несчастье какое приключилось, что ли?» – но не спросила ничего, только предложила:

– Может, вы отдохнуть с дороги пожелали бы, так я вам комнатку приготовлю...

– Да, Олимпиада Капитоновна, устала я...

Олимпиада ушла, а Елизавета Павловна, не успев вытереть набежавших слёз, услышала знакомый стук в двери и пошла открывать сыну.

– Мама, ты вернулась? – удивился Алексей.

– Алёшенька! Сашеньку ночью забрали! – прошептала мать.

– Сашу? За что?

– Уж не знаю за что, голубчик... Приехали ночью, обыскали всё и забрали его с собой...

– Ну, пойдём в комнату... Ты жене ничего не говорила?

– Нет...

– Ну, и хорошо. Не говори ей ничего... Она всё равно не поймёт... А язык у неё длинный...

Они вошли в комнату, когда Олимпиада уже сидела в кресле и полировала свои ногти.

– Что, Алёша, мать у нас жить останется? – спросила она, не отрываясь от своего занятия.

– Конечно, она же уезжала на время к брату, я же тебе гоорил об этом... А ты, мамочка, иди отдохни лучше, завтра поговорим, – обратился он к матери.

Елизавета Павловна почувствовала, что Алексей еще не пропал окончательно для неё, как сын, об этом говорило и его обращение с ней и та осторожность, котоюую он проявил по отношению к брату.

Ложась в кровать, она думала о том, что Алексей, может быть,

сможет помочь Сашеньке: «Всё же он служит в этом страшном ГПУ.»

Только под утро Елизавета Павловна забылась на часок, но очнулась от необычайной тишины напомнившей ей совхоз. На ночном столике она нашла записку от Алексея: «Сегодня же постараюсь выяснить всё. Алёша.»

Она поднялась. В доме никого уже не было. Чтобы забыться, она принялась наводитъ порядок.

Новость, которую привезла мать, поразила Алексея и разбудила в нём, заложенное еще в детстве, чувство любви к брату. Знал он Александра хорошо, знал, что он не способен ни на «вредительство», ни на «контрреволюцию», но знал также, что в ГПУ добьются всего и угрозами и пытками. Проснулось в нём вместе с чувством любви и то простое чувство, которое называется человечностью, и стала ему неприятна вся его жизнь: и «жены», и форма гэпэушника и само ГПУ.

«Александра нужно спасти. Он не может быть виноват!» – думал Алексей, входя в городское отделение ГПУ.

– Товарищ Глухов, к начальнику немедленно, – сказал ему дежурный, когда он подымался по лестнице.

Алексей насторожился.

– Глухов, вот этот пакет нужно срочно доставить начальнику облгпу, только лично, понял?

– Есть, товарищ начальник, – по-военному ответил Алексей.

– Бери машину и сейчас же отправляйся.

Глухов обрадовался командировке, она была как нельзя кстати, к тому же предстояла личная встреча с самим начальником, к котоому при иных условиях добраться было бы невозможно.

В полдень он был уже в облгпу. Надпись на пакете «Лично» дейсвовала магически. Алексея немедленно провели в кабинет. Он сдал пакет и, ожидая расписки, вытянувшись стоял возле большого письменного стола, за которым сидел начальник.

Когда тот подал ему расписку, Алексей смело обратился к нему:

– Я имею личное дело к вам, товарищ начальник.

Сытый и упитанный человек посмотрел на курьера:

– Что расскажешь? – и подумал: «Видно потому его и прислали... Эти мне личные дела!»

– Вчера ночью арестовали моего брата...

Начальник прищурил глаза.

– Брата? Как фамилия?

– Глухов.

– Не знаю еще, не слыхал такого...

– Я уверен, что он не виноват, что это недоразумение или ошибка...

– О да, так все говорят, Глухов.

– Я хотел бы помочь и вам установить истину, не только брату оправдаться. Я же знаю, товарищ начальник, как добывается признание...

– Хорошо, сечас посмотрим «дело», – и он позвонил nо телефону. – Товарищ Орлов, к тебе поступило «дело» на Глухова? Доставь-ка мне его сечас. – Положив трубку он снова обратился к Алексею: – Так ты говоришь, что ты уверен в его невиновяости?

– Да, товарищ начальник!

– А если ты ошибаешься?

– Не может этого быть, я не верю никакому «делу», товарищ начальник! – продолжал настаивать Алексей.

Ну, а вдруг?

– Буду отвечать внесте с ним, – вырвалось у Алексея, у которого уверенность в невинности брата выростала все больше и больше.

Следователь Орлов принёс «дело» и начальник начал читать nока единственную бумажку, подписанную nарторгом и директором совхоза.

– Эге-е-е-е, Глухов! Вот ты и горячишься зря, придётся садиться и тебе вместе с братцем твоим, раз уж ты этого захотел!

– Не может быть, – вспыхнул Алексей, – не может этого быть, товарищ начальник!

– Авария комбайна в косовицу, потеря государством сотен килограммов зерна, предстоящий ремонт комбайна—это лишние деньги из государственного кармана. А шапку-то одеть на голову Ленина?! Ты что же думаешь? Секретарь партийной организации и директор совхоза люди непроверенные? Если им не доверять, так кому же тогда прикажешь? Не твоему ли брату? Да и тебе не место работать у нас. Здесь нужны люди с чистыми руками, без единого пятнышка.

– Товарищ начальник, это всё может быть ошибкой, я хочу сам добиться истины...

– Как же ты думаешь добиваться?

– Разрешите мне свидание с братом на несколько минут.

– Свидание?

– Да, товарищ начальник, только на несколько минут...

– А потом?

– А потом я поеду в совхоз и на месте всё постараюсь выяснить.

– Сколько лет ты работаешь в ГПУ?

– Пять лет, товарищ начальник.

– Замечания были?

– Никогда не имел...

– Отец твой чем занимался до революции?

– Я отца не помню, на войне убит...

– Офицер?

– Нет, товарищ начальник, солдат.

– А чем занимался?

– Приказчиком служил...

– Собственность какую имел?

– Домишко, в котором я сейчас живу...

– А мать из епархиального?

– Из прогимназии, товарищ начальник...

– Кто у тебя за границей есть из родственников или знакомых?

– Никого нет, откуда такие у меня могут быть?

– Ты отвечай на вопрос!

– Нет, товарищ начальник.

Сытый человек снова взялся за телефонную трубку:

– Товарищ Орлов, доставь-ка сюда заключенного Глухова.

Когда вошел агроном, начальник предупредил:

– Только не любезничать

– Не здороваясь с братом, Алексей начал спрашивать:

– Александр, что за авария с комбайном?

– Никакой аварии не было. Новичёк комбайнер не сумел пустить механизм, сразу же приехали я и механик и машина пошла.

– Сколько потеряно зерна?

– Ни одного грамма. При мне наверстали всё. Все дружно взялись за работу и простой ликвидировали в тот же день, при луне кончали рабочий день.

– А шапка твоя?

– Да, это и меня удивило...

– Ты сделал?

– Нет, Алексей, ты знаешь...

– Довольно, – перебил начальник. – Товарищ Орлов, уведи заключённого. Когда следователь ушел с агрономом, начальник обратился к Алексею:

– Ну, что? Ты веришь всей этой ереси? Меня, Глухов, не проведёшь. Но даю тебе всё же еще одну возмомность, не запрещаю поехать тебе в совхоз.

– Благодарю, товарищ начальник, но я теперь еще больше уверен, что брат арестован no недоразумению или...

– Дай доказательства. Ты работаешь в ГПУ, я тебе делаю уступку, но прежде всего докажи!

Алексей распрощался с начальником, вскочив в машину, погнал шофера:

– Быстренько, Ваня, в совхоз «Красный Октябрь»!

Через час он уже сидел в кабинете Козаренко и вёл допрос. Директор не знал агента по фамилии и испуганно обращался к нему, называя его «товарищем начальником».

– Двадцать второго вы пришли в кабшнет в пять часов утра?

– Да, товарищ начальник.

– Агронома застали?

– Нет,он уехал на аварию...

– На какую аварию?

– Да оно, собственно говоря, не авария, всё было бы в порядке, комбайник у нас...

Глухов быстро записывал каждое слово.

– Значит, аварии кикакой не было?

– Нет, товарищ начальник...

– Какова потеря зерна от тпростоя?

– Да агроном всё нагнал, он у нас такой, боевой...

– А кто шапку на Ленина надел?

– Вот это я уж и не знаю...

– Как не знаю? Вы же писали...

– Это не я, секретарь писал...

– Но вы подписали?

– Да я и не читал толком. Реазве за работой по таким мелочам внимание будешь иметь?

– А если бы вам подсунули донос на вас же, подписали бы?

Директор смутился:

– Да, видите ли, товарищ начальник, я поверил секретарю парторганизации...

– Хорошо, значит, когда вы пришли, то шапка была уже на Ленине, а агроном был в поле? Кто еще был у вас в кабинете?

– Никого, товарищ качальник, я сам был...

– Следовательно, если агроном не надел, то тогда директор?

Коваренко не ожидал такого оборота.

– Может быть, уборщица была?

– Позвать её сейчас же.

– Настя, – крикнул директор, и немногочислеяные служащие конторы совхоза по голосу поняли, что Зюзюк «парится».

Вошла пожилая хенщина, поздоровалась с Алексеем и спокойно спросила:

– Чего вам от Насти нужно?

Алёсей взглянул на неё, увидел доброе лицо и кроткие глаза и подумал: – «Взгляд, как у матери». Он понял, что стоявшая перед ним простая женщина совершенно не понимала, что случилось что-то серьёзное, почему её позвали в кабинет к директору, к которому она заходила только убирать да мелкие поручения выполнять. Так, видно,

она и сейчас пришла, ожидая, что её пошлют или на кухню или к садовнику, куда часто посылал директор во время наездов различных гостей. Алексей начал спрашивать, называя просто по имени:

– Настя, когда это у вас авария с комбайном была?

– Кажись, третьего или четвертого дня, гражданин...

– Когда вы пришли в контору в тот день?

– О, батюшка мой, мы теперь до свету начинаем работу.

– Кто был тогда еще с вами в конторе?

– Александр Иваньгч, агроном наш, сидели в кабинете, писали что-то.

– А еще кто был?

– Ну, и я ж пришла...

– Был ли еще кто-нибудь?

– Да Александр Иваныч, агроном наш, только их третий день, кажись, нету, уехали, что ли, с мамашей...

– Значит, в конторе были вы и агроном?

– Только мы и были...

– Агроном писал, а вы что делали?

– Да я сначала в конторе подметала, а потом, когда бригадир прибежали за Александром Иванычем, начала убирать здесь, в кабинете...

– Что же вы здесь прибирали?

– Наша приборка известная... Замела сначала, потом пыль стала вытирать...

– А агроном в шапке уехал?

– Вот как раз кепку-то они свою, значит, забыли на столе, это я помню хорошо, потому что, когда начала пыль вытирать у них на столе (она показала кивком головы на Коваренко), то повесила вон туды, на Ленина, чтоб товарищу директору не мешала...

– Ну, всё, Настя, спасибо. Писать вы умеете?

– Чего ж, грамотная я...

Алехсей дописывал последние слова, коротко бросив директору:

– Позвать парторга...

Зюзюк сам выскочил из кабинета в контору и послал счетовода на квартиру к секретарю.

Когда Резников явился, Глухов прочитал всё , что он услышал от Козаренко и Насти. Уборщица наивно подтвердила:

– Так, так, гражданин, всё так, как я сказала...

– Дирестор и секретарь парторганизации растерялись, но форма агента ГПУ связала им языки.

– Правильно? – спросил Алексей.

– Погорячились мы маленько с товарищем Резниковым, – признался директор, и первый подписал донесение. Резников подписал молча, а Настя, прикусив кончик языка, как это делают маленькие дети, вывела: «Настасья Колесникова».

Алексей знал, что его начальник, послав его в область, вспомнит о нём только завтра, поэтому смело погнал машину снова в область. Дорогой он почему-то думал о Насте. В её наивности он не сомневался, но как убедить начальника облгпу?

Утреннее посещение Глухова еще не забыли, и он легко добрался до кабинета.

– Брат не виноват, – торжествующе заявил он, раскрывая портфель, в котором ехало донесение.

– А кто же, директор, парторг?

– Нет, товарищ начальник, темнота деревенская.

– Ох, уж эта мне темнота деревенская! Кулачки так и мостятся в тёмном месте, прикрываются темнотой своей, и ты туда же, Глухов?

– Но вы можете поверить в темноту и в глупость?

– И в них не мешает покопаться иногда. Ты еще молод, Глухов, и начинаешь идеальничать. Не к лицу это коммунисту, а тем более агенту ГПУ!

– Я смотрю на жизнь прямо, товарищ начальник.

– Давай-ка лучше, что ты там привёз?

Глухов подал донесение. Начальник посмотрел прежде. всего на подписи.

– А-а-а директор и парторг подписали?! А вот кто же Настасья Колесникова?

– Уборщица совхоза... В конторе прибирает...

– И она понадобилась? Беспартийная?

– Да.

– Беднячка, середнячка?

– Беднячка, товарищ начальник.

Глухов видел, как на жирном лице читавшего появлялась улыбка.

– Ну, и дурачьё же, а область гордится таким совхозом! Но, подожди, Глухов, шапку-то напялила на Ленина вот эта-то самая Колесникова?

– Товарищ начальник, поверьте, что Колесникова женщина тёмная.

– Да пишет-то она, чай, сама?

– Не в письме дело, а в голове, товарищ начальник... посмотрели бы вы на неё... забитое деревенское существо, и письмо её не говорит о её культуре ни слова... Она наивна, как ребёнок, товарищ начальник, поверьте мне...

– Проверим, товарищ Глухов. Так просто говорить нельзя.

– Но брат-то не виноват?

– Это ясно теперь...

– А Колесникова наивна...

– До глупости?

– Да товарищ начальник, именно до глупости.

– Проверим, проверим, Глухов...

– Я даю вам слово чекиста, что умысла в её поступке не было. Да и кто бы решился это сделать в кабинете директора, куда почти никто не заходит?! Начальник подумал немного, затем взялся решительно за телефон.

– Товарищ Орлов, принеси-ка дело Глухова.

Через несколько минут папка с делом агронома Глухова лежала на его столе. Он посмотрел на подписи и снова взялся за трубку. Невидимые нити проводов срочно соединяли его с совхозом «Красный Октябрь». У телефона волнующийся Козаренко бичевал себя и парторга.

– Ну, а Колесникова?

– Глупая баба, товарищ начальник!

– Ты не думаешь, Козаренко, что она это сделала с целью?

– Нет, товарищ начальник, только по глупости...

– Ну, Глухов, твоё счастье, – кладя трубку, обратился он к Алексею. – Дураки они все там. можешь ехать домой.

– А брат же как?

– Ты что, хочешь забрать его с собой?

– А что ему тут делать?

– Д-д-да-а! – протянул неоптределённо начальник.

– Вы же сами теперь убедились, что, кроме глупости, в деле брата ничего нет?

Начальник взял дело агронома, разорвал его на части и приказал Орлову:

– Выпусти агронома.

Алексей поблагодарил начальника и с чувством глубокого удовлетворения покинул кабинет. Через полчаса с Александром он мчался по пыльной дороге в родной город. Выросшая стена непонимания, отчуждённости моментально рухнула. Братья ехали, как старые приятели. Алексей забавно изображал Зюзюка и растерянного парторга. Александр спрашивал о матери и о его житье-бытье. Дорога прошла незаметно. Еще до захода солнца шофер довёз их до города и остановил мащину на Канатной у родного знакомого домика.

– Ну, вот и маму сейчас увидишь, – сказал Алексей, открывая брату двери.

Елизавета Павловна была счастлива: Сашенька был на свободе! Но не только это было причиной её радости. Она увидела, что Алексей изменился, стал иным по отношению к брату и по отношению к ней. В нём появилось то теплое чувство любви и нежности, которое может иметь только человек неиспорченный.

Олимпиада как-то сама собой отодвинулась событиями на задний план. Она была явно недовольна на Алексея, но молчала, выжидая, чем закончится этот «семейный съезд», как она про себя называла неожиданный приезд матери и брата и даже однажды сказала так Алексею. Он понял иронию, но не сказал тогда ей ни слова. Между ними начинала проходить черта, разделявшая их чувства и интересы.

На другой день после возвращения из области Алексей отправился к себе на работу, а Александр уехал в совхоз, оставив мать дома.

Случай с аварией комбайна и агрономовой кепки на голове Ленина не закончился. О нём уже знали и в городе, где работал Алексей, и в области. Облземотдел экстренно послал нового агронома в совхоз, так как горячее время полевых работ требовало ежеминутного присутствия специалиста, поэтому, когда Александр приехал к себе на работу, то место его уже было занято. Разговаривать было не с кем, так как директор теперь сам разъезжал по полям чтобы

познакомить нового агронома с косовицей, а узнав, что приехал Глухов; он, вообще, избегал появляться в конторе.

Александр из совхоза переговорил с облземотделом. Начальство удивилось что он на свободе, но восстановить на старом месте отказало: было ли что или не было, но раз человек побывал в ГПУ, то «на прежнем месте оставлять нельзя, неудобно», репутация, мол, уже замарана. Как Глухов не старался убедить, что даже сам начальник облгпу разорвал его дело, но старший агроном облземотдела Кальянов, член партии, повторял своё «нет», предложив вернуться к себе в город, где «кажется, имеется место агронома в горземотделе.»

Делать было нечего, Александр вернулся домой и, действительно, получил место, но не агронома, а что-то среднее между статистиком и делопроизводителем горземотдела.

Его это, конечно, поразило и обидело, и он хотел было отказаться, но когда поделился с братом, то Алексей ему сказал:

– Цепляйся, Саша, за все, что дают и благодари судьбу... А я скоро, кажется, полечу...

– Как полетишь?

– Выгонят из ГПУ!

– За что?.

– За то, что брат сидел в ГПУ.

– Из-за меня?.

– Из-за ГПУ.

– Не понимаю...

– Всё очень просто, Александр. «Там» могут работать исключительно «чистые» люди, без «пылинки»... А у меня вот эта «пылинка» оказалась...

– Это я-то?

– Это безразлично кто...

– Ты опечален?

– Не то, что опечален, но ведь справедливости же нет.

– А у меня?

– Так точно и у тебя. Но ты счастлив, что тебе не пришлось испытать допросов... Хорошо, что всё так быстро произошло...

Александр много слышал о пытках в ГПУ и спросил:

– «Там» пытают?

– Я об этом не могу говорить, Саша... Но меня к допросам, между прочим, и не допускали... Больше в качестве курьера или заурядные дежурства... С «врагами» я почти не встречался...

Старший брат понял, почему Алексей не может говорить, но если бы пыток не было, он, конечно, сказал бы прямо.

Александр послушал брата и начал работу снова там, где когда-то служил делопроизводителем еще до поступления в институт. Работа и сейчас не отличалась особенно от обыкновенного делопроизводства, но он смирил себя, покорно высчитывая проценты, составляя сводки и объяснительные записки.

Дней через десять после происшедших событий Алексей явился на работу. Едва он успел усесться возле своего столика, как услышал телефонный звонок. Он взял трубку.

– Глухов, это ты? – раздался грубый голос начальника.

– Я, товарищ начальник.

– Зайди сейчас же ко мне.

Алексей отправился в кабинет самого страшного человека в городе.

– Глухов, придётся тебе распрощаться с нами.

– Как? – не понял Алексей сразу.

– Так, сдать форму, оружие, получить расчёт.

– Почему?

– Нёльзя тебе больше работать здесь.

– Почему?

– Ты не понимаешь?

– Конечно, товарищ начальник, не понимаю. Как будто бы не произошло ничего такого, чтобы вы могли меня уволить.

С тобой почти ничего, а вот с твоим братом, о котором ты, кстати, мне ничего не сказал...

– Но он же на свободе!

– После того, как побывал в облгпу?

– Да, но никакого обвинения ему не предъявлено было, даже дела никакого!

– Не так всё это просто, Глухов, как тебе кажется. О том, что твой брат сидел в ГПУ, знают в городе и в области. Этого достаточно, чтобы на тебя, а, значит, и на все ГПУ указывали пальцами: вот, мол, кто там работает!

– Но брат же совершенно чист...

– Это безразлично. Важно, что ты уже не чист, а замаран своим чистым братцем, побывавшем в ГПУ... Пролетарское правосудие должно твориться абсолютно чистыми руками.

«По которым течет кровь», – подумал Алексей, но спросил:

– Ваше решение обжалованью не подлежит?

– Область тебе не поможет, ну, а Москва... можешь попробовать... Только ты уже должен знать, что в таком деле, как твоё, Москва будет на нашей стороне.

– Значит?

– Я не советую. Как член партии, ты пока еще можешь найти подходящую работу. Обратись в горпартком... А хлопотать – не стоит. Это пятнышко тебе на всю жизнь... Не забывай...

– Ну, что же, товарищ начальник, оказывается правосудие не всегда справедливо...

– Особенно, когда его разглашают, – добавил старый чекист. – Но ты знаешь, что болтать тебе языком не следует...

Глухов вышел из кабинета и сейчас же позвонил в горздравотдел, где работала его «жена» машинисткой.

– Немедленно явись домой. Разговор срочный и серьёзный, – сказал он ей и, не слушая её вопросов, положил трубку.

Через час он сидел уже дома, ожидая Олимпиаду. Матери дома, к счастью, не было. Это его радовало. Когда Олимпиада вошла в комнату, Алексей без всяких предисловий и объяснений заявил:

– Собирай сейчас же свои вещи и уходи немедленно.

– Как, ты променял меня на своих родственников?

– Это не твоё дело. Быстрее убирайся отсюда!

– Олимпиада не первый раз расставалась с «мужьями». Она только боялась скандалов, потому что они «репутацию честной женщины» портят, а к разрыву с Алексеем она уже была подготовлена. Она молча собрала в чемоданчик скомканые платья, бельё, чулки и предметы косметики, всё своё богатство, с которым она пришла в этот дом, и раздумывала, с кем же теперь ей жить: с завгорздравотделом или с инспектором горфинотдела, претендовавшими на её «любовь».

Закрыв чемодан, она повернулась к Алексею.

– Ну, что же, прощай, товарищ Глухов?

Алексей молча noказал ей на двери. Олимпиада покорно вышла из дому. Вечером мать спросила:

– А что же это Олимпиада Капитоновна не идёт? Поздновато уже...

– Не придёт она, мамочка, больше. Конец. Опротивело всё это мне. Слишком грязно... Опустился я... до мерзости... Но не упал совсем... Хочу человеком стать...

Мать вздохнула. Еще одна гора свалилась с плеч.

Александру брат сказал, что с ГПУ у него все закончено.

– Пылинка таки, Сашенька, съела меня... Да оно и к лучшему: терзало только душу это заведение. Вероятно, каждый смотрел на меня и думал: «Палач!» Но я даю тебе слово, Саша, на руках моих нет и капельки человеческой крови, я никого и пальцем не тронул!

Александр и мать молча радовались и торжествовали: Алексей становится сыном и братом!

На другой день Алексей явился в горпартком в отдел кадров.

– Что же, товарищ Глухов, на руководящую работу тебя теперь посылать неудобно, подыщи себе место no своей специальности. Чем ты работал раньше? – спрсил его секретарь горпарткома, к которому отправил его заведующий отделом кадров.

– Секретарём в парторганизациях или профорганизациях на заводах – это все мои специальности.

– Ну, что же, тогда иди nросто на производство. Ты еще молод, сумеешь выучиться слесарем или токарем. Из партии мы тебя пока не выгоняем. Поработаешь на производстве, покажешь себя, оправдаешь, так сказать, сможешь снова получить доверие партии...

– Оправдать? Как? Какое может быть, оправдание?

– Как какое? Ведь тебя-то из ГПУ не напрасно попросили? Если сняли там, так было за что?

– Нет, товарищ секретарь, no-моему совершенно напрасно...

– Ты что же товарищ Глухов, не то, что сомневаешься а просто не веришь правильному решению начальника ГПУ? Партия доверила ему такой важный участок социалистического строительства. Значит, что ты не доверяешь партии в целом. Что же ты хочешь, чтобы мы поставили этот вопрос на бюро?

– Товарищ секретарь, ошибки могут делать все.

– Но партия-то ошибок не делает!

Алексей понял, что между ним и партией теперь лежала

пропасть. Он не стал углублять разногласие, возникшее между ним и секретарём, пообещал поискать работу на производстве и вышел из горпарткома с твёрдым намерением порвать с прошлой жизнью до конца. Он знал, что в любой момент секретарь горпарткома сможет раздуть это несогласие до таких размеров, что он превратится во «врага народа» со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Он паправился в nорт, взял ялик и уплыл со своими мыслями далеко в море. В заливе Азовское море мелко. Долго грёб Алексей, nока выбрался на простор. Тихо, спокойно кругом, солнце ярко блестит на неподвижной глади, только медленные круги расходятся от ровных ударов вёсел и расплываются где-то вдали.

Много мыслей перебродило в его воспалённой голове, nока он не решил: «Рвать, так рвать до конца!» Вынул из кармана партийный билет, посмотрел на него и подумал: «Позор моей жизни...» На дне ялика заметил большую гайку с проволокой. «Это кстати. Не подымется со дна!» Прикрутил партбилет к увесистому куску металла, оглянулся nо сторонам и бросил его в воду.

«Конец!»

Чувство облегчения, радости, чувство победы над грехом, над злом, несправедливостью, победы над недавним грязным прошлым охватило его, и он, круто повернув ялик, начал быстро грести к берегу.

Вечером он сказал Александру:

– Я—беспартийный.

– Выгнали?

– Теперь уже выгонят непременно, – и он рассказал всю историю с партийным билетом.

– Зачем же ты так сделал? Можно было бы просто сдать его...

– Не понимаешь ты, Сашенька, ничего. Сдать самому билет – это значит заявить о своём несогласии с генеральной линией партии, то-есть, стать её явным врагом. А с врагами, ты знаешь, церемониться не принято... Сейчас же могут только исключить за небрежное хранение «важных партийных документов». Это будет пока всё.

– Но что толкнуло тебя порвать со всем тем, чему ты, казалось, посвятил всю свою жизнь?

– Ложь, фальш и кровавое правосудие. Если ты еще чему-нибудь веришь здесь—молчи, но не верь. У тебя в земотделе благополучно, а в подвалах ГПУ—пытки. Молчи только, а я больше не могу...

На очередном заседании бюро горпартома исключило, конечно,

Глухова а через несколько дней Алексей уехал из города, чтобы самому забыть своё прошлое, и чтобы его забыли в родных местах.

Через месяц он добрался до берегов Тихого океана и поступил простым матросом на рыболовное судно.

Александр остался с матерью в маленьком домике вдвоём.

Редкие сисьма Алексея озаряли радостью тихую жизнь. Каждый вечер Елизавета Павловна заканчивала свою молитву:

«Благодарю Тебя, Господи, за спасение Алексея...»



В ТЮРЬМЕ

В районном центре я занимал одиночку под №7. В ней ничего, кроме параши, не было. Ни естъ, ни пить мне не давали. Никто поэтому не заходил и никто меня не тревожил. Брошенный в полутемную камеру, я начинал привыкать к одиночеству к шумным ночам и дням, и даже рад был что меня не беспокоили, хотя голод давал о себе знать.

Через два дня, однако мое одиночество было нарушено. Утром в мою маленькую комнатку втолкнули бухгалтера из пригородного совхоза, через некоторое время – недавно демобилизованного красноармейца-колхозника, потом инженера строителя, за ним шофера, затем учителя и... к вечеру нас оказалось в одиночке восемь человек.

Две ночи вся площадь пола принадлежала мне безраздельно. Теперь приходилось делить её на всех. Вдоль узкой камеры всем лечь невозможно но было необходимо. Мы начали устраиваться поперек. Тесно прижавшись друг к другу, с согнутыми ногами, упёршись головами в противоположную стену, мы, после долгих упражнений, наконец, умостились.

До одиночки № 7 никто из нас не знал друг друга, здесь же все оказались вдруг хорошо знакомыми. А у колхозника-красмоармейца и бухгалтера пригородного совхоза нашлись даже общие родственники, связывавшие их гораздо больше, чем обыкновенных знакомых. Не тюрьма, так бы они и не узнали друг друга, возможно, никогда.

Ранние камерные сумерки сразу как-то потерялись. Стало так темно, что смотреть в черную надвигавшуюся на нас массу было больно. Нужно было просто закрыть глаза, чтобы не испытывать неприятного состояния болезненной слепоты.

После некоторого молчания в казавшемся теперь необъятном темном пространстве начали раздаваться голоса. Предшествовавшее молчание давало повод думать, что новые сожители основательно обдумали каждое слово, прежде чем высказать какую нибудь мысль.

Учитель: «От сумы и тюрьмы никогда не отказывайся.»

Бухгалтер: «Чтобы я-то в тюрьме побывал? В старое время не знал-бы, куда глаза свои подеть А теперь вот и ничего. Вроде, как

будто, так и нужно.»

Красноармеец-колхозник: «Вишь братцы, мужику – то честь какая. И он «враг народа».

Шофер: «Брось, браток, враги народа на воле гуляют, а друзья – в тюрме, да в концлагере сидят.»

Я: «Где же народ сам?»

Инженер-строитель: «В Кремле.»

Голоса из темноты: «Это-то верно.» «Это-то правильно.» «Прямо в самую что ни есть точку…» «Кругом враги.» «Братцы, да что же это за жизнь такая?» «А где же друзья?»

Стали искатъ друзей и пришли к заключению, что друзья имеются только у Сталина , Молотова, да у Ленина у кого был только один верный друг. У Сталина – Джугашвили, у Молотова – Скрябин, а у Ленина был Ульянов.

– Иначе у них и быть не может.

– А что же ежели они друг друга едят-поедом?

О нас, казалось, забыли. Двери наши были заnерты, и никто не приходил к нам и не интересовался нами. Мой третий день пребывания в одиночке и первый – в той же камере, превращенной в общую, подходил к концу. Вот уже третьи сутки, как я ничего не ел. Во всем теле чувствовалась какая то необыкновенная легкость. Вспомнил «Книгу Жизни» Эптона Синклера, в которой он описывал свои добровольные голодовки. Сумазбродный американец довел их, если не изменяет мне память, до ста четырнадцати дней, и решил, что они очищают организм. Что же, я голодаю еще очень мало, чтобы «очистить» мой организм по методу американского писателя... Я разсказал своим сотоварищам по камере. Мой разсказ оказался довольно интересным и приподнял настроение у всех.

– Во как? Сто четырнадцать?

– А как же он, этот американец, норму-то свою выполнял?

– Да, ведь он во время голодовки не работал, а только музыку красивую слушал.

– А как же ты хотел? – спросил молодой колхозних-красноармеец у шофера, – Кто не работает, тот и не ест. Это тебе, браток, социализм.

На второй день нашего пребывания в «одиночке» загремели двери нашей камеры и к нам вскочил Щур. Это было в полдень. Избивая плетью он начал выгонять нас из полутемного маленького

помещения в коридор, который был уже заполнен такими же «преступниками», как и мы.

Когда из всех камер заключенные были выгнаны, Щур крикнул кому- то впереди:

– Давай! На-гора их с... с... с…

Всякий раз он добавлял длиннейшее ругательство, очень многословное и безобразное.

Подгоняя узников плетью, Щур продолжал кричать. Мы, как стадо овец, в тесноте и темноте коридора, наступая на ноги идущим впереди или сзади нас, спешили вперед, не понимая, что произошло в нашей безобразной жизни.

Яркий свет у выхода ослепил нас и заставил прищурить глаза. Уж слишком сияющее солнышко было в этот жаркий летний день. Мы вышли во двор окруженный высоким деревянным забором, в котором стояло несколько грузовиков крытых брезентом. Некоторое время мы толклись возле них, не понимая, что они предназначены, именно, для нас. Царила неразбериха, все было как-то смешано, запутано, наши церберы сразу не могли навести порядка.

Во время этого замешательства я увидел во всем энкаведистском величии Щура, от которого теперь зависела вся наша жизнь. Впервые я встретился с ним за несколько месяцев до моего ареста. Он в то время совмещал должность агента НКВД и голита. Поражало не только меня, но и моих партийных начальников в издательстве назначение его цензором, человека малоразвитого и малограмотного, чекиста, едва умевшего расписаться. В издательстве он резал все то, что считал военной тайной, и с упорством ограниченного человека защищал свои решения перед протестовавшими редактором или издателем, знавшими не хуже любого грамотного и более развитого горлита, то, что не подлежало оглашению.

Мое знакомство с этим человеком было слишком кратковременным, чтоб он мог запомнить меня достаточно хорошо. Да я и не представлял для него ничего ценного, поэтому он, возможно, и не обратил на меня тогда никакого внимания. Существует возле него, какая-то безпартийная личность, ну, и хорошо. Тем более, что никакого служебного отношения он ко мне не имел. Я, поэтому, не удивился, когда, он, увидив меня в числе заключенных, не узнал, или сделал вид, что не знает меня. Да это, в конце концов, и понятно. Ведь я для него был таким же рядовым «врагом народа», как остальные.

Щур, низкого роста, худой человечишко, во френче цвета хаки с неестественно приподнятыми квадратными плечами, в огромных

галифе из кавалерийского тонкого сукна, в шавровых мягких сапогах, был воплещением зла. Я никогда не предполагал, что в таком маленьком человечке может быть заключено столько ненависти. Когда он смотрел на нас, «врагов народа», физиономия его перекашивалась от бешенства, маленькие черные глаза метали искры неподдельного гнева. Казалось, будто все мы, обитатели подвалов и полуподвалов были его личными врагами, будто все мы причинили ему какое-то большое и непоправимое несчастье, за которое он теперь вымещал на нас всем, чем только мог, на каждом шагу вымещал так, как хотело его бездушное и жестокое существо.

Первым наводить порядок начал все тот же Щур. Он с помощью своей плети принялся загонять нас в автомашины. Ему сразу же начали помогать его помощники, очень усердные и такие же жестокие. Все они кричали и избивали тех, кто в этой суматохе попадался им под руки, кто с трудом мог взобраться в грузовик или останавливался в раздумье на секунду перед переполненной машиной.

Наконец, автомобили заполнены, но не все могли в них поместиться. Оставшиеся метались между грузовиками, избегая встречаться с агентами, которые продолжали также кричать и избивать тех, кто попадался им. И только тогда , когда сам Щур убедился, что свободного местечка нет ни в одной машине, тогда только он приказал своим помощникам усадить людей. Эта своеобразная посадка заключалась том, что агенты вскакивали в машину, прыгали некоторое время по живым телам, утрамбовывая своими грубыми сапогами сидевших, затем спрыгивали на землю и, толкая заключенных, заставляли взбираться их внутрь переполненного грузовика. Едва человек поднимался настолько, что мог перевалиться в машину, агент бил его рукояткой нагана в зад и заключенный падал на своих собратьев.

Страшно было смотреть на «врагов народа». Женщины, полудети, старики, молодые – все были покорны нескольким вооруженным зверям – энкаведистам. В самых неестественных позах, в самых неудобных положениях узники молчаливо и недвижимо заполнили автомобили. Казалось, это были вещи, которые впопыхах были набросаны для перевозки. Страдания увеличивалось еще тем, что к этой необыкновенной тесноте прибавлялась духота, так как агенты плотно прикрывали машины брезентом не оставляя ни малейшей щели. Сам Щур проверял, как хорошо были закрыты грузовики, чтобы никто из счастливых советских граждан не мог видеть своих несчастных собратьев. Социалистическая гармония не должна была нарушатся «врагами народа».

Когда погрузка была закончена, Щур еще раз обошел все грузовики и дал команду. Стражники с автоматами начали

усаживаться в машины. Они безцеремонно разчищали себе места, употребляя для этого не только каблуки своих сапог, но и приклады автоматов.

Но вот закончились долгие инструкции Щура, и мы двинулись в путь. Никто не знал, куда нас везут. Только тогда, когда с одной из машин в дороге произошла авария, мы случайно, из разговоров наших охранников, узнали, что везут нас в областную тюрьму.

До областного центра было сто десять километров. По тем дорогам, которые туда вели, даже легковой машиной нужно ехать не менее пяти-шести часов, а нашими грузовиками, безпомощно вращавшими задними колесами в маленьких лужах, осторожно переезжавших старенькие мостики, часто останавливавшихся из-за неполадок с моторами, нужно было ехать гораздо больше. Сколько? Вероятно и сами шофера не могли бы точно сказать.

В переднёй машине лопнула камера. Запасной ни у кого не было. Пришлось производить починку в открытом поле. Сопровождавшие нас стражи вылезли. Мы попробовали приоткрыть брезент, но заплатили за это дорого. Наши блюстители начали молотить нас прикладами с таким старанием, что мы пожалели о том, что начали такое смелое предприятие. Стражи же долго еще грозили нам, обещая перестрелять всех тут же на месте. Если бы не женщины, которых было не меньше половины, то мы, вероятно, решились бы и на то, чтобы наши охранники попробовали бы исполнить свои угрозы. Уж так было тяжело ехать, и никак нельзя было умоститься поудобней. Руки и ноги окаменели. Нам казалось, что мы их совершенно потеряли за время езды. От жары и пыли во рту пересохло. Голод давал себя знать все сильней и сильней. Нам становилось безразлично, что с нами будут делать дальше. Хотелось только поскорее добраться до тюрьмы...

К полуночи мы, наконец, прибыли в областной центр.

Наши машины долго ехали по улицам города. В темноте мы имели возможность поддеть брезент и видеть, куда нас везут. Многие, как и я, предполагали, что тюрьма должна находится где-то за городом, но все были поражены, когда узнали, что мы в центре. Наши машины свернули с главной улицы в маленький переулочек-тупичек и сразу же остановились возле огромных железных ворот, вделанных в большое многоэтажное здание. Из передней машины выскочил сопровождавший нас старший агент, подошел к воротам и позвонил. Через несколько минут кто-то вышел.

– Чего так поздно?

– Авария в дороге... Скат меняли...

– Товар привезли?

– Привезли.

– Целый? Никто не сбежал?

– У нас не сбежишь!

Ворота медленно открылись, и машины тихо въехали внутрь. От ярких больших электрических фонарей было так светло, что, казалось, можно было найти иглу на каменных плитах широкого двора.

Машины остановились. Где то из открытого окна соседнего дома раздался бой кремлевских часов. Било двенадцать. Новый день мы начинали на новом месте.

Раздалась команда:

– Вылазь!

Наши охранники, выскочившие сразу же по въезде машин во двор, подходили снова к машинам, открывали брезент и выгоняли всех во двор, устанавливали в очередь.

Двигаться было очень тяжело, так как наши конечности в течении долгой дороги замерли, но охранники так усердствовали, что все наши недомогания скоро, как рукой сняло.

Когда все были выстроены, длинная очередь начала двигаться. Мы видели, как в определённом месте передние будто проваливались сквозь землю. Их быстрому исчезновению способствовало то обстоятельство, что, возле этого загадочного места стояли два агента, «молотившие» отстающих.

Дошла очередь и до нас, старавшихся держаться все время вместе. Подходя к таинстуенному месту, мы увидели очень крутой спуск вниз, в подвал. Не успели мы хорошо разсмотреть ступенек, как, подталкиваемые кем-то, полетели на каменный пол. Кое-кто ударился довольно сильно, но медлить нельзя было, мы сразу же подскочили и направились вперед за теми, кто уже шел по узкому корридору.

Долго шли мы по корридорам подземелья, заворачивая несколько раз то влево, то вправо, пока, наконец, не подошли к молча стоявшим заключенным успевшим добраться сюда немного раньше нас.

После того как мы все собрались, громкий голос заставил нас, успевших разговориться с соседями, замолчать.

– Вещи опустить на пол! – раздалась первая команда и голос на время стих.

– Отступить от стены на шаг, – последовала вторая команда после небольшой паузы.

– Лицом повернуться к стене!

– Опереться головой о стену!

– Руки поднять вверх!

Нам ничего не оставалось делать, как только исполнять приказы незнакомого голоса. Когда мы выполнили все, что требовалось от нас, кто-то сзади начал нас пересчитывать, сильно ударяя по спинам.

После пересчета нас начали разгонять по камерам. Я со своими друзьями по несчастью попал в большую комнату, в которой совсем не было окон. От корридора нас отделяла только железная решётка, какая бывает в зверинцах для диких зверей. Не было здесь и света. Он проникал к нам из корридора. Мы были даже обрадованы этому обстоятельству, предпологая, что свет в корридоре никогда не тушится. При свете мы надеялиь устроиться поудобнее.

Кроме нас, познакомившихся еще в районе, в камеру попало еще человек тридцать. Все мы были возбуждены неожиданным переселением, ґоворили громко, делились впечатлениями после неприятной поездки, пока не пришли новые начальники и не привели с собой нескольких человек, среди которых было две или три женщины. Начальники втолкнули этих людёй в нашу камеру и пригрозили нам:

– Прекратить разговоры. Будете болтать – в карцер.

Никто из нас не знал еще, что означает этот карцер, но мы представляли себе, что это не должно быть особенно приятно, поэтому сразу же замолчали. Я потихоньку начал разсказывать моим сотоварищам о гимназиических карцерах, которые существовали в далекие от нас времена. Конечно, сидение в гимназическом карцере было бы удовольствием в сравнении с тем подвалом, в котором мы очутились. Но у нас выхода не было, он остерегался строго энкаведистами, и мы могли только мечтать о свободе.

Рядом с нами находилась такая же клетка-камера, в которой нашлись знакомые. Разве можно было удержаться, чтобы не поговорить с ними, не поделиться запасом тех впечатлений, которые мы приобрели за короткое время? На сдержанный шум наших разговоров кто-то немедленно реагировал. Погас моментально свет. Мы очутились в абсолютной темноте.

Где-то вдали кто-то застонал протяжно. Этот страшный стон понесся по всем извилинам корридора, забегая во все камеры, и жильцы подземелья сразу же стихли. «Бьют...» кто-то в темноте тихо

прошептал.

Стон продолжался. Он то усиливался, то стихал. Мы все насторожились, ожидая конца истязаний, но звуки не прекращались еще долго, не давая возможности нам успокоиться. Хотелось плакать. Хотелось перегрызть железные толстые прутья, чтобы поскорее добраться до того страшного места, где так ужасно мучают несчастных людей. Хотелось пожертвовать собственной жизнью, чтобы прекратить нечеловеческие муки, страшные звуки...

Вдруг все стихло. Как будто кто-то захотел прислушаться к нам: спим ли мы или продолжаем разговаривать? Убедившись, что тишина охватила подземелье, истязатели прекратили свои пытки, но через каждые пятнадцать-двадцать минут раздавался железный грохот открывающихся или закрывающихся дверей. Этот металлический лязг раздражал, не давал никому возможности заснуть. Все молчали, все оставались только со своими тяжелыми мыслями. Ночь первая была неспокойной. Но и последующия были не лучше.

Вероятно это было утро. В темноте мы не могли определить времени, а часы были давно отобраны у нас. Мы заслышали шаги. Шло несколько человек. Отвратительный железный лязг говорил нам о том, что что-то происходило, но что именно, никто из нас, конечно, не мог определить.

После долгого и напряженного ожидания мы, наконец, имели счастье сначала ощутить свет, затем увидеть целую процессию. Два охранника шли и отпирали камеры. За ними двигались два заключенных, несших в железном баке, что-то горячее, от которого шел пар. Когда процессия подошла к нашей камере, мы почувствовали запах вываренного кофе. Конечно мы были все очень обрадованы, так как многие, как и я, не ели уже несколько дней. Подошел третий заключенный, у которого в руках были жестяныя кружки. Начался наш первый «завтрак».

С жадностью голодных людей мы набросились на жидкость, которую называли – кофе. Грязные кружки, не мытые, вероятно, с того момента, как они попали сюда, нас теперь не смущали. Нам хотелось поскорее наполнить наши пустые желудки чем-нибудь, и мы могли бы пить, наверное, без конца ту грязь, которую нам давали из ржаваго железного бака. Но полагалась только одна кружка, и вскоре наши «благодетели» исчезли. Темнота снова окутала нашу камеру, которую охранники не забыли запереть.

Начались тихие разговоры на неопределённые темы от неопределённых лиц. Больше всего всех интересовало, за что посадили невидимого собеседника. Вскоре выяснилось, что никто не

знал, за что он посажен в подземелье. Однако, наши разговоры, скоро прекратили. В корридоре вспыхнули лампочки. Появились снова охранники. Они начали отпирать камеры и выгонять нас в корридор. Из корридора нас погнали во двор.

Очутившись на с вежем воздухе, на свете Божьем, мы как будто ожили. Двор, в котором мы находились, представлял собою такую же каменную камеру, как и та, в которой мы только что были. Из этого двора ни при каких обстоятельствах выбраться было бы невозможно. Забор был чрезвычайно высок, а здание тюрьмы имело шесть этажей, через которые не перескочить никогда. Все комнаты выходящие внутрь двора имели маленькие окошечки. Это говорило нам, что там сидят заключенные. Сколько их могло быть? Трудно сказать, так как здание имело форму буквы «Ш» и нам видна была только незначительная его часть.

Нас выстроили и приказали раздеваться. Та как с нами было несколько женщин, то мы в недоумении смотрели друг на друга и на наше начальство, которое сообразило все же и женщин удалили куда-то. Их мы больше не видели.

Когда мы оказались без одежды, нас начали вводить по двацать пять человек в небольшое низенькое здание, пристроённое к забору. Оно оказалось баней. Забота, которую проявило начальство по отномошнию к нам, начинало нам нравиться, пока кто-то из охранников не проговорился, что нас «дезинфецируют», чтобы мы не заразили следователей. Были, оказывается, до нас такие случаи, когда насекомые переползали с заключённых на следователей и заражали их тифом. Нас удивило, что вши не действовали на заключенных, но энкаведисты болели. Конечно, это сообщение не обрадовало никого, но все мы выкупались с большим удовольствием, смыли грязь накопившуюся с того времени, как нас заключили в районную тюрьму

Все, происходило с молниеносной быстротой. О темпах мы уже имели представление, поэтому спешили без погонычей.

После бани захотелось страшно есть. Но мы же не дома. Нужно было примириться с тем полжением, в котором все мы очутились не по своей воле.

Вымытых, пахнущих еще банькой, нас повели на первый этаж. Там нас выстроили вдоль стен корридора и поочередно вызывали в большую комнату. В этой комнате несколько агентов обыскивали нас, отбирали все то, что еще не было отобрано в районе, и мы выходили оттуда, поддерживая руками брюки, так-как наши подтяжки оставались теперь в руках нашего начальства а мы исхудали так за несколько дней что наша обычная одежда становилась для нас все более и более свободной.

В карманах у нас ничего не оставалось. Даже носовые платки были изъяты. Говорят, что на них заключенные умели вешаться. Когда кто-то заикнулся, что и на кальсонах можно повеситься, то с него содрали не только их, но и всю одежду, посадив совершенно голого в одиночную камеру. Дальнейшая судьба этого храбреца осталась неизвестной.

После тщательного обыска нас бегом направили в нашу камеру. Без нас в ней тоже похозяйничали. Многие многого не нашли после обыска. Потеряно было все то что удалось до сих пор сохранить, что было взято с собой еще из дома. Так, некоторые имели «нахальство» протащить с собой маленькие подушечки и легкие одеяла. Их после обыска ни у кого не оказалось. Всем теперь приходилось спать на цементном полу в том, в чем они были.

Начались дни ожиданий. Раз в сутки нам приносили какую-то баланду, в которой было больше воды, чем чего-то утоляющего голод. Хлеба давали такие маленькие ломтики, что трудно было определить их вес, но во всяком случае они не превышали и ста граммов. Утром мы получали грязную тепловатую воду, именуемую – кофе, а вечером зачастую о нас забывали. Если же вспоминали, то только лишь для того, чтобы подразнить нас остатками утреннего «кофе» или остатками обеденной баланды. На таких «жирных» харчишках мы и начали «поправляться» – толстеть – пухнуть.

Ночи наши были отравлены постоянным шумом, стонами, плачем. Все эти звуки раздавались то вблизи, то долетали к нам издалека подземельным эхом, переворачивали в нас всю нашу душу. Но не только это беспокоила нас. Через цементный пол почему-то только ночью просачивалась вода, и мы подмокали. Кроме того, к нам в камеру прибегали какия-то зверюшки, которые безцеремонно бегали по нашим измученным телам. Мы догадывались о природе этих четвероногих, но старались жить с ними в ладу, так как многие из нас знали мстительный характер их. Мы их не видели в темноте, но мы ощущали часто на себе длинное тельце этих неприятных животных, такой же длинный хвост и острые коготки. Все они были покрыты довольно жесткой шерсткой, напоминавшей нам об отвратительных существах, которых нельзя было ни в коем случае злить, которым нельзя было делать никаких неприятностей, потому что они чрезвычайно злопамятны. Они приходили к нам только тогда, когда наступала тишина, когда прерывались мучительнейшие стоны, хлопанье плетей, сухие звуки выстрелов, с которыми, кстати, не все были знакомы.

Всех нас охватило странное состояние покоя. Даже, кто был особенно чувствителен, и тот казался как бы приглушенным, не чувствующим окружающего. Мы переставали воспринимать жизнь

так, как воспринимали её раньше.

В течении недели нас никто не трогал. Нас не вызывали на допросы, не обыскивали, ничего у нас не спрашивали, но мы слышали, как по ночам куда-то уводили заключенных из других камер, а через некоторое время их или возвращали назад, или приносили в соседние камеры. Мы понимали, что заключенных на допросах избивают до такого состояния, что они теряют способность самостоятельно передвигаться.

Пугало ли это нас? Нет. Почему то каждый из нас думал, что чашу сию миновать все равно нельзя и нужно быть только готовым выдержать все страшное, что уготовано судьбой.

Некоторые, правда, думали, что избивают тех, кто запирается, не хочет говорить, сознаваться в своих преступлениях. Так им казалось до тех пор, пока кто-то не спросил:

– А в чем же, товарищи, сознаваться?

Задумались все. И было чему задуматься. Никто не знал, почему он оказался здесь, в чем обвиняло его «правосудие», каких признаний могло потребовать от него.

Постепенно мы начинали узнавать от узников, приносивших нам кофе или баланду, о всех распорядках; узнавали о «преступниках», которые не совершали никогда никаких преступлений, многое узнавали такое, отчего волосы вставали дыбом, и с трепетом ожидали, когда начнут вызывать нас на допрос. Но неделя прошла спокойно.

Мы жили как кроты. Абсолютная темнота нарушалась скромным электрическим освещением во время кормления. Но это были такие короткие промежутки времени, что мы не успевали рассмотреть друг друга. Едва начинали привыкать к скудному освещению, как оно исчезало. Мы начинали забывать, когда бывает день, когда ночь. Для нас наступила сплошная ночь. И если бы не ночные допросы и не дневные приемы пищи, то мы, вероятно, совершенно забыли бы о том, что темнота сменяется светом, о том, что существует солнце или луна, о том, что в природе все время происходит смена дня и ночи, что, вообще, существует календарь, по которому люди умеют как-то считать дни, недели, месяцы, годы, столетия...

Через неделю, однако, наше спокойствие было нарушено. К нам в камеру ворвался агент, очень похожий на знакомого по району Щура, также, избивая плетью, начал выгонять нас из нашей клетки. Нам, конечно, ничего не оставалось делать, как выскакивать поскорее

в корридор и ждать дальнейших событий.

В освещенном электрическим светом корридоре уже было человек около двухсот. Все в недоумении смотрели друг на друга, но на этот раз никто не посмел заговорить. Может быть, потому, что все произошло так неожиданно? Может быть, потому, что все теперь знали, что нужно молчатъ? Может быть, потому, что спокойствие темных камер выработало страх перед всяким нарушением, установившегося порядка? Оченъ трудно теперь дать объяснение тишине, царившей в людном корридоре, но на всех лицах было написано только выжидание – напряженное и мучительное.

Агентов было несколько, действовали они энергично, не давая никому опомниться. Выгнав всех из клеток-камер, они скомандовали двигаться вперед. Это означало двигаться к входу. Мы забыли, когда это было, днем или ночью. Только подходя к последним дверям корридорного лабиринта, мы уидели дневной свет. Очутившись на дворе, мы почувствовали головокружение и необыкновенную слабость, ноги наши отказывались нам служить. Глазам было больно от чрезвычайного яркого света. Мы почти ничего не видели в течении нескольких минут...

Нас выстроили в четыре ряда и объявили, что мы направляемся в концентрационный лагерь. Никаких обвинений, никаких приговоров нам не сказали. Никто не знал, на какое время он едет в далекую неизвесность. Никто не знал, за что осужден. Никто и не решился спросить об этом у гепеушников. Казалось, что всем было безразлично будущее. Вероятно это состояние объяснялась тем, что все прекрасно понимали, что никакие расспросы не могут ни к чему хорошему привести, что никто из агентов НКВД не может сказать, ибо, никаких обвинений никто и не мог предъявить людям, посаженным по прихоти коммунистической власти. Говорили, между прочим, что в то время было так много «врагов народа», что «суд» не в состоянии был разбирать «преступлений», поэтому ссылали без всяких «процессов», поскокорее, чтобы освободить места для новых «преступников».

Стоявшие наготове – полуторатонки поглотили нас; и мы через несколько минут покидали областной центр. Ехать было немного свободнее. Мы имели даже возможность рассматривать город, в котором тюрьма находилась в самом ценре, на главной улице. Никто из жителей не знал, и не предполагал, что под землей находится другой город, в котором живут «преступники» – «враги народа».

Преступники ли?

Живут ли?

Мы отправлялись на край света...



ТРОЦКИСТ

Ха-а-роший был редактор у нас. Михал Иванычем звали. Помню, принимал он меня на работу: ни про папеньку, ни про маменьку ничего не спросил, родственничков моих и полсловом не встревожил, даже про Белую армию не заикнулся – уж такой был хороший, такой приятный человек. Сам он, конечно, был жизнерадостный, весёлый, здоровый... Да и как таковым не быть, ежели был он из рабоче-крестьянского сословия при партийном положении и при закрытом распределителе?!

Бывало зайдёт ко мне в кабинет, хлопнет дружески по плечу и спросит: «Га-га-га ! Как дела?» – повернётся и пойдёт, не ожидая ответа. Личность, одним словом, приятная.

Да, так вот этот самый Михал Иваныч загрустил вдруг. Печальный такой стал, тусклый, подпишет газетку молча и скроется.

«Что» думаю «болезнь, может, какая приключилась или семейственные неувязки? Время ведь такое теперь, неустойчивое.»

А тут секретарь ответственный подскочил, Иван Иваныч. Шельма был. Всё знал. А вот про него никто ничего. А что пройдоха был, так, помилуйте же, где это видано было?! Десять лет проработал в редакции ответственным секретарем, а сам не был не только членом партии или там каким-нибудь комсомольцем, но даже не был обыкновеннийшим членом профсоюза издательских работников! Вот какой юркий был этот Иван Иваныч!

Вот он мне и сообщает, совершенно конфиденциально: «Михал-Михалыч, а Михал Иваныч то троцкист!»

Принял, конечно, к сведению, потому новый редактор явится, метлой может быть... чего-нибудь за Белую армию спросит или за бабушку.

А Михал Иваныч походил еще дня два в редакцию и совсем поблек. В последнюю ночь разрешение на печать знаменательное дал: «У последний раз пodписую газету. Валяй, братва!»

На другой день, конечно, новый редактор. Ну, о нём когда-нибудь позже. А Михал Иваныч исчез. И исчез так, что в редакции о нём забыли и вспоминать. Опасно.

Секретарь же, Иван Иваныч, держит меня в курсе событий всё время. Видно, и ему он очень нравился. Да и как не нравиться? Всем при нём тепло жилось – никаких нервных потрясений.

В городе у нас горпартком на Ленинской, конечно, был, а как раз напротив НКВД. В горпарткоме, значит, Михал Иваныча по всем падежам вопрошают, а в НКВД – самого главного виновника, троцкиста Пономаренко, который уже вполне сознался.

Ну, Иван Иваныч и рассказывает мне всё конфиденциально:

«Сидит в горпарткоме наш Михал Иваныч и докладывает секретарю все обстоятельства дела. Собрался он ехать на курорт. Это еще прошлый год, значит. В Кисловодск. Сердечко подлечить. Заходит в вагон. Место себе подыскивает плацкартное. Видит, сидит в купе Пономаренко этот самый, троцкист. Он, конечно, и не знал за ним тогда этого греха, ну, и спросил: «А ты что, тоже на курорт?» «Да» говорит этот троцкист «Я в Пятигорск.» И прошел мимо Михал Иваныч, потому не в этом купе место его было. Больше разговоров у редактора нашего с врагом этим не было.»

В это же время в НКВД Пономаренко чистосердечно еще раз сознаётся, и говорит точно такие же слова о своей встрече с дорогим нашим редактором. Секретарь горпарткома звонит по телефону в НКВД, а начальник НКВД – в горпартком. Выясняют, сверяют, проверяют и нашего Михал Иваныча от всяких подозрений освобождают: клевета, мол, всё это, иди, продолжай наслаждаться партийно-советской жизнью.

Месяца через два Финляндия, знаете ли, «спровоцировала войну», и нашего Михал Иваныча горпартком послал всё же «оправдаться перед партией». Конечно, поехал он как полагается «оправдываться»... Политруком.

Вышел это он на фронт с товарищами красноармейцами, а они героически идут и идут, всё вперёд и внерёд, только уже без винтовок и с руками, поднятыми вверх. Шли до тех пор, пока на вражеской территории не скрылись. А Михал Иваныч пересидел в стоге сена, пока свои не подошли, «свои» – специального назначения. Но три дня пробыл в сене. Оправдался. И орден Ленина даже получил.



КОНКОРДИЯ

Город Н. переходил с боями несколько раз из рук в руки, и батарея, в которой служил Верецкий, почти всегда останавливалась на одном и том же месте, а офицеры и солдаты на тех же квартирах, как и при первом занятии. У всех завелись знакомства, носившие большей частью временный характер, так как положение в боевой обстановке и не располагало к чему-либо постоянному. Однако, кое-кто основательно обзавелся южной красавицей и в периоды фронтового затишья томно вздыхал, уносясь мечтами в уютные гостиные провинцнального *beau mond*.

В один из таких приходов в город Н. Вадим Никитин предложил своему приятелю Верецкому навестить его знакомых.

– Пойдем-ка к старому Ромбышу, удивишься и не пожалеешь... Времечко не просто убьёшь, а насладишься и зрелищем и разговорчиками.

Верецкий уже слышал, что у этого самого Ромбыша был целый взвод дочерей, одна другой краше, но захотелось ему подтрунить над своим другом и он спросил:

– Что же за зрелище там? Обезьяний питомник, что ли?

– Питомник? Это, может быть, и подходит словечко, но обезьяний – это уж ты будешь глуп, ежели, увидев нежные создания, повторишь эдакое чудовищное выражение.

– Не думаю, чтобы принимали тебя в питомнике, где выращиваются небесные создания, – усмехнуля Верецкий, начищая сапоги до одуряющего блеска.

– Что же ты думаешь, что только ты со своею смазливенькой физиономией умеешь покорять сердца степных дикарок? – язвительно спросил он.

– Нет, просто, глядя на твою физиономию, думаю,что дальше обезьяньего питомника тебе ходу нет!

– Ты что? За урода меня приинмаешь? – зло спросил он, отбрасывая в сторону фронтовой английский френч и надевая парадный. – Я докажу тебе, что смазливость – признак юродивых, подобных тебе. Скучным и ненужным ты окажешься в букете полевых

цветов, как случайно попавшая сорная трава. Что же, по-твоему, я не мужчина? – наступал он на Верецкого.

– Видишь ли, у нас в имении был когда-то рыжий пёс-дворняга, но его рыжеватость была очень бредна по сравнению с твоей...

– Женщины рыжих любят больше, да и рыжие всегда бывают счастливыми, – перебил Вадим приятеля.

– Теперь посмотри на свой нос. Конечно, овощь – вещь полезная, ежели она у места, но ежели расположится на лице, красавица может отгрызть при случае.

– Что же, прямой хороший нос... Красноватый малость, но это от фронтовой жизни.

– Морковь старая, а не нос! А уши? Ты видел мулов в Севастополе на Северной стороне, где артиллерийские казармы? Вот оттуда, видно, тебе они и достались по наследству! А рот-то, рот! До ушей, хоть завявочки пришей!

Вадим подошел к Верецкому и, показав кулак, пригрозил:

– Вот это видел?

«Аргумент» был увесистый, причин же для поединка не было никаких, и приятель, не показывая вида, что отступает, сказал:

– Силу применяет тот, кого Бог обидел разумом!

Никитин сообразил, что применение «аргумента» окончательно повредило бы его репутации в глазах друга, и сразу же изменил разговор.

– Командир говорил, что мы здесь пробудем до вечера. Кажется, на отдых пойдём.

– А кто займёт наши позиции?

– Марковцы.

– Ну, это не надолго. Им что-то не везет последнее время.

– Хорошо было бы здесь остаться на отдых... Всё таки городишко...

– И питомник с крававицами, – добавил Верецкий.

– Ты не смейся, Борис. Таких крававиц ты еще, вероятно, не встречал. Они тебя, я уверен, очаруют не только своей внешностью. Простота, воспитанность... А поют как, играют, танцевать мастерицы, недурные и собеседницы интересные. Это тебе не обыкновенные провинциалки для пустого флирта!

– Девушки, так сказать, с содержанием?

– Да, да, именно с богатым содержанием. Во всяком случае, ты скучать в их обществе не будешь!

– Ну, тогда поспешим, – сказал Верецкий, и они направились к командиру батареи за разрешением.

Подполковник Мусин-Пушкин выслушал молодых добровольцев и, улыбнувшись, спросил:

– Что, «лишь пара голубеньких глаз» вскружила головы буйные?

– Нет, господин полковник, это старое знакомство, почти родственное, – соврал Вадим.

– Хорошо, господа, только имейте в виду, что в вашем распоряжении всего один час.

Молодые люди поблагодарили командира и, откозыряв, отправились к Ромбышу, который жил недалеко от стоянки батареи.

Всю короткую дорогу Никитин ругался, как сапожник:

– Час! Это не успеешь и в дом войти, как нужно начинать прощаться! Чорт возьми со всем этим отдыхом! Да и, вообще, на кой дьявол эти большевики объявились в России?

– А тебе что, часа мало?

– Ты же понимаешь, только один!

– Это шестьдесят минут, три тысячи шестьсот секунд, а мгновений сколько? – усмехаясь, спросил Борис.

– Мгновений?

– Да, да, чудесных, волшебных, красивых и прочих и прочих?

– Красивое словцо, Борька, только вот длительность разная бывает: иное мгновение целую ночь тянется, а иное и не заметишь, как промелькнёт.

«Эге-е-е!» – подумал Верецкий. – Вадим-то мой того, в поэзию ударился не спроста! Видно-таки что у старого Ромбыша нашлась голубка, сумевшая покорить сердце храброго вояки!»

– Ну, знаешь, ночь – это же не мгновение... да и потом, почему именно ночь, будто днём счастливых мгновений не может быть?

– Странное дело, Борис. Я не раз сам задумывался, почему все любовные дела происходят обязательно ночью?

Верецкому хотелось сказать, что причиной этому была его безобразность, но он сдержал себя.

– Ошибаешься, Вадим, глубоко. Насколько я помню мои

любовные похождения, то все признания в любви, все первые и вторые поцелуи происходили при ярком дневном свете.

– Может быть, но смотри, вон домище Ромбыша. У него пять дочерей в невестах, две приближаются к этому. Старик будет сам представлять тебе всех, и боюсь, что эта церемония займёт слишком много времени.

Девочка лет пятнадцати с длинными косичками открыла двери и пригласила на террасу, выходившую в большой старый сад. Весь девичий цвет был здесь во главе с весёлым папашей. Началось настоящее представление дочерей, но не утомительное своей официальностью, а, скорее, комическое своею простотой. После того, как Вадим представил Верецкого хозяину дома, Степан Степанович, взяв Бориса под руку, подвёл к старшей:

– Сие – отрезанный ломоть, Саша, Александра Степановна, и уже почти не Ромбыш. Помолвлена с корниловцем. Будет заммечательной женой, мастерица шить, варить, вязать, ну, и, конечно, подарит мне пару прекраснейших мальчишек-внуков... А, Сашенька?

Сашенька зарделась и, протягивая руку Верецкому, сказала дружески:

– Вы папу не слушайте, он большой шутник.

– И в вопросе вашей помолвки? – улыбаясь, спросил Борис.

– О нет, свадьба только из-за войны задерживается...

– Маша, то-есть, Марья Степановна, экземпляр номер восемь музыкантша и певица. Вяльцева могла бы позавидовать. Ну, и по хозяйству не уступит Сашеньке. Кажется, – старик лукаво посмотрел на дочь, – предполагает сердце своё вручить марковцу?

– Папа, я совершенно свободна...

– В своём выборе, ты права, доченька, но глаз стариковский наблюдателен, – и, обращаясь к Верецкому, продолжал, – во всяком случае здесь наступление разрешается с осторожностью.

Молодые люди пожали руки, и Борис успел сообщить, что, возможно, марковцы скоро нагрянут в их прекрасный дом. Девушка, приложив палец к губам, показала глазами на отца. Молодой человек понял, что старик не ошибался.

– Феня, Феодосия Степановна, – продолжал отец, – сегодня еще Ромбыш, но имеются некоторые намёки на перемену фамилии... Юрий Владимирович, кажется, алексеевец? – сросил он у дочери, беря её за подбородок.

– О, я люблю его безумно, – трагикомически произнесла она,

пожимая Борецкому руку. – У папы всегда злые шутки, – смеясь, добавила девушка.

– Нет, Фенечка, молодой человек должен знать, на что он может рассчитывать в моём доме, – и, повернувшись к Борису, продолжал характеристику дочери:

– Художница! «Лес» Шишкова слишком бледен в сравнении с её картинами. Масло и акварель одинаково чудесны в её маленьких ручках, но по дому успешно соперничает с остальными...

Ну, а это Конкордия Степановна, – представлял старик четвёртую дочь. – Горда, холодна и неприступна! Как храбрые дроздовцы не атакуют, – он скосил глаза в сторону Вадима, – ничего не получается, даже ураганный артиллерийский огонь не производит никакого впечатления.

– Ты что же, папка, хочешь, чтобы снаряд разорвался над самой моей головой?, – засмеялась красавица.

– Я представляю наряд в виде золотого сердца, наполненного стрелами Амура, – ответил Борис за отца.

– Да, да, молодой человек прав, так и я представляю себе... Но вот, дорогой мой Борис Николаевич, талант учёности у Конкордии Степеновны может замучить будущего муженька: женщина-философ!

– И поэтесса! – добавила Конкордия.

– Ах, да, – спохватился Степан Степанович, – стихи пишет, стихи! Не то Байрон, не то Пушкин! Пишет в тетрадях, на обёрточной бумаге, на старых газетах, даже обои в своей спальне исписала!

– А как же ты, папа, думал, буду я с рифмой носиться по всему дому и искать бумагу? – улыбнулась она отцу.

– Это уж вина как видно, дроздовцев, – проговорил Верецкий, пожимая маленькую холодную ручку. – Вместо стрел Амура, нужно было бы преподнести сначала хорошенький альбом для стихов.

– Альбом?! – презрительно воскликнула Конкордия Степановна, – Я не кисейная барышня, мне толстой общей тетради мало на неделю, а вы предлагаете альбом!

Вадим смущенно посмотрел на девушку, и пообещал сейчас же пойти в город, чтобы купить самую толстую общую тетрадь.

– О нет, Вадим Елисеевич, сегодня вы ничего в городе не купите, да и вынужденный подарок не имеет большой цены, – убила Конкородия своим ответом влюблённого вояку.

Девочка с косичками выскочила, когда отец хотел её представить Верецкому. Наконец, церемония представления дочерей

закончилась. Завязался общий разговор. Все чувствовали себя свободно, непринуждённо, как будто все знали друг друга давным давно. Однако время визита было очень ограничено и молодые люди, к искреннему сожалению девиц, должны были покинуть их веселоё общество.

Когда приятели вышли из дому, Вадим спросил:

– Ну, как?.

– Прекрасные девушки, весёлые, нет в них ничего напускного, надуманого, умненькие...

– Конкордия, брат, особенно умна... Слышал? Даже отец подчеркнул: философ! И к дроздовцам неравнодушна...

– Особенно к рыжим, – добавил Верецкий, понимая, что из холодной ручки девушки стрела Амура ловко попала в горячее сердце его друга.

– Борис, знаешь что?

– Нет, пока не знаю...

– Ты меня, не раздражай лучше. Я тебе уже сказал раз, что рыжие счастливые, и ты еще позавидуешь мне, когда увидишь Конкордию моей женой!

– Уж кому-кому, но этой миленькой барышне не позавидую, – продолжал издеваться Борис.

– Почему же?

Верецкий неожиданно изменил своё намерение позлить приятеля (это было его любимейшим занятием на протяжении всей их дружбы) и сказал:

– Война, Вадим. Сейчас не до замужества. Сам видишь, у Ромбыша все девушки-невесты, а женихи в проекте. В мирное время, вероятно, и ту девочку с косичками, что в смущенье убежала от знакомства со мной, и её бы сватали, потому что все, действительно, красивы, умны, добры, веселы, жизнерадостны... Кто бы отказался от таких невест?

– Имя-то красивое: Конкордия!

– Богиня Согласия... дочь Юпитера и Фемиды...

– Да, да, – вспомнил Вадим – что-то из истории, – конкордат, уния... Это что-то католическое.. Но это не так, уж и важно. Главное – согласие!

Друзья, наконец, добрались до стоянки, и через полтора часа ровным шагом батарея покидала город, уходя в глушь степей на

отдых.

Немецкий городишко, скрытый в густых садах колонистов, был сонлив и скучен. Не только Вадим искренне сожалел об уходе из города Н., но он, пожалуй, больше всех переживал застывшую жизнь городка, в котором предстояло батарее отдыхать. В течение двух дней он проклинал немцев-колонистов, тихие сады и спокойствие тыловой жизни, которое, кажется, больше всего нарушало его душевное состояние. На второй день в послеобеденный час он прибежал на квартиру повеселевший:

– По коням! – раздался его огрубевший на фронте голос.

– Что случилось? – спрсид Верецкий.

– Марш-ма-арш! – ответил он, подражая командиру.

– Да в чём дело?

– На фронт едем, на фронт, дружище! Так сердце и чувствовало, что долго в этой яме не усидим!

– Ты не шутишь?

– Батарея, беглый огонь! – крикнул он в ответ и убежал.

Верецкому не пришлось долго искать подтверждений, так как из окна квартиры уже видны были деловые движения артиллеристов, а забежавший доброволец Соловьёв передал приказ быть готовым к выступлению.

Перед вечером батарея, вытянувшись лентой по дороге, тихо двинулась из городка, чтобы на утро вступить в бой.

Через несколько дней друзья снова были в городе Н., и командир батареи предоставил в их распоряжение целый день.

Встретили их у Ромбыша, как своих. Все были рады изгнанию большевиков, рассказывали смешные и страшные истории из их короткого властвования в городе. Конкордия читала свои стихи, посвященные, конечно, белым спасителям; Феня угостила своими милыми картинами-живыми пейзажами; Машенька – музыкой и пением. Одним словом, день прошел весело и незаметно. Вадим не отходил от объекта своего любовного нападения, но Верецкий видел, как Конкордия, болтая с рыжим его другом, бросала многозначительные взгляды на него. Борису нравились все девушки, и он не старался делать предпочтение какой-либо из них. Злословие по отношение к приятелю он решил укротить, не желая мешать его серьёзным намерениям.

Несмотря на большую практику в «ночных мгновениях», Вадим ловко сумел объясниться в любви Конкордии Степановне среди

общего шумного разговора, пения, танцев и весёлых игр, которыми все увлеклись, забыв о суровой действительности.

Поздно вечером друзья распрощались с милыми девицами, дав обещание при случае навестить их. Несколько минут они шли медленно и молча. Верецкий выжидал, когда его рыжий друг заговорит. Чувствовалось, что Вадим был под сильным впечатлением от прошедшего дня, и ему нужно было привести свои мысли в порядок. Наконец, ругнув по обычаю крепко совдепию, он спросил:

– А как ты думаешь, философия – скучная вещь?

Борис понял, что вопрос касался предмета его любви.

– Ежели философия вмешивается в человеческие чувства, то, на мой взгляд, жизнь должна быть не особенно весёлой. Любить, так любить без философии! Вообрази себе милую женщинку, которая в момент твоего любовного порыва обливает тебя ушатом холодных философских рассуждений о бессмысленности поцелуя или неестественности ласки! Да и что это тебе вздумалось говорить о философии после такого очаровательного дня?

– Видишь ли, Борис. Сраженный я распластался перед Конкордией, рассказал ей о своей любви, а она давай Кантом мня расстреливать. Окончательно правда, еще не убила, пообещав подумать и возобновить разговор... после окончания войны.

Сашенька, Машенька и Фенечка любви жаждут и не откладывают своих разговоров со своими возлюбленными... Не ждут они и окончания войны... А вот твоя Конкордия не нашла еще, как видно, достойного себе рыцаря, поэтому и философией отстреливается.

– Вздор мелешь, Борька! Любит она меня несомненно, только девичью скромность свою в философию нарядила... Разбить бы эту бутафорию, да времени нет сейчас...

– Опыт твой с любовными объяснениями при дневном свете оказался неудачным?

– Как видишь, – печально промолвил он и остановился. – А ведь глупость сделал я, прав ты. Не первый раз приходится мне сожалевать о дневных попытках покорить женское сердце... И зарок давал: днём – ни гу-гу! Поспешил, чорт возьми!

– Вот тебе и счастливые рыжие, – добавил Верецкий, вспоминая недавний разговор, доведший бедного Вадима до «аргумента».

– Отказа-то я не получил, Борис. Задержка только вот по причине философии.

– И войны, – перебил его приятель. – Ведь это всё чепуха,

Вадим! Пока война кончится, так твоя Конкордия успеет не только фамилию переменить, а и старому Ромбышу пару прекрасных внуков подарить!

– Ну, это уж оставь, Борис. Серьёзная девушка шутить с такими вещами не будет. Сказала, что после войны, значит, терпи солдат, хорошенькой жены мужем будешь, – переделал по-своему поговорку Вадим.

Друзья разошлись по квартирам, которые на этот раз были в разных местах, и больше разговор о Конкордии не возобновлялся, так как сначала боевые успехи, а затем стремительное отступление не давали времени для передышек и воспоминаний.

Верецкий перед отступлением в Крым попал в плен к большевикам, но, вырвавшись из красных лап, он успел пробраться в белый встревоженный стан. Болезнь свалила его в решительный момент, и он навсегда потерял своего рыжего друга. Вадим успел отчалить от родных берегов, а Борису суждено было пережить «счастливую жизнь» на родине.

Месяцев пять он прожил в Крыму, испытав подвалы, допросы ЧК и особого отдела, но умело сфабрикованные документы помогли ему уйти от расстрела. Неожиданные друзья, снабдившие его фальшивыми документами, помогли ему устроиться и на работу.

Ранней весной, пробираясь «зайцем» на Север, Верецкий добрался до города Н. и решил навестить старого Ромбыша. Жил он уже на краю города, лишившись своего большого дома, в котором разместился какой-то штаб по борьбе с бандитизмом. Сам Степан Степанович резко изменился: похудел, осунулся, исчезла его жизнерадостность, постоянная спутница его жизни, и, вообще, стал каким-то растерянным. Старшая дочь его Сашенька успела выйти замух за своего корниловца и покинула дом. О её судьбе никто ничего не знал. Машенька и Фенечка с молчаливой печалью сидели дома, боясь показываться со своей красотой на улице. Конкордия металась со своими мыслями, как загнанный зверь, и боль неразрешенности сказалась на всем её облике. Она была раздражительна до нескрываемой и неподдельной злости, резка с окружающими и, предвещая семейную катастрофу, часто говорила о самоубийстве.

Духовное состояние всей семьи было слишком подавлено, и хотя Бориса приняли очень радушно, как самого близкого человека но он не мог выдержать грусти, печали, нависшего горя, царивших у старого, доброго Ромбыша, и поспешил на вокзал, чтобы вечерним товарным поездом незаметно выехать из города. Конкордия пошла его провожать.

Предвечерние улицы были пусты. Город, казалось, замер в

каком-то оцепенении. Чувствовалось,что все настороженно ждали чего-то страшного, и наступающая ночь была кульминационным пунктом напряженного страха, болезненной бессонницы и кошмарных видений.

– Что? – спросиила Конкордия, когда они вышли из дому, – Не узнаете не только нас, но и города?

– Вас, да, не узнаю, но города сейчас все одинаковые. В Крыму страх еще сильней, он парализовал все мысли и чувства у людей, превратив их в смертников, покорно ожидающих казни.

– «Красный коршун» над нами летает, «Ворон черный...»

– Э-э-э! Ворон черный, – перебил Верецкий Конкордию, начавшую декламировать своё стихотворение, – теперь вольно разъезжает по городам и местам русским, а коршун сидит себе спокойненько в кабинете, не успевая переваривать свои жертвы.

– Да, вы правы, Борис Николаевич. Жду и я этого ворона, и мой отец...Не знаю, кто из нас будет первый...

– А почему вы? И почему ожидаете? И почему не делаете ничего, чтобы спастись самой, помочь спастись отцу? Ведь если бы я в Крыму дошел до такого состояния, как вы, то меня давно в живих бы не было! Сейчас время спасать себя. Нужно сохранить себя для будущего. Ведь не может быть, чтобы на этом борьба за Россию была закончена?! Белая Армия ушла за границу, но она не отказалась от борьбы!

– Нет смысла. Кончено всё. Я не вижу выхода... Я же отступала вместе в вами. С Белой Армией. Пошла сестрой милосердия...

– Вы?

– Да, Борис Николаевич, я... попала в плен к этим изуверам... Бежала... Хотела добраться до Черного моря... Но поздно... Видно, рок уж такой... Ведь я тоже недавно из Феодосии...

– И вы были в Феодосии?

– Да...

– Я тоже скрывался там. На Карантинной.

– А я пережидала на Италъянской... Жутко там...

– Да, удивительно, что мы с вами там не встретились ни разу.

– Неудивительно, совеем неудивительно, потому что я никуда не выходила из дому... Только через окно наблюдала каждый день марш смертников... и искала... вас...

– Меня?

– Всё могло быть... Но никого из знакомых я не видела...

– Да, да, каждый день около четырех-пяти часов, перед концом рабочего дня, их вели за горы, и потом я слышал на Карантинной пулемётный огонь.

– Вы знаете, сколько я их насчитала? Четырнадцатъ тысяч!

– Но расетрелы продолжаются и теперь.

– Везде, Борис Николаевич, и они будут продолжаться, потому что звери крови жаждут.

– Однако, это не дает вам права покорно ждать своей участи. Нужно бежать, нужно искать, где можно переждать это жуткое время. Борьба, Конкордия Степановна, не закончена, и если вы хотите спасать Россию, то сейчас спасайте прежде всего себя. Если нам суждено погибнуть от пули большевиков, то лучше погибнуть в борьбе с ними!

– Я не вижу возможности бороться с ними. Вы посмотрите, как они одурачили массу, особенно крестьянскую?!

– О, это временное! Да и потом масса сегодня уже не с ними.

Молодые люди подходили к станции. Длинный товарный поезд только что остановился, и Верецкий должен был поспешить. Конкордия протянула ему руку.

– Дайте слово, что вы сделаете всё, чтобы сохранить себя для будущей борьбы, – просил Борис, прижимая руку девушки.

– Попробую...

– Нет, не попробую, а сделаю всё!

– Хорошо, Борис Николаевич, но мы, надеюсь, всё же когда-нибудь с вами увидимся?

– Думаю, что это вполне возможно...

Они распрощались, и Верецкий через несколько минут сидел в пустом товарном вагоне, ожидая отправленя поезда.

Приезд его в родные места прошел незаметно. Первое время пришлось приспосабливаться к новым условиям, для него совершенно незнакомым, но постепенно он втянулся в «советский аппарат» и стал рядовым «совслужащим». Изредка получал письма от Конкордии, очень неясные и тревожные. Сначала они начинались «Уважаемый», потом «Дорогой», наконец, в них стала сквозить любовная нотка, начинались они теперь с «Милый Борис» и заканчивались поцелуями. Последнее письмо пылало полным признанием и требовало разрубить Гордиев узел в их взаимоотношениях.

«Вот тебе и Согласие», – думал Верецкий в то время, когда у самго было полное разногласие после встречи в последний день его фронтовой жизни с женщиной, оставившей глубокий след в его сердце на всю жизнь.

Верецкий не успел ответить на это письмо, так как нужно было экстренно покинуть насиженное место. ЧеКа и здесь начинало добираться до него, а фальшивые документы тут уже помочь не могли. И он, как только узнал, что его хотят арестовать, бежал, чтобы никогда уже не вернуться в родной город.

Письма Конкордии не производили на него того впечатлеиия, которое она хотела вызвать. Он продолжал оставаться во власти чувств к случайно встреченной женщине, с которой он провёл тяжёлое время на берегах Сивашей в буденовском окружении. Вырвавшись из плена, они расстались навсегда, но незнакомка в его мыслях и чувствах продолжала жить, оставаясь символом белой борьбы, и забыть её, эту чудную русскую женщину, он не мог.

В течение нескольких лет, переезжая с места на место, Верецкий не имел никаких сведений о Конкордии. Как-то в летнее время ездил no югу России в поисках работы и, проезжая через город Н., вспомнил о старом Ромбыше и решил навестить его. С большим трудом он нашел только Конкордию, вышедшую замуж... за коммуниста.

Мужа не было дома, и она сразу предложила быть такими же откровенными, какими они были раньше.

– Я жена коммуниста по вашему совету, – горько сказала она Борису.

– По моему совету? – пораженый упрёком спросил он.

– Да, Борис Николаевич, по вашему совету!

– Я никогда не мог давать вам такого совета, Конкордия Степановна!

– Вы взяли с меня слово бороться за себя и за отца. Иного выхода, казалось мне, не было, когда отца посадили в ГПУ. Муж, правда, спас на время его, но, как видно, только для того, чтобы оправдать себя в моих глазах. А затем он уехал в Москву в командировку, а отца посадили снова. Когда муж вернулся, то было уже поздно. Отца расстреляли...

– И вы вышли замуж, не любя теперешнего вашего мужа?

– Я никогда не могла его полюбить...

– Вами руководило только желание спасти отца?

– Что же, если моя «белая мечта» в решительную минуту не

позволила даже ответить на моё письмо!

– То-есть, это я? – вспомнил Верецкий последнее её письмо, в котором она называла его «белой мечтой».

– Да, вы, Борис Николаевич, вы отвергли меня и, может быть, вы погубили отца... не прямо, но косвенно... потому что жизнь могла устроиться иначе... Я думала... надеялась...

Верецкий удивленно смотрел на неё.

– Да, да, вы, вы, тот самый, которого я и сейчас люблю, несмотря на все обиды, на всё то зло и несчастье, которые принесли вы мне, вы, вы, вы...

Слёзы брызнули из её глаз. Она опустилась на простой кухонный табурет и, облокотившись на стол, закрыла руками глаза.

Встреча эта так обескуражила Верецкого, что он не знал, что же делать дальше. Вины за собой он не чувствовал, оправдыватьея ему не в чем было. Жестоких советов он никогда не давал, быть причиной гибели её отца он не мог. Он решил выждать, когда Конкордия успокоится, чтобы разрешить её заблуждение.

Она сидела, вздрагивая плечами, ожидая слов от Бориса. Наконец, она не выдержала и, вытерев заплаканное лицо и приложив несколько раз платок к глазам, обратилась к нему:

– Зачем вы приехали сюда? Спасти меня? Уже поздно. Если бы я и решила бежать с вами, то муж всё равно нашел бы меня, и меня постигла бы участь моего отца. Ведь он же знает, что я «белая» и умру «белой», но терпит из-за тщеславия... и карьеры – и она объяснила, – Жена-красавица мужа-преступника тянет вверх по этой коммунистической служебной лестничке. Только вот подпорчена немножко – рода дворянского, гордыня и слишком умна для всех их, умнее самого секретаря окружкома партии. Но и это можно не заметить, если женщина подаёт некоторые надежды...

– Конкордия Степановна, мне становится страшно от ваших слов, вы говорите неправду, вы сами на себя наговариваете жуткие вещи, этого быть не может!

– Я слишком известна в округе, Борис Николаевич. Вы можете услышать обо мне Бог знает что, но никто не знает, что я... продалась одному и, что же делать, никому больше принадлежать не могу...

Когда Верецкий убедился, что Конкордия успокоилась настолько, что с ней можно говорить о прошлом, он рассказал ей о своей живни в постоянных бегах, он объяснил ей, что из-за этого он не смог ей ответить во время. Он говорил ей, что он никогда не мог давать ей совета выйти замуж за коммуниста да еще без любви, что

ошибка её заключалась в том, что она с отцом сидела на том самом месте, где их знали все с давних времён, и что только это погубило её отца и сделало её жизнь такой страшной.

– Что же, теперь исправить ничего нельзя, – печально ответила она.

– Бежать и бегать всю советскую жизнь – только в этом единственное спасение.

– Для меня это невозможно, Борис Николаевич. Я слишком известна...

– Но Россия наша так велика...

– Вы ничего, значит, не знаете. Если я сегодня скроюсь, то завтра все ищейки будут на ногах, и рано или поздно разъярённые настигнут и растерзают меня.

– Но я-то, слава Богу, пока спасаюсь только бегством?

– Вы! Вы только белый! Вы преступник, вас нужно уничтожить, но вас много. Если вам удалось на время ускользнуть, они не опечалены, потому что кто-то попался другой вместо вас, но завтра, они уверены, попадётесь и вы. Иными словами, вы массовый враr, а я – единичный. Я знаю это отлично, поэтому предвижу свой конец – близкий или далёкий, не знаю, – но страшный.

– То-есть?

– Через издевательства и муки к расстрелу...

– Мне кажется, Конкордия Степановна, что вы поддались красному гипнозу. Вам нужно проснуться, стряхнуть с себя влияние той среды, в которую вы попали, и не так уж страшно будет вам бегать по Руси, как сейчас это кажется.

– Борис Николаевич, я нахожусь всё время под наблюдением, которое установил мой собственный муж. Когда он приедет, я должна буду дать отчёт о вашем визите, о нашем разговоре. Сегодня ночью я должна буду изобретать какую-то «правдивую» историю и разговоры «о том, о сём».

– Но ведь это же ужасно!

– Сейчас, когда вы появились в этой квартире, да, потому что нарушен установившийся порядок жизни, а, вообще, я уже втянулась в это неестественное бытие и только изредка наклоняю голову, чтобы миноватъ или облегчить удар.

– Значит, выхода нет?

– Никакого...

– Бежите со мною!

– Поздно... Это невозможно...

– Вы загипнотизированы, заколдованы...

– Оставьте ваши убеждения... Вы не знаете их жизни... Я личный враг не только партии, но и мужа, и если я сбегу, то всё будет поставлено на ноги, моя фотография, размноженная, может быть, в тысячах экземпляров, распространится по всей России. Каждый мой шаг, каждое моё движение контролируется... Я, как в гареме, безвольна и бесправна, а главное, всегда под двойным подозрением: преступник-жена, преступник-гражданин... Но в гареме всё же было веселей, там было много женщин, связанных одним несчастьем, а здесь я одна... и евнух...

– Евнух? – спросил Верецкий, содрагаясь от ужаса, который окружал Конкордию.

Она взглянула на часы и побледневшая встала из-за стола. Резким, сухим голосом сказала:

– Вам пора уходить... кажется, будет поздно... Он должен прийти...

Верецкий поднялся, не желая Конкордии лишний раз испытывать неприятности, но почувствовал, что в комнату кто-то вошел.

Да, третий стоял у дверей и молча слушал и наблюдал. Для Бориса осталось загадкой, когда и как этот человек проник в дом. Он помнил хорошо, что Конкордия заперла входные двери, оставив ключ в замочной скважине.

Страшный и отвратительный был незнакомец. Его лицо, никогда не знавшее бритвы, не имело ни усов, ни бороды. Оно походило в одно и тоже время на морду гориллы и физиономию пьяной старой бабы. Лоб почти отсутствовал. Приплюснутый нос был настолько вздёрнут, что ноздри видны были, как два злокачественных гнойника. Выдававшиеся неестественно скулы были покрыти желтой и рябой от оспы кожей. Маленькие рыбьи глаза слезились и были неподвижны. Нижняя челюсть выдавалась вперёд так, что владелец их никогда не мог плотно закрыть безобразный рот, в котором виднелись редкие полусгнившие зубы. Когда незнакомец на миг опустил руку, Верецкий заметил, что длинные и мясистые пальцы опускались ниже колен. Туловище его казалось непомерно большим и длинным, а ноги, наоборот, были слишком коротки. От него исходил неприятный удушливый запах гнили и алкоголя. Чувствовалась невероятная сила зверя.

– Ты что же, Конкордия Степановна? Муженёк уехал, а ты шашни сразу же завела, да еще, вероятно, с подозрительным элементом? Из вашего благородного сословия? – сиплым тоненьким голоском, наконец, заговорил он. Только тонкие губы растянулись в усмешку, в водянистых же немигающих глазах нельзя было ничего прочесть: ни услужливости пса, ни глупости курицы.

– Товарищ Петерс, бывший командир латышского батальона в гражданскую войну, теперь следователь по чрезвычайным делам контрреволюции, друг и помощник моего мужа, – с деланным спокойствием проивнесла Конкордия.

– А это друг моего детства, Борис Николаевич Верецкий, но не благородного сословия. Его отец был кучером в нашем имении. Мы в детстве вместе бегали босяком по пыльным улицам деревни или возились в грязи после дождя, устраивая запруды, товарищ Петерс.

Конкордия лгала, и Верецкий начинал бояться, что следователь по чрезвычайным делам контрреволюции начнёт выпытывать его. Но Петерсу было сейчас не до него.

– Конкордия Степановна, ты знаешь приказ твоего мужа?

– Да, знаю. Но ведь это друг моего детства...

– Ты знаешь, что суд будет короткий? Ты знаешь, что, кроме меня, в этом доме никого не должно быть – ни твоих друзей, ни твоих родственников. О чём говорила ты с этим... кучером?

– Я вспоминала далёкое детство...

Голос её изменился, сама она стала маленькая, притихшая, забитая, будто кто-то, действительно, ударил её неожиданно по голове.

– Поэтому ты и плакала?

– Да, товарищ Петерс...

– Врёшь, Конкордия!

– Нет, товарищ Петерс, вы знаете, что вам я лгать не могу...

– Что ты вспоминала?

– Я знаю, что вам я лгать не могу, – приглушенно повторила она.

Следователь подошёл к Верецкому.

– А ты... Как тебя... Верецкий?

– Да, я Верецкий, – твёрдо ответил Борис.

– Что... Баба эта... впечатлительная?

– Может быть, для тебя, – Верецкий решил наступать.

Петерс не ожидал такого ответа.

– А где ты работаешь?

– У Феликса, – начинал смело лгать Борис.

– У Дзержинского? В самой Москве?

– Да.

– Ты знаешь Конкордию?

– Лучше, чем ты и её муж!

– Она служила у белых.

– Знаю.

– Её жизнь вот здесь, – Петерс показал кулак.

– Напрасно. Не все чистые и в партии...

– Знаю. Красоту её Мухин купил. А жизнь её ему не нужна...

– Перепродай её мне.

– Убьёт меня Мухин. Не могу. Он зверь.

– Я устрою тебя у Феликса.

Петерс задумался. Рыбьи глаза попрежнему ничего не выражали, только тонкие губы беззвучно шевелились, будто он рассуждал сам с собой.

– А Мухин не достанет? – спросил он после долгого молчания.

– До Феликса?

– Если я буду у Дзержинского?

– Слишком мал он.

– Он сейчас там...

– Где?

– У него, у Дзержинского...

– Не думай, что он увидит его. Твой Мухин здесь, как Дзержинский, а в Москве он козявка!

– Может быть... А как ты устроишь?

– Это моё дело. Отпусти сейчас Конкордию Степановну со мной.

– Нет, посади сначала Мухина.

– Тогда тебе и Феликса не нужно. Пришлём на его место другого.

– Ах, так... Тогда возьми меня сейчас с собой.

– Не могу, я еду в Симферополь по спецзаданию.

– Дай письмо мне к Феликсу, тогда ты с Конкордией можешь ехать в Симферополь, а я поеду в Москву.

– Хорошо, – сказал Верецкий, обрадовавшись, что можно так легко вырвать несчастную женщину из жестоких рук.

– Нет, я не поеду, – совершенно неожиданно заявила Конкордия, молчаливо слушавшая разговор.

– Как? – спросил пораженный Верецкий.

Петерс повернулся к ней.

– Конкордия поедет или… – и он пальцами обхватил свою шею, показывая, как он будет её душить.

– Я не поеду. Душите сейчас, товарищ Петерс...

– Сейчас нельзя. Когда Мухин прикажет...

– Конкордия Степановна, вы должны поехать!

– Я не могу.

– Почему?

Конкордия молчала.

– Вам хочется в Москву, товарищ Петерс? – С иронией спросила она.

– Да, хочу в Москву!

– Вас Мухин и там достанет, разве вы этого не знаете?

– Нет, – вмешался Верецкий, – там никто не достанет.

– Вы Мухина не знаете, – строго произнесла Конкордия.

– Да, Верецкий, ты Мухина не знаешь, – подтвердил Петерс.

«Гипноз», – подумал Борис, не зная, как поступить дальше. Он знал, что железо нужно ковать пока оно горячо. Он видел, что тупого Петерса можно было легко обмануть и соблазнить Москвой и Феликсом, но как убедить Конкордию в присутствии этого зверя?

– Уходите, Борис Николаевич, вы Мухина не знаете, – повторила Конкордия.

– Да, да, Верецкий, уходи лучше...

– Конкордия Степановна, проснитесь, – воскликнул он, стараясь подействовать не только на разум, но и на чувства, – не так страшен чёрт, как его малюют. Вы слишком поддались под влияние этого

вашего Мухина. Очнитесь, посмотрите на действительность не глазами жены Мухина, а глазами той Конкордии, которая имела смелость променять тишину, уют и спокойствие родного дома на тяготы и опасности походной жизни! Конкордия Степановна! Проснитесь! Еще не поздно!

– Тогда была мечта моей жизни, моей юности, – упавшим голосом промолвила она.

Глаза её были почти закрыты полуопущеными веками. Она стояла подле стола, держась за спинку стула. Пальцы её дрожали.

– Я еще раз предлагаю вам свободу, Петерсу повышение, которого он никогда в будущем не сможет получить – быть в Москве у самого Феликса правой рукой.

Эти слова возымели действие на стоявшее перед ним уродище. Безобразный латыш повернулся к Конкордии и взял её за руку. Женщина от брезгливости вздрогнула, но руки не посмела отнять. Он тоже стал убеждать её:

– Конкордия! Думать тут нечего. От Мухина можем только сейчас уйти, иначе смерть тебе, а потом и мне. Ты сама хорошо это знаешь.

– Не трогайте меня, – тихо сказала она Петерсу, подняв тяжелые веки. И,—о ужас!—Верецкий увидел стеклянные глаза, глаза мертвеца... Только губы двигались быстро, и ясный шопот разбивал все его надежды:

– Вы очень наивны, смелы в вашем желании помочь мне, но напрасно... Пришли вы слишком поздно... Я знаю, что скоро погибну, но мною добровольно избран этот путь, и я пойду им до конца, товарищ Верецкий! Мухин – мой законный муж, наш брак освящен церковью! Никто не имеет права его расторгнуть, прощайте... – она повернулась, не подав руки, вышла.

– Слышал? – просвистел Петерс, отрывая Верецкого от нахлынувших мыслей.

– Что? Мухин венчался в церкви? – спросил он у латыша.

– Ты слышал? – переспросил Петерс.

– Отвечай мне на вопрос!

– Я слышу впервые... Не может быть... Мухин – старый партиец...

– Но, вероятно, он обвенчался тайно?

– Не знаю... Может быть... Тогда я убью его сам... Первый... Я схвачу его руками за горло... он не будет ожидать... внезапно... Я буду

душить... медленно... сдавливать горло... Я припомню ему всё...

– А Конкордию отдашь мне?

– Уходи, Верецкий... Теперь я начальником тут... Конкордия мне твоя не нужна. Не болтайся тут под ногами... Уходи... Я его собственными руками уничтожу...

– А Конкордия? – настаивал Борис.

– Сейчас не трогай её... Всё равно не пойдёт...

– А потом?

– Не знаю... Не знаю ничего, Верецкий...

– Как не знаешь?

– Ты, брат, семейных драм не знаешь, молод ты еще... Я сам не знаю, как они погибнут...

– Кто они?

– Мухины.

– Но Конкордия...

– Я знаю... Ева соблазнила Адама... Впрочем... если подоспеешь... тогда торгуйся с ней сам.

– Когда?

– Не знаю... Случай подвернется... тогда... Уходи... Всё равно, ответ давать придётся скоро... Мухин приедет... Ведь он всё узнает... И что ты был... Скоро...

– Почему узнает? Да и что тут такого?

– Ты, товарищ Верецкий, из центра, нашей жизни не знаешь... И Мухина с Конкордией не знаешь... Если кто другой не скажет, сама Конкордия ему расскажет всё... А мне придется отвечать.

– Да что ей показаться никому на глаза нельзя?

– Только с ним. Без него – я слежу. А не услежу – застрелить может. Ну, это не твоё дело...

– А с Москвой, Петерс, как?

– Это хорошо было бы... – вспомнил латыш.

– Так давай сейчас всё обделаем... Я тебе напишу письмо к Феликсу...

– Конкордия не пойдёт с тобой... Видишь, венчанная... А у них, этих дворян, сам, вероятно, знаешь, как...

– Уговори ты.

– Не выйдет. Не пойдёт. Знаю её. Тверда она.

– Пусти меня к ней.

– Нет... Ты когда будешь обратно?

– Не могу сказать... Спецзадание... Как поймаю, так и обратно...

– Сом?

– Хуже, – лгал и думал: – «Эх, ты, знал бы ты, кто я такой, наверное, тут бы на месте задушил.»

– Ну, так ты заезжай... Только сюда не заходи.. По телефону меня вызови... Скажешь, что из Москвы... Может, к тому времени разделаюсь с Мухиным.

– Сохрани только Конкордию. Иначе не Москву увидишь, а своего Мухина, понял?

– Я её не трону, можешь быть спокойным... Это только Мухин может с ней рассчитаться... Ну, уходи, потому что времени у меня нет стеречь «барыню».

Петерс двигался на Верецкого и Борис не уходил, а отступал от его отвратительной фигуры. Когда они дошли до дверей, латыш остановил его, вышел на улицу и, убедившись, что никого нет, вскочил в коридор и почти вытолкнул Верецкого, приговаривая:

– Быстро, быстро...

Завернув за угол, Борис начал размышлять, как вырвать Конкордию. Для него было ясно, что она находилась под сильным влиянием мужа, что жизнь её была всё время под угрозой насильственной смерти. Но оставаться в этом городе он не мог. Поезд уходил вечером. Борис решил попробовать поговорить с Конкордией по телефону.

Незадолго до прихода поезда он вошел в телефонную будку. Абонементной книги не было. Верецкий попросил «квартиру Мухина», надеясь, что известных людей телефонистки знают без номеров. Рассчёт оказался правильиым. Через минуту он услышал голос Конкордии.

– Конкордия Степановна, – обратился он к ней, – я Верецкий, хочу вас еще раз увидеть...

Вместо ответа он услышал треск опущенной телефонной трубки. Оставалось надеяться на встречу с Петерсом на обратном пути.

Обстоятельства, однако, сложились иначе. Из Крыма Верецкий должен был немедленно ехать на Кавказ, с Кавказа в Киев пробираться тайком, чтобы запутать следы, и, наконец, из Киева он

выехал в Омск.

Через несколько лет, терзаемый надеждой на спасение Конкордии, он смог снова приехать в город Н.

Напрасны были все его поиски. Ни Конкордии, ни Мухина здесь уже не было. Никто ничего не мог ему о них сказать. Из всех доступных ему источников он мог только узнать, что Мухин когда-то работал начальником ЧК-ГПУ и что «человеком он был зверским, расстреливал, сидя в своём кабинете». Был ли он женат, никто этого не знал. О Петерсе и Конкордии – никаких следов.



ВИКТОР ПҮШКАРЕВ

Теплый весенний день. Деревья едва шевелят свежей зеленью листьев, и первый нежный аромат цветов медленно плывет в прозрачной тишине. Суетятся только птицы, заботливо собирая строительный матерьял для своих гнезд, да редкий прохожий, потерявший от голода силы, ленивой походкой пробредет мимо. Спешить некуда. Вчера был голод, сегодня пока еще жив, а завтра? Богу лишь одному ивестны пути человеческой жизни.

Зайдем на минутку в это кирпичное здание. Здесь школа. Медленно плавает в лучах солнца пыль, взбудораженная десятками детских ног. Только что закончилась последняя переменка. Учительница Мария Ивановна, войдя в четвертый класс, сразу увидела, что не всё в порядке.

– А где Пушкарев? – спросила она у учеников.

– Его нет...

– Он ушел...

– И сумку взял... – раздавались голоса из разных мест класса.

Тяжело вздохнув, учительница села за стол и начала урок.

На другой день Пушкарев терпеливо высидел все уроки. Заканчивая последний, учительница попросила его помочь отнести тетради в учительскую. Никто из детей не обратил на это внимания, так как дети всегда помогали учительнице относить карты, картины или тетради.

Мария Ивановна знала,что в учительской в это время никого не будет, так как все уже кончили занятия, и она оставалась со своим классом одна. Знала она что и ученика никто ожидать не будет, потому что у него не было товарищей в школе.

Когда они вошли в учительскую, Мария Ивановна сама закрыла двери.

– Виктор, я хочу поговорить с тобой, – обратилась она к ученику в то время, когда он, положив тетради на стол, хотел уходить. Виктор остановился.

– Ну, говорите, – грубо ответил он.

Мария Ивановна привыкла к его грубости и сделала вид, что не обратила внимания на его тон. Она знала хорошо всех своих учеников, знала и родителей их, и это часто помогало ей в её воспитательной работе.

Отец Виктора работал главным бухгалтером на одном из больших заводов города. Рано утром он спешил на работу, поздно вечером, а иной раз и ночью глубокой возвращался домой. Во сне мерещились цифры, сводки, балансы, смешиваясь с собраниями заседаниями, совещаниями, а семья уходила куда-то в сторону далеко-далеко. И это было вполне естественно.

На соседнем заводе в одну ночь исчезли и директор завода, и главный инженер и главбух, не считая двух десятков техспецев; на мельнице бухгалтер пошел под расстрел; в исполкоме бухгалтера вычистили... Да разве все страхи можно перечесть? Как-то держится человек, слава Богу. Хотя авторитет у него большой на заводе, но и это теперь непрочно. Время такое: сегодня чуть на руках не носят, а завтра можно получить высшую меру наказания. Да и менять работу нет никакого смысла, потому что от Черного до Белого моря, от западных до далеких восточных границ одно и то же. А тут уже привык, приноровился. Завод особого назначения, тут и зарплата выше и снабжение лучше, семья более обеспечена.

Мать – лаборантка на том же заводе. Она уходит вместе с отцом на работу. Целый день на текущих анализах сидит, но каждый день колею выбивают срочные да повторные, а работу нельзя оставлять незаконченной, потому что пришьют саботаж или вредительство, или просто склонять будут на всех собраниях и в стенгазете за невыполнение соцдоговора. Каждый же день после работы нужно отсидеть какое-нибудь нудное производственное совещание или профсоюзное собрание. Раньше восьми-девяти вчера домой и не вырвешься, а частенько бывает и так, что до часу, до двух ночи досидишь. Бросить работу нельзя. Семью не прокормишь на полуголодный паек одного работника. Да и жизнь сейчас очень уж неуверенная. Сегодня муж работает, а завтра, Бог знает, что может случиться. Вот и приходится крутиться целый день на заводе, ночью дома нужно обед дня на два приготовить, лечь не успеешь, как пора уж вставать. Слава Богу, дочь Людмила подросла, кое-что по дому помогает, а с Виктора пользы мало, мальчишка.

Только в дни отдыха семья собиралась вместе. Но и этот день не был настоящим отдыхом. У отца были свои обязанности, у матери – свои. Нужно было дров нарубить на целую неделю, а там, смотришь, жилкоопскую крышу починить, там двери, а там и жене помочь;

хозяйке же забот еще больше: постирать, полатать, наготовить на неделю, что можно, в квартире прибрать – пролетит день, а отдыха как будто никто и не видел.

Людмила, правда, домоседка. Всё старается матери помочь, а Виктора в доме не удержишь. Вообще, он был полной противоположностью сестре. В каждом классе сидел по два года, и сейчас Людмила уже нагоняет его: если Виктор останется в четвертом классе на второй год, то придется ему кончать школу вместе с сестрой.

Так уж сложилась жизнь,что дети жили сами по себе, а родители видели их только однажды в неделю, да и то мимоходом.

Виктор часто делал неприятности родителям, но за работой и за той невероятной усталостью, с которой они приходили домой с завода, все эти неполадки воспринимались как-то поверхностно. И отец и мать думали: «Ну, что же, это детское, обычное для такого возраста. Подрастёт, выравняется, будет таким, как все.» Неприятно, конечно, было, что сын учится скверно, пошумят, пожурят, но исправить всё равно уже невозможно, так и смирятся.

Вот и росли дети – Виктор на улице, а Людмила в доме. Часто по несколько дней родители не видели детей, а дети родителей, потому что вернутся с завода отец и мать поздно ночью, когда крепкий сон сомкнёт уже детские глазёнки.

Пожилая учительница знала, как теперь живут люди, и старалась вложить в детские души то, что суровая жизнь отняла от отцов и матерей. Не всегда удавалось ей это, потому что детвора приходила в школу на четыре часа только, остальное-то время их воспитание проходило без надзора, часто на улице, в кругу сотоварищей, низко павших морально, давно потерявших своё детство, а иногда и свою невинность. Сколько сирот, сколько бездомных, сколько родившихся от случайной любви и выброшенных на произвол голодной страны, сколько видит из них притоны в своём доме, плохо замаскированные дома терпимости с оргиями, не скрываемыми от своих собственных детей, сколько семейных драм, трагедий, дикого разгула и мущих власть! Слишком много грязных картин, которые не только марают детскую душу, но и уродуют её! А тут еще это пионерское воспитание, эта официальная государственная мораль, ставящая образцом человеческой жизни самые гнуснейшие преступления. С ней не только бороться нельзя, но, наоборот, скрыв отвращение, нужно ставить в пример идеалы Павлика Морозова! Не только трудно, но и страшно быть теперь учителем... Но жить нужно...

В учительской учительница предложила Виктору сесть. Он опёрся на кончик стула. На лице его было написано: «Опять бубнить будешь, старая кляча!» Однако Мария Ивановна начала говорить с ним об его успехах и постепенно перешла к проблеме.

– Виктор, я не хочу скрывать от тебя ничего. Да ты, вероятно, и сам понимаешь всё хорошо. Скажи мне, что принесёшь ты домой папе и маме, когда закончатся занятия?

– А что? – также грубо спросил он.

– Ведь если ты так будешь учиться и дальше, то тебе придётся сидеть второй год в четвртом классе, и сестра твоя еще сможет перегнать тебя!

– Ну, и пускай перегоняет!

– Посмотри, тебе четырнадцать лет, ты должен быть уже в шестом классе, а ты до сих пор из четырехлетки не выскочишь никак!

– Ну, и что же!

Как «что же», хлеб даром не даётся. Папа и мама работают с утра до ночи, чтобы прокормить вас и одеть, а ты чем можешь отблагодарить их?

– Пускай не работают... Я их не заставляю...

– А как же ты будешь жить? Кто тебе даст есть, где ты будешь спать? Кто оденет тебя? Кто согреет, приласкает? Кто может сделать тебе удовольствие?

Виктор задумался. Взгляд его ни на минуту не опускался вниз, он блуждал все время по стенам учительской, избегая встречи с глазами учительиицы, зорко следившей за выражением его лица. Наконец, он нашелся:

– Другие живут совсем без родителей...

– И что же, лучше?

– Конечно, – немного подумав ответил он.

– Значит, тебе не нужны ни папа ни мама?

Виктор молчал.

– Почему же ты не уйдешь из дому?

– А зачем же я уйду. Кормят они меня, ну, и пусть кормят, я им не мешаю...

– Но они могут такого сына и не кормить?

– Да, пусть попробуют! Советская власть им покажет!

– Если ты пойдешь в столовку, то тебя никто там бесплатно не

накормит, ты это знаешь, вероятно, хорошо?!

– Ну, знаю... Так что же, я им платить должен? Пусть подождут, пока я выросту. Буду зарабатывать, тогда посмотрим.

– Нет, ты, если считаешь себя честным человеком, должен платить и сейчас. Папе и маме денег твоих не нужно, заплати им своей хорошей учёбой, послушаньем, помощью, всё это для них дороже всяких твоих денег. А когда вырастешь, то заработаешь только тогда хорошо, когда будешь инженером, доктором, агрономом, а для этого нужно уже сейчас хорошо учиться.

– Я стахановцем буду... В партию запишусь...

– Но и там нужны знания, тогда и труд будет легче, и денег будешь иметь больше...

Виктору эта беседа начинала уже надоедать. Лениво перебегая глазами с предмета на предмет, он начинал зевать, а его бесцеремонные вздохи говорили: «Ух, как надоела мне эта канитель!»

Мария Ивановна прекрасно понимала, что перед ней сидит не просто ребёнок, а маленький урод, продукт современных социальных условий, душа которого уже исковеркана. Она понимала, что спасти мальчика, находящегося уже на грани полного морального разложения, еще можно, но для этого нужно резко изменить всё, начиная от Кремля. Она чувствовала, что она бессильна что-либо сделать. Самое дорогое, к чему она пробовала взывать, к имени родителей, осталось недейственным. Имя же Бога она могла призвать только про себя, ибо это маленькое существо способно было именем Всевышнего купить себе оправдание и славу в самых грязных советских учреждениях.

– Я, кажется, надоела тебе, Виктор, но я хочу предупредить, что еще не поздно тебе исправить прошлое. Ты очень способный. Если ты поработаешь по-стахановски только один вот этот последний месяц, ты кончишь школу даже хорошо. Я помогу тебе сделаться отличником! Хочешь? Ведь тогда и стахановцем легче быть и в партию скорее примут! Ты можешь мне сейчас ничего не обещать, ты можешь подумать два-три дня... И посмотри, как удивятся все ученики и заведующая школой: «Виктор Пушкарёв отличник!»

Виктор громко зевнул и встал со стула.

– Ты извини меня, я задержала тебя немного...

Ученик уже шел к дверям.

– Ну, до свидаиья, Виктор... ты же мне скажешь...

Почти за дверью Виктор пробурчал не то «до свиданъя», не то «скажу» – и бегом выскочил из школы, которую он ненавидел всеми

фибрами своей детской души. Через минуту он уже забыл и свой класс и свою учительницу.

Мария Ивановна после ухода Пушкарёва ощутила пустоту. Весь опыт, все знания оказались ни к чему. Она это видела, понимала хорошо, что на Виктора беседа никакого действия не произвела. Она знала, что только религиозное воспитание могло бы сохранить детскую душу невинной, неиспорченной, чистой, и чувствовала себя виноватой перед маленьким зверёнышем, которому она не смогла влить ни капли христианской любви даже к самым близким. Расстроенная, она ходила несколько дней в школу, старясь даже на маленьких переменках как бы случайно встретить Виктора, заговорить с ним о чём-нибудь постороннем, не давая ему понять совершенно, что она ждёт от него ответа. Но Виктор, не замечая, к счастью, её преднамеренных встреч, отвечал ей также грубо и с явным нежеланием.

Мария Ивановна пошла на искусственное повышение оценок. Даже в его письменных работах она старалась незаметно подправить такими же чернилами его ошибки, чтобы повысить баллы. Она думала, что это сможет вызвать желание взяться за книгу, прилежнее учить уроки, но оказалось наоборот. Виктор решил, что «старая кляча» испугалась. Этого, к сожалению, учительница не заметила.

Перед самыми экзаменами она еще раз имела беседу с ним. Как и в прошлый раз, Виктор сначала был безразличен, а в конце нетерпелив. Но Мария Ивановна предупредила:

– Судьба твоя, Виктор, в твоих руках. Еще не поздно. Я обещаю тебе, что хорошими оценками на экзаменах ты можешь исправить весь год.

Не говоря ни слова, только зевая, Виктор ушел из учительской. А в выходной день учительница пришла навестить последний раз его родителей, поговорить о сыне. К счастью, его не было дома, и Мария Ивановна, посещавшая часто Пушкарёвых, откровенно говорила родителям обо всём, том страшном, что заметила она глазами опытного педагога.

Только вечером Виктор вернулся домой. Отец и мать долго беседовали с ним о предстоящих экзаменах, пока не услышали, наконец, от него слова, похожего на обещание подтянуться.

Однако, слово это было неискреннее, сказано было оно «лишь бы отстали!» и, ясно, экзамены прошли совсем не так, как думали родители и учительница.

Вечер. Уже стемнело. В одном из классов, выходящих окнами

на улицу, горит свет. Там, за кирпичиыми толстыми стенами, решается судъба маленьких людей. Учительница четвертого класса читает протокол зкзаменационной комиссии. Дело всего педагогического совета решить окончательно будущее учеников. Но что можно сказать о Викторе Пушкарёве, не имевшем ни в одном триместре удовлетворительных отметок, не получившем их и на экзаменах?

На противоположной стороне улицы, в тени старого каштана, прижавшись плотно к его стволу, стоит один из тех, имя которого известно всем участникам совета. Он с напряжением смотрит на тени, мелькающие изредка на виднеющейся через окно стене, и скорее догадывается, кто и где сидит. В руке у него увесистый булыжник. Всё тельце, как струна. Глаза до боли устремлены в светлое пятно-окно, в висках стучит, во рту пересохло, уши ловят тишину и кажется всё, что кто-то следит, кто-то смотрит, кто-то подслушивает мысли... Иногда он, бросив булыжник, незаметно пробирается к окну, но оно высоко, а взобраться на него страшно, вдруг кто-нибудь увидит...

Мучительно медленno тянется время. В детской голове роятся алые мысли, создаются невероятно грозные планы наказания учительницы, которую он ненавидит всей своей душой.

Свет потух, исчезло яркое пятно, и школа, очертания которой он улавливал в темноте, растаяла. А глаза, долго и напряженно смотревшие в окно, перестали видеть совсем, даже ближайшие предметы стали неразличимы...

Вдруг он услышал голоса. Сердце забилось учащенней, кровь прилила к голове, ноги, дрожавшие под коленками, едва держали разгорячённое тело... Но глаз начинал привыкать. Неясные тени двигались от школы в различных направлениях, знакомые голоса произносили обычные слова прощанья.

Две учительницы отделились от темноты, пересекая плохо освещенную улицу. Одна из них Мария Ивановна. Да, это она. Её голос он знает прекрасно, её фигуру, немного сутулую, он узнает в громадной толпе... Вот сейчас она распрощается со своею подругою, Клавдией Сергеевной, и свернёт в переулок... Но где же булыжник? В тёмном переулке ничего не видно... Вот она, распрощавшись, уже свернула в темноту... Ах, да, есть перочинный нож!

Через несколько мгновений раздался крик. Он раздался в тишине черной ночи и достиг Клавдии Сергеевны. Она на миг остановилась и, поняв, что произошло что-то с подругой, бросилась бежать к ней. Вбегая в переулок, она заметила, как кто-то маленький и юркий выскочил из него. Услышав стон она подбежала к лежавшей на пыльной дороге Марии Ивановне и услышала её болезненный, укоризненный голос:

– Виктор, Виктор!

Клавдия Сергеевна хотела поднять подругу, но это было не по её силам. Она бросилась в первый же дом и начала стучать, взывая о помощи.

Через несколько минут Мария Ивановна лежала на кровати, ожидая скорую помощь. Из глубокой раны на спине струилась кровь, увлажняя одежду, стекая на постель. Возле неё суетилась подруга...

На другой день весь город знал о событии. Петр Сергеевич Пушкарёв не успел еще усесться в кресло в своём кабинете, как раздался телефонный звонок. Его вызывали в милицию по делу сына. Взволнованный, он доложил директору и отправился в город. В милиции заявили, что дело на сына будет передано в суд, и что преступление наказуемо тюрьмой.

Пушкарёв потерял самообладание. Придя домой, он увидел сына, забившегося в тёмный угол комнаты, молчаливого, притаившегося, испуганно поглядывавшего на вошедшего отца. Петр Сергеевич схватил его за ворот и, тряся, бешено кричал:

– Я задушу тебя собственными руками! ...Ты мой позор! ...Моё несчастье! Как поднялась рука твоя на жизнь человеческую?! ...Как смел ты занести нож на того, кому ты обязан?! ...Ты понимаешь, что этот нож попал в моё сердце?! Ты понимаешь, что ты сделал из меня убийцу?! ...Ты знаешь, что такое человек?! Что такое честь?! Что такое любовь к ближнему?! ...Ух! Ты уродыш, маленькое чудовище без сердца, без души, без любви... Кровожадная тварь... Не задушить тебя нужно... замучить... как мучают до смерти людей... – Он на момент остановился, он испугался своих собственных слов, он боялся сказать правду, которая вот-вот хотела сорваться с языка, и, бросив побледневшего от страха сына на пол, крикнул:

– Я откажусь от тебя! ...Пусть судит тебя суд... пролетарский... Отсюда ты не выйдепь ни на минуту! – С этими словами он захлолнул дверь и запер её на ключ.

Людмилы не было дома. Она стояла в очереди за хлебом. Неясные слова о брате долетали до неё, но она понимала из них только то, что случилось что-то страшное. Ей хотелось поскорее вернуться домой, чтобы узнать, что же произошло. Очередь двигалась медленно, и десятилетняя девочка нетерпеливо подвигалась вперёд.

Когда она, получив, наконец, хлеб, прибежала домой и увидела в необыкновенное время отца возбуждённого и расстроенного, она поняла, что то, что произошло, было чем-то очень большим и нехорошим. Отец строго приказал:

– Двери из комнаты в кухню не отпирать. Ключи у меня. Есть этому негодяю не давать. Я вернусь с работы и сам его накормлю.

Маленькая девчурка, страшно встревоженная каким-то необыкновенным событием, забилась в уголок старого дивана, стоявшего подле кухонной печи, и молча, без движений просидела до позднего вечера. Сначала она прислушивалась к тишине запертой комнаты, ей представлялось, что Виктор, может быть, умирает или уже умер и становилось страшно, но через некоторое время она стала различать неясные звуки и шелест бумаги и немного успокоилась, думая, что отец, вероятно, заставил его учить уроки. Временами она забывалась, но, приходя в себя, вздрагивала и снова с напряжением прилушивалась то к тишине, то к глухой возне, пока, наконец, в послеобеденный час её не окутал крепкий сон, сменивший нервное напряжение.

Виктор после ухода отца пережил остатки первого страха от его угроз, забыв о вчерашнем нападении на учительницу, он искал пути избавления от родительского наказания. Он не знал, как шли события после его бегства из тёмного переулка и теперь считал почему-то главным виновником своего заключения и предстоящего наказания своего отца. Мысль его усиленно работала над тем, как избегнуть тех угроз, которые отец бросил ему в момент сильнейшего возбуждения. И чем больше он думал об отце, тем больше выростала в нём ненависть к нему, а вместе с ней выростало и чувство мести. Он думал о том, что только местью своей он может парализовать тот удар отцовского наказания, который в противном случае неминуемо обрушится на его голову.

В его маленькой детской головке снова рождались различные планы. Как вчера, он лихорадочно перебегал с места на место, переживая подготовку нового преступления.

Взгляд его, упал на больной письменный стол, в котором хранились, казалось ему, драгоценные и таинственные бумаги. Его осенила мысль уничтожить всё то, что было дорого отцу, и он, открывая ящик за ящиком, начал выбрасывать из них ровные связки писем, открыток, аккуратно сложенные бумаги, документы, старинные ноты.

Вдруг из плотных листков каких–то нот высунулась странная потёртая бумажка. Виктор потянулся за нотами. На обложке крупными буквами было напечатано: «Спите, орлы боевые». Он, конечно, не понял смысла прочитанного и, вытянув привлекавшую его внимание бумажку, отбросил в сторону ноты.

Ветхий листочек, продырявленный годами на сгибах, лежал на

его коленях. Он помечен 1920 годом. Виктор прочёл написанное на пишущей машинке и его извращённый детский разум наметил дьявольский план отмщения.

Он вылез через большую форточку окна во двор и, пробираясь, как вор, вышел на улицу. Здесь он почувствовал себя на свободе, и уже смело, без оглядки, зашагал к центру города. Подойдя к большому зданию, которое все в городе называли ГПУ, Виктор открыл двери и исчез за ними. В городе больше его не видели.

Но и его отцу, Петру Сергеевичу Пушкарёву, вернуться с работы уже не пришлось... Через полтора часа он сидел уже в загаженой подвальной камере. В сырой и тёмной яме ему мерещилась потертая старая бумажка и вспоминались тяжелые дни 1920 года...

Это было в Таврии. Батарея стояла вблизи маленькой немецкой колонии. Было тихое июльское утро. Старший брат его, Александр, орудийный начальник, получая приказы от старшего офицера, передавал их орудийной прислуге. Петр Сергеевич помнит, как сейчас, как он сидел с добровольцем Строковым за четвёртым орудием, выполняя обязанности второго номера. Он открывал и закрывал замок орудия, поглядывая все время на брата. С первого момента вступления батареи в бой, с первого выстрела ему было как-то не по себе. Какое-то тяжелое предчувствие охватило его душу и рассеивало внимание настолько, что бомбардир-наводчику Строкову приходилось напоминать:

– Господин поручик, товарищи ждут подарка, – говорил ему доброволец шутя, когда он, прислушиваясь к полёту вражеского снаряда, забывал закрыть орудийный замок.

Вдруг после команды «Огонь», когда успокоенное тело орудия откатилось на место, он услышал воющий полёт смертоносной стали. Он оглянулся на брата. Воркующая сталь с навероятной быстротой стремилась вниз.

Ш-ш-ш-пак! – раздался последний звук её полёта, увлекшего за собою Александра...

Это был один миг. Брат упал без единого звука. Он лежал неподвижно на зелёной придорожной траве. Верхняя часть черепа была снесена. Серый мозг, смешанный с яркой кровью, неприятными каплями обрызгал траву...

Вечером командир батареи, подписывая командировочное удостоверение, тепло и сочувственно прощался, отправляя его на похороны брата в Севастополь:

– Что же, Петр Сергеевич, знать судьба наша такая...

А в следующем месяце был убит и командир...

Хранил он это удостоверение, как память о покойном брате и убитом командире, как память о тяжелой борьбе за Россию.

И вот теперь, через пятнадцать лет эта дорогая бумажка оказалась в руках чекистов... Она сделалась приговором над его жизнью. Он знает, что теперь он скоро уйдёт к своим боевым собратьям, но не как солдат на поле битвы... Его пристрелят обезумевшие в своей злобе исконные враги где–нибудь в этой грязной дыре, а труп его выбросят в зловонную яму вместе с отбросами чекистской кухни... Он не боялся смерти. Он ждал её каждый день в течении всех пятнадцати лет, но он содрогался от мысли, что сын, которого он породил, оказался гнуснейшим преступником и предателем... Недаром начальник ГПУ назвал Виктора образцом советского гражданина...

Старший счетовод Губарев присутствовавший при арресте Петра Сергеевича только вечером исполнил просьбу своего начальника сообщить об этом его жене. Он позвонил в лабораторию, но Лидии Александровны Пушкаревой уже не было.

Губарев знал, что Пушкарев больше не вернется никогда домой, и теперь, идя на квартиру к его жене, он думал, как рассаказать ей о случившемся.

Голодный и сонный город молчал, чередовались полутёмные и тёмные улицы и переулки. Кое-где виднелись огни. В центре мимо пустых витрин магазинов, тускло мерцавших в темноте, проходили редкие парочки. Только возле яркой витрины «Гастронома» замедляли шаги прохожие, разглядывая музейные редкости социализма и глотая слюнки.

В квартиру Пушкарёвых Губарев входил с твёрдым решением сказать прямо всё, как произошло.

– Лидия Александровна, я забыл позвонить вам во-время, работы слишком много было сегодня...

– Случилось что? – испуганно спросила утомлённая женщина.

– Как, вы разве не знаете?

– С Виктором? Я знаю... Это ужасное несчастье...

– Но и с Петром Сергеевичем...

– Его арестовали?

– Да...

Это короткое слово поразило её в самое сердце. Она упала, как подкошенная. Губарев не успел её поддержать. Он подбежал к ней, хотел помочь подняться, но она оставалась неподвижна. Он звал её, но она не отвечала. С трудом он перенёс её на диван, пробуя оказать первую помощь, но все его усилия были напрасны... Он начинал чувствовать, как холодеют её руки.

Губарев растерялся. Он не знал, что делать. Он решил бежать к ближайшему телефону. Но как оставить плачущую девочку? Как бросить бедную женщину? Вблизи никого нет. Он дал Людмиле стакан с водой и наказал по временам вливать в полураскрытый рот матери, а сам бросился бежать к недалеко расположенной аптеке.

Только через полчаса явился врач скорой помощи. Он констатировал смерть от паралича сердца.

Людмилу приютил Губарев. Как ни тяжело ему было содержать свою многочисленную семью, но он не мог отказать ни в ласке отцовской, ни в куске горького хлеба осиротевшей девочке, дочери бывшего своего доброго и чуткого начальника.

Социалистические будни в Совдепии

Картинки ежедневной жизни
обыкновенных людей в
социалистическом-коммунистическом
государстве
и их боьба за существование
под советской властью
и диктатурой большевиков

Для того, чтобы мир не забыл абсурдности, аберрации и глупости советской социалистической пролетарской системы.



ПРОЛОГ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ ПОСЕЛОК

«Ровные линии стрел-улиц и переулков, асфальт, деревьями обсажейные тротуары, многоэтажные дома-красавцы, выстроенные по последнему слову социалистической техники, возле которых клумбы с цветами и газоны – город-чудо... И всё это могло возникнуть на голом месте только благодаря величайшим заботам партии и правителвства! Ведь подумать только, что еще не так давно здесь была безкраяя степь!» – так часто приходится читать в советских газетах или слышать по радио, и тот, кто не знает ни этих забот, ни этой передовой в мире строительной социалистической техники, может подумать: «А и впрямь советская власть и коммунистическая партия проявляют неусыпную заботу о своём советском народе!»

Друзья мои! Читатели дорогие! Быть может, вы не удостоились чести жить в таких расписных социалистических городах или поселках о которых так расписывают, как на лубке, собственные корреспонденты?

Если вы не были в таких местах, то я могу вам рассказать о них без всякой утайки. Я жил в одном из таких поселков, считавшихся «образцовым социалистическим». Но не завидуйте мне. Не стоит. Не считайте меня счастливчиком, потому что я вытерпел целых два года все прелести этой «образцовой счастливой социалистической» жизни. И если вы не знаете всех этих блестящих по форме и глубоко социалистических по содержанию прелестей, то я могу, даже считаю своим долгом, познакомить вас с ними.

– Для чего? – вы спросите.

– Чтобы предупредить... катастрофу. Только всего. Предупреждаю, что не единого вымышленного слова или преувеличения вы от меня не услышите.

Осенним октябрьским днем я входил в поселок имени Киселева,

где должен был получить работу. Серый день, серые люди, серые дома, серая грязь по щиколотку на единственной мощеной улице-шоссе, которая начиналась у балки, подле шахты имени Киселева, в версте от поселка, и кончалась в городе Чистяково у железнодорожной станции. Вымощена эта единственная улица, как и всё шоссе, неотесанным острым камнем, от которого быстро рвались галоши и обувь.

По бокам этого шоссе, наполненного жидкой грязью, стояли дома. По одну сторону трехэтажные – жилкооповские, по другую двухэтажные – шахтные. Жилкооповские дома имели на крышах трубы, шахтные их не имели. Никаких тротуаров не было и в помине, как не было и ни единого дерева, хотя каждый год устраивались воскресники или субботники по озеленению. За зиму всё выдиралось с корнями, так как нехватало для растопки дров.

Новое место жительства сначала не произвело на меня никакого впечатления. Может быть, потому что я привык уже ко всему серому, и этот «новый» социалистический стиль не производил должного воздействия на мою психику. Не знаю. Но я поселился в одном из жилкооповских домов на третьем этаже.

Впервые я получил квартиру в полное моё распоряжение. Это было для меня приятной неожиданностью.

Квартира состояла из двух комнат, коридорчика и кухни. Да, было еще что-то вроде кладовочки, о которой мне позже старожилы сказали, что это была «уборная»! Я принял к сведению, но пользоваться ею нё мог, так как там, кроме голых стен, ничего не было. А за нуждою, извините, бегал с третьего этажа...

Октябрь в наших местах холодный, и жители уже топили. Каково же было моё удивление, когда я в один из выходных дней увидел в шахтных домах целый лес дымившихся железных труб, торчавших прямо из окон! Я спросил своих соседей, что означает такое некультурное отношение квартирантов к социалистической собственности, что означает сие трубное раскрашение? И мне рассказали, что по проекту шахтные дома должны были иметь центральное отопление с общей кочегаркой для всего поселка, но этой кочегарки еще не было и в помине, и рабочие и служащие должны были доставать железные печи, выбивать стекла в рамах и выводить на улицу железные трубы.

Как ни странно, но проекты образцовых социалистицеских строителей не предусматривали и уборных. Правда, во всех квартирах места для них существовали, но не было ни канализации, ни воды и никаких иных приспособлений для этой цели.

Электричество «давалось» в ограниченном количестве, и

применять какие-либо нагревательные приборы, даже утюги, запрещалось.

Началась наша «счастливая» жизнь. От двенадцати до четырнадцати лекций на рабфаке, затем – общественная работа или собрания. А на завтра та же картина. Сразу я окунулся в «радостный» труд.

Жизнь красочная. В моей квартире, правда была кухонная плита, голландская печь для обогревания комнат, но уголь приходилось носить из подвала на третий этаж.

Да, еще одна «прелесть счастливой социалистической» жизни «радовала» жителей образцового поселка. Воды в домах нигде не было (вероятно, её нет и сейчас), но в четырехугольном дворе жилкооповских домов был один водопровод, к которому сбегались жители всего поселка. Из водопровода всегда почему-то текла тоненькой струйкой вода, текла лениво, неспеша. А люди стояли и в дождь, и в сильный мороз часами...

И это было терпимо. А вот с уборными, господа, было... А может быть, так и нужно по образцовым социалистическим распорядкам? Я не знаю, потому что с марксизмом-ленинизмом знаком поверхностно, постольку поскольку это необходимо было для того, чтобы не выгнали с работы и не загнали туда, куда многие попадали для практического обучения этой «науке».

Да, так вот с уборными... Все мы, жители образцового социалистического поселка: инженеры, техники, преподаватели, учителя, служащие всех рудничных контор, шахтеры, студенты горного техникума, рабфаковцы, горпромучники, партийные и беспартийные, граждане, начальники и подчиненные, секретари парткомов и директоры, мужчины и женщины, старики и дети – ходили, как говорят в России, «до ветру»...

Привыкли. И даже до некоторой степени стало всем нам весело жить. Может быть поэтому товарищ Сталин сказал, что «Жить стало лучше, жить стало веселей!» Кому? Скажу теперь совершенно откровенно: и нам. Потому что привыкли мы ко всему. И забыли все неудобства жизни. Потому что все «удобства» социализма были освоены со стахановской быстротой. На первых порах, правда, было трудновато. Неудобно было. Но потом всё наладилось. Ну, встретишься где-нибудь у глухой стены дома со знакомой или незнакомой очаровательной персоной и, даже не отворачивались друг от друга. А бывало так, что и словом перекинемся. Посмеемся. Над чем? Известно...

Правда в центре двора окруженного жилкооповскими домами, рядом с огромной открытой помойной ямой, была воздвижена на

такой же глубокой яме длинная деревянная уборная с многочисленными круглыми дырами для общественного употребления и была разделена тоненькой стенкой на две части для мужчин и женщин. Жители мне сказали, что её никогда никто не чистил а только дизинфецировали летом забрызгивая внутри известкой. Но вскоре после её торжественного открытия она была загажена до такой степени, что зайти в неё было невозможно. Только в теплый сезон кое-кто осмеливался через открытую дверь выхлюпывать туда из ведра прямо на пол всё что собиралось из ночных горшков от всей семьи.

Одним словом, всем было очень весело. Встретишься, скажем. в учительской во время перерыва с коллегами по «социалистическому счастью». Наслушаешься историй за истекший отрезок времени. Конечно, исторический отрезок. И не разберешь, анекдот наша жизнь или действительность. Где правда, где ложь? Хотя всё очень правдоподобно. Потому что вспомнишь самого себя в таких случаях. Истории все жизненные. Социалистические.

К чему только человек не привыкнет! Привыкли и все мы к «социалистическим уборным—до ветру!»

Рассказывал как-то мне преподаватель обществоведения товарищ Шишков о том, как Ван Ваныч-математик повстречался с Марь Ванной-физичкой у глухой стены жилкоповского дома и какую приятную беседу они вели в течении своего свидания. Тут же и Ван Ваныч, усмехнулся, но случая не вздумал отрицать. Зато рассказал, как Вась Васич-язычник утром пробкой выскочил из своей квартиры с третьего этажа и помчался курьерским вниз, оставляя по пути своего следования следы бравого путешествия! Оказывается, вздумал он поужинать в студенческой столовой! Тут Вась Васич налицо оказался и подтвердил полностью происшедшее. Подумал я:

«Нет, всё это правда, потому и у меня и встречи с Марь Ваннами происходили, и пробкой вылетал и я из своей квартиры!»

Ну скажите, дорогие читатели, разве не весело было жить? Разве не прав был «дорогой» вождь пролетариата, что стало жить и весело и счастливо? А?

Пока была зима, всё это было только-весёленькими разговорчиками, в которых принимали участие все жители всего поселка во всех местах нашего социалистического расселения. Всем было весело. Всем было смешно. Но прошла зима. Начал таять снег. Вместе с теплом на нашем социалистическом образцовом-поселке имени товарища Киселева начали расцветать зимние цветы... Обнаружились «газоны и клумбы»... Поселок окутывал удушливый смрад...

К счастью, я уехал на два месяца в Москву на летнюю сессию Московского Педагогического Института. После приезда только я услышал этот запах «цветов», но мои коллеги и соседи так привыкли к нему, что не замечали его.

По сравнению со многими, я был всё же в более выгодном положении: я жил на третьем этаже, окна моей квартиры выходили в степь. Тяжелый смрад не подымался высоко, и это меня спасало.

А вы говорите: «А и впрямь советская власть и коммунистическая партия проявляют неусыпную заботу о своем народе!»

Да, весело было жить... Смеялись сквозь слезы...



РЁБРЫШКО КОПЧЕНОЕ

Жил себе товарищ Птичкин-Певичкин не совсем, правда, тихо и не совсем спокойно, но так привык к этой не совсем тихой и не совсем спокойной жизни, что казалось ему, что и вправду живёт он тихо и спокойно. Многого он уже не замечал, не видел, не слышал и не чувствовал, и, пожалуй бы, так продолжал бы и дальше воспринимать социалистический рай, если бы не вздумалось ему родственничков своих навестить.

Время отпускное приближалось, и у Птичкина-Певичкина мысли нахальные появились. Захотелось отдохнуть где-нибудь на далёком солнечном юге. А как может отдохнуть какой-нибудь гражданин, обладающий правом на отдых в специальных домах отдыха по самой наидемократичнейшей конституции, ежели путёвки в эти самые дома даёт профсоюз по своему усмотрению. Усмотрение же это известное: в первую очередь, во вторую, в третью и где-то в конце, где уже и путёвок не существует, там и имя Птичкина-Певичкина может значиться.

Ясно, что при таких обстоятельствах всех родственничков вспомнишь! Но Птичкин-Певичкин ограничился пока только сестричкой двоюродной да братцем родным. Да и братец-то на всякий случай, ежели сестрица откажет в жилплощади по неимению.

С самыми радужными надеждами приезжает он рано утречком к сестрице, что в городе Евпатории. В Крыму это. На Черном море. Является по адресу. Стучит в ставеньки закрытые. Гражданка незнакомой наружности на крылечко выходит.

– Чего, – говорит, – шалопутный, беспокойство людям причиняешь во время такое раннее?

– Сестричка моя проживает в настоящем домике, – говорит товарищ Птичкин-Певичкин – Желательно бы мне навестить её. Специально из столицы прибыл...

– Ты что, пьян, гражданин, или не в своём уме? Братьев во всю мою жизнь у меня не наблюдалось!

– Не про вас речь, многоуважаемая, а про ту, которая в домике сем годов десять существовала, про Глафиру Евграфовну Воробышкину...

– Билетик, гражданин, не туда взяли. Существовала сестричка ваша тут, да изволили с мужем своим узаконенным на далёкий север отбыть!

– То-есть, как это? Я же вот письмецо от них инею! Месяц тому назад писано!

– А сестричка-то ваша отправились три недельки тому назад! Сами, гражданин, тревожились напрасно, и меня не к чему было беспокоить!

Хлопнула неизвестная гражданка дверью перед самым носом, вспомнила за дверями про какую-то контрреволюцию и затихла. Постоял Птичкин-Певичкин, повернулся и уже без радужных мыслей пошел прочь.

Идёт, глядит – море расстилается перед ним широкое, далёкое. Пляж чудеснейший. Водица изумрудная. Солнышко в ней отражается. Небо голубое. Благодать Божия! Живи да жизнью наслаждайся, а тут тебе север далёкий! И хотя мысли неприятные и испортили настроение, но Птичкин-Певичкин не мог устоять перед красотою морской, и окунулся, правда, не в глубины водные, но всё же похлюпался с медузами шагах в трёх от берега, потому опасался уходить далеко по причине неумения держаться на поверхности такого большого количества воды.

«Это вам, товарищ Птичкин-Певичкин, не ванна, здесь до дна, пожалуй, ручками не достанешь!» – думал он, сидя на песочке и обливая костлявую спину солёной морскою водой.

Принял ванну, проголодался и побрёл в город. Идёт и думает, где бы это питание возможно было бы произвести. Вывески читает, внимательно их изучает. «Евцерабкоп», «Евгорисполком», «Евкомунхоз», «Еврыба», «Евнарпит»... Странные всё названия. Не то еврейские, не то европейские, а, может, и от прародительницы нашей всё произошло, от многоуважаемой Евы? Так она «Азбуки коммунизма» не изучала и социализма на практике не наблюдала.

Зашел всё же Птичкин-Певичкин в «Евнарпит», потому в слове этом что-то про питание имеется. И за окнами столики виднеются. Не ошибся. Сел за столик, и тут срочно и подавальщица подходит. То-есть, официантка.

– Чего угодно, гражданин?

– Питаться чего-нибудь солидного...

– Чай, кофе, какао?

– Да мне утолить голод требуется поплотнее...

– Поплотнее, гражданин, в обеденное время требуют...

Ну что же делать, затребовал Птичкин-Певичкин чаю и прополоскал кишочки неизвестной жидкостью; пошел бродить по городу, потому в точности еще не знал, что творить – домой ли возвращаться или к милому братцу путешествие совершить.

Бродит по пустынным улицам, каждые полчаса поясок подтягивает, чтобы животик не казался пустым. Унылым и неприветливым кажется всё ему в этом городе. Может, с голоду. А может, от неудачи, что сестричку дома не застал, или потому, что слишком часто на часы поглядывал.

Ровно в полдень Птичкин-Певичкин сидел уже в «Евнарпите». Заседает. Меню рассматривает. «Отбивные» – прописано крупными буквами.

«Долой» – думает – «борщи и супы – полужиткие блюда, возьму лучше две порции отбивных! Это как раз, поплотнее!»

Только издумал он придумать чего-либо плотненького, тут и подавальщица.

– Чего на обед затребуете?

– Порции две, отбивных! – торжественно восклицает Птичкин-Певичкин.

– Одна полагается, гражданин.

Сёжился изголодавшийся Птичкин-Певичкин и принялся за принесенную отбивную. Едва повернул вилкой, остановился в изумлении и, начал рассматривать массу неопределенной формы, цвета, запаха, вкуса, различая какие-то крупинки. Взял некоторое количество их безцеремонно на руку, чтобы достоверно убедится в съедобности, и установил, что отбивная – не отбивная, а какой-то корж из гречневой крупы. Подозвал подовальщицу.

Просил я отбивные, гражданка...

– А это что же по-вашему? Сапог жареный?

– Да, но это ж...

– Меню читайте, гражданин, да от дела трудящихся не отрывайте, потому у нас норма, – не особенно вежливо ответила подавальщица и отправилась обслуживать евнарпитовских заседателей.

Вытащил очки Птичкин-Певичкин, стёкла протёр, чтобы прочитать без ошибки.

«Отбивные», – а в скобках пояснение значится мелкими буквами – «гречневые». Ниже – «Котлеты,» а в скобках снова пояснение – «морковные»; «Ростбиф», к нему пояснение –

«картофельный»...

«Это что же за штука такая, – думает он, – столовка-то, видно, вегетерианская!»

Расхрабрился, подозвал другую подавальщицу.

– Мне бы чего мясного для укрепления организма...

– Вы что же, гражданин, с Марса, может, появилисъ тут? Страна, может кризис мясной переживает от кулацкого истребления скотского поголовья а он мяса требует!

Одним словом, голодным вошел Птичкин-Певичкин в «Евнарпит», голодным и вышел и побрёл теперь уже в порт с твёрдым намерением доплыть до братца родного. Билетик купил до города Новороссийска, на теплоход «Грузия» сел и от счстливых берегов евпаторийских отчалил...

На другой день вполне благополучно прибыл к брату. Братец пребывал в скучающих холостяках, состоявших на довольствии в «Новнарпите». Пришлось Птичкину-Певичкину и здесь попробовать счастье общественного питания нового, но он уже зорко присматривался к тому, что значилось в скобках.

В первый же свой визит в «Новнарпит» он изучил меню, как алгебраическое уравнение, раскрывая скобки, и пришел к заключению, что гречневая крупа, пшено, картофель, морковь и прочие растительные мяса при сомнительных жирах составляют основу нового народного питания, потому он категорически отказался от всяких горячих блюд. Но в «Новнарпите» подавальщица оказалась более любезна, и предложила «чего-нибудь» мясного.

Птичкин-Певичкин взглянул на поданную карту холодных закусок и восхитился: «Рёбрышко копченое! Колбаса копченая!»

– А в скобках что написано? –с горькой усмешкой спросил брат.

– Из дельфина... – печально произнес Птичкин-Певичкин, – Что же это, скоро четвероногих собак без всяких скобок подавать будут?

Наклонилась миленькая подавщица к ушку Птичкина-Певичкина и прошептала:

– Матери с голоду детей своих поедают, потому что, и собаки все съедены давным давно, а вы, значит – не голодны!

Распрощался скоропостижно Птичкин-Певичкин со своим родным братцем и отправился домой, где жена-героиня голодного времени изобретала и копчёное рёбрышко, и настоящие отбивные...

Настоящие ли?



ДЕРЬМОСЕЗОННОЕ ПАЛЬТИШКО

Некоторый гражданин мечтает о дне, как о манне небесной, потому пролетарская рука правосудия висит над ним, как Дамоклов меч, не даёт глаз сомкнуть в ночи; а другой никак не может дождаться ночи, ибо в темноте всё же легче укрыться от недремлющего ока. Иной в воображении своём рисует тоненький ломтик обыкновенного хлеба насущного, потому проклятый червячок сосёт под ложечкой, уж который год, сачастливой и зажиточной жизни. Но есть и такие, которые, задыхаясь от обнаглевшего энтузиазма, устремляют свои взоры ко времени, вымаливая для себя только одну минутку спокойствия в сутки, чтобы забыть и пролетарскую руку правосудия, и недремлющее око, и тонкий ломтик хлеба насущного, и многое другое, чего не может представить себе, скажем, человек из загнивающего капитализма.

А вот товарищ Птичкин-Певичкин, как человек...

Гм! Подумаешь! Человек! Какая-то несчастная гнилая интеллигенция, а не человек! Техспец, которого каким-то чудом еще терпят! Вы вслушайтесь хорошенечко, когда ответственный член партии ВКП(б) говорит ему «Товарищ!». О, сколько снисхождения и иронии, надменности и презрения!

Да, так вот этот товарищ Птичкин-Певичкин возмечтал! О чем? О пальтишке! Об обыкновенном всесезонном пальтишке!

Конечно, есть читатель такой, что подумает: «Какая поэтическая фамилия и какие странные прозаические возмечтания!» Но историку отступать от истины не дозволено. Да и век-то теперь дубово-материалистический.

Возмечтание сие имело, правда, основание. Первое демисезонное пальтишко, приобретенное за первые заработанные деньги, было куплено еще в I9I2 году. Было оно из тонкого английского черного сукна с бархатным воротничком. В 1927 году, после долгих семейных совещаний, оно было перелицовано. К 1933 году оно дошло до такого состояния, что владелец его побаивался, как бы оно не рассыпалось на нём где-нибудь на демонстрации или при стоянки в очереди за хлебом.

Да оно и понятно. Ведь и сам товарищ Птичкии-Певичкин

подтоптался! Времечко, господа! А социализм строить-то нужно в любую погоду, при любых обстоятельствах. Не раз подумывал наш герой о том, что хорошо было бы, чтобы эта самая эсэсэра да расположилась где-нибудь в Сахаре. Там и пролетарскому правительству забот о населении было бы гораздо меньше (все же и голышом проходил бы трудящийся), а тут вот климат один чего стоит!

Короче говоря, товарищ Птичкин-Певичкин начал поглядывать на витрины госмагов, но понять ничего не мог. Гласит вывеска: «Госмаг № 36» или «№ 9», витринка – пустопорожняя, и что там продаётся – затруднительно сказать. Может, калоши, а, может, хмель. Скорее хмель, потому за калошами очередь была бы.

А когда на носу предстояли три командировки, возмечтания довели его до умопомрачительного состояния, при котором он не мог ни есть, ни пить, ни спать, ничего прочего проделывать успешно. Даже жена испугалась:

– Какадушечка ты мой, исхудаешь ты от возмечтания и пальтишко купишь не по комплекции нормальной!

Однако состояние сие устранить уже невозможно было.

Перед первой своей командировкой Птичкин-Певичкин оббегал все номера госмагов в своём городе, но кроме скучающих приказчиков и завмагов ничего не нашел. Даже самому скучно становилось, так заразительно зевал этот обслуживающий персонал, когда он к нему обращался.

– Не пре-е-двидится... э-э-эх! – отвечали все на один манер, зевая в середине слова.

Едет, наконец, герой наш в город Ростов на Дону. В командировке время служебное не учтено. Бегает он по Большой да по Садовой, рыскает по госмагам, сограждан вопрошает, но ответ от приказчиков лениво-безразличный, а от сограждан – испуганно-озлоблённый.

«Леший знает, что это за экземпляр! Может, хочет выпытать, что обыватель мечтает про советскую власть, а, может, и враг народа какой, чтобы замутить гражданина правильного?»

– Я тебе не завмаг, ступай себе по адресу! – огрызнётся прохожий и шарахнется в сторону с трехэтажной репликой.

Не опечалился товарищ Птичкин-Певичкин от пустых ростовских магазинов – впереди еще две командировки.

Едет он в город Харьков. Бодренький вполне от надежд, и в свободные часы экскурсирует по местам, предназначенным дла продажи желаемого вида одежды.

Обошел он таким порядком улочки и переулочки и, наконец, случайно попал в довольно приятный магазинчик, в котором и обслуживающий персонал имел вид не только деловой, но и весьма занятой.

– Пальтишко желательно мне, – почему-то очень несмело обратился он к приказчику.

– Размер?

– Сорок восьмой ношу я...

– Имеется только сорок четвёртый и пятьдесят четвёртый!

– Жалко...

– Но вы, гражданин, померяйте. У нас завсегда покупатель берет старшие номера, потому иных не существует.

Надел пятьдесят четвёртый (О, Боже! даже испугался Птичкии-Певичкин). Страшон стал. Будто господин Плюшкин в халате. А матерьял-то! Господи! Крестьянский армяк пошит был в старину краше и матерьял имел превосходный! У лошадей попоны мягче!

– Великоват маленько, – робко сказал он, промолчав о качестве матерьяла.

– Дело ваше, гражданин, – ответил один из приказчйков, бесцеремонно вытряхивая покупателя из балахона, называемого демисезонным пальто.

«Ну, ничего. Еще Москва впереди! Столица! Уж там, сомнений быть не может, наверняка пальтишко купить можно будет!»

Началось. Наркоматы и тресты чередуются с госмагами. Ног не чувствует Птичкин-Певичкин. Время использует на все сто двадцать процентов, по-стахановски. Пробыл в таком состоянии недельки две, измотался, наголодался, а пальтишко-то так и не увидел!

Сел в поезд, едет домой. Старое носить невозможно: а теперь уж после командировки рассыпется прямо на улице. А новое?

Остановился в городе Харькове. Побежал в магазинчик, где примерял пятьдесят четвёртый и подумал: – «Отдам в переделку портному!»

– Товар покупателя не ожидает! – зло встретил приказчик, примерявший ему когда-то пальто. Действительно, в магазине было пусто. Вышел медленно и побрёл... на толкучку.

Купил! Купил то же самое пальто, что примерял когда-то в магазине, заплатив только четыреста рублей, вместо двухсот. Купил без примерки не только потому, что примерял его раньше, но и потому, что за него держались уже десятки рук...

Приехал домой. Не особенно радостный. Хоть и с обновкой. Всё равно одеть нельзя. А тут еще жена:

– Дерьмо!

Понес к портному:

– Дерьмо!

Но перешил. За работу только пришлось заплатить сто пятьдесят рублей.

Сослуживцы из своих:

– Дерьмо!

Что? Дерьмо? Пальтишко?

Ошибаетесь. По особому заказу папаши Сталина для социалистических граждан: не такое едят, не такое пусть и носят!

Рассвирепел товарищ Птичкин-Певичкин. И неизвестно, что могло бы приключиться с ним дальше, если бы не дочь, Катюша, семнадцатилетняя:

– Это, папочка, пальтишко у тебя дерьмосезонное? – спросила она у него с такой милой улыбкой, что Птичкин-Певичкин не смог удержаться и рассмеялся...

Чему?!



НЕОЖИДАННЫЙ ПОДАРОК

Катюша девятый класс заканчивает. Подарок нужен. Как-никак, а почти отличница. Если бы не эти «педагоги» по обществоведению, была бы отличницей. А то мода у этих партбилетовских начётчиков оценки ставить за прошлое родителей! Ну, что, скажем, Птичкин-Певичкин? Конечно, техспец, начхимлаб, правда, но родитель-то его имел некоторое отношение к церкви, регентом был. Вот и получается гнилая интеллигенция.

Враг? Никто не скажет, что друг советской власти, а всякий партийный товарищ непременно мыслит: «Врагом может быть!» Держат даже не из-за милости, а из-за необходимости.

Сам Птичкин-Певичкин прекрасно знает своё положение и учитывает все обстоятельства времени, места, причины и образа окружающего воздействия на счастливых граждан. Пережил он, конечно, времечко, когда пачками сажали техспецев. Бывало за ночь сразу человек тридцать-сорок исчезнет в городе. Ясно, что и он дрожал и не спал, а на производстве, хотя и старался держаться с достоинством, но сам проверял все анализы своих подчинённых, чтобы и сотую долю процента не засчитали в преднамеренное вредительство.

Не до подарков было тогда. Голова разрывалась от напряженного думания о судьбе «гнилой интеллигенции». Да разве в таком заведении, как эсэсэра, не сделается человек гнилым?

Сейчас легче стало. Сажают техспецев, безусловно, и теперь, но уже в одиночку: смотришь, за ночь исчез один, два, в крайнем случае, три человека, а иной раз ночь и спокойно пройдёт. Как будто ничего стало. Изредка подрожит Птичкин-Певичкин и перестанет. Дела житейские отвлекают.

Вот при таких, стало быть, спокойненьких обстоятельствах времени и зародилась у него мысль сделать подарок своей единственной дочери Катюше. И мысль-то эта появилась у него внезапно. Ей предшествовало одно обстоятельство.

В город привезли мануфактуру, и в один миг все население было наэлектризовано коротким, но весьма многозначительным словом: «Дают!» На самого Птичкина-Певичкина это слово не

действовало, ибо он знал свои силы и возможности и никогда бы не решился подвергнуть себя тяжелым очередным страданиям. Куда ему маленькому, тщедушному, слабенькому человечку! В очереди не только придушат, но и, вообще, в прах превратят! Да и времени-то у него свободного нет. Разве только можно было бы отпуск посвятить эдакому удовольствию.

Как-то дочь вечером, наскоро поужинав, собралась уходить. Мать на дорогу заворачивала кусочек хлеба. Птичкин-Певичкин посмотрел с недоумением на происходящее и спросил у дочери:

– А это что же? Субботник какой у вас? В колхоз едете?

– В очередь, папочка, мануфактуру привезли!

– В очередь? Но сейчас только десять вечера, а магазины откроются-то завтра утром?

– Да, но очередь-то, папочка, сейчас уже составляется. Не думай, что я первая буду...

Дочь ушла, а добрый папочка, переживая в себе еще одну прелесть счастливой жизни, с возмущением спросил у своей половины:

– Что же это, носить нечего девочке, что ли? Неужели такая необходимость стоять целую ночь в очереди? Неужели с молодости человек должен быть обречен на такое «счастье»?

– Она, Какадушечка, не одна такая. Почитай, весь класс выстраивается. Молодость! Хочется одется, девушками становятся наши девочки, и желания у них девичьи. Что поделаешь? Пусть попробует, может быть, ей счастье и улыбнётся.

Даже и не знает Птичкин-Певичкин, спал ли он в эту ночь или нет. Всё какие-то кошмары снились: то Катюшу в очереди задушили, то в милицию её тянули, протоколы составляли, то карета скорой помощи на захудалой клячёнке везла её... Чего уж родительское сердце не придумает и не вообразит!

День тоскливый в анализах провёл с одной мыслью: – «Дали или не дали?» А вечером, утомлённый и голодный, услышал обычное.

Катюша была в очереди тридцать четвёртой. Если бы было все хорошо, то четвёртым заходом она попала бы в магазин. Но очередь составлялась нормально до шести часов утра. К этому времени явились милиционеры и разогнали всех. Люди, конечно, не разошлись по домам. Попрятались в подворотнях, чужих дворах, жилкоопских общих коридорах и выглядывали, когда же стражи порядка уйдут. Но милиционеры прохаживались возле манящего всех госмага и только к открытию разрешили выстроиться всем в очередь. Причем, вышло это

совсем неожиданно. Пришли совсем новые люди, как позже выяснилось, родственники, друзья и знакомые этих самых милиционеров, и начали становиться у дверей торга.

Когда прятаявшиеся увидели, что блюстители порядка не возражают, они с дикими криками, гиканьем начали бежать к магазину и, конечно, весь старый порядок очереди был нарушен. Кто был ближе, кто мог скорее добежать, наконец, кто не особенно боялся церберов в милицейской форме, тот оказался вблизи дверей. Ясно, что при таких условиях наивные девочки потеряли свои преимущества быть счастливцами. Их места теперь были в самом хвосте. Но молодость упряма. Они простояли вплоть до закрытия магазина, едва добравшись до половины пути.

Со слезами на глазах вернулась Катюша домой. Счастье, которое казалось таким близким, было разрушено грубой жизнью, о которой везде и всюду трещат, как о самой прекрасной, за которую все благодарят великого и мудрого вождя. Пожалуй, это была первая встреча девушки с жизнью.

Птичкин-Певичкин был как убит. Ему жалко было до слез свою маленькую девочку, ему хотелось сделать ей что-нибудь чрезвычайно хорошее, ему не хотелось допустить её к этой уродливой действительности, но он был бессилен...

Катюша снова после ужина начала собираться в очередь.

– Ты опять? – спросил отец.

– Что же, папочка, быть может все эти родственнички милиционеров прошли уже; быть может, на этот раз удастся добраться до прилавка, – ответила Катюша и, расцеловав на прощанье родителей, ушла с кусочком хлеба.

Снова ночь мучений, кошмарных видений, тяжелых дум.

На другой день Птичкин-Певичкин бледный, похудевший, измученный бессонными ночами сидел в кабинете. Мысли его были далеко от завода, от лаборатории. Весь он был поглощён своей дочерью. Вдруг вошел рабочий, недавно назначенный в лабораторию, товарищ Акимов.

– Что это вы, товарищ начальник, загрустили?

Птичкин-Певичкин поведал ему печальную истроию о ночных стояниях дочери в очереди за мануфактурой.

Акимов улыбнулся.

– Э-э-э! Товарищ начальник, очереди не только для детей, но и не для всех взрослых! Один способ есть, чтобы получить что-нибудь – карточки «П.З.»!

– То-есть, как это «П.З.»? Да и карточек-то теперь нет, – удивился начхимлаб.

– Есть такая карточка, называется она «По Знакомству». Но у вас, конечно, нет таких карточек, а я могу выручить. Есть у меня отрез на платье. Девушке подойдёт. Экспортный матерьяльчик! Могу вам предложить, потому что деньжата нужны сейчас.

– Голубчик, товарищ Акимов, всю жизнь благодарить буду!

– За что уж там! Если хотите, я сейчас могу принести... Я тут недалеко... А дочка-то ваша будет довольна...

Через полчаса отрез лежал на столе. Птичкин-Певичкин взглянул и обмер. Тончайшая шерсть цвета бордо, лёгкая, как пух, ласкала его взор.

– Товарищ Акимов! Да ведь это же, вероятно, от старого времени?

– Ну, что вы, матерьяльчик советский, экспортный. В магазинах вы его не увидите. Это у нас только в «тридцатке» для ответственных партийных работников!

– Да как же вы?

– Как? Обидели меня. Я по торговой линии всё время работал. Да вот кому-то завидно стало. Вызвали в горпартком и сказали: – «Ты, товарищ Акимом, подпитался, вероятно, хорошо, прийдётся тебе уступить своё место другому товарищу, а ты уж поди отдохни на производство, а то разжиреешь.» Ну, конечно, возражать нельзя. Направили сюда, на завод. Меня-то, ясно, не особенно обидят. Знакомства остались. Чего хочу, того и достану. А что заработок тут маловат, тоже не страшно, потону что лишнее всегда продать можно. Народ ведь голодный на всё!

– Сколько ж вам за отрез?

– Триста рубликов, товарищ начальник.

Чуть не упал товарищ Птичкин-Певичкин от испуга, но любовь к дочери дороже всяких денег, и он, не торгуясь, отсчитал деньги Акимову и спрятал отрез в ящик письменного стола.

– Ну, спасибо, товарищ Акимов, выручили вы меня...

– А вы, товарищ начальник, ежели что нужно, я вам мигом соображу... Лишь бы деньги, а товар – какой хотите...

Рабочий ушел. Птичкину-Певичкину хотелось бросить работу и бежать, найти Катюшу в очереди, забрать её оттуда и обрадовать сверхестественным! Шерсть! Да еще какая! Боже! Хотя бы скорее кончился рабочий день!

Что же, счастье Катюшу обмануло и на этот раз. Повторилась та же самая история. Те же милиционеры разогнали очередь, те же люди снова пришли утром и заняли первые места. За ними стали сильные, а дальше пошли неудачники...

Но каково счастье ожидало её дома? Едва она ступила на порог печальная, с крупными слезами на глазах, отец торжественно открыл свой старенький портфель и преподнёс ей так же торжественно свёрток:

– Это, Катюша, за все твои труды!

Катюша, как бы предчувствуя, что это за сверток, стала нетерпеливо развязывать шпагат, которым он был связан. С таким же нетерпением следила за всеми её движениями мать. Наконец, свёрток раскрыт!

– Шерсть! Бордо! Мама, да ты посмотри, какая тонкая! Папа! Папочка! – и девушка залилась слезами радости...

Но не одна она расплакалась. Вытерала слёзы и мама, и Птичкин-Певичкин часто сморкался, незаметно прикладывая носовой платок к глазам...



ДЕЛА ПЕРЧАТОЧНЫЕ

Перчатки потребовались товарищу Птичкину-Певичкину. Вещь не дефицитная как будто на рынке. Ведь не всякому требуется эдакая мелочь. Большинство не нуждается то ли по скаредности, то ли считает, что перчатки являются буржуазным предрассудком. Но Птичкин-Певичкин, носивший их с детства, не мог представить себя без оных, особенно в свои почтенные годы. Да и был-то он не простой трудящийся, а всё же техспец да еще и начхимлаб.

Долго поглядывал на своих старых друзей, которые и пообтёрлись, и продырявились, и у которых швы расползлись, но боялся особенно много думать о новых, так как со страхом вспоминал слово «дают».

Так как весь он был в прошлом, а в настоящем только жизнь свою выполнял то, естественно, что все его мысли сводились к старине еще не совсем седой, но ушедшей, как ему казалось, безвозвратно, когда можно было всё просто купить.

Правда, говорят, социализм осчастливил человечество. Вот таким элементом счастья, оказывается, было и вот это самое «дают».

Но «дают» не бесплатно. Покупатель платит многочасовым стоянием в очереди в мороз или в зной, под дождём или градом, по колено в грязи или в снегу, в бурю и в непогоду, под ярким солнцем или мутным сияньем луны. Он платит своими ногами, боками и головой, когда втыскивается в заветный госторг, от его костюмов отлетают пуговицы и крючки, сама одежда зачастую требует капитального ремонта. Но вот он влез еле живой в торг. Ему товар не показывают, его не спрашивают, но лаконически говорят:

«Размер сорок шестой», – если это товар готовый, или, – «Пять метров на человека, платите тридцать семь пятьдесят!»

Но это не всё. Еще предстоит выскочить пробкой из магазина. В дверях сталкиваются втискивающиеся и вытискивающиеся. Двери узки. После некоторого молчаливого столкновения двух противоположных сил происходит, наконец, втискивание, которому часто помогает милиционер – один или два, в зависимости от длины очереди, а затем вытыскивание из переполненного магазина. В результате голодный покупатель далеко не всегда бывает

удовлетворён покупкой, а особенно своим жалким видом.

Стал Птичкин-Певичкин припоминать, что «дают». Многое перебрал, но не мог вспомнить, чтобы «давали» перчатки. Это его приободрило, так как он страсть как не любил это «дают», может быть, потому что не хотел расплачиваться за товар своими боками и ветхим костюмом, к тому же единственный, а, может быть, и принципиально. Но для утверждения в истине он обратился к своей соратнице, милой женушке:

– А что, Куропаточка, перчатки-то «дают» или их можно так купить?

– Не слыхивала я, чтобы «давали», да и есть ли в госторге, не знаю, – ответила соратница и пообещала узнать у товарищ Жуликовой, жены одного из завторгов, жившей по соседству.

Вечером Куропаточка сообщила, что перчатки пока продаются, и Птичкин-Певичкин со своею соратницей поспешили сделать торжественный выход в город с целью купить оные.

Вечерние редкие фонари едва освещали широкие улицы, и если бы не снег, – трудно было бы различить протоптанные дорожки, да и, вообще, можно было бы в родном городе заблудиться.

Но вот и заветные торги. Витрины грязны и пусты. Прохожие привыкли к ним и никогда не засматривают в них. Но Птичкин-Певичкин силится рассмотреть что кроется за мутным стеклом громадного окна, хотя его соратница настойчиво твердила:

– Галантерейный под № 54, это в третьем квартале от моей гимназии.

Наконец, галантерейный госторг № 54. Открыл товарищ Птичкин-Певичкин скрипучие двери и—о радость!—ни одного покупателя. Девица, именуемая теперь работником прилавка, толстая от десятка тёплых одёжек, но посиневшая от холода, осталась неподвижной со своей дешевой папироской «Эпоха», бросив только равнодушный взгляд на вошедшую чету.

На прилавке под стеклом был разложен товар. Местами стекло было отпалировано дневными покупателямя, и товар был виден. Но это всё было не интересно, поэтому Птичкин-Певичкин с супругой быстро прошли мимо дешевых духов, пудры, металлических пуговиц, иголок, останавливаясь только над запылённым стеклом, с трудом рассматривая при скудном освещении лежащие в углублении товары. Но вот супруга обрадовала:

– Смотри, Какадушечка, ведь это, кажется, перчатки?

– Да, как будто перчатки...

– И еще кожаные, похожи на твои...

– Может быть, – неопределённо промолвил муж и попросил девицу показать товар.

Медленно и нехотя подошла продавщица к прилавку и осипшим простуженным голосом монотонно произнесла:

– Только седьмой размер...

– Вот это хорошо, – воскликнул обрадованный Птичкин-Певичкин, – это как раз мой размер!

Девица подала перчатки. Да, они были кожаные, и поверхность стала блестеть после того, как муж и жена несколько раз их мяли в руках, рассматривая качество кожи. Убедившись, что перчатки, действительно, кожаные, Птичкнн-Певичкнн попробовал левую надеть на руку, сделав вид что не услышал замечания, что надёванный товар покупатель долажен взять, так как после одевания перчатки могут растянуться, и их потом никто не купит. После примерки Птичкин-Певичкин заявил:

– Заверните, я беру.

Продавщица удивлённо посмотрела на покупателя, сняла приколонную к среднему пальцу перчаток цену, выписала чек, и счастливый покупатель, расплатившись в кассе, вышел на улицу с новенькими перчатками, но, конечно, не завёрнутыми, а скрученными в какой-то неопределённой формы клубок.

Когда прошли десяток шагов, супруга товарища Птичкина-Певичкина спросила:

– А ты, Какадушечка, на обе руки примерял перчатки?

– Нет, только на левую...

– Померяй скорее, пока далеко не отошли, быть может, они непарные?

Птичкин-Певичкин свободно надел левую перчатку, но никак не мог втянуть правой.

Супруги возмутились:

– Идём сейчас же назад, пусть переменят!

Покорился Птичкин-Певичкин женской воле и побрёл уныло в торг.

Так же безразлично встретила их продавщица, но на заявление граждан грубо ответила:

– Проданый товар обратно не принимается!

– Но нам только переменить, – решительно произнесла Куропаточка.

Другой пары нет, – также грубо отрезала продавщица и удалилась к своему, как видно, излюбленному месту возле витрины.

Вспылил и сам Птичкин-Певичкин:

– Что за безобразие! Это не торговля, а мошенничество! Где жалобная книга? Я напишу жалобу!

– В кассе, – уже равнодушно ответила девица и отвернулась от покупателей. Птичкин-Певичкин обратился к смазливенькой кассирше, которая и не думала мёрзнуть в своём меховом пальто:

– Дайте жалобную книгу!

– Книга заперта, а ключ у завмага.

– А где же завмаг?

– Они завтра будут с утра только.

– Но он должен быть в магазине сейчас?

– Как же так для вас специально и будут сидеть в магазине, а, может быть, их и в контору по делам вызвали?

– Хорошо, – угрожающе произнёс Птичкин-Певичкин и, зло хлопнув дверью, ушел со своею Куропаточкой из торга.

Челёвек он был впечатлительный, поэтому всю ночь мерещился ему предстоящнй разговор, в котором, несомненно, он будет победителем.

Утром он отправился в торг, но перед уходом еще раз с супругой осмотрел обновку и убедился, что правая перчатка принадлежит к размеру № 5.Однако, он попробовал втиснуть в неё руку и—о ужас!—швы расползлись...

Последнее обстоятельство несколько нарушило его настроение, но он уверил себя, что разошедшиеся швы являются только явным доказательством непарности перчаток.

Завмаг был при исполнении своих служебных обязанностей, то-есть, находился в магазине. Покупателей с утра не было, так как все были заняты в очередях за продуктами питания, поэтому Птичкин-Певичкин имел счастье немедленно приступить к деловому разговору.

– Я к вам, товарищ завмаг, по поводу перчаток, – начал он решительно.

– А а-а! Это вы вчера вечером здесь скандал устраивали? – набросился заранее подготовленный администратор. – Что же вы думаете позорить советскую торговлю? Советское производство? По

вашему выходит, что и советская власть мошенничает? Вы что хотите? Чтобы я поверил вашим контрреволюционным разговорчикам? У меня двое свидетелей – работник прилавка и кассирша – подпишут протокол!

– Какой скандал, товарищ завмаг...

– Да и не товарищ я вам, гражданин! Кто его знает, кто вы такой... Канитёль разводит из-за каких-то перчаток, да еще, вишь, рваные принесли!

– Мы рваных никогда не продавали в магазине, – вмешалась продавщица.

– Тоже «покупатель»! Приходят и отчёта спрашивают: где, мол, завмаг находятся в рабочее время! – добавила смазливенькая кассирша.

Еле вырвался Птичкин-Певичкин, и рад был, что отделался только убытком в девять рублей и рятьдесят копеек да непарными перчатками.



МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

Трудно, конечно, восстановить, как появились эти музыкальные желания: то ли Requiem Моцарта захотелось Птичкину-Певичкину спеть под аккомпанимент собственного пианино, то ли с головокружительной быстротой хроматической гаммой пальцами пробежать по клавиатуре и, сделав несколько сольфеджио, бодро и звонко раскатиться «Громом победы». А, может быть, вспомнить что-нибудь из Глинки или Мусоргского или просто ограничиться для советской власти романсом «Отойди, не гляди, скройся с глаз ты моих»? Но желания помузицировать настойчиво преследовали его и отделаться от них не было никаких физических сил. А тут еще, на беду, сослуживец шепнул:

– В госторг пианино везут...

И начались бессонные ночи, невкусные обеды, головные боли, нервные расстройства и прочие недомогания, но всё это только дома, где можно было своим неудовлетворённым поэзией жизни чувствам дать полную волю. Тогда на ципочках все ходят, супруга шопотом сетует на беспросветность – одним словом, наилучший аккомпанимент настроению Птичкина-Певичкина.

Конечно, на работе, как и всякий совтехспец со злейшей неврастенией, он не показывает и виду, что червь недуга грызёт его, может быть, на смерть и появившуюся музыкальную мысль пресекает немедленно строжайшим приказом:

– Товарищ Булавочкина, с хромом у вас не в порядке, проверьте пробу № 275324.

Раз в неделю он звонил из своего кабинета в госторг и учтиво спрашнивал:

– Будьте любезны, скажите пожалуйста, как долго можно ожидать пианино в вашем торге?

Долго он получал вежливый ответ:

– Заказ уже послан...

Месяца через четыре он получил вдруг ответ, что заказ принят. Еще месяца через два сообщили, что инструменты отгружены. В течение полутора месяца он слышал по телефону краткий и

терпеливый ответ: «В пути...»

Наконец: «На днях...»

После этого ответа Птичкин-Певичкин перестал звонить по телефону, но ежедневно забегал в госторг № 27, в котором продавались музыкальные инструменты всех видов, и поочерёдно спрашивал одеревянелых от безделья приказчиков, когда инструменты должны поступить в магазин.

На протяжении двух недель слышался стандартный монотонный ответ:

– На днях, гражданин...

И вот свершилось. Это было в субботу. Птичкин-Певичкин, как на зло, запоздал из-за проклятого производственного совещания и возвращался, когда магазины были уже закрыты. Однако, Ленинская, на которой расположены все главные торги, озарила не только его тусклый от долгого ожидания взор, но и его музыкальную душу: у стены госторга № 27 стояли пять пианино в крепко забитых ящиках из простых сосновых досок.

Забыл товарищ Птичкин-Певичкин о подагре, о ревматизме, о неврастении и бегом направился к магазину. Да, это – пианино, сомнений нет!

Настроение у него поднялось, и хрустящий под ногами снег и потрескивающие от мороза деревья привели его в восторженное состояние на момент, но вслед за этим ему представилось, как эти пять хрупких созданий должны провести ночь на эдаком холоде! Он в своём воображении слышал, как лопаются струны и видел стоявший в бездействии инструмент в своей единственной комнате в углу, который назывался гостиной. Он испытывал адские муки из-за того, что в погоне за струнами, может быть, пройдёт еще несколько лет а «Демон» Рубинштейна, которого он очень любил, или «На сопках Манчжурии», которые любила его супруга, будут лежать на дряхлой этажерке и продолжать покрываться толстым слоем пыли...

Обед был еще более невкусным, голова болела еще сильней, все сидели неподвижно, только жена вздыхала глубоко и тихо... Впору сыграть бы, *Requiem* Моцарта!

Ночь без сна. Мысли то ловят чудные звуки, то треск струн, то возносятся волшебной гармонией к небесам, то вдруг бросают в грубую действительность. Глаза раскрыты. Они с жадностью ждут зимнего рассвета. Слух напряженно ловит мерное качанье маятника, и через каждые шестьдесят минут мозг отмечает часы...

Едва ночь черноту свою начинала сменять на предрассветную

мглу, Птичкин-Певичкин вскочил с постели и, чтобы не разбудить никого, потихоньку выскочил из квартиры. Ему хотелось поскорее добраться до госторга № 27, но было еще довольно темно, и он, спотыкаясь и наталкиваясь на неведомых прохожих, как ему казалось, слишком медленно продвигался к цели. Однако, рассвет вскоре вступил в свои права, и Птичкин-Певичкин прекрасно начинал видеть не только ближайшие предметы и проходивших мимо людей, но стоявшие километровые очереди возле хлебных магазинов. Он видел, как эти несчастные люди крепко похлопывали себя руками, как бегали вдоль очереди, стараясь как можно сильнее стучать ногами по утрамбованному снегу, и подумал:

– «Бедняги, видно с полночи стоят!»

Вспомнил и свою Куропаточку и решил, что он слишком большой эгоист и не видит, сколько ей приходится выстаивать в мороз, в непогоду в очередях, чтобы получить то хлеб, то мясо, то сахар, то ботинки, то мануфактуру, и даже вслух сказал себе, что пианино он подарит жене в награду за все её очередные мучения.

Купит ли? О да! Вот и госторг № 27, и никого, ни души! Только он и пять нежных созданий!

Птичкин-Певичкин ощущал уже мороз во всей его силе и начал бегать вдоль магазинов, не удаляясь слишком далеко от торга № 27.

Но время, как ни шло медленно, однако привело замерзшего покупателя к открытым дверям магазина. Он был первый... и последний!

Птичкин-Певичкин терпеливо выждал пока ящики с пианино втянули в магазин, дал приказчикам спокойно закурить и поговорить о вчерашнем общем собрании, делая вид, что ему спешить некуда, что вещичка, за которой он зашел, не столь уж интересует его, и когда приказчик обратился к нему с вопросом: – «Что вам угодно» – он небрежно ответил:

-– Я хотел бы посмотреть инструмент...

– Какой инструмент? – удивился продавец.

– Пианино-с... – также равнодушно произнёс он.

– Пианино? Проданы, гражданин, все, и смотреть их незачем!

– Как проданы? Ведь я же первый вошел в магазин, да и покупателей-то нет...

– Проданы, гражданин, вы опоздали...

– Да, но кто же мог купить, если вы только сейчас внесли инструменты в магазин, а из покупателей, кроме меня, никого нет

здесь? – продолжал добиваться Птичкин-Певичкин.

– Кто? Одно купил председатель горсовета, другое начальник милиции, третье завфинотделом, четвертое – горлит, а пятое наш директор торга, шестого же не прислали. А если бы и прислали, то рядовому покупателю вряд ли и попало, так как заявок от городского начальства десятка три было!

– Да, но зто же...

– Э-э-э, гражданин, люди повыше вас спорили с директором торга, а всё равно остались без пианино...

Печальный вышел Птичкин-Певичкин из магазина. Хотелось *Requiem* Моцарта играть и плакать...



НАГРАДИЛИ

Завком профсоюзный заседал. Путёвки в дом отдыха распределял. Тяжелое это дело. Хотя путёвки и не на курорт; но всё же нужно быть начеку, потому на заводе народ разный. Тот сидел уже, того завтра посадят, тот на собраниях не выступает никогда, а тот слишком часто. Один явно не «свой», а другой также явно «чужой». Вот и попробуйте так распределить, чтобы всё было классово выдержанно.

Конечно, можно было бы какому-нибудь партийному товарищу дать, но всякий с партбилетом норовит путёвку на курорт получить: Сочи-Мацеста, Кисловодск, Ялта, а дом отдыха – это же заведение для беспартийных!

Вот и приходится потеть завкому профсоюзному над жалкими бумажонками. Лучше бы, вообще, не существовало этих домов отдыха.

Целую неделю заседали, решали и как будто дошли до точки, только вот одна путёвка осталась. Некому вручить. Дело трудное. Беда одна. И если бы не товарищ Акимов, член завкома, предложивший кандидатуру своего начальника товарища Птичкина-Певичкина, то пришлось бы завкому профсоюзному заседать еще недели три.

– А как он? Уклончики к старорежимному имеет?

– А историю партии изучает?

– А, может быть, он против советской власти?

– А, может быть, прячется за советскую власть?

Вопросы сыпались от всех членов комитета, и товарищ Акимов, чтобы не повредить своей коммунистической репутации, предложил обратиться к начальнику спецчасти, являвшемуся в то же время и членом завкома.

Покопался в спецчасти начальник и доложил:

– Прошлое, правда, не совсем ясное, а в настоящем выполняет все задания, трудится с избытком, сверхурочных не требует, голосует правильно, семь годов без отпуска существует.

– Наградим! – решили все члены завкома.

Призвали Птичкина-Певичкина и вручили торжественно путёвку, но с предупреждением:

– Ты, товарищ Птичкин-Певичкин, гляди, не проговорись, потому путёвка-то для рабочих, а не каких-то техспецев или там служащих!

Покоробило Птичкина-Певичкина от этой речи, потому что обращенье на «ты» его нежная барабанная перепонка не воспринимала, но смиренно путёвку принял и ушел.

С большим терпением доработал до конца рабочего дня и не то, что бежал домой, а просто на крылышках летел. Едва впорхнул на порожек, засвистел весело, с переливами, с трелями, точно соловей весной, и соратнице своей новость собщил:

– Куропаточка моя, завтра отплываю от берегов родных в края далёкие! – Куропаточка вытянулась от удивления. – Да, да, Птичкин-Певичкин – фью-ить!

– Что это ты, Какадушечка, вздор мелешь! Командировка новая?

– На курорт, Куропаточка, на курорт!

– Что? На курорт? – начинала свирепеть соратница. – В партию записался?

– Кто? Я? В партию?

– А как же иначе? Кто это по курортам нынче разезжает? Не слыхивала, чтобы старые техспецы...

– «Старые, старые», – передразнил её муаж – Я, видишь ли, ошибся немножко, не на курорт, а в дом отдыха... В Одессу, Куропаточка, на море Черное...

– Ну, это еще возможно, только странно... почему это тебя?

– Заметили... заметили... Да и семь годов без передышки...

– Может, генеральная меняется? – задумчиво произнесла Куропаточка, подавая на стол обед.

Остаток дня прошел в сборах, а вечером, укладываясь спать, Птичкин-Певичкин с необыкновенной нежностью поцеловал супругу, как будто уже садился в поезд.

Лёг в постель. Не спится. Ворочается с боку на бок, вздыхает, часы выслушивает. Да и как тут спать? Отпуск, дом отдыха, Одесса, море... Сам себе не верит: он ли Птичкин-Певичкин? Существует он или не существует? А часы, знай своё, тикают и каждые шестьдесят минут раздражаются каким-то таинственным шумом и хрипом, среди которого вдруг начинает слышаться старческий кашель, означающий удары. Уже давно за полночь. Прокашляли часы и раз и два, а

Птичкин-Певичкин лежит с раскрытыми глазами, с мыслями, уносящими его в далёкую Одессу...

«Плещут волны зелёные... Солнышко ярко светит... Чайки, конечно... Нет, чайки – это печально... Может, и там соловьи? Тогда вечер... Месяц шаловливый... Улыбается... (Тут начинает седина в бороду колоть, а бес в ребро подталкивать). Соловей: тью-и, тью-и-тррррр... А волны с лёгким шумом набегают... Лунный свет играет на поверхности моря... Сидит задумчиво на каменистом берегу молоденькая дамочка... девушка... Нет, вероятно, лучше дама... И не молоденькая... А так вот.., приблизительно моих лет... (Громко вздохнула во сне Куропаточка). Ох! Что это я... Нет, нет... это Куропаточка моя.... А почему бы, скажем, немножко и не пофлиртовать? Слегка... Не серьёзно... Ведь это же просто ради отдыха... Ведь тут ничего не будет плохого... Так, ради развлечения... А то ведь надоело всё время в напряжении... анализы, собрания, заседания, совещания... А тут тебе... То-есть, как же это... Товарищ? Нехорошо... Мадам? Мадмазель? ...Неужели товарищ? Хорошо, ежели она, милочка эта самая, из плошлого, а вдруг из теперешних? А товарищ – совсем не годится... Как же это? Товарищ незнакомка? ...А вдруг она будет миленькая-премиленькая... и товарищ?»

Часы прохрипели пять, когда, наконец, утомлённый Птичкин-Певичкин сомкнул глаза.

На следующее утро, бледный от бессонной ночи, Птичкин-Певичкин, преодолевая все транспортные затруднения, какие обыкновенно возникают в курортное время, усаживался после долгих поцелуев со своей Куропаточкой в переполненный вагон. Долго стоял он в коридоре, пока, наконец, не примостился на кончике скамьи в одном из купе, а часа через три езды уселся даже с большим комфортом, заняв место у окна.

Мелькают телеграфные столбы, прыгают зигзагами линии проводов на них, мчатся навстречу железнодорожные будки, посадки, мосты, станции и полустанции. Скачут также быстро и нестройно мысли. То вспомнится завод, то Куропаточка, то задумается Птичкин-Певичкин над суетой земной, то вдруг седина в бороде толкнёт его на курортную случайную встречу с милой незнакомкой...

«Товарищ? ...Нет, никуда это не годится! Гражданка? ...Так только на рынке торговки говорят покупательницам! О, лучше, если бы это была девушка! Нет, дама старого покроя... Совсем некрасиво – товарищ Розанчикова! ...А гражданка Тюльпанчикова было бы совсем ужасно! ...Товарищ Гвоздичкина, я вас люблю! Это звучит совсем не романтично... Гражданка Жасминчикова, я безумно влюблён в вас! Нет, нет это к флирту никак не идёт... Что-то казённое... даже

милицией отдаёт... Другое дело, если сказать: «Мадам Гиацинтова, ваша красота, ваш ум, ваша доброта и сердечность, теплота ваших слов покорили меня и я должен, я обязан...» Или: «Мадмазель Подснежникова, я очарован красотой вашей...» А Куропаточка как же? Да, но это же только маленький, совсем крошечный флиртик, и она – мадам или мадмазель – поймёт это отлично... Ну, а Куропаточка... конечно, она не будет знать... Зачем её расстраивать? Всё будет спокойно...»

В этот момент дама, сидевшая напротив, упустила носовой платочек. Птичкин-Певичкин, быстро подняв его, галантно подал незнакомке.

Одни говорят, что носовые платки являются признаком раздора, другие, напротив, утверждают, что носовой платочек, выпавший из хорошеньких ручек, обещает гораздо больше, чем простую дружбу. Второе мнение, пожалуй, более правдоподобно, так как сейчас же между Птичкиным-Певичкиным и милой незнакомкой завязался разговор о том, о сём, откуда и куда. Незнакомка щебетала до самого вечера, Птичкин-Певичкин, склонив несколько на бок голову, слушал с наслаждением, а воображенье его порхало в вагонной духоте, как резвая бабочка в аромате первых весенних цветов.

Ночь сковала купе темнотой, усталостью и сном, а утром пассажиры, забыв вчерашние встречи, спешили выбраться из вагона, чтобы скорее добежать до трамвая.

Вот и дом отдыха. Группа вновь прибывших терпеливо ожидает главврача. Знакомятся, тихо беседуют. Одни сразу же смело атакуют представительниц прекрасного рода человеческого, другие осторожно поглядывают, будто выбирая объект для будущего нападения. Среди последних и товарищ Птичкин-Певичкин. Вы посмотрите, как он стоит перед той маленькой брюнеточкой, как внимательно слушает её пустую болтовню, как приятно улыбается, как ловит глазами каждое её движение! О, это совсем не тот Птичкин-Певичкин, которого вы знали в родном городе – вечно мрачный, усталый, голодный, недовольный...

Явившийся врач, однако, перебил приятные разговоры. Он пригласил «прекрасные создания» первыми на медицинский осмотр, и зал ожиданий сразу стал скучным и пустым. Вероятно, каждый, как и товарищ Птичкин-Певичкин, глубоко сожалел, что он сейчас не главврач...

Воздушные создания испарились через другие двери так, что мечтатели-рыцари их и не увидели больше, и приглашение врача было для них полной неожиданностью. Так как на приём нужно было являться совершенно раздетым, то Птичкин-Певичкин, по примеру

других, начал разоблачаться. Обнажился, посмотрел робко вокруг себя и испугался. Народ большей частью рабочий, мускулистый или жилистый, а он – ни рыба, ни мясо – кожа да кости. Интеллигент да и только! И вспомнилось ему тут предупреждение завкомовское: не говорить, что он техспец какой-нибудь... Даже настроение упало. О прекрасном поле совсем забыл. Как сказать? А вдруг откроют? Да ведь за обман партии и правительства может быть... И разгулялись мысли. Пошли догадки, предположения, логические выводы, следствия и, наконец, дошло дело и до оргвыводов! Тут уже не до лёгенького флиртика! А ежели раскроют? Посмотрит врач на фигуру обнаженную и изречет: «Комплекция сгнившего интеллигента!»

– Товарищ Птичкин-Певичкин! – раздался голос из кабинета, показавшийся ему роковым.

Вошел техспец нагой в судилище медицинское. Выслушал героя нашего главврач, выстукал, измерил вдоль и поперек, взвесил, глазки и ушки почему-то посмотрел, сел за стол и вопрошает по анкете, что требуется. Безукоризненно отвечал Птичкин-Певичкин на все вопросы, пока очередь не дошла до профессии.

– Специальность? – грозно спросил врач.

– Начхимлаб, – очень тихо с нежненькой виноватой улыбочкой произнес обнаженный техспец.

– Так чего же вы приехали по рабочей путёвке? Не могу принять вас, езжайте домой!

– Меня завком профсоюзный наградил...

– Ме могу...

– Путевок иных не имелось...

– Это меня не касается – не могу...

– Я семь лет без отпуска...

– Не моё это дело...

– Наградили меня...

– Не могу, товарищ Птичкин-Певичкин... Не могу же я из-за вас лишаться места?

– А как же быть?

– Ехать домой и просить в вашем завкоме путёвку для техспецев...

Вышел опечаленый Птичкин-Певичкин из кабинета медицинского, оделся и направился на станцию...



КРАСНОЩЕКИЕ БРЮКИ

Наступили каникулы. Учкомбинат плотно закрыл свои окна и двери. В нем воцарилась глубокая тишина. Учителя разошлись, замкнулись в своих комнатушках, более счастливые – в квартирках. Ехать некуда. Да и зачем, когда везде голод, а здесь, в Донбассе, где учителя получают паек по карточкам АП (наравне с подземными рабочими-шахтерами), с голоду не умрешь.

Мы изредка встречаемся, лениво перебрасываемся бесцветными фразами и расходимся. Ведь говорить не о чем! У каждого свои не заботы, не личные интересы, а мысли, о которых, хотя они и общи для всех абсолютно, говорить просто не принято.

Жара. Духота. Каждый стремится куда-нибудь спрятаться, где можно было бы, хотя, бы чуть-чуть, вдохнуть в себя свежего воздуха. Но степь кругом. Восточный ветер-суховей вздымает угольную пыль, взвинчивает её темным столбом и несет через шахтный поселок, проникая в тесные жилища. Никто не решается выехать отсюда, потому что здесь не умирают от истощения.

По соседству со мной – учитель музыки, артист из Одессы. Вы понимаете, из Одессы!! В такое время быть здесь, на шахтном поселке и задыхаться от жары и угольной пыли!!! Да, музыкант из голодной Одессы!

Невольно бросается в глаза – температура доходит до сорока по Цельсию, а мой милый соседушка плетется в рабкоп в демисезонном пальто издания 1910 года! Не думайте, что оно выглядит плохо. Мое, советское, которое я «достал» года три тому назад, похоже на столетнее дерьмо! А у соседа – фасон выдает возраст. А так посмотреть как будто только-что из магазина. Да, именно, из магазина. А мое – из рабкопа. Да и еще разница – соседушка купил свое пальто, а я – «достал». Может быть, потому у моего пальто бесфасонный фасон?

Часа через полтора сосед возвращается. Встречаю его на лестнице.

– Что с вами, Алексей Алексеевич? Заболели? Одеты черезчур тепло, не по погоде...

– Да-с, милостивый... Нэ-э-э... товарищ, – улыбнулся он, – морозит, – и он, оглянувшись кругом, посмотрел на меня, в каком я настроении и, не заметив ничего подозрительного, повернулся ко мне спиной, подобрал фалды пальто и наклонился, показывая мне красные латки на ответственных местах, – Видали ли вы краснощекие брюки? Нет? Ну, так вот; посмотрите на них, полюбуйтесь художеством, вам уж сделаю такое удовольствие! Да молчите, ни гу-гу! Никому ни единого слова, потому что за красный цвет на таком месте могут пришить контрреволюцию! Поняли?

Мы посмеялись и разошлись.

История краснощеких брюк очень обыкновенная.

Алексей Алексеевич отослал свою жену с продуктами в Одессу, куда она ездила время от времени, чтобы сохранить «жилплощадь» – комнатушку на Дерибасовской. Улица очень важная, из нее выселяют всех нетрудовых, и супруга моего соседа навещает «свой дом» исключительно для того, чтобы показать, что она трудовая и живет в Одессе.

Отправляя её в Одессу Алексей Алексеевич перестарался, подымая нагруженный продуктами чемодан и порвал брюки на самом неинтересном месте. Вернувшись домой, он стал рыться в жениных похоронках в надежде найти кусок черной материи, но, кроме красного лоскута, ничего не обнаружил. В рабкопе брюк «не давали». Пришлось подшивать красную материю, закрывая её обрывками брюк и заштопывая черными нитками.

В течение недели Алексей Алексеевич был спокоен, но на вторую неделю ему пришлось надевать пальто, так как красный цвет стал выпирать наружу. Больше чинить у него не было сил.

Тонкая душа художника невыносимо страдала из-за этих краснощеких брюк. Это была глубочайшая драма музыканта, изящно одевавшегося всю жизнь. Его страдания доводили его до слез.

– Чёрт возьми! Брюк купить в такой огромной стране негде! Ну, в чем прикажете мне выступать?! – возмущался он, беря «напрокат» немного длинноватые, немного широковатые брюки у соседа-инженера, собираясь на концерт.

Смахивая слезу, он горячо благодарил заимодавца.



ГЕНИАЛЬНАЯ ПУСТЫШКА

В чертежном бюро появилась девчонка Уляша. Она ничего, конечно, не знала, не понимала ничего и не умела делать. Только удивлялась, разгуливая по бюро, да спрашивала сама себя: зачем такие чудные то ли парты, то ли столы – не разберешь, линейки длинные-предлинные, какие-то блестящие, как у врачей приборы, и со страхом смотрела на молодых и старых дядей, сидевших на высоких табуретках и рисовавших какие-то причудливые картинки. Первые дни ходила она, как неприкаянная, от одного дяди к другому, подавая то красивую бумагу, то длиннющую линейку или еще что нибудь доселе невиданное. А дяди удивлялась: зачем приняли девчонку в бюро, когда до зарезу нужны были чертежники. И вдруг шепотком пронеслось по бюро: «По знакомству! По блату!»

Через недельку девчонку прикрепили к усатому дяде: «Обучи!» И вскоре Уляша стала копировать, размножать чертежи, стала понимать, что такое синька, калька, ватман, лекало, циркуль и многое другое, чего в коротенькой своей жизни никогда не видала, о чем никогда не слыхала и чего, конечно, не знала.

Перерыва на завтрак в бюро не полагалось. Завтракали между делом. Да и завтраки не ахти какие были! Иной только глазами червячка заморит или соседской скудной едой в приглядку наестся да потуже затянет поясок, Чтобы до конца рабочего дня досидеть. Сознавали, что строить социализм – не шутка. Жертвы нужны. О количестве, конечно, не говорили, а просто жертвовали, кто чем мог: кто здоровьем. кто свободой, а кто и жизнью. Ну, а Уляша? Что с девчонки возьмешь? Ведь она только что сошла со школьной скамьи! Она и не понимала, что жертвовать обязан каждый гражданин, любящий лично товарища Сталина! И прозвали её за все это Пустышкой.

Как возникла с первых дней за ней эта кличка, так и сохранилась вероятно, на всю жизнь, потому что клички эти имеют способность, появившись однажды на свет Божий, сопровождать человека до самой смерти, куда бы он не направлял свои стопы.

Конечно, Уляша ничего не знала о данном ей прозвище, потому что вслух это слово при ней не произносилось. Но войдя в курс жизни чертежного бюро, она сделала однажды такое открытие, равного

которому не сделал ни Рамзин, ни сверхмарксисткий Лысенко, ни Туполев, ни Павлов да и никто другой, кто заслуживал огргомные премии, звания и ордена с другими наградами – деньгами, путевками на дорогие курорты, дачами и так далее.

Вероятно, и в Кремле подумали: «Да что там какая-то Пустышка может открыть научного?!»

На завтрак она приносила с собой тоненький кусочек обыкновенного хлеба и бутылку ситро. Дяди из чертежного дела поражались, что протеже секретаря партийной заводской организации питается такими тощими продуктами, пока случайно не узнали, что мать Уляши – самая обыкновенная поденщица. Работая у знатного дяди, она осмелилась попросить его устроить её дочку куда-нибудь на работу. Дяде, ясно, не трудно было зайти в чертежное бюро и «попросить». Ну, кто же мог отказать партийному дяде в такой мелочи? И Уляша стала зарабатывать немного бесценных денег.

Завтракая как-то в укромном уголке бюро, она нечаянно разлила ситро на кальку и стала поспешно вытирать, обнаружив при этом под влажным пятном что -то необыкновенное. Отрезав полоску, она принесла её домой, «выстирала» и получила прекрасный лоскут какой-то белой материи, названия которой она не знала. Да и откуда же было ей знать, ежели за всю свою жизнь она на полках госмагов, кроме пыли толщиной в добрый вершок, никогда ничего не видела! Полученная материя, однако, привлекла её внимание настолько, что на следующий день, отрезав добрый кусок кальки и сложив её в школьную сумку, в которой она носила свои «завтраки», принесла домой и, выстирав, получила отрез белой, тонкой материи, из которой в выходной с помощью матери пошила себе великолепную блузку.

Через месяц-два весь город запестрел белыми блузками, а за калькой из чертежных бюро стали ездить в соседние местечки и в областной центр, так как в городе ни на предприятиях, ни в единственном писчебумажном госмаге её найти нельзя было.

Так городские девушки однажды были одеты в новенькие беленькие блузки, хотя ни в одном госмаге их «не давали». Одно, может быть, из самых важнейших открытий того времени, которое сделала пустышка, прошло незамеченным ни ЦК партии, ни лично товарищем Сталиным.

Ну, и слава Богу!

А в бюро Уляшу стали тихо именовать Гениальной Пустышкой.



ДОБАВЛЕНИЕ К СТАТЬЕ «ГЕНИАЛЬНАЯ ПУСТЫШКА»

В газете «Россия» от 14 июля 1971 г. был напечатан шуточный рассказ О. Михайлова «Гениальная Пустышка», в котором если помнит читатель, девушка по имени Уляша, работая в чертежном бюро, попросту говоря, крала чертежи и чистую кальку, отстирывала их дома от химикалий и шила себе блузки. К сожалению, в жизни не все бывает безобидной шуткой. Насколько повествование О. Михайлова, основано на имевшем место факте, мы не знаем, но совершенно аналогичный случай произошел в Москве в одном из научно-исследовательских институтов Красной Армии. Но он окончился очень плачевно для «героини» подобной изобретательности.

Это было в середине тридцатых годов и в этом институте тоже работала простая девушка в качестве архивариуса в отделе хранения чертежей. Она, эта девушка, ну, назовем её Верой, нашла секрет, как из запыленных старых чертежей, простиранных в воде, можно получить кусок приличного материала, из которого она шила хорошие носовые платки. Были годы, когда было почти невозможно что-нибудь купить в советских магазинах, а девушкам было неприлично и неудобно сморкаться в два пальца. и Вера иногда брала домой небольшие чертежи, о блузах и кофточках она не мечтала.

То ли кому она проговорилась или её подследили, сказать трудно. Но однажды после работы её обыскали в проходной будке и нашли в её сумке кусок использованной кальки. Ей было предъявлено обвинение в расхищении социалистической собственности и краже военных секретов, хотя эти чертежи и планы были десятилетней давности и никакой ценности не представляли.

Судил суд «быстрый и праведный» и за пару батистовых носовых платочков Вера была послана на многие годы в концлагеря.

Когда читаешь кажущиеся теперь забавными рассказы, то больно становится, когда вспоминаешь, что героями этих анекдотических случаев были действительные жертвы сталинского террора.

– *Георгий Гранин,* газета *Россия,* № 8245, 2-3, Нью Йорк.



СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ ОБЕД

Человек один пребывал. Да и не человек, собсевенно говоря, а так себе интеллигенция гнилая. Ни орудие пролетариату, ни чорту кочерга. Всего избегал. Поочередно. То избегал высокого звания врага народа, то весьма низкого звания советского беспартийного большевика. Последнее в нашем разумении свойтствено людям беспартийным, правда, но накостно до содражания.

Избегал он, этот человек, или, что то ж, гнилая интеллигенция, часто в такие отдаленные уголки своей родины,что и сам иной раз терялся в географическом пространстве. Однако, его революционный дух к современному управительству ориентации не терял, и когда возможно было возвратиться к бытию нормальному, он проделывал сие с искусством чрезвычайно необыкновенным. Одним словом, изучил политическую ситуацию досконально и лавировал в государственной стихии, называемой социалистической системой, вполне доброкачественно.

Назывался он, человек этот, Никанором Глазовичем. Батюшкино имя его видоизменилось на далеком украинском хуторе, носившем громкое название «Сталинский Змееныш», которым некоторое время прикрывались наивные крестьяне, ввиду надвигавшейся на них волны коллективизации. Вот у них-то и обучал упомянутый выше муж детишек, выжидая прояснения политическй погоды и избегая присвоения ему какого-либо почетного звания со всеми вытекающими следствиями некоторых приятных заведений, шельмующих честных граждан совдепии.

Прийдя первый раз на урок, сей муж довел до сведения своих подчиненных маленьких душ:

– Меня зовут Никанор Власович...

То ли отчество оказалось затруднительным, то ли плохо разобрались маленькие души, но один белоголовый товарищ-ученик сразу же обратился к своему учителю:

– Никанор Глазович!

С этих пор гнилая сия интеллигенция представлялась в мире собратьев своих исключительно Никанором Глазовичем, объясняя подробно революционное произношение своего отчества.

Когда политическая ситуация на селе стала возмутительно голодной и крестьяне тысячами начали выезжать на далекий север строить социализм, а осиротевшие детишки начали пухнуть от голода, Никанор Глазович решил перекочевать в ближаший рабочий район, где кормление производилось вполне удовлетворительно. Умереть, так сказать, от голода невозможно было.

Явился он в неокоторый горный учебный комбинат и довольно легко устроился преподавателем математики.

Требуется заметить, что Никанор Глазович человек был холостой и довольствие свое производил в коммерческой обжорке с роскошной вывеской «Ресторан Нарпита».

Однажды, по случаю проголодания, он заявил своим коллегам в учительской:

– Питаться направляюсь? – и принялся шпагатом привязывать свои калоши, чтобы социалистической дорогой не потерять их.

В коммерческой столовке, сиречь, «Ресторане Нарпита», как и полагается, было накурено до одушения, наплевано до ушей, славословия по адресу икса потрясали низкий и темный, нарпитовский зал. Подавальщицы в грязных фартучках, расталкивая многочисленных посетителей, обдавали их социалистичесткими явствами, донося до потребителя половину или четверть полагавшейся порции. Голодный посетитель молчаливо терпел всё.

Пробился сквозь толпу Никанор Глазович вполне благополучно и к с своему удовольствию даже место за столиком занял без очереди. Человек знакомый, не дождавшись обеда, уступил ему свой стул. Посидел с полчаса Никанор Глазович, понаблюдал за посетителями и не успел еще сделать оргвыводы, как подавальщица протиснулась к его столу, чтобы разузнать причину его сидения.

Заказал, конечно, Никанор Глазович, необходимую пищу, которая была стандартна как советская обувь или одежда: суп и жаркое, – и снова стал созерцать и мыслить.

Не прошло вторые получаса ожидания, как перед ним, наконец, появились оба стандартных блюда. Проголодавшийся интеллигент с жадностью принялся поглощать тепловатую мутную жидкость, именуемую супом, и поглядывать на вторую тарелку, в которой находилась неопределенного цвета масса, носившая, согласно стоявшей на столе карте-меню, скромное название «домашнего жарковья».

В тот момент, когда ему оставалось зачерпнуть корявой нарпитовской ложкой два-три раза, чтобы изничтожить суп и приступить ко второму блюду, произошло некоторое событие,

заставившее его приостановить свое кормление.

Неопределенный гражданин, сидевший напротив, закончив благополучно свое питание, вытер бумажной салфеткой, подававшейся вместе с блюдами (такая забота о потребителе!), рот и с весьма довольной физиономией встал из-за стола. С молниеносной, быстротой его место занял другой, но с весьма недовольной, даже голодной физиономией. Он схватил тарелку Никанора Глазовича с выше упомянутым «домашним жарковьем» и бесцеремонно проглотил содержимое с такой быстротой, что бедный гнилой интеллигент не успел даже опомниться. Одним словом, оба закончили питание в одно и то же время.

Взглянул Никанор Глазович на своего противника и прочел в его глазах то, что было написано в те времена в глазах миллионов обыкновенных крестьян, бежавших из сёл в промышленные районы от «зажиточной» колхозной жизни.

Полуголодный и расстроенный Никанор Глазович вернулся к исполнению своих служебных обязанностей...



НАИДЕМОКРАТИЧНЕЙШЕЕ ГОЛОСОВАНИЕ

Бедному гражданину западному затруднений много бывает. И не обыкновенных, а государственного, так сказать, значения. Скажем, в государстве Английском выборы правительства происходят. Гражданин смертный решить судьбу отечества должен: кому у власти на сегодняшний день необходимо быть. А решать нужно, потому партий различных много существует. К примеру: специалистов выбрать во главе с мистером Эттли или кооператоров с сером Черчилем? Специалисты, ясно, стелят очень приятно: твое-мое и мое-мое, потому отбирают они собственность частную (пока, правда, только крупную) – специальность у них такая; кооператоры же обещают много и на полную кооперацию с эсэсэрой идут. Вот и разберись, кто из них лучше, за кого голос свой отдать.

Во много раз лучше в эсэсэре дело избирательное поставлено. Напечатан один дорогой кандидат в избирательном бюллетене, и гражданину советскому задумыватъся не нужно, потому все остальные могут быть только дешевыми.

Как-то выборы в городе происходили. Совет верховный выбирался. Это уже по самой наидемократичнейшей сталинской. Кампания, как полагается, в таких случаях объявляется. Под шумок восхвалительный родному и дорогому элемент излишний убирается, чтобы стопроцентное голосование не испортилось; град на участки разбивается, избирательные комиссии назначаются, всем партийным и комсомольским работникам следить за баспартийными поручается, в газетенках кандидаты изображаются, небылицы про них всякие печатаются, – работа, одним словом, через край переливается.

Выборы, наконец, подходят. Товарищи за гражданами присматривают, граждане на товарищей со страхом поглядывают, по самой наидемократичнейшей голосуют за кандидата единственного, что в избирательном бюллетене пропечатан.

Коля Поляков, сотрудник редакции н-ской газеты, в избирательной комиссии состоял, за гражданами наблюдал, процент явки на голосование в редакцию сообщал, радовался радостью комсомольскою голосованию успешному на участке своём. Героем-стахановцем думал быть, пока подсчет голосов не начался.

Явка-то была стопроцентная (попробуйте, гражданин, не

явиться!), да бюллетень один, как ложка дёгтя, всю избирательную кампанию не только на его участке, но и во всём городе испортил. Гражданин неизвестный карандашиком чернильным кандидатуру дорогую вычеркнул и печатными буквами имя покойного государя начертил:

«НИКОЛАЙ ВТОРОЙ».

Прибежал Коля Поляков ночью в редакцию и докладывает:

– Голоса одного нехватило! Гражданин враждебный бюллетень испортил! Голосование стопроцентное снизил! Самого лично мудрого вычеркнул! Кандидатуру старорежимную выставил! Ишь, чего ему захотелось! Царя-батюшку! Да на каком году социалистической жизни счастливой! Гидра контрреволюции!

Рассказывает это ярко, за каждым словом приложения убедительные употребляет, всё комсомольское своё возмущение в них выражает. А редактор насупился, как сыч, и замогильным голосом истину партийную изрекает:

– Выстрелять всю беспартийную массу требуется, потому от неё жизни в раю нашем и через тысячу лет не предвидется!

Весть сия неблагополучная, конечно, по всей партийно-комсомольской линии распространилась с бысротою молнии. Взбудоражились все члены партии, кандидаты, сочувствуещие и комсомольцы, взбудоражились даже пионеры все и октябрята. Да что говорить об октябрятах, ежели граждане беспартийные в волнение вошли, потому последствия какие могу быть, всем известно.

Нервничает советская власть всеимущая, нарушителя наидемократичнейшей поймать разные способы выискивает. Надзор строжайший за участком преступным установила, за каждым гражданином ухо и глаз недремлющий учредила, к раскопке подноготной приступила, даже на почте контролеров по проверке писем посадила, чтобы по почерку опасного врага найти.

С полгода рыскали, копались, письма вскрывали, ушами хлопали, глазами моргали, но нарушителя самой наидемократичнейшей в мире найти в городе не смогли. Сбежал или в воду канул – неизвестно.



СУДЬБА НАСМЕШНИЦА

Ходит Сергей Иванович по своему большому кабинету и диктует машинистке «Объяснительную записку» к своему проекту по постройке дворца культуры, а сам думает: «Не уйдешь сегодня вовремя... Собрание проклятое... А завтра – кривлять душой перед выборной урной... Как же...За кандидата в верховный совет голосовать!»

«Та-та-тра-та-та» выстукивает машинистка Вера Александровна, девушка лет двадцати двух, и мечтает: «Вот бы не было этих собраний! Погулять бы лучше на свежем воздухе!»

– Сергей Иванович! – обращается она к инженеру, – Как бы мне на собрание не пойти?

– Как не пойти? – даже испугался Сергей Иванович, будто его мысли кто-то подслушал посторонний. – Это же молодость! Чай, свиданьице назначено?

– Какое там свиданьице, Сергей Иванович, и молодые люди какие-то серенькие, скучненькие, всё про политику...

– А вам бы про любовь?

– В кого же влюбиться? Мне бы вот хотелось поскорее кончить вашу Объяснительную записку да выскочить на улицу, свежим воздухом подышать. Вы посмотрите: в понедельник – собрание молодежи, во вторник – заседание месткома, в среду – производственное совещание, в четверг – проверка соцдоговоров, в пятницу – изучение истории партии, а сегодня суббота – общее собрание треста? А завтра – выборы? Так каждый день, и раньше девяти-десяти вечера отсюда не вырвешься ! А когда же не только жить, а хотя бы подышать можно будет?

– Ну, Вера Александровна, кому же социализм строить, как не молодежи?! Мы старики, и то вот трудимся и не ропщем, потому что понимаем...

– Что вы старики, а я молодая еще, я хочу дышать, дышать, дышать, Сергей Иванович, а не задыхаться в этих месткомах, профкомах, осоавиахимах, мопрах, кружках, собраниях...

– Взялся за гуж, не говори, что не дюж, – ответил старый

инженер и подумал: «Не покупает ли она меня?»

Заслышав в коридоре шаги, он начал снова громко диктовать. Машинистка сделала вид, что поглощена работой. Дверь открылась, и на пороге показался юркий чертежник, недавно избранный профуполномоченным проектного бюро.

– Товарищи, на собрание!

– Я не могу сейчас идти, мне нужно кончать Объяснительную записку сегодня, потому что директор в понедельник едет в центр.

– Вы же задерживаете народ!

– Доложите кому следует, что работа срочная... Директор знает...

– Вы же знаете, что завтра выборы?

– Знаю, знаю, но Объяснительная записка должна быть кончена сегодня.

– Может быть, после собрания?

– Благодарю покорно! Собрание закончится в десять или в двенадцать часов, а у меня здесь работы еще часа на три-четыре!

– Хорошо, я спрошу у парторга, – недовольно объявил он своё решение и исчез.

– Активист! – процедила сквозь зубы машинистка. – А вы знаете, Сергей Иванович, за кого вы будете голосовать?

– Ну, а как же, вот уже, кажется, месяца два или три в городской газете фотографии, биографии...

– Прославление, восхваление самой лучшей женщины в городе, стопроцентной стахановки, чистокровной работницы, чуткой, справедливой, дорогой нашей Марии Ивановны Чуйковой, да? – спросила Вера Александровна.

Инженер начинал бояться миловидной девушки и сразу же перевел на деловой тон, – Ну, Вера Александровна, давайте-ка лучше будем работать или идите на собрание, я сам как-нибудь одним пальцем...

Но машинистка не унималась, она почти шопотом спросила, – Вы знаете, как парторг Гусев её назвал? – и не дожидаясь ответа, признесла, – «Дура!»

– Вера Александровна, замолчите...

– Нет, это я вам серьёзно говорю. Я сидела у директора и печатала что-то. Это было тогда, когда о выборах еще никто и ничего не знал. Заходит Гусев и спрашивает: «Ты был вчера на заседании

актива?» «Нет», говорит директор, «Я только сегодня из центра...» «Знаешь кого облпартком выдвинул кандидатом в верховный совет?» «Нет...» «Чуйкову с завода Красный Металлист!» «Какую Чуйкову?» «Да дуру-то эту, что таскается с завагитпропом...» «А, знаю, да ведь она же глупа как рыба!» «Вот и не разберешь, или облпарткому захотелось сделать удовольствие своему завагитпропу или в верховный совет рыбы нужны...» Только этот разговор давно был, Сергей Иванович, я это к слову...

– Ну, довольно вам чепуху рассказывать. Знаете, что за такие разговорчики может быть?

– Вы же «свой»? – наивно спросила машинистка.

– Как «свой»? Вы понимаете, что вы говорите? Прекратите сечас же вашу болтовню, иначе...

Вера Александровна подняла на него свои большие умные глаза, и старый инженер подумал, что болтала она только с одним умыслом – не пойти на собрание. Но он не показал ей этого, а начал строго диктовать, насупившись, будто рассердился.

Машинистка быстро выстукивала с редкими перебоями, когда Сергей Иванович задумывался над своей «запиской».

Но мысли старого инженера в эти моменты были далеки от проекта: «Выйти из треста невозможно – на дверях этот цербер, гайдук «их величество» Гусев. На собрание всё равно придётся пойти... Нужно только затянуть... Всё равно, раньше десяти или одиннадцати не вырвешься... А завтра? Заболею! Ведь это же идея! Лежу в кровати, голова перевязана, одеваться не буду... Прекрасно! Не поднимут же больного?»

Хотел спросить у машинистки, не приедут ли с урной к нему, если он будет лежать больной, но решил, что и так слишком много разоткровенничались они сегодня.

«Действительно, за какую-то дуру буду голосовать! Нет, голубчики, хватит издеваться над стариком! То ли дело раньше: не голосовали, а свежим воздухом дышали... И молодежъ была не серенькая, не скучненькая... И для любви время было... Были, конечно, политики и раньше... А вот теперь их продолжатели...»

Снова открылись двери. Юркий чертежник проверял, – Ну, как у вас тут, надолго еще?

– Часа на два нам хватит, – с досадой ответил инженер, продолжая диктовать.

Машинистка, прищурив свои большие глаза, провожала профуполномоченного недобрым взглядом. Когда тот закрыл двери,

она, передразнивая его, спросила, «Ну, а у вас как, собрание ваше надолго?» Потом, обративтшись к инженеру, сказала, – Сергей Иванович, простите, я не могу больше, как они все противны!

Инженер сделал вид, что не слышит – продолжал диктовать и упорно твердил сам себе: «Не пойду! Не пойду... Не пойду!»

Вера Александровна, увидев, что инженер нахмурился, замолчала и со злостью начала стучать no клавиатуре машинки. Время от времени она останавливалась, просила повторить предложение.

Дважды еще заходил чертежник, пока они, наконец, не закончили злополучную «Объяснительную записку».

– Ну, теперь вы идите на собрание, а я проверю, что вы тут написали и приготовлю чертежи директору, – сказал Сергей Иванович девушке, когда она привела в порядок свой рабочий столик.

– Лучше бы вы меня из окна спустили на тротуар, я домой бы пошла к мамочке...

– Ничего, ничего, идите, завтра отдохнете...

– А за дуру-то голосовать нужно? Ведь и там очередь будет? Посгоняют активисты с раннего утра...

– Вера Александровна, ради Бога, прекратите эти разговоры, ступайте по добру, по здорову. Вы же понимаете... Вы же не маленькая, должны же понимать, что можно говорить, а чего и нельзя...

– Сергей Иванович, ведь вам же всё можно говорить? – снова также наивно спросила машинистка и так просто, по-детски улыбнулась, что старый инженер рассмеялся и сказал:

– Знаете что, Вера Александровна, лучше никому ничего не говорить, вам будет... безопаснее. Идите лучше...

Девушка с унылым видом вышла из кабинета.

Было уже около девяти вечера, когда начальник проектного бюро треста инженер Гасевский вошел в красный уголок. Выступали активисты.

«Значит, штатные ораторы уже кончили», подумал Сергей Иванович, усаживаясь на самой последней скамье. Дышать было тяжело от «стопроцентной явки» сотрудников треста, густые облака дыма медленно плавали над головами. Большинство сидело с опущенными головами, избегая встречаться взглядами с председателем собрания Гусевым, зорко следившим за «настроением массы». Усталые лица, вспотевшие от духоты, были безразличны, только некоторые, не слушая выступавших на сцене уголка, ожидали

окончания речи, чтобы как можно быстрее поднять руку, чтобы самим выступить.

«Всё те же речи, всё те же слова», думал Сергей Иванович, «чистота партии», «достойный кандидат», «единогласно голосовать», «стопроцентная явка»... Конечно, город подчистили уже давно для стопроцентной явки...

«Неблагонадёжные давно сидят в НКВД, остальным предупреждение: Попробуй не явится!»

И какой-то бес толкал его: «Ну и что же? Попробую... И не то, что попробую, а вот не пойду и всё... А ежели человек умирает? Тоже должен идти голосовать? За дуру? А и впрямъ правду сказал Гусев... Туда рыбы только и нужны, чтобы попловками своими голосовали «за», да еще хорошо было бы, чтобы механические были... Это уж no части Рамзина будет: прикажут, бедняге, изобретёт!»

Так сидел инженер Гасневский вдали от взглядов и не слышал, как, выступали, одни, говорили другие, призывали третьи. Наконец, напряженная тишина заставила его очнутся.

– Товарищи, так кто же еще? – настойчиво спрашивал председатель собрания.

Но все молчали. Всем хотелось, чтобы скорее закончилось собрание, чобы скорее доброться домой, отдохтуть от тринадцатичасового сидения в тресте. Однако, председателю было мало выступлений, и он начал вызывать no фамилиям:

– Товарищ Сердюк, кажется вы что-то хотели сказать?

– Да нет, товарищ Гусев, всё уже ясно...

– Товарищ Зуева, у тебя что-то есть доложить собранию?

Коммунитска Зуева любила выступать последней и по приглашению. Говорила она без подлежащих и сказуемых. Понимать её было невозможно.

– Я, конечно, товарищи, всем понятно... Повторять, потому вы сами знаете... Что коммунистическая партия и любимый наш вождь...

«Ну, слава Богу, скоро конец», подумал инженер и посмотрел на часы. Шел одиннадцатый час. «Эге-е-е! Дай Бог, к двенадцати кончить и домой еще сегодня явлюсь!» и снова погрузился в свои мысли...

А в зале продолжало раздаваться: «стахановка», «лучший кандидат» «единство партии», «стопроцентная явка», «все, как один», «отдадим свои голоса за лучшую женщину нашего города, нашей области», «родному Сталину»...

«За дуру, за рыбу» продолжал думать Гасевский, и ему

представлялась картина: «Зал веховного совета заполнен водой. В пловучих креслах – рыбы – члены совета. Вместо трибуны, для президиума, – громадный подводный камень, на котором сидит Сталин и Ко. Сталин как рак, ворочает усами и боязливо поводит выпуклыми глазами: нет ли в зале заседания врагов? Голосуют: «Кто за то, чтобы Сталин был родной, мудрый, учитель, отец, гениальный, генералиссимус?» Все члены-рыбы подымают все свои поплавки и от удовольствия хлопают хвостами, жадно глотая воду, в которой уже не хватает кислорода. Одна из рыбок старается выплыть на поверхность, чтобы, глотнуть свежего воздуха, но раздается грозный крик с грузинским акцентом: «Зажарыть!» Испуганный недоучка-семенарист поедает, рыбку, осторожно выплёвывая косточки...»

– На этом я заканчиваю, товарищи, – раздаётся визгливый голос Гусева, – Кто «За» прошу поднять руки.

Подымая руку, Гасевский думает: «Так что же это, уже и Зуева кончила? А за что же голосуют? Да не всё ли равно!»

В двенадцатом часу встревоженная, жена открыла двери, – А я думала, что тебя...

– Думала, думала... Устал, голоден, как волк... А что же, Леночки еще нет? – спросил он о дочери, войдя в комнату.

– День рождения у Машеньки Кудрявцевой празднует, она обещала к полночи быть дома... Что же ты так поздно?

– Да разве не знаешь ты, что завтра ж... дуру будут выбирать. – и Сергей Иванович рассказал жене, что услышал он от машинистки о «достойном кандидате». Но я завтра не пойду на выборы!

– Как, Сереженька?! Ты что же, не знаешь, чем всё это может кончиться?

– Не могу, душенька, опротивело всё это кривлянье!

– Но ты подумай хотя бы о нас...

– Заболею, понимаешь? Вот лежу пластом и встать не могу!

– Да что ты, еще врача вызовут, симуляцию определят!

– Ничего, не бойся, я уже всё обдумал...

– Ох, Сереженька, опасное это дело...

– Ничего, ты пойдешь, проголосуешь, а я буду в кровати... Не могу, понимаешь? Довольно издеваться!

В двери постучали. Зинаида Леонтьевна пошла открывать и вернулась с дочерью. Ей хотелось убедить мужа, что задуманное им предприятие слишком рисковано, но при дочери такой разговор продолжать нельзя было.

От большой квартиры, которую Гасевский занимал ещо до революции, теперь осталась лишь одна комната. Она была и кухней, и столовой, и гостинной, кабинетом Сергея Ивановича, и общей спальней. Было сначала очень тяжело, но с годами привыкли к тесноте и неудобствам. Правда, неприятно всё это было, но получить квартиру в городе невозможно. Ведь в первую очередь власть-имущие получают, потом – члены партии, активисты, стахановцы, ударники, а прочим жилплощади уже нехватает. Знал об этом старый инженер и не пытался просить. Развесит на ночь старые одеяла на веревочках и получается спальня для каждого. Не раз говорил он жене, – Видишь, вот и перегнали Америку: у каждого гражданина универсалъная комната. В Америке, подумаешь, небоскрёбы! Конечно, там же капиталисты! А тут – чёрт его знает, кто я? – И сам не знает, к какой категории себя отнести.

На утро Сергей Иванович проснулся и впрямь почувствовал, что голова у него буто бы болит и даже слегка будто бы морозит.

«Что за чёрт не простудился ли я?» подумал он. «Вчера на собрании было слишком жарко, а потом сразу на мороз... Не прохватило ли?»

– Зиночка, дай-ка термометр, – попросил он жену.

Зинаида Леонтьевна достала термометр из комода, принесла в «спальню» мужу, участливо потрогала голову и показалось ей будто жарок небольшой есть. Но измерив температуру, Сергей Иванович убедился что с простудой дело не выйдет. Он начал тяжело вздыхать и негромко стонать.

– Ну что? – спросила заботливо супруга.

– Голова трещит невозможно, а температуры нет. – тоном тяжело больного ответил он, – Не пойму сам что это такое... Нервное переутомление, вероятно... Дай полотенце, что ли... Голову перевяжу... Может быть, легче станет...

– А как же с голосованием, Сереженька? Надо ведь идти...

– Какое там может быть голосование, Зиночка, что ты, голубушка! Трещит в голове, как сто чертей в барабан бьют, подняться не могу, ох!

– Но ты же понимаешь, что это необходимо...

– Я же не могу подняться, не дойду...

– Мама, – вмешалась Леночка, – но раз человек болен, как же он может встать с кровати?

– Но ведь там, спросят обязательно...

– Скажешь, что папа болен очень, – не понимая отцовской игры ответила дочь.

– Ну что уж будет, не знаю... пойду сама...

– Да, да, милочка, иди сама, – подхватил обрадованный Сергей Иванович, туго перевязывая голову.

Зинаида Леонтьевна с тревогой ушла на избирательный участок, оставя мужа на попечении дочери. Когда она подошла к столу, где производилась отметка избирателей явившихся на голосование, и подала паспорт, регистратор, посмотрев в список избирателей восьмого участка, спросил: «А муж?»

– Муж болен, не может прийти...

Регистратор позвал члена избирательной комиссии.

– Товарищ Полянов, – обратился он к нему, – вот тут случай неприятный, избиратель Гасевский заболел... Стопроцентной не будет...

– Что с ним? – Спросил подошедий Полянов у Зинаиды Леонтьевны.

– Не знаю, голова страшно болит, встать не может...

– Сейчас мы организуем это дело, подождите...

Он побежал куда-то и минут через десять, усаживая в машину гражданку Гасевскую с другим членом избирательной комиссии и дежурным врачем, говорил:

– Видите, партия и правительство проявляют полную заботу об избирателях... Я думаю, что доктор поможет гражданину Гасевскому и, если ничего нет серьёзного, он сумеет приехать и выполнит свой долг...

Взволнованная Зинаида Леонтьевна тихо благодарила внимательного Полянова, а сама думала со страхом: «Говорила же, определят симуляцию, с работы выгонят, арестуют... Боже мой, что натворил Сергей!»

Для Гасевского визит был неожиданным, но он не растерялся, продолжая тяжело вздыхать и стонать.

Молодой врач измерил температуру, пульс, пощупал живот и, выслушав легкие и сердце, произнёс:

– Сильнейшее нервное переутомление!

– А температура есть, – нетерпеливо перебил приехавший член избирательной комиссии.

– В таких случаях температуры не бывает – ответил врач.

– Ну, что же – обратился он к Гасевскому, – прогуляться в машине даже полезно будет... Вообще, нужен отдых, питание, свежий воздух и спокойствие, гражданин Гасевский...

Зинаида Леонтьевна настороженно наблюдала за членом избирательной комиссии, бесцеремонно оглядывавшем комнату.

Как только Сергей Иванович появился с женой на избирательном участке, к нему подскочил Полянов и, раздвигая образовавшуюся очередь у стола регистратуры, просил пропустить вне очереди больного гражданина Гасевского.

Корреспондент местной городской газеты, услышав фамилию больного избирателя, мучительно вспоминал, где слышал он о Гасевском, и на всякий случай сфотографировал его в тот момент, когда он опускал бюллетень в урну.

Пока Сергей Иванович, застёгивая старенькое зимнее пальтишко, пробирался через толпу к супруге, ловкий сотрудник газеты расспрашивал Зинаиду Леонтьевну:

– Где работает ваш муж?

– В тресте... инженер...

– Ах, да, да, знаю... Вы занимаете большую квартиру?

– Да, комната большая...

– Семья?

– Дочь семнадцатилетняя, Леночка...

– Живете, конечно, зажиточно? Да что за вопрос ! Муж инженер! Зарплата приличная!

Подошел Сергей Иванович.

– Извините, товарищ Гасевский, вы себя чувствуете не совсем хорошо?

– Голова трещит... и слабость страшная...

Подскочил Полянов.

– Гражданин Гасевский, извините, что мы вас потревожили, вы так нездоровы... Нервное переутомление... Я от имени избирательной комисии хочу выразить вам сочувствие и благодарность... Всё-таки, знаете, стопроцентная явка... Кандидат достойный... Машина готова, я надеюсь, что вы доедете домой благополучно...

Сергей Иванович продолжал вздыхать и изредка брался за голову, сжимая виски.

– Ну, что там! Какие могут быть благодарности... Ведь это же

долг... – говорил он Полянову.

– Да, для здорового человека, конечно, а вам, всё же больному это тяжеловато... – продолжал рассыпаться член избирательной комиссии, провожая Гасевского к машине.

Леночка вопросительно смотрела на приехавшего отца. Зинаида Леонтьевна молчала. Сергей Иванович, сняв пальто, сел у письменного стола и обхватил руками голову.

– Что, папочка, болит? – тихо спросила дочь.

– Болит, болит, чёрт возьми совсем! Всем нужно знать, что болит, где болит, почему болит... Да, да, да, болит и у меня, и у дедушки и у прадедушки болит! Оставьте меня, ради Бога, в покое, – разразился старый инженер, не столько отвечая дочери, сколько врачу и членам избирательной комиссии, замучавшими его своими вопросами и участием.

Удивленная и обиженная Леночка отошла от отца.

– Оставь, Леночка, папу, видишь, болен, нервное переутомление, ему покой нужен.

– Я ж, мамочка, хотела узнать, может быть, папе легче стало после прогулки, доктор, же сказал, что свежий воздух ему хорошо...

– И покой, Леночка, покой самое главное...

А Сергей Иванович, закрыв глаза думал: «Вот и остался в дураках! Слава Богу, что доктор еще выручил: «нервное переутомление»! Ха ! Могло быть похуже!

Зинаиде Леонтьевне и смешна была вся эта история, и беспокойство овладевало ею: «Кончится ли все это благополучно?»

День в семье Гасевских был испорчен, прошел в натянутом молчании. Каждый был предоставлен своим мыслям.

На другой день утром Сергей Иванович с неприятным чувством провинившегося школьника входил в трест. Едва он переступил порог вестибюля, как швейцар, исполнявший обязанности скорее контролёра, следившего за приходом на работу и доносивший о разговорах встречавшихся здесь сотрудников, со сладенькой улыбочкой справился о здоровье.

– Спасибо, товарищ Кучумов, сегодня немного лучше, – ответил инженер, а сам подумал: «Неужели весь трест знает? Ведь эта каналья неспроста спрашивает, откуда-то пронюхал...»

В его кабинете на письменном столе лежал свежий номер городской газеты. Он сначала хотел отодвинуть его в сторону, но вглядевшись в клише, пришел в ужас: на первой странице большая

двухколонная фотография изображала его во время опускания бюллетеня в урну! Под клише была подпись и он начал читать:

«На фото: больной инженер-ударник товарищ Гасевский, благодаря заботе партии и правительства, был доставлен на машине на восьмой избирательный участок. Все члены избирательной комиссии помогли емгу выполнить священную обязанность гражданина СССР, пропустив вне очереди к регистрационному столу. Уверенно товарищ Гасевский голосует за достойного кандидата в верховный совет и не сомневается, что Мария Ивановна Чуйкова стопроцентной явкой трудящихся к урнам будет избрана и, как член верховного совета, проявит чуткое и заботливое отношение к своим избирателям...»

Дальше шло описание «зажиточной» жизни «ударника» Гасевского, его «большой и прекрасной квартиры», «образцовой» семьи труженника. Статья заканчивалась благодарностью инженера «родному Сталину, создавшему самые лучшие условия жизни для всех трудящихся, в которых они с любовью творят на благо социалистического государства.»

«О, ужас!» подумал Сергей Иванович, «Еще одно итспытание! Снимок в газете. Глупая статья и, главное, ударник! Что за чепуха, кто мог написать такую глупость?!»

Вошла машинистка. Она сухо поздоровалась с инженером и сразу же села за работу.

Телефонные звонки беспокоили инженера целый день:

– Это товарищ Гасевский? Как ваше здоровье?

– Сергей Иванович, это вы? Уже работаете?

– Ну, хорошо, что это серьезно?!

– Да вы теперь ударник!

– Вы уже в другой квартире?

– И потом, знаете, зажиточная жизнь...

Сколько иронии, сколько злой насмешки звучало в каждом вопросе, сочуствии, поздравлении! Бедный старый инженер готов был бросить работу и убежать от невыносимых разговоров, да и работать-то, собственно говоря, не мог. Многочисленные знакомые, как сговорились, звонили ему один за другим.

В то врегмя как Гасевский сдерживая возмущуние отвечал вежливо по телефону, парторг Гусев с секретарем месткома обсуждали создавшееся положение. Ведь не может же быть старый иженер ударником! Смотри, чтобы во вредители не попал, а тут, на тебе, ударник! Наконец, парторг решил узнать в редакции, кто написал

такую ересь.

Раздосадованный редактор вызвал к себе Лосева, бывшего на восьмом изберательном участке.

– Послушай, товарищ Лосев, как, это ты умудрился какого-то Гасевского ударником сделать и, вообще, столько «социализму» накатать?

– Иван Васильевич, да вы же подписали к печати? А о Гасевском я слышал от заведующего производственным отделом Ярового...

Редактор вызвал Ярового.

– Что это Гасевский, ударник?

– Какой Гасевский?

– Да этот инженер из треста...

– Что в сегодняшней газете?

– Да, да...

– Не знаю, товарищ редактор, первый раз слышу.

– Да как же, товарищ Яровой, ты же мне сам говорил, – вмешался Лосев.

– Постой, постой, Лосев, ты спутал. Говорил я тебе о Госневском, рабочем с завода Красный Металлист – серьезный, стойкий член партии, ударник. Да, а о каком-то Гасевском я никогда ничего не говорил. А, вообще, за интеллигенцию никогда не берусь.

– Ну, что, товарищ Лосев? А ты знаешь, что Гасевский вредитель? – спросил редактор у замешавшегося сотрудника. – Ты что же, не проверив достаточно факты, подсовываешь мне такие глупые статьи и фотографии...

– Перепутал, – уже испуганно оправдывался Лосев.

– Смотри, брат, это грозит тебе не только тем, что могут снять с работы, но и партбилет отберут! Подумаешь, коммунист прославляет вредителей! Это же недопустимо! Если пройдет на этот раз, скажи спасибо. Сейчас позвоню в трест, узнаю.

Сотрудники вышли, а редактор вызвал по телефону парторга треста.

– Ну, товарищ Гусев, ерунда какая вышла, сотрудник, мой перепутал Госневского с Гасевским. А что там, серьёзное?

– Да нет, товарищ редактор, Гасевский никогда ударником не был, неудобно...

– А что он, чуждый?

– Да нет, же, а просто старая интеллигенция...

– Э-э-э! Ты что, перестраховкой занимаешься, товарищ Гусев? А сколько правительство наградило старых инженеров? Это, брат, не здоровый уклон! Я понимаю, редакция сделала ошибку. Мы её можем в следуещем номере исправить, но вы-то из честного инженера уже хотите вредителя сдеалать!

– Нет, товарищ редактор, никакой перестраховки, – начал оправдываться Гусев, зная, что редактор может дело довести до бюро горпарткома и пришить ему нездоровый уклон, перестраховку и прочие "болезни" партийных руководителей. – Я хотел только выяснить это недоразумение. И, вообще, о Гасевском—я давно ставлю вопрос перед профорганизацией. Человек он, правда, беспартийный, старый инженер, но всё же работает начальником проектного бюро, с работой справляется, пора его выдвинуть. Только вот газета поспешила... А мы уже договорились провести его в, ударники...

– Это хорошо, товарищ Гусев нужно оказывается вашу профорганизацию встряхнуть!

– Мы так сегодня и сделаем, проведем Гасевского в ударники...

– Ну, вот всё и уладилось, товарищ Гусев, и никакой ошибки в газете нет. Зачем же, не понимаю, столько шуму из-за своей же безответственности?

– Профсоюзная организация у нас слабовата, встряхнуть таки нужно... так мы и сделаем...

Положив телефонную трубку, Гусев распорядился допечатать в список ударников инженера Гасевского. Трусливый секретарь пообещал только, но не дописал.

Директор треста, совсем далекий от внутренней жизни профсоюзной организации посмотрел на снимок в газете, прочитал статью о своем инженере-ударнике и пришел к нему в кабинет справиться о его здоровье.

– Как вы себя чувствуете, товарищ Гасевский? Отдохнуть хотите? Отпуск возьмете? Мы вам путёвочку в Крым или на Кавказ за счет треста...

– Нет, нет, товарищ директор, я подожду до лета, тогда уже поеду...

– Как хотите, а то бы можно было сейчас вссё устроить...

Директор уехал. Телефонные звонки продолжали выводить из себя Сергея Ивановича. Машинистка упорно молчала и старалась не

смотреть на старого инженера.

Наконец, рабочий день закончился. Гасевский даже обрадовался и стал быстро собиратъся домой. Вдруг телефонный звонок прозвенел особенно резко в опустевшем кабинете. Инженер остановился.

– Может быть, не ответить? А вдруг деловой разговор? – и он взял трубку.

– Это инжинер-ударник Гасевский? – прозвучал насмешливый голос в телефоне.

– Да, это я...

– Подлец! – произнес чей-то очень знакомый голос, и Сергей Иванович услышал звук опущенной на телефон трубки. Кровь прилилась к голове. Возмущение и негодование смешались с чувством обиды, незаслуженного оскорбления. Он начал вызывать центальную:

– Алло... Алло... Центральная?

– Двадцать четыре, – гнусаво ответила телефонистка.

– Откуда сейчас звонили в трест?

– Из хлебозавода.

Гасевский бросил трубку. Звонить было бесполезно. Он знал очень хорошо, что там у него никаких знакомых не было.

С опущенной головой он медленно брёл домой, перебирая в памяти всех знакомых, которые могли бы так жестоко посмеяться над его «ударничеством».

А «подлец» жил внутри и не давал ему покоя. Тяжелые оскорбления помнятся иногда всю жизнь и мучительны они бывают, главным образом потому, что человек о них не может рассказать другому, разрядиться от них. Так и Сергей Иванович продолжал ходить на работу, составлять проекты и объяснительные записки к ним, а «подлец» не унимался, терзал его душу, не давал спокойно жить.

Через полгода Гасевского ночью привезли из дому в НКВД и бросили в тёмную и тесную камеру, в которой было уже полно. Ощупью выбрав более менее свободное местечко, старый инженер уселся на каменном полу и до утра думал: «За что?»

Он перебирал все недоразумения, которые возникали на работе, но не находил ни одного, которое могло бы служить поводом для обвинения его во вредительстве. Он знал хорошо, что вредительство было самым модным обвинением при аресте инженеров, поэтому упорно искал хотя бы косвенной причины внезапного заключения, но

тщетно перебирал он все свои проекты до утра! Кроме одобрения и утверждения центром их он вспомнить ничего не мог.

Весенний рассвет едва пробивался в камеру через узкое окошечко. Начали вырисовываться спавшие заключенные. Лиц их еще не было видно, но вздрагивающие тела, стоны или несвязные выкрики говорили Сергею Ивановичу о предстоящих тяжелых испытаниях.

Вдруг из середины неясных тел медленно поднялся человек и начал осторожно пробираться между, спавшими. Сначала его трудно было распознать, но когда он стал ближе подходить к нему, Гасевский увидел небритое лицо и блестящие глаза. Человек подошел совсем близко и прошептал:

– А-а-а, подлец! Инженер-ударник Гасевский попался! – и беззвучно захохотал.

Сергей Иванович вспомнил хлебозавод и знакомый голос.

– Петя! Петенька! Да что ты! Голубчик! Пощади! Пощади меня, ради Бога! Никогда я ударником не был! За что ты так обидел меня?!

– А газетка с вашей фотографией? С зажиточной жизнью?

– Петя, Петя, постой, замолчи, я объясню тебе всё, никогда я ударником не был...

– А газета?

– Ну, садись вот тут. – Сергей Нванович забился еще дальше в угол, уступая место товарищу школьных лет. «Я тебе всё расскажу без утайки, – и он забыв о том, что сидит в подвале НКВД, стал горячо говорить о том, что он именно не хотел быть подлецом. Когда старый инженер кончил, его приятель снова безвучно рассмеялся.

– Ну, тогда, Сергей, прости меня. Хлебозавод – это выдумка. Я же всё время в управлении железных дорог, ты же знаешь... Только ты громко не смейся... Здесь этого не следует делать... Могут определить сумашествие и... расстреляют...

– За что же тебя? – тихо спросил Гасевский.

– За то же самое, за что и тебя, Сергей. Или по доносу... или по разверстке...

– Смеяться, говоришь, нельзя?

– Да и не от чего... Но бывают такие... Отчаянные... Чтобы скорее рассчитаться...

– Срашная это штука?

– Какая? – не понял приятель.

– НКВД?

– Не то, чтобы страшная, но не всякий выдержит...

Просыпающиеся начали наполнятъ камеру сдержанным шумом. Начинался день мучений, допросов, пыток. Гасевский следил за страдальческими лицами и нервно ожидал вызова на допрос.

Гасевский исчез из треста. Но он увлёк за собою добрый десяток «ответственных товарищей» с партийными билетами, «притупившими классовую бдительность». Горпартком, трест и редакция были разгромлены. Юркий чертёжник испугался не на шутку и стал уходить от общественной работы. Наконец, арест машинистки Веры Александровны заставил его поскорее убраться из треста.

Вера Александровна должна была дать только один ответ следователю НКВД: «Кому она печатала нелегальные, контрреволюционные письма Гасевского?» Но так как она этого сделать не могла, ей пришлось перенести слишком много от садиста-следователя. Девушка была с твёрдым характером. Она не подписала ни одного протокола дознания, и через семь месяцев была освобождена.

Прошло несколько лет. Приятели снова встретились, но уже в иных условиях, за границей, в лагере для беженцев, и, вспоминая прошлое, смеялись громко, без боязни, что их примут за сумасшедших... и расстреляют.

А в другом лагере машинистка встретила юркого чертёжника, однажды попросившего её руку.

– Нет. – сказала Вера Александровна, – Я хочу подышать свежим воздухом... а в вашем присутствии я задыхаюсь, как на собрании в тресте...

Чертёжник понял, на что намекала молодая женщина и не решался оправдываться, потому что знал, что ни одно его слово не сможет вычеркнуть из его прошлой жизни советский карьеризм, который он, правда, сам разбил после «дела Гасевского».



ЛЯМПА

Товарищ Буквоедов приглашение получил. Как отказаться, ежели вас приглашают? Невозможно это. Да и воспитание у товарища Буквоедова не соответствует такому, можно сказать, хамскому отношению к приглашению. Знал он конечно, что добра от такого посещения ждать не приходится, потому заведение это такое, что туда двери сами открываются, а вот оттуда – извините, может счастье кому на роду приписано или, может, человек муки мученические готов воспринять. Одним словом, редко эти двери открываются. Чрезвычайно редко.

Примечание вот только было у товарища Буквоедова. Не из благополучных он. На поверхности аномалий, правда, не наблюдалось, но ежели взяться за его биографическое прошлое или потревожить прах троюродной тётушки двоюродного брата дедушки, то оно как-то духу времени не отвечает, потому дедушка этот на фотографии изобразился при шпаге и скобелевских усах, а двоюродный братец троюродной тётушки, вообще, юнкером представился, а сама-то тётушка троюродная – дамой при агромадной шляпе с эдаким пером да еще и при ожерелье!

Да и настоящее у товарища Буквоедова не совсем безупречно, потому работает он газетным корректором. А кто может, хотя бы и здесь, за границей, сказать, что корректор есьм человек грамотный? Никто, конечно, потому в каждой газетке пролетарской или буржуазной ошибки имеются. А почему ошибки имеются? Потому, известно, что весь род корректорский неграмотный. И если здесь читатель найдёт тысячу оправдательных причин его малограмотности или неграмотности по случаю спешки в газетной работе, то там этих причин не существует, потому пролетарий с партийным билетом человек грамотный в совершенстве а, главное, чрезвычайно требевательный к качеству работы. А эта требовательность имеет одну особенность – протетарий сей всегда и везде смотрит на ошибки, как на преднамеренное враждебное действие окончательно сгнивших интеллигентов. Вот и существует одна категория для таких случаев – вредитель!

Газетка, значит, городская издается на разнообразных языках. Однажды на русском. Другой раз – на украинском. Третий – на смешанном. То-есть, и на русском и на украинском. А украинский

язык тоже разнообразный. Сегодня, скажем, на западный манер, а завтра—по мудрому указанию свыше—шевченковский. Известно всем, что вождь-то гений в вопросах языковедения даже в негритянском языке, а не то что в каком-нибудь русском или украинском! Вот пляши польку-мазурку с правописанием «плякат» или «плакат»? одним словом, прямая и твёрдая генеральная так вращается, как у Жучки хвостик, когда ей обещают вкусную послеобеденную косточку. На что украинский просветительный нарком товарищ Скрыпник виртуозом был, а и он не поспел за этой самой генеральной и решил отправиться в неизвестность.

Вот а мыслишки у товарища Буквоедова не ахти весёлые: и прошлое во мраке красном зловеще выглядывает, и настоящее совершенно туманом покрыто. Но пошел. Потому дороги иной, значит, не существует.

Конечно, в заведении товарищ Олейников заседает. Картуз с красным околышем. Звёздочка красная с серпом и молотом. И даже, кажется, руки красные. Может, последнее только показалось товарищу Буквоедову, но он настойчиво утверждает, что в цвете он ошбиться не мог, потому, дескать, это не украинское правописание и, вообще, не петит какой-нибудь или корпус.

Олейников, этот товарищ, газетку показывает.

– Вы, – говорит, – грамматическое образование при себе имеете?

– Да-с, имею...

– Читать-то вы не разучились?

– Как будто нет...

– Ну, читайте-ка вашу продукцию вредоносную!

– «Лямпа», – прочитал уныло товарищ Буквоедов.

– Какая такая «лямпа» существует на текущий момент, ежели самолично дорогой и мудрый вождь наш гениально постановил писать исключительно «лампа»? Это что же, за Скрыпником следовать желаете?

– Нет, товарищ Олейников, за вами! – совершенно смело заявил товарищ Буквоедов.

Возмутился товарищ Олейников, по столу кулаком постукивает, симпатичными словами покрикивает:

– Ты что же это... к прадедушке своему желаешь? Или ко врагу нашему всеобщему Скрыпнику?

А товарищ Буквоедов героем держится, не сдаётся. Не боится,

одним словом. Другой бы на его месте: «Да я, да мы...» А он ничего. Стойко выдерживает возмутительное настроение, и серп и молоток ему ни по чём!

Оговорится требуется. Товарищ Буквоедов болезнь одну получил, когда в корректоры определился: всё и везде читает. Плакаты, вывески, стенгазеты таблички разные на учреждениях и в заведениях – всё ошибки ищет. Тренируется, так сказать. Ну, а заведение, в котором товарищ Олейников заседал, занимало бывший дом купеческий. В этаже нижнем, где когда-то магазинчик купеческий существовал, красный уголок образовался, а на витринке – первомайский лозунг на чистейшем украинском языке прописан белой масляной краской: «Хай живе соціялізм!»

Вот когда товарищ Олейников высказался или заморился, товарищ Буквоедов и пригласил его полюбоваться на эту бывшую купеческую витринку.

Вышли они вдвоём. Понабдюдали. А товарищ Буквоедов и спрашивает:

– А как же мне-то теперь быть, ежели я и сам не знаю, живу ли я при социализме или при «соціялізме»?

Ну, и разошлись. Потому крыть, как говорят, товарищу с серпом и молотком нечем было. Только на прощание товарищ Олейников на каком-то языке высказал некоторую «любезность». Товарищ Буквоедов понял, конечно, её, только по корректорской привычке в печать не допустил. Да и шрифта соответствуещего не оказалось. Потому это вроде аншлага.



УМНЕНЬКИЙ РЕДАКТОР

Редактора назначали в редакцию Н-ской газеты – Ивана Васильча Зауменко. Пришел он на место своей новой работы в редакцию. Обошел все комнаты, коридоры, зашел в архив, к машинистке-радистке, спустился вниз, в типографию, заглянул в контору издательства. Молча. Ни одного звука не произнёс. Даже «здравствуйте» никому не сказал. Вернулся в себе в кабинет. Двери закрыл. Заседает.

Сотрудники редакционные не то, чтобы испугались, но задумались. Метла-то новая. По новости и мести может чисто. А секретарь ответственный был из бойких. И фамилия была у неге такая бойкая: Пройдохин товарищ. Подышал он через форточку оконную свежим воздухом и решительно направился с папкой «Для доклада» к редактору. Нужно было. Обязанность у него такая.

Подошел к двери. Постучал и ждёт, когда звук какой-нибудь донесётся из кабинета. Тишина. Подумал, подумал товарищ Пройдохин и открыл двери, потому, возможно, редактор глуховат немного или говорит шопотом. А, может, и в кабинете его уже не существует. Ан, глядь, заседает. Ну, делать теперь нечего. Двери открыты. Зашел.

– Дела вот неотложные для доклада имеются, товарищ редактор...

Редактор молчит.

Положил папку секретарь на стол. Зауменко посмотрел в дела, закрыл папку и молча отодвинул от себя. Повернулся секретарь и ушел.

Все сотрудники, конечно, к нему.

– Как редактор? Что он? Какой он?

– Гдухонемой! – торжественно ответствовал товарищ Пройдохин.

И пошла эта весть моментально по всему громадному издательству. Даже охранники на контрольной через минуту знали, что редактор и глух, и нем.

Парторг издательства забеспокоился. Как же это на таком посту

ответственный товарищ глухонемой?! Позвонил в горпартком. Без возмущения, безусловно. А так, будто между прочим.

– Чего-то новый редактор наш помалкивает всё?

А ему завагитпропом:

– Ты что, товарищ Начётчиков, человек, можно сказать, комакадемию закончил, а ты некоторые подозрения начинаешь высказывать! С делом знакомится. Ум выдающийся!

Пережил в себе парторг слова неприятные, никому не сказал ничего. А наблюдения свои всё же не мог прекратить. Потому долг у него такой перед партией. Наблюдать.

Три дня и три ночи заседал новый редактор, газеты подписывал, а слова никто от него не услышал.

На четвёртый день секретарь снова пришел с докладом. Дело было неотложное. Ошибка в газете случилась. По вине, конечно, корректора. Доложил. Молчит редактор. В бумажки свои смотрит. Спрашивает товарищ Пройдохин:

– Разрешите корректору выговор записать?

Молчит редактор. Только головой кивнул в знак согласия.

Вышел секретарь из редакторского кабинета, а через пять минут всё издательство знало, что редактор не гдухонемой, а только немой.

Так товарищ Зауменко кивал три дня и три ночи, и вера в его физический недостаток не только крепла, но и укреплялась.

Однако, через три кивательных дня редактор вдруг заговорил. Явился, как обычно, к нему с докладом секретарь товарищ Пройдохин. Только в двери, а редактор шаляпинским голоском:

– Собрание! – Рявкнул и папку с делами для доклада в сторону бросил.

Минут через десять большой редакторский кабинет заполнили все сотрудники редакции. Вот тут-то они и рассмотрели впервые своего нового начальника и убедились в несостоятельности всех своих предположений.

Редактор был среднего роста, широкоплеч, с большой головой (признак ума) и громадными руками, носил причёску «а ла Ленин», усы – «а ла Сталин», а очки, как начальник одного из областных отделений НКВД – большущие толстые стекла заключённые в тяжёлую массивную чёрную оправу из пластмассы. Говорил прямолинейно, с захватом, часто изрекал цитаты из различных учёных социалистических томов бывших и настоящих светил марксизма и всегда ожидал бурных оваций после окончания своей речи. Но и в

средине вдруг останавливался в патетических местах, желая доставить удовольствие сотрудникам громкими аплодисментами покрыть его речь, но никто, к сожалению, не догадывался усладить редакторский слух хотя бы одним ударом своих партийных ладоней.

Что же касается беспартийных, то они, как всегда, робко поглядывали на авангард редакции, и не смели позволить себе какой-нибудь «отсебятины», чтобы не искривить как-нибудь генеральную.

Первая речь редактора к подчиненным сразу произвела большое, даже неизгладимое впечатление на всех сотрудников редакции. Она началась не приблизительно, а точно так:

– Трам-тарр-ра-ррам-там-там-там! – длиннейшим непечатным приложением, после которого редактор заговорил уже более членораздельно, и остановить его невозможно было в течение двух с половиной часов.

Сотрудницы с партбилетами улыбнулись, сотрудницы без оных, зардевшись, устремили свои прекрасные взоры в пол, сотрудники с партбилетами в знак солидарности и серьёзности положения наморщили лбы, а безбилетные потянулись носами к открытому окну, но все решили:

– Умён!

– Чрезвычайно!

– Никаких физических недостатков!

– Выдающаяся личность!

Даже парторг товарищ Начётчиков подумал: – «Да-а-а-а, комакадемию редактор закончил блестяще!»

С тех пор всем было известно, что Зауменко не просто умный человек, но до известной степени, гений. Одним словом, необыкновенная находка для города.

А что, ум был необыкновенный у редактора, так об этом знала лучше всех рассыльная Андреевна, ведавшая архивом.

– Что, – говорила она, – другие редакторы ежели списывали передовую, так с какой-нибудь одной газеты: возьмут «Правду» или «Известия» за месяц или за год, и им достаточно, а, «этот» затребует все газеты да еще за пяток лет! Вишь, как умён!

Секретарь же прибавит:

– Ежели в понедельник начнёт писать передовую, то к пятнице обязательно кончит...

Умненький редактор был. Но спокойным оказался. В биографических дебрях сотрудников не копался.



ПРОКУРОР

Личность заболела. Ответственная. По бдительности. Должность такая – бдеть неусыпно. И вот, пока личность была здорова, все было хорошо. Даже очень хорошо. Бдела. А тут болезнь приключилась. Температура и все такое прочее. И слегла личность. В постель, конечно. Тут и бдение само по себе прекратилось. Видно, температура виновата. И вдруг личность мыслить начала! Вероятно, потому, что бдеть негде было. Даже страшно как-то стало личности – в жизни никогда не мыслила, а тут – на тебе! Одна за другой мысли так и побежали! Угонись за ними! И все началось с бдения!

«Подумаешь, физиономия у этого дурака Коптилкина недовольная! И из-за чего? Ночь в очереди за хлебом пришлось ему постоять!» Поскакали мыслишки о соседях беспартийных. «А что же ему нужно? Самому спать с бабой своей, да еще, может, и в обнимку, а всю ВКП(б) поставить в очередь, чтоб ему на утро хлеб на расписном блюде подать?» И вот тут-то мысль зацепилась все же за бдение: «А почему, собственно говоря, в ВКП(б) маленькое «б», да еще и в скобках?»

Но тут бдение личности остановилось от испуга: «Нет, нет, нет! ...Что я! Ведь Сам написал Историю ВКП(б)!» – личность даже оглянулась по сторонам – «Может, кто подсмотрел? Подслушал? Подумал, что он подумал? Да ведь о Нем-то и думать следует с большой буквы! А говорить и подавно!» И задрожал от подобострастия тяжело больной: «Он! Сам!» И так тихо-тихо произнес Его имя с большой буквы, что несмотря на температуру, даже улыбнулся. «Нет, лучше не болеть... будет легче... Спокойнее... Привычнее жить. А самое важное – не опасно! Бди только! Только – бди! И больше ничего не требуется от личности! А вот мыслить...» – и личность даже додумать до конца не посмела, побоялась.

Жена вошла. Супруга. В Загсе оформлена была по всем правилам. А на лице у нее – беспокойствие страшное.

– Что же это за порядки такие? Где же это ты был до сих пор? Не видел, что под самым твоим носом у тебя в районе делается? Утром вызвала врача, а вот уже вечер... Уж ты, Терентий Уварович, как выздоровеешь, так сразу же за них и принимайся! Вишь, где бдеть-то больше всего необходимо? Здесь вся твоя ВКП(б) в гроб легко

загонится вредителями!

Темнело, когда усталая, измученная женщина-врач, месившая целый-день грязь от одного больного к другому, появилась, наконец, в доме личности.

Ну, а личность что называется, при последнем издыхании вот-вот закончится. И мыслить перестала. Зато бдеть усиленно начала. Как, значит, врач его осматривает, как выслушивает, как выстукивает, вопросы какие-по существу или же по формальности для анкеты, какую медицинскую заботу проявляет по отношению к умирающей партийной личности – все на свой прокурорский ус наматывает.

– Да-да-да-а-а! – протянула женщина-врач, глядя на термометр. – Температурка у вас подпрыгнула. Около сорока...

– А нельзя ли в точности? – кончающаяся личность заинтересовалась.

– Тридцать девять и восемь. Пропишу вам аспиринчику. Пропотеете, а там и все пройдет.

– А болезнь каковая? – строго, сухо спросил, как на процессе вредителей.

– Да какая ж по такой погоде болезнь? Грипок. Половина вахты болеет! И на работу ходят. А вы, раз имеете возможность полежать, счастливый человек!

Ушла женщина-врач к следующему больному. Личность осталась с подозрением. Бдеть нужно. А с температурой в сорок не особенно далеко уедешь!

Жена пошла грязь месить в аптеку. А личность, то ли от скуки, то ли от подозрения, снова начала мыслить:

«Партия ВКП(б) проявляет отеческую заботу о них! А они что? Утром вызывают к заболевшему члену партии, а они вечером являются! Да еще и с прохладцей выслушивают! А потом так спокойненько – «грибок у вас!!» – То есть, какой такой грибок? Где? В каком именно месте? Почему грибок? Дознать! Непременно дознать!» – взбудоражился прокурор. – «А все же, почему маленькое «б», да еще и в скобках? ...Ах, да, Он Сам Историю ВКП(б) написал.» – испуганно пролепетала личность, успокаивая себя, – «Хорошо, что тут никого нет... Даже жены...»

А ведь страшно на самом деле. А вдруг кто услышал? Прочел «мысли» личности? Даже как-то не представлялось, что бы такое могло получиться ужасное! Но получилось бы! Уж кто-кто, а прокурор знает!

На другой день женщина-врач пришла навестить личность.

– Ну, вот, температурка у вас и снизилась... Дело идет на поправку...

– Сколько? – сухо, резко спросил, как во время допроса.

– Тридцать восемь и восемь... Еще надо попить аспиринчику...

– То есть, это вы что же? Личность я вам живая или же организм беспартийный? Партия о вас отеческую заботу проявляет, а вы о партии??? Или вы не докторша, а враг народа? Что же вы? До сих пор не знали, что один порошок аспирину снижает температуру на один градус? Почему не предписали мне сразу три для восстановления нормальной температуры?

Женщина-врач хотела объяснить, успокоить больного, что-то ему сказать, но личность уже кричала в телефонную трубку:

– Центральная! Центральная! Да что вы, чёрт бы вас всех там побрал, спите, что ли? Тут личность, можно сказать, помирает, а вы... Дайте мне немедленно главврача поликлиники! Немедленно! – заорала раздраженная личность и села на свою постель, опустив ноги на медвежью шкуру.

– Это ты, товарищ Гордон? Ты, товарищ Гордон? Слушай, товарищ Гордон! Товарищ, Гордон! Ага, это ты? Слушай Лев Абрамович, что это за работнички у тебя собрались такие? – и начала личность излагать суть дела своего, как в протоколе дознания, – А почему бы не прописать больному сразу трех порошков аспирину? – закончила, наконец, свое возмущение прокурорская личность и застыла над урчавшей телефонной трубкой, потом медленно положила её на телефон, легла и выключила свет...

Женщина-врач и верная спутница прокурора тихо вышли из комнаты.

В жизни никогда не мыслила личность, а тут – не то от безделья, не то от болезни, снова начала мыслить: «Может, они все там в поликлинике враги народа...» И перед глазами замелькали статьи кодекса – какую следовало бы прописать. «Вредители... И главврач вместе с ними! Этот самый Гордон! Товарищ!» – с отвращением тихо произнес он. «Хоть он, правда, и член ВКП(б)... А, все же, почему маленькое «б», да еще и в скобках?» – испугавшись снова появившихся крамольных мыслей, стал успокаивать себя: «Да ведь Он же Сам написал Историю ВКП(б)! ...А дознать все таки нужно будет, что это за болезнь такая – гриб... И, вообще, где он произрастает в личности?»

Ночь прокурор Сталинского района Сталинской области спал очень неспокойно. Процесс видел во сне. На скамье подсудимых сидел он сам, рядом – гриб какой-то, в свидетелях – порошок аспирина, а на

прокурорском кресле восседал Он Сам с большой буквы. И допрашивал Он Сам только одного свидетеля – гражданина Аспирина очень тщательно. Умело. А потом обратился к личности:

– Подсудимый Бдельников! При каких обстоятельствах вы начали мыслить? Расскажите все по порядку и чистосердечно, почему вы вдруг начали мыслить относительно «б» маленького, да еще и в скобках?

Личность забыла вечером выпить порошок аспирина, но пропотела за всю ночь отлично и без него!



СЛУЧАЙ С КРОВАТКОЙ

Кроватки, конечно, разные бывают детские, скажем, или для взрослых, одинарные, полуторные или двуспальные, на пружинах или без, металлические или деревянные, одним словом, как мы уже сказали выше – разные. А иногда их и вовсе не бывает, как, например, у счастливых колхозников.

– Как? – спросит у нас удивленный иностранец.

– Да так, милостивый государь, не бывает –за какие-такие наличные счастливый колхозник может купить краватку? Да и не ехать же ему из-за какой-то не весьма необходимой вещью в Москву или Ленинград, где вашему иностранному вниманию представлены сии не первой необходимости вещи в разряженных витринах ГУМов!

Ведь этому счастливому колхознику важнее купить кусок насущного хлеба! А переспать можно всей семьей и на печной лежанке! В тесноте да не в обиде, говорит русская пословица.

Случаи тоже разные бывают. Смешные, печальные, поучительные или бессодержательные, как речи товарища маршала всесоюзного Буденного.

В ученом мире случаи определяют словами иностранного происхождения: комические, траги-комические, трагические, драматические... Какой именно случай произошел с кроваткой, предоставим судить читателю, так как мы по многим причинам затрудняемся как-нибудь квалифицировать его.

В наши времена известно даже младенцам, что в самой наидемократической стране существует только и исключительно материалистическое мировоззрение для простого объяснения всевозможных случаев, поэтому мы имеем полное право воспользоваться вышеуказанной терминологией и в настоящем очерке.

На обширных советских просторах существовало два фактора, две вещи: первая – кроватка, вторая – товарищ Жуликов. От взаимодействия этих двух вещей произошел тот знаменательный случай, о котором читатель узнает ниже.

Товарищ Жуликов служил в ГПУ. Кроватка служила у товарища Жуликова. Товарищ Жуликов работал на чрезвычайно ответственном

посту, главным образом по ночам. Он ездил по всему подведомственному ему району и выполнял весьма важное задание партии и правительства. Короче – он работал по изъятию золота у населения. Задание это было огромной государственной важности и требовало от подчиненных ГПУ товарищей жуликовых большой сноровки, умения видеть под землей и сквозь стены, собачьего нюха, некоторых ораторских способностей и владения огнестрельным оружием.

Следует сказать, что товарищ Жуликов оказался на высоте положения в деле изъятия драгоценностей. Пожалуй, он был одним из самых способнейших агентов ГПУ если не на весь советский союз, то, во всяком случае, на весь свой район.

Как политически подкованный и вполне сознательный член всесоюзной коммунистической партии, он превосходно знал учение Маркса-Энгельса-Ленина и их последователя товарища Сталина. Знал настолько хорошо, что мог в любую минуту дня или ночи сказатъ какому-нибудь малограмотному инженеру или врачу, на какой странице сочинений Ленина приведены слова дорогого вождя о золоте. Не раз он напоминал несознательным гражданам, укрывавшим от государства царские пятерки, что при социализме, из золота будут строить уборные! Так по крайней мере говрил сам вождь мирового пролетариата, и эти его слова товарищ Жуликов знал великолепно.

Знал он эти ленинские слова так хорошо потому, что ни в доме, в котором он жил, ни во дворе не было уборной, потому что приходилось бегать в соседний двор, что было до невероятности неудобно. Это неудобство вызывало страстное желание иметь свою уборную. Уборная становилась его мечтой и когда товарищ Жуликов начал ответственную работу по изъятию золота, то, естественно, что у него появилась практическая мысль осуществить заветы Ильича на практике пусть не в отдельной взятой стране, то во всяком случае в отдельно взятой семье построить социализм.

Принимая во внимание всю секретность по изъятию ценностей у населения, товарищ Жуликов имел возможность делиться ночной добычей с государством, которому он сдавал, в зависимости от обстоятельств, от 25 до 50 процентов чистого дохода. Несданную часть он решил копить, как строительный матерьял для социализма в своей семье, т.е, для постройки золотой уборной. Вот в этом накоплении и приняла участие его замечательная кроватка.

Какая она была? Самая обыкновенная, ширпотребовская, т. е., не совсем обыкновенная. Не рядовая, так сказать. Это была металлическая кроватка на четырех ножках, конечно, с сеткой. Спинки её были изготовлены из тонких труб, пустота которых облегчала её

вес. Выкрашена она была в нежный кремовый цвет, в некоторых ответственных местах она блестела никелем. Вообще, художественная была кроватка и еще следует прибавить ко всему, была она двуспальной.

Когда товарищ Жуликов принес домой первый строительный матерьял для будущей уборной, перед ним встал вопрос, как скрыть его от своей собственной возлюбленной супруги, которой доверять тайну особой государственной важности он не смел. Взгляд его во время этих размышлений пал на кроватку. Он опустился перед ней на колени и начал исследовать её красивые ножки.

Исследования дали великолепные результаты. Отверстия в ножках как раз соответствовали размерам царских золотых!

С этого дня началась лихорадочная деятельность товарища Жуликова. Каждый раз, приходя домой после напряженной ночной работы, он, аккуратно укладывал строительный матерьял для социалистической уборной в свою прекрасную кроватку и плотно закупоривал отверстия пробками. Его совсем не беспокоило, что кто-то может узнать его государственную тайну, так как о ней знал, только он и его двуспальная кроватка, ибо во время. операций по засекречиванию царских пятерок больше никого не было в его квартире: его узаконенная в сожительстве добровольном супруга в это время всегда находилась при исполнении служебных обязанностей в своём учреждении и не могла знать, что делается дома. Так собирал строительный матерьял товарищ Жуликов в течение довольно долгого времени.

Он питал надежду на удачное построение социализма в отдельно взятой семье, и если бы, не случай, то этот самый социализм восторжествовал бы! А случай всё же произошел, и произошел не по вине товарища Жуликова. Квартирку получил товарищ Жуликов. Новую. Совершенно новую. Настолько новую, что даже краска не успела высохнуть на дверях и подоконниках и приставала к платью новых владельцев, нечаянно прикасашихся к тем или иным её частям.

Конечно, никто во всём городе не удивился, что товарищ Жуликов получил совершенно новую квартирку, потому что все понимали, что в первую очередь новые квартирки получали наиболее ответственные товарищи, которым требовался соответствующий отдых после напряженного труда, уединение для обдумывания проблем социализма на сегодняшний день или для проведении традиционных политических празднеств в уютной домашней обстановке в своей партийной среде. Никто поэтому не удивился и тому, что на главной улице города появились дроги со скарбом товарища Жуликова.

Двигаются дроги медленно, важно, с чувством чрезвычайной ответсвенности за перевозимое жуликовское добро; двигаются неспеша, вздрагивая всем скарбом, когда колеса перескакивают с булыжника на булыжник мостовой, или мерно переваливаются, когда дроги попадают в выбоину. На дрогах восседает кучер, за дрогами следует сам владелец перевозимых вещей товарищ Жуликов, зорко поглядывая своими опытными глазами на драгоценную кроватку...

«Что же!» – думет товарищ Жуликов, – «В новой квартире уборная на лицо имеется... И золота, собственно говоря, не требуется теперь... Но не сдавать же его начальству?! Да и впереди всё может случиться... Может, переведут в другой город, где уборных, вообще, никогда и не существовало! Вот и пригодится накопленный матерьял для строиттельства социалзизма!»

Вдруг дроги прыгнули задними колесами в глубокую выбоину, за ними прыгнул весь скарб товарища Жуликова с такой силой, что пробки, которыми плотно были закупорены отверстия в ножках кроватки, выскочили и вслед раздался благородный звук благородного металла. Солнечные лучи весело играли на царских пятирублевках...

Произошел случай. Какой? Конечно, образовалась толпа. Беспризорники улюлюкали и быстро собирали строительный матерьял. Взрослые члены образовавшегося уличного коллектива выражали не меньший интерес к золотому запасу товарища Жуликова, чем беспризорники. Они недвусмысленно, намекали на какие-то темные делишки перевезимого скарба. Отовсюду слышались оскорбительные голоса и насмешки, слышалась самая настоящая русская брань – многословная и сочная...

А дроги продолжали двигаться также медленно и важно, будто ничего не произошло с имуществом товарища Жуликова... Только не было видно самого владельца скарба, шедшего ранее за дрогами. Он незаметно скрылся в глухом переулке...

Наконец, дроги свернули в ворота такого учреждения, к которому даже беспризорники боялись приблизиться. Толпа моментально растаяла...

Случай стал всё же известен начальству, и товарищ Жуликов вскоре был переведен в другой город. Были ли в том городе уборные или их не было – нам неизвестно, как неизвестна и новая деятельность товарища Жуликова. Построил ли он социалистическую уборную в новом городе или пользовался старой, капиталистической, построенной еще до распрекраснейшей революции – для нас осталось тайной.

А вот касательно самого случая, к какой именно категории он относится, то мы представляем судить самому читателю.



УМЕЮЧИ

Что, за удивительное существо человек! Что с ним не делают, какие эксперименты не производят, а он, хоть бы хны! Всё норовит по-своему, и всегда обойдет всех своих доброжелателей от мала до велика.

Вот подумайте над чувством собственности. Ведь кажетея, ясно и младенцам теперь, что это сквернейший буржуазный предрассудок, с которым пролетарская власть борется сколько лет, а он, оказывается, жив, и, что важное, мучает русского человека до тех пор, пока он его не ублаготворит.

Да, вообще, что говорить о борьбе пролетарского правительства с ним. Мужи социализма, глубочайшие умы которых изобрели распрекраснейшие системы бесклассовых обществ, посвятили громадные томы проблемам опустошения человеческих душ, наикрасивейшие изречения которых стали символом веры всех обезумевших их последователей, остались одиноки со своими партийными товарищами, взявшимися горячо превращать теорию в практику.

Даже самый выдающийся из них, возвеличивший себя вождём мира, ни своею гениальною мудростью, ни своею мудрой гениальностью не смог побороть самого обыкновенного, самого простого русского человека. И интересно то, что чем проще был этот русский человек, тем более бессильной оказывалась мудрость и гениальность вождя.

А оказалось это был простой русский человек, на глазах которого уничтожали самыми зверскими способами сначала помещиков, буржуев, контрреволюционеров, золотопогонников, потом кулаков, подкулачников, врагов народа, о Боже, сколько разных недругов этого самого социализма, который должен был бы осчастливить человечество. Со своею детски наивною душою должен был только из-за одного страха перед смертью, мучениями ссылок, он, простой русский человек, должен был безропотно воспринять те новые формы общественного уклада, которые годами вбивались в его жизнь. Оказалось, что и самый наибеднейший бедняк и самый наипростейший рабочий стали врагами. Оказалось, что косность и консерватизм были сильнее смерти и концлагерей.

Расстреляв бывших помещиков и буржуев, уничтожив золотопогонников, скрутив в бараний рог интеллигенцию, бился, как рыба об лёд, добродетельный «отец народов» над русским человеком уже не только простым, но и упрощенным, но вся его мудрость, вся его гениальность оказываются нулём перед душой самого обыкновенного смертного.

Вот теперь и попробуйте поставить в добавок преграды обыкновеннейшим житейским стремлениям человека!

Что произошло в кремлёвских палатах, трудно сказать: может быть, услышали вопль уплотненного в жилкооповских домах человека; может быть, страшный сон владыке красному приснился; может быть, народные денежки уж так растратили на мировую революцию, что и на строительство социализма ничего не осталось – это, собственно говоря, и не интересовало обывателя, но разразилось это сборище кремлёвекое новым постановлением об индуальном жилищном строительстве, по которому, овеянные лаской партии, рабы-верноподданные облагодетельствовались и кредитами, и субсидиями и всякой помощью. Строй, одним словом, а государство тебе всей душой!

Но душа-то у этого государства, что мыльный пузырь. Рассыпалась перед рабом мелким бесом и лопнула. Кто поближе был к теплым местечкам, сиречь, складам, деньгам, к власти, тот возвел хоромы себе и капиталов, можно сказать, своих не тронул. Но как быть простому смертному? Ни власти, ни денег, ни теплого складского местечка нет, а желание иметь свой собственный клочек земли в виде усадьбы, уют в виде домика у него не меньший, чем у этих правоверных глашатаев социализма при партийных билетах, которые с необыкновенным энтузиазмом набросились на выполнение знаменитого постановления об индивидуальном стороительстве. Они-то были, как и следовало ожидать, и здесь самые первые.

Но задумался над строительством и обыкновеннейший раб Золотарёв Кузьма, недавний мужичек из ближайшей деревни, а теперь просто заводской сторож. Как же быть? Жилкооповская комнатушка так осточертела, соседи так опротивели, что нет сил уже терпеть. Шум, смрад, скрипучие двери, разбитые окна, потолок в пятнах от протекавшей во время дождей воды – всё это наводило тоску еще больше.

– Построю домишко! – сказал он однажды жене своей Христине.

– Ты что, Кузьма, в уме ли ты своём? На еду денег не хватает, сапоги не за что починить, а ты про дом мечтаешь!

– Ты, Христина, баба! А баба, иввестно, дура! Кто теперъ за

деньги дома строит? Буржуев теперь нет. А пролетариату ежели позволено строить, так нужно понимать, как это делать. Умеючи всё нужно! Умеючи!

И начал раб Золотарёв Кузьма строить умеючи. Со следующего дня он с пустыми руками и карманами домой не являлся: гвозди, старая дверная петля, проволока, палка брошенная на дороге, ящик, жести кусок, колосник найденный на свалке – всё тащил в жилкооповский свой сарай, пока не получил, наконец, участок, на котором должен был строить дом. Первым делом из найденных матерьялов выстроил сарайчик, в который снес весь оставшийся запас, огородил свою усадьбу шестами и палками, обкрутил их проволокой и начал копать. Вырыл яму для погреба, под фундамент дома канавки приготовил и даже успел до осени ямки для деревьев сделать. А в плохеньком сарайчике накапливал стройматерьял...

Долгая теплая осень позволила много сделать ему в своих владениях. Во-первх, с женой он рассчистил усадьбу от бурьяна и насадил фруктовый сад; во-вторых, выстроил погреб на настоящем цементе, который приносил украдкой с завода в карманах.

Когда погреб был готов, Кузьма посмотрел на плод своих рук и сказал жене:

– Что, Христина, «батько» хитёр, а мужик еще хитрее? Вишь, какое строение вывели?!

– Без бабы, Кузьма, не построил бы! Ты с завода, а я со всего города тащу!

Знал Золотарёв, что жена его своими собственными руками насобирала кирпич в окружности. Где найдёт половинку, четвертушку – всё несёт «домой».

– А ты говорила, что сапоги не за что починить! Время, вишь, какое. иной раз на еду денег нет, а на дом всегда есть, потому теперь социализм!

И Христина уверилась, что время, действительно, иное.

С наступлением зимы Золотарёва вдруг перевели в заводской транспорт. Стал он ездить на станцию за грузом для строительства нового цеха. Был тут и кирпич, и доски, и гвозди, была черепица, стекло, было, одним словом, веё что нужно было ему для домика. И путь-то лежал мимо усадьбы. Как тут не соблазниться? Само в руки, как говорят, просится, а ты будешь отказываться, что ли? Ведь не глуп возчик настолько, чтобы всё отвезти на завод. Ведь не он один, а все так делают. А ему совсем способно: остановится на минутку против своей усадьбы, сбросит пяток или десяток кирпичей или охапку черепицы в снег и поедет дальше.

Так, в сарайчике за зиму собрались, доски, брёвна, оконные переплёты, стекло, лутки, а за неказистым его строением – штабеля кирпичей и черепицы.

– Умеючи всё делать нужно, – каждый раз говорил он жене, собираясь утром на работу.

По воскресеньям приказывал:

– Ты, Христина, мёду купи на базаре...

– Яичек десяток, – добавляла она.

– Масла свежего деревенского...

А в понедельник утром явится с подарком к заведующему складом стройматерьялов:

– Степан Иванович, это вам свеженькое, из колхоза гостинца привезли мне.

– Спасибо тебе, – Золотарёв, сколько ж тебе за это? – спросит заведующий, зная, что рабочие денег от него никогда не возьмут.

– Ничего, Степан Иваноныч, мне оно ничего не стоит, – а вам это за доброту вашу...

– Что ты, что ты, Золотарёв, теперь не старое время, чтобы начальству...

– Нет, нет, Степан Иванович, уж мы так привыкли: к нам человек всей душой, и мы к нему также.

Ранней весной Золотарёв с женой в жилкоопской комнатушке не сидели. Христина грядки копает, а Кузьма матерьял подготавливает.

Как-то Кузьма своему начальнику «колхозный гостинец» принес и спросил между прочим:

– Мне бы, Степан Иванович, извести маленько... Домик я строю...

– Почему нельзя? Вот будешь парторгу возить – он тоже строится – завези себе пару повозок... – ответил задобренный начальник.

А Золотарёв рад стараться, навозил себе извести больше, чем парторгу.

Когда всё было готово к строительству, Кузьма взял отпуск и принялся за работу. Чуть-чуть забрезжит рассвет, а он с Христиной уже у себя на усадьбе. За две недели отпуска не только фундамент вырос, но и стены начали показываться над землей. Каждый работал за четверых.

«Нет» думает Кузьма «время упускать нельзя, погода сама говорит, что строиться нужно.»

Пошел в поликлинику. Принес «колхозный гостинец». Просидел полдня в очереди к врачу, но недаром. Вышел от него с какой-то непонятной болезнью, рецептами и бюллетенем на три недели. Рецепты скурил, а бюллетень в заводскую контору отнёс.

Так «болел» и строил свой домик раб Золотарёв до самой осени. Когда кухня была готова, когда задымила труба от разведенного огня в печи, он сказал жене:

– Ну, Христина, эту зиму в кухне проживем...

Через несколько дней Золотарёвы покинули навсегда жилкооповское жилище.

В течение зимы Кузьма работал в свободное время в недостроенном домике, а к весне расширил свои владения еще на три комнаты.

На первый день Пасхи он устроил новоселье, пригласив и своего начальника. Пьяный Степан Иванович говорил Кузьме:

– Видишь, Золотарёв, время теперь того... уж слишком... затруднительное... Это не то, что при старом режиме... пошел на лесной склад... досочку выбрал... Денежки заплатил – и твоё... А теперь, сам знаешь... Ни складов лесных... ни в пустых скобяных... Миллионы имей – домика не построишь!

– Понимаю, Степан Иванович. Да нам миллионы и не нужны... Лишь бы один хороший человек, как вы, например...

– Что ты, что ты, Золотарёв!

– Уж я по справедливости, Степан Иванович. Не вы бы с добротой вашей, мне бы и домика не построить... Сами понимаете, что не только доски простой купить негде, а и гвоздя в магазине не найдешь!

Так вот и выстроил на «колхозных гостинцах» раб Золотарёв со своею Христиною домишко, умеючи, не купив для него ни единого гвоздика...

А как же иначе?



ПРОЙДОХА

В известных кругах говорили:

– Вы только подумайте! Катька вышла замуж за коммуниста.

– Вы знаете, Катюша вышла замуж за партийца! Да еще какого! Секретарь!!

О, сколько было восклицаний первое время после того, как Катька не вышла замуж, а, рас-пи-са-лась в ЗАГСе с членом партии товарищем Козаренковым! И, кажется, не без оснований – подчеркивалось в других, тоже известных кругах:

– Рас-пи-са-лась! Тоже мне замужество! – и довольно грубовато добавлялось: – А что же вы хотели от этой девки – Катьки, партизанской дочки?!

Виновнице же события, так поразившего весь наш городок, и дела было мало до всех этих судов-пересудов: жених дал гарантию – полная свобода, ибо в коммунистическом обществе отношения между людьми, и в частности между мужем и женой, должны быть совершенно свободны от всяких предрассудков и пережитков прошлого.

Вторая гарантия появилась накануне «свадьбы», когда Катька хотела вручить будущему своему мужу продуктовые карточки.

– Что это? – удивился Козаренков, как будто не понимая, что означают цветные бумажки с печатными квадратиками. – Продуктовые карточки? Забудь, милая, ты вступаешь в общество будущего – ни, деньги, ни продуктовые карточки, ничего этого не нужно. То есть, ты будешь их иметь, но это для «тех», вид, так сказать, показывать, а на самом деле денежные знаки это – условная мера... э-э-э... нашей обеспеченности на данном этапе строительства коммунизма и... практически для нас с тобой безграничная... Видишь ли, вместо продуктовых карточек вот тебе пропуск в ЗЭР.

– В ЗЭР? Что это такое? Зверь какой, что ли? Испугаться можно...

– Тебе теперь, милая, пугаться нечего, – рассмеялся жених, обнимая свою Дульцинею. – Если бы это было даже ГПУ, то и это не страшно! А ЗЭР это – закрытый распределитель, где товары и лучше, и

дешевле и наши, и заграничные. И не забудь что в таком количестве, которого тебе вполне хватит! Но только, смотри, никто из твоих родственников или друзей не должен пользоваться всеми этими благами и не знать о них ничего! Это мои привилегии, которые я имею право разделить только с моею законной женой.

– Понятно, – согласилась Катька, заранее подготовленная к такому условию самой жизнью и подругой, вышедшей замуж за такого же партийного экземпляра.

Свадебный пир проходил как бы в тени от общественности, но не ради скромности молодых, а лишь потому, чтобы лишние беспартийные глаза не видели свадебного стола.

Со стороны Катьки присутствовала лишь мать, сестра, да по особому ходатайству её друг детства Митя Драз. У Козаренкова родственников – ни души, но двух верных приятелей он пригласил да техническую секретаршу – сухую воблу Капитолину Ступку.

Выпили, закусили, как-то неуклюже посмеялись, истуканами просидели до десяти вечера и стали расходиться. Сначала друзья жениха с плоскими, затасканными пожеланиями оставили квартиру, потом сестра с мамашей скромно удалились, скрывая набегавшие слезы, а друг детства Катьки вынужден был провожать домой сухую воблу, Капитолину Ступку. В общем все прошло очень тихо и спокойно.

Оставшись наедине, Козаренков стал проявлять законное право мужа.

– Что? – возмутилась Катька: – Спать с вами? Вы что, товарищ Козаренков? В своем уме?

– Да ты же теперь жена моя!

– Вы говорили о свободе отношений в коммунистическом обществе? Так вот смотрите, спать я буду сама!

– Ка-ак? – поразился необыкновенной смелости своей молодой жены секретарь.

– Оченно просто: вы можете спать у себя на кровати, а я и тут на кушетке могу примоститься...

– Подожди, милая, я что-то не понимаю...

– Да тут и понимать нечего: свобода в отношениях или несвобода?

– Да, но...

– Так вот, значит, свобода должна быть на деле! А то вы, вижу, до свадьбы только пропагандой занимались...

– Зачем же мы расписывались?

– Вы ж захотели? А я что? Нашла в вас такого мужа, который давал мне полную свободу, которая мне как раз и требуется! Ведь я, также, как и вы, против того самого «Домостроя», о котором вы морочили мне голову, когда ухаживали меня.

– Я не понимаю... Я женился... чтобы, ну, так сказать... семья, чтобы детишки...

– Детишки? Гм! Вы как раз говорили, что не любите детишек? А? Вспомните хорошенечко, товрищ Козаренков!

– Но ты-то вышла замуж, понимая...

– Что? Не нравится вам так? Берите завтра развод! – крикнула молодая жена, чтобы прекратить пустой разговор. – Я оченно устала и упилась, спать хочу!

Привыкший распоряжаться, быть всегда везде и всюду вождем, тут Козаренков растерялся: что делать? Ему хотелось силой преодолеть встретившиеся впервые в его легкой вождистской жизни затруднение, которое он приказом или разносом преодолеть не мог, но он вдруг испугался последствий: закатит истерику, завтра нажалуется матери и сестре и пойдет по всему городу, а там, смотри, добежит до области!

– Ну, ладно, иди спать на кровать, я пересплю здесь, на кушетке; а завтра мы поговорим, – сдерживая себя, ответил ей молодой муж.

Торжествующая Катька направилась в комнату, где была уже приготовлена двуспальная кровать, и запирая на ключ двери, сказала:

– Спокойной ночи, товарищ Козаренков!

Взбешенный, он ничего ей не ответил. Стукнув по столу кулаком, отчего зазвенела неубранная посуда с бутылками, он налил себе стакан «специальной» и залпом осушил его до дна. Дух захватило от этой зэровской! Заедая шпротами, он уже ни о чем не думал, ибо «специальная», добавленная к предыдущим градусам, доконала его до такого состояния, что все стало для него безразличным, и то трагическое, что только что произошло, превратилось в комическое:

– Ч-ч-ч-ёрт!. Влопался!. Ха-ха-ха! – разразился он диким смехом. – Первая брачная ночь в одиночку на кушетке! Ха-ха-ха!. Рассказать кому – засмеют, не поверят! Собственно говоря... Как это? Девица, так сказать... Вроде, как говорят, неопытная. Только что из-под мамашиного крылышка. Такая, как бы это выразиться... Невинная. – задумался секретарь под хмельком. – Гм! Невинная. Ой-ой-ой! Не-ет, друг мой Матвей Козаренков! Ты человек практический, собаку съел на одвохах! Эта «невинная», видно, Крым, Рим и едные трубы

прошла! И тут же при ней «друг детства»! Вот теперь-то мне все и понятно! Знаем этих «друзей детства»! Вон у Шелудева жена с таким самым «другом детства» на курорт укатила, а он по пьяной лавочке слезы льет и всем жалуется, что не он отец «своих детей»! Дур-рак я! Идиот я! Под носом «друг детства»! Убью! Убью! И его и ее! – сжимал он кулаки; скрежетал зубами, но боялся издать даже тишайший звук глубокого вздоха.

Совсем не во время перегорела лампочка. Комната с запахами алкоголя, ветчины, шпротов и иной «весьма секретной» снеди погрузилась в непроглядную тьму. Козаренков ощупью добрался до кушетки, осторожно опустился на нее, посидел несколько минут без всяких мыслей, потом лег, ощущая прохладу клеенки своего ложа, и мысли прерванные внезапно погасшим светом, стали беспорядочно выплывать в разгоряченной алкоголем голове.

«Вот-те и пролетарского происхождения невеста! А теперь, значит, жена! Да чёрт возьми! За меня любая бы пошла!» – И вспомнив что ему, скромно говоря, за сорок с заметной сединой и лысиной, с морщинами и мешками под глазами, сам же и осадил себя: «Не здорово, конечно, метрика на физиономии подводит, так сказать... конечно, глупо получилось. Поспешил. Можно было бы попробовать, в коллективе химтехникума, там десятка два невест – учительниц... В поликлинике или больнице – врачихи, сестры... А меня чёрт погнал за подавальщицей из Нарпита! Как же, дочь партизана! По социальной линии – полная чистота! А теперь что с этой чистотой делать? О разводе сейчас и говорить не приходится! Совместная жизнь – уже видна какая. Да лучше бы выбрал какую санитарку, работницу с любой фабрики, шахтерку! А теперь тут «жена»! И нужно же было. Удобств захотелось – баба под боком, да еще в теле! Вот и выбрал с телом и пролетарским происхождением, чтобы чего не вышло, как у некоторых. И тело и пролетарское происхождение там, в спальне, на нашей брачной кровати, хоть и близехонько, да ухватить-то руки коротки! Ч-ч-чёрт! Девченка вдвое младше меня, а так объехала! А?»

И мысли не могли быть больше спокойными, потому что чувствовал он себя в первый раз в жизни своей партийной таким одураченным, как сейчас! Но зло доходило еще до белого каления, так как любви к молодой «жене» никакой он и не питал никогда, поэтому и бешенство его было без самоподогревания, хотя и доходило до желания убить виновницу его несчастья. Однако это желание, несмотря на градусы, охлаждалось по временам просветлением: убить-то легко, а дальше? Раскрытые глаза, устремленные в черную, как сажа, столовую, начинали болеть от напряжения. Сомкнуть их он не мог, стараясь уловить в казавшейся непроглядной пустоте контуры чего-нибудь – стула, стола, висевшей над столом безжизненной

лампочки.

«Брак! Предрассудок! Институт общества собственников и собственниц! В переходной период от капитализма к коммунизму – удобство – днем и ночью при тебе баба под боком!»

Ненависть подступила вплотную, и Козаренко ощупью добрался до дверей спальни, вынул наган, выстрелил в замочную скважину, и двери распахнулись. Он вошел, прошептав в бешенстве:

– Пас-с-с-ку-да!. – и выстрелил в то место где стояло брачное ложе.

Звук выстрела выпорхнул в окно и где-то далеко отдался эхом, но никто в соседнем социалистическом пятиэтажном «сундуке», выстроенном рядом с особняком, в котором поселился накануне свадьбы Козаренков, не слышал. Да если бы и услышал, то кому была бы охота вмешиваться в жизнь драгоценного партийного товарища?!

Непроглядная ночь вдруг осветилась луной. Глухая тишина вступила в свои права. Козаренков, израсходовав себя, обессиленный упал, мешковато осунувшись, на ковер возле своей брачной кровати и, потерял сознание... Бесцеремонный рассвет заглядывал в окна...

Настойчивый стук в двери заставил «молодого мужа» вздрогнуть. С быстротой молнии промелькнула мысль о первой «брачной» ночи с двумя выстрелами. Он вскочил на повторный громкий стук. Яркое солнце бросало лучи на пустую, не тронутую «брачную постель», на широко раскрытое окно, и Козаренков облегченно вздохнул.

Неспеша он подошел к парадным, в который кто-то продолжал колотить кулаками. Он открыл двери. На пороге стояла его «законная жена». Он молча дал ей дорогу.

– Ну, товарищ Козаренко, как теперича с алиментами? По суду или, значит добровольно?

– Сколько тебе? – с удивительным спокойствием спросил он, ощущая пустоту в себе.

– Пару соток хватит пока...

– Пару соток? Да ты что? – подымалась злоба в груди.

– Очченно даже просто – на мине и на наше дитя! – смеялась она глазами.

– Как «наше»?

– Да я-то вам кто? Хорошая знакомая или жена? Любовницам платят, а вы мой законный муж и не желаете платить?

– Да я тебя в жизни пальцем не тронул! – Не в шутку

возмутился Козаренков.

– А беременна-то я отчего? От вашего загсовского поцелуя? – продолжала она смеяться своими веселыми глазами, зная наверняка, что у «мужа» выхода нет, ибо через полчаса весь город будет знать обо всей этой глупейшей истории и поверит, конечно, не «мужу», а ей, пострадавшей наизаконнейшей «жене»!

Это понимал еще лучше товарищ Козаренков, мысли которого бежали дальше города, в область, в центр:

– Дьявол!. – отсчитывал «муж» червонцы, – На, паскуда, жирей со своим «другом детства»!

– И потом, чтобы пропуск в ЗЭР при мне находился... Да, и вот, значит, комнатку тут, возле кухни, я займу... Чтобы вы, значит, мне не мешали жить свободно. Ну и я вам, конечно, не буду мешать, – и Катьха-пройдоха, собрав и пересчитав червонцы, отправилась устраивать «свою» комнату.



ДВИЖЕНИЕ СТАХАНОВСКОЕ

Директор один существовал. В типографии. Товарищ Супчиков. Член партии, конечно. Задумчивый был. Уж ежели задумается, то быть чему-то чревычайному должно.

Задумался он, например, над движением стахановским. Дескать, везде двигаются. И на фабриках и на заводах двигаются, и в совхозах, и колхозах, а вот в типогорафии не двигаются. То-есть, вообще-то, двигаются. Машины, скажем, или там рабочий класс. Но не так всё это. Нет, значит, энтузиазма. Движения стахановского нет. По-старинке всё. Оно-то, так сказать, и понятно. Рабочий класс старый, машины старые. А, с другой стороны, и на фабриках и заводах, в совхозах и колхозах не всё новое...

Думал, думал, мечтал, мечтал товарищ Супчиков, почему это нет в типографии движения стахановского, и пришел к заключению, что рабочий класс соцдоговоры заключает формально, лишь бы дорогой партии и дорогому правительству пыль в глаза пустить.

Меры нужны, стало быть. Экстраординарные. Задумался над мерами. Человека как заставить двигаться по-стахановски, ежели у него и в паспорте прописано, что он Груздёв, а не Стаханов, а вот машина – дело другое. С ней чего угодно творить допустимо. Металл всё выдержит. Значит, машину заставить можно.

Задумался он над машиной. Известно из истории людей великих, что всякая задумчивость учёная эврикой заканчивается. Не минула участь сия и товарища Супчикова. Мысль его осенила. Гениальная. Почти. Потому самая гениальная проявляется у вождя дорогого.

Выскочил он из кабинета своего и стахановским движением направился в печатный цех.

Взглядом административным окинул машины и остановился на № 1, где печатником был товарищ Коровин, самый старый, самый отсталый, хоть и лучший мастер на всю типографию. Решил директор печатнику этому некультурному социалистического сала за голодную шкуру залить.

– Останавливай, товарищ Коровин, машину!

– А норма же как? – несмело спросил печатник у директора. –

Да и норма-то срочная: «Пролетарии всех стран»...

– Ничего, товарищ Коровин, через час наверстаешь всё. Нормы четыре выполнишь. В сахановцы выйдешь. Подарок, так сказать, дорогому учителю нашему сделаешь. Типографию прославишь.

Как приказ директорский не выполнить? Остановил печатник машину. Смотрит, наблюдает, в усы посмеивается. А директор присел на корточки возле мотора и ленту изоляционную на вал привода наматывает. Намотал слой в сантиметр толщиной и задумался: «мало или много». Подумал, помечтал и решил еще немного движения стахановского прибавить. Мотает ленту изоляционную, а печатник в усы посмеивается. Намотал слой сантиметра в два с половиной, улыбнулся хитро и гласит:

– Включай машину, товарищ Коровин!

– Нет, – говорит старый печатник, – хоть жить стало лучше, хоть жить стало веселей, а умирать не хочу я, товарищ директор!

– Отсталый ты элемент, товарищ Коровин. Но я тебе движение стахановское сам покажу.

Стал товарищ Супчиков за машину печатную, а товарищ Коровин в угол забился, что за машиной. Включил директор рубильник. Рвануло маховик. Всю машину передёрнуло. Даже сам товарищ Супчиков закачался. Разгулялся маховик движением стахановским, спиц не видно, колесо сплошное. А машина трещит, кряхтит, дрожит, с фундамента срывается, лично сам директор пляшет на подножке и мечтает.

«Тысяч десять оттисков в час... нет, двадцать... тридцать... сто... Один печатник за один рабочий день норму всей типографии недельную... месячную... нет, годовую... Телеграмму вождю дорогому... Орден Ленина... – сам вождь «гениальный» приколет на грудь товарищу Супчикову, который поборол всю, так сказать, косность типографскую. Во всех газетах портреты, биографии...»

Вдруг среди этих падужных мечтаний:

– Дрррр... Грррапп! – зубья шестерёнок пулемётной очередью ринулись в печатный зал, и машина печатная остановилась. Маховик только крутится еще быстрее. И если бы лично директор не выключил мотор, быть бы, вероятно, и маховику где-нибудь у стены противоположной цеха печатного.

Движением стахановским направился товарищ Супчиков к себе в кабинет, заперся и задумался снова...



ГОРНЫЙ ИНЖЕНЕР

Иметь на шахте отдельную квартиру обыкновенному смертному каким является учитель, врач или, вообще, служащий – невозможно. Все без исключения пользуются одной комнатой, вне зависимости от того, как велика может быть семья. Только начальство шахты да партийная верхушка пользуются полной квартирой, а иногда и целым особняком. Мы же, стоящие на грани между «трудящимися» и «врагами народа», должны были пользоваться тем, что нам соблаговолят дать. Вот на этом основании я и имел маленькую комнатку в общей квартире со всеми вытекающими отсюда удобствами. К счастью, моя семья была невелика и я мог мириться со многими неудобствами.

Моя соседка-квартирантка, глазной врач, собиралась переезжать в Харьков, и я задумывался о том, каков будет следуюший сосед. Не успела она отправить свои вещи, как в её комнату без её разрешения квартирный десятник привел нового жильца. Высокий, широкоплечей человек с землистым цветом лица внес свой старый чемодан, оставил его в своей будущей комнате и ушел.

Через несколько дней, когда моя соседка окончательно освободила комнату, явился новый сожитель с тем же квартирным десятником, привезшим казённую обстановку, и через полчаса я уже познакомился с моим новым соседом.

Товарищ Зельский, член партии с девятьсот пятого года, недавно закончил Днепропетровский Горный Институт. Сам он, конечно, из рабочих. Ему сорок лет с хвостиком. В революции он принимал участие чуть ли не на всех фронтах гражданской войны, обладал какими-то знаками отличия – одним словом, типичный советский человек.

Начали мы с ним жить-поживать, но добра не пришлось наживать.

Зельского назначили сменным инженером. Он приходил с работы едва отмытым от угольной пыли, в грязной спецодежде, глухо кашлял и плевал с кровью на пол. В свободное время собирал шахтеров с гармошкой, и тогда из его комнаты неслись лихие или дикие звуки музыки, непристойные разговоры, брань отборная, шахтерская и звон бутылок. Никогда в его комнате не убиралось,

никогда не открывались окна. Как я плотно не прикрывал свою дверь, но смрад из его берлоги проникал в мою комнату. Жаловаться было некому; да и опасно, продолжать же жить в таких условиях дальше становилось невозможным.

К счастью, инженер Зельский не показывал элементарных знаний в области своей специальности и начал снижаться в своей служебной карьере. Сначала ему предложили должность сменного техника, потом – горного десятника, а когда он и там не справился, его перевели в шахту простым рабочим.

«Горный инженер» обиделся и покинул шахту. Новому моему соседу-квартиранту пришлось отмывать грязь, делать побелку и долго выветривать дух оставленный членом партии, героем гражданской войны, дипломированным горным инженером, советским специалистом тридцатых годов, когда партия усиленно пролетаризировала специалистов во всех областях народного хозяйства.



ГИПОТЕНУЗА

Комсомольца товарища Голикава пригласили прочитать лекцию. О Марсе. Да кого же и приглашать, как не учителя географии! Ведь только он знает спутников наших и все планеты солнечной системы!

Тема, что и говорить, интересная. Народу собралось уйма. Одни думали узнать побольше о неведомом небесном творении, других интересовал вопрос жизни на Марсе, а третьи, возможно, не сомневаясь в том, что планета сия населена, подумывали разузнать о способах сообщения с оной, чтобы избежать от слишком счастливой и зажиточной жизни на нашей грешной земле.

Ну, конечно, были и такие, которые, кроме уверенности в населённости одного из ближайших соседей Земли, замышляли перещеголять самого мудрого вождя и произвести всепланетную революцию, поскольку вызубрили из «Краткого Курса Истории ВКП(б)», что только в эсэсэре существует вполне правильный общественный строй, дававший им счастливую и зажиточную жизнь через закрытые распределители, благодаря их партийному положению руководящих работников. Одним словом, зал городского театра был переполнен, а лектор в ожидании начала лекции заглядывал в дырочку занавеса и немного трусил.

Наконец, взвился занавес. Товарищ Голиков, приложив все усилия для сохранения своего спокойствия, довольно смело вышел на сцену к столу, покрытому, как и полагается во всех таких случаях, красной тряпкой, и начал лектировать, т. е. читать лекцию. Конечно о Марсе.

Нужно сказать, что после первого волнения, второе больше не появлялось у товарища лектора, и лекция, в общем и целом, прошла очень удачно. Правда, товарищ Голиков сожалевал, что такие выступления не покрываются бурей оваций, но все же был удовлетворён, что всё прошло гладко, без запинок.

После лекции, как это принято везде, начались вопросы и ответы на них. И тут, следует заметить, всё прошло бы хорошо, если бы не один товарищ (кажется, завмаг какой-то) не настаивал на каком-то определённом ответе на свой глупый вопрос, на который товарищ Голиков не только давно уже дал ответ вполне исчерпывающий

другим любознательным товарищам, но и совершенно ясно говорил в своей лекции.

– А вот, товарищ лектор, скажите нам, имеется ли жизиь на Марсе? И, вообще, существуют ли там люди?

Лектор совершенно правильно излагает свой ответ в проблематичной форме, принятой советской наукой:

– Конечно, Марс находится в таком состоянии, что можно думать о том, что жизнь там имеется, – отвечает он.

– Я вот читал книгу одного профессора, фамилии только не помню. Так этот профессор пишет, что жизнь там есть и кажется даже имеются люди, которые называются марсиане, – продолжает настаивать этот самый товарищ завмаг.

Товарищ Голиков снова отвечает в предположительной форме. На это же слушатель (вероятно, завмаг) снова задаёт вопрос:

– Так вот вы, значит, скажите вполне определённо, чтобы у нас не было никаких сомнений, имеется ли там налицо люди или их там не существует?

– Товарищи, – обратился молодой географ к залу, напряженно ожидавшему ответа, – я уже несколько раз отвечал на этот вопрос и еще раз останавливаю ваше внимание. Я говорю вам словами советских учёных, проверенных партией и правительством. Существует ли жизнь на Марсе? Наши ученые говорят: «Да, существует гипотенуза о том, что жизнь на Марсе существует!»

– А-а-а! Гипотенуза существует! – удовлетворённо произнёс, кажется, этот самый завмаг и успокоился.

Вопросов, к счастью, больше не было, и слушатели спокойно разошлись по домам.



ГЕРОИНЯ

Старуха одна находилась в городе. Марфа Игнатьевна. Хорошая такая женщина была, только язык у неё не то, чтобы злой был, и не то, чтобы длинный, а просто контрреволюционный.

Для примера скажем, жила она без мужа. Сбежал её благоверный в государство Польское. Не от неё, Боже упаси, а от советской власти, и Марфа Игнатьевна, не стесняясь, всем объясняла:

– С товарещем Лениным не ужился...

А когда «этот» на смену ему явился, так она коротко в государство Польское отписала: «Сиди и не рыпайся, потому сам Сатана в управители нанялся...»

Рыпался или не рыпался её благоверный в государстве Польском, неизвестно, но Марфа Игнатъевна и об этом докладывала своим знакомым:

– Ишь, вздумал старикан мой возвращаться! Режим, может, переменился!

«Дурачина ты, простофиля,» написала ему «прижимали нас грузом стопудовым, а теперь стотонным!»

Знакомые, конечно, слушали сочуствие своё секретно выражали да по сторонам оглядывались, чтобы языка этого контрреволюционного кто по принадлежности не услышал.

– Известно что «язык мой – враг мой», известно и то, что «язык до Киева доведёт», но в советское счастливое время язык стал еще большим врагом и доводит всегда он не до Киева, а до ГПУ. Так и Марфу Игнатьевну чуть он не довёл до этого приятнейшего заведения. А не довел он потому, что старушка эта обладала необыкновенной военной храбростью, перед которой спасовали и ночные налётчики.

Прослышало это самое ГПУ что Марфа Игнатъевна реплики очень недоброкачественные посылает по адресу лично «дорогого» и по адресу вообще, и решило изъять злоязычную старушку из обращения.

Всем ведано что всякое изъятие производится ночью, когда посторонних зрителей не существует. Потому это дело секретное, можно сказать. Так и в этом позорном случае произошло.

Спит себе Марфа Игнатъевна ночью сном блаженным, с супругом, может, во сне беседует, а к дому её автомашинка подкатывает. Подкатила машинка, выскочили из неё два дьявольских пасынка, привычной походкой к дверям парадным направляются, стучат.

Слышит Марфа Игнатъевна сквозь сон стук и мечтает: «Благоверный, может, с государства Польского вернулся?»

Просыпается, конечно, к дверям парадным направляется и вопрошает:

– Кого Господь в полночь послал мне?

– Открывай, старуха, ГПУ приехало, – пасынки отвечают.

– Таких, – говорит Марфа Игнатъевна, – дьявол посылает. По-воровски приехали, по-воровскн и в дом можете забраться, а добровольно я вам не открою!

Высказалась старушка и пошла от дверей прочь. А пасынки посовещались и решили дверей не ломать, шуму-гаму не подымать, потому домище то громадный, жителей много, а дело чрезвычайно секретное. Вернулись в своё заведение, начальнику доложили. И начальник согласился. Потому, дескать, какой при счастливой жизни переполох в городе может быть. Невозможно это.

– Утречком поедете, когда рабочий народ на производствах трудом стахановским занимается, а домохозяйки счастьем социалистическим в очередях наслаждаются. Старуха-то эта, небось, по очередям не шляется! Только, – говорит, – без шуму!

Заехали будто невзначай пасынки утречком. Старушка чаёк попивает, про сахарок, может, мечтает, а тут и гости незваные.

Только гэпэушники на порог, а Марфа Игнатъевна за чайничек заварной одной рукой, а другой на двери показывает.

– Вон, – говорит весьма внушительно, – из дома моего, а то весь самовар на вас выпущу, а не хватит—вон кастрюля на плите клокочет, все на вас иродов вылью, а живой не сдамся!

Пасынки дьяволъские за двери, конечно, потому угроза основательная, а шуму начальством подымать не велено. Посоветовались под дверями и убрались восвояси. Снова начальнику доложили. Выругался, ясно, товарищ начальник и резолюцию наложил:

– Пущай прозябает зловредная старуха-преступница, всё равно ей жизни осталось из-за старости на советскую копейку!

Шуму, конечно, никакого не было, но весь город в тот же день знал, как Марфа Игнатъевна гэпэушников из дому выпроводила.

Случай редкий, может, единственный на всю эсэсэру.



ГЛУПАЯ БАБА

Товарищ Тёркин человек маленький, но видный, а главное всем нужный, жить без него никто не может. Он, как директор торга, за панибрата и с секретарём горкома партии, и с председателем горсовета, да и сам начальник горотдела НКВД не обходит его своим вниманием. Жена вот только хромает малость. Баба простая. Некультурная. С ней никуда. ни на вечеринку, ни в театр. Краснеет, смущается, двух слов от страха не свяжет, платья допотопные деревенские носит, одним словом, полное отсутствие самых элементарных понятый о социалистической культуре. А тут еще несчастье случилось. Два зуба сразу выскочило. Да еще впереди. Прямо хоть рот не раскрывай. Стыд один. Тут уже и смущение законное.

Грыз, грыз товарищ Тёркин свою жену за некультурность да и догрызся на свою голову.

– Платью бархатную хочу, – заявила однажды Степанида Калистратовна.

«Ну, и имя ж-то какое!» подумал товарищ Тёркин «Так и несёт от неё, старым режимом!»

– Чулки сфельдипёсовые! Зима идёт, а я без пальта мехового?

И началось. Каждый день. Тёркин и радовался и побаивался за теплое местечко, хотя и был увёртлив и проверен, как старый и испытанный член партии.

– Курить хочу!

– Что-о-о! – возмутился директор торга, – Рот беззубый показывать?

Промолчала Степанида Калистратовна, но на другой день заявила:

– Зубы золотые!

Не на шутку испугался товарищ Тёркин. Не золото устрашила его. Члену партии и птичье молоко должно быть доступно. Жену жалко стало.

– С ума ты сошла, Степанида!

– Чевой-то «с ума»! Епифаниха и та с золотыми ходит, а муж-то ейный только в приказчиках!

– Глупая ты баба, Степанидушка! Дёсны ж долбать тебе будут! Дырки-то просверливать в челюстях для твоих золотых нужно-то? Боли-то сколько натерпишься!

Не помогло. Закурила Степанида Калистратовна. Папироску нарочно золотыми зубами держала...



ВЫСОКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ПЕДАГОГИ

Реставрация

Когда вы входите в громадное здание С-ского учебного комбината, вы слышите, как откуда-то издалека доносится истерический тонкий голос. Вам начинает казаться, что где-то кто-то плачет или воет, быть может, кого-то истязают, пытают с применением самых жестоких средств насилия. Однако, если вы бывали здесь и раньше, то вы вспоминаете... Ах! Да это же читает лекцию на текущую тему педагог Перекотиенко, вечно одну и ту же для всех курсов техникума и рабфака на протяжении всего учебного года.

Однажды после такой истошной «лекции» студенты весьма шумной гурьбой ввалились в кабинет заведующего учебной частью:

– Петр Иванович! Петр Иванович! Что такое реставрация?

Петр Ипанович, сняв очки, с любопытством посмотрел на молодые разгоряченные лица. Он знал, что это очередной «вывих» педагога Перекотиенко, преподававшего обществоведение, который очень любил иностранные слова.

– Реставрация это значит восстановление...

– Ну, вот мы ж и говорили Матвею Ивановичу, что троцкисты не могли реставрировать советскую власть, а он сердится да еще хочет поставить вопрос о нашей дисциплине на общем студенческом собрании... Мы ему и «Большую советскую энциклопедию» показывали, но разве его можно убедить?

Алименты

В предвечерний час в учительской Н-ского учебного комбината в ожидании начала занятий сидели учителя. Они делились на педагогов и преподавателей. Педагоги – это люди с комвузовским образованием. Преподаватели – народ простой, смертиый – то ли с

университетским, то ли с институтским.

Обладателям партийных билетов почему-то казалось называться педагогом лучше, будто ученее, почти, мол, профессор.

Педагог Перекотиенко, в очень недавнем прошлом шахтный электрик, был страстным радиолюбителем. Но беда была у него только одна, которую он старательно, но напрасно скрывал: был он человеком малограмотным, хотя и закончил комвуз (коммунистический университет). Спору нет, образование высшее. Но его малограмотность тормозила его гениальное изобретение в области радиотехники, которым он думал поразить весь мир. Правда, самого изобретения еще не было, но оно должно было вот-вот появиться на свет коммунистический – нужно было только кое- что усовершенствовать, подработать, перерабатать, кое-что немного переделать, подделать, применить, упростить, одним словом, рождалось «перпетуум мобиле»...

Он, как всегда, вел тихую беседу с преподавателем физики об электричестве. Из их разговора часто доносилось одно слово, которое особенно раздражало слух педагога Маковкиной, женщины внушительных размеров, необычайно низкого грудного альта и жены управляющего рудоуправлением.

Слово это её, педагога языка и литературы с высшим образованием, настолько выводило из равновесия, что она не смогла себя удержать:

– Как надоели мне ваши разговоры! – обратилась она к беседующим, – Дома муж всё время говорит об алиментах, здесь химик болтает целый день об алиментах, и вы туда же! Видно, у всех у вас мужчин одна и таже болезнь!

Преподаватели не успели улыбнуться. Звонок нарушил мирную беседу, и все поспешили в свои аудитории (не классы!).

С этого дня физик и химик настойчиво требовали от студентов правильно писать слово «элемент»...

Верх совершенства

Замещая инспектора городского отдела народного образования, директор школы Хворостов просматривал анкеты учителей города и района. В одном из них учительница далекой хуторской школы на вопрос о социальном положении, отвечала:

«Рабоче-крестьянское.»

Задумался Хворостов: «Кто же рабочий – отец или мать? И кто крестьянин?» Не найдя в анкете ответа, решил:

«Скоро будут писать: «Рабоче-крестьянское и социалистическо-коммунистическое.»

Безукоризненная работница

Перед инспектором отдела народного образования сидела девица лет тридцати, претендовавшая на должность учительницы русского языка и литературы, и рассказывала о своей прошлой работе.

Конечно, она была безукоризненной работницей, но директор школы, в которой она работала, почему-то не взлюбил её, и она теперь вынуждена просить место в другой школе.

Инспектор попросил у секретаря папку с личным делом просительницы.

Секретарь принес большую зеленую папку, в которой хранились испещренные разными почерками и чернилами дела. Инспектор раскрыл одно из них и в графе «Образование» прочел: «Вышесреднее.»

«Что же, – подумал он, – когда-то был табак Месаксуди или Стамболи вышесредний, почему бы не быть в советское время и образованию такому?! Жалко только, что не крепкое!»

Учительницу, просившую о переводе, он отпустил с обещанием удовлетворить её просьбу. Ему, беспартийному, с партийной спорить нельзя было.



БУРЕНУШКА ЗАБАСТОВАЛА

Коровку разрешили иметь. Это, значит, крестьянину. То-есть, колхознику. Правительство разрешило. Говорят, самолично товарищ Сталин. Даже возмутился ужасно, что колхозник без коровки. Слухи были такие. Ну, а ежели самолично, то уж тут, конечно, и правительство возражать, то-есть, позвольте, что это возражать, не только не возражать, а восхищаться гениальностью будет: «Как это так, что никто до сих пор не додумался до такой гениальной мысли, что колхознику можно разрешить коровку иметь!» Какой коммунистическим подход! Сколько марксистской глубины! Это же исключительного значения историческое постановление!

Одним словом, восхитилось правительство таким постановлением, что, мол, колхозниху-де вполне дозволено владеть Бурёнушкой. Какой? Обыкновенной. Рога чтобы у неё были, уши, глаза задумчивые, рот, хвост, шкура и, конечно, молочные приспособления. Да, а самое главное-то чуть-чуть не упустил: чтобы дышала она.

Холмогорочку, говорите? Отсталый вы, можно сказать, человек. Что же пользы от холмогорочки вашей? Это не старый режим. Теперь холмогорочки ваши – тьфу! ничто, отсталый элемент в коровьем социалистическом обществе – враги коров, тормозящие и социалистическое коровье производство и коммунистическую коровью культуру. Теперь новая эра во всех областях жизни, эра дурстали да еще и нержавеющей. И коровка должна быть сталинской, а не какой-то холмогорской.

Вот вы только раскиньте умом по-социалистически. Что холмогорочка вам может дать? Молочко только. Да и то не всегда высококачественное, потому у другой – нездоровый политический уклон вправо или влево и, следовательно, преднамеренное снижение жирности. А вот сталинская коровка, это дело совсем другое. Она, знаете ли, классово выдержанная, политически вполне сознательная, производственную программу по всем показателям перевыполняет по стахановски, а, главное, отвечает требованию партии и правительства на текущий момент. А требование сие таково: «Дай, сталинская коровка, непосредствтвенно масла.» То-есть, никакого молока, а только одно масло.

Расчет, конечно, у правительства резонный. Ежели у колхозника холмогорочка будет, будет давать она молоко. Из молока требуется сбить масло. Сколько непроизводительного времени уйдёт на это? Сколько часов колхозница будет уклоняться от своих прямых колхозных обязанностей? Да и не секрет, что голодные её детишки захотят полакомиться молочком, а, может, и сама колхозница и её муж, а там, гляди, и их престарелые родители и т. д.

А вот сталинская коровка, тут уж дело другое. Пойдёт, скажем, колхозница доить такую сознательную коровку, а она в молочное ведро, вместо молока, масло: дзыг-дзыг, дзыг-дзыг... Вот тут-то всё, как и требуется правительству, в порядке. Маслосдача обеспечена полностью.

Чтобы не углубляться в дебри рассуждений о способах приобретения Бурёнушек, скажем просто, что таковые, стало быть, Бурёнушки объявились у некоторых колхозников. Едва Бурёнушка вступила на двор в индивидуальное пользование, правительство декламирует (кажется, белыми стихами) новое постановление. На сей раз о маслосдаче. Натурой, конечно.

Что произошло в коммунистическом коровьем обществе, досконально неизвестно, но Бурёнушки забастовали. Даже у председателя кохоза и секретаря сельской партийной организации. Молоко дают, а маслице – как желаете, товарищ колхозница: могите делать, могите не делать, а я, мол, молочную норму выполнила.

Допустимо предполагать, но конечно, только втихомолку, что любимый вождь не успел еще произвести на свет социал-коммунистический достаточного количества сталинских коров, и к колхознику явились исключительно какие-нибудь холмогорочки (а они, известно, враги коров). Вот и занялись ваши хвалёные холмогорочки саботажем важных исторических решений партии и правительства, давая исключительно молоко. Натурально, колхозница подоит свою Холмогорочку, молочко в хату принесет, а в хате, известно, детишки и т. д., а в результате маслица-то и нет.

Ну, а правительство, когда разрешало колхознику коровку иметь, то, так сказать, не то, чтобы всей душой, и не то, чтобы всем сердцем, потому что органы сии отсутствуют у него, но всё же всем своим нутром распоясалось: живите, дескать, богато! А когда декламировало постановление о маслосдаче натурой, то и нутро его оказалось ленинским, то-есть, сгнившим на кремлёвских задворках: отдай, говорит, государству масло, а то и врагом объявлю.

Бёренушка же, известно, бастует. Не желает давать масла. Уж колхозница-хозяюшка к ней и так и эдак, а она тихою сапою: молочко отдаёт, а маслица никак не желает. Принесет бедная колхозница

молочко в хату а тут Ванятки, Машутки, Сашеньки, Мишутки... Да где уж тут быть молочку! Не из чего маслица делать. А сдавать-то государству необходимо.

Как же быть? Что же делать? Жить не только хочется, но и Ванятки и Мишутки требуют родительского присутствия...

Потянулись товарищи колхозницы в город. От своих собственных ртов поотрывали всё, что могли. На рынок отнесли. Продали. С деньгами в магазин «Гастроном». За маслом...

А магазин-то этот самый «Гастроном» не простой, а коммерческий. Цены на товары коммерческие. Заполнили товарищи колхозницы торговое сие помещение, вытеснили горожан, очередь образовали. Всё это тихо, мирно. Стоят и даже на товары не поглядывают и слюнки не глотают. Хоть чего тут только нет! Но глаза не разбегаются, потому устремлены на масло: хватит или не хватит? Даже на обыкновенную селёдку не смотрят. Масло натурой нужно сдать.

Так в течение нескольких дней крестьянки, т. е. колхозницы, приходили из села в город покупать коровье масло. «Гастроном» торговал в эти дни только маслом. Все работники прилавка заняты были отпуском исключительно масла. Ни один горожанин не мог войти в магазин, потому что с раннего утра у дверей стаяла толпа крестьянок, ожидавшая открытия «Гастронома».

Тридцать пять рублей платили колхозницы за килограмм масла, переходили через улицу и сдавали свою норму натурального налога государству.

В городе не стало масла.

Вот до чего доводят ваши Холмогорочки! Вот вам и Бурёнушки!



ДЕЛА КОРОВКИНЫ

В пять раз повысился удой по сравнению с прошлым годом...

—Радио-Москва, 18 мая.1954.г.

Не всё же писать о делах человеческих. Иногда дела домашних животных бывают поважнее, чем наши собственные. А в некоторых странах передовых таким делам дорогое правительство и мудрая партия придают огромное значение. Съезды и конференции многочисленные посвящаются, огромнейшие постановления выносятся, исписываются длиннейшие полосы в газетах: передовые, подвалы, печатаются статьи научного характера, писатели и поэты сочиняют по своей линии... И всё это по вопросу о домашних животных!

Мы, конечло, скромны, и не думаем, что наша статья займет место передовой или подвала, потому что в капиталистических странах почему-то не придают никакого значения домашним животным. Это даже обидно. Потому, многим на этом деле можно было бы заработать...

Так вот, жила-была коровка. Зауряднейшая. Питалась, как ивестно, травкой да сеном. Иной раз хозяюшка выносила краюху хлеба, густо посыпанную солью. Деликатесс, так сказать. И коровка платила своей госпоже молоком. Все были довольны. Коровка была довольна хозяйкой, хозяйка была довльна коровкой. Ну, и на рынке покупатели были довольны и коровкой, и хозяйкой.

Так было до распрекраснейшей революции. Пришла свобода. Ясно, всех освободила. Хозяйку от коровки, а коровку от хозяйки. И зажили теперь все вполне самостоятельно. Коровку теперь частник уже не эксплуатирует. Да и хозяйке теперь меньше нагрузок. Никакой, так сказать, дополнительной работы в доме. Одним словом, стало очень хорошо всем жить...

Говорят, что хозяйка при новых коммунистических порядках находит где-то гнилую картошку или просто пользуется лебедой, и как-то живет. Но коровка давно протянула ножки... На соломе, оказывается, жить скотинке долго нельзя. Да и нет теперь тех теплых коровников, о которых когда-то заботилась хозяйка... Вот так и

исчезает коровка из коммунистического света... Редкостью скоро будет. В зоологических садах будут её показывать...

Так или иначе, а задумывается изредка коллективное руководство: почему, дескать, коровка не живет в обстановке величайшей заботы партии и правительства? Чего ей требуется еще? Разве мало всяких съездов, исторических решений, постановлений, стахановского движения доярок, соцдоговоров между колхозами? Почему коровка не желает жить?

Много говорят, много пишут, много издают всякой коровьей литературы, но никто не догадается вырастить хорошей травы, никто не додумается накосить на зиму добротного сена, и коровка бедная жует солому и... находит конец свой печальный в колхозном холодном и грязном коровнике...

И задумались дорогие и мудрецы: как же быть, как же коровьему горю пособить?

«Ты уж, коровка, не плошай, ты уж, коровка, потерпи, мы уж тебе, коровка, через два-три года и травки насеем, и сена накосим, и теплых коровников понастроим, мы уж, коровка, тебе...»

А коровка не ждет. А коровка всё мрет...

И задумалось дорогое правительство, и задумалась мудрая партия, и решили вместе всем коллективным руководством поднять стахановское движение...

И что же вы думали? Подняли. На другой же день написали в газете, что коровка переродилась. Прочитала она постановление дорогого советского правительства и мудрой коммунитической партии и сразу включилась в социалистическое соревнование. И пошла коровка теперь вгору. Говорят, что скоро орден Ленина на шею коровью наденут!

Да и как не надеть? Каждый год теперь коровка повышает удои ни много, ни мало, а в пять раз!

В первый год пятилетки, когда коровка, наконец, отреклась от саботажа исторических решений дорогого правительства и мудрой партии, она дала всего навсего один кубический сантиметр молока. Во второй – 5, в третий – 25, в четвертый – 125, в пятый – 625 кубических сантиметров молока в день. Худо-бедно, но удой растет!

Сидят дорогие и мудрые, подсчитывают, улыбаются да подмигивают друг другу: мир удивим коммунистическими удоями!

И что вы думаете, удивили. По всем планам коровка темпов не сдается: всё в пять раз дневной удой повышает! Что ни новый год, то стахановские успехи! Уже в первом году второй пятилетки коровка

показала «класс» работы: 18.125 кубичиских сантиметров молка в день! А к концу пятилетки – 2.265.625 кубических сантиметров молока в день!

А вы думали, что социализм-коммунизм фунт изюма?

И если бы не капиталистическое окружение, то...

Потоп молочный предстоит. Не от атомной бомбы или водородной погибнет капиталистический мир, а от молочного потопа! Не выдержат капиталистические коровки коммунистической конкуренции! Революция предстоит! Решительный бой принесет победу, конечно, коммунизму! Потому что коровка теперь подкована марксизмом на всё сто процентов! Ну, а трудящийся подождет еще два-три года...



ЛЮБИМЫЙ ВОЖДЬ

В I934 году я возвращался из города Дмитровска в Москву рабочим поездом. Из пригородов и ближайших деревень ехали рабочие на ночную смену. Поезд прибыл на Повелецкий вокзал. В тупике стоял железнодорожный вагон-клуб, сделавший недавно тур по маленьким станциям Северной железной дороги в честь «дня железнодорожника». В большом его окне красовался портрет «любимого» Сталина.

Шумной, весёлой толпой высыпал трудовой люд из вагонов. Впереди меня шла группа рабочих, из которой на целую голову выдавался молодой, стройный парень. Его русые волосы развевались на лёгком ветерке, красное здоровое лицо весело улыбалось. Он оживленно что-то рассказывал своим приятелям. Но, подойдя к вагону с портретом Сталина, он вдруг остановился на миг и вскрикнул:

– Ах, ты, проститутка всесоюзная!

Никто не ожидал такого «излияния любви и преданности дорогому вождю и учителю». На момент в этой группе рабочих произошло замешательствтво, но, очнувшись, все засуетились, голова русая исчезла и растворилась в толпе проходивших пассажиров. Все, кто был вблизи, кто ясно сдышал вырвавшийся, вероятно, совершенно неожиданно для самого молодого рабочего возглас «любви», прошли мимо, сделав вид, что совершенно ничего не заметили. Никто не стал искать даже взглядом, куда изчез виновник события.

На трамвайной остановке около вокзала уже стоял в кругу своих друзей молодой парень и виновато «оправдывался»:

– Да я и сам не знаю, как оно получилось...

Пожилой рабочий по-отцовски советовал ему:

– Да ты, Вася, лучше не гдяди на «картинки» эти, спокойнее будет...



ПО ИНЕРЦИИ

Смерч войны пронёсся, разрушая маленькие жизни маленьких людей. Одни погибли в борьбе за родину, их имена исчезли бесследно; другие, сохранив жизнь, исчезли, возвратившись волей или неволей на родину; третьи предпочли скитания ночные по чужим краям той жизни с оглядкой, которой они жили когда-то в России.

Нелегко покинуть родную землю, ибо тысячи невидимых нитей связывают человека с ней. Тут и родные близкие люди, тут и друзья, воспоминания об ушедших из жизни и милые надежды юных дней; здесь жизнь пережита почти иль начатая среди своих людей по крови, по обычаям, по языку и скрытой вере; здесь насиженное место, кров, уют несложный – да разве можно перечислить сумму всех причин, привязывающих каждого из нас к Москве иль Петербургу, к какой-нибудь Ивановке или Бахмуту?

Так вот рассеялись по свету-белу люди, нашли пристанище и труд, обрели то, чего не знали там, на родине, – покой.

Забросила судьба и Ольгу в солнечную Италию, в страну волшебных звуков, красок, строгих мраморных линий, монументов далёкой истории. Смело в эту жизнь чужую, незнакомую вошла, молодые крылышки расправила завоевала себе право жить так, как живут остальные.

Видения прошлого встают перед глазами картинами детства, охранённого материнским сердцем и лаской отцовской от жестокой дейвтвительности, картинами юности, бережно ограждённой родными, близкими руками от кровавых будней родины. В этих картинах и любовь к близким и ближним, и дружба, и неясные мечты и высокие цели, уносящие в серебристую даль, в них лица живые с простыми именами и русской простой душой – родные и друзья. Мирок несложный, но память не изгладит образов прошлого, вошедших глубоко в человеческую душу. Вот почему близка далёкая Москва, близки друзья и близок маленький домик в далеком городе на юге России. Вот почему среди дневного труда и забот вдруг предстанет образ Яши, товарища по школе, и послышится шопот зловещих слов:

«Коль убьют – помолись за невинную душу...»

Яша был комсомольцем. Почему? Во-первых, отец, которого он, правда, не помнит, был партизаном в гражданскую войну и бил белых; во-вторых, учиться было легче, а в ВУЗ поступить будет совсем легко.

Продолговатое лицо с ввалившимися щеками бледно, узкая голова покрыта шевелюрой вьющихся каштановых волос, костлявый и худосочный, он улыбался болезненно и как-то неестественно. В его странных серых глазах всегда виднелся огонёк, который, казалось, догорал.

Был Яша единственным сыном у матери, забитой и заброшенной женщины – жены когда-то славного партизана. Бедность, граничащая с нищетой, заставляла её время от времени отправлять сына погостить к своим богатым родственникам, к двоюродному брату. Здесь-то Яша, собственно говоря, и жил по-настоящему. Семья эта, конечно, не была богата в том смысле, как это было принято понимать в старину, но двоюродная тётка зарабатывала частными уроками музыки не меньше, чем её муж-инженер. Во всяком случае, Яша во время пребывания в этой семье забывал о несчастье в своём доме, о тяжелом труде матери и о жизни впроголодь.

Учился он в десятилетке весьма посредственно через свою болезненность, хотя директор школы, коммунистка, тянула его изо всех сил, чтобы сделать из него отличника. Но это было напрасно. Если с преподавателем обществоведения она могла повысить емму баллы, то договориться с остальными учителями было невозможно.

Когда Яша перешел в десятый класс, он встретил там ученицу Олю. Она была новичком в этой школе и, когда пришла первый раз в класс, села на свободное место, которое оказалось рядом с ним. С первых же дней завязалась дружба.

Оля прекрасно училась, читала много, все предметы давались ей легко, без зубрёжки. А память была настолько хороша, что она никогда не учила уроков так, как это делали все ученики, только выполняла домашние письменные задания. Однако, как хорошо она не училась, но, как и многие другие ученики, отличницей не смогла быть. Ни директор школы, ни преподаватель обществоведения никогда не ставили ей оценок выше «хорошо». Девушка знала, что вся причина заключалась в том, что родители её были из «бывших». Знали об этом педагоги-коммунисты и их классовая ненависть сказывалась в явных несправедливых оценках. И такая она была не одна—ученики возмущались, но никто не смел говорить громко о царившей несправедливости.

В школе все были на ты. Этот обычай, вероятно, пришел из комсомола. Яшу и Олю связывало обыкновенное чувство дружбы, поэтому это «ты» было даже естественным. Оля часто помогала

своему товарищу разобраться в законах физики, решить задачу из тригонометрии, объяснить электролитическую диссоциацию из химии, помочь написать домашнее сочинение по-русски или подготовить доклад по обществоведению, совершенно не давая почувствовать ни своего превосходства, ни своей беспартийности. Яша был благодарен своему новому товарищу, и чувство дружбы между ними углублялось, и он был с ней более откровенен, чем с остальными.

– А почему ты не вступишь в комсомол? – спросил он однажды.

– В комсомол? Разве это нужно?

– Но ведь ты бы была отличницей!

– Это я знаю, Яша, но... я же чужая для комсомола...

– Почему? Я несколько раз говорил с комсомольцами о тебе.. им даже было бы интересно иметь тебя в организации... Пойми, что ты была бы тогда отличницей!

– Нет, Яша, я не хочу покупать свою «отличность».

– Но всё же твоё самолюбие страдает?

– Самолюбие? Нет. Правда, я с брезгливостью смотрю на директора Маликову и на правоверного обществоведа, и, порой мне кажется, что я знаю больше их.

– О, Ольга, так говорит весь класс. А всё же мне хотелось бы дать тебе добрый совет... Ведь ты мне столько помогаешь... Я тебе обязан...

– Ну, полно, Яша, за это благодарить нечего. Я скорее себе добро делаю, потому что не могу видеть, когда кто-нибудь чего-нибудь не понимает. А совет твой... опять насчёт комсомола?

– Да, Оля... Ведь смотри, скоро экзамены... Ты, конечно, свидетельство получишь, но теперь же закон: отличники в ВУЗ принимаются без экзаменов, а ты же думаешь поступить в энергетический институт?

– Знаешь, Яша, будем откровенны?

– Да, Оля, я же не из «тех», ты сама знаешь... – это был намёк на доносчиков.

– Комсомол – не для меня. Комсомол мне знаний не даст. А экзамены в институт – попробую посоперничать. В прошлом году конкурс был большой, в этом году, вероятно, будет еще больший.

Яше хотелось отплатить чем-то хорошим своему другу, но он убедился, что его искренний совет был неприемлем.

Но девушка продолжала:

– Так будем откровенны?

– Да, Оля...

– Что даёт тебе комсомол?

Юноша замялся.

– Видишь ли... Вот я учусь...

– Откровенность бывает неприятна иногда, Яша...

– Нет, ты говори то, что ты думаешь. Я твоё слово ценю выше... чем комсомольское...

– Хорошо. Мы останемся с тобою такими же хорошими товарищами, потому что я хочу тебе только добра...

– Да, да, говори...

– Комсомол помагает тебе вытягиваться в учёбе... – Ольга внимательно посмотрела на приятеля.

– И моё прошлое помогает, – добавил Яша, и мерцающие огоньки в его глазах на миг озарились счастьем, которое может приносить сказанное слово правды, долго скрываемое даже от самых близких.

– Пршлого твоего я не знаю.

– Заслуга, собственно говоря, не моя, а моего отца. Он был партизаном в гражданскую войну, боролся против контрреволюции...

– Его убили?

– Нет, он умер... давно... я едва помню...

– Тогда понятно, почему ты такой защитник комсомола.

– Нет, Оля, я советую, чтобы... легче тебе жилось...

Девушка знала, как жил её соученик и спросила:

– А тебе хорошо живётся?

– Я не к тому...

– Нет, нет, подожди, уж будь откровенен. Отец был партизаном, отец защищал советскую власть, отец был коммунистом по идее и эта идея заставила его взять оружие в руки, но он, победив, умер... Что стало с твоей матерью?

Яша молчал, потупив взор.

– Ты вырос больным и хилым, но вступил в комсомол, вероятно, тоже no идее?

– То было вначале...

– А теперь?

– Сила инерции... может быть, легче жить будет... Тянут же сейчас в школе...

– Боюсь, Яша, что ошибёшься...

– Но возврата нет оттуда...

– Откуда?

– Уйти самому из комсомола...

– Ах, вот как! Это хорошо, Яша, это я понимаю. Ты можешь и не уходить.. Хотя лучше было бы для тебя... Лучше... Лишь бы ты сохранил свою душу такой, какая она есть у тебя сейчас. Не в комсомоле дело, а в той неправде, которая сквозит из всех уголочков нашей жизни... Ты, может быть, не знаешь, не видишь её... не испытал на своей спине...

– Я знаю, Ольга, ты заслуживаешь быть отличницей...

– Нет, нет, – перебила его горячо девушка, – это мелочь, Яша... Есть вещи посерёзней, но о них я не могу говорить...

– Боишься?

– Нет, это не моя тайна...

– А ту неправду, Оля, я знаю, вероятно, не хуже тебя. То, что сделал отец для революции, не так велико, но его семья всё же заслуживала большего внимания... а мы голодали... Сколько партийных и советских дверей закрывалось перед матерью, когда она приходила, чтобы ей и мне маленькому оказали помощь?! Это я знаю, но думал всегда, что это местное, чуждое коммунизму, но...

– Ошибся?

– Да, Ольга, я ошибся.

– И всё же остаёшься в комсомоле?

– По инерции... и уйти, Оля, нельзя...

– Почему нельзя?

– Я буду врагом их на всю жизнь и, может быть, большим, чем какой-нибудь бывший белогвардеец... А о судьбе таких людей ты, наверное, знаешь не хуже меня...

– Ну, что же, Яша, постарайся душу свою сохранить такой, какая она у тебя сейчас...

Шли дни. Весна уже разукрасила сады, солнце яркое выглядывало в школьные окна, запах цветов доносился из соседнего двора. Юноши и девушки напряженно внимали слову науки,

готовились к предстоящим экзаменам. В каждой юной головке лелеялась надежда успешно закончить школу и – в центр – в Москву, Ленинград, Киев, Харьков – в ВУЗ. Каждый наметил уже себе цель – университет или институт – и каждый старался быть готовым к испытаниям так, чтобы получить как можно больше отличных баллов.

Яша теперь почти не уходил из дома Ольги. Он жадно ловил каждое её слово, повторял, переспрашивал, записывал, но репетиторша его видела, что знания ему даются тяжело и страдала.

Кончились экзамены. Конечно, ни Ольга, ни Яша не получили отличных свидетельств. Когда многие другие достойные ученики узнали, что они и Ольга не получили свидетельств отличников, они так возмутились, что хотели устроить общее собрание и вынести протест. Но Ольга сказала им:

– Моё и ваше свидетельство этим не исправите...

А Яша добавил:

– Себе вы можете только повредить... А вы и Ольга дорогу себе пробьёте...

Лето прошло в отдыхе. Соученики встречались, ходили в парк, на озеро, в кино, на музыку. Мечтали вслух и продолжали возмущаться:

– А нам и Ольге придётся держать экзамен в ВУЗ!

К осени мечты улеглись. Предстояли разлука и серьёзная учёба «Это не то, что в десятилетке!»

Кое-кто отстал отказался от института: конкурс велик, а свидетельство посредственное, на экзаменах всё равно срежут; кое-кто побоялся, что по новому закону придётся платить за правоучение, а не все были в состоянии это сделать.

Яша тоже решил отказаться от университета: «Разве мне бороться? Нет у меня таких знаний...»

А Ольга поехала в Москву. Конкурс невиданный: на одно место больше восьми кандидатов!

Через месяц вернулась. По всем предметам – «отлично».

– Я не сомневался, что ты так выдержишь, – встретил её Яша. – Но всё же понервничала?

– О нет, наоборот, я была всё время спокойна и уверена в себе...

Девушка собрала свои вещи и укатила в далёкую Москву – мечту юных сердец, стремившихся к науке.

Кончился первый учебный-год. Ольга и здесь также легко шла,

как и в десятилетке. Но здесь дышалось легче, хотя нужно было заниматься прилежно. Профессора не смотрели на комсомольский билет. Экзамены проходили без запинок, и в зачётной книжке появлялись «отлично», скреплённые руками знаменитых умов.

Еще один экзамен – и домой. Но грянула война. Экзамен сдан. Все комсомольцы были мобилизованы. Осталась только маленькая группа беспартийных, которая стремилась выскочить из Москвы, скорее добраться до родного дома.

Ольга приехала ночью домой, в родной городок. Огни были погашены, движения не было, с наступлением темноты запрещалось хождение по улицам. Только утром добралась до родительского крова.

Она уже знала, что Яша работает на одном из заводов в комсомольской организации и жить ему стало немножко сытней, так как его маленький заработок позволял уже и поесть лучше и одеться. Узнала она, что медицинская комиссия, как ни строга она была в начале войны, но совершенно освободила его от военной службы.

Ольга с нетерпением ожидала своего старого школьного товарища, чтобы поделиться с ним московскими впечатлениями, но Яша так был занят комсомольскими делами в военное время, что у него не было и минутки, чтобы навестить двоюродных дядю и тётку, по соседству с которыми жила она.

Однажды в послеобеденный час Яша всё-же прибежал прямо к Ольге.

– Ну, где тут инженер-энергетик, – раздался его возмужавший голос.

– А, наконец-то, вот так с товарищами обращаются!

– Некогда, Олечка, поверь, нет времени и вздохнуть, и если бы не армия, я бы и не пришел скоро.

– Какая армия? – удивлённо спросила Ольга.

– Какая? Красная, конечно... Я пришел попрощаться...

– Ты? В армию?

– Да, я, в армию, – повторил Яша.

– Но ведь тебя освободили?

– Это медицинская комиссия, да...

– Я не пойму, Яша, в чём дело?

– Комсомол постановил: «В порядке комсомольской дисциплины... всем итти добровольцами».

– Комсомол постановил?

– Да, Оля.

– Но какой же из тебя солдат?

– Что же, я должен подчиниться...

– А если...

– Нет, нет, сейчас этого нельзя... даже опасно...

– Почему? Но ведь ты же имеешь основание...

– Медицинская комиссия?

– Да...

– Если родина умирает, то смерть одного несчастного, больного комсомольца– ничто!

– Но ведь это не только несправедливо, но и жестоко!

– Ты думаешь? Хотя это всё равно, что ты думаешь. У меня нет выхода. По инерции, помнишь?

– Спрячься, убеги, я поговорю с папой...

– Нет, нет, Оля, это невозможно... Мы можем быть также откровенны, как и раньше?

– Конечно, Яша, что за вопрос!

– Я не могу теперь не пойти... если не пойду... меня убьют... А так всё же риск... Может быть, останусь жив...

– Почему убьют?

– Ты наивная, хоть и добралась до института... Таков закон советской жизни... Ну, прощай, мой дорогой товарищ, времени-то у меня нет...

– Жалко до слёз расставаться с тобой мне, Яша... Это так несправедливо... Что ж, до свиданья, мой милый друг! Может быть, фотографическую карточку оставишь мне на память?

– Сентиментализм?

– Нет, Яша, материализм. Хочу иметь вещественную память о тебе, заглянуть иногда в твои серые глаза и спросить: «Ну, как ты там, комсомолец?»

Яша порылся в карманах.

– На твоё счастье нашлась и фотография. Полагается и кое-что написать?

– Ну, конечно!

Химическим карандашом Яша написал: «Лучшему другу

юности. Яша.» Протягивая снимок он добавил:

– Коль убьют – помолись за невинную душу...

Он сунул карточку ей в руку и быстро побежал к выходу. Далеко у калитки послышалось:

– Прощай!

И теперь Ольга вспомнила последние слова и смахнула набежавшую слезу. Стало тяжело на душе. Москва и институт ушли куда-то далеко-далеко, может быть, навсегда...

Недели через три в город привезли первых раненых. Старушка-медсестра, мать двоюродной тётушки Яши, кропотливо обмывала фронтовую грязь, делала сложные перевязки, утешала страдавших, разговаравала с легко ранеными. Вздумалось ей спрсить и о Яше.

– Не встречался ли вам Яша Воронов, – доброволецкомсомолец?

В палате встрепенулись, даже тяжело раненые силились поднять голову.

– Яша? Худенький, бледненький мальчик? Воронов?

– Да, да, у него каштановые вьющиеся волосы и остренький носик...

Раненые замялись.

– А вы кто ему будете? – спрсил один с перевязанной рукой.

– Да я знакомая просто, – солгала старушка, поняв замешательство больных.

– Яши нет, сестрица, и тела его не осталось. Снаряд попал в машину, на которой он сидел. Только куски подобрали, да чуть-чуть землицей притрусили...

– Господи помилуй! – вырвалось у старушки-сестры, но перекреститься в присутствии красноармейцев она не решилась. – Как же это случилось?

– Что ж, сестрица, нас никто не обучил. Все мы прямо из дому и на фронт. Винтовку держать никто не умеет. Ехали мы по Смоленскому шоссе. Немец начал снарядами кидать. Машины остановились. Кто был обученный с машины да в канавы, а мы сидим, дожидаем смерти... Яша на второй от меня машине... Слышу – что-то со свистом прошумело над самой головой, даже пригнулся, вслед только – бабах! Меня вот осколком в руку, а там – черный дым и грязь, всё подняло вверх. Ну и мы теперь по канавам пустились. Обстрел кончился. От машины остались обломки горящие, а от людей – руки, ноги да головы... Там и Яша Воронов... На Смоленском шоссе... землицей притрушен...

Дошла тяжелая весть и до Ольги. Всплакнула и помолилась за невинную душу.

И теперь вспоминается Москва дорогая, Россия родная и среди тяжелого труда и забот всплывает иногда образ Яши-комсомольца с душой невинной и чистой, как кристалл...

Перебирая старые фотографии, встретит знакомое русское лицо школьного товарища и вспомнит роковые слова – «По инерции!» – и последнюю просьбу:

«Коль убьют – помолись за невинную душу...»

Перекрестится и тихо положит снимки на место. Смотреть больше нечего, трагедия слишком сильна, чтобы вспоминать остальное...

За железной завесой

Советская социалистическая система
после Второй Мировой Войны,
во время Холодной Войны
и коллективного руководства

Посвящается памяти миллионов
людей России, Украины
и всех советских республик, и
людей восточной Европы насильно
присоединенных к Советскому Союзу,
которые жили без свободы
и страдали под угнетающим режимом
социализма-коммунизма



ПРОЛОГ

ХРАНИТЬ ВЕЧНО

До чего же шкодлива (как кошка) и труслива (как заяц) коммунистическая власть! Шкодила, кроваво расправляясь и пьянея от крови, шкодила еще больше, но и...—О, как же трясло её будто в лихорадке, когда она вдруг видела куст! И что же? Как в сказке:

– А-ту его! Дери, держи! Кошелек вытащили! – а у самой-то не кошелек, а целая торба с замызганной «Правдой», которую за миллионы никому не всучишь! Разве уж с избытком преданному. Так и дожила, мудрствуя лукаво, эта шкодливая и трусливая власть до сорок первого года.

22-го июня с ясного неба, при сверкающем солнышке грянул гром:

– Война!

У этих самых шкодливых и трусливых солнце померкло и голубизна неба почернела—немцы коварные (а они, шкодливо-трусливые, – нет)!

– Все на защиту! – а сами с первого же дня начали уничтожать следы своей кровавой, шкодливой власти. Из маленького городка трехтонки-грузовики днем и ночью вывозили особо секретные бумаги в степь и предавали огню. Но грузовиков оказалась мало. На помощь прибыли совхозно-колхозные арбы с волами. И запылали костры.

– А ты, смерд, не смей приближаться к священному огню, пожирающему сверхтайны партийно-государственной важности! Лишний шаг—и меткий выстрел тренированного стрелка уничтожает без предупреждений без вины виноватого «свободного» гражданина «самой свободной страны в мире».

Да разве же это не тайна для всех: как это двадцать с лишним лет, шкодя и в то же время трясясь от страха просуществовала безбожная власть над христианскими душами?

Жгли до последнего дня. И до того дожглись, что даже мобилизационных повесток в военкомате не осталось. Побежали в типографию—нашлись где-то в макулатуре бракованные. Но вот, беда,

повестки есть, а списков военнообязанных нет. Сожгли уже. Послали мильтонов собирать по домам.

Ну, дураков теперь нет. Кто спрятался, а кто все же явился, зная наперед, что это «они комедию ломают!»

Шкодливо-трусливые, без всяких знаков отличия (а вдруг немец из-под земли вынырнет?), собрав человек двадцать-тридцать, выделяют старшего:

– Отправляйтесь в распоряжение... – и старшему, под страхом высшей меры, по секрету дают направление: – Там оружие...

Перейдут мост военнообязанные, выйдут за город—степь, подсолнухи да кукуруза. Тут старший приказ отдает:

– Перекур! – и спрашивает: – Как братцы, перекурим?

– А почему бы и не перекурить? – Махорки, правда, нет, сожгли шкодливо-трусливые, зато самосаду сколько угодно.

– Ну, не сидеть же нам у дороги и дымить паровозами! На то существует кукуруза да подсолнух. – И айда в гущу. Покурят военнообязанные, покалякают о том важном да о сём неважном, смотрят смеркается:

– Ну, что, братцы? Не пора ли? Женкам-то спать в одиночку грустновато?

Подошел октябрь. Взорвали заводы, фабрики, станцию и через реку. А немцев нет и нет. Покоится мост серединой в обмелевшей реке, а врага-супостата все нет. Наконец, последние части отходят. Да и не части, а разнобой какой-то.

– Что это у вас, немцы уже были? – спрашивают.

– Нет...

– А кто же это повзрывал все?

Что же тут спрашивать, ежели немцев и в помине еще не было?

И исчезли. Тихо-тихо. Секретно. В неизвестном направлении.

А немцев все нет и нет!

Бросились люди в разграбленные самими же шкодливотрусливыми здания магазинов, добрались и до горпарткома, горсовета, наконец и до НКВД.

Вот, где ОНО—чудовище—следы кровавые оставило! Следы вели к канализации... Вскрыли – смрад пошел... Сверху молодой рабочий... Блондин... За ним—горбатенький учитель... А дальше—каша...

Душили в баньке паром и «хоронили» в канализации во дворе... За что?

Нашли несколько пустых папок для дел, вверху которых было грозное предупреждение: «ХРАНИТЬ ВЕЧНО».

Война кончилась в 1945. Внешняя. А внутренняя, перманентная, не имеет конца. Ведь еще и теперь, в паспортах существует отметка: «Был под оккупацией».

Зачем?

«Хранить вечно.»

Советские лизоблюды из эмиграции говорят нам:

– Да что вы ерунду порете!

– А мы-то что? Слепые? Глухие? Подкупленные? На смерть перепуганные? Подписку дали не разглашать вашей тайны? Ваши ж мильтоны советские рассказали, что серийные номера паспортов это условные знаки: «был на работах в Германии», «был в плену», «был в ссылке», даже «был в партизанах!» А где те русские немцы, которых сослали после войны в концлагеря? Ведь они так и не вернулись на свои насиженные места!

«Свободные» граждане «самой свободной страны в мире»! Свободные от свободы!

Мы-то знаем, что наши имена в тех самых папках, на которых грозное предупреждение «Хранить вечно!»

Приезжают к нам перепуганные: «Да что вы! У нас так точно, как и у вас! Даже и на Иордань ходят!»

А для чего же каждого эмигранта-визитера иногда, будто между прочим, как знакомые знакомых, а иногда прямо вызывают в «заведение» и спрашивают:

– А кого вы еще знаете? Соседи? Знакомые? – и говорят визитеры, боятся не сказать, ведь на следующий год визы не дадут!! Так и превращают наивных «политических» эмигрантов в сексотов.

А для чего? Чтобы хранить наши имена вечно.

Говорят нам приезжающие оттуда:

– Да у нас, как у вас!

– Да неужто так? И студенты бунтуют? И профессора прогрессивные имеются?

– Да что вы! Да разве же наши люди «позволят»!

– И в каждой семье автомобиль? И за границу вольно всякому

ехать?

Молчат, будто не слышат.

Приезжают-то сюда не все, это мы знаем отлично. Не всех пускают. А те, кто приезжает, прежде подписку дают—«хранить вечно!» А, приехавши сюда—так, между прочим, фамилии наши на заметку берут—надо же отплатить полученное разрешение от «дорогой власти».

Кто едет туда, кто приезжает сюда—обязаны быть сексотами. Могут отрицать, клясться, божиться—они, мол, святые! Ложь! Может они сами не знают, что служат красному дьяволу, но скорее всего они хранят вечно свою службу, ибо не утеряли еще совести до конца, знают, что грязнее, подлее нет ничего на свете!

У нас в руках письмо-документ дамы, побывавшей там:

«Там ничто не забыто...» – одной этой фразы достаточно, потому что она подтверждает то, что мы видели—энкаведевские папки для дел с грозным предупреждением:

«ХРАНИТЬ ВЕЧНО»...



ГЕНИАЛЬНОСТЬ

Живем-то мы все по-простецкому и главного, так сказать, не замечаем. И плохо очень делаем. Ведь век-то наш не простой какой-нибудь, не обыкновенный, а гениальный! Само посмотрите, куда пальцем ни ткнешь, а в гения обязательно, всенепременно попадешь!

Вожди, скажем, и раньше существовали. Всякие, конечно, бывали. И всё же, что это были за вожди? Никакой в них мудрости, никакой корифейности или, в крайнем случае, бандитизма! Вот потому-то и гениальности никакой у них не было!

В переживаемое же наше время вожди совсем иного характера. Теперь что ни вождь, то сплошная гениальность, необъятная, широкая, беспредельная и так далее.

В начале нашего гениального века вождей еще можно было перечислить по пальцам, но в настоящее время это сделать оказывается невозможно, потому что не хватило бы не только своих собственных пальцев, но и ближайших соседей и ваших шапочных знакомых.

Однако наигениальнейших гениев всё же человечество не должно забывать и по возможности избирать путем тайного, прямого и демократического голосования в кумиры. А кумиры каждому живому и мыслящему несамостоятельно существу крайне необходимы. Они, так сказать, могут даже осчастливить и так далее... «Осчастливить?» А как же вы думаете? Вспомним историю, в кототорой наши наигениальнейшие гении, они же и кумиры, уже осчастливили целые народы, а не только отдельные личности.

Гений № 1 – Керенский. Осчастливил Россию соловьиными трелями собственного творчества. Весь преступный элемент смыл позор своего преступления благородным жестом этого кумира, выпустившего обитателей тюрем на свободу. Жить стало при гении № 1 уже лучше и уже веселе! Человечество было почти осчастливлено, если бы не...

Гений № 2 – Ленин. Осчастливил Россию, отдав народу всё то, чего сам никогда не имел. Наобещал предоставить свободу еще большую, чем гений № 1. Достоинством гения № 2 являлось полное уничтожение всех несчастливых путем поголовного расстрела

таковых. Осчастливление не закончено из-за...

Гений № 3 – Сталин. Создал подлинный социализм на основе последних научных данных – сталинизма, смешанного с гениальными ленинизмом и марксизмом. Стоимость такого социалистического счастья в настоящее время определить еще невозможно из-за отсутствия точных данных, скрытых от мира, но приблизительные подсчеты говорят нам о том, что всё это удовольствие гениального характера стоит всего навсего миллионов двадцать пять человеческих жизней, безусловно больше—история подсчитает это лучше в будущем. Цифра, как видите, «незначительная». Но сему гению всё же не удалось окончательно осчастливить человечество из-за скоропостижного исчезновения в преисподнюю. Однако же дело его без всякого завещания продолжают гениальные его наследники – генията, так сказать, именуемые в настоящее время...

Гений № 4 – Коллективное руководство. По недостатку времени оно еще не успело проявить себя полностью, во всём, так сказать, масштабе, но по всем признакам, которые пришлось обнаружить за короткое время существования, можно говорить очень смело о непревзойденной гениальной гениальности сего руководства. Во всяком случае, его первые шаги характерны падежом скота и ссылкой молодого поколения в отдалённые места на предмет осчастливливания народа хлебом на целинных землях, величайшими сдвигами во всех областях счастливой коммунистической жизни, а самое главное, наигениальнейшими обещаниями осчастливить окончательно жителей через два-три года, ежели «советский народ» к тому времени не вымрет весь.

Это, конечно, следует эмигрантскому населению принять во внимание, дабы не отстать от родных братьев, заключенных ныне в счастливом отечестве трудящихся. Дабы и нам, очень обездоленным эмигрантам, воспользоваться счастьем, которое так щедро разбрасывают наши эмигрантские гении, советуем поспешить избранием таковых на предмет осчастливливания их самих, гениев, а также и той части эмиграции, которая будет поклоняться избранным кумирам. Обоюдное счастье, так сказать.

Говоря о гениях нам особенно рассуждать не приходится, дабы не ввести кого в заблуждение, поэтому предоставляем возможность без рекламы воспользоваться или имеющимися уже в употреблении гениями или путем изобретения себе новых, а еще лучше новейших или даже найновейших.

Из старых же мы можем порекомендовать наиболее испытанных гениев, вполне сходных по характеру с указанными в начале сего научного трактата, следующих: Керенский, Мельник,

Бандера, Гегечкори, Добрянский... Не возбраняется поисками гениев у кривичей, казакийцев, туляков, рязанцев и т д. Все они чрезвычайно похожи на ушедших в неизвестном направлении товарищей Гитлера, Сталина, Ленина и прочих.

Как видите, гениальность нам необходима исключительно для нашего осчастливливания, и без таковой жить в настоящее время просто невозможно.

Некоторое замечание всё же мы должны высказать, как предупреждение для тех, кто пожелает воспользоваться гениальностью современных вождей и руководителей партии и правительства в изгнании. Опыт пережитых лет, вся история нашего гениального века говорит о том, что конец у всех гениев бывает чрезвычайно гениальный: сегодня, скажем, гений существовал в природе, а завтра гения не существует в природе. Исчезают, так сказать, они все досрочно. И имена их, как сквозь землю проваливаются. Это необходимо знать потому, что некоторым из эмигрантов, особенным любителям гениальных вождей и кумиров, необходимо озаботится несколькими кумирами или их гениями – на сей счет необходимо составить список хотя бы в алфавитном порядке, кому и когда поклоняться.

Имена же старых гениев затмеваются моментально потому, что новые гении моментально же затмевают старых своими заботами о человечестве. Рекомендуется также во всех газетах публиковать рождения новых гениев на предмет регистрации их для очередности в распространении счастья на земле.

Как видите, гениальность – явление весьма положительное и необходимое.



ВОСТОК ПЫЛАЕТ

Её дорогая одежда, как драгоценная приколка на голове, не прикрывает нагого ароматного тела цвета слоновой кости. Её одежда – лишь украшение откровенной наготы, прозрачна, как стекло. Пучки яркого цвета контцентрируются на ней, следят за каждым её движением, за каждым па, обнаруживая до предельной ясности даже малейшие изгибы её прекрасного тела, показывая все подробности окружающим, сладострастные взоры которых не имеют силы оторваться от её движущейся фигуры. Окруженная мужчинами, она не имеет смущения, она не знает стыда, она не ведает женской скромности – всех тех предубеждений, которые до сих пор упорно держатся в обществе. О, как смешны в её глазах эти бабушкины предрассудки в современном мире! И страстный танец её, – то дикий вихрь, то разгоряченная похоть, то глубокая истома, – не похожи на виденное до сих пор человеком. Кружась, взвиваясь и ниспадая, она манит к себе, зовет, она влечет и обещает:

– Иди ко мне! Я вся твоя!

Её удивительно красивое лицо с тонкими, правильными чертами, как и затаенный мелодичный голос, нежны, но беспокойны. Её чудные чувственные губы тянутся к намеченной жертве, они просят, они требуют властно ответа. Её глаза горят огнем бурной страсти, они влекут, возбуждают... и вдруг утихает их жар, они манят, они зовут, они обещают:

– Иди ко мне! Я вся твоя!

Она пришла танцевать сюда, потому что здесь собираются избранные. Их не так много. Но у них всё – сила, власть и деньги. Они богаты и знатны из рода в род. Они славны своим прошлым и настоящим.

Южная кровь горяча. Страсти вскипают мгновенно. Пары острых, черных, воскаленных глаз прикованы к молодому женскому телу цвета слоновой кости. С нескрываемым сладострастием они разглядывают наготу танцовщицы, тянутся к ней с единым откровенным желанием. Они знают, что она пришла сюда не только показать своё обнаженное тело, но и подарить его кому-то, подарить на короткий миг только... Кто же окажется счастливчиком? Кто же окажется избранным из избранных тут?

Забыт Аллах, забыты клятвы и присяги, забыты семьи, законы, традиции, забыты дневные заботы и тревоги. Охваченные страстью к белой северной красавице-танцовщице, они дико вскрикивают, взвизгивают, и стон возносится над головой прекрасной молодой чужестранки:

Ай - ай - ай - ай - аяй!

Они пойдут на её зов, на её обещанье и наградят её только за один миг блаженства всем, чем обладает каждый из них. Но обнаженной женщине с телом цвета слоновой кости, с волосами из чистого золота, этой пышной красавице нужен лишь один. У него власть надо всеми избранными, у него сила, равной которой здесь не найти, у него и богатства, выше которых тут не сыскать. Он, может быть, самый старый из них; он, может быть, самый безобразный из них; его страсть, может быть, отвратительна, как слякость... Но она манит имено его, зовет именно его, обещает только ему одному:

– Иди ко мне! Я вся твоя!

Кто же может устоять перед ней? Ведь праведников нет на свете!

Сильнейший, могущественнейший, избраннейший, и богатейший пал ниц в роскошном своем палаце перед женщиной, обнажившей свое тело цвета слоновой кости. Она отныне принадлежала только ему! И он припал к её прекрасным оголенным ногам...

Утром рано солнце озарило ложе возлюбленных:

– Красивейшая из красивейших! Наичуднейшая из самых наичуднейших! Восхитительнейшая из самых восхитительных! Моя возлюбленнейшая моя достойнейшая! Ты заслуживаешь моей великой ласки, моей страсти, моей любви! Да будешь ты моей одной из самых прекраснейших жен не только в моем дворце, но во всей моей стране! Ты заслуживаешъ драгоценнейших наград и похвал! Чем же могу возвысить тебя? Чем наградить тебя за любовь твою? Как могу расхвалить тебя перед моими женами и слугами? Какие почести я должен воздать тебе за блаженство нашей южной ночи? Мои богатства не утолят твоей жажды, мои похвалы не вознесут тебя на царственный трон! Ты достойна сокровищ всей земли и славы царицы мира всего! Скажи мне, возлюбленная моя, что хочешь ты от меня и я обещаю тебе вдвойне вознаградить тебя!

Тонкие, слегка вьющиеся золотые волосы красавицы рассыпались прядами на белоснежных подушках. Обнаженное тело цвета слоновой кости, утомленное бессонной южной ночью, спокойно распростерлось на цветном из дорогих ковров мягком ложе. Ни

богатейшие ковры тончайшей ручной работы, ни обещания старого, безобразного властелина, казалось, не прельщали танцовщицу. Глазами, полными тоски и печали, она посмотрела на временного своего владыку, которого именовала своим возлюбленным всю ночь, и тихо-тихо заговорила голосом, проникавшим глубоко в его душу:

– Ни славы, ни богатства твоего мне не нужно. Не нужны мне и твои похвалы, властелин мой. Ничего не хочу я для себя... Твоя любовь – это и слава моя, и похвала моя, и богатство мое! Я счастлива! Ты наградил меня своею любовью, ты возвысил меня ею до небес! Чего же желать могу я еще большего?! Ведь я твоя вещь! Я не смею... – и кристаллики-слезы показались на ее длинных ресницах.

– Но почему же, красивейшая из красивейших во всем мире, чуднейшая из самых чудных, почему же в глазах твоих такая печаль и тоска? Почему серебристые росинки слез застыли на золотистых ресничках твоих? Что же печалит тебя? Что тревожит тебя? Что мешает тебе улыбнуться счастливой улыбкой? Ведь южная ночь наша была полна любви и наслажденья! И счастье сопровождало тебя до рассвета! Что же могло вдруг изменить твою жизнь в это мгновенье? Воспоминания ли прошлого? Далекие думы севера навели тебя на грусть?

– Властелин мой! Могущественнейший из самых наимогущественнейших! Я объехала всю страну твою. Бедностъ и горе увидела я, нищету и несчастье твоего прекрасного народа... Знаю я, не помогут твои богатства осчастливить подданых твоих, но я знаю, что властью своею ты можешь улучшить их жизнь, сделать счастливыми, принести в каждую лачужку радость, свет, достаток... Ты посмотри на народ свой! Он за гроши продает труд свой иноземным пришельцам! За гроши, на которые он не в состоянии прожить сам! Народ твой трудится день и ночь в поте лица своего, но ни радости, ни счастья, ни времени для отдыха и любви у него нет! Псы бездомные живут лучше, чем твой талантливейший из самых талантливейших народ, равного которому я не встречала в нашем мире! О, как прекрасен народ твой! И как несчастен! Оттого и печаль моя, и серебристые росинки на золотистых ресницах моих, оттого и счастье мое омрачено печалью, мой возлюбленный властелин! И если хочешь наградить меня, сделай народ свой счастливым! Это будет приятно мне, и печаль моя исчезнет из глаз моих, высохнут тогда золотистые ресницы мои, и я снова награжу тебя моей беспредельной любовью и лаской!

Задумался великий властелин. Утихла страсть, и безразличный взгляд его, скользивший по обнаженному телу фаворитки, встретился со взглядом возлюбленной... Серебристые росинки на золотистых ресницах... Печаль в глубоких небесного цвета глазах...

– Я обещал тебе... Но я не в силах... Я не могу... Я не знаю, как это сделать... С тобой страдаю я за народ мой... И любовь моя к тебе становится еще сильнее! Но, возлбленная моя...

– Возлюбленный мой! Властелин мой великий! Я знаю, что смущает тебя... Ты связан договорами с ними... За них тебе платят маленькие проценты... Гроши в сравнении с тем, что должны были бы платить они тебе! Проценты с баснословно огромных доходов! Разорви договора! Ведь это же дешевые бумажки! Изгони иноземцев из страны своей! Возьми богатства свои в руки свои! И тогда ты создашь счастье и радость своим подданым...

– Но у них же огромнейшая сила, возлюбленная моя! В их руках смертоносное оружие небывалой силы! Наилюбимейшая моя, их армия непобедима! Счастье жизни моей, ты женщина далека от действительности!

– Так вот что останавливает тебя от справедливого шага в царстве твоем? О, могущественнейший из могущественнейших, о, возлюбленный мой! Пусть не смущает тебя ни их сила, ни оружие, ни армия! Ведь у тебя же есть великий и могущественеший друг! Этот друг не позволит никому напасть на твою маленькую страну! Он силен, и силу его боятся во всем мире! Его оружие великолепно! Его армия непобедима!

– Кто же этот друг, возлюбленнейшая, наикрасивейшая моя?

Извиваясь, красавица Севера нежно обняла старого и безобразного владыку и голосом, западающим в самую глубину души, прошептала:

– Советский Союз! Будь же смел и решителен! Мой народ – брат твоему народу! Мы все, мужчины и женщины, станем на защиту твоей маленькой страны! Действуй! Через твои владения тянутся каналы жизни – нефтепроводы. Разрушь их! Объяви иноземцам, что все нефтяные владения отныне принадлежат только тебе, твоему народу! Объяви их своею собственностью! Прикажи иноземцам немедленно покинуть твою прекрасную страну! И твой народ завтра же будет безгранично счастлив и благодарен тебе! И высохнут тогда серебристые росинки на моих золотистых ресницах, и радостно улыбнусь тогда я тебе и в нашей любви обретем мы снова, счастье наше и радость нашу...

Долго думал могущественный властелин над словами конкубины своей, долго решал он будущее страны своей... И в глазах его, обращенных к красавице, к её обнаженному слишком женственному телу росло решение...

– Да будет по-твоему, возлюбленная моя красавица!

И запылал Восток...

Красный уголок с небольшой сценой ярко освещался большими электрическими лампами. На сцене, за длинным столом покрытым тяжелой ярко красной скатертью, сидит президиум, в состав которого вошли самые почетные гости сегоднешнего торжества. И среди них лучшая из самых лучших слушательниц Женской Спецшколы МВД, товарищ Гурина, красавица с золотитстыми, чуть вьющимися волосами и с телом цвета слоновой кости. А в зале – выпускницы, одна красивей другой, и несколько избранных гостей из самых секретных учреждений столицы. Литерная школа не будет корреспондентами газет упоминаться в газетах «Правда» и «Известия», хотя она и является самой образцовой из всех учебных заведений Советского Союза. Да и корреспондентам доступ в эту школу закрыт.

Председатель торжественного собрания предоставляет слово для доклада начальнику школы грузному майору госбезопасности товарищу Котикову.

Тучный майор медленно встал из-за стола президиума и, тяжело ступая по сцене, неспеша приблизился к специально устроенной для этого вечера трибуне. Окинув острым взглядом маленький зал, он начал густым басом свою речь.

Товарищи! Конечной целью для нашей партии является мировая революция и построение коммунизма во всем мире. Эту цель мы можем осуществить лишь тогда, когда разрушим старый мир, на обломках которого сможем воздвигнуть новое коммунистическое общество. Но, как учит нас всех марксизм-ленинизм и наш дорогой вождь и учитель товарищ Сталин, исчезновение капитализма произойдет не само по себе, а путем революции, революции всемирной. История возложила на нас, на коммунистическую партию быть руководителями этой революции. Вот почему мы не должны сидеть сложа руки и ждать, когда рабочий класс капиталистических стран возьмет оружие в руки и начнет уничтожать враждебный им строй.

Гений товарища Сталина, его глубокий ум, его хорошая прозорливость, его исскуство великого полководца и умного руководителя всемирным коммунистическим движением уже известно всему миру. Гений товарища Сталина предопределил победу над Гитлером, гений товарища Сталина предопределил и продвижение коммунизма на Запад и Восток, в результате чего уже создался ряд социалистических республик в Европе, в коммунистический Китай и

на Востоке Азии. Но это совсем не означает, что мы уже близки к цели. Мы еще очень далеки до всемирной революции, далеки еще до всемирного коммунизма, к которому мы должны продолжать стремиться упорно и очень настойчиво, преодолевая все трудности, которые еще могут нам встретиться на нашем победоносном пути. Мы все не должны забыватъ, что гений товарища Сталина предопределяет скорую мировую революцию при одном условии, что мы будем упорно способствовать её приближению. Вот в ускорении приближения этой революции мы в первую очередъ и должны принять самое наиактивнейшее участие.

В распространении коммунизма ведущю роль играет советская коммунистическая партия, членами которой мы являемся. Советские коммунисты одерживают победу за победой в капиталистических странах и странах отсталых, феодальных, полудиких. Советские коммунисты иногда жертвуют своими жизнями во имя коммунизма во всем мире, но они бесстрашны.

Как во время второй мировой войны советские люди умирали за Сталина, за Родину, так теперь советские коммунисты легко умирают за Сталина, за партию.

Вы, женщины, члены коммунистической партии Советского Союза, не смеете уклониться от той огромной борьбы, которую ведет партия наша не только с врагами внутри нашей страны, но и с врагами коммунизма во всем мире. Вам, женщинам, смерти бояться не приходится, ибо та область, в которой вам предстоит работать, не требует таких жертв, хотя требуется с вашей стороны особенная ответственность и особенная осторожность в вашем поведении.

Ваш труд не менее ответственен и не менее сложен, но при известных условиях менее опасен. Вы теперь, после окончания курса нашей спецшколы, вооружены самыми новейшими научными знаниями и, соблюдая преподанные вам правила поведения, вы будете всегда оставаться неуязвимыми.

Лично товарищ Сталин, ЦК партии и наш славный министр внутренних дел товарищ Берия разработали и утвердили программу нашей школы. Лучшие психологи, физиологи и биологи, медицинские и судебные работники принимали участие в составлении специальной программы и специальных учебников, в которых теория сочеталась с практикой. Строго придерживаясь знаний, полученных в нашей школе, вы сможете выполнить любое задание партии в любой некоммунистической стране. Совершенное знание иностранных языков, знание диалектов поможет вам быстро ориентироваться в незнакомой обстановке. Партия через консулаты, торгпредства, культурные и другие представительства и учреждения будет

направлять ваши действия, давать вам новые задания.

Партия не требует от вас жизней, но требует от вас вашего тела! Вашего молодого, здорового, красивого тела во имя всемирной революции!

Зная психологию мужчин, вы можете сделать то, чего не сможет сделать ни один даже самый опытный агент наш за границей. Вы усвоили прекрасно курс, как влюбить в себя, как увлечь мужчину. Потерявший голову ученый или министр, генерал или ответственный работник какого-нибудь секретного предприятия или учреждения раскроет вам, невинным возлюбленным такие секреты и так легко, что вы сами будете удивляться! Секреты такие, которых мы иными путями никогда иметь не сможем, достанутся нам с необыкновенной легкостью!

Курс шпионажа, курс диверсии, курс агитации масс, курс пропаганды наших идей, курс жеманства, умения соблазнить мужчину, курс внедрения коммунизма в странах Запада и Востока, – вот то оружие, которое преподано вам и которым вы теперь владеете достаточно хорошо, чтобы помочь партии в её борьбе с капитализмом.

Партия мобилизовала вас, членов партии и комсомола, она выбрала вас, как наиболее соответствующих той работе, которую вы должны будете выполнять. Вы – лучшие из лучших! Вы являетесь наиболее красивыми, наиболее привлекательными и наиболее способными для чрезвычайно важных секретных партийных заданий ЦК и лично товарища Сталина.

Партия и лично товарищ Сталин требуют от вас большевистской напористости в вашей работе, смелости, находчивости, самостоятельности, умения выходить чистыми из самых даже грязных обстоятельств, которые могут встретиться вам на пути.

Теоретические знания вы показали на экзаменах, практические испытания сданы вами всеми на отлично. ЦК партии и лично товарищ Сталин не смогли не оценить выполненой одной из присутствующих здесь слушательниц практической работы. Эта слушательница является представительницей вашего выпуска. Имя её – товарищ Гурина. Задание, которое она выполнила, смогла бы выполнить лишь чрезычайно опытная женщина-агент. Вот почему ЦК партии и лично товарищ Сталин через представление советскому правительству наградили эту слушательницу орденом Ленина. Я, как начальник школы, поздравляю от имени всех присутствующих сотрудников и слушательниц товарищ Гурину с почетной наградой...

(Бурные аплодисменты и крики, «Да здравствует товарищ Сталин!» и «Ура товарищ Гуриной!» – прерывают речь начальника

школы.)

ЦК партии и лично товарищ Сталин надеются, что все вы последуете примеру орденоносной товарищ Гуриной, совершившей подвиг, равный боевому. В результате её работы в одной африканской стране произошел резкий перелом – от симпатий к англо-американским капиталистам, которые там были очень сильны, не осталось и следа, а Советский Союз сделался величайшим её другом! Роль подпольной коммунистической партии в этой стране возросла. Она превратилась из подпольной в легальную. Наши официальные агенты в значительном количестве направлены туда. Они будут одновременно с культурными, научными и экономическими заданиями внедрять коммунистические идеи, революционизировать массы, главным образом немногочисленную там интеллигенцию и студенчество. Из газет вы уже знаете о порче нефтепровода в этой стране, об отобрании нефтепромыслов у иностранцев, о решении правительства ограничить деятельность иностранцев в стране, причем это ограничение не касается наших представителей. Эту огромнейшую работу произвела товарищ Гурина! Партия и лично товарищ Сталин уверены, что все вы последуете её примеру!

Да здравствует товарищ Сталин!

Да здравствует наша школа, выпускающая таких партийных работниц, как товарищ Гурина!

Слава и честь товарищ Гуриной!

Окруженная почетом и славой, товарищ Гурина поехала в новое путешествие, в новую страну, с новыми весьма важными и секретными заданиями. Во славу коммунистической партии и лично товарища Сталина она не раз уже отдавала свое тело жадным восточным вельможам, извлекая выгоду не для себя, а для всеобщего мирового счастья, скрыто шагавшего за близящейся семимильными шагами мировой революции. И теперешнее поручение, как она считала, приближало человечество еще на один значительный шаг к заветной мечте.

Вельможа, с которым ей предстояло вступить в любовную связь, не был таким отвратительным, как некоторые предыдущие, наоборот, он был молод, красив, строен и легок. Но он был ей отвратителен своей принадлежностью к правящему буржуазному классу, а потому физически её не прельщал ничем. Она знала, что, заглушая в себе отвращение, которое она называла классовым, она все же ляжет с ним в богато убранной спальне на брачное ложе и даст ему полную волю над своим телом, над телом, в которое она сама была влюблена.

Она была уверена, что этим телом она сумеет вынудить у этого выхоленного государственного деятеля очень важные секретные сведения о предстоящих переговорах с представителями уолстритских акул. Она знала также, что еще много таких ночей она проведет с ним, давая каждый день свои отчеты в культурной миссии, расположенной на самой главной улице столицы в прекрасном дворце, купленном её страной. Оттуда все сведения немедленно передадутся в Кремль и самые важные из них попадут сразу же к товарищу Сталину.

О, она знала, как осторожна должна быть она! Ведь за это задание она может получить второй Орден Ленина! Поэтому, отгоняя свое классовое отвращение к восточному красавцу, она старалась не думать о наступающих ночах, развлекаясь в богатых кабачках большого восточного города, в которых встречалась со своими агентами. Тут она передавала им отчеты о проведенной ночи во всех подробностях, как предусмотрено инструкцией по этому поводу, давая одновременно полную характеристику своему «возлюбленному», на которого по её данным уже создавалось в Москве специальное «дело».

Началъники товарища Гуриной были очень довольны её работой, делали ей некоторые незчачительные указания, ставили дополнительные цели, и её мечта о новом ордене, казалось, становилась все более и более реальной. Но теперь орден Ленина, она мечтала получать не из рук толстого майора, начальника школы, к которому она теперь не имеет прямого отношения, а, вероятно, лично от товарища Сталина.

Росли её успехи, росли и её надежды, но одновременно росло и её смутное чувство другого рода по отношению к классовому врагу, к красавцу-вельможе, с которым она продолжала встречаться в уединенных местах, откуда он увозил её в свой дворец и рано утром привозил снова в город. Её отчеты стали скупее, её сведения не всегда совпадали с теми данными, которые её непосредственный начальник получал здесь же из других источников.

Она постепенно окружалась кольцом недоверия, сомнения, её стали подозревать в измене, хотя её «возлюбленный» сообщил ей, что договор с сильной, дружественной до сих пор державой по его настоянию не подписан, и она, окрыленная успехом, явилась на свидание к своему агенту, который огорошил её сообщением о том, что шансы на успех Советского Союза в известной экономической, а, следовательно, и политической акции, подорваны соглашением, подписанным вчера по настоянию её «возлюбленого». Он потребовал во что бы то ни стало достать копии этих секретных документов, и красавица, наняв автомобиль, помчалась за город во вдорец своего «возлюбленого».

Дорогой она взвешивала свое положение, приходя к трагическим выводам: провал её миссии вырисовывался с такой ясностью, что не видеть его нельзя было. Результаты, она знала прекрасно, в таких случаях варьировали от строжайшего дисциплинарного взыскания с оставлением на службе, но с очень большими ограничениями, и вплоть до высшей меры наказания. Зная, что её провал граничит с изменой, так как агент намекнул ей на то, что её начинают подозревать уже в самой настоящей любвной связи и желанием остатъся в этой стране, она считала, что ей грозит не простое взыскание, но очень крупное наказание, избежать которого можно лишь сделав что-либо для партии такое, что свыше всяких человеческих сил.

Что же могла Гурина предпринять теперь, чем смогла бы обелить себя в глазах начальства? Она не видела. Даже те копии серёкретных соглашений, о которых ей сказал агент, не помогут восстановить утраченного к ней доверия, и ей прийдется отвечать по всем строгостям партийной дисциплины в тех самых органах, в которых она работает. Это никак не сулит ей ничего хорошего.

Какое же может быть будущее? Остаться в этой стране или переехать в другую – невозможно. За ней уже следят и её найдут даже на дне морском и уничтожат. Оставалось выбрать одно – или любыми средствами достатъ все же копии документов, или же сознаться в еще несовершенном «преступплении» перед своим «возлюбленным» и, отрекаясь от всего прошлого, просить его спрятать её так, чтобы рука товарища Берии не достигла её.

Обманув Гурину, адоратор долго дико хохотал после ухода своей ночной фаворитки, зная прекрасно, что она была подослана к нему агентурой из коммунистической страны. Насладившись вволю её телом, её горячими ласками, он без сожаления расстался с нею и теперь, убаюканный, опьяненный еще сказочной ночью, лениво потягивался на мягких подушках. Раздавшийся телефонный звонок в просыпающемся свежем утре заставил его даже вздрогнуть своей неожиданностью. Он взял трубку и услышал знакомый голос северной красавицы, молящий его о встрече. И взбудоражилась его восточная кровь. И решил вельможа важный свой смех довести до конца, сочетая его с наслаждением. Задумал он провести еще одну ночь с камелией из далекого севера, чтоб надолго осталось прекраное воспоминание о ней. Еще одну и, пожалуй, последнюю ночь, чтобы, насладившись ею, сказать, что её хитрость он перехитрил вдвойне.

Вечером «возлюбленный» мчался на своем Ролс-ройсе с ней в свой загородный дворец. И снова нагая товарищ Гурина лежала на дорогом ложе, утоляя любовную жажду своего ненасытного властелина. Снова забиралась она в его душу, но гортанный говор стал

иным, что не могло от неё скрыться.

– О, северная Лаиса! Я солгал тебе! Договора подписаны по моему настоянию!

– Возлюбленный мой! Владыка мой, – уже искренне воскликнула она, – мне ничего не нужно! Спаси меня! Спаси только меня, мой драгоценнейший! Меня ждет теперь смерть в моей стране! Спаси, умоляю тебя! Не только мое тело, но вся моя жизнь принадлежит только тебе одному. Мой господин! Я твоя раба до последнего дня моей жизни!

– Хотя душа твоя и тело твоё кажутся безукоризненно чистыми, но ты слишком грязна и своим прекрасным телом и своей раскаивающейся душой, амбубая, подосланная Севером! – и дикий хохот разбудил предрассветную тишину.

Тигрицей вскочила с любовного ложа оскорбленная красавица и, едва прикрывая охваченной находу драгоценной тряпицей свою наготу, помчалась бегом в город, в культурную миссию с маленькой надеждой заслужитъ своим искренним признанием смягченное наказание. О, как ей хотелось жить! Но дикий хохот продолжал оглушать её, напоминая о предстоящем суде, преследуя её до самой смерти.

К счастью, в пустынных ранних улицах было еще сонно и тихо. Ни одного полицейского не встретила она и, дрожа от страха и утренней прохлады, незаметно проникла в здание советской культурной миссии...

Через нестолько дней она стояла навытяжку с давно заработанным орденом Ленина перед министором внутренних дел и докладывала о своей неудаче, беря по-большевистски всю вину на себя. Небрежным движением руки министр указал ей на двери, в которых стоял исполнитель воли партии, грузный майор Котиков, начальник спецшколы, садизм которого ей был прекасно известен.

В его необычном кабинете, приспособленном для исполнения наказания после добытого силой признания, Гурина открылась: да, она была в сговоре с уоллстритскими акулами и внушила африканскому вельможе подписать те секретные документы, которые так и остались неизвестными Кремлю, но которые, по сведениям разведки, были направлены против Советского союза, против коммунистической партии и лично товарища Сталина. Дальше она призналась в том, что по заданию тех же уоллстритских акул она приступила к подготовке акта, направленного против ЦК партии и лично товарища Сталина. Все члены ЦК во главе с товарищем Сталиным долны были быть уничтоженными на трибуне Красной площади на глазах народа во время демонстрации в день Октябрьской революции.

Конечно, преступление Гуриной перед партией и лично перед товарищем Сталиным было чудовищным и она подлежала высшей мере наказания – расстрелу, но официальная экзекуция запоздала – старательный майор Котиков успел, еще до вынесения приговора специальной для этого случая верховной судебной инстанцией ведавшей исключительно строго секретными делами, рассчитаться с бывшей своей слушательницей, которая первую свою практику отбывала у него в кабинете на широком роскошном диване, отдавая свое тело и ласки безобразному начальнику.

Обнаженная и растерзанная до неузнаваемости после требуемых Котиковым признаний, она лежала в собственной крови, а орден Ленина, раздавленный сапогом грузного майора, впивался в её изуродованную грудь...

Открылся шлюз и сильный поток воды с шумом омыл еще горячее, но лишенное жизни тело красавицы Гуриной вместе с её именем...



КАКОЕ ВАМ ДЕЛО?

Конечно, в Венгерской народной республике никакой коммунистической партии не существует, и Матиаш Ракоши никакого отношения к компартии советского союза не имеет; а ежели и есть какая партия в Венгерской народной республике, то, скажите пожалуйста, какое вам дело?

Ну, хорошо, есть, скажем, в Венгерской народной республике партия трудящихся. Так это же никакого отношения к советской коммунистической партии не имеет. А что секретарь этой партии товарищ Матиаш Ракоши советский гражданин и член советской компартии, то какое вам дело?

Одним словом, открылся съезд этой Венгерской трудящейся партии. Не коммунистической. Запомните это хорошо! Венгерской народно-демократической трудящейся партии. Так что же по-вашему, не нельзя партийным съездам открываться? Раз везде съезды открываются, то, спрашивается, почему же не могут такие же съезды открываться в Венгерской народно-демократической республике? И что же тут может быть удивительного? Ведь даже в Англии у товарищей лейбористов партийные съезды открываются, и доклады заслушиваются, и резолюции выносятся. И вы тогда не удивляетесь? Посему нет смысла удивляться, что и в Венгрии открылся съезд трудящейся партии.

Слыхали ль вы, что на съезд сей прибыл товарищ Ворошилов. Это, конечно, из Советского Союза. А товарищ Ворошилов, как и вам должно быть известно, является членом коммунистической партии и членом советского правительства. Вот сей товарищ и прибыл в точно назначенное время на съезд трудящейся партии венгерской. И вы предполагаете снова удивляться? И какое же вам дело, скажите пожалуйста? А? Ну, приехал товарищ Ворошилов. И что же? Разве нельзя ему приезжать в свою Венгерскую народно-демократическую республику?

Конечно, товарищ Ворошилов недаром приехал в Венгерскую свою республику. Он приехал, чтобы выступить на съезде трудящейся партии венгерской с речью. А речь его на этом съезде члены трудящейся партии выслушали с большим вниманием. И речь товарища Ворошилова часто прерывалась бурными и долго

несмолкаемыми овациями, и все в это время вставали и громко... Ну, да разве вы не знаете? Ведь это же вошло в традицию всех съездов венгерской трудящейся партии...

А на каком же языке произносил речь товарищ Ворошилов? На венгерском? На русском? Ежели товарищи из трудящейся партии внимательно слушали речь всесоюзного старосты товарища Ворошилова и часто очень прерывали её бурными и долго несмолкаемыми аплодисментами, и закончили долгими овацмями в честь товарища Ворошилова...

А какое вам дело, дорогой читатель? Чего это вы так добиваетесь подробностей всяких? Понимает или не может понимать какой товарищ из венгерской трудящейся партии – это не так важно, важно, чтобы он, этот член партии во-ремя прерывал речь, во-время бурно аплодировал и долгими и несмолкаемыми овациями приветствовал своего партийного барина Ворошилова...

И, вообще, не интересуйтесь тем, что делается в трудящейся венгарской партии, а то примут вас за англо-американского шпиона со всеми вытекающими в концлагерь последствиями...

А причем здесь советский концлагерь? – спосите вы.

А какое ваше дело до народно-демократических республик? Говорят, что товарищ Ворошилов изъяснялся на сем съезде на луганском языке...



ГОЛОС ДИКТОРА

Сколько разнообразных звуков врывается в вашу комнату когда вы включаете радиоприемник! Не будет удивительным, если вы приоткроете завесу и послушаете, что делается «там», чем живет ваша Родина.

Вот и знакомая речь. Как будто на миг вы унеслись в далекое прошлое. Вы «там». Ничто не изменилось с тех пор. Всё тот же диктор, всё те же слова о пафосе, энтузиазме, достижениях, перевыполнениях, вахтах, заданиях партии и павительства, которые попрежнему дорогие и мудрые всё так же заботятся о беспомощном народе... Всё то, что было пять, десять... тридцать шесть лет тому назад: Ложь! Никаких изменений! Значит, и та же нищета, беспросветная нужда. Тоже стояние в очередях, те же выкрадывания мирных людей по ночам... Всё во славу социализма-коммунизма!

Русская речь... Но как чужда она русскому человеку... Вы меняете волны, и пафос сменяется языком с иностранным акцентом. Кто-то говорит. Да, теперь и не удивительно. Ведь в Румынии, Болгарии, Чехословакии, Венгрии, Албании, в Германии – везде изучают русский язык, язык марксизма-ленинизма-сталинизма... Великий русский язык превращен в аббревиатуры, которыми коммунизм пронизал наш прекрасный язык... «Предреввоенсов посетил стройлаг № 36 и наградил начстройпер...» язык индюков подменяет родную речь...

Вы слышите голоса. Как будто родная речь. Говорит работница-латышка о достижениях, литовец-рабочий о перевыполнении плана, чех о своей вахте, венгр о соцдоговоре, румын о счастливой жизни, немка из Восточной Германии о заботе партии и правительства о её детях...

Говорят... Говорят по-русски... Без пафоса, без энтузиазма, с иностранным акцентом... Но вслушайтесь в эту русскую речь, и чуткое сердце ваше разгадает слёзы, печаль, тоску, тяжесть, беспросветную нужду, кабалу социализма-коммунизма. Об этом вы узнаете по тону, тембру, дикции. Голос не наш, не родной, но та же правда, колхозная, рабочая общечеловеческая прозвучит на нашем языке...

В странах так называемых народных демократий звучит наша речь. Сколько ненависти питают народы к русским людям, к их языку!

Почему? Только потому, что советчики именем русского народа казнят свободу везде, где только они не появляются.

Когда люди начинают говорить по-русски, вы узнаете, что говорят не московские дикторы, которых не поймешь, хорошо ли они живут или нет, довольны ли они советской властью или нет. Диктор – артист. Он, как клоун, должен петь: «Смейся паяц!»

В речи диктора – много пафоса, энтузиазма. Но мы знаем, что это только артистисческий прием, что под позолотой скрывается страшная нужда русских людей... Эта нужда охватывает теперь страны «народных демократий»...

Как бы не надрывались московские атисты-чтецы, но они не смогут переубедить народы свободного мира ни в чем – все теперь знают, что коммунизм это мрачное подземелье, в котором страдают миллионы... Там нет света, там нет свободы... Нищета, вечный голод... Таков коммунизм!



ОБ АМЕРИКАНСКОЙ ПОМОЩИ РОССИЙСКОМУ НАРОДУ

Американский народ не раз пробовал оказывать помощь российскому народу, пребывающему под игом комунизма. Доходила ли эта помощь до народа и в какой мере? Этот вопрос имеет в настоящее время большое значение, так как Президент США Дуайт Айзенгауер собирается еще раз попытаться оказать такую помощь.

Многие из нас являются свидетелями голода 1921 года в СССР. Щедрая рука американского народа протянула богатое даяние нашему народу – этого забыть мы не можем. Но сейчасъ наступило время разсказать, как эту помощь коммунисты использовали в своих партийных целях.

Я жил в те годы в сердце Донбасса: Макеевка, Юзовка, Горловка, Никитовка... Уголь! Черное золото! В нем заключалась жизнь всей страны! Но шахты молчали. Или жизнь в них едва теплилась. Молчали и заводы.

Шахтеры и рабочие предприятий, нищие и голодные, больше занимались работой для себя, чем для новой власти, которая их ничем не обеспечивала. Они превратились в кустарей, ремесленников, в мелких торговцев. Многие из них возделывали свои огороды, на которых выращивали картофель, кукурузу, овощи, а некоторые даже засевали свои крошечные участки хлебом. Большинство же покинуло насиженные гнезда свои и отправилось искать по белу – российску – свету лучшихъ мест... Донбасс, когда-то живший полнокровной жизнью, никогда не нуждавшийся ни в чем, потому что в нем было все – и цветущее сельское хозяйство и богатейшая промышленность, теперь умирал медленной голодной и холодной смертью.

К лету 1921 года Донецкий бассейн представлял собой страшную картину голода, запустения, разрухи. На горизонте тут и там высились трубы, из которых давно уже не шел дым, неподвижные шахтные копты скелетами чернели, териконы не засыпались угольной породой и поросли зеленой травой, выгоравшей на солнцепеке, а вблизи заводов и шахт – мертвая тишина. Степь выжжена. Только изредка пыль, взвиваясь вихрем вверх, неслась столбом по голодной равнине...

Редкие прохожие – серы, угрюмы озабочены и озлоблены. Одни из них спешат на рынок, чтобы там выменять на свое оставшееся еще жалкое барахлишко или на изделия своего труда—ведра, тазики, чайники, корыта, табуретки, и сандали на кусок ячневого или кукурузного хлеба; другие безцельно идут туда же с маленькой надеждой получить подаяние... А на рынках аптекарские дозы жиров, сахара, тонкие ломтики «хлеба» из неизвестных «злаков». Продавцы не гонятся за деньгами, огромными в цифрах, но пустыми в ценностном выражении. Голод...

И вдруг Донбасс ожил, заговорил, зашумел, загудел, закружились колеса, станки, задымили трубы, и зелень териконов начала меркнуть. Донбасс начинал дышать. А на рынках «богачи» продавали, меняли «американку», «канадку» на сахар, масло, жиры...

Коммунистической власти нужно было жить. Основой её жизни являлась промышленность, и правительство бросило американскую помощь не на спасение голодающих, а на восстановление коммунистической индустрии! Американская помощь оказалась пищей для коммунистических акул! Так не первый раз американская доброта послужила делу укрепления коммунизма в стране.

Я был в те годы и в селах того же Донбасса: Степановка, Зайцево, Алексеевка, Нижняя Крынка, Зуевка... Сюда едва проникала американская помощь. Она просачивалась через рабочих заводов и шахтеров, которые уже снабжались советской властью настолько хорошо, что на предприятия теперь потянулись все те, кто покинул из-за голода свои дома, потянулись и те, кто никогда там не работал. Но крестьяне в огромной своей массе продолжали голодать. Организованные властью питательные пункты не обеспечивали минимума питания, смертность в селах была значительной.

Мне пришлось видеть несколько таких питательных пунктов в разных селах. Они были снабжены по твердым нормам, главным образом, картофелем. Несколько крестьянских девушек, на долю которых выпало счастье работать на этих пунктах, были здоровы, краснощеки и веселы. Они имели завтрак, обед и ужин, состоящий из картофеля. Они ели его жареным, вареным, печеным. Но тот картофельный суп, который они выдавали голодающим, содержал в себе слишком мало крахмала, чтобы хоть чуть-чуть утолить аппетиты несчастных людей.

В то время как в промышленных местах люди уже наедались и у них уже появлялись «излишки» для обмена, «излишки» для удовлетворения других нужд, в селах в это время продолжался страшный голод.

За жизнь боролись. Ели лободу, древесную кору, опилки,

картофельную шелуху, но пухли, не имея настоящего хлеба, и умирали.

Страшно вспомнить то время!

Теперь, когда прошло более тридцати лет, я думаю, что все же было бы лучше, если бы американский народ в те годы не помогал коммунистической власти утверждаться на Российской земле. Тогда, может быть, и самого коммунизма не было бы на свете, а сегодняшние дни были бы и спокойными, и мирными. Правда, может быть, и меня не было на этом свете, потому что и мне пришлось пережить голод нелегко. Но была бы Россия!

Я не знаю результатов америкакой помощи в последнюю войну, но, зная лицемерие, хитрость и жестокость коммунистической власти, её дикость и фанатичность, я верю, что и во второй раз эта помощь была использована коммунизмом для укрепления своей власти над российским народом и для распространения своего влияния во всем мире.

Я призываю читятелей «России» разсказать на её страницах о том, что дала российскому народу американская помощь во Вторую Мировую войну и как укрепила она коммунистическую власть во второй раз.

Я надеюсь также, что наш многоуважаемый Николай Павлович, как Редактор Российской газеты, сможет на основании наших исключительно правдивых материалов, составить соответствующее письмо президенту США Айзенгауэру, которое поможет ему вынести наиболее правильное решение по вопросу о предполагаемой помощи СССР.



СЛЫХАЛИ ЛЬ ВЫ?

Мода, так сказать, уже пошла на некоторые чрезвычайно неопределенные разговорчики. Все говорят на одну и ту же тему. Всех интересует один и тот же вопрос. Застарелый. Но, может быть, поэтому и злокачественный предмет, интересующий всех, необыкновенно актуален. Ежели его не разрешить в переживаемый нами период, то трудно будет тогда и сказать, по какой параллели предстоит разделить очередную страну на международной мирной конференции. Может быть, Английскую.

Слыхали ль вы, что делегация английских лейбористов во главе с Клементом Эттли ездила в Красный Китай через СССР?

Слыхали ль вы что эта высокая делегация рабочего класса Англии останавливалась в Москве?

Слыхали ль вы, что господа лейбористы имели честь отобедать вместе с товарищами Маленковым, Хрущевым и прочими коллективными руководствами?

Слыхалм ль вы, что после сытного обеда, закуски и выпивки лейбористам показали различные картинки, басни в лицах, кукольный театр на квартире у «рабочего» в Москве, пустили метровскую пыль в глаза, трижды выругали капиталистов и похвалили лейбористов, одним словом, показали много а рассказали еще больше. До того много рассказали, что господа делегаты Великой Британии выразили даже сочуствие «русскому» правительству и русскому народу в их (?!) «трудностях»!

Слыхали ль вы, что господа делегаты вылетели из столицы СССР в столицу красного Китая, правительство которого повторило все театральные представления московского агитпроп партийного антихудожественного большого и малого театров, но на китайско-коммунистический манер. Были обеды, были национальные угощения, были взаемные приглашения. Выпили, закусили, снова выпили и снова закусили. А потом все почтенные делегаты ездили осматривать красные достижения. По пьяной лавочке всё оказалось прекрасно. Сплошные достижения. К ценам господа делегаты не присматривались. Сколько невинных жизней стоят все эти достижения – господам делегатам даже безразлично.

Слыхали ль вы, что господа делегаты выразили своё искреннее сочувствие господам чу эн-лаям и мао дзе-тунгам, а также всему китайскому народу (?) в их общих «трудностях» в деле построения коммунизма?

Кремлевские богачи и пекинские их последователи сумели русским и китайским гостеприимством одурачить не только англичан, не только близко стоящих к коммунизму господ социалистов, и мы не удивляемся милым улыбкам и крепким рукоплесканиям лейбористов в Москве и Пекине.

Наевшись до отвала у Маленкова, К.Эттли и его спутники не могли поверить,что обыкновенный русский человек голодает. Наевшись до порозовения в глазах, К.Эттли и его спутники не могли поверить, что обыкновенный китайский народ живет не лучше обыкновенного русского народа.

А слыхали ль вы, что г. К. Эттли требует уничтожения Национального Китая? «Рабочий» Эттли не находит возможным сосуществовать с Национальным Китаем! Это нам, русским, знакомо. Было время, когда не смогли сосуществовать с Национальными Русскими силами. Это было давно, во времена гражданской войны в России. Но это не доисторическое прошлое, и гг. Эттли должны помнить это время. Каковы результаты нежелания гг. лейбористов сосуществовать с Национальной Россией? К чему они привели? К расширению коммунизма. К страшной опасности для всего свободного человечества.

Но у нас есть только один вопрос к г. Эттли: «Почему, г. возможный премьер-министр, английское правительство не считает возможным сосуществовать с коммунизмом в Малаях?»

Эх господа многоуважаемые, до чего же видвижения всякие доводят! Разум у людей затемняется. И г. К. Эттли согласен сегодня на сосуществование с Китаем Коммунистическим, потому что он не грозит непосредственно Англии, но на Малаях с коммунизмом он сосуществовать не согласен и поддерживает все мероприятия правительства по борьбе с малайскими коммунистами. Но г. Эттли не понимает той простой истины, что завтра коммунизм раскроет свою пасть, чтобы поглотить маленькую Британию!

Да, Англичане очень боятся войны. Для них лучше коммунизм, чем война. Не понимают лидеры рабочего английского движения, что коммунизм унесет не меньше жизней, чем атомная или водородная бомба. А может быть, и больше...



ИЗОБИЛИЕ

Вот вы говорите, что всё то, что написано в советских газетах – ложъ, что всё то, что передают по радио – неправда, что никаких достижений в советском государстве нет, что работают там из рук вон плохо, что не хватает ни продуктов питания, ни промышленных товаров для населения?! Вы думаете, что всякий так вам на слово и поверит? Неужели вы думаете своими словами здесь разубедить тех, кто верит советской печати? Это не так легко, как вы думаете. У вас недостаточно фактов, которыми вы можете оперировать...

Да и потом, знаете ли, пусть соврут один раз ваши советчики, пустъ врут, наконец, один год, но невозможно же врать каждый раз и каждый год и все тридцать шесть лет подряд! Ведь и сами врали не смогут вытерпеть, чтобы когда-нибудь проговориться!

А позвольте вас спросить, как давно вы из Советского Союза? Что-о-о? Так, милейший, вы на столько отстали от жизни, что не вам говорить, не вам переубеждать тех, кто знает лучше вас, кто имеет сведения более свежие! Ваши рассуждения просто допотопные! Ведь за время вашего отсутствия в советском государстве произошло столько изменений, что вы своей родины и не узнаете! Почитайте, сколько достижений, сколько различных успехов во всех областях жизни. Мы с вами, сидя за границей, не можем даже представить и сотой доли того, что там происходит!

– Да но это же было всю жизнь так в совстском государстве...

– Вот вы посмотрите, что делается теперь. Слышали, небось, о перевыполнении плана сева? А ведь всё это благодаря сентябрьскому пленуму комунистической партии!

– Цыплят по осени считают!

– Всё это хорошо, но сев же не осенью происходит, а весной?! И задание выполнено на 123 %! А вы теперь будете уверять кого-то, что сельское хозяйство идет на убыль? Об этом говорит сам Хрущев, его подтверждает Маленков, Маленкова подтверждает Микоян, Микояна подтверждают советские газеты, которые нужно читать от заголовка до фирмы!

– Но в газетах мы читаем об успехах... А народу есть всё равно нечего до сих пор! Ведь урожай еще не только не собирали, но еще не

везде и хлеб посеян! И вот с промышленными товарами. Такая же история, как и с продуктами сельскохозяйственными!

– Да, но вы посмотрите, как идет перевыполнение производственных планов, как стахановцы не на сотни, а на тысячи процентов перекрывают задания партии и правительства! Е-ей! Вы просто тендициозно относитесь к советской власти! Я уверен, что через два-три года, как говорили товарищи Маленков и Микоян, население советского государства заживет прекрасно! Ведь если правительство не выполнит своих обещаний...

– То что может случиться? Ничего ровным счетом! Как оно существовало вне русского народа, так оно и будет существовать. Никогда оно не будет разговаривать с народом, никогда не будет отчитываться перед ним! Да ему и незачем отчитываться, потому что в стране будет такое изобилие... От которого ножки протянет не одна тысяча рабочих и крестьян!

– Нет, вы просто злоязычен! С вами нельзя говорить! Ведь в стране будет изобилие! Вы понимаете, И-ЗО-БИ-ЛИ-Е!

– Изобилие? Да оно, вот это самое изобилие, существует от начала сотворения советской коммунистической власти! Но какое? Там процветает изобилие слов, изобилие пропаганды, изобилие обещаний, изобилие инструкций, изобилие постановлений, изобилие собраний, заседаний, комиссий, подкомиссий, съездов, конференций, демонстраций, перевыполнение на бумаге всех планов, стахановщина со стахановскими процентами, кривоносовщина с кривоносовскими процентами, изотовщина с изотовскими процентами перевыполнения, а в результате всего этого изобилия население всё же голодает, холодает, часми стоит в очередях за хлебом, мануфактурой, и обувью... Изобилие лжи – вот что есть в стране победившего социализма! Без лжи невозможна была бы победа социализма, но без лжи невозможно и существование его!



ДЕНЬ

Дни, конечно, разные бывают. Много их. В одном только году 365, а то, ежели стахановский год, так и 366. А ну-ка , попробуй их трудящийся все пережить? Как это получится? Замориться можно, пока год закончится!

Мудрому правительству коммунистическому, что ни день, то забота о трудящемся, а колхознику или рабочему, тому, хоть бы хны! – потей на вахте да зарплату свою получай. Ну, вот только про еду не спрашивай. Потому это к стахановским методам работы никак не относится. За все ревоюционные годы мы так и не слышали, чтобы стахановцы про обеды или ужины что-нибудь говорили, да и про одежку. Просто, протягивали свои ножки молча.

Нет на свете таких дней, как советские. Вот и сейчас кто-то кричит:

– С радостным днем вас, многоуважаемый!

И это слышится здесь, за границей. А что же там?

– С днем? С радостным?

– Как же? Не слышали? С днем Седьмого мая!

– Седьмого мая? Это еще что за новость такая?

– Да неужель вы живете в позапрошлом столетии? В эсэсэре столько дней радостных, столько дней счастливых...

– Процесс новый?

– Какой народ пошел в настоящее вемя! Недогадливый...

– Да вы толком, гражданин... Изъясните все радостные обстоятельства.

– Что ж. Можем толком, ежели вы без толка не понимаете ничего. Сидим мы, стало быть, вечером. Собственно говоря, ночью уже. Придвинулась она, так сказать, вплотную. Ночь-то эта самая. Потому супруга в кроватке пребывали. А мы, следовательно, у приемника. Радиоприемника, конечно. Стоя. Потому приемник наш высоко находится. На камине. А мы, следовательно, у премника стоим, потому что мы господинчик низенький, как вы знаете. Ну, говоря откровенно, к потустороннему миру прислушиваемся. Голосок

«родной» слышим. И супруга наша слышит. Вдвоем, значит, слышим. Даже прислушиваемся. Чтобы, так сказать, свидетели присутствовали при признании всех достижений в марксистском плановом бесхозяйстве.

– Да вы по-деловому, господинчик...

– А вы-то повнимательнее, потому неправильное и в газетках изобразить можете и этим эмиграцию в заблуждения введете. А неправильными сведениями оперировать нехорошо всё же... Еще и нам, так сказать могут всыпать по первое число, за неверное освещение вполне исторических фактов... Да, так вот слушаем мы, т.е., мы и супруга наша. Потому сведения могут быть весьма ценные, чрезвычайно обстоятельные и важные, вроде ноты австралийскому правительству, выкравшему законнейших супругов Петровых...

– Ну, слушаем обо всяких успехах, о достижениях... Указ какой-то прочитали о смертной казни за убийства... А кто на него внимание-то обратил в той самой эсэсэре после тридцати шести убийственных лет? Всякий знает,что в этом «радостном» эсэсэре до указов убивали, во время указов убивают, и после указов будут убивать. А вот про радостный день-то, который на седьмое мая...

– Так это же «день радио»!

– Ну, конечно, знаем мы, что «день радио»! Только сколько он трудящемуся стоит?! Московские дикторы рассказали нам, что на ленинградском радиозаводе все рабочие нормы так поперевыполнили, так перевыполнили... Вероятно, еле домой после доползли... Уж так понаделали радиоприемников, что весь мир ими забросать можно! Потому в такие «радостные» дни трудящиеся завсегда нормы повышают! Вот какие празднички-то советские! Вот как «дни» советские производительность труда повышают! Все по марксизму-ленинизму-сталинизму-коллективноруководизму! Не подкопаешься! У кого праздник – безделье, а там: «Еще раз, еще раз! Да ухнем!»

– Даже у нас пот прошиб... Потому знаем мы эти празднички. Шкура и у нас едва выдержала все эти «дни».

– Первое Мая – смотр: значит повышай бдительность, производительность; «День печати» – повышай нормы выработки; «Радиодень» – повышай производительность труда; «День железнодорожника», «День советской армии», «День смерти Ильича», «День смерти Иоськи», «День кровавого воскресенья», «День авиации», «День танкиста», «День...» а каждый раз нужно показывать стахановские нормы выработки! Где же у советского трудящегося поту наберется такое количество, чтобы всю эту музыку выдержать?

– Вот мы и задумались... А что, господа многоуважаемые, ежели

б такой день, скажем, устроить в эсэсэре, как «День хлеба», «День картошки», «День морковки», «День штанов», «День башмаков» да погнать бы это коллективное языкоблудство кремлевское повышать нормы выработки, чтобы каждый трудящийся и хлеб имел, и картошку, и морковку, и штаны, и башмаки, и... Вообще, чтобы трудящийся подравнялся до человеческого уровня жизни без стояния в бесконечной очереди! Вот потеха-то была бы? А? Тогда бы и день всякий радостен был каждому! И трудящиеся полюбовались бы, как это пролетарии кагановичи-микояны-молотовы-хрущевы-маленковы все нормы выработки повышали на стахановских вахтах по собственным планам, выработанным еще в Кремле! Только голодно было бы, вероятно... Ни к чему не способно это коллективное руководство... Картошкой за столом руководить могут, а пошли их на поле... Дармоеды всё это. Им и на свалке нечего делать. Единственный путь – в крематорий!

– Ну-ка, собирайтесь в путь-дороженьку, пролетарские радетели!



ИЗМЕНЕНИЯ

Знайкин и Незнайкин – товарищи. Вдвойне. С одной стороны, потому что в государстве сием все товарищи, кроме «врагов народа», а с другой – потому что они друзья с самого раннего детства.

Живут они, правда, в разных местах города: товарищ Знайкин Афиноген Афиногенович живёт на проспекте имени Сталина, а товарищ Незнайкин Агафон Агафонович в Ленинском переулке. Трудятся они тоже в разных учреждениях. Афиноген Афиногенович в каком-то очень жизнерадостном, веселом заведении – не то в ЗАГСе по рождениям или бракам заседает, не то в кукольном театре билеты продаёт, а Агафон Агафонович торжественно восседает в похоронном бюро, пронимая заказы на гробы.

Товарищ Знайкин мал, подвижен, весел, а самое главное – знает, что было, что есть, что будет и чего не будет. Товарищ Незнайкин велик, медлителен, угрюм, а самое главное – абсолютно ничего никогда не знает.

Встречаются приятели каждый день отдыха на углу проспекта им. Сталина и Ленинского переулка всегда в одно и тоже время. Знайкин бежит, сломя голову, за газетой к киоску, а Незнайкин плетётся, понуря голову, в очередь за хлебом.

– А-а-а! Агафоша! – восклицает Знайкин, завидя издалека приятеля и готовясь рассказать ему какую-нибудь новость. – Жив? Здоров?

– Да вото пока, слава Богу, – нараспев отвечает Незнайкин, творя крестное знамение под стареньким черным пальтишком, чтобы посторонние не заметили, – Жена только жизни не даёт мне... Отдохнуть думал... Оно же и естественно... И законно... Всё же седьмой день... А тут, на тебе, в хлебную очередь...

Так всегда начинались их встречи. Так началась она и на этот раз. Но товарищ Знайкин что-то знал. И это что-то было сверхэкстраординарное. Афиноноген Афиногенович не дал приятелю закончить жалобу на свою милейшую половину. Он склонился как бы невзначай к Агафону Агафоновичу и прошептал:

– Сталин-то того... – Затем отскочив на шаг от приятеля и посмотрел на него, как бы вопрошая: – А? Что? Ошарашил?

Но известие это не поразило Незнайкина, хотя он медленно поднял свою всегда опущеннуе голову, ровные брови его превратились в дуги, а лоб покрылся толстыми складками. Он привык в своём похоронном бюро к тому, что люди умирают, и сейчас только подумал: «Какой-то счастливец в Москве получит заказ на гроб!»

Складки на лбу и брови-дуги вызваны были совершенно иным. Агафон Агафонович сделав шаг к приятелю и шопотом спросил:

– Самоличною персоною изволили-с скончаться?

– Изучаю-с, – громко произнёс Афиноген Афиногенович, боясь на гениальном попасть в просак.

– Изменения предвидятся? – также шопотом спросил Незнайкин.

– Ах, да, да, да, Агафоша, я же теперь живу на проспекте им. Маленкова, моя старшая дочь Машенька работает на заводе им. Маленкова, младшая Клавочка ходит в школу им. Маленкова, сын стал на вахту им. Маленкова, сосед по квартире справа срочно выехал в Маленковск, а сосед слева – в Маленковоград, сосед сверху получил командировку в Маленково, а сосед снизу – в Маленковогорск; Мари Ванна получила письмо от племянницы из Маленковской области, а внук Степан Степанча работает в колхозе им. Маленкова; моей двоюродной сестры племянник поехал сегодня утром по Маленковской железной дороге на станцию Маленково в близлежащий животноводческий совхоз им. Маленкова организовывать случную кампанию им. Маленкова, поезд ведёт паровоз М.Г. (Маленков Георгий), да и вот упорно циркулируют слухи, что ваше похоронное бюро будет носить имя дорогого вождя нашего товарища Маленкова. Как же, как же, изменений очень много! Даже у меня в квартире вместо пертрета Сталина висит теперь сам Маленков... Я советую тебе тоже... Потому что, видишь, статуи Сталина... их, правда, еще не убрали... свежо предание еще, но... ты же должен понимать и оберечь себя, так сказать... Говорят довольно сведущие лица, что поступили многочисленные заказы на портреты и статуи товарища Маленкова... Памятник из уральского гранита высекают по специальному заказу из Кремля. Будет он выше памятника Сталину... Вообще, мы идём теперь твёрдо по маленковскому пути!

– А изменения-с предвидятся? – опять также шопотом спросил Агафон Агафонович.

– Да ты что, Агафонушка, иностранец, что ли? Пойми, сколько изменений сразу произошло, вся наша жизнь становится жизнью имени товарища Маленкова, а ты еще чего хочешь?



ПРОЭКТ ГЕНИАЛЬНЫЙ

Советский ученый, доктор В. П. Демихов, из Московского хирургического института заявил, что двухголовая собака, которую он создал, прожила лишь шесть дней после операции, но он надеется, что он добьётся сделать более долговечных...

—Газета «Россия» № 5513.

Это мы, значит, по поводу коллективного руководства. В одной, стало быть, отдельно взятой. Где строится-валится, валится-строится величественное здание. Социализма, конечно.

Ну, существует это самое коллективное, руководство. Факт, как говорят, на лице. Вернее, на лицах. На богомерзких. Преступных. Подлых. И отрицать такого факта мы никак не можем. Потому бытие определяет сознание. Определяет оно и подлость коллективного руководства, богомерзкое его существование и преступность.

А существует оно, стало быть, по всем правилам современной социалистической науки и техники. И если взглянуть на сие коллективное руководство, так оно, конечно, со всех сторон, так сказать, коллективное. Куда, как говорят, ни глянь – везде изъян. Небольшой, правда, но всё же изъян. Можно сказать, маленький. Даже маленковский. То есть, совсем махонький. Едва заметный. Потому разве неспособность коллективного руководства руководить – это большой изъян? Нет, конечно!

Да, изъян хоть и махонький, маленковский, так сказать, а все же чувствительный. Потому на кукурузу теперь даже нажимают. И само, значит, коллективное руководство заявление верховному совету представляет, что оно, мол, такое мудрое руководство, ну, как бы вам сказать пояснее... Опыта, что ли, в руководстве не имеет. Потому, дескать, и кукуруза пошла в ход. Везде её сеют на текущий год. Говорят, даже на Красной площади выделили специальный участок. Перед коллективным мавзолеем.

Но это, дорогие мои, часть официальная. Где единство и монолитность. И прочее. А вот за кулисами – несколько иначе дело обстоит. С изъянами, конечно. Потому за кулисами в наличии

единство противоположностей. Это всё, ясно, по законам диалектики. Скажем, товарищу Маленкову желательны широкие потребности развивать, потому он живет в собственном доме по улице Померанцева, недалеко от нового социалистического небоскреба, принадлежащего министерству иностранных дел. А вот пролетарию Никитке, тому мировая революция и, вообще, наплевать на всякую широкую потребностъ.

Вот на этой-то строго марксистско-ленинско-сталинской почве не то, чтобы разногласия какие были, нет, потому партия монолитная, а вот... Как бы это выразительно выразится? Борьба? Нет, не борьба. Потому какая может быть борьба, ежели у одного в руках не только наган, а и водородная бомба, а у друтого, можно сказать, только сыск безоружный... Одним словом, изъян получается коллективный. Потому все сидят не то, чтобы на иголках, а можно сказать на лезвиях бритвенных. Да и лезвия сии, кстати сказать, ребрышками на сидениях приспособлены. На них, можно сказать, долго, не высидишь. Потому в определенном коллективном мудром месте котлета может получиться. А ведь неудобно, ежели из коллективного мудрого руководства котлета образуется.

Да, так вот в этой потенциальной коллективной котлете индивидуальность некоторая пребывает. Индивидуальная вполне... И называется она пока что товарищем X. Не подумайте многоуважаемые, что подразумевается сам ґенеральный товарищ Хрущев. Или генеральский... Потому у власти коллективное руководство в генеральских да маршальских чинах преобладает.

Вот этот, стало быть, товарищ X. читается пока что, как «икс». Он, значит, всё время по генеральной движется правильно. Ни вправо, ни влево. Ни в уклоны, ни в загибы. Ортодоксально движется. А раз ортодоксально движется, то, следовательно, видит ясно, что на сегодняшний день изъян существует. И понимает, что таковой изъян изъять необходимо. Потому диктатура пролетариата с коллективным руководством маленковские изъяны производит. А на кукурузе коммунизм завершить никак невозможно.

Вот поскольку товарищ «Икс» видит изъян, постольку решает совместить, так сказать, диктатуру с коллективным руководством. Проэкт даже гениальный составил. Как, значит, в одном лице, в мудром товарище коллективное руководство возможно осуществить. И уже по линии медицинской опыты биологические производит. Не самолично, правда, но под неослабным руководством. И, требуется признать, результаты положительные получаются. Пока, конечно, на собаках.

И пока в СССР получается двухголовое руководство.

Недолговечное, правда, потому одна собка по кличке Берия опыта не выдержала, но техника в период реконструкции решает всё. Так что мы, можно сказать, накануне величайшего социалистического открытия. У одной, значит, собаки объявится несколько голов. Колективная, так сказать, собака произойдет на свет коммунистический. И будет у нее несколько голов. Товарища, скажем, «Икс» и Кагановича, и Хрущева, и, конечно, Молотова, и Булганина и других второстепенных коллективных товарищей. Одним словом, коммунистический шедевр.

Кстати. Палка на такую коллективную собаку готовится. Хорошая. Дубовая. Чтобы, значит, одним махом!



ВИДЕНИЕ ЧУДЕСНОЕ

Начитался, знаете ли, многоуважаемые. И наслушался возле радиоприемника. И так начитался и наслушался, что воображение моё заиграло, заиграло и понесло меня, понесло меня туда, туда... Несёт меня, стало быть, и несёт, а я уже не мечтаю, а думаю. Потому мне доподлинно известно, что мечтать там особенно не придется. Какие такие мечтания могут быть, ежели вас за врага народно-демократического примут моментально? А что с такими экземплярами производят – нам, всё известно тоже. Потому всякий, кто изменил коллестивному руководству, тот должен быть ликвидирован! Понятно? А почему ликвидирован? Потому что там демократия. И не простая, так сказать, не обыкновенная, а народно-демократическая. Во!

Ну, значит, лечу, а сам уже приготовился ко всему народно-демократическому. Сожалею только, что перед своим путешествием к исповеди не пошел. Потому конечно, значит, теперь всё. Как только приземлюсь к наидемократичнейшей, так и мрак потусторонний.

Одним, словом, летел я летел, пока не прилетел в эту самую народно-демкоратическую демократию. И как только прилетел, так сразу же мне страшно стало. Потому сел я на самую Красную площадь. А сидение на таковой, известно, карается. Потому напротив самый настоящий Кремль. А в Кремле самые настоящие наидемократические народно-демокатические демократы.

Сел, стало быть, на площадь и сижу. Посматриваю по сторонам. Конечно, мильтоны стоят. Как и прежде. На своих, значит, местах. Я предположение имел, что немедленно схватят меня и поволокут куда следует. Потому демократия тут в центре самая демократическая. То есть, народно-демократическая. Разрешается всё творить несознательному элементу. И мильтонам тоже. Ан, нет. Никто не подходит, никто не хватает меня. Следовательно, свобода демократическая получается. Делай, мол, чего душа желает. Всё. А може, и не всё? Может, только то, что не бросается в глаза коллективному руководству? Например, спать трудящемуся элементу в ночное время. Присутствовать на собрании. Голосовать на выборах за нерушимый блок? Трудиться по-стахановски на предприятиях и колхозно-совхозных полях?

Посидел немного на этой самой Красной площади, помечтал о народно-демократической демократии и убедился, что мильтонам до меня никакого нет дела. Вот и решил совершить путешествие по родной моей сторонушке. Потому сколько послевоенных лет заграницами здоровье своё растрачивал! Посмотреть, следовало, как жизнь у мирных советских граждан проистекает. Потому самолично читал и самолично слышал, что через два-три года никто страну народно-демократическую не узнает от избытков всевозможных. Разве не интересно страну свою родную не узнать от избытков? А? Вот и пошел, значит, и пошел по Москве гулять. Рассматривать. Узнавать, так сказать, Москва ли это или не Москва?

Прошелся это я по столице нашей соверменной. Побывал на Арбате, на Сухаревке, на Воробьевых горах, одним словом, везде побывал. И увидел. Избытков, значит, много. Оченно много. Потому и решил проехаться на периферию. На окраинах, стало быть, проверить. Может, там никаких избытков не существует. Проследовал на Москва-Курская. За билетом. Потому и в народно-демократической без билетов не ездят. Ну, известно, и тут изобилие. Народ валом валит. И все за билетами. Потому ездить всем, оказывается, необходимо. Тому на целину, тому на сотроительство канала, тому в трудовые резервы. Одним словом, и тут изобилие. Народу. Через недельку по блату выцарапал билет. И поехал.

Вот и периферия. Рабоче-колхозное местечко, так сказать. Потому справа колхоз расположен, а слева – какая-то промышленность. Конечно, народно-демократическая. Ну, и тут оказались избытки. Потому два-три года уже скончались. Начались новые. Только от коллективного руководства поправка произошла. Не то, чтобы поправка, а будто новое решение. В связи с конфликтом на Дальнем Востоке. Напирать, стало быть, на тяжелую промышленность. Чтобы, значит, китайцам оборудование всякое поставить поскорее для осуществления счастливой и зажиточной жизни. Потому англо-американские империалисты и т.д. Сами знаете, господа многоуважаемые.

Вот, стало быть, прохаживаюсь я будто выходной имею. Церабкопов, конечно, теперь там не существует. Потому всё на Гастрономах держится. Мол, способнее. Коммерческий рассчет подтверждает. И госторговля процветает. Вовсю! Полки, полки, полки в магазинах! Куда там! И продавщицы имеются. И витрины, конечно. А у входных дверей – избыток! Народ стеной стоит. Не пройти, не пролезть! Интересуюсь, ясно, почему счастливые граждане отдыхают на свежем воздухе. По секрету сказал один зажиточный, что мануфактуру давать будут. И штанов пять пар привезли на 50.000 населения.

Ясно, что избыток. Кричат! Ругаются, папу-маму вспоминают. А милиция, конечно присутствует. Выслушивает спокойно. Потому нарушения правил общежития пока не имеется ни у кого на лице. Хоть и очередь препорядочная. И никто, значит, из передних не бежит назад. Потому скоро говорят магазин откроется. А сама-то очередь с избыточком. На три квартала. Одним словом, всё тут чрезвычайно по народно-демократически.

Ну дале. Потому всё интересует меня. Как оно, значит, за послевоенные годы. И особенно чреез два-три года. С достатками, стало быть. И что же вы думали. Нашел достатки. Магазин стоит в стороне от шумливых улиц. Скромный такой. Только в маленькой витринке избыток. Товаров. И каких только товаров там не было! И для питания и для одевания и для обувания!

Вот меня заинтересовало это народно-демократическое торговое учреждение. Захожу. Только на двери, а передо мной гражданин. В обыкновенном костюмчике. Вопросы задает. Народно-демократические.

– Пропуск, – говорит, – имеете, гражданин?

– Какой такой пропуск? – спрашиваю.

– Обыкновенный, – говорит, – красненький, который для прикрепленных покупателей существует, что подписан начальником МГБ!

Одним словом, извинился я поскорее из народно-демократического магазинчика выскочил. Как ужаленный. Потому пропуска такого я, безусловно, не имел. А без оного могли бы счесть меня за шпиона в пользу некоторой капиталистической державы. Это нам известно тоже всем. Но скажу вам, вот там-то я и насмотрелся! Вот уж и избыток! И никто ничего и не хочет брать, потому никаких покупателей мной не было замечено. А избыток доложу вам, настоящий! Так что товарищ Маленков был прав. И товарищ Хрущев тоже. Через два-три года, так сказать, трудящиеся МГБ в полном изобилии живут. Могу засвидетельствовать в точности. Потому самолично видение сиё просмотрел до самого конца! Уж там и пылесосы, и детские игрушки, и мануфактура, и масло, и картофель, и хлеб и чего вашей беспартийной душеньке не угодно! Вот вам и изобилие. А я, грешным делом, не верил-то коллективному руководству...

А вот касательно рабоче-колхозных магазинчиков – тоже, значит изобилие. Очереди по два-три квартала выстроятся с утра и до следующего утра стоят в неопределенном ожидании. Может, будут «давать»...

А что же вы думали? Разве через два-три года насытишь всех? Пущай хоть в изобилии постоят да посудачат!

Благополучно очнулся я от своего воображения. Побывал, так сказать, на основании документальных данных на родине. Убедился.

В чем?

В том, что никаких изменений на тридцать восьмом году прекраснейшей счастливой жизни не наблюдается! Разве что бомбы да снаряды теперь атомные да водородные. А так всё, можно сказать, без всяких изменений. Ну, а вот электростанцию не заметил. Ей-богу, не заметил. Может, когда второй раз полечу туда, так тогда уж постараюсь все заметить.



НАГРАЖДЕНИЕ

Дела нынче зашли какие. Награждения-то. Безвредные, так сказать. И всё почему? Потому только, что народ теперь дошлый всё пошел какой-то. Так и норовит медаль какую или орденок отхватить. А как отхватил, так уж и прощай советская власть и коммунистическая партия, потому герою дорога должна быть открыта во все присутственные и неприсутственные места теперь!

А как же вы думали? Человек, скажем, доносил на ближнего задаром? Одним орденком золотым или медалью какой-нибудь должен довольствоваться? Нет, дорогие, нужно понимать, что у такого человека немедленно все потребности произрастают до таких размеров, что в коммунистическом мире и ублаготворить их невозможно!

И что тогда с таким экземпляром делать необходимо? Как ублаготворить его растущие потребности прикажете? А?

Вот тут-то это пролетарское правительство и дорогая коммунистическая партия встречаются с противоречиями, которые могут возникнуть только исключительно на почве капиталистических пережитков в сознании счастливого советского человечества. И что же тогда? Как быть с такими не вполне созревшими элементами человеческого советского общества?

Изъять такое лицо, конечно, можно. Но где же тогда искать пафоса, энтузиазма, голосования за советскую власть и коммунистическую партию? Кто же тогда будет так усердно поддерживать мудрое коллективное руководство?

Да... Подумайте, столько возни с этими орденоносцами, медаленосцами... Да еще каждый норовит, тобы бронзовый бюст на его родине поставили в поучение всем родственникам, друзьям и прочему населению...

Да... Возни с этими орденоносцами, медаленосцами... Вы помните, вероятно, эту женщину-врача орденоносицу. И ответственный орденок имела. Самого Ленина на грудях носила. И вполне честно заработала. Донесла, на кого требовало в тот момент партийное руководство, и получила. А потом всё переменилось как-то сразу. Генеральная повернулась. А вернее, перевернулась. А

перевернувшись, пришлось дело врачей-вредителей пересмотреть. А пересмотревши, пришлось разжаловать товарища женщину-врача, поскольку вся эта история теперь не соответствовала новейшей генеральной...

Отбирание орденков или медалей, конечно, практикуются в эсэсэре. И нельзя сказать, чтобы редкостью было, потому награжденные, может, даже чаще во враги народа переходят, чем обыкновенные смертные граждане. А враги, ясно, и ценность орденков всяких снижают.

Вот и додумалось дорогое правительство вместе с мудрой партией до награждения совершенно неодушевленных предметов орденками. Эти, мол, никогда в жизни не подведут! Вот и наградили 17 мая текущего года Кронштадтскую крепость орденком красного знамени за то, что она просуществовала на свете 250 годов, за то, что её построил царь Петр Алексеевич Великий, за то, что кронштадтские моряки восстали в 1921 году против советской коммунистической власти... А как же? Раз говорить о заслугах, так нужно перечислять все до единой! Нельзя же упускать Кронштадтского восстания!

И государя-то нашего Петра Алексеевича большевики расхвалили как. Это того самого государя, которого не так давно они же самые провозглашали извергом народа русского! А теперь, как видете, докатились до чего!

Но о награждениях. Конечно, лучше наградить крепость какую-нибудь, колхоз или совхоз, фабрику какую-нибудь или завод, по крайней мере не перейдет во «враги народа!» Давно бы так! Спокойнее советскому правительству и коммунистической партии. И народу-то легче. Потому тошнит некоторых трудящихся от коммунистических побрякушек! Честных, конечно...



ГАРТФОРД

О загадках русского правописания.

Когда-то в совдепии верховодил Никита Хрущев. Он, как и Сталин, был, конечно, корифеем. Корифеем чего? Чего угодно. Кукурузы. Целины. Укрупнения и разукрупнения. Централизации и децентрализации. Ну, ясно, и насчет грамоты. Потому что у него – ума палата. Ведь недаром же он, как гений, из рабфака попал сразу в промакадемию! Для этого нужно было быть – гениальным гением!

По неокончании промакадемии ему нужно было широкое поле деятельности, постольку, поскольку и безусловно он был активистом гениальным. Особенно, когда он стал после отца народов атаман-разбойником. Энергия у него кипела так, что выливалась через край. Некая толика её пролилась и на советский язык. Пореволюционное правописание страдало явными недостатками. Нужно было все же грамотно писать. Но как? Слишком много правил.

Слишком много букв. А главное же, с политической точки зрения правописание никуда не годилось! И гению-корифею пришло на ум расправиться с отсталостью советского языка, подогнать его, так скзать, под генеральную линию партии.

Гласные! Да разве же это не контрреволюция? И, главное, так открыто существуют! Где же бдительность революционных органов ЧК, ГПУ, НКВД, МГБ, КГБ и пр. (кстати – во всех своих кличках – ни единой гласной, заметили?)? Разве дано право гласным нарушать революционную законность? Загнать их, куда Макар телят не гонял! Показать им никиткину мать! Ведь известно всем, что ЦК КПСС признает только и исключительно согласных! Что же касается несогласных с высшим партийным органом, которые гласно об том заявляют, их следует уничтожить! Разве не ясно даже младенцам с партбилетами вместо сосок, что «кмнзм» можно строить только с согласными?

Как и полагается, созданы были комиссии, подкомиссии, в которых ученые, подкованные в кузнице марксизма-ленинизма, принялись истреблять гласных. Заработали академии наук, университеты, парторганизация, комсомол, пионеры, октябрята,

профессиональные и спортивные организации – и пошли согласные в ход, а гласные в лучшем случае в ссылку. Ну, а в худшем – стоит-ли говорить?

Упростить правописание! Изъять всех врагов ЦК – таков последовал лозунг от корифея всех времен и всех народов.

Ведь, действительно, как просто и легко: ЦК КП, СС, СССР, РСФСР, КСМ, НКТ ХРЩВ! Ни единой ошибочки! Ура! Да здравствует!

И вдруг Нкт Хрщв помер. Очень просто помер. Удар произошел. Бржнв ударил. И притихли все комиссии. Существуют они или нет – тишина. Только гласные путаются под руками до сих пор... Правда, некоторых в сумасшедшие дома посадили, некоторых сослали к леньке на кулички, некоторым ильичеву мать показали, ну, а сколько уничтожили статистика молчит. Всесоюзной переписи еще не было.

Новый корифей появился. Бржнв.

Политический перегиб! Это не так уж и важно, что коммунист с гласными не совладает, на то существуют органы и профессора. Важно, чтобы член партии был политически сознателен и знал бы, куда следует обратиться насчет гласных!

Ну, это там. А у нас?

У нас, конечно, некому директив давать. Гениев нет в нашем эмигрантском мире. И органов нет. Вот мы и пользуемся, правда, не старым, дореволюционным правописанием, а пореволюционным, которое пока никто не посмел изменять.

Hamburg, Halifax, Heidelberg,

Hitler, Hamlet, Havr, Hugo...

Изменило ли что пореволюционное правописание в написании иностранных слов, начинающих с латинской буквы «Н»? Нет.

Как мы писали до революции?

Словарь Чудинова за 1894 год говорит:

«Г... В русском алфавите этой буквой выражаются два звука: g и h.»

А вот из всем нам хорошо известного задачника Малинина и Буренина за 1882 год:

«Задача № 2793: Французский купец... переводит деньги через Петербург, Гамбург...»

В словаре Павленкова (5-ое издание) находим: Гаага, Гартфорд, Гамбург, Галифакс, Гайдельберг, даже французский город Гавр,

французский писатель Гюго (как известно, «Н» во французском языке не имеет звука) и др. пишутся через Г.

В эмигрантской печати очень часто встречаются, мягко говоря, описки, связанные с этой злосчастной буквой, но мы все же не должны уподобляться «корифею» Нкт Хрщв и будем соблюдать русское правописание так, как оно было принято в России.

– *Михайлов, близ Гартфорда.*



НИКИТКИН СОН

По 80-90 пудов зерна собрали с гектара на целинных землях . . .

– Из «Последних известий» Радио Москвы.

Советские ученые работают над проблемой

межпланетного сообщения . . .

– Из советских газет.

Сон Никитке приснился. Но не такой, как снится всем обыкновенным гражданам. А научно-политический сон. Будто межпланетное сообщение функционирует бесперебойно. Ну, конечно, между страной победившего социализма, т. е. самой счастливой, и некоторыми другими пролетарскими планетами.

Ну, сообщение себе функционирует бесперебойно вовсю, а в самой счастливой с хлебом оченно перебойно. И до того перебойно, что даже до некоторой степени голодновато. И до того голодновато, что производительность труда начала падать катастрофически на предприятиях самой передовой социалистической промышленности. Хотя, между прочим, процентики перевыполнения производственных заданий «любимой партии» и очень дорогого правительства неукоснительно повышаются. Это, стало быть, по закону единства противоположностей.

Другими житейскими словами: процентики показателей всё растут и растут, а вот касательно питательного вопроса так неважно. И даже очень неважно. Можно сказать, выражаясь конфиденциально, так аж никуда! По кругловской линии в сверхсекретном порядке стали поступать сведения даже очень неблагоприятные. Оно, конечно, не дошло еще до возмущения колхозно-пролетарского элемента, потому войска МГБ стоят на страже революционных завоеваний – что называется, в полном боевом, так сказать, а всё же некоторые неприятности с очень отсталым элементом могут произойти.

После трудов неправедных улегся, наконец, Никитка. Ну, и, стало быть, дрыхнет. А сон своим чередом двигается. Потому появился в его мудрой голове немедленно.

Видит себя Никитка в своём собственном кабинете, а не в кровати. Сидит, как всегда, самостоятельно, а за дверями – охранительный аппарат. Тоже на страже революционных завоеваний. Чтобы Никитку враги народа не слопали. И вот в течение этого производительного сидения мысль Никитке в голову пришла. Редко она приходит к нему, ну, а тут вроде осенило. Продукцию нащупал. Для кормления рабочих пролетарско-колхозных рук. т.е., не рук, а ртов. Известно всем, что руки не едят, а рты, так сказать.

И вот решил Никитка послать экспедицию в межпланетное пространство. Насчет хлебца. Чтобы, значит, утолить аппетиты разжиревших рабоче-крестьянских жителей своей собственной страны.

Ну, решил, конечно, и вызывает члена Академии Наук. Вызвал и говорит ему:

– Ты, товарищ академик, значит, поближе должон быть к насущной жизни! Нечего тебе там в твоих кабинетах академических кресла просиживать! Лети-ка, браток, к чёртовой матери на какую-нибудь планету, Сатурну или Юпитеру, да расстарайся насчет хлебца. Потому, значит, у нас в стране счастливой и зажиточной жизни того... Значит, изобилия всякого много, значит... Того, значит... Только вот акулы с уоллстрита, значит... Поели все наши запасы, значит... А народец-то наш голодный, значит, того... Одним словом, лети!

– Известно, – говорит товарищ академик, – нам не идет сопротивляться родной советской власти и дорогой коммунистической партии, потому у нас свобода...

– Только я тебе, чтобы ты не сбежал с какой-нибудь Венерой, охрану дам, потому вам, интеллигентам, того, значит... Одним словом, как и всем советским гражданам... потому вы собсвенного счастья, важно сказать, не понимаете... Так вот я тебе товарища из кругловского охраннения, значит, в помощь... Валяй, браток! И без хлеба, значит, мне, так сказать, не возвращайся! Не найдешь так ищи себе сразу Венерическую Колыму или Сатурновую Воркуту, а назад и не думай возвращаться!

Распрощался товарищ академик и выступил в поход.

Сел, значит, товарищ академик со своим товарищем по несчастью из кругловского окружения в специальный снаряд, зарядил эту самую ракету межпланетную, выстрелил и, оторвавшись от Земли, пошел, пошел вверх, только дым столбом! Летит, за всякие межпланетные тела цепляется, за всякие метеоры там и так далее, а всё же летит вгору, потому техника то передовая!

Вот промелькнула в окошечко луна.

Товарищ из кругловского охранения спрашивает:

– Может, ета планеда?

– Это луна, товарищ. Нам немного дальше.

– Да мне бы поскорее... Потому нужда...

– Выдь на остановке, товарищ...

– Мутит, товарищ академик... Ты вредителем, небось, заделался? Говори, враг народный, а то здеся и истреблю тебя!

– Товарищ уважаемый, это вам от непривычки... Потерпите немного... Вредительства тут никакого не имеется... Потому качание в межпланетном пространстве немного больше, чем от отечественной... Вот и неприятности у вас некоторые чувствуются... От непривычки, так сказать... потерпите, товарищ...

– Что? Потерпеть?! – заорал товарищ из кругловского охранения, – Я тебе не рабочий класс какой и не колхозник! Вертай... твою мать!

– Не могу, дорогой-товарищ, потому задание партии и правительства... Приказ самого товарища...

– Так давай шибче, чтобы остановка поскорее, потому развозит меня!

– Не могу, потому техника наша немного отстала от капиталистической, и скорость, значит, у нас не та, чтобы перегнать нам...

Одним словом, разговоры проистекали приятные между товарищем академиком и товарищем из кругловского охранения. И текли они так долго, как долго они летели в свою злополучную командировку.

Но вот настал счастливый день. Прилетели наши товарищи на Марс. Вылезли, посмотрели на его каналы, на горы, на озера и моря, на долины и реки, и решили, что тут социализм давным давно уже построен, завершился, так сказать, потому – не люди тут, а тени. А ну-ка, покопайте, граждане многоуважаемые, каналища эдакие! А моря! А озеры! А горы-то какие понастроены! А питательный вопрос, значит, тоже неважный. Кору на оставшихся деревьях счастливый народ марсианский глодает! Вот и решили лететь к чёртовой матери дальше в научную командировку товарищ академик и товарищ из кругловского охранения.

– Полетели. Настроение у обоих пониженное. Потому известно всем, что означает невыполнение задания партии и правительства.

Долетели до Венеры. Академик говорит, что остановку

необходимо сделать на предмет исследования хлебного вопроса, а товарищ из кругловского охранения не желает:

– Я, – говорит, – с этой проклятой бабой Венерой давно знаком, подальше от неё, подальше, товарищ академик!

– Может, хлеб на ней произрастает...

– Знаем, знаем, какой-такой хлеб, товарищ академик! И родному брату не могу пожелать! Вишь, с носом у меня не всё благополучно? Всё от неё, от Венеры твоей проклятой! А ты с хлебом! Лети подальше!

Что поделать? Нельзя не подчиниться начальству. Да и доводы, так сказать, убедительнейшие. Одним словом, не решился ослушаться товарищ академик товарища из кругловского охранения, потому расправа может бить соответствующей. Знакомое дело, так сказать. Ну, и полетели дальше. До самого Юпитера.

И что же вы думали? Долетели. Долетели и сели на огромное поле, поросшее пшеничными деревьями! Хлеба тут – не приведи сюда только коммунистической партии! На весь мир с избытком! Что там, на весь мир, на всю вселенную! А зерно-то какое! Одно зерно в 200 тонн! Да разве таким хлебом не насытишь голодающих?!

Созвали общее собрание граждан юпитерианцев товарищи академик и товарищ из кругловского охранения, объяснили причину своего прилета к ним и попросили от лица дорогой партии и мудрого пратвительства, чтобы граждане юпитерианцы отгрузили хлеба для пропитания счастливых советских граждан.

Граждане юпитерианцы, известно, люди сердечные, решили сразу же, не отлагая ни на секунду дело помощи голодающим, отгрузить известное количество зерна на Землю.

Через несколько мгновений появились необыкновенные машины конвееры и прочие сооружения. Направили весь этот агрегат в сторону Земли и начали набрасывать любопытными машинами пшеничные зерна. И полетели эти зерна на Землю, и прямо в счастливый советский союз и прямо на Красную площадь! И испугался Никитка, и проснулся от того интересного сна, которым был заворожен. Но успел спросить у академика:

– Что же за власть там такая на Юпитере?

– Капиталистическая! – ответил академик, и сон закончился московским шумом под окнами мудрого Никитки...



РАЗГОВОР С ТЕНЬЮ

Неважно живется человеку одинокому. Друзей там каких сродственников не имеется. Разговаривать на серьезные темы не с кем. А международное положение в мире аховое. Куда история будет итти —путешествовать? Направо? Налево? Назад? Или прямой дорогой вперед? И еж вперед, то что ждет человечество в этом «вперед»?

Нет, положительно разговаривать необходимо! Иначе, можно зайти в такой тупик, что... Хотя мистер Кизингер успокаивает, говорит, что из всякого тупика, пока он будет ездить на денежки налогоплатильщиков в дальние командировки, всегда есть два выхода: ждать, когда тупик, говоря медицинским языком, сам рассосется, или же—ждать, когда он, мистер Кизингер, приедет из дальней командировки и сам «рассосет» тупик, чтобы спокойно поехать в новую командировку.

Нет, разговаривать положительно необходимо уже хотя бы потому, чтобы не создавалось тупиков и не тратились народные денежки на дальние командвировки.

Но с кем,? Соседи у меня, например, если не макговерны, то маские; если не маские, то гамфриевы; наконец, если не дубократы, то никсоны, выпивающие с брежневыми, а чисто русских в нашем городишке, к сожалению, и не слышно, и не видно.

Но вопрос оказался не столь сложным. Оказывается, можно разговаривать со своей собственной тенью! И как хорошо! Никто не возмущается, не спорит, брызгая слюной, не горячится, бить вас не собирается—очень советую людям одиноким, нервным, беспокойным и особенно пенсионерам, у которых времени—все 24 часа в сутки—говорите с вашей тенью!

Первый наш разговор с Тенью касался самой важной темы—о верховных правителях.

Конечно, подразумевался модерный государственный порядок, при котором такие правители избираются, выбираются, перевыбираются, самовыбираются и т.д. И вот Тень поставила вопрос ребром:

– Такое положение, какое существует в мире, когда на одно вакантное место верховного правителя имеется девяносто девять

кандидатов, не выдерживает никакой критики.

Ну, кто же с этим не согласится? Однако я задал вопрос очень осторожно:

– А как же хоть чуть-чуть уменьшить число кандидатов?

– Очень просто: должность верховного правителя в современных условиях есть должность почетная, поэтому он, верховный правитель, должен отдавать все свои силы и знания на своем посту совершенно безвозмездно и весь необходимый штат советников, министров, секретарей и секретарш должен содержать на свои собственные средства.

– Но, позволь, Тень – я уж с ней по-свойски, на ты, – эдак страна может остаться без верховного правителя?

Тень расхохоталась: – У мистеров макговернов, друг мой непременный, всегда и везде средства на сие предприятие найдутся! И уж тогда-то они непременно сэкономят на велфэрах!

Конечно, такой верховный правитель сэкономит не только на велфэре!

– Хорошо, – согласился я, – но ведь это касается капиталистического мира, а как же в странах пролетарских, коммунистических? Ведь там же все бедняги!

– Видишь ли, – начала Тень усмехаючись, – там-то ни выборов, ни перевыборов не существует. Ты намекаешь на тех охлократов, что засели в Кремле, где пролетарий сидит на пролетарии и пролетарием погоняет? Да... Вот там-то в первую очередь и следует отменить всякую зарплату всем этим верховным заправителям!

– Да, но есть-то им нужно? Пить нужно? Конечно, чай или там другой какой неалкогольный эрзац? Одеваться или обуваться необходимо?

– Стоп, стоп, стоп! – воскликнула Тень, – дальше ни шагу! А то я вижу, что дойдешь ты, милый непременный мой друг, до их жен и их заместительниц! Кормить и поить, одевать и обувать, конечно, нужно, потому что с голыми заправителями, хоть они и верховные, не пожелают западные правители разговаривать. Но как? Для этого необходимо прежде всего закрыть все закрытые распределители. Правителей прикрепить к какому-нибудь госмагу на предмет штанов, сапог и картузов, ну, конечно, и прочего обмундирования, а насчет еды – закрепить за какой-нибудь заводской или студенческой обжоркой и еду выдавать в строго определенные сроки в порядке живой очереди.

– Вот ты, Тень, употребила очень интересное слово—госмаг—

что оно означает?

Засмеялась Тень—она, вообще, у меня очень веселая особа:

– Знаешь, раньше существовала черная магия. Ну, она выжила окончательно из ума и её заменили теперь государственной магией, а так как пролетарии очень охвачены энтузиазмом строительства коммунизма и им некогда читать длинные слова, то ученые мужи пролетарского происхождения надумали все сокращать всё: слова, порции хлеба, снабжение продуктами первой необходимости и т.д.

Хорошая у меня Тень. Как большая советская энциклопедия. Все объяснит. Может и соврет, но все же объяснит. Так и с госмагом:

– В переводе на русский язык госмаг означает—«кому на, кому нет».

Все-таки правды больше у неё, чем в той энциклопедии, хоть она и большая.



РАЗГОВОР СО СМЕРТЬЮ

Известное дело, разговаривать с одной особой никому не представляет большого интереса. Но мне-то не впервые, потому что я встречался с этой прекрасной дамой не один раз. Только в прошлом приходилось говорить большей частью о себе. Трудно было, конечно. Но всё же горворил, потому что расставаться с жизнью не хотелось. Всё надеялся, что компартия отправится по назначению в неизвестном направлении, и уж тогда станет всем нам жить, действительно, хорошо. А надежда – дело большое, сами должны понимать.

Да, так вот эта самая мадам как и все. То есть, не как все, но во многом подобна женскому полу. Требует, чтобы её уважали и любили. Любит, чтобы её просили и умоляли, и она иногда может сделать милостивое снисхождение и сказать вам: «Зайду попозже...»

Разве это вас не обрадует?

Кенечно! Ведь это «попозже» может произойти и тогда, когда кремлевская шантрапа (извините за вульгарное славечко, но вещи иногда приходится называть собственными именами) будет изъята, так сказать, из обращения.

Должен признаться, что пришлось мне на днях вести разговор с такой всемогущей особой. Просто вынужден был. Только для того, чтобы поведать эмигрантскому миру правду. А кто её может сказать, как не тот, кто совершал...

Но об этом ниже.

Кстати, должен сказать, что мадам не так интересна, как некоторым кажется. Во-первых, она стара, как мир; во-вторых, отвратительна, как смерть; в третьих, чрезвычайно опасна, ибо ведет большую дружбу с колективным руководством.

Было дело вечером. Из последних известий узнал о смерти «дорогого» товарища Вышинского.

Попрошу не возмущаться и не перебивать, дорогой читатель. Вы дорогой, потому что вы мой собрат по несчастью и россиянин. Товарищ Вышинский дорогой всему российскому народу, потому что вся его жизнь стоит не только многих миллионов трудовых народных денег, но и многих миллионов человеческих жизней!

И вот когда я узнал, что вот этот самый «дорогой товарищ» отправился в дальнюю командировку с билетом только «Туда», я начал сомневаться: самолично ли персоною изволил он покончить со всеми советскими делами или же акулы с Уоллстрита проглотить его изволили. А если акулы проглотили, то не подавились ли, потому что дорогой товарищ Вышинский имел фигуру весьма внушительную.

Всем, конечно, известно, что правду можно узнать только из первого источника. Известно также, что таким первоисточником является далеко не всеми уважаемая мадам Смерть. Она всё знает. Где, кто, когда., по какому случаю. Знает, потому что имеет хождение во всём мире, как интернациональная монета в будущем коммунистическом обществе.

Набираю телефонный номер. Ноль, нолъ, тринадцать.

– Алло, алло!

– Что случилосъ? Скорая помощь? – послышался чера секунду старческий дребезжащий голос.

– Извините, мадам Смертъ, по интересующему меня вопросу...

– Знаю, знаю, со всего мира поступают запросы, а от вашего перемещенного брата – больше всего. Как вы все надоели мне. Ведъ вы же перемещенная персона?

– Мы с вами немного занакомы...

– Я так и знала! Тут и знакомство! Это только могут перемещенные персоны так раговаривать! Ох! Как я устала от ваших звонков. Хотя бы минутку покоя!

– Но я имею, мадам Смерть, чрезвичайно важый вопрос, который волнует всё эмигрантское человечество!

– Знаю все ваши вопросы! Запомните: никто меня к нему из этого мира не подсылал!

– А из потустороннего? – осмелился я спросить.

– Я, правда, не имею права говорить никому об этом... Это тайна. Но вам... По старому знакомству... Я же когда-то к вам приходила...

– И не раз!

– Да, да, вспоминаю... Бывала у вас... Ну, хорошо... Только смотрите, никому...

– Да что вы! Мадам Смертъ, вы же знаете меня не первый год!

– Да, да, знаю... Толъко под большим секретом...

Конечно, – я пообещал.

– Товарищ Сталин меня подослал... Гонорарец хороший обещал. Потому Вышинскому службу хорошую нашел у Сатаны. В палачах будет состоять. Зарплата по первому разряду и карточки продуктовые «АП» (первая категория подземных рабочих) ежели справится хорошо с работой, то и к закрытому распределителю прикрепят!

Не утерпел я и спросил:

– А нельзя ли, многоуважаемая, как-нибудъ всё коллективное руководство к закрытому распределителю туда отправить и «АП» на руки им выдать?

– Эх, вы господа-мечтатели! Я дама вне политики. Мне всё равно, кто не прикажет лишъ бы гонорар, так сказать, существенный. А с вас что можно получитъ? Вы даже с мира по нитке на меня не насобираете, потому что у вас скоро будет столько политических организаций, сколько вас самих! А я всем служу по мёре сил...

– А как же насчет принципов?

– Глупенький! Какие принципы в наше время мирного сосуществования?

– И вот нехорошо, что вы товарища Вышинского заграницей так не любите...

– Как вам сказать... Коллективное руководство никто разуверить не может... Пусть думает, что это дело рук капиталистов, мне безразлично... – и мадам Смерть на этом повесила телефонную трубку.

Повесил, конечно, и я. Даже распрощаться не успел. Да и говорить больше не имею никакого желания. Дама абсолютно безпринципиальная. И нашим и вашим. Лишь бы гонорар! Хотелось, правда, спросить у неё, как же будет теперь с дворцом в Нью Йорке где жил «дорогой» товарищ Вышинский, потому что старуха должна знать досконально всё. Может быть, даже ей в наследство достанется?

Не спросил, однако, потому особа-то эта не из приятных. Рассердиться может. А относительно дворца решил, что вместо Вышинского, вероятно, какой-нибудь малик теперь жить будет... Пускай. Мне не особенно жалко. Мадам Смерть дорогу туда знает!



ТУМАН

Команда, стало быть, приехала. Футбольная, конечно. Из Севетского Союза в Королевство Соединенное. На состязание, а не так себе, на прогулку какую-нибудь. Первенство завоевать, так сказать, по футбольной части.

Ну, приехали, ясно, показать проклятым капиталистам, как в свободном коммунистическом обществе мячики загоняют во вражеские ворота. Говорят, между прочим, что иной раз мячик так далеко загонят, что и на Воркуте не сыскать! Во, какие товарищи футболисты в советской счастливой стране!

Конечно, мячиками, что за Воркуту попадают занимается министерство внутренних дел, а вот касательно всякой гимнастики и, вообще, по всякой физической культуре, тут вопрос иной, тут должен быть показан «класс», как, значит, социалисистическо-коммунистические футболисты умеют голы воспроводить. Потому социал-коммунизм везде преимущества имеет. И в вопросах свиного вопроса, и в урожаях кукурузы, и в атомных исследованиях и в выплавке стали, и в молотовской дипломатии, и, стало быть, в физической культуре.

У нас, ясно, нет и не может быть никаких сомнений относительно первенства советского по всякой части. Сколько всяких золотых и серебряных медалей, сколько всяких жетонов и различных грамот, сколько мировых рекордов отхватило советское коммунистическое правительство своими собственными физическими культурниками, только в этом году?! Ведь всему миру теперь известны советские достижения, в этой важнейшей области коммунистического строительства бесклассового общества.

Некоторые граждане по эту сторону границ сомневались, чта все эти заслуги основаны на коммунистическом воспитании подростающего поколения, а мы – ни в коей мере не имели никаких иных убеждений на сей счет. Да и как же иначе могло бы быть? Ведь ежели бы вас подковали на коммунистический манер, так вы бы и не такие призы мирового масштаба брали!

В эсэсэре даже анекдот по поводу культуры физической существовал в наши дни. Товарищ маршал Ворошилов заведывал когда-то делами военными. Захотелось ему однажды похвастаться

своими воспитанниками перед иностранцами. Выставил он всю свою действующую армию красную на Красной площади в городе Москве перед мавзолеем дорогого Ильича, и обратился к господам иностранным гостям с такой речью:

– Видите, господа иностранные делегаты, колокольню Ивана Великого?

Речь его на сем месте прервалась, но никто не аплодировал тогда бурно, только один захудалый делегат испуганно ответил:

– Видим, не повылазило еще...

– Ну, так вот, скажите мне, ваши солдаты решились бы спрыгнуть с такой верхотуры? А?

Помялись господа иностранные гости, пососовещались и в один голос затараторили:

– Нет, что вы, господин маршал Ворошилов, это в нашем капиталистическом мире даже невозможно, чтоб солдат рискнул бы на такое смелое предприятие! Да и командиры наши не сообразили бы такое... как вам сказать... смелое...

– А вот наш красный армеец, – перебил товарищ маршал Ворошилов, – способен ради построения социализма в одной отдельно взятой стране на всевозможный героизм! – торжественно отпаял маршал.

– Что вы?!Что вы?! – загалдели господа иностранные гости, – Невозможно это!

– Просто даже интересно было бы взглянуть, господа! – заявили некоторые любители острых ощущений.

Ну, извините, маршалу только того и нужно было, чтобы кто-то согласился поглазеть на его социалистические упражнения над красными армейцами.

– А вот наши красные армейцы, – продолжал свою речь товарищ маршал, – готовы в любую минуту выполнить любое задание дорогой партии и мудрого правительства!

– Да, да, – заговорил некоторый делегат, – нам даже интересно было бы видеть, чтобы ваш опыт перенести на нашу капиталистическую землю...

Но товарищ маршал уже никого не слушал.

– Вот, смотрите! Иванов! – вызвал он из действующей армии красной товарища бойца.

– Есть, товарищ маршал! – выскочил из рядов красный армеец.

– Вот, браток, нужно тебе во имя построения социализмакоммунизма прыгнуть с колокольни Ивана Великого!

– Есть, товарищ маршал! – отрапортовал красный армеец и направился было к вышеозначенной колокольне, чтобы выполнить маршальский приказ.

В этот момент у одного из делегатов нервы подкачали. Из жиденьких он оказался. Остановил он товарища красного армейца Иванова и спрашивает:

– Неужели вы, господин красный армеец, ради вашего социализма готовы прыгнуть с такой неимоверной высоты?

– А какая нам, гражданин, разница, как помирать от этого самого социализма? С колокольной высоты дажу лучше, потому одним махом, так сказать – был Иванов, а через секунду нет Иванова!

Говорят, что этот гость иностранный понял тогда всю физическую коммунистическую культуру в полном объеме и упросил всё же маршала отменить его приказ. Пусть, мол, красный армеец, помирает медленной социалистической смертью.

Это, правда, было давненько. Когда маршал был наркомом военных дел. А вот сноровка социалистическая осталась до сих пор. Потому и медали да призы с грамотами зарабатывает советское правительство на свох собственных физических культурниках. Чтобы, значит, во имя социализма, так сказать.

Да, так вот команда приехала в Англию. «Спартак» называется. По футбольной части все её члены специалисты. IIриехали, чтбы заработать первенство. IIоказать все преимущества коммунистической физической культуры. Побороться, так сказать, с капиталистическими футболистами английского происхождения. Ну, ясно, поборолись. В городе Вольвергемптоне...

Может, потому, что не было тут маршала товарища Ворошилова, может, потому что колокольни Ивана Великого не успели англичане поставить в Вольвергемптоне, но «Спартак» проигрался. Вчистую. С треском, так сказать. 4:0 не в его пользу.

Было это печальное происшествие в жизни дорогого советского правительства и мудрой коммунистической партии, скажем. Числа 15 ноября, Москва в «Последних известиях» по радио ни слова не сказала. А господ английских читателей это молчание заедало. На каком, дескать, таком основании молчат? IIроигрались – признайте вашу слабость коммунистическую перед капитализмом! И давай в своих газетках тонкие намёки на толстые обстоятельства печатать, давай раздражать коммунистическую власть, потому ведь недаром мирно они сосуществуют с товарищами из Кремля!

А Москва помолчала-помолчала, а всё же решила заговорить. И не просто заговорить, а всё же признать, да и не признать, а так сказать, свести на нет достижения английской футбольной команды. То-есть, почти на нет.

Неудобно стало коллективному руководству. Да и не то, что неудобно, а просто невозможно, в настоящее время портить отношения с английскими гражданами из-за какого-то футбола, когда на самом носу предстоят международные конференции по весьма важным вопросам мирного сосуществования. А господа английские дипломаты везде товарищу Молотову помочь могут. И в Берлине, и в Женеве, и в Париже, и в Москве, и в Вашингтоне, и в ООН, и в Корее, и в Вьетнаме... И вот, например, в конференции 25 держав или 225. Или во всемирной даже. Ну, и приказало это коллективное руководство «Последним известиям» обнародовать правдивые данные, указав на важные причины, помешавшие коммунистнческой победе на футбольном английском поле.

Объявили 17 ноября. Оперативность необыкновенная для товарищей. Как на посевной. Отговорок только столько было, как в советских сводках, которые печатались в центральных коммунистических газетах во время советско-немецкой войны. И туман оказался, виноватым. Правда, туман то этот был накануне... и к началу игры разошелся. Но все же был туман. И чужое поле виновато. И героическая защита была, и под напором превосходящих сил противника...

А вот в корень вещей никто так и не заглянул. Причина-то в том вся заключается, что «Спартак» плохо овладел историей коммунистической партии и ради построения социализма в одной стране никто из его членов не решился спрыгнуть с колокольни Ивана Великого!

А вы говорите: «Туман!»



ДОРОГИЕ

Слыхали, небось? А? Как это в Женеве происходило? Охрана-то какая! Пятьсот полицейских дополнительно мобилизовано для оберегания «дорогих» прогрессивных, миролюбивых коммунистов «демократов»! В копеечку влетело всё это удовольствие швейцарскому правительству! Может, правда, швейцарцы и не выплачивали полицейским. Мы точно не знаем. Может, сами «дорогие» за себя расплачивались. Потому в швейцарском банке их кровавые денежки лежат на всякие неотложные потребности. Например, на «убийство» Околовича. Или на выкрадывание доктора Трушновича. Неудобно же, кроме поддельных паспортов, валюту иностранную фальшивую иметь при себе. Того гляди, накроют «честных» дипломатов! А они же не простые, а самые настоящие «дорогие». В каждой газетенке коммунистической пишут про них: коллективное руководетво – «дорогое», депутаты – «дорогие», министры – «дорогие»... Да все, кроме народа русского...

Да. Вот и приехали. «Дорогие», конечно, что там и говорить. Раз уж пишут в газетках, то и возражать-то некому. Не газетке же. Потому она ничего и не поймет во всей этой кутерьме.

И посколъку дипломаты-то все «дорогие», постольку и сидят все они в своих отелях. Сидят и на свежий швейцарский воздух не выходят. И охраняют их, как некоторые драгоценности. А всё почему? Потому только что очень уж «дорогие».

Хотелось бы, например, скажем, пролетариату швейцарскому поглазеть на пролетарское руководство, так невозможно. Заперлось. И окна все плотно закрыты. Может, потому, что на «драгоценности» бесплатно и смотреть не разрешается? А плата-то известная. Мировая революция в общешвейцарском масштабе. Пролетариат же глупый в Швецарии. Не желает мировой революции у себя устраивать. Хорошо, говорит, ему и с капиталистами жить на швейцарском свете.

Вот только капиталисты швейцарские ведут себя неприлично. Не так, как полагается демократическим капиталистам. Денежки в своих банках держат на предмет вот той самой революции, которая должна будет их самих в первую очередь смести с лица шевейцарской земли!

Ну а «дорогие»-то сидят взаперти. Почему? Пошли бы по

городку Женевскому. Полюбовались бы видиками. Альпами и прочими швейцарскими горками... Озерком Женевским... Воздухом горным чистым подышали... Небось, в номерах-то гостинничных понакурено, понаплевано... Дышать, так сказать, совершенно нечем от кремлевского словоблудия... Нет. Сидят. Чего-то высиживают. Притаились. Будто и на свете швейцарском их не существует. На конференции только под усиленной охраной путешестствуют да физии свои богопротивные от честного народа прячут. А почему, спрашивается? Стыд-то давно петеряли. Годов тридцать шесть, небось? Или боятся, чтобы пальцами не показывали? Чтобы не крикнул какой швейцарский пролетарий: «Кровопийцы народные! Бандиты мирового масштаба! Убийцы беззащитных!»

Так и к этому должны давно привыкнуть. От своего собственного народа не раз слыхивали. Да и за границей громогласно пролетариат провозглашал анафему возле советских посольств да представительств. А у «дорогих» то принцип самый воровской: стыд не дым – глаза не ест.

Вот и сидят взаперти. Только не потому, что кто-то из пролетариата о котором они так усердно пекутся, слово правды им в лицо скажет, а потому,что боятся, что пролетариат-то этот кирпичем из-за угла смазать может. По физиогномии, так сказать. И не будет тогда «дорогого» дипломата, заботящегося о войне, а не о мире.

Конечно ошибаются «дорогие». За границей не имеется таких, чтобы по физиогномии. Тут народ воспитанный без МГБ.



РАСТУЩИЕ ПОТРЕБНОСТИ

Вот в эсэсэре сейчас много говорят о растущих потребностях советского населения. Это, конечно, разговорчики чрезвычайно древние. С бородкой, можно сказать. Даже с поседевшей. В весьма почтительном возрасте. Потому помним мы о растущих потребностях еще по тем далеким временам, когда самолично имели счастье присутствовать на великой стройке социализма-коммунизма. Да и не то, что присутствовать, а можем теперь признаться смело, что и до некоторой степени способствовать воздвижению величественнейшего здания коммунизма, которое всё время рушилось на нас, его строителей...

Припоминается, как однажды мы начитались различной литературы-макулатуры. Всякой. И периодической даже. И романы социалистические читали. И историю партии. А газетки – так это уже в обязательном порядке. Потому несознательным элементом и, вообще, отсталым гражданином с нашим образованием просто опасно было существовать. Уличил бы некий некто, что передовица Правды не проработана, ну, и погибли бы мы во цвете сил, здоровья, молодости и прочих прелестей человеческого буржуазного бытия.

А однажды после прочтения известного количества коммунистической литературы произошло с нами нечто неопределенное, совершенно непредвиденное агитпропом горпарткома. Поверили мы в написанное. И вера сия произвела на нас такое воздействие, что мы начали превращаться... Да что там говорить! Факты сами за себя расскажут.

Потребности у нас выросли! И как быстро?! В течение одной ночи! Вечерком, скажем, мы улеглись вполне так сказать, нормальным советским граданином, а на утречко, знаете ли, не всё благополучно... Странно всё так произошло, что мы сами удивлялись! Вчера, скажем, никаких потребностей, а сегодня не только, вообще, появились эти самые потребности, но и выросли! И не только выросли, но и продолжали себе расти! И так, могло же быть до бесконечности? Ведь это не только страшно, но и это же вполне ужасно! Разве в эсэсэре можно существовать со все возрастающими потребностями? Мы тогда это понимали очень хорошо А самое главное, что эти-то потребности выросли только за одну ночь! И что бы было дальше? За две, скажем, ночи? За три? За четыре? И так далее? Да нам бы от нашего дорогого

советского правительства непременно какую нибудь награду на несколько лет получить возможно было бы!

Однако мы отвлечемся несколько в сторону. Не особенно далеко. Супруга у нас имеется. Не какя-нибудь эмигрантская из ДП лагеря, а целиком и полностью законнейшая. Да в то далекое тремя, собственно говоря, почти все граждане имели исключительно законнейших супруг. И я, конечно, в их числе состоял. В числе граждан, ясно.

Так вот сия наша законнейшая супруга обеспокоились нашим состоянием ужасно. Смотрят они на нас и замечают, как растут наши потребности. Конкретно растут. Вполне наглядно. И, конечно, испугались они этих растущих потребностей, потому как их возможно удовлетворить при современном беспредметном состоянии рынка и обещанном мудрой партией и дорогим правительством изобилии?

– Почему это вы в таком нервическом состоянии пребываете? – спрашивает нас наша дрожайшая половина.

– Как-с? Мы-с? Почему-с?

– Да вот потому, что конечности ваши нижние движения воспроизводят странные... Как бы вас не заподозрили в желаниях совершенно недозволенного характера, милейший наш! А тогда как мне прикажете жить в индивидуальном порядке?

Одним словом, через два-три слова выяснились наши растущие потребности и супруга наша возмущенно воскликнули:

– Вот! Так мы и думали! Эгоизм! Исключительного свойства эгоизм! Самые незаконнейшие, самые запретнейшие желания! И что нам остается на этом свете страшном творить? Ах! Какая же наша разнесчастная жизнь! Ах, какая же наша женская доля тяжелая в современных условиях трудностей социалистического роста!

– Когда, когда? – вопросили мы не без некоторого даже интереса.

– Когда! Тогда, когда вы ублаготворите ваши растущие потребности! – с горечью ответствовала наша дрожайшая половина.

Мы удивительно посмотрели на опечаленную законнейшую супругу и заметили даже некоторое количество довольно крупных, мы бы сказали, стахановских слез на глазах.

– Что же вы думаете, вдовой нас оставить по поводу вашей мученической кончины или в неизвестном состоянии оставить в одиночестве по поводу вашего отъезда на какой-нибудь дальний Север?

– Милочка, почему же это вы в таком неблагонадежном

состоянии пребываете в отношении нашего будущего? Неужели же вы предполагаете, что мы мечтаем об исчезновении...

– Вы, Вы! – восклицает возмущенно несколько раз наша милейшая половина и ведет нас за руку, яко несовершеннолетнего, к единственному окну нашей огромной однокомнатной квартиры, которое выходит на площадь Октябрьской реводюции, и показывает на ту сторону, где находится книжный магазин госиздата.

Обозрели мы площадь. Вдвоем. И не заметили совершенно никакого пустого места на ней. Толпа пребывала перед этим книжным магазином. Вроде как на октябрьскую выстроились счастливые граждане нашего города со своими выросшими за ночь потребностями...

– Три велосипеда на 175 тысяч населения нашего града привезено! – вполне секретно и вполне конфиденциально сообщила нам супруга.

И как рукой сняло у нас все выросшие потребности... С тех пор вообще, потребности наши и не росли никогда...

Это мы к тому, что вот тут, за границей, значит, торчат эти самые велосипеды, и смотреть на них никак не желательно! Может, потому, что мои внуки гоняют на велосипедах, как угорелые? И без всякой очереди... И никаких растущих потребностей!



В ЧЕСТЬ ТРЕХСОТЛЕТИЯ

Послушаешь, что твориться на «том» свете, подумаешь, что происходит «там» и задумашься над прошлым, настоящим и будущим...

Сколько стран на свете Божьем, сколько различных народов! И живут все тихонько, смирехонько, без всяких достижений, без перевыполнений производственных норм, заданий, планов! И имеют в достатке всё, что им нужно! И никто и нигде не восхваляет ни мудрой партии, ни дорогого правительства!

Да оно и понятно. Ну, какой, скажите мне, пролетарий будет восхвалять капиталистическое правительство США за его участие в конференциях с советчиками?! Какой, скажите пожалуйста, пролетарий будет петь дифамбры консервативной партии Англии за её желание любой ценой купить дружелюбное расположение коммунистической партии эсэсэры?!

Но есть страна... Страна ли? Нет. То не страна. Это сплошная социалистическая вахта! Это сплошное социалистическое соревнование, сплошное повышение рабских норм выработки и понижение жизненных условий, это сплошной колхоз, раскинувшийся на двадцать один миллион квадратных километров, в котором сидят в правлении самоназначенцы! Нет, это не страна. Это огромный концентрационный лагерь, в котором преступники находятся в числе охраны, а невинные люди заключены в качестве преступников!

И вот в этом концентрационном лагере, в котором люди даже спят как на стахановской вахте – чутко, не теряя бдительности, обдумывая новые социалистические победы – в этом огромном колхозе преступная охрана требует не только восхвалительных песнопений во славу свою, не только составления од, посвященных колхозному руководству, но и производственных побед, посвященных... Чему?

О, колхозное руководство придумает! Оно только тем и занимается что изобретает общественно-исторические кнуты, которыми можно было бы подстегивать своих непослушных подданных!

– В честь первого мая перевыполнить план на сто процентов!

– В честь дня печати на...

– В честь дня радио...

Но оказалось мало календарных дней. Да и не помогают, как видно, ни первые, ни вторые мая, ни двадцать пятые, ни двадцать шестые октября! Приходится колхозному руководству копаться в истории. Но не в истории партии своей, а в истории России, и на сцену социалистического бытия выставляются новые кнуты:

– В честь 250-летия кронштадтской крепости...

– В честь 300-летия воссоединения Украины с Россией...

И начинают подстегиваться колхозники, рабочие, инженерно-технические работники, профессора, учителя и ученики... И выполняются на баснословные проценты производственные планы...

Что же это? «Герои-стахановцы» только в честь «дней» да «-летий» перевыполняют производственные задания? А если бы этих «дней» да «-летий» не существовало? Тогда как было бы? Как бы существовало тогда счастливое советское население, если при всех сверхдостижениях стахановцев «в честь...» в эсэсэре людям ничего невозможно купить – везде пусто хоть шаром покати?

Эх! Была Россия. Ни планов, ни заданий не было. Не было и «дней» и всяких «-летий» в честь которых кто-либо подумал бы устроить шум или бесплатную возню. Но какое было изобилие всевозможных товаров! Какая была свобода для всех: покупай, что душеньке твоей угодно! И не знали люди ни голода, ни холода, не ходили раздетыми да разутыми, не стояли часами в очередях за обыкновеннейшим насущным хлебом! Эх! Была Страна! Но и будет Страна! Будет Россия!



У БИЛЕТНОЙ КАССЫ

Иностранцы в своей оценке советских достижений поднялись в занебесье гораздо раньше, чем коммунистический Спутник. Но Спутник сгорел, следа от него не осталось, а вот иностранная пропаганда коммунистических достижений продолжает существовать до их пор.

Если бы иностранцы спустились из-занебесья в колхозную хату, в рабочую «квартиру», зашли бы в коммунистическую пивнушку, «повесились» бы на советский трамвай и прокатились бы так в сорокаградусный мороз из конца в конец Москвы; если бы они стали в очередь на железнодорожной станции за билетом, попробовали бы сесть не в качестве иностранцев в поезд, а в качестве обыкновенных советских граждан. Если бы эти иностранцы попробовали «выгонять нормы», «давать показатели», и, вообще, быть «сознательными», тогда бы они узнали о коммунистических достижениях подлинную правду.

Давно я не ездил по железной дороге. Забыл обо всех её прелестях. Да, говоря откровенно, и не знал о новых. И вот пришлось таки попробовать социалистический транспорт. Правда, довольно счастливо, но увидел то, что может господ иностранцев привести в ужас.

С командировочным удостоверением, в котором указано, что я еду по таким важным государственным делам, по каким никому даже и не снилось: если я не доеду в срок, то закончится и советская власть. Очень сильные выражения были в моем удостоверении. Я даже сам удивлялся, зачем так остро, но, оказывается, там даже бритвы не остры.

На дворе стоял холодный дождливый сентябрь. Кафельные полы вокзала разрисованы узорами жидкой грязи. Коридоры – пустынны. Глубокая ночь. Спокойно подхожу к залу третьего класса, где помещается касса. Открываю двери и останавливаюсь в оцепенении. Передо мной стена людская. Не протолпиться. Над этой человеческой массой – густые облака дыма махорки и дешевого табака. Сквозь них пробивается мутный свет электрических фонарей. Придавленный гул как бы застыл в своей дисгармонии и не желает вырываться в открывшиеся двери зала.

У дверей – несколько человек, плотно прижатых друг к другу.

Они спинами опираются на задних. Кто-то бросает на меня равнодушный взгляд и сейчас же переводит в пространство. На лицах у одних безразличие, у других – какая-то тяжелая мысль, которую невозможно, но нужно решить.

«Неужели все едут?» – подумал я, намечая место, в которое лучше всего втиснуться. Проталкиваясь через толпу со скоростью черепахи, убеждаюсь, что бездомников почти не видно. Даже урки, которых я встретил на своем пути, и те оказались пассажирами, ибо они имели узкую советскую специальность поездных воришек. Ловкость их была настолько велика, что они в этой невероятной тесноте умудрились играть в карты!

Наконец, я у кассы. Возле окошечка две надписи: слева – «Для командировочных», справа – «Курортные». Становлюсь, если так можно назвать процесс вдавливания, слева.

Раздается несколько голосов:

– В очередь. В очередь!

Ближайшие поясняют мирно:

– Вон там, видите, в солдатской форме...

– Что козырек оторван...

– Вот он прикуривает сейчас...

– Он и есть последний... Так за ним вам...

Я ничего не вижу. В солдатской форме и с «оторванным козырьком», т. е. в пилотке, очень много голов виднеется. Но они мне и не нужны, потому что я ведь без очереди!

– Я командировочный, – объясняю.

По очереди передается:

– Командировочный! Командировочный!

Сразу все успокаиваются. Из-за спины доносится:

– Может, получит...

Пискливый женский голос поясняет:

– Родименький, три нядели сидим... Без усякого движения... Не мае билетов...

– Неужта три недели? – кто-то спрашивает.

– Три, родименький... Сидим без просвета тута...

– Да теперича все одно, чи стоим, чи сидим...

– Чи висим... – добавляет новый голос.

– Одним словом, задыхаемся...

Начинается политический разговор, очень неприятный, опасный, но очень интересный. Но развернуться ему не приходится. Иносказательные лаконические выражения вдруг обрываются. Возле меня вырастает фигура энкаведиста.

– Вы, товарищ, по командировке?

– Да, – отвечаю без смущения.

– Ну, у меня немного поважнее, – многозначительно говорит он мне, подчеркивая «немного».

Спорить мне не приходится. Знаю, что он все равно получит первый.

Сейчас же открывается окошечко кассы. Чекист получает билет и уходит. Касса сразу же закрывается. Я в нёдоумении. Окружающие меня успокаивают:

– Ото вам, товарищ, и усе...

Стучу в окошечко кассы. Долго никто не открывает. Но я настойчив, и кассир раздраженно открывая окошечко, кричит:

– Мест нет, граждане...

– Я по командировке, – спокойно говорю ему. Кассир вдруг меняется. Улыбается мило и говорит:

– Почти невозможно... Но попробуйте зайти в отделение НКВД... Иногда удается...

Пробую. Выхожу в коридор и сразу же упираюсь в двери с надписью, пугающей каждого советского гражданина. Смело стучу.

Никто не открывает. Приоткрывая двери, спрашиваю:

– Можно?

– Ну, заходи, кто там?

– Я по командировке...

– Знаем, знаем вас... Все вы по делам государственной важности... Если не поедете, так и советской власти не будет на свете!

Оба энкаведиста, встретившие меня столь неприветливо, играли в карты. Они давно привыкли к таким мелочам и не обращали внимания на меня. Но я упорно стоял на своем.

– Так что ты хочешь?

– Билет на поезд.

Тебе ж кассир сказал, что нет мест?

– Сказал.

– А ты где работаешь?

Я объяснил, где я работаю и почему я еду.

– А так ты товарищ, педагог!

– Прохоров, устрой-ка ему билет...

Через несколько минут я бежал вдоль поезда, но проводники не пускали меня ни в один из вагонов. Только в самом конце проводница соизволила пустить в вагон:

– Ну, что ж, дальше вагонов нет...

Войдя в вагон, я поразился: ни одной души живой, ни единого человека!

Спрашиваю у проводницы:

– Это только у вас так пусто?

– Где там! Почти весь поезд пустой!

Дальнейшие расспросы напрасны – каждый из нас понимал, что это социализм.

Задумался: стоит ли писать, как ездят в «проклятых» капиталистических странах? Да, стоит. Потому что «там» порядки не изменились, а газета «Россия» все же попадает в СССР и кто-то её читает. А если читает, то «молва по миру ходит».

Ну, так вот, однажды я собрался ехать в Нью Йорк. Шофер мой задержался в дороге. Я беспокоился:

– Опоздаю на поезд...

– На другой сядете.

– Вдруг билетов не будет...

– В вагоне возьмете...

А не оштрафуют?

– А это, что такое?

Объясняю.

– Нет, таких вещей здесь не существует.

И, действительно, я успел вскочить в вагон перед самым отходом.

Кондуктор подошел ко мне:

– Ваш билет?

– Я не успел взять, – со смущенем и с некоторым страхом (а

вдруг оштрафует?) ответил ему.

– Куда вы едете?

– В Нью Йорк.

Кондуктор выдал мне билет, и я спокойно доехал до места назначения.

До чего же просто у этих «проклятых» капиталистов! И законность соблюдается, и штрафов никто не платит, и спокойствие у людей полное. Хорошо жить в свободном мире!



БЕРИ - Я, БЕРИ - ТЫ

Частушка

Бери-я, бери-ты,
Лучше я, а не ты.

Молот-ковы, Мален-ковы,
Воры-шиловы, Хрю-щевы,
В огроде бузина,
А в Кремле-то кутерьма!

Бери-я, бери-ты,
Лучше я, а не ты!

Джугашвили удушили,
Завещанья не нашли,
Власть советскую делили
И к согласию пришли.

Разделили, поделили,
У народа не спросили,
Маленков—кинозвездой,
Берия за ним второй.

Берия побагровел
И от злости обалдел:
«Почему я номер два?
Ведь всему я голова!»

И решил убрать премьера
По знакомому примеру,
Что в ЧеКа проверил сам
В применении к «врагам».

Приказал своим холопам
Маленкова подстеречь,
Их расставил по дорогам
Неизбежных смертных встреч.

Красный барин приказал
Подстрелить премьера,
У Кремля чекист стоял

С пулей самострела.

У кремлёвских у врот
Выстрел вдруг раздался,
Маленковский весь эскорт
В страхе разбежался.

Пуля мимо проскочила,
Головы не зацепила,
Но чекиста захватили
И в кутузку посадили.

Допросили, уяснили,
Весь клубочек раскрутили
От кремлёвского двора
До чекистского гумна.

И министра-чекиста,
Берию коммуниста
Посадили в подвал.
Вот партийный скандал!

«Берия ты коммунист,
Берия империалист,
Ты шпион ирландский,
Диверсант испанский!»

Упустил ты время
Влезть на пост вождя!
Знаем ваше племя
Красного Кремля!

(Верь моему слову)
От твоей руки
Быть бы Маленкову
На твоём пути.

И соперник-коммунист
Маленков империалист
Диверсантом и шпионом
Был объявлен бы законом.

А теперь, отродье ада,
Чёрту душу приготовь,
Пуле в лоб—твоя награда,
Верной партии любовь.

Всё равно грехи признаешь
По методике твоей,
Разве ты того не знаешь

От невинных всех людей?

В стае псов всегда бывает
Из-за кости шум большой,
Кто сильнее, кость глодает,
Слабых душит за разбой.

И твои же хулиганы,
Все чекисты-уркаганы
Твоей кровью захлебнутся,
Над тобою насмеются.

Не печалься, враг народа,
Всё, равно и Мален-кова,
Вора-шилова, Хрю-щёва
Ожидаёт та ж невзгода.

Бери-я, бери-ты,
Лучше я, а не ты!

Молот-ковы, Мален-ковы,
Воры-шиловы, Хрю-щевы,
В огроде бузина,
А в Кремле-то кутерьма!

Бери-я, бери-ты,
Лучше я, а не ты!

Приложение

Перекрестная ссылка к рукописям и опубликованным рассказам

Сокращения и заметки

1. Ссылки на рукопись *Caught in the Web of History: Nikita S. Khrushchev's Teacher and Her Family Remember the Sweep of Events That Destroyed the Life of Millions,* by Antonina G. Berezhnaya Gladky, Orest M. Gladky, Olga Gladky Verro, Giulio Verro, compiled, trans. and ed. by Olga Gladky Verro, ed. by Oliver W. Kellogg, 2006, manuscript in MS Word on PC and CD, Copyright 1995-2010 Olga Gladky Verro, будут ссылаться сокращенно как: *Caught in the Web of History.*

2. Все рукописи и опубликованые работы указанные в ссылках принадлежат правам печати 1980-2010 Copyright © Ольга Гладкая Верро и принадлежат к приватной коллекции Ольги Гладкой Верро, исключая те, которые имеют другую ссылку.

3. MS Word – сокращенно обозначает « записано электронным методом Microsoft Word и находятся на компютере Ольги Гладкой Верро и на СД».

4. Список составлен в алфавитном порядке по заглавиям рассказов.

Бери-я, бери-ты

Орест М. Гладкий, (О. Михайлов, псевдоним), 1970, «Бери-я, бери-ты», *Во имя чего?,* машинописный сборник рассказов, 189, Манчестер, Коннектикут, США.

Благородные сердца

1. Орест М. Гладкий, 1945-1946, «Благородные сердца», *Записная книжка*, рукопись, (заметки в дороге по Германии во время побега от наступающей Красной Армии).

2.——, (Orest M. Gladky), 1995-2010, "The Noble Hearts," том 1, часть 2 "Revolution and Civil War," *Caught in the Web of History.*

Большевики в Феодосии

Орест М. Гладкий, 1995-2010, "Bolsheviks in Feodosia," (из воспоминаний О. М. Гладкого, записано, переведено и редактировано Ольгой Гладкой Верро), том 1, часть 3 "Bolsheviks Have Seized the Power," *Caught in the Web of History*.

Братья

Орест М. Гладкий, (О. Михайлов, псевдоним), 1970, «Братья», *Во имя чего?*, машинописный сборник рассказов, 25-36. Манчестер, Коннектикут, США.

Бурёнушка забастовала

Орест Михайлович Гладкий, (О. Михайлов, псевдоним), 1970, «Бурёнушка Забастовала», *Во ИмяЧего?*, машинописный сборник рассказов, 151-152, Манчестер,

Коннестикут, США.

В голубом полумраке

Орест М. Гладкий, 2 октября 1954, «В голубом полумраке», машинописный сборник рассказов, 100-103, Вентнор, Остров Вайт, Англия.

В дороге

Орест М. Гладкий, 21 декабря 1954, «В дороге», машинописный сборник рассказов, 112-115, Вентнор, Остров Вайт, Англия.

В Зале Ожиданий

1. Орест М. Гладкий, 1954, «В зале ожиданий», рукопись, Вентнор, Остров Вайт, Англия.

2.——, (Р. Михневич, псевдоним), май 1954, «В зале ожиданий», журнал *Жар Птица*, 15-16, Сан Франциско, Калифорния, США.

3.——, (О. Михайлов, псевдоним), 1970, «В зале ожиданий», *Во имя чего?*, машинописный сборник рассказов, 48-49, Манчестер, Коннектикут, США.

4.——, (O. Mikhailov, pseudonym), December, 1956, “In the Waiting Room,” *The Christian Democrat*, journal, No. 12, vol. 7, 632-635, Samuel Walker, Ltd.,Hinkley, Leics, Great Britain.

5.——, 1995-2008, “In the Waiting Room,” том 2, часть 5 “The Years of Political Inquisition and Coerced Collectivization,” *Caught in the Web of History*.

В Маленковском балагане

Орест М. Гладкий, 13 декабря 1954, «Слыхали ль вы?», машинописный сборник рассказов, 109-112, Вентнор, Остров Вайт, Англия.

В тюрьме

1. Орест М. Гладкий, апрель 1954, «В тюрьме», рукопись, Вентнор, Остров Вайт, Англия.

2.——, (Р. Михневич, псевдоним), декабрь 1956, «В тюрьме», журнал *Жар Птица*, 42-50. Сан Франциско, США.

В честь трехсотлетия

Орест М. Гладкий, 28 мая 1954, «В честь трехсотлетия», машинописный сборник рассказов, 38-39, Вентнор, Остров Вайт, Англия.

Верую

1. Орест М. Гладкий, 1953, «Верую», рукопись, Вентнор, Остров Вайт, Англия.

2.——, (О. Михайлов, псевдоним), 3 апреля 1953, «Верую», газета *Россия*, № 5089, Нью Йорк, США.

3.——, (О. Михайлов, псевдоним), 1970, «Верую», *Во имя чего?*, машинописный сборник рассказов, 19-21, Манчестер, Коннектикут, США.

Взвейтесь, Соколы, Орлами!

1. Орест М. Гладкий, (О. Михайлов, псевдоним), 4 сентября 1970, «Взвейтесь, Соколы, Орлами!», газета *Россия*, № 8152, 3, 7, Нью Йорк, США.

2. А. А. Гайрабетов, 1970, «Сборник военных песен», издательство газеты *Россия*. Нью Йорк, США. Все выдержки из песен по разрешению автора.

Видение чудесное

Орест М. Гладкий, май 1956, «Видение чудесное», машинописный сборник рассказов, 152-154, Вентнор, Остров Вайт, Англия.

Виктор Пушкарев

Орест М. Гладкий, (О. Михайлов, псевдоним), 1970, «Виктор Пушкарев», *Во имя чего?*, машинописный сборник рассказов, 37-46, Манчестер, Коннектикут, США.

Восток пылает

Орест М. Гладкий, ноябрь 1970, «Восток пылает», добавление к машинописному сборнику рассказов, 14-19, Манчестер, Коннектикут, США.

Врангелевец

1. Орест М. Гладкий, 1952, «Врангелевец», рукопись, Вентнор, Остров Вайт, Англия.

2.——, (О. Михайлов, псевдоним), 21 июня 1952, «Врангелевец», газета *Россия*, № 4900, Нью Йорк, США.

3.——, (О. Михайлов, псевдоним), 1970, «Врангелевец», *Во имя чего?*, машинописный сборник рассказов, 114, Манчестер, Коннектикут, США.

Вступление – Крестьянская трагедия

1. Sheila Fitzpatrick, 1985, *The Russian Revolution: 1917-1932,* 2-nd ed, Richard Clay/Chaucer Press, Oxford University Press, Bungay, Suffolk, Great Britain.

2. Ольга Гладкая Верро, 1995-2010, «Peasant's Plight», том 1, часть 5 «Political Persecution and Forced Collectivization», *Caught in the Web of History*.

Высоко квалифицированные педагоги

1. Орест М. Гладкий, 1954, «Высоко квалифицированные педагоги», *На Культурном Фронте*, рукопись, Вентнор, Остров Вайт, Англия.

2.——, (О. Михайлов, псевдоним), 1970, «На Культурном Фронте», *Во Имя Чего?*, машинописный сборник рассказов, 143-147, Манчестер, Коннестикут, США.

Гартфорд

Орест М. Гладкий, (О. Михайлов, псевдоним), 17 апреля 1970, «Гартфорд», газета *Россия*, № 8112, 3, 6, Нью Йорк, США.

Гениальная пустышка

Орест М. Гладкий, (О. Михайлов, псевдоним), 14 июля 1971, «Гениальная Пустышка», из серии «Портреты Старого Альбома», газета *Россия*, № 8241, 2-3, Нью Йорк, США

Гениальность

Орест М. Гладкий, май 1954, «Гениальность», машинописный сборник рассказов, 12-13, Вентнор, Остров Вайт, Англия.

Героиня

1. Орест М. Гладкий, 1957, «Героиня», рукопись, Вентнор, Остров Вайт, Англия.

2.——, (O. Mikhailov, pseudonym), January, 1958, «Marta Ignatevna», The Christian Democrat, journal, No. 1, vol. 9, pg. 49-51, Samuel Walker, Ltd., Hinkley, Leics, Great Britain.

3.——, (О. Михайлов, псевдоним), 1970, «Героиня», Во ИмяЧего?, машинописный сборник рассказов, 136, Манчестер, Коннектикут, США.

Гипотенуза

1. Орест М. Гладкий, 1954, «Гипотенуза», *На культурном фронте*, рукопись, Вентнор, Остров Вайт, Англия.

2.——, (О. Михайлов, псевдоним), 1970, «Гипотенуза», «На культурном фронте», *Во Имя Чего?*, машинописный сборник рассказов, 143-147, Манчестер, Коннестикут, США.

Глупая баба

1. Орест М. Гладкий, 1954, «Глупая баба», *На культурном фронте*, рукопись, Вентнор, Остров Вайт, Англия.

2.——, (О. Михайлов, псевдоним), 1970, «Глупая баба», *На культурном фронте*, *Во Имя Чего?*, машинописный сборник рассказов, 143-147, Манчестер, Коннестикут, США.

Голос диктора

Орест М. Гладкий, 19 мая 1954, «Голос диктора», машинописный сборник рассказов, 16, Вентнор, Остров Вайт, Англия.

Горный ирженер

Орест М. Гладкий, (О. Михайлов, псевдоним), 21 апреля 1971, «Горный Инженер», из серии «Портреты Старого Альбома», газета *Россия*, № 8229, 3, Нью Йорк, США.

Движение стахановское

1. Орест М. Гладкий, (О. Михайлов, псевдоним), 1970, «Движение Стахановское», *Во Имя Чего?*, машинописный сборник рассказов, 156, Манчестер, Коннестикут, США.

2.——, (О. Михайлов, псевдоним), 24 июля 1953, «Движение

Стахановское», газета *Россия*, № 5169, Нью Йорк, США.

Дела коровкины

1. Орест М. Гладкий, май 1954, «Дела Коровкины», машинописный сборник рассказов, 29-30, Вентнор, Остров Вайт, Англия.

2.——, (О. Михайлов, псевдоним), 19 августа 1954, «Дела Коровкины», газета *Россия*, Нью Йорк, США.

Дела перчаточные

Орест М. Гладкий, (О. Михайлов, псевдоним), 1970, «Дела Перчаточные», *Во Имя Чего?*, машинописный сборник рассказов, 161-162, Манчестер, Коннестикут, США.

День

Орест М. Гладкий, май 1954, «День», машинописный сборник рассказов, 4-5, Вентнор, Остров Вайт, Англия.

Дерьмосезонное пальтишко

1. Орест М. Гладкий, (О. Михайлов, псевдоним), 1969, «Дерьмосезонное Пальтишко», машинописный документ, Манчестер, Коннестикут, США.

2.——, (О. Михайлов, псевдоним), 25 декабря 1970, «Дерьмосезонное Пальтишко», газета *Россия*, № 8184, 2-3, 7, Нью Йорк, США.

3.——, (О. Михайлов, псевдоним), 1970, «Дерьмосезонное Пальтишко», *Во Имя Чего?*, машинописный сборник рассказов, 159-160, Манчестер, Коннестикут, США.

Добавление к статье «Гениальная Пустышка»

Георгий Гранин., 28 июля 1971, «Добавление к Статье Гениальная Пустышка», газета *Россия*, № 8245, 2-3, Нью Йорк, США.

Добровольцы

1. Орест М. Гладкий, май 1954, «Добровольцы» и выдержки из «Любовь», машинописный сборник рассказов, 5-8, Вентнор, Остров Вайт, Англия.

2.——, 1995-2010, “White Army Volunteers,” том 1, часть 2 “Revolution and Civil War,” *Caught in the Web of History*.

Дорогие

Орест М. Гладкий, 3 мая 1954, «Дорогие», машинописный сборник рассказов, Вентнор, Остров Вайт, Англия.

Душно

1. Орест М. Гладкий, 1952, «Душно», рукопись, Вентнор, Остров Вайт, Англия.

2.——, (О. Михайлов, псевдоним), 28 июня, 1952, «Душно», газета *Россия*, № 49056, Нью Йорк, США.

3.——, (О. Михайлов, псевдоним), 1970, «Душно», *Во имя чего?*,

машинописный сборник рассказов, 18, Манчестер, Коннектикут, США.

Дядюшка Евлампий

1. Орест М. Гладкий, 1952, «Дядюшка Евлампий», рукопись, Вентнор, Остров Вайт, Англия.

2. Орест М. Гладкий, (О. Михайлов, псевдоним), 28 августа, 1952, «Дядюшка Евлампий», газета *Россия*, № 4942, Нью Йорк, США.

3. Орест М. Гладкий, (О. Михайлов, псевдоним), «Дядюшка Евлампий», Во ИмяЧего?, машинописный сборник рассказов, стр. 130-131, 1970. Манчестер, Коннектикут, США.

4. Orest M. Gladky, “Uncle Pavel,” том 1, часть 2 “Bolsheviks Have Seized the Power,” Caught in the Web of History.

Его Проклятое Величество

Орест М. Гладкий, 25 мая 1954, «Его Проклятое Величество», машинописный сборник рассказов, 32-34, Вентнор, Остров Вайт, Англия.

Забытое письмо

Орест М. Гладкий, (О. Михайлов, псевдоним), 25, 27 января 1973, «Забытое Письмо», газета *Россия*, № 8405, 5; № 8406, 4-5, Нью Йорк, США.

За хлебом

Орест М. Гладкий, (О. Михайлов, псевдоним), 19 июня 1970, «За Хлебом», из серии «Портреты Старого Альбома», газета *Россия*, № 8130, 4, Нью Йорк, США.

Знамя Юных Добровольцев Белых Армий

Орест М. Гладкий, 8 мая 1954, выдержки из «Любовь», машинописный сборник рассказов, Вентнор, Остров Вайт, Англия.

Изменения

Орест М. Гладкий, (О. Михайлов, псевдоним), 1970, «Изменения», *Во имя чего?*, машинописный сборник рассказов, 188, Манчестер, Коннектикут, США.

Изобилие

Орест М. Гладкий, 16 мая 1954, «Изобилие», машинописный сборник рассказов, 10-11, Вентнор, Остров Вайт, Англия.

Из прошлого

1. Орест М. Гладкий, (О. Михайлов, псевдоним), 1960, «Из Прошлого», машинописная рукопись, Манчестер, Коннектикут, США.

2.——, (О. Михайлов, псевдоним), 1960, «Из Прошлого», газета *Россия*, Нью Йорк, США.

Какое вам дело?

1. Орест М. Гладкий, 26 мая 1954, «Какое вам дело?», машинописный сборник рассказов, 35-36, Вентнор, Остров Вайт, Англия.

2.——, (О. Михайлов, псевдоним), 18 августа, 1954, «Какое вам дело?»,

газета *Россия*, Нью Йорк, США.

Капитан Ракитин

Орест М. Гладкий, (О. Михайлов, псевдоним), 1970, «Капитан Ракитин», *Во имя чего?*, машинописный сборник рассказов, 94, Манчестер, Коннектикут, США.

Катакомбная Пасха

1. Орест М. Гладкий, 30 марта 1955, «Катакомбная Пасха», машинописный сборник рассказов, 163-172, Вентнор, Остров Вайт, Англия.

2.——, Orest M. Gladky, 1995-2010, "Easter in the Catacombs," том 2, часть 5 "The Years of Political Inquisition and Coerced Collectivization," *Caught in the Web of History*.

Князь

1. Орест М. Гладкий, (О. Михайлов, псевдоним), 1970, «Князь», *Во имя чего?*, машинописный сборник рассказов, 113. Манчестер, Коннектикут, США.

2.——, Orest M. Gladky, (O. Mikhailov, pseud.), December 1955, "The Count," Journal *Russia*, (Russian American Monthly Magazine), Vol. XI, No. 145, 10, Russia Publishing Co., New York, USA.

Комсомолка Куля

Орест М. Гладкий, (О. Михайлов, псевдоним), 6 января, 1971, «Комсомолка Куля», из серии «Портреты старого альбома», газета *Россия*, № 8187, 4-5, Нью Йорк, США.

Конкордия

Орест М. Гладкий, (О. Михайлов, псевдоним), 1970, «Конкордия», *Во имя чего?*, машинописный сборник рассказов, 103-112, Манчестер, Коннектикут, США.

Краснощекие брюки

Орест М. Гладкий, (О. Михайлов, псевдоним), 22 октября 1969 г., «Краснощекие Брюки», из серии «Портреты Старого Альбома», газета *Россия*, № 8061, 6-7, Нью Йорк, США.

Крест и игла

1. Орест М. Гладкий, 1952, «Крест и Игла», машинописный сборник рассказов, 43-46, Вентнор, Остров Вайт, Англия.

2.——, (О. Михайлов, псевдоним), 29 октября, 1952, «Крест и Игла», газета *Россия*, № 4984, Нью Йорк, США.

3.——, Orest M. Gladky, (O. Mikhailov, pseudonym), February, 1959, "Cross and Needle," journal *The Christian Democrat,* No. 2, vol. 10, 119-126, Samuel Walker, Ltd.,Hinkley, Leics, Great Britain.

4.——, (О. Михайлов, псевдоним), 1970, «Крест и Игла», *Во имя чего?,* машинописный сборник рассказов, 43-46, Манчестер, Коннектикут, США.

5.——, Orest M. Gladky, 1995-2010 "Cross and Needle", том 2, часть 4 "Life Under the Bolsheviks Rule," *Caught in the Web of History.*

Лидка

1. Орест М. Гладкий, 1953, «Лидка», рукопись, Вентнор, Остров Вайт, Англия.

2.——, (О. Михайлов, псевдоним), 18 февраля 1953, «Лидка», газета *Россия*, № 5058, Нью Йорк, США.

3.——, (О. Михайлов, псевдоним), 1970, «Лидка», *Во Имя Чего?*, машинописный сборник рассказов, 50-52. Манчестер, Коннектикут, США.

4.——, Orest M. Gladky, 1995-2010, “It’s Time To Go,” том 1, часть 3 “Bolsheviks Have Seized the Power,” *Caught in the Web of History*.

Лунатик

Орест М. Гладкий, (О. Михайлов, псевдоним), 1970, «Лунатик», *Во имя чего?*, машинописный сборник рассказов, 132, Манчестер, Коннектикут, США.

Любимый вождь

Орест М. Гладкий, (О. Михайлов, псевдоним), 1970, «Любимый вождь», *Во имя чего?*, машинописный сборник рассказов, 69, Манчестер, Коннектикут, США.

Любознательность – порок

1. Орест М. Гладкий, 1952, «Любознательность – порок», рукопись, Вентнор, Остров Вайт, Англия.

2.——, (О. Михайлов, псевдорим), 21 февраля 1953, «Любознательность – порок», газета *Россия*, № 5061 Нью Йорк, США.

3.——, (О. Михайлов, псевдоним), 1970, «Любознательность – порок», *Во имя чего?*, машинописный сборник рассказов, 72-73, Манчестер, Коннектикут, США.

Лямпа

Орест М. Гладкий, (О. Михайлов, псевдоним), 1970, «Лямпа», *Во Имя Чего?*, машинописный сборник рассказов, 140-141, Манчестер, Коннестикут, США.

Марш Дроздовского полка

А.А. Гайрабетов, 1970, «Марш Дроздовского полка», *Сборник военных песен*, *Sbornik Voенных песен,* издательство *Россия*, Нью Йорк, США. (Подарок от А. А. Гайрабетова Оресту М. Гладкому с разрешением употреблять его текст).

1. Орест М. Гладкий, 1953, «Лидка», рукопись, Вентнор, Остров Вайт, Англия.

2.——, (О. Михайлов, псевдоним), 18 февраля 1953, «Лидка», газета *Россия*, № 5058, Нью Йорк, США.

3.——, (О. Михайлов, псевдоним), 1970, «Лидка», *Во Имя Чего?*, машинописный сборник рассказов, 50-52. Манчестер, Коннектикут, США.

4.——, Orest M. Gladky, 1995-2010, “It’s Time To Go,” том 1, часть 3 “Bolsheviks Have Seized the Power,” *Caught in the Web of History*.

Музыкальная история

1. Орест М. Гладкий, (О. Михайлов, псевдоним), 1970, «Музыкальная история», *Во имя чего?*, машинописный сборник рассказов, 163-164, Манчестер, Коннестикут, США.

2.——, (О. Михайлов, псевдоним), 20 октября 1972, «Музыкальная история», газета *Россия*, № 8374, Нью Йорк, США.

Награждение

1. Орест М. Гладкий, 21 мая 1954, «Награждение», машинописный сборник рассказов, 31-32, Вентнор, Остров Вайт, Англия.

2.——, (О. Михайлов, псевдоним), 1954, «Награждение», газета *Россия*, Нью Йорк, США.

Наградили

Орест М. Гладкий, (О. Михайлов, псевдоним), 1970, «Наградили», *Во имя чего?*, машинописный сборник рассказов, 167-169, Манчестер, Коннестикут, США.

На границе

Орест М. Гладкий, (О. Михайлов, псевдоним), 1970, «На Границе», *Во имя чего?*, машинописный сборник рассказов, 148-150, Манчестер, Коннестикут, США.

Наидемократичнейшее голосование

1. Орест М. Гладкий, 1953, «Наидемократичнейшее голосование», рукопись, Вентнор, Остров Вайт, Англия.

2.——, (О. Михайлов, псевдоним), 10 февраля 1954, «Наидемократичнейшее голосование», газета *Россия*, № 5299, Нью Йорк, США.

3.——, (О. Михайлов, псевдоним), 1970, «Наидемократичнейшее голосование», *Во имя чего?*, машинописный сборник рассказов, 155, Манчестер, Коннестикут, США.

На каникулах

1. Орест М. Гладкий, 10 остября 1954, «На Каникулах», машинописный сборник рассказов, 85-89, Вентнор, Остров Вайт, Англия.

2.——, (Р. Михневич, псевдоним), февраль-март 1956, «На Каникулах», журнал *Жар Птица*, 20-23, Сан Франциско, США.

3. Орест М. Гладкий, 1995-2010, “On Winter Vacation,” том 2, часть 5 “The Years of Political Inquisition and Coerced Collectivization,” *Caught in the Web of History*

На общем собрании

1. Орест М. Гладкий, февраль 1954, «На Общем Собрании», рукопись, Вентнор, Остров Вайт, Англия.

2.——, Орест М. Гладкий, (Р. Михневич, псевдоним), март 1955, «На общем собрании», журнал *Жар Птица*, 21-24, Сан Франциско, США.

3.——, (Р. Чонгар, псевдоним), 25 ноября, 23 декабря 1954 , 27 января 1955, «На общем собрании», газета *Наша Страна*, № 254, № 258, № 262, Буэнос Айрес, Аргентина.

4.——, Orest M. Gladky, 1995-2010, “Meeting on the Farmstead,” том 2, часть 5 “The Years of Political Inquisition and Coerced Collectivization,” *Caught in the Web of History.*

Ната

1. Орест М. Гладкий, (О. Михайлов, псевдоним), 20, 22, 27, 29 мая 1970, «Ната», (К 32-ой годовщине красного налета на станцию Сальково), газета *Россия*, № 8121, 4; № 8122, 4; № 8123, 4; № 8124 (574), 4, Нью Йорк, США.

2.——, (О. Михайлов, псевдоним), 1970, «Ната» (К 32-ой годовщине красного налета на станцию Сальково), *Во имя чего?*, машинописный сборник рассказов, 8-14, Манчестер, Коннектикут, США.1980.

3.——, Orest M. Gladky, 1995-2010 “Nata,” том 1, часть 2 “The Years of Revolution and Civil War,” *Caught in the Web of History*.

На хуторе

1. Орест М. Гладкий, 1953, «На хуторе», машинопечатный сборник рассказов, 70-84, Вентнор, Остров Вайт, Англия.

2.——, (Р. Чонгар, псевдоним), 25 ноября, 23 декабря 1954, 27 января 1955, «На хуторе», еженедельная газета *Наша Страна*, № 254, 8-10; № 258, 10; № 262, 6, Буэнос Айрес, Аргентина.

3.——, 1995-2010, “The Dispossessed,” том 2, часть 5 “The Years of Political Inquisition and Coerced Collectivization*,” Caught in the Web of History*.

Неожиданный подарок

Орест М. Гладкий, (О. Михайлов, псевдоним), 1970, «Неожиданный подарок», *Во имя чего?*, машинописный сборник рассказов, 165-166, Манчестер, Коннестикут, США.

Неподалеку от Саур-могилы

Орест М. Гладкий, 23 декабря 1954, «Неподалеку от Саур-могилы», машинописный сборник рассказов, 118-122, Вентнор, Остров Вайт, Англия.

Непрошенный гость

Орест М. Гладкий, (О. Михайлов, псевдоним), 1970, «Непрошенный Гость», *Во имя чего?*, машинописный сборник рассказов, 47, Манчестер, Коннектикут, США

Никиткин сон

Орест М. Гладкий, 30 января 1955, «Никиткин сон», машинописный сборник рассказов, 140-142, Вентнор, Остров Вайт, Англия.

Никон Палич

1. Орест М. Гладкий, (O. Mikhailov, pseud.), 1952, “Nikon Palich,” trans. W. Kate Hyne, typewritten manuscript, Ventnor, Isle of Wight, England.

2.——, (O. Mikailov, pseud.), June 1953, “Nikon Palich,” Journal *Russia*, Russian American Monthly Magazine, Vol. X, No. 12712-14, Rossia Publishing Co., New York.

3.——, 1995-2010, “Nikandr Yakovlyevich Medvyedyev,” («Никандр Яковлевич Медведев», том 1, часть 4 “Under the Bolsheviks’ Rule,” *Caught in the Web of History*.

Об американской помощи российскому народу

1. Орест М. Гладкий, (О. Михайлов, псевдоним), 1960, «Об американской помощи российскому народу», рукопись, Манчестер, Коннектикут, США.

2.——, (О. Михайлов, псевдоним), 1960, «Об американской помощи российскому народу», газета *Россия*, Нью Йорк, США.

Отчаяние

1. Орест М. Гладкий, 1952, «Отчаяние», рукопись, Вентнор, Остров Вайт, Англия.

2.——, (О. Михайлов, псевдоним), 29 июня 1952, 29 июля 1952, «Отчаяние», газета *Россия*, № 4925, Нью Йорк, США.

3. Орест М. Гладкий, (О. Михайлов, псевдоним), 1970, «Отчаяние», *Во имя чего?*, машинописный сборник рассказов, Манчестер, Коннектикут, США

4.——, Orest M. Gladky, 1995-2010, “An Act of Despair,” том 2, часть 6 “The Years of Stalin Dictatorship” *Caught in the Web of History*.

Первомай

Орест М. Гладкий, (О. Михайлов, псевдоним), 21 мая 1971, «Первомай» из серии «Портреты старого альбома», газета *Россия*, № 8226, 3, 6, Нью Йорк, США.

Первый колхозный год

Орест М. Гладкий, (О. Михайлов, псевдоним), 1970, «Первый колхозный год», *Во имя чего?*, машинописный сборник рассказов, 78-93, Манчестер, Коннектикут, США.

Петрушка

Орест М. Гладкий, (О. Михайлов, псевдоним), 9 апреля 1971, «Петрушка», из серии «Портреты старого альбома», газета *Россия*, № 8214, 3, 6, Нью Йорк, США.

По инерции

1. Орест М. Гладкий, 1953, «По инерции», рукопись, Вентнор, Остров Вайт, Англия.

2.——, (О. Михайлов, псевдоним), 12, 14 июля, 1953, «По инерции», газета *Россия*, № 5139, 5140, Нью Йорк, США.

3.——, (О. Михайлов, псевдоним), 1970, «По инерции», *Во имя чего?*, машинописный сборник рассказов, 120-124,. Манчестер, Коннектикут, США.

По плану

1. Орест М. Гладкий, 1954, «По Плану», рукопись, Вентнор, Остров Вайт, Англия.

2.——, (под неизвестным псевдонимом), 1954-55, «По Плану», *Бюллетень*

Общества Помощи Русским Беженцам, Лондон, Англия.

3.——, (О. Михайлов, псевдоним), 1970, «По Плану», *Во имя чего?*, машинописный сборник рассказов, 74-75, Манчестер, Коннектикут, США.

Поражение в Крыму

1. Орест М. Гладкий, 1995-2010, "A Defeat In Crimea" и "Nata," том 1, часть 2 "Revolution and Civil War," *Caught in the Web of History*.

Портрет хама

Орест М. Гладкий, (О. Михайлов, псевдоним), 23 июня 1971, «Портрет хама», газета *Россия*, № 8235, 2-3, 6, Нью Йорк, США.

После боя

1. Орест М. Гладкий, 11марта 1955, «После боя», машинописный сборник рассказов, 157-159, Вентнор, Остров Вайт, Англия.

2. Orest M. Gladky, 1995-2010, "After the Battle," том 1, часть 2 "The Years of Revolution and Civil War," *Caught in the Web of History*.

Последнее испытание

1. Орест М. Гладкий, 1952 «Последнее испытание», рукопись, Вентнор, Остров Вайт, Англия.

2.——, Орест М. Гладкий, (О. Михайлов, псевдоним), 20 мая 1953, «Последнее испытание», газета *Россия*, № 5122, Нью Йорк, США.

3.——, (О. Михайлов, псевдоним), 1970, «Последнее испытание», *Во имя чего?*, машинописный сборник рассказов, 157-158, Манчестер, Коннестикут, США.

Последняя встреча

1. Орест М. Гладкий, (О. Михайлов, псевдоним), 1960, «Последняя встреча», рукопись, Манчестер, Коннектикут, США.

2.——, Орест М. Гладкий, (О. Михайлов, псевдоним), ноябрь 1960, «Последняя встреча», газета *Россия*, № 6969, 6970, 6971, 2-4, Нью Йорк, США.

3.——, Orest M. Gladky, 1995-2010, "The Last Encounter," том 2, часть 5 "The Years of Political Inquisition and Coerced Collectivization," *Caught in the Web of History*.

Правды ради

1. Орест М. Гладкий, 1956, «Правды ради», рукопись, Вентнор, Остров Вайт, Англия.

2.——, (O. Mikhailov, pseudonym), June, 1957, "For the Truth," journal, *The Christian Democrat*, No. 6, vol. 8, 347-352, Samuel Walker, Ltd.,Hinkley, Leics, Great Britain.

3.——, (О. Михайлов, псевдоним), 1970, «Правды ради», *Во имя чего?*, машинописный сборник рассказов, 15-17, Манчестер, Коннектикут, США.

4. Orest M. Gladky and Antonina Berezhnaya Gladky, 1995-2010 "Polytechnization," том 2, часть 4 "Under the Bolsheviks Rule," *Caught in the Web of*

History.

Правосудие толпы

1. Орест М. Гладкий, 5 декабря 1954, «Правосудие Толпы», машинописный сборник рассказов, 106-109, Вентнор, Остров Вайт, Англия.

2. Orest M. Gladky, 1995-2010 "Vadym Kuzenko and His Parents," том 2, часть 5 "The Years of Political Inquisition and Coerced Collectivization," *Caught in the Web of History*.

Правый

1. Орест М. Гладкий, 1952, «Правый», рукопись, Вентнор, Остров Вайт, Англия.

2.——, (О. Михайлов, псевдоним), 1970, «Правый», *Во имя чего?*, машинописный сборник рассказов, 66,. Манчестер, Коннектикут, США.

Преступники

1. Орест М. Гладкий, 1952, «Преступники», рукопись, Вентнор, Остров Вайт, Англия.

2.——, (О. Михайлов, псевдоним), 5 сентября, 1952, «Преступники», газета *Россия*, № 4947, Нью Йорк, США.

3.——, Orest M. Gladky, 1957, "Criminals," manuscript, trans. W. Kate Hyne, Ventnor, Isle of Wight, England.

4.——, (O. Mikhailov, pseudonym), November, 1959, "Toll the Bells for Yakovlev," trans. W. Kate Hyne, journal, *The Christian Democrat*, No. 11, vol. 10, 541-545, Samuel Walker, Ltd.,Hinkley, Leics, Great Britain.

5.——, (О. Михайлов, псевдоним), 1970, «Преступники», *Во Имя Чего?*, машинописный сборник рассказов, 76-77. Манчестер, Коннектикут, США.

Прокурор

Орест М. Гладкий, (О. Михайлов, псевдоним), 20 октября 1971, «Прокурор», газета *Россия*, № 8273, 2-3, 6, Нью Йорк, США.

Пройдоха

Орест М. Гладкий, (О. Михайлов, псевдоним), 24, 29, 31 июля 1970, «Пройдоха», из серии «Портреты Старого Альбома», газета *Россия*, № 8140,. 6; № 8141, 6-7; № 8142, 7, Нью Йорк, США.

Пролетарское правосудие

Орест М. Гладкий, (О. Михайлов, псевдоним), 1970, «Мрак», *Во имя чего?*, машинописный сборник рассказов, 22-24,. Манчестер, Коннектикут, США.

Пролог – Во имя чего?

1. Орест М. Гладкий, (О. Михайлов, псевдоним), 24, 26 февраля, 1, 3, марта 1967, «Во имя чего?», газета *Россия,* № 7785, 4; № 7786, 4; № 7787, 4; № 7787, 6, Нью Йорк, США.

2.——, (О. Михайлов, псевдоним), 1970, «Во имя чего?», *Во имя чего?*, машинописный сборник рассказов, 1-5, Манчестер, Коннектикут, США.

3.——, Orest M. Gladky, 1995-2010, "Vo Imya Chego," том 1, "Prolog," *Caught in the Web of History*.

Пролог – Мой милый друг

Орест М. Гладкий, 20 октября 1970, «Мой милый друг», добавление к машинописному сборнику рассказов, Манчестер, Коннектикут, США.

Пролог – Предпасхальное

Орест М. Гладкий, (О. Михайлов, псевдоним), 1970, «Предпасхальное», *Во имя чего?*, машинописный сборник рассказов, 180, Манчестер, Коннектикут, США.

Пролог – Социалистический поселок

1. Орест М. Гладкий, 22 декабря 1954, «Социалистический поселок», машинописный сборник рассказов, 115-117, Вентнор, Остров Вайт, Англия.

2.——, (О. Михайлов, псевдоним), 3 февраля 1973, «Социалистический поселок», газета *Россия*, № 8409, Нью Йорк, США.

3. Orest M. Gladky, Olga Gladky Verro, 1995-2010 "Hamlet Kisyelyevka," том 2, часть 6 "The Years of Stalin's Dictatorship," *Caught in the Web of History*.

Пролог – Хранить вечно

Орест М. Гладкий, (О. Михайлов, псевдоним), 30 июня, 1972, «Хранить вечно», газета *Россия*, № 8342, 6-7, Нью Йорк, США.

Пророк

Орест М. Гладкий, (О. Михайлов, псевдоним), 22 марта 1972, «Пророк», газета *Россия*, № 8313, 6, Нью Йорк, США.

Процентики

Орест М. Гладкий, 17 мая 1950, «Процентики», рукопись, Вентнор, Остров Вайт, Англия.

Проэкт гениальный

Орест М. Гладкий, 18 ноября 1955, «Проэкт Гениальный», машинописный сборник рассказов, 155-156, Вентнор, Остров Вайт, Англия.

Разговор со смертью

Орест М. Гладкий, 24 ноября 1954, «Разговор со Смертью», машинописный сборник рассказов, 98-100, Вентнор, Остров Вайт, Англия.

Разговор с тенью

Орест М. Гладкий, (О. Михайлов, псевдоним), 7 июля 1972, «Разговор с тенью», газета *Россия*, № 8244, 2-3, Нью Йорк, США.

Рас-с-скулачу

1. Орест М. Гладкий, 1952, «Рас-с-скулачу», рукопись, Вентнор, Остров Вайт, Англия.

2.——, (О. Михайлов, псевдоним), 15 августа, 1962, «Рас-с-скулачу», газета *Россия*, № 4933, Нью Йорк, США.

3.——, (О. Михайлов, псевдоним), 1970, «Рас-с-скулачу», *Во имя чего?*, машинописный сборник рассказов, 65, Манчестер, Коннектикут, США.

Растущие потребности

Орест М. Гладкий, 28 мая 1954, «Растущие потребности», машинописный сборник рассказов, 36-37, Вентнор, Остров Вайт, Англия.

Рёбрышко копченое

Орест М. Гладкий, (О. Михайлов, псевдоним), 1970, «Рёбрышко копченое», *Во имя чего?*, машинописный сборник рассказов, 170-171, Манчестер, Коннектикут, США.

Рождение человека

1. Орест М. Гладкий, июнь-июль 1945, «Рождение человека», *Записная книжка*, (записная книжка автора во время его бегства через Германию от наступающей Советской армии).

2.——, 1995-2010, "A Man Reborn" том. 3, часть 12 "Mea Culpa… Mea Culpa," *Caught in the Web of History*.

Рождественская радость

Орест М. Гладкий, (О. Михайлов, псевдоним), 5 января 1972, «Рождественская радость», газета *Россия*, № 8291, 10, Нью Йорк, США.

Случай на сеансе фильма «Броненосец Потемкин»

Орест М. Гладкий, (О. Михайлов, псевдоним, 21 июля 1972, «Случай на сеансе фильма «Броненосец Потемкин», газета *Россия*, № 8348, 7, Нью Йорк, США.

Случай с кроваткой

Орест М. Гладкий, 1 декабря 1954, «Случай с кроваткой», машинописный сборник рассказов, 103-106, Вентнор, Остров Вайт, Англия.

Слыхали ль вы?

Орест М. Гладкий, 10 октября 1954, «Слыхали ль вы?», машинописный сборник рассказов, 92-93, Вентнор, Остров Вайт, Англия.

Социалистический обед

Орест М. Гладкий, (О. Михайлов, псевдоним), 1970 «Социалистический обед», *Во имя чего?*, машинописный сборник рассказов, 153-154, Манчестер, Коннестикут, США.

Спасаемся

Орест М. Гладкий, (О. Михайлов, псевдоним), 1970, «Спасаемся», *Во имя чего?*, машинописный сборник рассказов, 53, Манчестер, Коннектикут, США.

Средневековая казнь

1. Орест М. Гладкий, (О. Михайлов, псевдоним), 1970, «Остябрь 1918 года»,

Во имя чего?, часть 4, машинопечатный сборник рассказов, Манчестер, Коннектикут, США.

2.——, (О. Михайлов, псевдоним), 3 марта, 1967, *Во имя чего?*, газета *Россия*, № 7787, Нью Йорк.

3.——, 1995-2010, “Medieval Execution,” том 1, часть 2 “Revolution and Civil War” *Caught in the Web of History*.

Стахановщина без энтузиазма

1. Орест М. Гладкий, , 1953, «Стахановщина без энтузиазма», машинописная рукопись, Вентнор, Остров Вайт, Англия.

2.——, (О. Михайлов, псевдоним), 9 июля, 1953, «Стахановщина без энтузиазма», газета *Россия*, № 5158, Нью Йорк, США.

3.——, (О. Михайлов, псевдоним), 1970, «Стахановщина без энтузиазма», *Во имя чего?*, машинописный сборник рассказов, 117-119, Манчестер, Коннектикут, США.

Степь зовет

Орест М. Гладкий, (О. Михайлов, псевдоним), 1970, «Степь Зовет», *Во Имя Чего?*, машинописный сборник рассказов, 55-63, Манчестер, Коннектикут, США.

Судьба насмешница

Орест М. Гладкий, (О. Михайлов, псевдоним), 1970, «Судьба насмешница», *Во имя чего?*, машинописный сборник рассказов, 95-102,. Манчестер, Коннектикут, США.

Tanya

1. Орест М. Гладкий, 1952, «Свет и тени», машинописная рукопись, Вентнор, Остров Вайт, Англия.

2.——, (О. Михайлов, псевдоним), август 13 1952, «Свет и тени», из серии «Портреты старого альбома», газета *Россия*, №. 4931, Нью Йорк, США.

3.——, (О. Михайлов, псевдоним), 1970, «Свет и тени», *Во имя чего?*, машинописный сборник рассказов, 54, Manchester, Connecticut, США.

Товарищ Живодеров

Орест М. Гладкий, (О. Михайлов, псевдоним), 1970, «Товарищ Живодеров», *Во имя чего?*, машинописный сборник рассказов, 142, Манчестер, Коннестикут, США.

Троцкист

Орест М. Гладкий, (О. Михайлов, псевдоним), «Троцкист», *Во имя чего?*, машинописный сборник рассказов, 137, 1970. Манчестер, Коннектикут, США.

Туман

1. Орест М. Гладкий, 17 ноября 1954, «Туман», машинописный сборник рассказов, 95-98, Вентнор, Остров Вайт, Англия.

2.——, (О. Михайлов, псевдоним), 17 ноября 1954, «Туман», газета *Россия*, Нью Йорк, США.

У билетной кассы

1. Орест М. Гладкий, (О. Михайлов, псевдоним), 1960, «У билетной кассы», машинописное добавление к сборнику *Во имя чего?*, Манчестер, Коннектикут, США.

2.——, (О. Михайлов, псевдоним), 1960, «У билетной кассы», газета *Россия*, Нью Йорк, США.

Удачное бегство

Орест М. Гладкий, май 1954, «Сумасшедший музыкант», машинописный сборник рассказов, 39-43,69, Вентнор, Остров Вайт, Англия.

Умеючи

1. Орест М. Гладкий, (О. Михайлов, псевдоним), 1970, «Умеючи», *Во имя чего?*, машинописный сборник рассказов, 133-135, Манчестер, Коннестикут, США.

2.——, (О. Михайлов, псевдоним), 8 января 1971, «Умеючи», газета *Россия*, № 8188 (638), 4-5, Нью Йорк, США.

Умненький редактор

Орест М. Гладкий, (О. Михайлов, псевдоним), 1970, «Умненький редактор», *Во имя чего?*, машинописный сборник рассказов, 138-139,. Манчестер, Коннектикут, США.

Черный ворон

1. Орест М. Гладкий, 1952, «Черный ворон», рукопись, Вентнор, Остров Вайт, Англия.

2.——, (О. Михайлов, псевдоним), 14 января 1953, «Черный ворон», газета *Россия*, № 5034, Нью Йорк, США.

3.——, (О. Михайлов, псевдоним), 1970, «Черный ворон», *Во имя чего?*, машинописный сборник рассказов, 6-7, Манчестер, Коннектикут, США.

4.——, 1995-2010, “The Black Raven,” том 1, “Prolog,” *Caught in the Web of History*.

Примечания

Бери – я, Бери – ты – частушка.

Биографическая заметка – редактор Ольга Гладкая Верро; перевод Натали Байер.

Благородные сердца – автобиографический рассказ.

Большевики в Феодосии – автобиографический рассказ; перевод с английского Натали Байер.

Братья – рассказ основанный на известных методах НКВД.

В голубом полумраке – рассказ о страшных годах голода на Украине.

В дороге – рассказ основанный на известных советских методах антирелигиозной пропаганды и о непоколебимом религиозном духе народа.

В зале ожиданий – жизненно правдивый рассказ.

В Маленковском балагане – основано на известных фактах.

В тюрьме – почти правдивая история.

В честь трехсотлетия – рассказ основанный на известных советских методах пропаганды.

Верую – правдивая история.

Взвейтесь соколы орлами! – цитации из песен по разрешению А. А. Гайрабетова из *Сборника военных песен*, издательство газета *Россия*, Нью Йорк, 1970.

Видение чудесное – размышления о жизни за железной завесой.

Виктор Пушкарев – рассказ основанный на советской пропаганде о мальчике по имени Павлик Морозов, который донес властям на своего отца. Советская пропаганда возносила его как мальчика-героя в глазах детей, которые были обязаны изучать в школе книги с его историей, которую в настоящее время историки считает вымышленной для пропаганды в воспитании детей.

Восток пылает – рассказ основанный на известных методах НКВД.

Врангелевец – рассказ из семейных мемуаров.

Вступление – Крестьянская трагедия – Вступление написано Ольгой Гладкой Верро на основании данных из книги Sheila Fitzpatrick

The Russian Revolution: 1917-1932, 1985, Oxford University Press. Перевод с английского на русский Натали Байер, 2010.

Гартфорд – рассказ о советской бюрократии.

Гениальная пустышка – правдивая история.

Гениальность – рассказ основанный на известных советских клише.

Голос диктора – размышления слушая радиопередачу из восточной Европы.

День – В Советском Союзе объявляли специальный «день» и применяли его
для повышения производительности, когда рабочие «добровольно» должны
были перевыполнять установленные нормы.

Добавление к статье «Гениальная Пустышка» – правдивая история – автор Георгий Гранин.

Добровольцы – автобиографический рассказ.

Дорогие – рассказ основанный на известных советских клише.

Душно – рассказ о безвыходном состоянии людей в Советском Союзе.

Дядюшка Евлампий – вариант рассказа «Дядя Павел» из семейных мемуаров.

Его Проклятое Величество – размышления о дьявольском происхождении зла грянувшем на русский народ.

За хлебом –рассказ основанный на известных фактах постоянного недостатка потребительских товаров и хлеба в советском союзе.

Забытое письмо – из размышлений автора о его безвыходном положении за его участие шестнадцатилетним юношей в Белой армии.

Знамя юных добровольцев Белых Армий – носталгический и патриотический призыв к бывшим добровольцам Белой акмии.

Из прошлого – рассказ основанный на известных советских методах антирелигиозной пропаганды.

Изменения – размышления о новостях из советских газет.

Изобилие – размышления о новостях из советских газет.

Какое вам дело? – размышления о новостях из советских газет.

Капитан Ракитин – почти правдивый рассказ.

Катакомбная Пасха – автобиографический рассказ.

Князь – рассказ основанный на известных методах партии и комсомола.

Комсомолка Куля – рассказ основанный на известных советских методах антирелигиозной пропаганды.

Конкордия – рассказ основанный на известных методах НКВД.

Крест и игла – рассказ из семейных мемуаров.

Лидка – рассказ из семейных мемуаров.

Лунатик – правдивый рассказ с юмором.

Любознательность – порок – рассказ основанный на известных методах НКВД.

Марш Дроздовского полка – из *Сборника военных песен*, А. А. Гайрабетова, подарок О. М. Гладкому от его друга по гимназии А. А. Гайрабетова с разрешением употреблять текст в рассказах.

На границе – правдивый рассказ с юмором.

На каникулах – рассказ из семейных мемуаров.

На общем собрании – жизненно правдивый рассказ о коллективизации.

На хуторе – жизненно правдивый рассказ о раскулачевании зажиточных крестьян.

Награждение – рассказ о советской бюрократии.

Ната – автобиографический рассказ.

Неподалеку от Саур Могилы – рассказ о страшных годах голода на Украине.

Непрошенный гость – жизненно правдивый рассказ.

Никон Палич – рассказ из семейных мемуаров.

Никиткин сон – рассказ основанный на известных фактах постоянного недостатка продукции зерна в Советском Союзе.

Об авторе – Оливер В. Келлогг, редакторская заметка к англоязычной версии сборника; перевод на русский Натали Байер.

Об американской помощи российскому народу – рассказ о том как американская помощь послужила делу укрепления коммунизма в стране.

Отчаяние – рассказ из семейных мемуаров.

Первомай – размышления о том, что слово «свобода» обозначало для народа в начале революции.

Первый колхозный год – повесть-драма на фоне коллективизации.

Петрушка – рассказ из семейных мемуаров.

По инерции – правдивая история.

По плану – рассказ основанный на известных методах НКВД.

Поражение в Крыму – автобиографический рассказ, перевод Натали Байер, 2010.

Портрет хама – размышления автора о правителях страны.

После боя – воспоминания жизни добровольца Белой армии.

Последнее испытание – жизненно правдивый рассказ.

Последняя встреча – автобиографический рассказ.

Правды ради – жизненно правдивый рассказ.

Правосудие толпы – жизненно правдивый рассказ.

Правый – основано на размышлениях о новых послереволюционных словах непонятных не только для народа но даже для членав партии.

Преступники – жизненно правдивый рассказ основанный на известных методах НКВД.

Пролетарское правосудие – расказ основанный на хорошо известной системе советского неправосудия.

Пролог – Во имя чего? – написано О. М. Гладким и А. Г. Бережной Гладкой.

Пролог – Мой милый друг из размышлений автора о его постоянном бегстве от ЧК, КГБ, НКВД за его участие шестнадцатилетним юношей в Белой армии.

Пролог – Предпасхальное – ностальгический рассказ о Пасхе.

Пролог – Социалистический поселок – правдивая история с

добавлением юмора.

Пролог – Хранить вечно – рассказ основанный на известных фактах практики НКВД.

Пророк – из наблюдений народной мудрости.

Процентики – размышления о новостях из советских газет.

Проэкт гениальный – размышления о новостях из советских газет.

Разговор с тенью – размышления о новостях из советских газет.

Разговор со смертью – размышления о новостях из советских газет.

Рас-с-скулачу – жизненно правдивый рассказ.

Растущие потребности – рассказ основанный на известных фактах постоянного недостатка потребительских товаров в советском союзе.

Рождение человека – размышления автора о его постоянном бегстве от ЧК, ГПУ, КГБ и НКВД.

Рождественская радость – рассказ основан на фобии большевиков о иностранных шпионах.

Случай на сеансе фильма «Броненосец Потемкин» – тема фильма о восстании матросов Русского флота в 1905 году находившемся в Черном море; царский суд присудил бунтовавших к ссылке в Сибирь.

Слыхали ль вы? – размышления о новостях из советских газет.

Спасаемся – жизненно правдивый рассказ.

Средневековая казнь – автобиографический рассказ.

Стахановщина без энтузиазма – жизненно правдивый рассказ.

Степь зовет – повесть о жертвах коллективизации.

Таня – из наблюдений автора во время коллективизации.

Товарищ Живодеров – почти жизненно правдивый рассказ.

Троцкист – почти жизненно правдивый рассказ.

Туман – жизненно правдивый рассказ.

У билетной кассы – рассказ о советской бюрократии.

Удачное бегство – размышления автора о его безвыходном положении за его участие шестнадцатилетним юношей в Белой армии.

Черный ворон – рассказ из семейных мемуаров.

Ольга Гладкая Верро – Автор и мемуарист

Многие рассказы Ореста Михайловича Гладкого из *Голоса из прошлого* послужили базой для многих глав написанных и рассказанных мне отцом и матерью для семейных мемуаров, которые были переведены, компилированы и написаны мною по английски с многими добавочными главами о моей и моего мужа Джулио Верро жизни: *Caught in the Web of History: Nikita Khrushchev's Teacher and Her Family Remember the Sweep of Events that Destroyed the Life of Millions,* которые частично переведены на русский: *Пойманные в паутину истории: Учительница Никиты Сергеевича Хрущева и её семья вспоминают события уничтожившие миллионы жизней.*

Из этой семейной саги были также составлены:

Биографическая коллекция из жизни автора: Ореста Михайловича Гладкого: *Branded an Enemy of the People: Selected Stories from the life of an Immigrant Writer Preserving Facts and Thoughts for Posterity to Pause and Ponder* и переведенный на русский *Заклемленный «Враг народа»: Избранные рассказы из жизни писателя-иммигранта сохраняющие факты и мысли для последующих поколений прочитать, приостановиться и подумать*;

Мемуары Антонины Гавриловны Бережной Гладкой: *Nikita S. Khrushchev's Teacher Remembers: With Rare Insight into Politically Formative Years of a Former Leader of the Soviet Union and Later Encounter and Contact with Her Famous Student* и частично переведенные на русский *Воспоминания учительницы Никиты Сергеевича Хрущева: С редкими деталями о годах политического формирования бывшего лидера Советского Союза и о последней встрече и связи с её знаменитым студентом*;

Мои и моего мужа Джулио Верро мемуары о Второй Мировой Войне: *Chance, Destiny or the Will of God: The Love Story of a Russian Girl and an Italian Prisoner of War in Germany. With Rare Data of Operations from a Book of Flight of a Squadron in the Italian Legionary Air Force in the Spanish Civil War*, которые частично переведены на итальянский и ожидающие перевода на руский.

Я смогла завершить этоту монументальную работу с помощью группы переводчиков и, более всего, с бескорыстной помощью и поддержке моего дорогого друга, Оливера В. Келлогг, английского редактора, и его большого терпения в редактировании англоязычной версии этих рукописей от 2003 до 2010 года.

Больше об этих коллекциях можно найти на сайтах:

www.OlgaGladkyVerroEditor.com

www.OlgaGladkyVerro.com

–Ольга Гладкая Верро, автор, мемуарист и редактор

Примечание

Сборник расказов автора Ореста Михайловича Гладкого

Голоса из прошлого: Избранные рассказы сохраняющие факты и мысли для последующих поколений прочитать и подумать: Россия—Советский Союз: 1917-1971 вышел из печати одновременно с английской версией сборника:

Voices From The Past: A Collection of Short Stories Preserving

Facts and Thoughts For Posterity to Pause and Ponder

Russia—Soviet Union

1917-1971

Orest M. Gladky

Olga Gladky Verro, Editor

Oliver W. Kellogg, English Editor

Library of Congress Control Number: 2011901241

ISBN: Hardcover 978-1-4568-5836-0

ISBN: Softcover 978-1-4568-5835-3

ISBN: Ebook 978-1-4568-5837-7

Эти книги можно заказать в любом книжном магазине в США или на сайтах: Amazon.com, Barnesandnoble.com, Xlibris.com

____